Не поле перейти

Аркадий Яковлевич Сахнин

SHOUT
SHARE
IT

- Сахнин Аркадий Яковлевич
  - ○

Сахнин Аркадий Яковлевич
Не поле перейти

Аркадий Яковлевич САХНИН
НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ
ЧАСТЬ 1
ЖИЗНЬ
СОДЕРЖАНИЕ
Часть 1. ЖИЗНЬ
250.000.000
Эхо войны
Машинисты
Крик из глубины
Двойная душа
Огненные трактористи
В рейсе
Это ошибка, Мария!
Золотая нить
Судьбы людские
Поединок
Седые волосы
Жнл-был солдат
Чужие люди
Сорок минут огня
Вера
Часть 2. "ОПЕРАЦИЯ ПРАВДА"
"Операция правда"
Толпа одиноких
Мне б только речку переплыть
"Надо ведь как-то жить.."
Побег за границу
Паутина
Выгнали
Горькая песня Юрико
Имя человека
Слово об авторе
250.000.000
"150000000 говорят губами
моими"
В. Маяковский
9 августа 1973 года численность населения СССР достигла 250 миллионов человек.

Из сообщения ЦСУ

Нас - двести пятьдесят миллионов. Это подсчитали электронные машины. Машины бездушны. Они не все помнят. Но мы помним. Мы знаем - двести семьдесят. Двадцать миллионов погибших на войне живут среди нас и в каждом из нас. Они навечно зачислены на Сталинградский тракторный и Курскую магнитную аномалию, в Севастопольские бастионы и цехи ленинградских заводов, на Минский автомобильный и донецкие шахты, в колхозы Подмосковья, где впервые с тяжелыми пробоинами дала задний ход исполинская военная машина, раздавившая Европу.

Каждый день мы повторяем их имена, и они зовут нас к подвигу, как и имя Матросова на утренних и вечерних поверках воинской части. Мы увековечили их в названиях городов, улиц, площадей. Камни Бреста заложили в фундаменты великих строек.

В алтайскую землю запахали землю Хатыни и на монументе у края дороги, где берет начало первая борозда, начертали:

И породнилась земля Алтал
С землею Хатыни.
Да будет бессмертным
это братанье,
Эта святыня!

Обессмертили свое имя наш рабочий класс, наше крестьянство, наша интеллигенция. И свое достойное место в истории беспримерного сражения разума против варварства занял ударный отряд интеллигенции- советские писатели. Вне зависимости от возраста и места в литературе в первый день войны они объявили себя мобилизованными и призванными на фронт. Одни уже имели мировое имя, другие, совсем юные, только вступали на нелегкий писательский путь, но явились в военкоматы плечом к плечу, без повесток и вызывов, явились как рядовые Родины, взращенные великой партией Ленина.

Они рассеялись по бесчисленным подразделениям сухопутных, военно-морских и воздушных сил, ушли в тылы врага, в партизанские отряды. Они рассказывали миру о битвах и сражениях как участники событий.

Певцы народа и сыны народа, они воспевали героев и были достойны своих героев.

В первый день войны понесли первые потери. В этот день были убиты писатели Александр Гаврилкж и Степан Тудор. Когда уже взвился алый стяг над поверженным рейхстагом, пал под Берлином писатель Мирза Геловани.

После войны писатели-фронтовики выстроились на поверку.

- Командир полка Аркадий Гайдар!

- Пал смертью храбрых в боях за свободу и независимость нашей Родины!

- Майор Петр Лидов!

- Пал смертью храбрых...

- Бригадный комиссар Владимир Ставский!

- Пал смертью храбрых...

Александр Афиногенов, Евгений Петров, Александр Хамадан, Юрий Крымов, Муса Джалиль, Ефим Зозуля, Иосиф Уткин, Всеволод Багрицкий... Четыреста одиннадцать!

Четыреста одиннадцать были убиты. Каждый третий, ушедший на фронт. Каждый второй ранен.

Четыреста одиннадцать сегодня не учтены статистикой. Их нет в списке, составившем четверть миллиарда. Но они живут и борются вместе с нами, как борются за алтайский хлеб павшие в Хатыни, как помогают возводить гиганты индустрии герои Бреста, как вместе с нами борются все двадцать миллионов.

И на всей земле нашей звучит песня:

...Обещает быть весна долгой.
Ждет отборного зерна пашня,
И живу я на земле доброй
За себя и за того парня.
Я от тяжести такой горблюсь,
Но иначе жить нельзя, если
Все зовет меня его голос,
Все звучит во мне его песня...

Мир воздал должное нашему строю, монрлитной сплоченности наших народов, непревзойденному героизму наших людей, их моральному превосходству и патриотизму, гордому духу каждого из нас.

Как сказал американский историк Фредерик Шуман, преклонение человечества перед советским народом вызвано не только тем, что наши "фантастические замыслы"

в области экономики привели к "баснословной действительности", но главным образом тем, что, по словам американского писателя Уолдо Фрэнка, наша Родина - "самая мощная крепость в сфере человеческого духа".

Было и другое. Когда глубоко вздохнула освобожденная земля, ученый и общественный деятель США Уильям Дюбуа писал:

"Не кто иной, как Советский Союз пожертвовал миллионами своих сыновей и дочерей и значительной частью своей промышленности, созданной ценой кровавых усилий, чтобы спасти от ужасов гитлеризма тот самый мир, который злобно клеветал на него".

Это правда. Спасая свою Отчизну, мы спасали и народы мира. Никто, кроме нас, не мог этого сделать. Никому это не было под силу.

Мы не мстили тем, кто клеветал на нас.

А клеветали немало. И не только клеветали, Мы родились в трущобах, в очень бедной, забитой семье. Достояния культуры русского и других народов, населявших Россию, были нам недоступны. Великие открытия и научные достижения лучших умов наших народов растаскивались дельцами из других стран. Первые слова, которые мы услышали, - Свобода, Мир. Эти слова сказал Ленин. Они прокатились по земчому шару. И те, кто властвовал над ним, решили, пока мы не поднялись, прикончить нас вместе с этими ненавистными для них словами.

Нас было тогда сто пятьдесят миллионов.

Сто пятьдесят миллионов измученных, голодных на пепелище, в какое превратили нашу Родину царский режим и войны.

Уверенно и неторопливо собирались делегаты империализма. Спокойно и деловито решали: ждать, пока мы задохнемся сами, или заплатить профессионалам, чтобы нас прикончить сразу.

Решили платить. Решили не скупиться, только бы побыстрее... Они разработали несколько планов удушения. Не стеснялись громко обсуждать их. Вот один, опубликованный 10 февраля 1919 года в газете "Токио кокумин шимбун":

"Россия - рассадник большевизма, который угрожает распространить заразу на союзные государства. Поэтому союзники должны взять на себя контроль над Россией и поставить своей целью сохранение порядка, временно взять власть у самоучрежденного правительства, включая военную и полицейскую власть, и таким образом обеспечить русскому народу возможность проявить свою волю и создать правительство...

Если бы это предложение было принято и Япония получила бы контроль над Сибирью, а Америка над Росссией, то Америка должна была бы выполнять и общие обязанности...

Что касается японского контроля над Сибирью, то против этого, мы уверены, не возражала бы ни одна из держав, принимая во внимание нашу географическую близость к Сибири.

Конечно, контроль над Россией будет лишь временной мерой. Контроль же над неразвитыми колониями примет по необходимости длительный характер. Контроль над ними продлится десятки, а может быть, и сотни лет. Вопрос о контроле над Россией стоит иначе. Он может продлиться от пяти до десяти лет".

Спокойный тон, деловой и ясный план.

Бесстыдный и кровавый. Сибирь, советский Дальний Восток и среднеазиатские республики - на сотни лет, остальную часть нашей Родины на пять - десять лет. Так и договорились. Только внесли небольшие коррективы. Не очень уж строго ограничивать пятью - десятью годами. И других не обидеть. Кое-что подбросить капиталу других стран. Не жалко. Всем хватит.

Ни тени сомнений в реальности грабежа.

Сопротивляться в России некому. Там нет даже самого простого оружия. Необходим только один удар, но одновременно со всех сторон. Так и поступили. Ринулись со всех сторон добивать лежачего. Лежачим они считали нас. Не знали, что мы получили новое оружие. Оружие огромной силы, которое не продается и не патентуется. Оружие, какого не могли создать ни ученые империализма, ни его миллиарды чистоганом. Мы знали цену этому оружию, берегли и бережем его как зеницу ока. А овладели им еще тогда, когда нас было сто пятьдесят миллионов. Но если идеей овладевают массы, она становится материальной силой. Великая идея коммунизма захватила умы ста пятидесяти миллионов, и они стали непобедимыми. Непобедимыми потому, что пошли за ленинской партией. К тому времени она уже имела почти пятнадцатилетний опыт борьбы.

Она вышла из подполья, вернулись с царской каторги, из тюрем ее бойцы, собралась вместе могучая когорта мастеров революции.

Мы начали строить новый мир. Кому не хватало лопат, гребли землю руками. Кому не хватало тачек, таскали ее на себе. Мужчины - на плечах, женщины - в подолах, Так началось наше восхождение на вершины мирового прогресса.

Экскаваторы и самосвалы мертвым грузом лежали на складах капиталистического мира. Нам ничего не давали в долг. И за наличные не давали. Нам не продавали их. Ни одной машины, ни одного механизма. Нас забетонировали в экономическую и политическую блокаду. Пусть гибнут.

Стиснув зубы, мы строили новый мир сами. Честные мыслители Запада сумели увидеть контуры этого еще не очень понятного им мира. Увидели будущее земли. Когда был оглашен первый пятилетний план, Теодор Драйзер писал:

"Я не вполне согласен ни с теорией, ни с практикой советской формы правления, но должен сознаться, что она обладает поразительными качествами. И я считаю, что советский строй удержится в России на долгое время. Больше того - он распространится и бесспорно окажет значительное влияние на все другие государства. Мне думается, что и моей родине со

временем предстоит "советизироваться" - быть может, еще на моем веку.

Я пришел к выводу, что Россия, по всеч вероятности, превратится в одну из самых мощных экономических сил, какие когдалибо существовали в мировой истории"

Это было сказано в двадцать восьмом юду, когда родина Драйзера производила 57 миллионов тонн стали, а мы 4 миллиона.

Чугуна - 43 миллиона, а мы 3 миллиона.

Каменного угля - 552 миллиона, а мы - 35, Уже тогда в американских квартирах стояли холодртльники, а мы не знали, как они выглядят. Да и ни к чему они нам были.

Не было квартир, куда их ставить, и нечего было в них класть.

Низкий поклон вам, Теодор Драйзер, за веру в нас в тот далекий год, когда мы были еще так немощны экономически. Ваша вера в нас оправдалась. Мы стали "одной из самых мощных экономических сил, какие когда-либо существовали в мировой истории". Уже в 1970 году мы почти сравнялись с Америкой по выпуску стали, а в чугуне обошли ее. Мы выплавили 86 миллионов тонн, а они - 83. В добыче угля еще дальше оторвались от них. Мы выдали на-гора 624 миллиона тонн, а они - 542. Уже прошло то время, когда мы брали любой холодильник - только бы досталось. А такой совсем недавно для нас диковинки, как телевизор, - сколько хочешь. Можно за наличные, можно в кредит. 40 миллионов их стоят в наших квартирах. Практически каждая советская семья, живущая в районе, доступном телевещанию, имеет телевизор. Да еще почти шесть миллионов выпускается ежегодно. Не надо обладать большой фантазией, чтобы предвидеть, и как скоро будет удовлетворен спрос на автомобили, хотя в их производстве мы еще значительно отстаем от американцев.

Приводя цифры развития нашей экономики, я выбирал те из ее главных отраслей, в каких мы достигли наилучших результатов. Еще немало и таких, где мы не достигли уровня США, а обогнали лишь страны Европы. В таких, например, как оснащение орудиями производства, где когда-то мы выглядели, по словам Ленина, вчетверо хуже Англии, впятеро хуже Германии, вдесятеро хуже Америки.

Не везде еще в экономике мы достигли, необходимого нам уровня, не всего еще у нас в достатке. Мы знаем это. Нам больно.

Но мы знаем источник боли и знаем, как и чем ее лечить. Мы не могли сразу осилить все. И еще раз вспомним: на каждый год мирной жизни полтора года войны и разрухи. Нужны были

миллиарды на то, чтобы сохранить и удлинить жизнь советского человека. И эти миллиарды всегда отпускались щедро. Только поэтому мы сумели более чем в 11 раз сократить детскую смертность. Среднюю продолжительность жизки увеличить с тридцати двух лет до семидесяти, справиться с болезнями, некогда косившими наш народ. Такими, как чума, холера, тиф, туберкулез, оспа, малярия... Сегодня каждый четвертый врач в мире - это советский врач. У нас их 700 тысяч, а в США 393 тысячи. Каждый четвертый ученый земного шара - гражданин СССР.

Ну, а что говорить о больницах, санаториях, домах отдыха, детских садах, яслях, спортивных комплексах, медицинских учебных и научно-исследовательских институтах и центрах! Обо всем, что направлено на сохранение здоровья и жизни человека. В этом деле мы недосягаемы для капиталистических стран, ибо миллиарды, вкладываемые в него, не дают прибыли. Эти миллиарды может позволить себе тратить только страна, высшей целью которой является благо человека.

Двести пятьдесят миллионов... Я видел, держал в руках удивительный слиток, созданный нашими учеными. Он состоял кз многих материалов - от красной меди до сверхпрочной стали. Каждый материал сохранял в нем свой цвет и качества, а весь он сверкал радугой многоцветья и содержал всю сумму качеств входивших в него составных.

Может быть, идею создания чудесного сплава авторам подсказал гений Ленина, объединившего все нации и народности нашей великой Родины в неразрывный добровольный Союз, где сохраняются и развиваются их силы и неповторимые черты, а их органичное соединение и явило собой новую историческую общность людей - советский народ, обладающий всей мощью и культурой братских народов.

Сегодня без участия Советского Союза не может решаться ни один вопрос международной жизни. Само существование нашей Родины оказывает огромное влияние на борьбу рабочего класса мира за свои права.

Очень точно сказал об этом английский писатель Джеймс Олдридж:

"СССР незримо присутствует, скажем, при всяких переговорах о зарплате, проводимых в западном государстве, при каждой забастовке за улучшение условий труда и т. п. Чем объяснить это присутствие? Да просто уже тем, что Страна Советов существует. Существование социалистического государства запечатлено где-то в глубине сознания каждого пролетария, когда он и его товарищи по труду вступают в очередной бой за свои права, и это

больше, чем чтолибо иное, терзает капиталистов. Именно страх, что рабочие захотят иметь в своей стране такой же строй, что и в СССР, вынуждает многих капиталистов идти на компромисс с рабочими. Один лишь тот факт, что СССР существует, неизмеримо укрепил позиции рабочих всего мира".

Могли ли представить себе такое главари голого чистогана в тот далекий первый год первой пятилетки? Они читали наш план, задыхаясь от смеха. Измывались над нашим планом, топтали его, шельмовали сами и платили морально и умственно неполноценным, чтобы грохотом в эфире, водопадами газет с клеветой заглушить голос передовых мыслителей, заткнуть глотку рабочему классу мира, еще в гражданскую войну бросившему клич: "Руки прочь от России!"

На пороге второй пятилетки свое слово сказал Бернард Шоу:

"Исключение России из международной торговли было актом слепоты и сумасшествия со стороны капиталистических держав.

Бойкотируя Россию путем неистового террора против коммунизма, они предоставили ее собственным ресурсам и заставили спасать себя при помощи развития своих физических и культурных сил.

Сейчас... Россия отвратительного царизма становится энергичной, трезвой, чистой, посовременному интеллектуальной, независимой, цветущей и бескорыстной коммунистической страной".

Лучшие умы просвещенного человечества видели в нас великое будущее. Об этом говорили Ромен Роллан, Анри Барбюс, Мартин Андерсен-Нексе, Анатоль Франс, Эптон Синклер, Жан-Ришар Блок, Бертольд Брехт, Луис Рекабаррен, Альберт Эйнштейн, Рабиндранат Тагор, Генрих Манн, Чарлз Чаплин, Эрскин Колдуэлл, Эрнест Хемингуэй, Чарлз Сноу и каждый, кого трудно здесь перечислить и кто составляет цвет мировой культуры.

Солидарность мирового рабочего класса, как и моральная поддержка деятелей культуры, помогла нам в нашей трудной борьбе.

Как великая реликвия хранится в Музее Ленина знамя парижских коммунаров, врученное французским народом рабочему классу Страны Советов в знак признания ее авангардом человечества.

...Прогрессивные голоса заглушали. Забивали клеветой с грохотом горных обвалов.

Слепая, жестокая, алчная сила представляла нас народам такими, какой нарисовал царскую Россию Бернард Шоу. Обманутых оказалось много. Многие верили сначала в клевету,

будто мы колосс на глиняных ногах. Потом верили в парад гитлеровских войск на Красной площади. Те, кто верил в это, изумились нашей победе. А мы не изумлялись. С первого дня войны верили в свою победу и, когда она пришла, не дали себе ни дня отдыха. Боль тягчайших потерь заглушали неистовым трудом, восстаназливая разрушенное. Мы забывались в труде, возрождая Родину, но зорко смотрели по сторонам! Еще дымились опустевшие и опустошенные поля сражений, а уже за океаном трещали арифмометры, щелкали электрические счетные машины, жужжали электронные механизмы: подсчитывались барыши. Кое-кому война выгодна. И появилось чудовищное порождение разгоряченного мозга империализма, немыслимый гибрид мира и войны - "холодная война".

Они говорили: истощенный войной Советский Союз снова поднимает вопрос о мире. Это от бессилия. Пока он слаб, надо доконать его.

Никаких уроков истории. Они забыли старое, не поняли нового. Не поняли, что могучий сам по себе Советский Союз теперь уже не один. Родилась мировая социалистическая система - нерушимое содружество стран социализма. В воздушные пространства этой системы за два года они запустили 420 тысяч разведывательных шаров. Нас окружали военными базами, гонка вооружений, как золотая лихорадка, ослепляла безумных.

Когда-то Михаил. Кольцов назвал Гитлера сумасшедшим с бомбой. Мы не могли спокойно оставаться перед лицом безумцев с атомной бомбой. У нас не оставалось иного выхода - на восемь месяцев раньше американцев мы создали водородную бомбу. Создали и предложили разоружение. Предложили уничтожить атомное оружие и водородную бомбу, единственным обладателем которой были мы.

Они отказались. Совсем недавно мне объяснили, почему они отказались. Месяца три назад у меня была беседа с одним из представителей делового мира Америки Дональдом Кендаллом, председателем совета директоров американо-советской торговой палаты. Палата должна содействовать дальнейшему расширению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Договоренность о ее создании была достигнута во время визита Л. И. Брежнева в США. Наша беседа с Кендаллом предназначалась для печати, и, по-видимому, я вернусь к ней. А сейчас только об одной детали. С большим уважением он отзывался о советских людях, с которыми ему приходилось вести многочисленные переговоры.

Особенно восторгался главой одной из наших торговых делегаций. "Это удивительный человек, - говорил он. - Я таких не

видел Видимо, бог создал его и разбил форму, чтобы больше таких не было. С ним очень легко работать. Если переговоры осложнялись и точки зрения расходились все дальше, он начинал рассказывать веселые истории и анекдоты. Обстановка разряжалась.

Но как-то так получалось, что все эти смешные истории, никакого отношения к делу не имевшие, все-таки работали на его доводы. И не было случая, чтобы мы не пришли дч соглашению даже по самым сложным проблемам. Я убежден, - закончил он, - что мы можем решить абсолютно все вопросы, кроме идеологических".

Именно, эти последние слова Кендалла, представителя крупного капитала, я привел как весомый довод другому американцу, весьма прогрессивному деятелю США. Он утверждал, будто не только в идеологии, но и в вопросе, чрезвычайно выгодном в экономическом отношении обеим странам, - Б вопросе полного разоружения, мы никогда не сойдемся. Решительно отвергал точку зрения Кендалла. "Если даже допустить условно, - сказал он, - что будет достигнута договоренность, капиталистический мир разоружится, а СССР нет".

Я стал возражать, но он прервал меня:

"Не о том речь. Конечно, можно установить надежнейший контроль, и допускаю, что вы уничтожите все до последнего пистолета.

Но идеи ваши останутся. А капиталистический мир окажется перед вами безоружным".

Я не знал, что ответить. Ведь и в самом деле, кроме средств истребления, у него не г оружия, и как ни тщатся его идеологи навязать массам подходящую идею, подходящих не находится.

...Исполинами шагали наши пятилетки, Мы воздвигли индустриальные комплексы, каких не знал мир. Оснастили сельское хозяйство миллионами машин. Взрыхлили чысячелетиями слежавшуюся землю. Открыли новые горизонты в технических науках. Открыли эру космоса. Все больше трезвых голосов раздавалось с Запада, и уже редко кто без риска всеобщего осмеяния мог заговорить о нашей слабости.

Как пустую бумажку, разорвали мы некогда сильное оружие блокады Бернскую конвенцию, лишившую нас возможности жи лучить хоть сколько-нибудь приемлемый кредит.

Сегодня мы торгуем со 106 государствами, а торговля с социалистическими странами давно вышла за пределы обычного понимания этого слова. Мы создали ряд совместных промышленных систем, их количество будет расти. Ширятся и

углубляются социалистическая интеграция, разделение труда, весь комплекс отношений наших государств, при которых народы сближаются экономически, политически, духовно. Страны социализма выпускают почти треть мировой продукции.

Мы бескорыстно помогаем развивающимся странам. При нашем экономическом и техническом содействии сооружено, сооружается и намечено к строительству в этих странах более 700 промышленных и культурных объектов, имеющих важное значение для создания фундамента их независимости. Мы торгуем на взаимовыгодных началах, не ставя ни экономических, ни политических условий.

Наша великая партия разработала и на весь мир провозгласила грандиозную Программу мира.

Чтобы осуществить массированное мирное наступление, надо, как для любого глобального наступления, иметь боевой генеральный штаб, способный руководить полководцами, в совершенстве владеющий современными методами ведения борьбы, передовой стратегией и тактикой, наукой побеждать.

Нашей партии семьдесят лет. Семьдесят лет ни на минуту не ослабевающей борьбы за народное дело. Семьдесят огненных лет сквозь пожарища войн и разруху за счастье человека, за идеи коммунизма. Весь гигантский опыт со времен подполья и царской каторги, с тех времен, когда, окруженные со всех сторон врагами и под их огнем, мы, крепко взявшись за руки, тесной кучкой шли по обрывистому пути до сегодняшнего безраздельного торжества наших идей и практики, впитала в себя партия, ее боевой генеральный штаб Центральный Комитет и уверенно ведет советские народы по столбовой дороге коммунизма.

Эта дорога обозначилась давно. Когда призрак только бродил по Европе. Теперь это уже не призрак. И он не бродит. Властно шагает по планете идея коммунизма и могучей притягательной силой покоряет сердца людей. Мы видели, как это происходит.

Осуществлять один из важнейших этапов Программы мира партия в очередной раз уполномочила Генерального секретаря своего Центрального Комитета Л. И. Брежнева.

За океан он отправился не один. И не только с ближайшими помощниками. В массированное мирное наступление он повел двести пятьдесят миллионов. В авангарде ум, честь и совесть эпохи - 15 миллионов коммунистов. Вместе с ними надежный резерв партии - 30 миллионов комсомольцев. В боевых порядках главная ударная сила, гордость и слава советских народов шестидесятипятимилллионный рабочий класс плечом к плечу со своим верным союзником - доблестным семнадцатимиллионным колхозным крестьянством. В том же тесном строю плоть от плоти,

кровь от крови народа - советская интеллигенция, включающая 2600 тысяч учителей, 2650 тысяч дипломированных инженеров, 700 тысяч врачей, около миллиона научных работников, всю армию умственного труда.

Это великое войско поднялось с выгоднейшего плацдарма, протянувшегося на десять тысяч километров в длину и пять тысяч в ширину, с завоеванных господствующих высот в экономике, науке, культуре, с господствующих высот мирового прогресса.

-И когда появился на экране американских телевизоров Леонид Ильич Брежнев, Америка услышала простой и ясный голос, доступный и близкий всем народам, голос великой страны, зовущий человечество к миру и прогрессу.

Может быть, впервые за все годы нашего существования вся трудовая Америка взглянула на нас собственными глазами и поняла наши идеалы.

Мы знаем: Программа мира рассчитана на годы, мы только приступили к ее выполнению. Мы знаем, возможны рецидивы "холодной войны". Еще не закрыты антисоветские центры, еще не розданы голодным миллионы из специальных "фондов", еще отпускаются деньги на лживые радиостанции.

Но мы верим в неотвратимый ход истории, Мы проверили точность этого хода долгими десятилетиями. Мир - естественное состояние человечества. Это существо нашего строя. Основа жизни двухсот пятидесяш миллионов. Поэтому за Программу мира мы будем бороться, как боролись за каждую пядь своей земли.

1973 год

ЭХО ВОЙНЫ

Гурам Урушадзе окончательно рассорился с Валей.

Го всем виновата она. Одна она. Себя он ни в чем упрекнуть не мог. И чем больше в его глазах вырастала вина Вали, тем острее он чувствовал необходимость обвинить ее еще в чем-нибудь, словно кто-то более убедительно возражал ему.

Они давно решили свою судьбу. Их дружба так окрепла, что решение пришло само по себе. Он даже предложения ей не делал. Все было ясно. Они подолгу мечтали о том, как сразу же после его демобилизации поедут к нему на родину, в Ланчхути, строили планы будущей жизни.

В Ланчхути их ждет отец. Он выделил две лучшие комнаты с кухней и запретил Казн и Давиду заходить туда: это для Гурама и его будущей жены. Добрый старый отец! Ему не понравились кровати в мебельном магазине Ланчхути, и он специально тащился за ними в Батуми.

И вот окончились три года службы. Послезавтра наступит

день, о котором они столько мечтали. И кто мог подумать, что именно теперь она заупрямится. Появился тон, какого раньше не было: "Пока ке поженимся, никуда не поеду". Но почему это делать сейчас, в горячке отъезда? Ему надо получать в штабе все необходимые документы, она будет брать расчет, бегать в контору, в домоуправление за всякими справками, и среди этой беготни загс и еще одна бумажка, будто багажная квитанция. К чему эта спешка?

Гурам шел от Валиного дома в казарму, и в мыслях всплывала их совсем неожиданная ссора. Особенно возмутилась Валя после того, как он сказал, что должен сначала познакомить ее с отцом, а потом расписываться.

- Так что же это, смотрины? - вскипела она. - Ведь мы комсомольцы, как тебе не стыдно?

- А ты ке бросайся этим словом, - разгорячился и он. - Это когда-то находились такие умники: комсо: ;олец - значит, долой все старое, даже хорошее. Комсомолец - значит, не носи гелстука, комсомолка - не надевай кольцо, комсомольцы - значит, не надо советоваться с родителями. А почему?

Потом он старался спокойно все объяснить. Ну почему в самом деле надо лишать старого отца радости сказать свое родительское слово, лишить его возможности преподнести традиционный предсвадебный подарок?

- А если я ему не понравлюсь? - горячилась Валя.

- Ты опять требуешь комплиментов. Ты ему обязательно понравишься. А во-вторых, не думай, что отец - отсталый человек. Он, правда, стар, но ведь уже сорок лет Советской власти...

- При чем здесь власть, - все более раздражаясь, перебила она.

- Очень при чем. Некоторые, наслушавшись разных сказок, видят в Грузии только древность, чуть ли не дикость...

- А женитьба по воле отца, - зто как называется?

- Не по воле отца, пойми же ты! Если я приведу а дом жену, он ни за что не скажет "нет".

- Значит, пустая формальность?

- Нет, не формальность, и не пустая, - разозлился Гурам. - Отец - это отец. Он вырастил и воспитал меня. Почему я должен обидеть старого и дорогого для меня человека? Если рассуждать по-твоему, значит, все формальность. А загс разве не формальность? Разве крепче будет жизнь от того, что конторщица поставит рядом наши фамилии?

- Но ведь так все делают.

- Это же не довод. Если человек нехорошо поступит с женой, перед загсовской бумажкой он не покраснеет, а перед отцом

стыдно будет. Но пусть, в конце концов, формальность, такая же как и загс. И я за то, чтобы обе эти формальности выполнить.

- Да, но ты ставишь ультиматум - скачала отец, потом загс.

- Не ультиматум это. Просто твое непонятное упрямство. И вообще, я хочу тебе сказать, я еще до армии заметил, есть у нас люди, которые действуют по принципу: найти хоть какую-нибудь возможность не выполнить просьбу человека, не сделать ему приятное. Попросишь у продавца монетку разменять для автомата - у него целая гора мелочи. "Нет, говорит, нету". И вот на такой чепухе мы озлобляем друг АРУга.

- О чем ты говоришь, я не понимаю.

- О том, что, если можно не огорчать отца, сделать ему приятное, значит, надо сделать. Меня удивляет, почему ты не предлагаешь к твоей маме в деревню съездить, это же совсем рядом. Представляешь, как она будет рада, если до замужества ты ее совета спросишь! Нет, не в том самостоятельность, чтобы как снег на голову: знакомься, мама, это мой муж. Что-то очень обидное для родителей в этом.

- Ты совсем о другом говоришь, Гурам, - начала Валя примирительно. Пойми же, что мне стыдно.

Еду в совсем незнакомое место, в чужой город. Ну в качестве кого я еду? Жена? Нет. Невеста? Тоже нет.

Невесты не ездят сразу с кастрюльками и подушками.

Просто знакомая... Не поеду, - решительно и даже зло закончила она.

- Ну и не надо! - не выдержал Гурам.

- Ах, вон как! Тогда уходи отсюда! - совсем ужR вне себя выкрикнула она.

Хлопнув дверью, Гурам ушел, не сказав больше ни слова.

Грустные мысли одолевали Гурама Урушадзе. Он шел в казарму и злился. Резкий автомобильный гудок заставил его отскочить в сторону. Одна за другой пронеслись зеленые машины военного коменданта Курска Бугаева и полковника Диасамидзе. И уже совсем на немыслимой скорости пролетела машина председателя Курского горсовета.

"Это неспроста", - подумал Гурам, отвлекаясь от своих грустных мыслей. Он остановился возле группы людей, горячо о чем-то споривших. Оказывается, у железнодорожного переезда близ гипсового завода ктото заложил мину и снаряд. Одни утверждали, что это все чепуха и ложная паника, другие будто это вражеская вылазка перед праздником - до сороковой годовщины Октября оставалось всего три недели.

Вездесущие и всезнающие мальчишки авторитетно заявляли, что найден не один снаряд, а десять, и даже не десять, а

пятьдесят три.

Гурам послушал болтовню ребят и побрел дальше.

До казармы было далеко. Он вполне мог сесть на трамвай или автобус, но шел пешком. Незаметно для себя начал шагать размашисто и упрямо, со злостью сбивая с дороги случайные камешки.

Мимо неслась колонна милиционеров на мотоциклах. В том же направлении быстрым шагом проследовал усиленный наряд военных патрулей.

"Все же что-то случилось", - подумал Урушадзе, но тут же снова вернулся к своим мыслям.

В казарму Гурам пришел перед самым ужином, когда собирается вся рота. А ему никого не хотелось видеть. В последние дни, где бы он ни появлялся, говорили только о нем. О нем и о Вале. Над ним подтрунивали, а он только посмеивался. В шутках товарищей он не видел насмешки. Наоборот, эти штуки под вчешней грубоватой формой не могли скрыть, а лишь подчеркивали теплые солдатские чувства к нему и к Вале.

В них выражалась и полная поддержка его решения уехать вместе с ней.

Эту маленькую, хрупкую девушку, почти девочку, с наивными голубыми глазами, знали и уважали все друзья Гурама. На первых порах она стеснялась их и, здороваясь, казалось, с испугом протягивала свою тоненькую руку, которая едва могла обнять широкую солдатскую ладонь. Постепенно она привыкла к этим веселым здоровякам и, несмотря на свою стеснительность, великолепно чувствовала себя среди них. В шутку она даже отдавала им команды.

- Рядовой Маргишвили! - строго говорила она. - Срочно подайте мне сумку. А вы, младший сержант, доложите, все ли готовы к маршу в кино.

- Слушаюсь! Так точно! - следовали четкие ответы, и ребята вытягивались по стойке "смирно".

Солдатам приятно было слушаться ее, выполнять маленькие бесхитростные капризы. И только в одном не признавали они ее власти: они не разрешали Гураму "эксплуатировать" ее труд.

Впервые протест против "эксплуатации" Вали поднялся, когда однажды целой гурьбой они зашли за ней по дороге в кино. Вале не понравилось, как подшит у Гурама подворотничок. Взяв иголку с ниткой, она скомандовала: "Ну-ка, расстегивай ворот!" С довольной улыбкой Гурам выполнил приказ. Но поднялся вдруг со своего места младший сержант Иван Махалов.

Русый паренек из-под Воронежа, с ямочками на щеках, спортсмен-разрядник Махалов был любимцем товарищей и

начальников. Он командовал отделением, и все уважали его за мягкий нрав, за большую физическую силу и ловкость, за глубокие знания военного дела, а главное - за то, что он не зазнавался. Он как бы стеснялся своих прав и преимуществ перед товарищами.

Он никогда не кричал на людей. Его приказания звучали четко, по-военному. Но тут же появлялись ямочки, он улыбался, точно извиняясь за свой такой тон.

Может быть, потому и удивила всех его шутка в тот вечер у Вали. Встав между нею и Гурамом, он совершенно серьезным и строгим тоном заявил:

- Властью командира отделения запрещаю вам, рядовой Урушадзе, эксплуатировать детский труд.

- Она же портниха, - пытался оправдаться Гурам, - это ее профессия.

- Понимаешь, Гурам, - сказал с сильным и приятным грузинским акцентом Дмитрий Маргишвили, - твоя шея по диаметру как раз заводская труба возле фундамента. Пришить тебе подворотничок - дневная норма передовика производства.

Первой прыснула от смеха Валя. В тот вечер ей так и не дали поухаживать за Гурамом.

Спустя несколько дней солдаты заметили у него подозрительно белоснежный носовой платок.

- Еще раз увижу, - сказал Махалов, - отберу. Не заставляй Валю работать. Думаешь, мы не знаем, кто тебе вчера гимнастерку нагладил!

Перед демобилизацией Гурама все отделение хлопотало вокруг него и Вали. Каждый считал своим долгом дать нужный совет. Втайне от "молодых" собирали деньги для проводов и на подарок Вале. Чего бы ей хотелось, выспрашивали у Гурама, и делали это неловко, так что Гурам сразу понял, в чем дело. И затея друзей была ему приятна.

Что же сказать им сейчас?

Первым обратился к нему Камил Хакимов.

- Валя уже взяла расчет? - спросил он.

- Не твое дело! - грубо обрезал Гурам.

И все, кто был рядом, насторожились. Добродушный весельчак Хакимов растерялся.

Такой ответ глубоко оскорбил людей. Валя была их общей маленькой радостью. Никто не завидовал Гураму, товарищи признавали его "права" и всеми силами старались помочь им обоим, если требовалась помощь. Маленькие заботы о Вале доставляли им удовольствие. Им приятно было, когда Вале хорошо. Случалось даже, что они ухитрялись брать на себя работу

Гурама, чтобы он мог пойти к ней. А вечером, когда он возвращался, с улыбками спрашивали: "Ну, как?

Удивилась Валя, что ты пришел? Обрадовалась? А ты сказал, что в это время я за тебя казарму мыл?"

И Гурам всегда охотно рассказывал товарищам, как встретила его Валя, что нового у нее на работе, передавал от нее приветы.

Грубый ответ Гурама удивил и Дмитрия Маргишвили. Но, как и всегда в напряженную минуту, он попытался шуткой разрядить атмосферу. Зная привязанность Вали к Гураму, Дмитрий насмешлпго заметил:

- Валя не хочет с ним ехать.

- Кто тебе сказал? - поразился Гурам.

- Сама сказала. Она дожидаться будет меня.

- Не смеешь так про Валю говорить даже в шутку! - закричал Гурам. Понял?

* * *

Для командира роты капитана Леонида Горелика сороковой Октябрь был особым праздником. Он наконец получил приказ о зачислении на специальные курсы, о которых давно мечтал. Но главное, в семье ждали второго ребенка, и Леонид радовался, ч го в родильный дом Поля поедет уже из новой квартиры, которую ему предоставляют к годовщине в только что отстроенном корпусе. И хотя праздник предстояло встретить не вместе с женой и друзьями, настроение было хорошим.

Полина просила оттянуть отъезд на трое суток, чтобы хоть в этом году отметить день рождения мужа. Вот уже третий год, как из-за командировок и заданий они не могут провести этот день вместе.

Он попрощался с товарищами, съездил на вокзал за билетом и вернулся домой в полной готовности.

Офицерские сборы коротки. А вот Полина долго укладывала чемодан, объясняя, где что лежит, просила чаще отдавать в стирку белье, не занашивать его.

- Ухаживать там за тобой некому будет, - говорила она, - поэтому не разбрасывай все по комнате, как дома, клади вещи на место, чемодан не перерывай, и все необходимое будет у тебя всегда под рукой.

- Да, да, конечно, - пряча улыбку, говорил Леонид, - не беспокойся.

Каждый раз, когда он уезжал в командировку, а они были очень частыми, он слышал подобные наставления жены, охотно соглашался с ними, но стоило ему хоть раз полезть в чемодан, как там воцарялся хаос. Зато перед возвращением домой он тщательно упаковывал свои пожитки, стараясь вспомнить, как

они были уложены Полиной, и она видела, что он точно соблюдает ее наставления.

Поезд в Москву уходил в час сорок ночи, и у Леонида оставалось еще много свободного времени. Пока Полина готовила его к отъезду, он возился с пятилетним сыном Борькой, довольно сложно объясняя ему предстоящее появление брата или сестры. Борька никак не мог взять в толк, почему до сих пор не известно, будет это брат или сестра. Он слушал не очень ясные объяснения отца, сопел, хмурился и, так ничего и не поняв, солидно заключил:

- Никого не надо.

Это искренне огорчило Леонида. Отношения у него с сыном складывались очень хорошо. По всем вопросам они находили общий язык и пользовались друг у друга авторитетом.

Известно, что с ребенком надо говорить не сюсюкая, на равных началах, ни в коем случае не уязвляя его самолюбия. Эту истину Леонид воспринимал не как воспитательную меру, а как самое жизнь. Он всерьез обсуждал с Борькой различные проблемы, часто соглашался с ним, порой возражал горячо или спокойно, но всегда объективно подходил к Делу.

Покончив со сложной темой, досадуя на себя за неумение толком объяснить предстоящее появление нового члена семьи, Леонид попросил сына показать сегодняшние рисунки. Для своих пяти лет Борька рисовал вполне прилично. Занятие это он любил, и каждый день появлялось значительное количество новых полотен. На этот раз Борька показал сюжетную группу из трех танков, на которых стояли три солдата.

Кроме автоматов, они были вооружены мечами и щитами.

Леонид внимательно посмотрел на рисунок сначала вблизи, потом отставив руку, как бы оценивая общую композицию, и серьезно заметил:

- Понимаешь, Борис, почти все хорошо. Но ведь это советские солдаты, а щитов и мечей Советская Армия на вооружении не имеет.

- Так они же богатыри! - удивился Борька. - Ты сам говорил.

Довод был веским, но не успел Леонид подумать над ответом, как в дверь постучали.

Вошел помощник дежурного по штабу части младший сержант Иван Махалов и доложил:

- Полковник Диасамидзе приказал вам явиться к нему завтра утром в семь ноль-ноль.

Полина с тревогой взглянула на мужа.

- Хорошо, Махалов, можете идти, - сказал капитан, стараясь скрыть от жены свое удивление.

- Что же это, Леня? - спросила она, пожимая плечами, когда Махалов ушел. - Ты позвони полковнику, скажи, что поезд скоро уходит. Он, наверное, забыл о твоем отъезде.

- Неудобно, Поля, он уже спит, ему вставать рано.

- Так что же будет?

- Завтра уеду, какая разница! С вами еще денек проведу, - улыбнулся он и, помолчав немного, добавил: - Придется сходить на вокзал сдать билет.

Накинув шинель, он быстро вышел.

Горелик хорошо знал, что полковник ложится поздно и, конечно, сейчас еще не спит. Но он хорошо знал и самого полковника. Без крайней нужды тот ни за что не задержал бы командировку. А может быть, совсем отменили приказ о его учебе? Нет, тогда бы он не вызывал так рано. Значит, что-то случилось. Забыть об отъезде полковник не мог. Сегодня они тепло попрощались, Диасамидзе пожелал ему отличной учебы, велел не беспокоиться о Полине, обещал, что ей будет оказана всяческая помощь. Тут же дал указание поместить Борьку в детский сад, как только Полина об этом попросит. Что же могло случиться?

Незаметно капитан дошел до железнодорожного переезда и наткнулся на оцепление.

- Проход закрыт, товарищ капитан, - сообщил сержант милиции и объяснил, как пройти к вокзалу.

- Так это же наш капитан! -с укором сказал старшина Тюрин, вынырнувший откуда-то из темноты.

- Вижу, что капитан, но проход все же закрыт, - резонно заметил милиционер.

Этот ответ еще более удивил Тюрина. Он был старшиной в роте Горелика, и его люди сейчас тоже стояли в оцеплении. Ему казалось противоестественным, что милиционер задерживает командира, человека, чьи подчиненные стоят здесь, на посту, тем более такого человека, как капитан Горелик.

Михаил Тюрин, старшина сверхсрочной службы, находился в армии пятнадцатый год. Это один из тех людей, на которых держалась рота. Кроме богатого опыта и знаний, он обладал еще врожденной жилкол хозяйственника.

Каким-то чутьем угадывал, когда и где ему надо появиться, чтобы навести порядок. Он никогда ничего на забывал сделать или отдать нужное распоряжение, в затруднительных случаях первым находил правильное решение. Эти решения, казалось, были у него заготовлены на все случаи жизни: помогал огромный армейский опыт.

Он умел приказывать так, чтобы не обидеть человека, не

умалить его достоинства.

Своего командира капитана Горелика он уважал за те же качества, которыми обладал сам. Тюрин и не подозревал, что за четыре года их совместной службы эти качества он заимствовал именно у капитана.

И вот сейчас старшина был глубоко уязвлен: его командира не пропускают к подчиненным. Вскоре недоразумение выяснилось, и капитан прошел за оцепление.

Тут же Тюрин рассказал, что случилось. А произошло следующее.

Курск, как и другие советские города, вел большое строительство. Возникла необходимость проложить новую высоковольтную линию. Она должна была пройти через густо населенный район и, естественно, ее решили вести под землей. Для этой линии и рыл траншею экскаваторщик Николай Семенович Шергунов.

Восемнадцать лет было пулеметчику Николаю Шергунову, когда его тяжело ранило на Одере.

После окончания войны Николай стал строителем.

Он рыл котлованы под фундаменты заводских корпусов и жилых домов...

...Взметнулся очередной ковш земли и застыл в воздухе. Стена траншеи немного осыпалась, и странным показался Шергукову пласт грунта в образовавшейся нише. Но времени терять не хотелось. Да и какая ему разница, что там за грунт. Следующим "заходом" он подденет эту черную массу, и тогда все станет видно.

Шергунов снова взялся за рычаги, чтобы отвести в сторону и опрокинуть ковш. Но взгляд опять уперся в черное пятно.

А может быть, это остатки древней посуды? Ведь нашли же недавно какие-то черепки, представляющие большую историческую ценность.

Шергунов выключил мотор и спустился в траншею.

В стене лежали снаряды, как чертежные принадлежности в готовальне.

Вот тебе и черепки!

Снаряды были небольшого калибра, одинаковой формы. Шергунов решил, что во время войны здесь стояло орудие и боеприпасы к нему так и остались в окопе, который постепенно засыпало.

Бывший сержант Советской Армии, он хорошо знал, что такое снаряд, пролежавший в земле годы. Аккуратно расчистив пальцем песок, он бережно вынул снаряд, за которым оСяаружилась страшная пирамида из боеприпасов.

Поминутно оборачиваясь, чтобы никто не подошел к опасному месту, Шергунов побежал в контору гипсового завода. Через две-три минуты у траншеи уже был директор завода С. Выменец, а спустя еще несколько минут и военный комендант города Г. Бугаев, который сразу же поставил оцепление.

На место происшествия прибыли исполняющий обязанности начальника Курского гарнизона Герой Советского Союза ПОЛКОЕПИК Диасамидзе, полковник милиции Кирьянов, военный инженер, руководители Кировского района и города.

После первою предварительного осмотра стало ясно, что яма представляет большую опасность. Быстро определить, что в ней скрыто, не представлялось возможным.

Полковник Диасамидзе приказал расширить запретную зону. В нее вошли теперь три улицы.

Слух о снарядах разнесся по всему Кировскому району города. Даже люди, не склонные верить слухам, поняли, что на этот раз за ними действительно что-то кроется.

На предприятиях, в магазинах, трамваях только и говорили, что о снарядах. Эта тема вытеснила все остальные и испортила предпраздничное настроение, посеяла тревогу.

Руководители города видели, что надо успокоить население, но не знали, как это сделать: нависшая опасность превосходила даже худшие предположения...

В кабинете директора гипсового завода собрались партийные и советские работники, директора нескольких предприятий, прилегающих к заводу, представители железнодорожного узла. На их тревожные вопросы полковник Диасамидзе отвечал: пока его люди не разведают, что и как спрятано под землей, ничего сказать нельзя. А в наступающей темноте разрешить разведку он не может.

Дав указание о первейших мерах предосторожности, он попросил всех, кроме военного коменданта и двух военных специалистов, оставить кабинет. Они обсудили создавшееся положение, наметили план завтрашних действий. Полковник отправился в штаб, чтобы связаться с командующим Воронежским военным округом.

* * *

Капитану Горелику стало ясно, почему задержан отъезд на учебу. Люди его стрелковой роты, пройдя специальную подготовку, последние три года извлекают оставшиеся от гитлеровцев боеприпасы в Орловской, Курской и Белгородской областях. Отличные пулеметчики Голубенке, Махалов, Урушадзе, снайпер Маргишвили, не говоря уже о старшине Тюрине, да и многие другие солдаты стали мастерами саперного дела. Им

приходилось обезвреживать неразорвавшиеся бомбы, убирать с колхозных полей противотанковые и противопехотные мины, вывозить снаряды. Более шестидесяти тысяч взрывоопасных предметов обезвредила рота.

Значит, не исключена возможность, что обезвредить подземный склад поручат его роте.

- Доложите старшему лейтенанту Поротикову и лейтенанту Иващенко, что я просил их утром никуда не отлучаться, - сказал капитан Тюрину, собираясь уходить. - Голубенко и Махалова освободите от очередного наряда. Они тоже могут понадобиться.

- А Урушадзе? - спросил Тюрий". - У него ведь особое чутье на взрывчатку.

Капитан задумался.

- Нет, Тюрин, не надо. Что же мы будем подвергать его риску за день до увольнения. Человек уже свое отслужил. Он когда едет?

- Послезавтра, товарищ капитан.

- Ну и пусть едет... А девушку берет с собой?

- Говорил, что забирает.

Дома на тревожный вопрос жены Леонид улыбнулся и, махнув рукой, сказал:

- Ничего особенного, одно задание надо выполнить, придется задержаться дня на три-четыре.

Полина давно привыкла и к ночным вызовам мужа, и к срочным заданиям, к неожиданным отъездам или приездам. Ничего особенного не увидела она и в этой задержке. Наоборот, даже обрадовалась.

- Вот здорово, значит, справим, наконец, твой день рождения, - сказала Полина.

- Что ты, Поля? - растерялся он. - Ты в таком состоянии, разве можно? Мне ведь по магазинам некогда бегать...

- Можно подумать, что всю работу в доме выполняешь ты, - насмешливо заметила она.

- Да... но одно дело только наша семья, а...

- Обойдусь без тебя, Леня, - добродушно сказала Полина, - мне это только на пользу.

Тогда он решил совершить "подкоп" с другой стороны.

- Понимаешь, Поля, - начал он снова, - мне в эти дни придется своротить гору дел. Приду поздно, усталый, а утром опять рано вставать...

- Не морочь голову, Леня... Чай пить будешь?

Единственное, что ему удалось "выторговать", это обещание не собирать много гостей.

* * *

Валя сидела съежившись у окна, кусая губы, совсем беспомощная, и изо всех сил сдерживала слезы. И в своем горе она отыскала маленькую радость: она нашла в себе силы не плакать.

Она ни о чем не думала. Когда они познакомились, ей едва исполнилось шестнадцать лет. И знакомство такое странное. Сильный и смелый Гурам расшвырял в городском саду хулиганов, которые привязались к ней и Тамаре. Он проводил их домой и сказал обидные слова: "Таким маленьким нельзя поздно гулять".

"Он как сказочный богатырь", - мечтательно заметила Тамара.

Всплывали в памяти его рассказы о Грузии, о море, которого она никогда не видела, о Ланчхути, где с его слов знала чуть ли не каждый дом.

- Не взял? - участливо спросила хозяйка, появившись на пороге. Известное дело - солдат. С него взятки гладки. Наобещает, своего добьется, и - ищи ветра в поле.

- Что вы говорите, тетя Надя, ведь у нас ничего не было, - в ужасе зашептала Валя.

- Охо-хо! - вздохнула хозяйка и вышла.

Не поверила. Так вот, значит, как оборачивается.

Теперь все так подумают. Никто не поверит. Люди знали, что два года вместе были. И на работе все знали.

Так и пойдет слава: брошенная солдатом. Да не все ли теперь равно? Бог с ними, пусть думают что хотят. И чего они к солдатам придираются. Пойдет девушка с отими попугаями, что по проспекту болтаются, никто дурного слова не скажет. А форма глаза колет. Да эти "красавчики" все, вместе взятые, подметки солдатской не стоят.

Она поднялась, поправила волосы, умылась.

Жизнь Вали складывалась не легко и не просто.

Окончив четыре класса, ока уехала из родной деревни Плоты в Курск к старшей сестре, чтобы продолжать учебу. Сестра тоже училась, и их отец, председатель колхоза Василий Верютин, посылал дочерям деньги на жизнь. В пятьдесят втором году он умер. Вскоре, выйдя замуж, уехала сестра. Валя продолжала учиться, бережно тратя деньги, что присылала мать. Девушка не могла теперь позволить себе жить в отдельной комнате и поселилась вместе с одинокой женщиной, тетей Надей.

После восьмого класса Валя уехала в деревню на каникулы. Здесь она и решила, что не имеет больше права находиться на иждивении матери. Но учебу бросать не хотелось. Пришлось поступить на работу и в школу рабочей молодежи. Так она попала в швейную мастерскую.

Жизнь Вали очень скрасила дружба с Гурамом. За год до

окончания его службы им все уже было ясно, у обоих было безоблачное будущее. Чем ближе подходил срок демобилизации, тем больше говорил Гурам о том, как хорошо им будет жить. И вот до отъезда остались считанные дни. В один из вечеров, когда он ушел, у Вали как-то нехорошо стало на душе. Она не могла понять, отчего испортилось настроение. После очередной встречи горький осадок ощутился еще сильнее, и она надолго задумалась. Почему он ни словом не обмолвился о том, что надо идти в загс?

Уже давно Гурам говорит только о хозяйстве. Какой великолепный у них виноградник, какие фрукты в саду (каждая груша - восемьсот граммов. Кусать нельзя - сок все зальет, резать нельзя - сок как из крана течет), какие крупные орехи лезут в окно. Она узнала, в каком красивом месте пасется корова, сколько у них поросят, уток, кур, как давят виноград на вино, как закапывают в землю полные кувшины.

Валя не была избалована ни виноградом, ни большими сочными грушами - на это не хватало денег. И, конечно, радостно, когда такое изобилие фруктов и в доме полный достаток.

Ну хорошо, она насытится виноградом и грушами.

А дальше что? Что она делать будет? Он ни словом не обмолвился о ее работе. "Будешь полной хозяйкой в саду и в доме", - радостно сообщал он. А где она на комсомольский учет встанет? В большом доме отца Гурама?

Гурам говорит теперь только о хозяйстве.

А ей хотелось еще раз услышать, как он ее любит, хоть бы слово промолвил о ее глазах. Раньше он так искренне об этом говорил. Может быть, объясниться?

Прямо спросить? Что же, он ее больше не любит и везет домой только хозяйку, потому что мать умерла? Нет, просить о том, чтобы он говорил о ее глазах, нельзя.

Вале вспомнилось, сколько радости принесли ей четыре ромашки, которые однажды Гурам сорвал для нее в поле, где он был на учениях, Тогда ей казалось, что обрадовали ее цветы. И вскоре она попросила его снова сделать ей такой же подарок. На следующий день Гурам притащил великолепный букет, на который затратил, наверное, все СБОИ деньги. Чтобы не стыдно было, он тщательно замаскировал покупку в газеты.

Валя обрадовалась. И все-таки это было не то чувство, что она испытала, увидев четыре измятые в солдатском кармане ромашки. То был порыв сердца. Он думал о ней даже на учениях, а букет - просто выполнил просьбу. Просьбу любую можно выполнить.

Если упрекнуть Гурама, что он не говорит больше об их любви, о ее глазах, он обязательно скажет много хороших слов.

Но силы в них не будет. Надо, чтобы говорить об этом хотелось самому.

Оставаться в комнате Валя больше не могла. Она вышла на улицу и, чтобы никого не встретить, направилась не к центру, а в сторону гипсового завода по хорошо знакомой дороге, ведущей в швейную мастерскую.

В восемнадпать лет трудно решать сложные жизненные вопросы. Посоветоваться бы с кем-нибудь, да кто же в таком деле даст сосет. Раньше, о чем бы ни шла речь, у нее был умный и надежный советчик - Гурам. А теперь? Валя почувствовала одиночество.

Слезы снова подступили к горлу.

Хорошо плакать, если тебя успокаивает сильная мужская рука. Слезы еще текут, еще всхлипываешь, а обида уже прошла, и на душе уже спокойно и радостно. И все недоразумения выяснены, они, оказывается, совсем пустячные, и еще сильнее чувствуешь, как тебя любят...

И все-таки она права. После того как он хлопнул дверью и тек легко отказался от нее, она не должна о нем думать. Надо найти в себе силы перенести этот разрыв. Потом будет легче. Еся жизнь впереди.

Внимание Вали отвлекло большое скопление людей у переезда. Подойдя ближе, она увидела милицию и солдат с красными флажками, оцепивших железнодорожный переезд и гипсовый завод. Пожилой лейтенант милиции уговаривал людей разойтись, взывал к их сознанию.

- А мне домой надо! - горячился паренек в ремесленной форме.

- Я же вам объясняю, товарищ, - спокойно отвечал лейтенант, - дорога перекрыта по техническим причинам.

Люди собирались группами, оживленно говорили.

К одной из них подошла Валя. И здесь она узнала, что найдены снаряды и мины, которые должны были "взорваться в сороковую годовщину Октября". Это известие поразило ее и отвлекло от собственного горя, "Какие молодцы, что обнаружили заговор, - подумала она, - наверное, солдаты раскопали".

Валя прошла ближе к оцеплению. Здесь тоже горячо обсуждалась новость, но передавали ее совсем иначе.

Снаряды действительно нашли, но никакая это не диверсия. А откуда они взялись, сейчас как раз выясняют.

И опасности они особой не представляют. Район же оцеплен для того, чтобы население не мешало военным.

Валя увидела старшину Тюрина, которого хорошо знала, и рядом с ним незнакомого капитана. Но она догадалась, что это

командир роты. Именно таким и представлялся он по рассказам ребят.

Она машинально стала всматриваться за линию оцепления. "Может быть, и Гурам здесь", - мелькнула мысль. Но вокруг были только чужие лица. "Да что же это я?" - вдруг спохватилась она и быстро пошла обратно.

Домой вернулась почти совсем успокоенной. Если он мог так просто уйти, значит, не стоит он того, чтобы о нем жалеть. Сейчас главное - хорошо осознать эту мысль. Тогда легче будет все перенести. Плохого она ему не желает, потому что и сама от него плохого не видела. Значит, просто не судьба. Надо смириться.

Она уже совсем успокоилась, приготовила постель, но спать не хотелось. Вырвала из тетради лист бумаги и начала писать:

"Дорогая мама! Новостей у меня нет никаких, все по-старому. Настроение хорошее..." Слеза капнула на бумагу, и слово "хорошее" расплылось...

* * *

Работа началась на рассвете.

За спиной у Ивана Махалова - ранец, от которого тянутся два провода: один к наушникам, другой к длинкому стержню, заканчивающемуся кругом. Обеими реками Иван держит стержень и водит им перед собой. Описывая большую дугу, точно коса, срезающая траву, только очень медленно, плывет круг над самой землей. Тихо и монотонно жужжит в ушах. Но вот звук становится отчетливей и неприятней, будто большая муха носится под потолком пустой комнаты. Иван настораживается. Чувства его обострены. Еще медленней плывет круг. И вот уже муха у самой барабанной перепонки. Хочется тряхнуть головой, отогнать ее.

Стоп! Именно это место под кругом таит опасность.

Здесь скрыт металл. Что там спрятано, миноискатель не скажет. Может быть, под землей снаряд или мина, а возможно, просто кусок железа. Это станет ясно, когда вскроют верхний слой грунта.

Иван стоит секунду не шевелясь, вслушиваясь, радуясь добытому звуку, оценивая его, точно настройщик музыкального инструмента. Потом кивком головы подает знак Дмитрию Маргишвили, идущему сзади, и тот осторожно втыкает в землю маленький флажок:

красный треугольный флажок, с каким дети выходят на праздник.

Минеры идут дальше. Идут очень медленно. Торопиться нельзя. Надо выслушать каждый сантиметр земли. Надо уловить звук металла, лежащего под землей. Надо искать звук металла, как опытный врач ищет посторонние шумы в сердце и в легких

человека. Надо точно определить, где язва, очертить границы пораженной зоны.

Когда врач ищет поврежденное место, скрытое в живом организме, он ощупывает тело человека и ждет, пока тот скажет "больно". Земля, начршенная минами, чувствительнее живого организма. Но она - немая.

Она ничего не подскажет минеру. Солдат не имеет права ступить на пораженную зону. Под тонким слоем грунта может оказаться противопехотная мина. Она рассчитана на вес ребенка.

В нескольких метрах от первой пары минеров, параллельно им, идут старшина Тюрин и сержант Голубенко. За ними тоже остае!ся красный след флажков.

Флажки трепещут на ветру.

Медленно ступают люди, не замечая, как быстро летит время. И вот уже две пары минеров движутся навстречу друг другу. Уже сомкнулись флажки, образовав красивый, почти правильной формы эллипс.

Он - как ограда клумбы. Его площадь шестьдесят квадратных метров. И под всей его поверхностью, под землей, металл. Что он собой представляет?

По находке экскаваторщика Шергунова можно сделать предварительный вывод: это снаряды. Возможно, они уложены только в один ряд и на них нет взрывателей, значит, и никакой опасности нет. А может"

быть, это глубокий колодец, заполненный боеприпасами, хитро заминированными, неизвлекаемыми, к которым нельзя прикасаться. Судя по найденным снарядам, так это и должно быть.

Если боец найдет заряженную винтовку, он без труда разрядит ее. Для каждого вида оружия есть только один способ зарядки. Для каждого, но не для мины.

Мина - это всегда тайна. Как обезвредить мину, знает лишь тот, кто ее ставил. Те, кто снимает мину, должны раньше разгадать, как она уложена. Может быть, еа нельзя приподнимать с места, а на ней делай что хочешь, хоть пляши. А возможно, наоборот, она взорвется от малейшего давления сверху, но без всякого риска ее легко поднять и унести. Бывает, что мину нельзя передвигать в какую-нибудь сторону, но в какую именно - неизвестно. Бывает, что с миной вообще ничего нельзя делать, ни передвигать, ни поднимать, ни давить на нее - она не извлекаема.

К ней может быть протянута замаскированная проволочка. Чтобы обезвредить мину, надо перерезать проволочку. Но случается, что именно от этого все и взлетает на воздух. Никто не знает, сколько существует способов минирования. Сколько

минеров, столько и способов. Впрочем, куда больше. Каждый минер может придумать десятки способов закладки любой мины. Все зависит от его квалификации и фантазии.

Кстати, что такое мина, сколько типов и видов ее существует, тоже никто не знает, хотя в учебнике они перечислены. Сапер без особого труда превратит в мину любой снаряд. Да и не только снаряд. Все, что может взрываться, в руках опытного минера быстро превращается в мину.

Опытный минер страшен. Он может замаскировать мину так, что обнаружить ее почти невозможно. Включишь зажигание автомашины - взрыв. Откроешь дверь в заброшенном сараюшке - взрыв. Поднимешь с земли самопишущую ручку останешься без пальцев. Переходя ручей, ступишь на единственную спору посередине потока - погибнешь. Но опытный минер на это ставки не делает. Он считает, что против него будет действовать такой же мастер, как и он сам. Он знает, что его мину обнаружат и будут снимать. Надо сделать так, чтобы тот, кто снимает, погиб. Уже закладывая мину, он начинает поединок с невидимым врагом.

Как шахматист должен предвидеть действия противника на много ходов вперед, в зависимости от собственного хода, так и минер, закладывая мину, должен знать, что будет делать с ней противник, предугадать ход его мыслей. В этом анализе и рождается ловушка. Ловушка, которая должна обмануть бдительность минера.

Когда вступают в поединок два летчика, перед каждым ясная картина. Мгновенно оценивается оружие врага, его опытность, видна его машина, его маневр.

В поединке минеров ничего не ясно. Обнаружив очень просто заложенную мину, опытный минер никогда не станет сразу снимать ее. Эта простота может быть маскировкой, скрывающей способ минирования. И если даже неопытный человек закладывал мину и следы неопытности видны, тот, кто снимает мину, не верит им.

Они тоже могут быть лишь маскировкой.

Чтобы обезвредить мину, надо провести исследовательскую работу. Но это работа не в тиши научного кабинета или лаборатории, где главное достигается экспериментом. Попробовал один способ - не получилось, можно делать другой эксперимент, третий, десятый. Здесь эксперименты недопустимы, они смертельны.

...После того как определили границы опасной зоны, было принято решение вскрывать грунт. Три группы, руководимые капитаном Горелихом и командира14 .и взводов Поротиковыи и

Ивашенко, приступили к делу.

Счистив лопатками только самый верхний слой земли, взялись за сагерные ножи. Миллиметр за миниметром офицеры и солдаты лежа на земле, срезали грунт с эллипса, пока не обнажили содержимое склада.

Пересыпанные землей, точно тюленьи спины из воды, торчали десятки снарядов с ввернутыми взрывателями, готовые к действию.

Офицеры молча смотрели на открывшуюся картину.

- Ясно, - нарушил кто-то молчание.

- Ничего не ясно, - как бы самому себе сказал полковник Диасамидзе и, обращаясь к Горелику, добавил: - Надо определить глубину склада. Пока не узнаем точно, что он собой представляет, ни к одному снаряду не прикасаться.

Возле склада остались только командир роты и его подчиненные. Отступив на метр от эллипса, прорыли вокруг него траншею, а оттуда в четырех местах сделали ходы к складу. На глубине двух метров так же, как и сверху, лежали снаряды. Еще на метр углубили траншею, снова с боков подобрались к колодцу и обнаружили наконец его дно.

К месту работ пригласили Диасамидзе.

- Как вы оцениваете положение? - спросил он Горелика.

- "Высота три метра, площадь основания - шестьдесят. Расчет на гигантский взрыв.

- А что внутри между снарядами? Сколько их?

Как они сюда попали, для чего заложены?

Капитан молчал.

- Как попали, положим ясно, - заметил подполковник Бугаев, - немцы заложили. А почему вся эта махина не сработала, вот вопрос.

Прежде чем продолжать разведку, предстояло ответить на многие вопросы Минер не имеет права действовать, пока точно не будет знать, с чем имеет дело.

Надо было раскрыть тайну ямы.

В данном случае оказалось недостаточным изучать только ее содержимое Многое могла подсказать обстановка, при которой действовали немецкие минеры.

А было это пятнадцать лет назад.

Годы работали в пользу врага. Если мина - всегда тайна, то сотни их, пролежавшие столько лет под землей, это клубок тайн.

Начинать приходилось издалека. Полковникам Диасамидзе, Кирьянову, подполковнику Бугаеву хотелось узнать обстановку тысяча девятьсот сорок третьего года, когда немцы были изгнаны из Курска.

Поединск начался.

Пока старшие командиры решали, как быть дальше, солдатам предоставили отдых. По дороге в казарму они встретили Валю, шедшую на работу.

Встреча с Валей всегда была приятна им. А сейчас вдруг стало неловко, будто провинились в чем-то. Да и сама она смутилась. Поздоровавшись, Махалов отвел ее в сторону:

- Что у вас случилось, Валя? Поссорились?

- А Гурам что говорит? - спросила она вместо ответа.

- Ничего не говорит, рычит на всех как сумасшедший, вот и все.

- Он здесь?

- Нет, ему завтра ехать, капитан велел от всех работ освободить.

Иван увидел, как при этих словах изменилось лицо Вали, но он был совсем не приспособлен успокаивать девушку. Ему стало очень жаль ее, а что сказать он не знал.

- Ты не стесняйся, - наконец нашелся он, - если обидел, скажи, мы ему...

- Нет, нет, - испугалась Валя. - Ничего не надо говорить Гураму, пусть сам... И то, что меня встретили, не говорите... До свидания, Ваня. - И она вдруг быстро пошла.

- Ну что? - спросили Ивана товарищи, дожидавшиеся в сторонке.

- Видно, обидел ее Гурам... Да разве она скажет!

Все снесет, а не пожалуется.

- И что могло случиться? - пожал плечами Мзргишвили. - Такая дружба народов была, а теперь - скандал.

Шутке Дмитрия никто не улыбнулся.

- В другое время - не страшно, через недельку помирились бы, - заметил Голубенко, - но сегодня же последний день...

Прошли немного молча.

- А что с ямой делать будем? - опять заговорил Голубенко.

- А что с ней сделаешь, к ней не подступишься, - сказал Махалов.

- Так оставим, - насмешливо констатировал Дмитрий.

- Зачем так, - ответил Иван, - взорвэм.

- И фашист хотел взорвать, значит, поможем ему.

- А черт его знает, чего он хотел, - выругался Иван.

* * *

Что думал враг? Чего он хотел?

Ответ на эти вопросы искал военный комендант города подполковник Георгий Митрофанович Бугаев.

На протяжении многих лет, изо дня в день, жизнь ставила

перед ним подобные загадки. Почти всю свою сознательную жизнь он сражался с врагом, хотя и на довелось ему участвовать в войне с гитлеровской Германией. Это были и открытые бои, но чаще всего поединки с невидимым противником, столкновения с вражеской хитростью, выдержкой, коварством, разумом.

В тридцатых годах, в период беспрерывных провокаций самураев на наших дальневосточных границах, совсем еще молодой лейтенант Георгий Бугаев командовал дсобым отрядом. У него не было постоянного места дислокации. Его хорошо вооруженные люди жили в горах. Его позывные знали те, кому положено было их знать. Туда, где были схватки, словно гром в ясный день, налетал отряд Бугаева.

Георгий Бугаев обладал характерной для простого русского человека удивительной сметкой, каким-то особым, внутренним чутьем. Его прозорливость, настойчивость и упорство поражала даже старых, видавших виды пограничников. Такого человека режь на куски, а он не отступит от своего.

Что затевал враг? Как часто лсмал голову над этим вопросом Бугаев. Однажды из своего укрытия на берегу скованного льдом Амура он наблюдал бой самураев с китайским партизанским отрядом по ту сторону реки.

"Неопытный командир у японцев", - подумал лейтенант. Обычно, если сталкиваются их крупные силы с немногочисленным противником, самураи прежде всего стремятся отрезать ему пути к отходу. А здесь они окружили подковой отряд, оставив выход к реке.

Но в следующую минуту Бугаев понял, что ошибся.

Японцы явно не собирались уничтожать отряд или захватить его в плен. Людей гнали на лед, на советскую сторону.

Что затеял враг? Чего он хочет? Пустить версию, будто китайские партизаны связаны с русскими пограничниками? А партизаны ли они? Японцы бьют в них минами, которые разрываются как-то странно и не поражают людей.

...Почему мелькнула новая мысль Бугаев и сам не знает, но когда восемьдесят три измученных человека достигли советского берега, по совету Бугаева их встретили врачи и предложили разбить лагерь в совершенно изолированном месте. Вскоре был поставлен диагноз: и люди, и лошади заражены инфекционными болезнями. Подозрения молодого лейтенанта оправдались: в самурайских минах были бациллы

Как-то вместе с отделением бойцов оч гнал плот с продуктами. Погона изменилась вдруг, точно тайфун пронесся по рекэ, и снова все стихло. Но за это короткое время случилось многое. Плот отбросило на середину рэки, в самое страшное

место - в водоворот на крутом изгибе русла. С неудержимой силой плот понесло на вражескую сторону и разбило на скалистом островке у самого берега.

- Оружие! - скомандовал лейтенант и подозвал сержанта Бочарова. Это был спортсмен-разрядник, лучший пловец части. - Доплыви, Бочаров, на заставу, - тихо произнес он. - Не погибни, прошу тебя.

Бочаров нырнул в пучину.

- Не смотреть! - негромко сказал лейтенант бойцам, провожавших глазами товарища. И, поясняя свою мысль, добавил: - Мы будем смотреть, а японцы вслед за нами.

И действительно, на берегу мелькнула и скрылась фигура самурая, а спустя некоторое время как из-под земли вырос и уставился на них офицер.

Его было хорошо видно. Он стоял подтянутый и стройный, точно ожидая рапорта. Бугаев никогда не видел этого человека, но по многим признакам узнал его: лейтенант Кисю. Опытный, хитрый и умный потомственный самурай. Своей выдумкой и неисчерпаемой изобретательностью в нарушении наших границ он доставлял Бушеву немало хлопот. И втайне советский лейтенант мечтал встретить его и взять живьем.

И вот встреча состоялась.

Кисю молча смотрел на островок, словно оценивая добычу, и девять советских воинов с оружием в руках, на чужой территории, смотрели на японца.

И вдруг его суровое лицо смягчилось, он улыбнулся, и такая искренняя радость и приветливость отразились на этом лице, будто он встретил самых дорогих и близких людей. Он стоял и улыбался, не произнося ни слова, и его улыбка действовала сильнее, чем щелканье затвора.

Ветра как не бывало. Тихие волны плескались у скалистого островка.

- Если я не ошибаюсь, - заговорил наконец КиСЮг- ко мне в гости пожаловал товарищ Бугаев.

И лицо его еще более расплылось в улыбке.

- Прошу извинить, что я называю вас "товарищ", - продолжал он, - дома вас, наверное, так называют, и мне хочется сделать вам приятное. Мне хочется, чтобы вы чувствовали себя как дома. И, кроме того, у нас одинаковая работа. Мы должны задерживать нарушителей границы. Не правда ли? Значит, мы - товарищи. - И он рассмеялся громко и весело.

Смех оборвался сразу. Лицо его стало серьезным, но он очень просто и даже приветливо продолжал:

- Сейчас подойдет моя лодка. Вам будет удобнее, если она

раньше отвезет ваше оружие, а потом налегке вернется за вами. Пока же прошу сложить оружие в одно место на землю.

Кисю говорил на чистом русском языке, не коверкая слов, с мягким акцентом. Во всем его тоне была приятная доброжелательность, и его слова об оружии выглядели так, будто хороший хозяин объясняет гостю, куда повесить зонтик.

Длинная речь японца была выгодна Бугаеву. Главное сейчас - оттянуть время. Оно часто имеет решающее значение. Но сегодня - это жизнь. Бугаев хорошо знал о событиях прошлой ночи. На нашем берегу в эту темную ночь пограничники задержали большую группу японских разведчиков. И хотя цель их прихода была ясна, те настойчиво доказывали, будто потерпели аварию на реке. Разведать им ничего пэ удалось, и, чтобы не осложнять обстановку, решили отпустить FX, как только последует запрос японцев. Нота прешла, но ответ ка нее епте не был дан. Если Бочаров доплыл, то интернированных отпустят только в обмен на группу Бугаева. Это стамэ для него совершенно ясно.

Вот почему тек важно было затянуть надолго переговоры.

Советский лейтенант решил принять предложенный Кисю вежливый, полуофициальный тон, завязать длинную беседу, но оружия не сдавать, на берег не высаживаться.

Он ответил Кисю, что действительно он - Бугаев, что рад теплому приему и надеется на помощь японского офицера, который, несомненно, видел, как группа советских людей потерпела аварию. Ч го касается оружия, то ему кажется странным требование Кисю.

Бугаев говорил долго, каждую свою мысль тщательно обосновывал, мотивировал, приводил примеры, объяснял, как его группа оказалась здесь.

Японец слушал молча, и Бугаеву стало ясно, что его тактика разгадана. Это тут же подтвердил Кисю. Властно и категорически он потребовал немедленно сдать оружие, не ответив ни на один довод советского офицера.

Бугаев попросил продолжать разговор в том же достойном тоне, ибо он, Бугаев, хорошо знает выдержку самурая Кисю, а солдаты могут подумать, будто японский офицер теряет эту выдержку.

Задез честолюбивую струнку японца, лейтенант выгадал много времени, ибо тот снова начал демонстрировать свое равнодушие и спокойствие. И все же он решительно заявил, что прикажет стре/хять, если оружие немедленно не будет сдано. В доказательство его слов из невидимых ранее выступов в скалах показались стволы карабинов.

- Я вынужден буду защищаться, - заявил Бугаев и подробно

объяснил, почему не может поступить иначе, какие осложнения вызовет ненужное кровопролитие.

И все же настал момент, когда тянуть больше было нельзя. Кисю уже окончательно выходил из себя, самураи приготовились открыть огонь.

Бугаев не мог посмотреть на часы, не вызвав подозрения. Ему казалось, прошло уже часа два, как они торчат на этом островке. Если Бочаров доплыл, значит, должен быть уже какой-то результат.

И лейтенант предпринял новый маневр, опасный и рискованный, но единственный для новой оттяжки времени.

- Я не могу больше кричать и вести переговоры при всех, - заявил он. Прошу прислать за мной лодку.

Дав указание солдатам в случае необходимости сражаться до последней возможности, назначив старшего и взяв с собой одного человека, Бугаев сел в лодку.

И снова начались длительные переговоры, и снова настал момент, когда говорить больше уже не было возможности.

- Хорошо, - согласился советский лейтенант, - ваши условия я должен передать своим солдатам и посоветоваться с ними.

- Офицер с солдатами не советуется! - отчеканил Кисю.

- У нас - советуется, - спокойно возразил Бугаев.

Сидя здесь, в палатке на опушке леса, он мучительно думал, что же еще сказать чертову самураю. И в это время японцу принесли пакет.

Ничего не отразилось на лице Кисю, когда он прочитал содержимое конверта.

- Извините, пожалуйста, я отвлекся немножечко, - доверительно сказал он, кивнув на пакет, - письмо из дому, хотелось прочитать сразу.

"Никакое это не письмо из дому, - подумал Бугаев. - Стал бы он вступать в объяснения, когда уже едва сдерживается. Еще бы! Столько времени прошло с тех пор, как добыча сама пришла в руки, а дело не сдвинулось ни на шаг. Нет, это не письмо из дому. Просто доплыл Бочаров и меры приняты".

А Кисю вдруг заговорил мягко и вкрадчиво:

- Знаете, господин Бугаев, не должен офицер иметь жену. Вот прислала письмо, и я уже размягчился. Я подумал, господин Бугаев, - оба мы офицеры и у нас нелегкая служба. Я отпущу вас, но вы должны дать мне слово, что, если я случайно окажусь на вашей территории, вы проявите ко мне такое же благородство.

- Я могу дать вам слово, - ответил Бугаев, - что если вы окажетесь у нас действительно в результате несчастного случая, то будете отпущены.

Спустя пятнадцать лет начальник крупного лагеря военнопленных японцев принимал очередную партию самураев разгромленной Квантунской армии.

- Господин майор Бугаев, - обратился к нему один из пленных, - надеюсь, вы не забыли данное мне слово.

- А-а, майор Кисю, здравствуйте.

Тот вежливо поклонился.

- Положение ведь совсем другое, господин майор, - сказал Бугаев. - Я терпел стихийное бедствие, а вас взяли в плен в открытом бою. Да и, кроме того, отпустили меня вы по приказу в обмен на ваших разведчиков.

Через месяц изобретательный майор Кисю тщательно подготовил крупный мятеж. Бесхитростный Бугаев вовремя разоблачил его. Мятеж не состоялся.

- Это очень опасный человек, - сказал Бугаеву генерал, - возьмите его под личное наблюдение.

Начальник лагеря не часто беседовал с Кисю, но показывал ему советскую жизнь. Показывал предприятия, местные Советы, школы, клубы.

Через четыре года, на процессе японских военных преступников, одним из свидетелей был майор Кисю.

Он привел факты многих провокаций самураев, раскрыл подлинное лицо видных военных преступников.

Так окончился поединок двух лейтенантов.

Военный комендант города Курска подполковник Бугаев не думал, что в этом мирном городе, далеко удаленном от границ, в мирное время может встать вопрос: "Что задумал враг?" Но этот вопрос поставила жизнь.

Чего же хотел враг?

Вот что удалось выяснить военному коменданту.

В декабре сорок второго года фашистский листок "Курские известия", выходивший в оккупированном городе, напечатал статью "Напрасная тревога", в которой оповестил, что "большевизм окончательно разбит и никогда Советская власть в Курск не вернется".

Крикливый и самоуверенный тон статьи выдавал подлинную тревогу гитлеровцев перед мощным наступлением Советской Армии. После потери Воронежа и Касторной гитлеровское командование намеревалось закрепиться в Курске Сюда были стянуты крупные силы, подвезено огромное количество боеприпасов, Готовился плацдарм для длительного сопротивления.

Советские войска разгромили четвертую танковую, восемьдесят вторую пехотную и добили остатки еще четырех дивизий, пришедших из-под Воронежа. Участь Курска была решена.

Перед гитлеровцами встал вопрос: что делать со складами боеприпасов, где находилось более миллиона снарядов и пятнадцать тысяч авиационных бомб? И фашисты придумали сложную систему минирования, которая должна была привести к взрыву миллиона снарядов в момент прихода в город советских войск.

К работе приступили немецкие специалисты - пиротехники, электрики, минеры. Все было сделано для того, чтобы осуществить намеченный план.

Восьмого февраля тысяча девятьсот сорок третьего года Советская Армия освободила Курск. Но взрыва не последовало. Что же произошло?

* * *

После окончания Ленинградского военно-инженерного училища комсомолец Анатолий Чернов был направлен в Сибирь, в одну из формирующихся частей, а спустя полгода - на Воронежский фронт. Здесь в тысяча девятьсот сорок втором году, и на девятнадцатом году своей жизни, он получил первое боевое крещение и первое ранение. Но уже на подступах к Касторной взвод саперов под командованием лейтенанта Чернова делал проходы во вражеских минных полях.

До самого Курска Чернов шел или полз впереди наших войск, убирая с их пути противотанковые и противопехотные мины, "сюрпризы", фугасы, разминировал дома, переправы, мосты.

Восьмого февраля сорок третьего года Анатолий Чернов в числе первых советских воинов появился на окраине Курска. Весь день он снимал мины, оставленные врагом. А поздно вечером его вызвал командир саперного батальона капитан Дегтярев.

- По данным разведки, - указал капитан на карту, - вот здесь, в районе Дальних парков, остался в полном порядке крупнейший склад боеприпасов. На охрану его я послал старшего сержанта Зайцева и двух солдат. Отправляйтесь туда завхра пораньше и посмотрите, что к чему.

На рассвете лейтенант Чернов вместе с саперами Картабаевым и Синицыным тронулись в путь. Шли на лыжах напрямик через пустырь. Из глубокого снега выглядывали стволы разбшых орудий и пулеметов, повсюду валялась изуродованная техника. Перэпутанные, разорванные провода линий связи то прятались в снегу, то огромными спиралями вылезали наружу.

Вдали виднелись остатки сгоревших донов, зияли черные

воронки.

Искать склад не пришлось. Большая территория, прилегающая к трамвайному парку, опоясанная высоким двойным забором из колючей проволоки, была видка.

У ограды Чернова и его спутников встретил старший сержант Зайцев. Он доложил лейтенанту, что склад занимает несколько квадратных километров и весь заполнен боеприпасами. Они находятся в трех кирпичных и более чем в двадцати деревянных хранилищах, уложены прямо на земле.

Саперы направились в глубь склада, по дороге заглядывая в каждое хранилище. Всюду мины, снаряды,, тол, бомбы. Между хранилищами высились штабеля боеприпасов, наполовину занесенных снегом. Стало ясно, что бежали отсюда поспешно, не успев навредить.

Штабеля были уложены аккуратно, по всем правилам хранения взрывчатых веществ. Ка каждом таблички с четко выведенными надписями: "Противотанковые мины. 1000 шт.", "Внимание! Снаряды с ввернутыми взрывателями. 203 калибр. 500 шт.", "Осторожно!

Капсюли-детонаторы", "Внимание! Русские снаряды".

Черная, красная, желтая, сиреневая окраска снарядов и бомб указывала их назначение: бронебойные, бетонобойные, осколочные... На ящиках со взрывчаткой, похожей на фруктовый кисель в порошке, той же стандартной формы надпись: "Доярит", а ниже - вес каждого ящика и общее их количество. Ка одной из табличек после цифры "1500" написано мелом: "Выдано 500. Остаток- 1000".

Лейтенант Чернов знал немецкий язык. Эти таблички, как бухгалтерская книга, как опытный кладовщик, раскрывали перед саперами все богатство трофеев.

Подсчитать их было не трудно: более семисот тонн взрывчатки, двенадцать тысяч снарядов, пятнадцать тысяч противотанковых мин, около трех тысяч авиационных бомб, два мощных понтонных парка и другое имущество. Кроме того, на подъездных путях стояло восемнадцать вагонов с боеприпасами.

В конторке задернутая занавеской висела схема склада с указанием, где и что находится. Выделялась надпись, сделанная крупным красным шрифтом. Она предупреждала о том, что полоса земли между внешним и внутренним колючим забором заминирована.

Видимо, там были уложены мелкие противопехотные пины типа "лягушка". Осколков у мины не бывает.

Убить человека она не может. Наступишь на нее, она оторвет пальцы на ноге или пячку, даст сигнал, что на склад кто-то

пробирается.

В какой же панике бежали отсюда, если все оставили в образцовом порядке! Саперам предстояло лишь "принять" и оприходовать содержимое склада.

На всякий случай решили на выборку проверить, точны ли надписи и цифры, Чернов и Картабаев приступили к работе у одного из штабелей, а Зайцев и Синицын отправились в глубь склада.

Лейтенант и солдат пересчитали большой штабель ящиков с толом и убедились, что цифры на табличке указаны правильно. Чернов записал в свою книжечку общее количество боеприпасов по видам и назначению.

Делать здесь больше было нечего.

Но что-то мешало Чернову уйти, и он злился на самого себя, не понимая, что же его удерживает в этом аккуратном складе, когда в батальоне работы по горло. И как только в голове мелькнула зта мысль, он понял: именно эта аккуратность, этот образцовый порядок, предостерегающие надписи и раздражали его.

Будто фашисты заботились, как бы здесь по неосторожности не подорвался советский минер. Неужели не могли сорвать хотя бы схему склада с указанием на то, что ограда заминирована! Так выглядит склад, подготовленный к инспекторскому смотру, а не оставленный противнику.

- Ну-ка, давай посчитаем, сколько шашек в ящике! - решительно махнул рукой Чернов, обращаясь к Картабаезу.

Лейтенант подошел к одному из ящиков, у которого крышка была прижата не плотно, и чуть-чуть приподнял ее. Приподнял настолько, чтсбы увидеть, не тянется ли за ней проволочка, веревочка или цепочка - эти извечные враги минеров.

- Осторожно, гвозди! - испуганно предупредил Картабаев, видя, что лейтенант чуть ли не всовывает голову под крышку. Солдату показалась излишней сверхосторожность лейтенанта в этом складе, где о любрй опасности предупреждали надписи. Да и в самом деле, ничего опасного на внутренней стороне крышки лейтенант не обнаружил. Он увидел лишь толовые шашки, сверху занесенные снегом. Но и это, конечно, естественно, потому что крышка была закрыта не плотно, и снег намело в щели. Можно было смело открывать ее. Но Чернов медлил. Он повернул голову и, казэлось, уже не осматривает, а выслушивает ящик.

Потом совсем открыл крышку и приложил ухо к шашкам.

Тик-так, ткк-так, тик-так... - услышал он теперь совершенно отчетливо.

- Вот тебе и табличка! - сказал Чернов, разгибаясь.

- МЗД! - поразился Картабаев, тоже выслушав ящик.

- Да, мина замедленного действия. Предупреди Зайцева, бегом! скомандовал лейтенант, снова наклоняясь над толом. Он начал аккуратно расчищать пальцами снег. Показался винт толщиною в карандаш, с большой плоской головкой. От него тянулась тоненькая цепочка. Вот она где, проклятая!

Прежде всего надо убрать снег, установить, куда она идет.

Погода стояла теплая, снег подтаял, превратился в плотную, тяжелую массу, Отделять его от цепочки трудно. И хотя было тепло, сразу же замерзли кончики пальцев, закололо под ноггями. Цепочка оказалась короткой, и второй ее конец свободно болтался. Значит, опасность представляет не она....

Вернулся Картабаев, и лейтенант послал его осмотреть соседнее хранилище.

Время от времени дуя на пальцы, отогревая их под мышками, Чернов очишал снег, пока не оголил весь корпус часового взрывателя. Он был похож на графинчик с узким горлом. Такой механизм лейтенант видел впервые. Надпись "J Feeler 504" ничего ему не говорила, На корпусе - маленькое стеклянное окошко.

Сквозь него видно красивое зубчатое колесико - маятнкк. Тик-так, тик-так, тик-так,.. - выстукивает оно.

Колесико отсчитывает время, оставшееся до взрыва.

Как остановить часы, лейтенант не знал, значит, и браться за это дело не следовало. Он решил унести ящик на пустырь, подальше от этого огромного склада, а там уж подумать, что с ним делать. Собственно, и думать нечего. Положить в воронку и взорвать из укрытия. Подходящую воронку он видел на пустыре.

Взрыв будет небольшой и вреда не принесет.

Чтобы не терять времени до возвращения Картабаева, Чернов решил пока проверить, не связана ли мина замедленного действия с другими ящиками. Руками и ножом расчистив вокруг снег, он попытался немного приподнять опасный груз, Ящик не шелохнулся. Лейтенант сделал еще одну попытку сдвинуть ящик с места, потом напряг все силы, но результат был тот же.

После тщательного осмотра штабеля у лейтенанта совсем опустились руки. Верхние ящики оказались соединенными между собой намертво и представляли единое целое, как ячейки в сотах. Видимо, сначала Сбили гвоздями их боковые стенки, а потом заполнили Шашками.

Можно повытаскивать шашки из соседних ящиков, раздобыть пилу, перерезать дощечки и высвободить ящик с миной замедленного действия. Но все это сложно и займет много времени. Да и какая гарантия, что верхний ряд так же намертво не соединен с нижним?

Конечно, соединен!

Нет, не удастся лейтенанту унести мину. Враг оказался хитрее. Он предвидел такое легкое решение, и Лишил возможности советского минера выполнить это решение.

Оставался последний выход: вернуться к уже отвергнутому плану остановить часы.

Враг знал, что будет единственный выход - обезвредить мину на месте. Он подготовил и здесь "сюрприз". Так думал Чернов. И он вступил в борьбу с невидимым врагом.

Как молоточек будильника застучит по звонку в ту минуту, на которую поставлена стрелка, так и здесь острие бойка поразит капсюль точно в назначенное врагом время. Но стрелка будильника показывает, когда будет звонок, а когда сработает часовой взрыватель, знает только тот, кто его ставил. По делениям на дисках и штифтику можно определить, через сколько времени после установки механизма должен быть взрыв. Но как узнать, когда сделана установка? Когда завели часы? Это тоже известно только грагу. А колесико - тик-так, тик-так, тик-так... Может быть, оно отсчитывает последнюю минуту огромного склада и Есего города, и остались только секунды, чтобы остановить механизм. А возможно, взрыв должен произайти через несколько дней, и есть возможность спокойно во всем разобраться, посоветоваться, доложить командиру. Рассчитывать на этот наиболее удобный случай сапер не имеет права. Он обязан немедленно обезвредить склад. Он не покинет этот арсенал, внутри которого заложена мина замедленного действия. Он должен остановить часовой механизм...

Началась работа минера. Работа нервов.

По надписям, делениям, цифрам, указателям Чернов определил, что перед ним часовой взрыватель, рассчитанный на двадцать одни сутки. Поставлен он на пять суток, четыре часа и десять минут. Но когда поставлен? Когда истекут эти дни, часы, минуты? С момента изгнания немцев прошел один день. Если часы завели перед самым бегством, значит, впереди много времени.

А если механизм работает уже шестые сутки?

Красный треугольник подвижного кольца, опоясывающего корпус, стоит против красной риски: часы поставлены на "взрыв". Об этом говорит и надпись "Geht", что означает - механизм "идет". Надо повернуть кольцо так, чтобы красное острие совместилось с белой риской, где написано "Steht" "стоит". Но надо ли? Может быть, именно на этот поворот кольца и рассчитывал враг? Повернешь кольцо, и оно сработает, как выключатель, соединятся скрытые контакты и грохнет взрыв, каких еще не знала война.

Ведь только на этом складе сосредоточены тысячи тонн боеприпасов.

Можно отвернуть нижнюю крышку и посмотреть, что внутри. Ко можно ли?

Стоять и раздумывать, безусловно, нельзя. Ведь часы идут. Каждые полсекунды об этом напоминает тиканье маятника.

Какое огромное искушение покрутить, повертеть эти кольца, винты, штифтики! Ведь должен остановиться маятник!

Должен. Но экспериментировать нельзя. И трогать ничего нельзя, пока не будет разгадана тайна мины.

Повернуть что-либо можно только в том случае, если есть гарантия, что за этим не последует взрыв. А где взять такую гарантию, когда мина неизвестна?

Снимать неизвестную мину - всегда трудно. Но если в ней часовой механизм... человека со слабыми нервами она может свести с ума. Это монотонное, едва уловимое тиканье, ритмичное, назойливое, неотвратимое, заставляет прислушиваться к нему, не дает сосредоточиться, подавляет волю.

Экспериментировать нельзя! Надо собраться с мыслями, надо спокойно, не прикасаясь к мине, не торопясь, разгадывать ее тайну.

"Ско-рей, ско-рей, ско-рей" - тикает проклятое колесико. Взгляд устремляется к нему. Его хорошо видно сквозь стеклянное окошко, это новенькое, отшлифованное, сверкающее медью зубчатое колесико: тиктак, тик-так...

Над ним тоненькая, словно из волоса, спиральная пружинка. Она свивается и развивается. Кажется, что она дышит. С каждым вдохом и выдохом колесико метнется то вправо, то влево. Каждый его поворот отсчитывает полсекунды. Тик-так - одна секунда.

Вдох-выдох - еще одна. Какой-то вдох или выдох будет последним.

Часы идут. Очень точные, тщательно выверенные, сработанные на алмазных камнях лучшими немецкими мастерами. Тот, кто приказал поставить их сюда, будет по секундомеру ожидать взрыва. Они не подведут его.

Они не отстанут и не уйдут вперед. Они выполнят его волю. Он будет точно знать, в какую минуту посылать разведывате/ хьный самолет, чтобы определить размеры бедствия. Он будет точно знать минуту, на которую назначить атаку.

Его волю должна сломить воля минера.

Смотреть на маятник нельзя, как нельзя верхолазу смотреть вниз: работать не сможешь. Но оторвать взгляд от маятника трудно. Это единственная видимая деталь работающего механизма. Именно она отсчитывает секунды, оставшиеся до

взрыва. Она притягивает, околдовывает. Она подчиняет мысли и движения своему ритму. К этому ритму подходят любые слова. И отстукивают в голове самые страшные из них:

"Не снять, не снять..."

На каком же ударе должен быть взрыв?

"Сей-час, сей-час, сей-час..."

Грохнуть бы куле ком по этой нежной пластмассовой оболочке, раздробить к чертям стеклышко, колесики, штифтики...

Такие мысли - первый шаг к поражению. Значит, нервы уже не выдерживают. Бесполезны эти грозный слова, не серьезны. Они взвинчивают, расслабляют волю. Прочь их из головы!

Если человек торопится, он должен все делать быстрее. Быстрее идти или бежать, дать большие обороты станку, сильнее нажимать педаль акселератора.

Когда тикает мина замедленного действия, остановить часы иадо немедленно. Минер должен действовать очень быстро. И поэтому у него должно хватить силы воли работать не торопясь. Надо суметь вырваться из ритма часов, не включиться в скачки маятника.

Лейтенант Чернов понял, что остановить часы без риска не сможет. Но легко рисковать, если речь идет только о собственной жизни. А кто же даст право рисковать жизнью дивизий, только что освободивших Курск, жизнью самого города, полуразрушенного, но уже свободного, уже советского!

Позвать кого-нибудь? Но ведь часы идут! Эти точные, калиброванные часы с красивым маятником. Они совершенно отчетливо выговаривают. "Уй-дешь взорвусь, уй-дешь - взорвусь..." И лейтенант Чернов принимает окончательное решение: не останавливать часы, а отделить от тола часовой механизм и унести его.

Но как же трудно, как мучительно трудно и страшно выполнять это решение. И все-таки оно уже принято, твердое, непоколебимое, вселяющее уверенное!ь.

Оно уже заглушает тиканье маятника, уже нет назойливого вопроса: "Что делать?" Действовать! Взглял, уже прикован к узкой части корпуса, где ударный механизм соединяется с часовым. В нее ввинчен капсюледержатель, куда в свою очередь запрессован капсюль-воспламенитель. Снизу, в приливе капсюльдетонатор. И все это загнано в гнездо запальной шашки.

Воспламенитель, детонатор, запал. Их надо разъединить. Капсюли нежные, как одуванчик. Они не терпят внешнего воздействия, как и оголенная рана. Но они плотно загнаны один в другой, ввинчены в запальную шашку. Надо разъединить воспламенитель, детонатор, запал.

Теперь минеру ясно, что делахь. Теперь все зависит от его искусства.

Беззаботно тикают часы. Окоченевшие пальцы ощупывают холодный металл и пластмассу, Жарко.

Спина вспотела, намокла рубаха. Чернов отодвигает на затылок шапку, сбрасывает шинель. Ветерок обдувает влажные волосы, холодит спину. В мирное время человек бы простудился. На войне простуды не бывает.

Да разве может сейчас прийти в голову нелепая мысль о простуде?

Лейтенант склонился над механизмом... Кончики пальцев очень чувствительны. В них тоненькие разветвления нервных веточек. Острия веточек подходят почти к самой коже. Надо все делать только кончиками пальцев. Надо чаще отогревать и растирать их, чтобы они не потеряли чувствительности...

Ветер высушил влажные волосы. Минер растирал о них пальцы, плотнее надвигал шапку. И снова лоб покрывался испариной, снова на затылок отодвигалась ушанка...

Беспомощным, ничтожным и жалким показался Чернову писк зубчатого колесика, когда часовой механизм был извлечен из ящика. Отойдя метров на двадцать от штабеля, лейтенант положил на снег взрыватель. Пусть теперь тикает!

Зайцев, Картабаев и Синицын обнаружили несколько мин замедленного действия точно такого же типа, как первая. Значит, снимать их теперь легко. Разгадал одну, смело берись за другие.

Так мог решить кто угодно, только не сапер.

Сапер знает, что одну и ту же мину можно заложить десятками способов. Прием, с помощью которого обезврежена одна мина, может привести к взрыву на другой. Надо все начинать сначала. И снова: нервы и кончики пальцев.

Когда стемнело и работать уже было нельзя, саперы подсчитали трофеи. Двадцать три часовых взрывателя лежали на снегу. Их извлекли из толовых ящиков, из донорита, из хвостового оперения авиационных бомб.

Солдат Синицын разгадал, как остановить часы.

Старший сержант Зайцев обнаружил под снегом детонирующий шнур, соединявший между собой все хранилища. Как от поворота выключателя зажглись бы все лампочки, подведенные к одной сети, так и удар бойка в капсюль на одной установке повлек бы мгновенный взрыв на всех остальных.

Взяв образцы часовых механизмов, лейтенант Чернов отправился в штаб армии. Он доложил обстановку.

В ту же ночь на склад был послан батальон саперов.

Они извлекли более сорока взрывателей. Хранилища и

штабеля были полностью обезврежены.

* * *

Военный комендант Курска подполковник Бугаев отыскал след лейтенанта Чернова. Анатолий Александрович Чернов служил на одной из северных военноморских баз, на базе подводных лодок. Он подробно рассказал о том, что делалось в Курске в период изгнания оттуда фашистов.

Получив еще ряд дополнительных данных, полковник Диасамидзе и его помощники полностью восстановили обстановку февраля сорок третьего года.

Советская Армия наступала, и гитлеровцам стало ясно, что вывезти из Курска накопленные ими миллион снарядов и пятнадцать тысяч авиационных бомб не удастся. И они решили взорвать свои склады, когда в город войдут советские войска.

Одновременный взрыв такого гигантского количества боеприпасов мог причинить неизмеримый урон.

Погибли бы город, все войска и техника, расположенные на десятках квадратных километров. А силы здесь были собраны не малые.

Такого большого взрыва за время войны не было, и враги рассчитывали на дезорганизацию в войсках фронта. Для противника это был наиболее выгодный план, который он тщательно продумал и хорошо подготовил.

Снаряды находились в эшелонах на станции и на нескольких крупных складах. В каждом из них оказались десятки мин замедленного действия. Минирование осуществлялось с таким расчетом, чтобы при любых условиях была гарантия, что взрыв произойдет. Если раскроют и обезвредят одну установку, сработает другая. Ее в свою очередь страховала третья, четвертая...

десятая. Если оказались бы обнаруженными все установки на одном складе, в "запасе" оставались другие хранилища и эшелоны на железной дороге.

Для еще большей уверенности в том, что от взрыва одного склада по детонации взорвутся остальные, поставили промежуточный детонатор. Это и была та яма, которую впоследствии обнаружил экскаваторщик Шергунов. Ее заложили на пустыре, как бы в центре складов. Она находилась в пятистах метрах от эшелонов с боеприпасами и в полутора километрах от хранилищ, разминированных Черновым. Взрыв на любом складе по детонации вызвал бы взрыв снарядов в яме, который в свою очередь передался бы на остальные базы.

Такую сложную систему минирования и тщательную ее маскировку нельзя было осуществить перед самым отступлением.

Судя по часовым взрывателям, к работе приступили за неделю до предполагавшегося отхода. Часы пришлось установить не на короткий срок, а на несколько суток. Все часовые механизмы должны были сработать одновременно, в первую ночь после прихода советских войск.

Обнаружить и обезвредить в такой срок всю эту сложную систему не представлялось возможным, и враг хорошо это понимал. Время было ограничено его волей, ходом часов.

Почему же не сработал точно рассчитанный механизм?

Прежде всего потому, что по приказу командования Воронежского фронта наши войска вышибли гитлеровцев из Курска на несколько дней раньше, чем те собирались покинуть город. Это коренным образом изменило положение. Свои расчеты враг строил на том, что все пойдет по его планам. Но наше командование поломало эти планы, навязало ему свою волю. Советские саперы получили большой резерв времени. В запасе у них оказалось не несколько часов, а от трех до четырех дней.

Специальные команды подсчитали трофеи и вывезли куда положено миллион снарядов и пятнадцать тысяч авиационных бомб. Но то, что сделали немецкие специалисты в глубокой яме, осталось тайной.

С тех пор прошло пятнадцать лет. В районе, где намечался взрыв, выросли новые предприятия, десятки корпусов рабочего поселка, сотни домиков индивидуальных застройщиков.

А глубоко под землей так и остались скрытые от глсз людей боеприпасы, тая в себе много неожиданностей и огромную разрушительную силу. Остались механизмы, сделанные фашистскими пиротехниками, электриками, минерами.

Искать мину в сорок третьем году на пустыре, где находилась яма, не представлялось возможным. Он был, как градом, усеян осколками и остатками разбитой техники, значит, миноискатель не выделил бы из этой массы снаряды или мины. Но главное, в тот моиент, если даже и предположить, что на пустыре имелись спрятанные боеприпасы, после ликвидации главных складов они опасности не представляли.

Эта яма осталась как одна из бесчисленных ран войны, которую невозможно вылечить в один день, кэк нельзя было в такой срок восстановить все разруш?лное войной.

Курск залечил свои раны войны. Осталась последняя. Последнее испытание.

* * *

Группа офицеров снова собралась у ямы. Люди молча смотрели на холодные, немые глыбы металла.

Сотни снарядов и мин словно выгрузили из самосвала. Но так

могло показаться только в первую минуту или несведущим людям.

Бронебойные, фугасные, осколочные, кумулятивные, бетонобойные снаряды и разнокалиберные мины были уложены опытной рукой, чтобы никто больше не мог к ним прикоснуться.

Существует инструкция, как хранить снаряды в безопасности. В ней много пунктов. И, словно глядя в инструкцию, их укладывали здесь, делая прямо противоположное тому, что написано в каждом параграфе.

203-миллиметрового калибра глыбы лежали и стояли в самых опасных положениях. Их взрыватели обложены минами. Рядом кумулятивные снаряды, и снова тяжелые болванки. Все это не ровным штабелем, а как пирамида, выложенная из спичек: возьмешь одну - посыплются все. Но это не спички, которые можно аккуратно брать двумя пальцами. Фугас двести третьего калибра весит 122 килограмма. Его длина - без малого метр. Как подступиться к такой глыбе? Если встать плотно друг к другу, троим хватит места, чтобы уцепиться за снаряд. На каждого человека придется больше двух с половиной пудов.

Но можно ли поднимать снаряд? Какая гарантия, что снизу к нему не припаяна проволочка? А то, что пирамида заминирована, сомнений ни у кого не вызывало. Что, например, делать с кумулятивным снарядом, или, как его еще называют, бронепрожигающим?

Он не дает осколков. Он прожигает броню сильной струей газа. Его тоненькая оболочка почти разложилась.

Глубокий след оставили на снарядах пятнадцать лет их подземной жизни. Металл изъеден, точно поражен страшной оспой, предохранительные колпачки проржавели и развалились. Проникшая внутрь влага вызвала химическую реакцию. Желтые, белые, зеленые следы окисления расползлись по ржавой стали.

Как и на чем держится вся эта смертельная масса,

ТРУДНО ПОНЯТЬ.

И все же она держится. А если пошевелить ее? Какая гарантия, что на обнаженных взрывателях не появилась белая сыпь?

Белая сыпь. Это страшно. Ее порождает гремучая ртуть, которой начинены взрыватели. При долгом и неправильном хранении она выделяет едва заметные кристаллики. Точно щепотка пудры, выбивается она наружу и прилипает к маленькой медной гильзе. Если провести по ней человеческим волосом, произойдет взрыв.

Белая сыпь. Можно ли уберечь ее от песчинки в этой массе земли, камней, гравия, металла? Можно ли прикрыть ее от

дождевой капли, от случайно залетевшей мухи?

Время свершило свое дело - снаряды стали неприкасаемы. Оно не задело только взрывчатки. В ней та же страшная разрушительная сила, что и пятнадцать лет назад.

С неумолимой очевидностью и железной логикой само по себе пришло решение: взорвать склад на месте. С тяжелым чувством подписали акт полковник Диасамидзе, подполковник Склифус и еще девять человек.

И снова собрались партийные и советские работники, директора предприятий, представители железной дороги. Молча выслушали они результаты разведки.

- Тщательная проверка установила ряд признаков чрезвычайной опасности для транспортировки, - говорил военный инженер. - Согласно действующим наставлениям, наличие любого из этих признаков, хотя бы одного, категорически запрещает передвигать боеприпасы. Мы обязаны взорвать их на месте. Зона поражения при взрыве, - закончил он, - достигнет почти тридцати квадратных километров.

Общий вздох, как стон, вырвался из груди людей.

Ошеломленные, они еще молчали, когда им было предложено подготовить план эвакуации оборудования и готовой продукции на предприятиях, расположенных в первой, наиболее опасной зоне.

Наступила глубокая тишина.

- Мне готовиться нечего, - тяжело поднялся наконец с места директор гипсового завода Выменец. - Завод будет снесен почти полностью, вместе со строящимся цехом сборного железобетона. А готовой продукции у нас нет. Колхозы трех областей забирают сборные хозяйственные здания, которые мы делаем, как только они выходят из цехов. Вот...

судите сами... - И, беспомощно разведя руками, он сел.

- Собственно говоря, и мне нечего готовиться, - сказал главный инженер отделения дороги Костылев. - Судя по сообщению, которое мы услышали, в результате взрыва будет разрушен большой участок магистральной линии Москва - Ростов, вся южная горловина станции и повреждено более сорока станционных путей вместе с устройствами связи, сигнализации и автоблокировки...

Он умолк, как бы собираясь с мыслями, но тут заговорил председатель райсовета Нагорный:

- Выходит, в зону поражения попадают все корпуса нового рабочего городка и примерно семьсот маленьких домов с общим населением около десяти тысяч человек... Что же вы, шутите, что ли! - неожиданно зло выкрикнул он, неизвестно к кому

обращаясь, и резко отодвинул стул.

Один за другим поднимались руководители различных заводов и фабрик, учреждений, баз, складов, начальники строительств. И с той же неумолимой очевидностью, как было ясно, что снаряды надо взрывать на месте, люди поняли - на месте их взрывать нельзя.

Решили через полчаса собраться у здания обкома партии и облисполкома и идти к руководителям области.

Расходились молча, хмуро, не глядя друг на друга, каждый занятый своими мыслями. Не спросив разрешения, быстро покинул кабинет и капитан Горелик.

Ушли все. Только один полковник Диасамидзе остался сидеть, грузно навалившись на стол. Его одолевало собственное бессилие. Ни совесть, ни закон не давали ему права приказать своим подчиненным разбирать эту груду снарядов.

Четкий, как команда, голос раздался за спиной:

- Разрешите обратиться, товарищ полковник?

Он медленно и тяжело обернулся. Перед ним стояли капитан Горелик, старший лейтенант Поротиков и лейтенант Иващенко.

Всех троих поразило лицо и вся фигура их боевого командира. Как не похож он вдруг стал на самого себя. Никогда они не видели у него таких усталых и грустных глаз. Почему-то отчетливей стали видны седые пряди меж иссиня-черных волос.

Он сидит осунувшийся, постаревший. Офицеры увидели перед собой человека, охваченного горем, которое он не пытался скрыть.

И акт, где он поставил свою подпись, и выступление директоров предприятий он воспринимал, как укор, как обвинение лично его в бессилии. Да и в самом деле, сейчас он бессилен. Кто знает, будь он минером, может, и ринулся бы в это рискованное дело сам, в нарушение всех инструкций. Благо есть такой пункт в уставе, дающий право в известных условиях действовать сообразно обстановке. Но ведь он - общевойсковой командир.

В комнате было тихо, и в этой тишине особенно резким показался телефонный звонок.

Полковник знал, что сюда, в кабинет директора завода, никто ему не позвонит, и трубки не поднял.

А телефон продолжал настойчиво кого-то звать, и Диасамидзе вынужден был ответить.

- Это ты, Миша? - раздался женский голос. - Ну как тебе ке стыдно, все телефоны обзвонила, чего ты еще забрался на гипсовый завод, у вас же есть хозяйственники!

Полковник улыбнулся.

- Нет, Асенька, тут мне самому надо, а чго случилось?

- Как - что? Обедать давно пора.

- Да, да, верно. Страшно есть хочется.

Совсем не хотелось полковнику есть. Но он знал,

что хороший аппетит радует жену: это признак хорошего настроения.

Поговорив с женой, полковник снова посмотрел на офицеров.

- Слушаю вас, - устало сказал он.

- Просим разрешить нам вывезти снаряды и взорвать их в безопасном месте, - доложил капитан.

Когда все его существо, все мысли сосредоточились и, казалось, уперлись только в два слова "Что делать?", когда только он обязан был найти решение этого проклятого вопроса, оно пришло само по себе.

В какое-то мгновение его переполнила радость и чувство гордости за своих людей. Он не мог скрыть улыбки. Это была чистая, отцовская наивная радость.

Еще несколько минут назад полковник не имел права послать своих подчиненных на это задание. А сейчас имеет.

От него требуется только одно: разрешение. Разрешить - и он избавится от этого назойливого вопроса "Что делать?". Они стоят и ждут. Он должен позволить идти в эту яму, откуда можно и не вернуться.

Должен разрешить этим троим, молодым и сильным, и их солдатам, еще более молодым, рисковать жизнью в мирное время.

А если не разрешить, никто не погибнет. Так он и должен сделать. Ведь вот в руках акт, его подписало много людей, другого выхода нет.

А заводы, дома, имущество мирного населения?

Нет, не легче стало полковнику от предложения офицеров.

Он молча сидел и злился на свою нерешительность.

В его собственной жизни не раз бывали трудные минуты, но как будто он всегда знал, что делать. Он быстро принимал решения, и, хотя они тоже были связаны с риском, сразу легче становилось их выполнять.

Впервые смелый, как ему тогда казалось, шаг он сделал в шестнадцать лет, в момент поступления в военное училище.

Оно находилось далеко за городом, и всех поступающих разместили в казармах. После экзаменов он не нашел себя в списке принятых.

- Почему? - спросил он. - Ведь экзамен сдан хорошо.

- Не хватило двух сантиметров в росте.

Но разве он виноват?

Когда непринятым предложили забрать документы и

строиться для отправки в город, Миша Диасамидзе спрятался. Потом построили колонну молодых курсантов и направили в баню. Последним решительно шагал Миша. Из бани он вышел первым и первым получил обмундирование. Кому-то не хватило комплекта. Старшина сделал строгое замечание кладовщику за просчет, и все уладилось.

На первом же занятии во время переклички преподаватель не назвал фамилии Диасамидзе. Миша встал и заявил об этом. Не в меру ретивый старшина дал авторитетную справку, что Диасамидзе состоит в этой группе, и в журнале появилась его фамилия. Механически она перешла и в другие списки.

И все же почти через месяц Мишу разоблачили.

Никто не мог понять, как он попал в число курсантов.

После бурного заседания и взаимных упреков в потере бдительности начальник училища спросил:

- А все же как он показал себя?

- Знания отличные, дисциплина образцовая, - ответил начальник курса.

- По бегу и прыжкам в высоту занял первое место, - добавил физрук.

И люди смягчились, заулыбались.

- Будем считать, что два сантиметра в росте возмещаются его настойчивостью, - заключил начальник училища.

Так началась его военная жизнь, к которой он стремился буквально с детских лет.

Впервые военные способности молодого командира проявились во время боев у озера Хасан. И здесь было ясно, что делать: занять высоту 588,3 и держать ее до прихода подкрепления. Такой приказ получил командир учебного батальона комсомолец Михаил Диасамидзе.

Японцы не успели укрепиться и не ожидали удара:

в этом районе, кроме учебного батальона, войск не было. Высоту взяли. А вот удержать ее обычными средствами при малых силах, когда самураи стянули сюда мною войск, не представилось возможным.

С полночи и до рассвета японцы обрабатывали высоту артиллерийским и минометным огнем. Они вспахали каждый метр ее вершины. Ничто живое уцелеть там не могло.

Рано утром самураи пошли в атаку, хорошо зная, что серьезного сопротивления не встретят. Но у самой вершины на их цепи обрушился шквальный огонь.

Откуда же он взялся? Как уцелели солдаты Диасамидзе?

Очень просто. Он понял, что на высоте потеряет свой батальон под артиллерийским и минометным огнем. Блестяще

организовав разведку, он увел бойцов вниз, и японцы били по пустому месту. А к моменту атаки советские воины, невредимые и отдохнувшие, уже сидели в окопах.

В двадцать семь лет коммунист Михаил Степанович Диасампдзе стал командиром полка. А еще через год он повел свой полк под Сталинград.

На серой бумаге фронтовой листовки тяжелого сорок второго года можно прочитать простые слова, полчые величия и силы:

"Подвиг, совершенный полком Диасамидзе, выходит из рамок обычных представлений о человеческой выносливости, выдержке и воинском мастерстве.

В течение пяти суток, через каждые четыре часа враг штурмовал позиции полка... Немцы сбросили восемь тысяч бомб..."

Полк выстоял.

Крупнейшие поэты страны воспевали мужество и благородство героев, воспитанных Советской Родиной.

Николай Семенович Тихонов в газете "Известия" писал:

"Окидывая мысленным взором происходящее, мы слышим голоса славы, сливающиеся в дружный хор победы. Пространства, имевшие самые разные судьбы Б прошлом, объединены сейчас одной судьбой. Народы, разобщенные вековыми несправедливостями, соединились под одним знаменем в общей борьбе.

...Голоса эпоса звучат как серебряная труба, Как с черными каджами, сражается с немецкими полчища - ми Герой Советского Союза, сын грузинского народа Диасамидзе. Искусны были герои грузинского древнего эпоса, но не уступит им Диасамидзе. Не к нему ли относятся слова безымянного певца седой древности, живописавшего подвиги Амирана, который, увидев бесчисленных врагов, встал, сошел, чтобы доказать им:

...Слава в ножнах не тупа, Как шагнет он вражьей ратью, всюду мертвая тропа.

Мертвой дорогой сделал Диасамидзе дорогу немецких батальонов, сожженными танками обставил ее, как факелами".

В знаменитой Сталинградской битве подполковнику Диасамидзе было очень трудно. Но его не мучил вопрос "Что делать?". Когда немецкие танки стали окружать его командный пункт, он приказал штабу перейти на запасный, а сам с двумя офицерами остался на месте, потому что обстановка требовала обязательного его присутствия именно здесь. Когда осколком снаряда ударило в бедро, он продолжал стрелять из своего противотанкового ружья, и ему было ясно, что иначе нельзя. Когда пулеметная очередь из танка пробила колено, тоже стало

ясно: стрелять он больше не может. Но он успел подбить две вражеские машины, и столько же вывели из строя его помощники. А полк знал, что его командир находится на своем месте, и получал все необходимые приказания. И, когда его увезли в госпиталь, он знал, что делать: быстрее поправиться и снова в полк.

Всю войну Диасамкдзе было очень трудно, но он не помнит случая, чтобы был в нерешительности или, тем более, совсем не знал бы, что делать.

А вот сейчас, в мирном городе, в мирное время, этот вопрос встал перед ним страшной неразрешимой проблемой.

Посылать людей на смертельный риск. Но разве раньше он не делал этого? Посылал. Но вместе с ними шел сам. А главное, тогда была война. Смертельный риск стал нормой поведения сотен тысяч людей.

Солдаты его полка совершили под Сталинградом беспримерный подвиг. Но, оказывается, вот сейчас, чтобы разобрать, увезти и уничтожить эту смертельную пирамиду, нужен такой же подвиг, который перекрыл бы человеческие представления о выдержке и воинском мастерстве.

Сумеют ли это сделать люди, стоящие перед ним?

Подтянутые, аккуратные, серьезные, в тщательно разглаженных кителях, с начищенными пуговицами и сапогами. Если бы он отбирал людей для парада...

Что толкает их идти на смертельный риск? Молодость, задор, лихость? Понимают ли, что им грозит?

Как поведут себя, когда снимут начищенные и разглаженные кителя? Откуда уверенность? Будет ли она, когда останутся один на один со смертью?

У Горелика и Поротикова - семьи. Не о детях ли подумают, приступая к снарядам?

Если бы хоть раз побывал с ними в бою. Но разве только там можно узнать человека? Разве не знает он каждую черточку их характера?

Капитан Леонид Горелик... Восемнадцатилетним комсомольцем пришел он добровольно в армию в памятный сорок первый год с третьего курса железнодорожного техникума. Вся его жизнь - в армии. Вся его жизнь связана с взрывчатыми веществами, хотя был он командиром и стрелкового, и пулеметного, и снайперского взводов. Около шестидесяти тысяч мин, снарядов и бомб, наших и немецких, обезвредил, он вместе со своими подчиненными, В самых трудных случаях он удалял всех и работал один. Личного счета он не ведет, но его товарищи говорят, что этот счет достигает десяти тысяч. Десять тысяч раз

он был под угрозой смерти... Умные, проницательные глаза, высокий лоб... Это зрелый, бывалый командир, член партийного бюро части. Это мастер. На его выдержку можно положиться.

Старший лейтенант Георгий Поротиков... У него было пять братьев и пятнадцать сестер. Георгий родился двадцатым.

Шесть лет было ему, когда в первый раз он вступил в единоборство со смертью. В течение нескольких дней ему четырежды ставили свечки, чтобы "душа отошла". Но выдержал, и, будто назло всем смертям, Георгий вырос широкоплечим, высоким, атлетического телосложения.

Ему тридцать лет. Почти двенадцать из них он провел в армии. И почти двенадцать лет назад он впервые столкнулся с минами, снарядами, взрывателями.

Был солдатом, сержантом, старшиной. Шесть лет носит офицерские погоны. Хитрости вражеских минеров познал не только по литературе. Собственными руками извлекал мины, снаряды, бомбы. Поротиков однажды обнаружил поле, усеянное "крыльчатками". Это крошечная бомба с пропеллером, похожим на крылышки. Ее сбрасывают с самолета. В момент падения она не взрывается, а взводится. Она очень красиво раскрашена. Увидев такую, трудно удержаться, чтобы не поднять ее. Но любое прикосновение к ней вызывает взрыв.

Поротиков собрал в кучу тысячу пятьсот "крыльчаток" и подорвал их. Как это удалось, едва ли можно понять. Есть в нем трудно постижимое чутье минера и ювелирная точность в пальцах.

Лейтенант Виктор Иващенко... Ему двадцать три года. На вид можно дать меньше. Наверно, для солидности он завел себе маленькие усики. Но это не помогает, потому что они светлые. Светлые волосы, большие-большие голубые глаза. Он подтянут, строен, аккуратен. Во всей его фигуре есть какая-то едва уловимая лихость. А вообще Иващенко словно родился офицером. Да это почти так и есть. Его отец, воспитанник Военно-воздушной академии имени Жуковского, погиб в сорок третьем году. Маленького Виктора определили в суворовское училище. В его аттестате двадцать оценок - двадцать пятерок. С такими успехами он закончил нормальное военное училище.

По соседству с Поротиковым всегда действовала группа Иващенко. Он отлично овладел, техникой подрывника. Он может направить взрыв так, как задумает: в землю, в сторону, вверх. Он не теряется. У него мгновенная реакция. Однажды он поджег огнепроводный шнур, уложив шашку на груду снарядов.

Спрятавшись в укрытие, ждал взрыва. Но взрыва не последовало. Просидев положенное время, пошел посмотреть, что

случилось. Оказалось, часть шнура сгорела, а сантиметра четыре осталось. Видимо, в этом месте шнур был поломан и пороховая смесь раскрошилась. Но когда он приблизился к снарядам, остаток шнура воспламенился.

Четыре сантиметра шнура горят четыре секунды.

Потом взрыв. Убежать уже невозможно. И Виктор бросился к снарядам, схватил шашку и швырнул ее далеко в сторону. А швырнуть далеко и сильно он мо"

жет. Вот уже несколько лег Иващенко прочно удерживает первое место по штанге. И вообще человел он решительный. Однажды, сняв на колхозном поле более ста противотанковых мин, Иващекко заявил, что на данном участке их больше нет. Но тракторист начал сомневаться в словах юноши и к пахоте не приступал. А время было горячее, и председатель колхоза метался от тракториста к бойцам, не зная, что делать. Тогда Иващенко разозлился, посадил на трактор двух своих бойцов, и они вспахали все поле восемьдесят семь гектаров.

Так поступает Иващенко при выполнении заданий.

Но был случай, когда прорвалась в нем ненужная лихость после служебных дел. И суровое наказание было...

Полковник задержал свой взгляд на молодом лейтенанте. Ему вдруг стало жалко, что так строго наказали человека, но тут же вспомнился разговор, который ему передали. Когда Иващенко объявили приказ, он спокойно заметил: "Ну что ж, наказали за дело, а убиваться не буду. Пусть падают духом те, у кого нет веры в свои силы. Такие за первым взысканием получат еще десять. А, я быстро выправлюсь". И это не осталось словами...

Умные и смелые люди. Мастера высшего класса.

- А вы хорошо понимаете, на что идете? - после долгой паузы спросил полковник.

- Так точно, товарищ полковник! - отрапортовав Иващенко. - Мы обо всем подробно говорили. Если потребуется, мы готовы жертвовать жизнью.

Полковник грустно посмотрел на него:

- Этого очень мало, лейтенант.

Что же еще можно требовать от человека, если он готов отдать свою жизнь?

* * *

Валя решила попросить внеочередной выходной день, а отработать в воскресенье. Не потому, что сегодня уезжает Гурам, а просто накопилось много домашних дел. Если бы она хотела из-за него, то незачем и выходной брать. Поезд отходит в шесть, а она кончает в пять. В крайком случае, можно было отпроситься на час раньше.

Получив разрешение, Валя вернулась домой, помыла полы, кое-что постирала, прибрала в комнате. Чем заняться дальше, она не знала. Странно, казалось, так много дел, а вот забыла. Память какая-то стала...

Ну что ж, сегодня в столовую она не пойдет, а сварит себе обед на два дня. Если заглянет подруга, хватит и ее накормить. Пожалуй, на первое придется сварить суп с фасолью. Гурам прав, это очень вкусно.

В магазин она шла медленно, оглядываясь, но как только завернула за угол, начала торопиться. На счастье, в это время покупателей мало, и она не задержалась. По дороге домой вспомнила, что давно уже у нее лежит подворотничок Гурама. Машинально ускорила шаг. Ей теперь безразлично, будет ли у Гурама еще один чистый подворотничок, и, конечно, он не придет за этой тряпочкой, но постирать ее все-таки надо.

Если явится, пусть не считает ее мелочной.

Подворотничок оказался чистым и лежал в ящике комода. Но раз уж она его достала, решила немного освежить и подкрахмалить.

Потом готовила обед, и тут выяснилось, что забыла купить лавровый лист, который очень нужен. Ей было страшно досадно. То и дело поглядывая в окно, она не могла решить: идти за ним или нет? Будь дома хозяйка, можно было бы сбегать. Нет, обойдется без лаврового листа. В магазине, конечно, сейчас много людей, а она взяла выходной не для того, чтобы торчать там.

Когда сварился обед, было уже четыре часа. Обычно Валя обедала в два. Но сейчас есть еще не хотелось. Села отдохнуть у окошка. То ли она сильно устала, то ли просто задумалась, но когда взглянула на ходики, был уже шестой час. Ей пришла мысль пойти прогуляться. В самом деле, почему она должна сидеть дома в выходной день.

Надев свое любимое платье, вышла, не зная, куда направиться. В центре можно встретить знакомых, начнут расспрашивать, почему в рабочий день гуляет, а объяснять не хотелось. Машинально пошла в сторону железнодорожного полотна, взобралась на высокую насыпь, и здесь ее внимание привлек вокзал и перрон, заполненный людьми.

Она смотрела на толпу, но неожиданно подошел поезд и все загородил. На каждом вагоне табличка "Москва - Батуми". За два часа до Батуми станция Лакчхуги. От станции до дома десять минут ходу. Если много вещей, можно взять такси...

Какой минный состав - четырнадцать вагонов!

Первый багажный, потом почтовый. Ресторан почти в центре,

а по бокам спальные вагоны прямого сообщения. Зачем, интересно, такие большие буквы, через весь вагон. Солдаты в таких вагонах не ездят...

Сквозь окна она видела, как в купе и в проходах суетятся пассажиры, и все это были незнакомые, чужие люди. На запыленной стенке вагона надпись:

"Мягкий - 32 места"... А в жестком - шестьдесят.

Значит, во всем поезде - шестьсот тридцать два...

Сколько пассажиров! И каждого, наверно, кто-нибудь провожал, и всем уезжать очень грустно.

Нет, не всем грустно. Есть такие, которых ждут.

Эти с радостью едут... Гурама тоже ждут - отец и виноградники...

Интересно, в каком он вагоне?.. Когда приедет домой, вторую кровать, приготовленную для нее, выставят...

До отхода поезда оставалось минут пять. Глаза забегали по вагонам. В тамбурах стало тесно, и теперь ничего не увидишь. И почему они все толпятся в проходах?

Мелькнула и скрылась за чьими-то спинами фигура солдата...

Со стоном тронулся поезд. Валя пошла, не отрывая глаз от вагонов, всматриваясь в каждое окно. А они уходили быстро, потом побежали, и вот уже в мелькающих стеклах все слилось. Отчетливо видна фигурка кондуктора с флажком на последней площадке.

Валя остановилась у маленькой березки, обхватив рукой ствол.

Поезд набирал скорость, извивался на стрелках.

Потом вытянулся в прямую линию, несколько минут удалялся, и вдруг паровоз нырнул куда-то вправо, исчез и втянул за собой весь состав.

Стройная, худенькая, с выбившейся прядью волос, стояла Валя, держась за березку, и смотрела на длинные нити опустевших рельсов. Что она здесь делает и почему стоит? Из-за того же поворота, куда нырнул поезд, показался паровоз, а за ним красные вагоны.

Товарный состав быстро приближался.

Ни о чем не думая, она сорвала с березки веточку, за которой потянулась полоска коры от молодого, неокрепшего ствола, и пошла обратно. На краю насыпи обернулась. Товарный поезд подходил к станции.

На стволе березки остался белый след, как оголенная рана. Заживет она или погибнет березка? Но Валя не смотрела на березку и не видела раны. Она спустилась с насыпи.

На улице было оживленно. Взад-вперед шли люди,

проносились автомобили, автобусы, трамваи.

Валя смотрела по сторонам и видела незнакомый, чужой город. Ей вдруг стало жаль маму. После смерти отца она осталась одинокой.

Откуда-то доносилась музыка, кто-то расхохотался у нее за спиной, громко кричала мороженщица, выхваляя свой товар... Она живет в этом большом и шумном городе, ей здесь весело, а мама совсем одна. Если в самые ближайшие дни к ней не переедет брат, как он собирался, Валя сама отправится к маме. Нельзя допускать, чтобы человек был одинок. Можно все перенести, кроме одиночества.

Незаметно Валя подошла к дому. Вот тут, на крылечке, они всегда прощались. Часто, сидя здесь, она ждала его. Старые, покосившиеся ступеньки, жиденькие перильца. Он все хотел поправить, да так и не выбрался. Ваня Махалов оказался прав. "Ты, - говорил он, - от Гурама не дождешься, поломать - он мастер".

Гурам горячился, но тоже отшучивался, а вот так и не сделал...

Идти домой Вале не хотелось. Сидеть сейчас одной в комнате невыносимо. Хорошо бы Ваня с ребятами зашел. Но разве теперь они придут! Без Гурама никто из них никогда не приходил. А как их повидать, не идти же ей в казарму. Она бы, конечно, пошла, но стыдно.

Медленно и тяжело поднялась по ступенькам. Хозяйка еще не вернулась, в комнате было темно. Не зажигая света, Валя села на кровать. На аккуратную, беленькую, девичью кровать. Как же теперь жить?

* * *

Есть среди минеров мастера, обладающие не только знаниями, но и каким-то особым чутьем. В их числе и начальник штаба инженерных войск округа полковник Сныков. На его груди несколько рядов орденских ленточек и два ромба военных академий.

Все тайны мины, плоды самой изощренной фантазии вражеских "королей" минного дела, он познал не только в академиях, но главным образом в жизни. Он уже не молод, в движениях его пальцев возможно нет былой микронной точности, но обмануть его на минном поле невозможно.

Полковник Сныков срочно вылетел в Курск. По пути с аэродрома Диасамидзе подробно рассказал о создавшемся положении. Ему не терпелось узнать мнение Снькова. А минер торопиться не может.

- Есть восточная пословица, - улыбнулся Сныков в ответ на

вопрос Диасамидзе, с которым давно был знаком. - "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать". - И уже серьезно добавил: - Я должен посмотреть сам.

У ямы собрались три полковника: Диасамидзе, Сныков и начальник политотдела Тарабрин. Наступил решающий момент и решающий смотр. Первым заговорил Сныков.

- Яму готовили очень опытные и умные люди, - сказал он. - Разбирать пирамиду, бесспорно заминированную, даже немедленно после закладки ее очень рискованно. Но прошло пятнадцать лет, и каждый год, каждый день и час работали против нас. Против нас были дожди, грунтовые воды, физические свойства металлов и многое другое...

- Так какой же вывод? - ке вытерпел Диасамидзе.

- Вывод ваша комиссия сделала правильный, - 1зердо сказал Сныков. - По всем законам, по логике событий надо тщательно подготовить и осуществить взрыв на месте...

- Но меня поражает другое, - помолчав, продолжал Сныков. - Поражает, как проведены разведка и вскрытие грунта. Я думаю, что даже академическая юазработка опытных военных инженеров не предложила бы лучшего решения. Мне кажется, что схема работ может служить образцом для офицерской учебы. И что еще более важно - точность и чистота, с какой выполнена схема и произведено вскрытие. Это очень большой и важный этап. И он уже пройден.

Вывод о людях, я думаю, ясен, - закончил он, Наступило долгое молчание. Каждый углубился в свои мысли.

Диасамидзе был горд оценкой, которую пол учили офицеры. В нем нарастала уверенность в их силе, в том, что они выполнят и следующий, наиболее ва/киый этап.

О многом задумался полковник Тарабрин. Если бы еще день назад его спросили, кто лучшие люди части, наиболее дисциплинированные и знающие, на которых можно положиться, он, не задумываясь, назвал бы капитана Горелика, старшего лейтенанта Поротикова, лейтенанта Короткова, старшину Тюрина и еше многих воинов. Если бы предстояли какие-то всесоюзные испытания, он со спокойной душой послал бы этих же людей. Почему же он сейчас так задумался?

Всему личному составу рота Горелика ставилась в пример. На занятиях, конференциях и собраниях звучали призывы партийных работников равняться на згу роту.

И вот пришло испытание. Может ли он сейчас с такой же спокойной душой и совестью повторить свои слова о том, что они выполнят любое задание? И полковник вдруг чувствует, что не может.

Так что же, это была только шумиха или пустая агитация?

Полковник начинает придирчиво перебирать в памяти биографии и дела людей. При тайном голосовании в члены партийного бюро Горелик получил самое большое число голосов. А почему за него все голосовали? Потому, что он любит людей, дорожит ими, учит их; потому, что он скромен, исполнителен; потому, что в наиболее опасную минуту он удалил подчиненных и один разминировал, бомбу; потому, что так он поступает всегда.

А вот вспомнился большой портрет младшего сержанта Ивана Махалова и очерк о нем в городской молодежной газете. Это его, начальника политотдела, спросила редакция, кто является лучшим воином части. И, перебирая в памяти два года службы Махалова, он видел лишь примеры героизма на минных полях, мастерского владения техникой, горячего патриотизма.

А почему рисковал своей жизнью кссамстгий на первый взгляд Камил Хакчмоз? В тот памятней день в одном из районов Белгородской области заложили в канаву несколько десятков снарядов, извлеченных с колхозных полей, и подожгли огнепроводный шнур.

И вдруг из лесу, где, казалось, и легковой машине не протиснуться, выскочил грузовик и направился к канаве Хакнмов бросился к снарядам и вырвал горящий шнур за несколько секунд до взрыва.

Чем придирчивее полковник разбирал биографии людей, тем тверже становилась вера в них. Нет, не пустые слова говорил он раньше.

Так почему же он сейчас в нерешительности? Это ведь те же самые люди. Что же он боится проверки, когда до нее дошла очередь?

С той или иной оценкой можно пройти любую проверку. Но здесь цена проверки - жизнь людей. Есть же предел и человеческим возможностям. Выполнима ли вообще поставленная задача? Люди, которым он глубоко верит, берутся за нее.

- Что будем решать? - нарушил молчание Диасамидзе,

- Не лучше ли принять решение после разговора с ними, - предложил Тарабрии.

- Прежде чем составить окончательное мнение, мне надо задать им несколько вопросов, - добавил Сныков.

Разговор состоялся в том же кабинете директора гипсового завода, где теперь установили круглосуточное дежурство ставшего по оцеплению.

- Понимаете, лейтенант Иващенко, этого очень мало, - повторил свои слова Диасамидзе, когда офицеры вошли.

Полковник снова заговорил, но тон его теперь был какой-то не официальный, а товарищеский, даже дружеский.

- Если вы готовы во имя Родины жертвовать собой, это хорошо. Но готовы ли вы жертвовать другими? Может быть, десятками людей. Ведь если придется делать взрыв на месте, не погибнет ни один человек. Можно вывезти оборудование предприятий, и щерб будет не очень большой.. Если же вы начнете работать и произойдет взрыв... Сами понимаете, что это значит.

- Так мы же не на смерть идем, товарищ полковник, - сказал капитан. Ну к чему мне сейчас умирать? - улыбнулся он. - Мы с женой ждем ребенка, к празднику получаем квартиру, еду на курсы, о которых давно мечтал. Вот и Поротиков получает комнату в новом доме... Нет, - заключил он решительно, - мы выполним задание.

- Вот это-то меня и интересует, - вмешался Сныков. - На чем основана ваша уверенность? Как вы собираетесь действовать, понимаете ли, что пирамида внутри минирована?

- Разрешите докладывать? - спросил капитан.

- Прошу вас.

- Мы понимаем, что яма может быть минирована, - начал он, - но люди у нас опытные. Работать будем спокойно, не под обстрелом же, как на войне.

Значит, сможем во всем спокойно разобраться. Просчета здесь не допустим. Главная опасность, по-нашему, - разрушения, причиненные снарядам. Но сейчас они не" взрываются. Значит, и не взорвутся, если не растревожить их.

- Очень важная мысль! - не выдержал Сныков. - Это самое главное, капитан. Если, извлекая снаряды, вам удастся сохранить их в том же положении покоя, в каком они находятся, задача будет выполнена.

- Ну, а если в глубине полуразрушенного взрывателя обнаружится сыпь гремучей ртути? - спросил Сныков, помолчав.

- Мы думали об этом, товарищ полковник, - ответил капитан. - Решили так: снаружи на взрыватель наложим пластинку из глянцевого картона и забинтуем так, чтобы она не могла двигаться. Тогда внутрь не попадет ни одна пылинка. Такой снаряд придется отвозить, держа на руках...

- А вообще как думаете перевозить?

- В прицепе с песком. Мы отказались от первой мысли буксировать прицеп танком. Правда, в танке, на случай взрыва в пути, не пострадают люди. Но болев вероятен взрыв от сильного сотрясения. Думаем, что бронетранспортер на резиновом ходу надежнее.

Полтора часа продолжалась беседа. Были обсуждены мельчайшие детали, предусмотрены десятки возможных неожиданностей.

Пока это была лишь беседа, еще никто не сказал, что офицерам позволят взяться за это дело, но такая мысль уже не казалась абсурдной, как в первый момент.

Через час в кабинете председателя облисполкома было принято решение: снаряды вывозить.

С этого момента все резко изменилось. Состояние раздумий, сомнений, нерешительности окончилось. Все пришло в движение. Как в бою, напряженно работал специально созданный штаб. Оказалось, надо решить уйму проблем, ответить на десятки вопросов, предусмотреть все возможные случайности, чтобы в ходе работ не было никаких задержек.

Руководство всей организационной работой взял на себя полковник Диасамидзе. Техническое руководство операцией легло на полковника Снькова и его помощника подполковника Склифуса. Были разработаны конструкции многих приспособлений, инструмента, выбрана дорога для транспортировки снарядов и место их подрыва, вычерчены схемы различных промежуточных операций, определены средства и методы связи.

Готовились железнодорожники, работники предпркятгй и учреждений, находившихся в опасной зоне.

Политическую работу возглавили партийные и советские организации города: ее предстояло вести главным образом среди населения.

В середине дня капитан приказал собрать роту в Ленинской комнате. Он стоял на плацу и смотрел, как потянулись туда солдаты.

- Что скажут они сейчас? Как поведут себя?

На глаза вдруг попался рядовой Урушадзе. Капитан подозвал солдата.

- Вы разве не успели уехать? - спросил он и, не дожидаясь ответа, мягко добавил: - Вы уже отслужили, Урушадзе, можете заканчивать свои дела и ехать.

Слова командира переполнили чашу терпения Гурама Утэушадзе.

- За что, товарищ капитан! - выпалил он, побагровев.

"За что?" - этот вопрос мучил Гурама весь день.

Еще вчера он перестал понимать, что происходит. Началось с Вали. Чем больше он думал о ссоре с ней, тем более нелепым казался ему их разрыв. Что с ней случилось? Ее упрямство просто непонято. А он вскипел и, как мальчишка, ушел. Что же это,

шутки? Надо пойти к ней и серьезно поговорит ь.

Пойти к ней? Нет, этого он не сделает ни за что.

Почему должен идти он? Ссору затеяла она. Отказалась ехать она. Что же он должен, бежать за ней?

Нет, первого шага он не сделает. Если она поняла, чю натворила глупостей, пусть найдет и способ исправить их. А если не поняла, значит, нет в ней души и жалеть о ней нечего.

Первую половину вчерашнего дня Гурам только об этом и думал. Но последующие события вытеснили мысли о Вале.

Группу солдат вызвали на разведку опасного и сложного объекта. Его не позвали. Это впервые за годы службы. Он всегда считался опытным разведчиком минных полей, и первым неизменно посылали его. Если направлялось два или три солдата, Гурама назначали старшим. Он ни разу не подвел командира.

Что же случилось теперь? Почему от него отказались? Почему вдруг перед самым отъездом он стал никому не нужен?

Солдатский день заполнен до отказа. Кто из солдат не мечтал в трудную минуту получить хоть один свободный часок! А если целый день? И отоспался бы вволю, и на речку б сходил, и в кино... Но это только мечты, которые никогда не сбываются. В зной и в чудесные летние вечера он в сапогах, часто с полным снаряжением, делает свое солдатское дело - несет службу.

И вот у Гурама совершенно свободный день. Но он не знает, куда себя девать. О нем все забыли. Он никому не нужен. Оговорили его, что ли? Он вдруг начинает понимать, что и отношение товарищей к нему резко изменилось. Все смотрят косо, почти не разговаривают...

Ну хорошо, этой девчонке любая блажь в голову может прийти, а что же с командиром, а? Он три года служил. Его называли лучшим пулеметчиком и отличным минером. А теперь ему выразили недоверие.

Гурам хотел обратиться к лейтенанту или старшине, но их целый день нет. На несколько минут появился командир взвода. "Некогда, некогда, Урушпдзе", - бросил он на ходу и убежал.

Что же, так и уезжать домой? Поставить в штабе печать, тихонько собрать пожитки и так уйти из казармы, с этого плаца, где пережито столько горестных и радостных минут?..

На вечерней поверке, когда назвали его фамилию, он ответил особенно четко. Потом дежурный по штабу послал его со срочным пакетом к генералу на квартиру. Там долго сидел, пока генерал рылся в своих бумагах и что-то писал. В казарму попал после отбоя, ребята уже спали.

Даже это маленькое задание немного подняло настроение. С важными документами к генералу первого попавшегося не

посылают. Ночью его снова одолевали мысли о Вале. А утром все, наскоро позавтракав, разошлись.

Есть ли более горькое чувство, чем сознание, что ты не нужен! Это чувство накалялось в нем, и к моменту сбора роты его горячая южная кровь билась в висках. О снарядах он был уже наслышан и понимал, что сбор роты в такое необычное время связан с особым заданием.

Таково было состояние Гурама, когда его остановил командир.

- За что, товарищ капитан? - повторил Гурам. - За что не доверяете?

- Отставить, Урушадзе, - спокойно и даже ласково сказал капитан. - Вы один из лучших солдат, но вы отслужили свой срок, а люди пойдут на задание, связанное с большим риском.

- Пока я не сдам в военкомат проходное свидетельство, до тех пор я солдат, - твердо сказал Гурам. - Так вы меня учили.

Капитан улыбнулся. Конечно, в тоне Урушадзе было что-то такое, чего не должно быть в разговоре с командиром, какой-то вызов. Но было в словах солдата столько горькой обиды, такое неподдельное горе, что офицер не мог сделать ему замечания.

- Хорошо, рядовой Урушадзе, идите в строй.

Словно мать приласкала обиженное дитя. Пулеметчик, силач, солдат Гурам Урушадзе проглотил тугой комок, улыбнулся и, козырнув: "Слушаюсь, товарищ капитан", совсем счастливый пошел к зданию. Через несколько шагов он обернулся, взглянул украдкой на капитана и побежал, точно боясь опоздать.

Такое привычное, незаметное и простое слово "рядовой" будто согрело душу. Да, он рядовой, он в рядах, вместе со всеми, со всей великой армией. Он идет в строй.

Капитан подробно объяснил солдатам создавшуюся обстановку. Он не сгущал красок, но и не скрывал опасности.

- Нам надо шесть человек, - закончил он. - Пойдут только те, кто добровольно изъявит желание.

Первым поднялся младший сержант Иван Махалов. Лицо у него было, как всегда, добродушное, на щеках ямочки, только немного удивленное. "Раз надо, сделаем, о чем разговор", - казалось, выражал его взгляд.

Вторым встал Дмитрий Маргишвили, а дальше уже ничего нельзя было разобрать, потому что поднялась вся рота.

В помещении стало тихо. То, что произошло, не было неожиданностью для командира роты. И все же он с волнением ждал этой минуты. Она настала. Лучшего результата не могло быть, а сердце продолжало колотиться, и он ничего не мог произнести.

Со стороны каждый бы решил, что он думает - кого отобрать. Но этот вопрос у него был уже давно решен. Он лишь ждал, чтобы мысленно намеченные люди пошли добровольно. И они поднялись первыми.

Капитан обвел взглядом присутствующих.

- На выполнение специального задания, - сказал он, отчеканивая каждое слово, - назначаются следующие товарищи: старшина Тюрин Михаил Павлович, сержант Голубенке Василий Иванович, младший сержант Махалов Иван Аркадьевич, рядовой Хакимов Камил, рядовой Маргишвили Дмитрий Иванович, рядовой Урушадзе Гурам Сарапионович. Названным товарищам остаться, остальным разойтись!

Через несколько минут прибыла еще одна группа воинов-добровольцев, выделенных в распоряжение капитана из других рот. Это были: специалист по взрывам электрическим способом лейтенант Селиванов Анатолий Антонович, лучший водитель бронетранспортера рядовой Солодовников Николай Макарович и радисты-отличники: рядовой Чекрыгин Александр Николаевич, рядовой Бочаров Иван Васильевич.

Капитан начал инструктаж. Последний кнструкта;к перед завтрашним днем.

...Уже темнело, когда он возвращался домой. До чего же глупо все получилось. Дома его ждут гости.

Наверно, все собрались. Они принесли под-ар-ш ко дню его рождения. Они будут поздравлять его. Они хотят веселиться.

Ну что ж, придется веселиться. Иначе он поступить не мог. Рассказать все Полине в ее состоянии бесчеловечно.

В комнату он вошел веселый, улыбающийся. Встретили его шумными приветствиями. Никто не догадался остановить патефон, и все старались перекричать ансамбль песни и пляски имени Александрова, исполнявший "Красноармейскую походную".

* * *

Старшина Тюрин поднял группу в пять тридцать.

Вся казарма спала. Только зтим и отличался сегодняшний подъем от остальных. Так же, как всегда, тщательно заправляли конки. Так же быстро умывались и ели ту же нехитрую солдатскую пищу. И все же что-то особеннее было в начавшемся дне. Постт сллись во двсре, на краю огромного учебного плаца.

Хмуро, туманно, зябко. Маленькая группа согетскгч воинов. Люди шести национальностей из шести советских республик, спаянные солдатской дружбой и дпсциплиной, единые в стремлении выполнить свей долг перед Родиной.

Все ли они вернутся на этот плац?

Командир роты сказал последние напутственные слова. Он не

отличался красноречием, и все, что было сказано, Иван Махалов слышал не один раз. Но сегодня эти знакомые слова звучали иначе, в них открывался новый, особый смысл.

Если разобраться, то Иван был не очень доволен службой. Уже с первых ее дней секретарь партийного бюро Баскалов рассказывал солдатам о древнем русском юроде Курске. Может быть, здесь, где стоит РХ казарма, шли битвы против татар, монголов и половцев, где-то здесь шла кровавая резня князей, с этг.п городом связана история русского государства.

Неисчислимое количество битв происходило к а курской семле. Но больше всего от бесед Баскалопа осталось в памяти "Орловско-Курксе направление".

Дважды знала Советская Родина это направление.

15 октября 1919 года Ленин и партия указали на его первостепенное значение и послали сюда лучших своих людей. Ворошилов... Орджоникидзе... легендарная конница Буденного... Здесь наголову был разбит Деникин, рвавшийся к Москве. Вот это были схватки! Но и их превзошли сражения на Орловско-Курском направлении во время Великой Отечественной войны. Здесь рождались герои, здесь гибли герои, покрывая себя бессмертной славой. А кто в девятнадцать лет не мечтал стать героем!

И грустно было Ивану Махалову, что ему досталась только учеба, строевая подготовка, караульная служба, а если нет провинившихся, то и очередные наряды на кухне. Сиди и чисти картошку. И как нарочно, одна за другой шли беседы о боях, проведенных частью, куда он пришел служить.

Иван Махалов словно видел весь ее боевой путь.

Он "11иво представлял себе картину, как, окруженные со всех сторон гитлеровцами, насмерть сражались его однополчане; как в самый трудный момент комиссар Ермаков, оставаясь во главе бойцов, передал старшине Сурозову знамя и приказал вынести святыню части из огненного кольца.

Здесь, на плацу, где стоял теперь Иван Махалов, он принимал присягу под этим боевым, простреленным знаменем.

Да, было время... Сражения, штурмы, пороховой дым... А ему и вспомнить нечего будет. И все-таки он думал: "Ну что ж, и я бы смог..."

Капитан подал команду "Вольно!", но приказал не расходиться.

Всэм, кто был сегодня на плацу, приходилось участвовать в парадах, смотрах, от них всегда требовали подтянутости, чистоты, аккуратности, и они старались выполнять эти требования. Да, попробуй не выполни:

увидит старшина, командир взвода, командир роты или

старшие командиры, уж кто-нибудь да обязательно заметит несвежий подворотничок или другой непорядок.

Будет стыдно.

В эту минуту на плацу едва ли кто сделал бы им замечание. Но все машинально подтягивались, поправляли л руг на друге одежду, ремни. Во всей обстанозке плаца, такой знакомой и привычной, было сегодня что-то новое, неизведанное.

Приглушенно, точно перед выходом в бой, гудел мотор бронетранспортера. Он стоял неподалеку, но сквозь туманную дымку виднелся лишь его угловатый силуэт.

На фоне тяжелого серого неба одиноко поднимались два высоких столба с толстой перекладиной и недвижно спускались вниз кольца на длинных веревках.

Немного дальше - черные громады затянутых в брезент танков.

Никто не ощущал страха. Было торжественно, радостно и немного жутко.

- К машине!

Быстро и бесшумно заняли места в бронетранспортере. Рядом с водителем Солодовниковым сел командир роты.

Тишина.

- Все на местах? - оборачивается капитан.

- Так точно! - отвечает старшина Тюрин.

- Поехали!

Будто прожекторы, ударили фары. Сильнее загудел мотор, машина тронулась, медленно обогнула здание и осветила одинокую фигурку с автоматом у шлагбаума.

Часовой прикрылся рукой от света, и Солодовников тут же погасил фары.

Туман рассеялся. Начиналось хорошее осеннее утро. Бронетранспортер выехал на улицу Дзержинского. Она пересекает две крутые горы, на которых стоит город. Первые трамваи уже спускались с этой немыслимой крутизны, миновав седловину, карабкались вверх к центральной площади города площади Ленина.

Как удерживаются они на рельсах, почему не летят, не кувыркаются, трудно понять.

Тормозя двигателем, Солодовников спустился вниз, а потом долго выбирался на гору. Преодолев подъем, быстро миновали короткую прямую улицу Ленина, и перед солдатами открылся как на ладони Кировский район.

Со всех улиц и переулков шли люди и, точно горные ручейки, стекались на широкую центральную магистраль, к которой приближался бронетранспортер.

Десять тысяч, человек покидали район.

Из дома в дом, из квартиры в квартиру шли агитаторы, терпеливо объясняя необходимость оставить свои жилища, поторапливали, помогали престарелым.

Жители и раньше знали о том, что им придется временно эвакуироваться. Трижды в день по радио передавали наименования улиц, переулков, площадей, попавших в опасную зону. И все-таки только теперь в полной мере ощутилась эвакуация.

С горестным чувством уходило население.

Вот красивый особняк. В большой комнате на столе посуда, остатки завтрака. Девушка перед зеркалом, торопясь, пудрится, красит губы.

- Верочка, - говорит пожилая женщина, - выпей хоть стакан чаю, что сегодня за наказание...

- Некогда, мам, трамваи не ходят, я на работу опоздаю.

Схватив чемоданчик, убегает.

Женщина идет в соседнюю комнату. Возле письменного стола с выдвинутыми ящиками высокий, энергичный человек в пенсне. Это, может быть, врач, инженер, преподаватель... Он укладывает в чемодан бумаги.

- Боже мой, второй чемодан! - всплескивает она руками. - Ты же сам сказал: "Все будет цело, ни одной тряпочки не брать".

- Да, да, да - ни-че-го. Ничего, кроме рукописи.

- А черновики зачем? - кивнула она на нижний ящик. - Ты их уже десять раз переписал.

- Надо! - в сердцах говорит он. - Это плоды всей моей жизни. Пойми ты наконец.

Раздается звонок, женщина выходит.

Он бросает в чемодан бумаги из ящиков, со стола, и вдруг взгляд его останавливается на фотографии жены. Воровато оборачиваясь, кладет карточку в чемодан, быстро накрывает пачкой бумаг.

Входит жена.

- Это агитаторы, просят поторопиться...

В соседней квартире идет спор. Молоденький агитатор, паренек с комсомольским значком, убеждает пожилую женщину, которая не собирается уходить.

- Вы говорите вещей не брать? - спрашивает она.

- Конечно нет, все будет в полном порядке, - с готовностью отвечат юноша, не подозревая подвоха в вопросе.

- Так зачем уходить?

Паренек не сразу находит ответ, а она уже снова наступает:

- Нет, уж раз взялись вывезти снаряды, значит, вывезут.

Не добившись результата, паренек уходит. Через несколько минут появляется бригадир агитаторов, такая же пожилая женщина, как и хозяйка.

- Вы тоже агитатор? - удивляется та. Ей становится неловко. - Ну уж пошел, нажаловался... Видите, вот собралась, сейчас ухожу...

А паренек уже на пороге следующего дома. Дверь в комнату приоткрыта. Пожилой человек, взобравшись на стул, снимает портрет молоденького офицера в форме летчика первых лет войны с орденом Красного Знамени.

- В простыню обернем, и будет хорошо, - отвечает он на вопрос жены.

Она грустно всматривается в портрет, так похожий на мужа.

Паренек кашлянул, постучал.

- Вам не нужна помощь?

- Нет, нет, сейчас уходим...

На углу, в крохотной мастерской, копошится старый часовщик. Он бережно собирает колесики, пружинки, инструмент, упаковывает в бумагу, укладывает пакетики в маленький чемодан.

Рядом суетится совсем седая старушка.

- Так все разбросать по всей мастерской надо уметь, - говорит она незлобиво.

- Очень просто, я думал, что мне уже не придется больше эвакуироваться.

Он вздыхает, смотрит куда-то в одну точку, как бы сквозь стену.

- Так о чем же ты думаешь? Надо ведь собираться.

Военный комендант города подполковник Бугаев,

проверив трассу предстоящей транспортировки снарядов, объезжает улицы. Его знают все агитаторы. Он направляется туда, где совсем трудно. Заупрямится вдруг человек, и никакие доводы на него не действуют.

В каждом массовом мероприятии обязательно находятся такие люди.

Бугаев останавливается возле только что отстроенного домика. Веранда еще не закончена. Во дворе строительный мусор.

- Не уйду, не уйду, - кричит седая женщина, - помру здесь, а дом не брошу...

Агитатор пытается успокоить ее, что-то сказать, но она не дает и слова вымолвить:

- В сорок втором уходила, дотла все сжег изверг... Каждую копейку берегли, недоедали, строили...

- Успокойтесь, мамаша, - вмешивается Бугаев, - что тут

происходит?

Подполковник не говорит ей того, что она уже знает. Он находит другие доводы:

- Почти десять тысяч человек уже ушли. Возле снарядов будут стоять солдаты и ждать, пока не уйдете вы. Такой приказ. И все люди будут ждать. Пока хоть один человек останется в опасной зоне, работы не начнутся. Понимаете?

Он долго и терпеливо объясняет разницу между эвакуацией сорок второго года и этой. Женщина плачет, но начинает собираться.

Чем ближе подъезжали солдаты к Кировскому району, тем больше попадалось встречного транспорта и пешеходов. Только один бронетранспортер двигался в направлении к станции. Километра за два до предстоящего места работы машина уже с трудом пробиралась сквозь густую толпу.

Свертки, сумочки, корзинки, чемоданчики, а у некоторых даже узлы.

Вот жена железнодорожного слесаря Александра Петровла Павлюченко догоняет жену пенсионера Полярного, нагруженную узлом.

- Ты что же навьючилась, на новую квартиру переезжаешь? - насмешливо спрашивает Александра Петровна.

- А как же без теплого уходить! - оправдывается та. - Ты ведь небось все в подвалы снесла, а у меня подвалов нет.

- И не подумала даже! Раз сказали - вывезут снаряды, значит, вывезут.

Большинство людей шло спокойно, без паники, глубоко веря, что все окончится благополучно.

- Я уж за все дни в кино отхожу, - говорит домохозяйка Александра Парменовна Белевцева - А то с этими домашними делами никогда не вырвешься. Как начну с крайнего, так все по очереди и обойду, - смеется она.

- А я по магазинам, - отвечает ей идущая рядом соседка. - Давно собираюсь, да все не получалось.

Одни шли к родственникам, другие к знакомым, третьи на работу. У каждого нашлись дела в городе или место, где можно будет спокойно отдохнуть до вечера.

Вместе со всеми шла и Валя. И мастерская, и дом оказались в опасной зоне. Она шла медленно, машинально разглядывая необычное шествие.

Вот девушку с чертежной доской, рейсшиной и рулоном чертежей обгоняет группа оживленно беседующих мальчишек. В руках у одного большой альбом с надписью на обложке: "Почтовые марки СССР". Второй аккуратно несет на плече модель

парусного корабля, третий с рыболовными снастями. В стороне от них одиноко и угрюмо шагает мальчик, держа на весу аквариум. Лицо у ребенка грустное, задумчивое. Тяжело ступает железнодорожник. За спиной у него два охотничьих ружья, в руках узел с радиоприемником.

Отчаянно визжит, вырывается из рук женщины завернутый в мешок поросенок. Близорукий юноша в очках читает на ходу книгу. Он то и дело натыкается на людей, толкают и его, и он каждый раз извиняется, но продолжает читать.

Валю обгоняют какие-то степенные люди.

- Вот уж не повезло, и не придумаешь ничего, - сокрушается человек в кепке. - За двенадцать лет собралась навестить нас, стариков, и на тебе, в такой день едет.

- А вы бы ей телеграфировали, пусть задержится на пару дней.

- Так с поезда ведь сообщила... И где она искать нас будет?

- Встретить надо, объяснить, так, мол, и так..,

- Где там! Не пускают и близко к вокзалу...

Очень смешно выглядит совсем молодой парень. Левой рукой он неловко прижимает к себе ребенка, в правой - тяжелый аккордеон.

- Не плачь, сынок, не плачь, - говорит он, - мы к маме на работу пойдем, она нас покормит. Вот только спрячем аккордеон у дяди Васи, а маме скажем, что все сделали, как она велела. И не тащились мы с этим аккордеоном, понял?

Но вот показывается бронированная машина. Возле фар, на кабине, на бортах трепещут красные флажки.

Люди останавливаются, с интересом и уважением смотрят на солдат, машут руками, что-то кричат. Иван думает, надо бы и в ответ помахать руками, смотрит на своих товарищей, но лица у них серьезные, строгие.

Иван начинает обращать внимание, что и сам он сидит, словно по команде "смирно". Нет, это он не специально так напыжился. Такое у него состояние, будто только сейчас почувствовал всю страшную ответственность, какая на него ложится.

Не отчетливая мысль, а какое-то подсознательное чувство заставило его быть перед лицом народа в эту минуту подтянутым, уверенным, строгим.

Иван Махалов смотрел на людской поток, но ни одного человека в отдельности не видел. Перед ним был народ, который послал его, солдата Советской Родины, совершить подвиг. Он давал присягу верно служить народу. Но это слово - народ - такое огромное, всеобъемлющее, святое, можно было понять только

разумом. Впервые в жизни он чуть ли не физически ощутил величие этого слова.

Во имя безопасности тысяч людей, проплывающих перед глазами, он идет теперь на смертельный риск.

И он шел с полным сознанием опасности, гордый и спокойный, сын русского народа, на глазах у своего народа.

Громко сигналя, обгоняя прохожих, идут навстречу броневику легковые санитарные машины. Это выпускники медицинского института вывозят больных гриппом. Медленно движется бронетранспортер. Его догоняют несколько грузовиков с милицией и солдатами.

Это оцепление. Пятьсот шестьдесят человек с красными флажками оградят опасную зону во время работы. Откуда-то появляются пожарные и санитарные фургоны. Они идут на заранее отведенные для них посты.

Валя уже не смотрела на окружающих. Опустив голову, она шла печальная, одинокая в этой огромной толпе, не зная, куда ей деться: никого знакомых за пределами района не было.

Ее внимание отвлекли шум мотора и усилившееся оживление в толпе. Взгляд безразлично скользнул по фарам, по кабине, по угловатой броне кузова и замер, оцепенев.

- Гурам, - прошептала она только одними губами.

А людской поток, точно наткнувшись на волнолом, обтекал машину, потом сомкнулся за ней, захватив Валю, как в водовороте.

- Гурам! - закричала она и, расталкивая людей, бросилась вслед.

Бронетранспортер уплывал, все большее расстояние отделяло его от Вали, а она бежала, натыкаясь на людей, пока не вырос перед ней лейтенант, командир поста оцепления:

- Нельзя!

Это была граница запретной зоны. Тут и осталась она стоять, не спуская глаз с бронетранспортера, пока он не скрылся за поворотом.

До сих пор личное горе Вали заслоняло, как бы затуманивало происходящие вокруг события. Сейчас надвигающаяся опасность встала перед ней во всей страшной наготе: Гурам поехал туда, где лежат эти смертельные снаряды, откуда уходит все население.

Какой мелкой, какой ничтожной показалась вдруг ссора с ним.

У Гурама Урушадзе было такое же состояние, такой же глубокий внутренний подъем, как и у Ивана Махалова. Он не заметил Валю. За шумом мотора он не услышал ее. В этот день он и не думал о ней. Лишь в какие-то секунды проплывет вдруг ее лицо и так же быстро исчезнет. Но вот машина завернула за угол, и что-то больно и радостно отдалось в сердце. Он упрямо не хотел взглянуть на домик, который должен вот сейчас показаться, хотя знал, что никого там не может быть. Он посмотрел на этот одинокий домик, на палисадник и крылечко. Крылечко с ветхими перильцами и скрипучим порожком. Так и не довелось поправить.

И он понял, какая это чепуха их ссора, что не может он без Вали уехать, как и она не сможет без него...

А если не доведется сказать ей об этом?

В такой ранний час непривычно людно в кабинете председателя райсовета Ивана Тимофеевича Нагорного.

- Из дома шестнадцать по Железнодорожной ушли все!

- Дом три на Куйбышевской готов!

- Улица Герцена закончена полностью!

Это ответственные за дома, кварталы, улицы докладывают: население покинуло свои жилища. И вот уже весь район оцепления опустел. Только одна машина подполковника Бугаева и начальника милиции объезжает затихшие улицы.

В конторе путейцев расположился штаб. Сюда пришли руководители района, председатель горсовета, директора остановившихся предприятий. И так непривычно выглядит здесь радист с походной рацией.

- "Резец", "Резец-один", "Резец-три"! - раздается в эфире. - Я "Резец-два". У аппарата полковник Сныков.

Готовы ли приступить к работе? Прием.

- Докладывает лейтенант Иващенко. Люди на местах, делаем ямы для снарядов.

- Говорит заместитель начальника станции Химичев. Паровозы и вагоны из южного парка угнаны. Поездов на подходе нет.

- Докладывает капитан Горелик! Все на местах.

Транспортер в укрытии, прицеп подготовлен к погрузке. Разрешите приступить к работе! Прием.

- Приступайте! В случае обнаружения установки на минирование докладывайте немедленно.

Взвились в воздух три красные ракеты. Тревожно завыла сирена. Это сигнал для населения. Теперь никто уже не приблизится к запретной зоне.

По закону с взрывоопасными предметами может работать только один человек. Но сейчас это немыслимо:

дело затянулось бы на много дней. Над ямой склонились два осрицера и три солдата. Работа началась. Тончайшая ювелирная работа над огромной массой земли, над глыбами стали, чугуна, меди, над тоннами взрывчатки и сотнями оголенных взрывателей.

Глядя на приготовленный инструмент, можно было подумать, что здесь собирается самая младшая группа детского сада. Крошечные совочки, тяпочки, крючки, лопатки составляли главные орудия труда воинов.

Сейчас самый страшный враг - земля. Снят только один

верхний слой. Она под снарядами, она спрессована и зажата между ними, она налипла на взрыватели, и неизвестно, что в ней спрятано. Надо очистить землю, не касаясь металла, надо нащупать, что внутри.

У каждого своя граница, четко обозначенная полость, которую предстоит вскрыть. Едва ли всякий хирург, производя сложную операцию, работает столь трепетно, с таким напряжением воли, нервов, всех своих сил, как пришлось действовать сейчас воинам.

Работали молча, сосредоточенно. И вот уже снята, очищена, сдута каждая крошка земли со всего эллипса площадью в шестьдесят квадратных метров. Стало видно, какой снаряд брать первым. Солдаты уже подошли к нему.

- Отставить, - предостерегающе поднял руку капитан. - Каждому ясно, что из всей пирамиды сейчас можно брать только этот снаряд, - сказал он. - На это мог и рассчитывать враг. Действовать только по команде. Ни одного самовольного движения.

Капитан сообщил, какие последуют приказания и как их выполнять.

У 203-миллиметрового фугаса лицом к нему становятся Иван Махалов, Дмитрий Маргишвили, Камил Хакимов.

- Приготовиться!.. Взяться!.. Приподнять! - звучат команды.

Такой тяжелый груз хорошо бы приподнять рывком. Но это категорически запрещено. Его надо не оторвать, а отделить от земли, как отделяют тампон от раны И приподнять только на один сантиметр. Таков приказ.

Лежа на земле, капитан и старший лейтенант Поротиков с противоположных сторон смотрят, не тянется ли к снаряду проволока. Они очищают землю снизу.

- Поднять! - раздается новая команда.

Тяжело разгибаются спины.

Обычно, если человек несет большой груз, он идет "рывками". Каждый шаг - рывок. Но здесь рывков не должно быть. И три солдата, три спортсмена-разрядника, тесно прижавшись друг к другу, движутся как один механизм. Нельзя качнуться, нельзя оступиться, нельзя перехватить руку. Плывет снаряд весом более семи с половиной пудов. Его шероховатое с острыми выступами, изъеденное ржавчиной тело впивается в ладони.

Это хорошо: он может содрать кожу, но не выскользнет.

К огромному с открытым бортом прицепу, на одну треть заполненному песком, ведет помост - земляная насыпь. Медленно над ней плывет снаряд.

И вот уже все трое ступили на прицеп. Ноги вязнут в песке.

Впереди для ноши приготовлена выемка - "постель". Снаряд опускают туда бережно, нежно, будто кладут в постель ребенка.

Теперь надо идти за вторым. Но на поверхности нет ни одного снаряда, который бы можно брать, не задев соседних. Если приподнять с одной стороны тяжелый снаряд, из-под него можно вытащить более легкий.

Тогда освободятся еще два.

Снова тщательный осмотр. Тонкими стальными пластинками офицеры ощупывают зазоры между снарядами. Никакого подвоха или ловушки нет. По команде Махалов берется за верхнюю часть корпуса, не касаясь взрывателя, и приподнимает болванку. В руках не меньше трех пудов, хотя второй ее конец имеет опору.

В таком положении остается, пока не извлекают длинный снаряд. Он сильно проржавел, полуразрушен. Его надо брать особенно осторожно. Зато он длиннее первого, и четверым хватает места взяться за корпус.

Несут бережно. Два офицера по краям, солдаты посредине.

Ивану можно опустить свою ношу. Хорошо бы бросить проклятую глыбу. Он медленно нагибается и застывает, низко склонившись над землей. Он видит: снаряд ляжет глубже, чем был, и левая рука окажется между двумя стальными телами. Надо бы чуть-чуть отвернуть снаряд в сторону. Но тогда пошевелится еще один.

Махалов оборачивается. Люди только поднимаются на прицеп. Держать нет больше сил, очень неудобная поза. Иван медленно опускает свой груз, обдирая кожу на руке. Это не страшно. Тыльной стороной работать не придется.

Он высвобождает руку, прячет ее за спину. Все уже вернулись к яме. Рука становится липкой.

За большим кирпичным домом стоит санитарная машина. Хорошо бы сбегать туда. Но врач запретит продолжать работу. Сказать командиру роты нельзя.

Он сделает то же самое. Стоять и раздумывать совсем нельзя. Сейчас будет очередная команда, все увидят и его отстранят, еще и с замечанием...

- Разрешите отлучиться, товарищ капитан, - смущенно улыбается Махалов.

- Самое подходящее время для отлучки, - глубокомысленно замечает Маргишвили.

Капитан слышит реплику и строго говорит!

- Отставить, Маргишвили. - И, кивнув в сторону Махалова, добавляет: Идите.

Иван бежит за переезд. Там водопроводная колонка, оттуда никто его не увидит. Он обмывает руку, засыпает пораненное

место землей: уж лучше потом он повозится с рукой, чем сейчас его отстранят.

...Шестнадцать снарядов откопали, перенесли и уложили, не сделав ни минутного перерыва. Носили все пятеро. После такой тяжелой работы руки немного дрожат. Грузчику, например, всегда трудно обращаться с маленькими хрупкими вещами.

А вот теперь надо снова очищать землю. Надо, чтобы руки не дрожали. И уже не за рукоятки, а за лезвия саперных ножей берутся люди. Берутся так, чтобы жало выступало между пальцами, как безопасная бритва из станочка. И вдруг высоко над головой вспыхивает огромная красная лампа. В ту же секунду сильный и резкий звонок, как на железнодорожном переезде, оглашает все вокруг. Это сигнал о том, что идет пассажирский поезд. И в подтверждение голос в эфире:

- "Резец"! "Резец"! Я "Резец-три". В поле зрения поезд Москва Тбилиси. Прекратите работу.

- А-а, черт его несет! - в сердцах бросает капитан,

- Это за мной подали, - тихо говорит Маргишвили, обращаясь к Махалову. - Мне в Тбилиси пора.

Шучку слышат все, и все улыбаются.

Молодой инженер коммунист Георгий Химичев и видавшие виды два старших стрелочника Никита Николаевич Красников и Федор Ананьевич Холодов, находясь в трехстах метрах от склада снарядов, заменили в этот день большой штат станционных работников.

Они готовили маршруты на опустевших путях, они зорко следили за движением поездов, их команду слушали паровозники, движенцы, связисты. По их приказам останавливали работу солдаты.

...Спустя несколько минут лампа погасла, умолк звонок. Химичев сообщил по рации, что можно продолжать работу.

Иван Махалов счищает землю. Вот он сбрил тоненький слой и протянул нож, чтобы снова пройтись по этому же месту, и вдруг резко отдернул руку. На сердце будто растаяла мятная конфета - сердце обдало щемящим холодком. Это был не страх. Страшно, наверно, бывает под пулями. Было жутко. Под слоем земли, которую он собирался снять, будто вздулась тоненькая, как кровеносный сосуд, жилка. Она шла от взрывателя снаряда и исчезала где-то между другими болванками.

Сердце обдало холодком в то мгновение, когда он понял, что это не жилка, а проволочка, такого же цвета, как земля.

- Что случилось? - спросил Поротиков, обратив внимание на застывшего солдата.

Махалов ничего не ответил. Он молча показал рукой на

жилку.

- Все в укрытие! - скомандовал старший лейтенант.

Солдаты молча поднялись и пошли.

Поротиков внимательно осмотрел изъеденную временем проволоку. Местами сохранилась изоляция, сгнившая, мягкая, как глина. Местами видны тоненькие, оголенные нити.

Старший лейтенант берет узкий обоюдоострый нож, вернее, что-то среднее между ножом и шилом. Начинается в самом полном смысле слова граверная работа.

Оказалось, что проволочка укреплена к колечку чеки, вставленной во взрыватель. Чека диаметром не больше двух миллиметров сделана, видимо, из особого сплава. Железная давно бы превратилась в труху. Но и эта проржавела так, что и не поймешь, на чем держится. Кажется, предусмотрели все, а вот лупу не взяли. Как бы хорошо сейчас посмотреть на минное устройство через увеличительное стекло. Но разве можно было додуматься, что, разбирая десятки кубометров снарядов и земли, они будут нуждаться в лупе?

Будь это новая установка, чеку легко придержать рукой, чтобы не выскочила, и перерезать проволоку.

Но сейчас к чеке прикасаться нельзя Кажется, что она может переломиться от ветра. Тогда ничем не удерживаемая больше пружина разожмется, острый стержень ударит в капсюль. Взорвется весь склад.

Запыхавшись, прибежал капитан.

- Да-а, - протянул он, посмотрев на чеку. - А ведь в снарядах такого калибра чеки не бывает. Специально сделали.

Решили искать, куда ведет второй конец шнура. Теперь за шило-нож взялся капитан. Он освободил от земли сантиметров сорок проволоки, когда показался второй конец. Видимо, шнур был закреплен за другой снаряд и просто перегнил в этом месте. Расчет врага стал ясен. За какой из двух снарядов ни возьмись, чека выскочит.

Одну за другой переламывает капитан тонкие нити проволоки у взрывателя.

- Ну что ж, все? - говорит капитан.

- Похоже, что так, - отвечает старший лейтенант.

- А если он боковой взрыватель поставил и отвел штук десять проводков в стороны?

- Нет, не может быть. За пятнадцать лет грунт сильно осел, проволочки натянулись бы и выдернули чеку.

- Верно, - соглашается капитан. - Но попробуем проследить за мыслью врага. Прежде всего решим:

опытный это был минер или нет?

- По всему видно - мастер.

- Согласен. Рассуждать он мог так. Если придут просто наши солдаты, они поднимут снаряд, чека выскочит. Больше ему ничего не надо. Но, конечно, он рассчитывал на то, что за дело возьмутся саперы. Они обнаружат чеку, перережут проволочку, проверят, не тянутся ли проводки в стороны. Верно?

- Безусловно, так.

- Значит, все это он предвидел. Значит, придумал еще что-нибудь. Мог он от донного взрывателя вниз проволочку пустить?

- Думаю, нет.

- Почему?

- Потому, что мастер. Понимал, что уж если мы в такой пирамиде обнаружили верхнюю чеку, то обязательно будем искать и с боков и снизу.

- На всякий случай все же проверим. Если ничего нет, значит, наверняка где-то спрятана более хитрая штука.

А солдаты тем временем сидели в укрытии и мирно беседовали.

- Смотри-ка, забыл капитан доложить, что установку нашли, - говорит Хакимов. - А ведь полковник ему приказал...

- Ничего не забыл, - перебивает МахаАОВt- он боится.

- Чего боится?

- Что запретят разминировать.

- Да-а, - вступает в разговор Маргишвили, - ох и подбросило бы нас!

- А что, неплохо, - улыбается Махалов, - мы бы в спутников превратились.

Солдаты дружно смеются.

- А завтра в газетах, - важно говорит Хакимов, - напечатают: "Помкомвзвода младший сержант Иван Махалов совершает свой пятый виток вокруг земного шара..."

- И догоняет ракетоноситель, - подхватывает Маргишвили.

- А что ты думаешь! - степенно замечает Махалов. - И догнал бы. Сел бы поудобней, и пусть носит.

На то он и носитель.

...В кузов уложили снаряды. Выехал из укрытия на своем бронетранспортере Солодовников. Теперь все зависит от него. Крюки должны быть соединены без толчка. Подняли тягу прицепа, воткнули в землю палку. Надо подъехать так, чтобы крюк коснулся палки.

Солодовников сдает машину назад, его движение с обеих сторон корректируют офицеры. И вот крюк накинут и поставлен на предохранитель. Остается натянуть тягу.

- На один сантиметр вперед, - командует капитан.

Все. Можно ехать. Командир роты садится рядом с

водителем. Старший лейтенант Поротиков по рации получает разрешение на выезд. Вздымается вверх красная ракета. Первый рейс начался.

- Трогайтесь так, - говорит капитан водителю Николаю Солодовникову, будто прицеп до краев наполнен молоком. Хоть капля разольется - взрыв. Забудьте про тормоза. Тормознете - сработают снаряды. Да и чеке немного надо, чтобы обломаться.

Солдаты убрали из-под колес прицепа колодки, застыли там, где стояли. Николай Солодовников включил первую скорость. Неуловимо движутся в противоположные стороны ступни его ног на педалях. Одновременно шевельнулись десять тяжелых баллонов. Машина тронулась вместе с прицепом, будто это один агрегат. В нескольких метрах-железнодорожный переезд.

Длинное чудовище переползает помост. Теперь видно, как осели рессоры прицепа.

Сразу за переездом первое препятствие. На узкой дороге надо круто повернуть вправо. Надо повернуть за один раз, чтобы не сдавать назад. Машина выбирается на левую сторону, медленно, тяжело разворачивается. Впереди хороший отрезок пути. Но он невелик.

Дорога шла через пять улиц и переулков, а потом выходила в поле. Это была дорога, какие еще можно встретить на иных окраинах городов или в сельском районе. Изрытая, в ухабах, с глубоко продавленной колеей, с объездами и рытвинами.

Специально для рейсов бронетранспортера ее спешно исправляли, заравнивали, утрамбовывали. Но разве в короткий срок исправить такую! За день до начала работ капитан и Солодовников совершили пробный рейс, тщательно исследовали ее, точно определили будущий маршрут. И когда кто-то из товарищей спросил водителя: "Как дорога?" - он ответил: "Не совсем бильярдный стол, но проехать можно".

Медленно идет бронированная машина. Тихо и пусто вокруг. Не слышно обычного грохота гипсового завода, затихла шпагатная фабрика, не дымят трубы завода передвижных агрегатов, умолкли паровозы и рожки стрелочников.

Миновав железнодорожный переезд и поворот, машина выехала на опустевшую улицу. Запертые калитки, закрытые ставни окон, ни одного дымка над домом.

Ни собаки, ни кошки. Даже птицы не летают, словно почуяв опасность. Мертвый город.

Николаю Солодовникову не раз приходилось проезжать по этим улицам. Непривычно и пусто вокруг огромного здания школы. Висит замок на тяжелом засове гастронома. Спущены

жалюзи на павильоне с вывеской "Ремонт обуви". Чуть дальше - детская консультация. Из двора этого дома обычно выносят узенькие бутылочки с делениями. Это молоко для грудных детей. Сейчас все закрыто, заперто.

Медленно, точно огромный жук, ползет, переваливаясь, тупорылая машина со смертельным грузом. Тяжелые бронированные боковые щитки закрыты. Но если повернется снаряд с крошечной проржавевщей чекой, от этой машины ничего не останется.

Внимательно смотрят на дорогу водитель и капитан.

Впереди выбоина. Чтобы не попасть в нее, надо ехать по самой бровке кювета. Ни одного сантиметра в сторону. Для хорошего шофера протиснуться здесь не так уж трудно. Но ведь позади прицеп. Он может сползти.

Капитан открывает дверцу и низко склоняется на подножке. Теперь ему видны баллоны прицепа. Они проходят точно по колее машины. Дальше дорога сильно скошена. Теперь капитан уже стоит на подножке, вытянувшись на носках. Он смотрит на снаряды. Кузов наклоняется на одну сторону, и кажется, вог-вот они покатятся.

- Тише! - командует капитан. - Еще тише! Вот так.

И снова опасное место позади, но надо преодолеть еще немало препятствий. Надо ехать так, чтобы прицеп не перекосило, чтобы его колеса не наткнулись на бугор или камень, не попали в яму. И Солодовников вдруг замечает, что обеими руками крепко вцепился в руль, все тело напряжено. Так ездят новички. "Что же это?" - недоволен собой водитель. Он расслабляет мышцы.

Впереди вспученный участок булыжной дороги, которую строили, наверно, задолго до рождения водителя. И, сам не замечая того, он снова сильнее сжимает руль.

На вершине песчаного карьера стоят четверо: лейтенант Иващенко, старшина Тюрин, сержант Голубенко и рядовой Урушадзе. Они молча смотрят на пустынную дорогу. Они смотрят в одну точку, где исчезает за поворотом ленточка асфальта. Здесь должен показаться бронетранспортер.

К приему снарядов подготовлено все. Вырыты две ямы. Могилы для снарядов. Далеко в стороне, в специальной нише, упрятаны капсюли-детонаторы. Отдельно хранятся шашки. От ямы тянутся длинные провода к электрической машинке, установленной в укрытии. Лейтенант Селиванов еще раз осматривает свое "хозяйство". Рядом радист. Уже дважды запрашивал его штаб, не показался ли бронетранспортер. Но на дороге по-прежнему пустынно.

Все одинаково ощущают, как медленно тянется время: и в штабе, и люди на вершине карьера, и двадцать солдат, окруживших карьер. Это внутреннее оцепление, которым командует лейтенант Коротков. Наружное оцепление, вытянувшись на несколько километров в виде подковы, ограждает подземный склад и путь следования опасного груза.

Никакого движения вокруг. Пустынно на прилегающих к карьеру колхозных полях. Одиноко торчат вверх оглобли то ли забытой, то ли брошенной телеги. Тихо и пустынно на животноводческой ферме. Она далеко от карьера. Осколки не должны бы туда залететь, но бывает шальной, которому путь не закажешь. Словно подчиняясь общему безмолвию и покою, молчат, не шевелятся люди на гребне карьера. И вдруг лейтенант Иващенко срывается с места, бежит к рации.

- "Резец-два", "Резец-два", - докладывает лейтенант Иващенко. - На повороте шоссейной дороги в двух километрах от меня показался бронетранспортер с прицепом.

- Вас понял, - отвечает полковник Сныков. - Докладывайте о ходе работ. При любых, даже мельчайших сомнениях или трудностях сообщайте немедленно.

Без разрешения взрыва не производить.

И вот уже снова Иващенко смотрит на дорогу. Ползет одинокая приземистая уродливая машина по обезлюдевшей дороге и тащит свой смертельный груз. Она доставит его сюда. Напряженно смотрят солдаты и офицер, как медленно сворачивает машина с асфальта на проселочную дорогу, ведущую в карьер.

- В укрытие! - командует лейтенант, и люди быстро выполняют приказ.

Медленно заходит в карьер бронетранспортер. Глубоко в сухой песок зарываются колеса, но движутся с постоянной, одинаковой скоростью. Натужно ревет мотор. Впереди то идет, то бежит, пятясь спиной, Иващенко, указывая дорогу. Капитан стоит на подножке.

Карьер сильно разработан, весь в песчаных холмах.

Подъехать близко к ямам рискованно. Надо максимально приблизиться к ним.

- Стоп! - кричит Иващенко, размахивая рукой. - Все!

Капитан спрыгивает с подножки. Мотор замер. Тихо-тихо. Только поднимается вверх, рассеивается облако отработанного газа.

Офицеры смотрят друг на друга, улыбаются.

- Ну как? - спрашивает командир роты.

- Все в порядке, товарищ капитан.

- Давайте отцеплять.

Водитель Солодовников помогает разъединить крюки и выводит свою машину из карьера. Далеко в стороне для нее приготовлено укрытие.

Начинается разгрузка. Как и там, у подземного склада, работают пятеро. Как и там, сильные солдатские руки бережно, нежно берутся за ржавые болванки.

Сейчас они особенно опасны: в дсГроге растряслись, кто знает, что делается внутри взрывателей.

Чтобы быстрее освободить прицеп для следующего рейса, снаряды кладут пока тут же, в один длинный ряд.

Капитана срочно вызывают к рации.

- Докладывает старший лейтенант Поротиков, - слышит он голос в наушниках. - Обнаружена вторая установка на минирование. По всем признакам - электрический способ.

- До моего возвращения к снарядам не подходить.

Разговор по рации слышат и заместитель начальника станции Химичев, и все, находящиеся в штабе.

Едва успел капитан Горелик отдать этот приказ, как сам получил распоряжение не прикасаться к снарядам:

на место выехал полковник Сныков.

И капитан, уже сидя в машине, торопит Солодовникова: гони вовсю.

Иващенко, Тюрин, Голубенке и Урушадзе берутся за снаряды. Нести далеко. Тяжело вязнут в песке ноги.

Но снаряд плывет без толчков, без малейшего сотрясения, как лодка на тихом, спокойном озере. Один за другим плывут снаряды и ложатся в яму по точно определенному порядку. Это последний их путь. Вот уже уложены все тяжелые болванки. Остался маленький кумулятивный снаряд. К нему наклонился Иващенко и инстинктивно качнулся в сторону. Снаряд издал треск. Будто согнули ржавую полосу железа или коснулись друг друга оголенные провода под током.

Треск снаряда страшен. Бывает, торчат из земли три короткие проволочки, расходящиеся лепестками. В траве их не увидишь. Но заденешь, раздастся треск. И остаться невредимым уже немыслимо. Три-четыре секунды будет слышен треск, потом выскочит цилиндр из земли и на высоте метра метнет в стороны более трехсот стальных шариков. Услышав треск, надо отскочить на несколько метров и грохнуться на землю.

Тогда есть надежда остаться только раненым. А начнешь бежать, стальные комочки догонят.

Но ведь здесь нет трех лепестков. Схватив горсть мокрого песка, Иващенко положил его на оголенное место снаряда, потом

сверху насыпал, лопату сырого песка. Он решил, что снаряд успел нагреться даже на осеннем солнце и началась реакция. Чтобы прекратить ее, надо охладить снаряд.

Все прячутся в укрытие. Выждав необходимое время, лейтенант выходит. Особенно бережно поднимает он опасный снаряд и несет в яму. Потом укладывает шашки так, чтобы взрыв ушел в землю. И вот наконец все готово.

Из укрытия появляется лейтенант Селиванов. Он соединяет короткий шнур от шашки с проводами электрической машинки. Последний внимательный взгляд на всю местность вокруг. Оба лейтенанта удаляются в укрытие.

Иващенко вызывает по рации штаб. Полковников Диагамидзе и Снькова там уже нет, уехали. Подполковник Склифус дает разрешение произвести взрыв.

Взвивается вверх красная ракета. Лейтенант Селиванов подходит к электрической машинке. Она похожа на полевой телефон. Так же сбоку торчит маленькая ручка. Несколько быстрых оборотов, и загорается красный глазок. Это сигнал, что в машинке возник ток высокого напряжения. Остается нажать кнопку, и он ударит в гремучую ртуть...

Молча сидят и напряженно вслушиваются люди у трех походных радиостанций: в штабе, на железной дороге, близ подземного склада. Все ждут взрыва. Но взрыва нет. Томительно тянутся секунды. Тихо. Проходит мучительная минута. Еще минута. Подполковник Склифус не хочет дергать людей у карьера и не спрашивает, почему задержка, хотя несколько человек уже нетерпеливо просят узнать, в чем дело. Наконец не выдерживает и он.

- "Резец-три", "Резец-три", у аппарата подполковник Склифус. Пригласите лейтенанта Иващенко...

В ту минуту, когда погасла красная ракета, выпущенная Иващенко перед самым взрывом, в двух километрах от карьера из лесу выскочил грузовик. На большой скорости он понесся по шоссе. Навстречу бросился солдат из оцепления, размахивая красным флажком. Водитель резко сбавил ход. Видно было, что он остановится возле солдата. Но есть такие ухари-лихачи, которым все нипочем. Он знал, что дорога, по которой едет, ведет в город, остальное его не интересует.

Если даже затеяли здесь учения, все равно ничего не случится.

Сделав вид, будто останавливается и только случайно немного проскочил, он дал полный газ. Тотчас же раздалась автоматная очередь: солдат стрелял вверх. И это понимал лихач. Кто же будет стрелять в людей! У бойца оставался последний

выход- бить по баллонам. Он уже готов был нажать спусковой крючок, когда на вершине карьера увидел бегущего человека. От сердца отлегло. Если там человек, значит, несмотря на красную ракету, взрыва пока не будет.

Кто же находился на гребне карьера?

...Когда лейтенант Селиванов потянул палец к кнопке, его остановил Иващенко. То ли выстрел ему почудился, то ли опять подсказало это неразгаданное шестое чувство минера, но Иващенко сказал:

- Подожди, Толя, надо еще разок взглянуть.

Как только он выбежал на горку, в глаза бросилась машина и бегущий за ней солдат с автоматом. Одну за другой Иващенко выпустил несколько красных ракет.

Водитель испугался. Он резко затормозил, развернулся и помчался назад...

И вот уже снова все на местах. Еще не перестали возмущаться люди у раций, узнавшие, в чем дело, когда лейтенант Селиванов нажал кнопку.

Содрогнулась земля. Первая партия снарядов уничтожена.

...Капитан подъехал к гипсовому заводу. Полковники Диасамидзе и Сныков уже стояли, склонившись над ямой. Поединок продолжался.

Что думал враг? Куда тянутся провода? Где источник тока?

И снова тонкий и точный расчет врага был раскрыт.

Когда стало ясно, что делать дальше, полковник Сныков отвел в сторону Диасамидзе.

- Михаил Степанович, очень прошу, езжайте. Вы ведь не имели права даже появляться здесь.

Диасамидзе начал было возражать, но полковник крепко сжал его локоть.

- Не надо, - взмолился Сныков, - подчиненные услышат.

Недовольно бормоча, Диасамидзе ушел, а Сныков вернулся к яме.

- Вам все понятно, капитан? - спросил он.

- Так точно, товарищ полковник.

- Приступайте к работе.

- Слушаюсь, - ответил Горелик, но не тронулся с места.

Сныков удивленно посмотрел на него.

- Приступайте же, капитан.

- Не имею права, товарищ полковник, - сказал Горелик. - По всем действующим наставлениям, по специально разработанной вами инструкции здесь может находиться только тот, кто непосредственно выполняет работу.

- "Черт знает что! - выругался полковник и направился к

каменному зданию, за которым стояла его машина.

И снова началась "хирургическая" работа над минной установкой, куда более сложной, чем первая. И снова сильные, умные, золотые солдатские руки извлекали смертельные провода. И-снова грузили стальные глыбы, и снова ползла бронированная машина по опустевшим немым улицам. Дрожала земля от взрывов. Первый, второй, третий, четвертый, пятый... пока не взвился в воздух, точно салют победы, зеленый сноп ракет.

Все!

С огромной скоростью пронеслась на радиоузел машина Нагорного.

- Диктор, где диктор? - закричал он, вбегая в помещение.

Диктора на месте не оказалось.

Нагорный сам бросается к микрофону.

- Граждане! Исполнительный комитет депутатов трудящихся Кировского района извещает, что все работы по вывозке снарядов закончены. С этой минуты в районе возобновляется нормальная жизнь.

Радость переполнила его. Ему хотелось сказать еще что-нибудь, но все уже было сказано, и он растерянно и молча стоял у микрофона. И вдруг, вспомнив, как это делают дикторы, он медленно произнес:

- Повторя-яю!..

И опять умолк, то ли забыв только что сказанное, то ли слова эти показались ему сухими, казенными.

И неожиданно для себя он почти выкрикнул:

- Товарищи, дорогие товарищи, опасность миновала, спокойно идите домой...

В ту минуту, когда произносились эти слова, уже хлынул народ к обессиленным счастливым солдатам.

И понял Иван Махалов, как во время войны встречало население своих освободителей.

Солдат качали, летели вверх кепки, косынки. Крики "ура" смешались с возгласами восторга и благодарности. Вконец смущенных солдат обнимали и целовали, а они тоже благодарили, искренне не понимая, за что такие почести.

Вместе с толпой, увлекаемая ею, ринулась к солдатам и Валя. Но волна отнесла ее в сторону, и уже трудно было пробиться вперед. Она видела Гурама и старалась не потерять его из виду. Хоть бы он взглянул. Он сразу пробил бы к ней дорогу. А Гурам, счастливый и возбужденный, не замечал ее, и он показался вдруг Вале в недосягаемом ореоле славы. Валя попятилась. Будь ему тяжело, она сама сумела бы растолкать народ и пробиться. А как быть теперь? Что он подумает?

Еще утром, точно потеряв рассудок, она бежала за машиной, готовая на все. А сейчас стояла в стороне, беспомощная, нерешительная.

И вдруг глаза их встретились. Это было одно мгновение. Кто-то обнял его, кто-то подхватил его на руки, и Вале показалось, что он не пытается даже приблизиться к ней. Она снова попятилась и начала тихонько выбираться из толпы.

Гурам поискал глазами Валю и не увидел ее. И с прежней силой нахлынула обида. Даже совсем посторонние, чужие люди пришли поздравить. А она была тут и не подошла.

...Через шесть часов на плацу, на вечерней поверке, старшина Тюрин сообщил, чем рота будет заниматься на следующий день, перечислил назначенных в караул и посты, на которых они будут стоять.

- Младший сержант Махалов, рядовые Маргишвили и Хакимов, - закончил он, - в наряд на кухню. Старший по наряду Махалов...

В тот же день уехал Гурам. Когда поезд тронулся, он смотрел не на перрон, а в сторону города. Но ничего не было видно, мешала высокая насыпь, тихая и пустынная. Только молоденькая березка, тоненькая, как палочка, покачивалась, словно махая ему на прощание.

* * *

"...Мне восемьдесят пять лет. Я пережила несколько войн, работала в госпиталях. Много знала героев, но ваш поступок особенно велик и человечен.

Слава вам, наши ребятки! Слава нашей Родине, воспитавшей таких людей!..

У меня есть коллекция фотографий замечательных людей моей эпохи, и я присоединяю туда ваши портреты.

Будьте счастливы, дети и внуки мои..."

"Что это за передача?" - подумала Валя, слушая голос диктора. Она пришла сегодня домой позже обычного и, как всегда, сразу же включила репродуктор. Но начала передачи не слышала, увлеклась работой. Надо наконец закончить блузку, с которой уже давно возится.

Валя сидела в неудобной позе, но так и не изменила ее. Она слушала, и ей не верилось, что это говорят из Москвы, что это говорят о людях, которых она так хорошо знает, и они знают ее. И, странное дело, когда назвали имя Гурама Урушадзе, сердце не забилось сильнее. И не потому, что он ей стал менее дорог. Нет, о кем она продолжала думать так же, как и раньше. Но она испытывала такие же чувства, как и все советские люди, узнавшие о героическом подвиге. Никак не могло вместиться в ее сознание,

что подвиг совершили эти ребята, такие простые и неприметные. Ведь и ей только из газет пришлось узнать, какая страшная опасность висела над городом, какой героизм совершили солдаты. Ей хотелось знать все подробности, хотелось слушать, сколько бы об этом ни говорили. И она слушала...

"Большое письмо прислал товарищ Кирюхин из Калуги, - продолжал диктор. - "Признаться, нервы у меня крепкие, - пишет он, - в прошлом я сапер офицер. Но я пережил многое, пока дочитал статью до конца. Мне очень знакомо чувство, которое ощущает человек при разминирсзании. Но описанный случай, пожалуй, наиболее сложный, опасный и страшный, страшный своими последствиями в случае малейшей ошибки.

Кто эти люди, в мирные дни сознательно решившие пойти на огромный риск? Что заставило их решиться на такое? Деньги? Слава? Почет? Нет, нет и нет. Словами этого я не могу передать, но вот душой чувствую:

сознание долга советского человека, высокое звание солдата Советской Армии, сознание того, что рискуешь жизнью ради спокойной жизни десятков тысяч, и еще что-то, исходящее из самой глубины души, волнующее, не похожее ни на какие другие чувства, - вот что заставило людей пойти на подвиг... Если бы я мог, то расцеловал бы их всех. Расцеловал бы их матерей и отцов, воспитавших таких героев, расцеловал бы командиров, вложивших в их руки такое мастерство".

Одно из писем заканчивалось так: "Родина, милая Родина, какая ты счастливая, что имеешь таких сыновей!"

Благодарная Родина ответила своим сыновьям. Указом Президиума Верховного Совета СССР они были награждены орденами и медалями.

"...По-разному выражают свои чувства люди. Но одно объединяет то скупые, то взволнованные строки, адресованные героям, - светлая гордость за людей, рожденных Россией, страстная вера в их большое сердце. Это не простые письма. Зто вся страна сошлась на большой форум. Это незримые нити, идущие от мартенов "Запорожстали" в палатку целинника, от цехов ленинградских промышленных гигантов в колхозные станицы Кубани. Это нити, связывающие сердца", - так писала "Комсомольская правда" о потоке писем, идущих в редакцию.

Да, по-разному выражали советские люди свои горячие чувства к героям. Им слали подарки, их звали в гости, делегации молодежи различных городов приезжали в Курск. И почти каждая встреча приносила чтото неожиданное.

По просьбе московского радио и телевидения командование части разрешило участникам разминирования выехать на два дня

в Москву, чтобы выступить перед слушателями и телезрителями. В первый же вечер в Центральном Доме Советской Армии состоялась встреча с солдатами и офицерами Московского гарнизона. Здесь секретарь Центрального Комитета комсомола вручил героям Почетные грамоты ЦК ВЛКСМ и удостоверения о занесении в Книгу почета.

Вечер затянулся. К водитель Николай Солодовников стал заметно нервничать. Еще по дороге в Москву по его инициативе решили осмотреть главный конвейер Московского автомобильного завода имени Лихачева.

И вот уже давно прошло назначенное для экскурсии время, а курян все не отпускали. Им задавали десятки вопросов, их расспрашивали о подробностях операции, о жизни роты.

На завод попали совсем поздно. Вторая смена закончила работу, конвейер остановился. Но слух о том, что приедут герои из Курска, распространился по цеху, и почти никто не уходил.

Встретили воинов радостными восклицаниями, горячими приветствиями. А они, никак не предполагавшие, что их могут специально ждать, были растроганы и смущены. Но вскоре общее оживление передалось и им. Рабочие показывали свое производство, объясняли, как действует конвейер, и чувствовали себя неловко оттого, что конвейер стоит. И вдруг какой-то паренек, успевший помыться и переодеться, вскочил на верстак.

- Товарищи, - раздался его звонкий голос, - я предлагаю бесплатно поработать полчасика в честь гостей, пусть посмотрят.

- Правильно! - закричали в толпе,

- Пустить конвейер!

- По местам!..

Далеко за полночь, растроганные, взволнованные, окруженные толпой, покидали куряне завод и уносили в сердцах любовь рабочего класса.

А на следующий день их ждал новый сюрприз...

Как обычно работала вторая смена в трикотажном ателье на Колхозной площади Москвы. Но вот начался перерыв, и кто-то включил телевизор. На экране появилась группа воинов из Курска. Работницы ахнули.

- Как же теперь, девочки!

Никто не ответил. Все смотрели на экран, восторженные и удрученные.

"...Я сам из Грузии, - говорил с экрана Дмитрий Маргишвили, - но мне одинаково дороги и Грузия, и древний русский город Курск, и каждый клочок советской земли. Когда мы уничтожали склад снарядов, никто из нас не думал, что приедут корреспонденты, что нас пригласят в Москву. Мы выполняли свой

долг перед Родиной, как выполнил бы его каждый советский человек..."

Вот во весь экран чудесное добродушное лицо Ивана Махалова. Он смущенно молчит.

"Когда мы ехали сюда, - начинает он наконец нерешительно, - я очень готовился. А вот сейчас сбился, прошу извинить..."

И вдруг лицо его становится серьезным, волевым, голос уверенным и сильным:

"Я только одно скажу. Если надо, сделаем! Все сделаем, что партия скажет..."

Начальнику цеха Антонине Ивановне Пантелеевой очень трудно было оторваться от телевизора, но она не могла больше сидеть и бросилась в другую комнату звонить на телецентр.

Почему же так странно вели себя работницы?

Когда девушки впервые узнали о подвиге, им очень захотелось сказать воинам какие-то теплые, душевные слова. Сначала решили писать коллективное письмо, но вдруг Юля Макотинская сказала:

- Девчонки, давайте им сорочки сошьем. Самые красивые, как на всемирную выставку.

В цехе поднялось что-то невообразимое. В несколько минут собрали деньги. Это оказалось самым легким.

Дальше все шло в непрерывных спорах. Прежде всего - из чего кроить? Одни предлагали голубой трикотаж, другие - серый, третьи - в полоску. Кто-то требовал только одинаковых для всех.

Сто семьдесят девушек и пожилых женщин работают в ателье, и каждой хотелось собственноручно шить для героев. Сшить самой хоть рукав, хоть манжет, хоть петлю выметать.

Глядя на фотографии в газетах, определяли размеры воротничков, ширину плеч. И вот наконец сорочки готовы. Их принимали контролеры, как особый государственный заказ. Их придирчиво осматривали модельерши, и главный инженер Концевич, и начальник цеха Шухина, и директор ателье Иванова.

Все это опытные мастера. Через их руки проходит вся готовая продукция более тридцати тысяч штук трикотажных изделий. Ни к одному шву или петельке придраться нельзя было. И когда окончился осмотр, кто-то тяжело вздохнул:

- И какие же мы дурехи, девочки! Ну кто разрешит солдатам носить такие сорочки!

И снова бурлили цехи. А через час возле каждой сорочки появилась и шелковая майка: носить ее может любой солдат.

Выделили делегацию в Курск из трех самых достойных. Но как уехать, ведь надо работать? И трое написали заявление с просьбой предоставить им отпуск на два дня за свой счет "по

семейным обстоятельствам".

Директор ателье Анастасия Петровна Иванова вернула девушкам заявления.

- Выпишу командировку, - с улыбкой сказала она.

- А если ревизия будет?

- Ревизоры - советские люди, поймут.

На следующий день только и говорили о курских событиях, завидовали тем, кто поехал к героям, кто пожмет им руки. В такой момент работницы и увидели своих героев на экране московского телевизора. Им радостно было смотреть на этих людей и до слез обидно, что где-то в Курске сидят их делегатки с шелковыми майками и сорочками.

Девушки помчались на телецентр, разыскали курян, рассказали все, что произошло. Трудно было отказать работницам и не посетить их ателье...

Из Воронежа, Москвы, Тбилиси приезжали в Курск представители молодежи, чтобы лично поздравить верных сынов Родины.

За день до приезда грузинской делегации Валя получила билет на встречу воинов с делегатами братской республики. Все знали о том. что в числе их будет и Гурам Урушадзе.

На вокзал она идти не решилась, но на вечер пришла одной из первых. Она могла занять почти любое место и все же села далеко от сцены, в одном из задних рядов. С волнением смотрела она, как появились на сцене Иван Махалов, Дмитрий Маргишвили, Михаил Тюрин, как заполнили места в президиуме делегаты Грузии. Гурама среди них не было. Что же могло произойти? Ведь о его приезде объявили официально.

Валя слушала выступления солдат, представителей молодежи Курска, слушала горячие страстные слова грузин. И все-таки она тревожно думала о Гураме.

Одной из первых покинула зал, когда вечер закончился. Чем дальше уходила от клуба, тем реже становились прохожие. На своей улице она оказалась совсем одна. Валя ускорила шаг. Показались очертания ее дома. На ступеньках неясный силуэт. На крылечке, на старом родном крылечке, сидел человек. С вокзала он добежал сюда за десять минут. И вот уже много часов сидит и ждет...

1962 год

МАШИНИСТЫ

Глубокой ночью пассажирский экспресс мчался навстречу неизбежной катастрофе.

В будке машиниста никого не осталось. Никем не управляемый паровоз и тринадцать пассажирских вагонов

неслись под уклон со скоростью девяносто шесть километров в час, а навстречу по тому же пути тяжело тащился нефтеналивной состав. В середине его было несколько цистерн с крупными надписями:

"Пропан". И именно в эти трагические минуты перед самой катастрофой на площадке между шестым и пятым вагонами разыгралась поразительная сцена, которую можно будет понять, если вернуться к событиям и давно и недавно минувших дней.

ВЕРСТОВЫЕ СТОЛБЫ

Из Тамбовской губернии крестьяне шли в Сибирь.

Андрей Чеботарев тоже решил идти. Если безлошадная голытьба выбивается там в люди, то он и подавно про нужду забудет.

За свою десятину и дом он получил немалую сумму, и ему хватило не только полностью расквитаться за недоимки, но еще и остались кое-какие деньжата.

В Сибири травы в рост теленка, и столько их, что ни выкосить, ни съесть стадам. Жирные черноземы пустуют, а рыбу в реках и озерах берут корзинами.

Дома там пятистенные, лесу - тайга непролазная: иди и руби.

Так говорили люди, а люди зря не скажут. Сколько их в Сибирь ушло, и никто назад не вернулся. Значит, живут сытно.

Андрей выехал со двора, крестясь. На дне телеги с высокими бортами лежали наглухо зашитые три мешка семян, сверху домашняя утварь, между которой разместились трое детей, а впереди - отец Андрея с вожжами в руках. Сам Андрей и его жена шагали рядом.

На Великий сибирский тракт выбрались возле Казани, нигде не сбившись с пути. А дальше дорогу искать не надо, верстовые столбы покажут.

В первый месяц пути шли быстро, верст по тридцать в сутки. Досыта наедаться не приходилось, зато берегли харч и корм - путь только начинался. Но больше всего берегли кобылу. Теперь на телегу сажали ребят по очереди, когда они сильно уставали. Деду тоже пришлось идти пешком.

На исходе второго месяца кончились запасы. Телега полегчала, но лошадь все равно тянула ее с трудом, потому что сильно исхудала, не хватало корму. И попасешь лошадь не везде, приходилось уходить от дороги. В поселках и у других переселенцев начали менять на еду кое-что из вещей. А переселенцев было немало.

Они шли по Великому сибирскому тракту. Шли .курские, калужские, рязанские, тульские... Шли не ропща, считая верстовые столбы. Шли, не ведая, где остановятся, где пристанут,

но каждый, кто шел, знал:

там, в Сибири, в обетованных Барабинских степях, травы в рост теленка, жирные черноземы пустуют, рыбу берут корзинами, дома пятистенные.

Шли озираясь, чтобы никого не пропустить вперед, не отстать, успеть занять получше кусок этой жирной, как масло, земли.

Андрей понимал: земля у него будет, значит, надо довести кобылу. Пусть хоть тощая, но дойдет. Пусть хоть кости свои донесет до вольной земли. Там станет гладкой. И он вспорол мешок семян.

Часть вещей сняли с телеги. Даже шестилетнему Грише и восьмилетней Кате пришлось нести узелки.

Однажды возле верстового столба Андрей увидел холмик, а на нем крест: не дотянул какой-то горемыка. Имени на кресте не было. Наверно, не потому, что люди не уважали покойника, а просто не нашлось грамотного человека.

Потом кресты стали попадаться чаще, и не по одному, а по нескольку сразу, и чем дальше шли, тем гуще становились кресты.

За могилками некому было присмотреть, да и делали их, видно, на скорую руку, поэтому многие кресты наклонились или подгнили и совсем упали, на иных холмиках крестов не было, но все равно видно было, какая могила здесь уже много лет, какая только перезимовала, а которую вчера засыпали.

Когда семена были съедены - а надолго ли их хватит, если и лошади надо и вся семья только ими и питается, - Андрей снял оглобли и борта от телеги и бросил у дороги. Зачем тащить их в Сибирь, если лесу там вволю... Сундук тоже бросил. Раньше в нем лежали пожитки, а теперь он ни к чему.

Андрей вытащил из сундука гвозди, вывинтил шурупы, снял петли и все это бережно завернул в крепкую тряпку. Это пригодится. Там, в Сибири, он сделает сундук получше.

Телега стала легкой, и незачем было впрягать в нее кобылу. Скотина и так едва держалась на ногах.

Андрей смастерил лямки, впрягся в них вместе с женой, а лошадь привязал сзади.

В начале Великого сибирского тракта Андрей обгонял многих переселенцев. Теперь его обходили люди, особенно каторжники. Хотя и они двигались медленно, но жандармы не давали им зевать по сторонам и задерживаться лишнее на привалах. Жандармы торопились скорей пройти свой этап и сдать каторжников, которых дальше поведут другие, и можно будет, наконец, отдохнуть от этой проклятой дороги и покормить своих

лошадей.

На исходе третьего месяца пути Андрей поставил первый крест: похоронил отца. А еще через неделю в один день померли Гриша и Катя. Им он поставил один крест на двоих. Тут же Андрей бросил телегу: не к чему было тащить пустую повозку.

Когда кобыла издохла, семья вволю поела, отобрав лучшие куски. Немного мяса удалось обменять на зерно, немного взять с собой, а остальное бросили, потому что присолить нечем было и мясо в дороге испортилось бы.

По тракту шло много переселенцев и каторжников.

Но могло показаться, что их мало. Ведь Великий сибирский тракт пересекал почти всю страну и тянулся ка иного тысяч верст. А переселенцы и каторжники не скапливались в одном месте, а тоже шли по всей России, растянувшись на много тысяч верст. Со стороны можно было подумать, что все, кто идет по тракту, сплошь каторжники. Все они были похожи друг на друга - голодные, прокопченные, одичалые, в пропыленных лохмотьях. Правда, у каторжников на ногах были цепи, а у переселенцев кандалов не было, но и они от переутомления передвигали ногами, точно закованные. Ошибиться можно было и потому, что все пели одну и ту же песню, и она тоже слышалась на тысячи верст:

Динь-бом, динь-бом,

Слышен звон кандальный..

Под конец пути уже не все пели. Из-за усталости люди только шептали, облизывая пересохшие губы:

Динь-бом, динь-бом,

Путь сибирский дальний..

Но большая часть людей и шептать перестала. Они шли молча, но не могли избавиться от навязчивых, тягучих слов:

Динь-бом динь-бом.. динь-бом..

Великий сибирский тракт... Андрей Чеботарев не знал, что по этому тракту прошло уже много смелы."

и честных людей России. Мимо тех же верстовых столбов гнали в ссылку Радищева, вели на каторгу декабрлстов, ехали вслед за мужьями героические русские женщины... Братья Бестужевы, Муравьев, Лунин, Кюхельбекер... Волконская, Трубецкая... Везли на поселение Чернышевского, Короленко. Этот путь проделали русские ученые Чекановский, Пржевальский, Штернберг... Где-то здесь останавливался Чехов, совершая свое знаменитое путешествие на Сахалин.

Не слышал об этих людях Андрей Чеботарев, не знал, что только за десять лет до постройки железной дороги по Великому тракту в Сибирь прошли два миллиона переселенцев. А сколько

добралось до места, никто не знал, потому что на крестах и могилах не писали, кого под ними схоронили - переселенцев или каторжников. Может быть, и правильно делали, что не писали, ведь все это - люди. Всем хотелось лучшей жизни. Кто с боем хотел ее брать и попадал в Сибирь, а кто сам шел туда. И когда одни кончали свое путешествие или умирали, другие только начинали путь по тракту. Люди шли и шли, будто широкая река текла.

А кто сможет остановить реку!..

В конце четвертого месяца пути Андрей добрался до Каинска. Это почти самый центр Барабинских степей. Дальше идти было незачем. Многие каторжники тоже остановились здесь: их заключили в знаменитую!

каинскую тюрьму.

Переселенцы увидели, что их не обманули. Куда ни глянь, на тысячи верст стояли высокие, в рост теленка, густые травы, блестели на солнце озера, где рыбу, наверно, корзинами можно брать; а то, что домов не видно, оно и лучше - любое место свободно, и начальствр разрешало брать любую землю.

Многие переселенцы давно уже пришли сюда, но от, радости и по неопытности никак не могли выбрать то, что им было нужно. Близ тракта травы оказались в болотах. Стали обходить, а там новые болота, и не было им ни конца ни края.

Кое-кому удалось все же меж болот напасть на сухие участки земли. Построили пока что землянки и начали обрабатывать поле. Но с первыми дождями болота, будто того и ждали, двинулись на сухие участки, засосали, залили, затопили землю. Те, кто похитрей, стали рыть канавы, чтоб вода стекала. Но они не знали, что в Барабе некуда стекать воде - степь ровная, как стол. И канавы скоро затянуло тиной: только болот прибавилось.

После дождей некоторым все же удалось найти незалитые земли. Начали обживать их, рыть колодцы, но на беду вода оказалась соленая, а без воды какая жизнь!

Три тысячи озер и несчетное количество болот Барабинской степи преградили путь к заветным пашням и лугам. Где они, эти пашни, эти черноземы пустующие? Их ведь тысячи и тысячи десятин. Они здесь, в Барабинской степи. Показал бы кто... Да кто ж покажет! Каждая семья металась, каждая в отдельности.

И туда, где одни натыкались на болота и молча уходили, шли другие, третьи, десятые, сотые.

Кто знает, куда идти? Как выбраться из болот? Как обойти соленые озера, в которых рыба не живет?

Не мог выбраться и Андрей Чеботарев.

Люди стали искать поселки. Некоторым удалось попасть на

работу в мастерские, на солеваренные и винокуренные заводы. Повезло наконец и Андрею. Его вместе с женой взяли на строительство Великой сибирской магистрали. Им объяснили, что берут их из жалости, и пусть уж работают, не привередничая, не высчитывая время.

Но им сказали неправду. На строительство железной дороги требовалось много народу, и переселенцев здесь только и подстерегали. Видят, что людям некуда деться и нечего есть, вот и берут за харч.

Строилась Великая сибирская магистраль, и вдоль нее не было крестов, потому что ставить кресты близ полотна не разрешалось. Покойников уносили далеко в сторону. А если некому было этим заниматься, тайком закапывали тут же, где люди умирали, в каменоломнях, но только крестов не ставили.

СТАРЫЙ ОБХОДЧИК

Пока строилась железная дорога, Андрей работал на укладке пути, а потом стал путевым обходчиком.

Его сын тоже поступил на железную дорогу.

О собственной земле, о своем хозяйстве Андрей давно перестал думать. Ни к чему это было. О своей давнишней мечте, с которой отправлялся в Сибирь, вспоминал только при встречах с переселенцами.

А шло их сюда, как и в прежние годы, немало.

Андрей подолгу смотрел на каждую партию новых переселенцев, на их лица, полные страха и надежд, и грустно покачивал головой. Когда-то и он с таким же страхом и надеждой пришел в эти края.

Что ждет людей? Пройдет месяц-другой, и больше половины переселенцев, вконец разорившихся, раздетых и голодных, тронутся в обратный путь, торопясь, чтобы не застигла сибирская зима. Кое-кто из оставшихся устроится на фабрику, на завод или на чугунку.

И только единицы, те, кто довез сюда корову или деньги, осядут на земле.

Переселенцы, только ступив на сибирскую землю, начинали расспросы о жизни в этом богатом краю. Но что мог он рассказать? Разве о том, как его сын вот уже десять лет под тягучую команду артельного таскает рельсы, песок, камни и тяжелые шпалы? Или поведать о своей жизни? Но что о ней скажешь?

Он - путевой обходчик. Он осматривает одну версту двухпутного участка, и других дел у него нет. Он шагает по шпалам и смотрит, не лопнул ли где-нибудь рельс, не ослаб ли болт на стыке, не выскочил ли костыль.

Одна верста - это четыре версты рельсовой нити, и надо ощупать глазами каждый вершок, иначе не увидишь трещину. Одна верста - это три тысячи двести шпал, больше семи тысяч рельсовых подкладок и накладок, тридцать одна тысяча болтов и костылей. Надо осмотреть каждый болт, каждую накладку и подкладку, каждый костыль и шпалу.

Он шагает по шпалам между рельсами и, чтобы увидеть обе нити, смотрит то вправо, то влево. Каждые полсекунды поворачивается голова: вправо-влево, вправо-влево...

По одну сторону железной дороги тянется красивый густой лес, по другую - луга, о каких он мечтал на Тамбовщине. Но ему неинтересно смотреть на леса и луга...

Заслышав стук колес, он отойдет на правую сторону по ходу поезда, вытащит из кожаного чехольчика флажок и будет держать его впереди себя на вытянутой руке, пока не пройдет последний вагон. Потом повернется лицом к уходящему поезду, отставит руку в сторону и будет так стоять, пока поезд не скроется из глаз. И машинист, который сидит за правым крылом паровоза, и главный кондуктор, и вся поездная бригада будут знать, что путь исправен.

Пропустив поезд, обходчик пойдет дальше. Если попадется лопнувший рельс или случится другая беда, он воткнет в землю красный флажок и побежит, считая шпалы. Отсчитав тысячу шестьсот штук (это будет ровно верста), положит на правый рельс петарду - металлический кружок, похожий на баночку от цинковой мази, пробежит еще тридцать шпал и на левой нити положит вторую петарду и еще последние тридцать шпал, чтобы положить третью на правом рельсе. Не передохнув, бросится назад, к красному флажку, на ходу доставая из-за спины. болтающийся на веревочке духовой рожок. Он остановится возле своего красного сигнала и начнет трубить тревогу: длинный, три коротких; длинный, три коротких: "Тууу, ту-ту-ту. Тууу, ту-ту-ту. Тууу, ту-ту-ту..."

Он будет стоять и трубить в рожок, пока, может быть, услышит кто-нибудь из случайных прохожих железнодорожников. А в это время поезд налетит на петарды, и они не принесут никому вреда, это просто хлопушки, но это приказ машинисту немедленно остановиться.

Такие случаи бывают редко. Чаще всего путевой обходчик шагает по шпалам и, если увидит высунувшийся костыль, ударит его по головке узким путевым молотом, который несет в руках; заметит ослабший болт - достанет перекинутый на ремне через спину, точно винтовка, тяжелый ключ и подвернет гайку.

И снова пойдет по шпалам, и снова вправо-влево, вправо-

влево...

Андрей не может идти ровным, размеренным шагом. Шпалы лежат то ближе одна к другой, то дальше, и его прыгающие шаги тоже то короткие, то подлиннее, и в такт шагам толкает в спину тяжелый гаечный ключ.

Когда заиграют в глазах зайчики, он остановится и закроет глаза, чтобы они отдохнули и могли снова видеть костыли, болты, гайки...

Он шагает по шпалам, навьюченный сигнальными знаками, петардами, путевым молотом, гаечным ключ"ом, и держит в руках фонарь. Где-то его застанет ночь, и запрыгает в ночи огонек: вправо-влево, вправовлево...

Он идет днем и ночью, не чувствуя непогоды. Он ни о чем не думает. Не знает, когда начался этот круговой путь по шпалам, когда кончится. Идет между двумя рельсами, и другого пути у него нет.

Он прошел много тысяч верст, ко остался на своей версте, и путь его бесконечен, как у слепой лошади, что идет по кругу и вертит мельничный жернов.

Исхлестанная дождями, прокаленная солнцем кожа на его лице и на шее потрескалась и отвердела. Старый обходчик ни о чем не думает. И не поймешь, отчего, не успев вздремнуть после какого-нибудь тяжелого обхода, он вдруг поднимется с постели и, озираясь, чтобы не увидела жена, пойдет в сарай, достанет спрятанный под дровами узелок, развернет истлевшую от времени тряпку и долго будет смотреть на проржавевшие гвозди, шурупы и петли от старого тамбовского сундука, брошенного когда-то на Великом сибирском тракте. Он перебирает шурупы и петли, и на ладонях остается шелуха ржавчины. Он ни о чем не думает. Механически растирает желтую шелуху, и она превращается в пыль. Это прах умершего металла...

Что мог Сказать Андрей переселенцам? Не видать им земли в Сибири, как и на Тамбовщине. Пусть идут на чугунку. Но не в путевые обходчики. Работа легкая, платят за нее мало. Пока молоды, можно и в чернорабочие податься. Там нутро надорвешь, зато заработок будет.

Все это твердо знал Андрей Чеботарев. Но не видел он, стоя с зеленым флажком, что в поезде мимо него уже увозили в глубь Сибири Ленина, что в составах, которым он показывал сигнал "Путь свободен", угоняли на каторгу, в ссылку, на поселение лучших сынов народа... Не знал старый путевой обходчик, что по всей России взошло уже семя, брошенное Лениным. Не растоптать его, не угнать в Сибирь!

И не сбылись слова Андрея Чеботарева. Не пошел его внук

Владимир в чернорабочие. В Российском уставе железных дорог был перечеркнут параграф, который гласил: "Железная дорога может быть продана ее владельцем по своему усмотрению или с аукциона".

Не может быть больше продана железная дорога ни "по своему усмотрению", ни "с аукциона". Была в том заслуга и отца Володи, погибшего за Советскую власть.

ЖЕЛЕЗНЫЙ СУНДУЧОК

Володе хотелось быть машинистом. Это желание пришло вдруг, вскоре после окончания начальной школы.

Поздно вечером он возвращался домой из деревни.

Было темно, и, может быть, поэтому так ярко блеснули два луча, вырвавшиеся из-за поворота. То ли от темноты, в которой многое кажется таинственным, то ли от того, что он начитался страшных рассказов, но приближавшийся поезд представился ему тяжело дышащим живым существом с огненными глазами. Огромное чудовище грохотало, шипело, билось о рельсы.

Когда паровоз поравнялся с Володей, он увидел сквозь раскрытую дверь в окно багровое прыгающее зарево, и на этом фоне черные фигурки людей тоже прыгали и казались фантастическими марсианами.

Зарево шло от раскрытой топки, будто из огненной пасти, и веером уходило в небо. Прямо против пасти весь освещенный огнем человек с длинной пикой наизготовку откачнулся назад, увернувшись от нападавшего зверя, и ударил пикой прямо в зев. В тот же миг животное заревело. Видно, в самую глотку вонзилась пика. Пасть захлопнулась, погасло зарево. И уже не лязг вагонов, рванувшихся быстрей вслед за паровозом, а хруст костей по всему хребту до самого хвоста послышался Володе.

Заскрежетало зубами, зашлось в стоне израненное животное. С тяжелой и частой отдышкой, извиваясь, уползало оно в гору, оставляя в воздухе три кровавых луча.

Володя смотрел в темноту, пока слышался стон, пока не скрылись три красных сигнальных огонька на последнем вагоне. И уже издалека, из черной пустоты, словно эхо, еще раз донесся рев животного, и все смолкло.

Кругом было тихо, но разбушевавшаяся фантазия рисовала все новые картины битвы марсиан со страшным чудовищем. И каждый раз марсиане выходили победителями.

...Володе не спалось. Ему казалось, что он мчится куда-то в ночь на этой огромной, послушной его воле машине, мимо поселков, лесов, городов, заводов. Вот он, как вихрь, врывается на огромную, всю в огнях станцию и стопорит своего стального коня у самого перрона. Он идет через залитый светом перрон, и люди с

восторгом смотрят на него, на утихшую машину, которая покорно будет стоять в ожидании хозяина...

В те секунды, когда паровоз показался Володе таинственным чудовищем, у него и появилась мечта стать машинистом. Впрочем, это не совсем точно. В тот вечер даже его возбужденная фантазия не смогла бы привести к такой смелой мечте. Просто что-то новое, неясное, волнующее шевельнулось в его душе.

Володя мечтал о паровозе. Но ведь мечта - это нечто созданное воображением, часто несбыточное или очень далекое, выношенное в себе, дорогое, о чем не скажешь всякому. Иначе это не мечта, а просто желание.

У Володи была очень странная мечта. Паровоз все еще представлялся ему фантастическим, сказочным, но вместе с тем он твердо знал, что в сентябре поступит в ФЗУ на отделение помощников машиниста. А пройдет немного времени, и он поднимется на паровоз с правом управления. Это была уже не мечта, а жизнь, нормальное, естественное явление, как переход из од"ного класса в другой. Многие ребята, окончившие школу раньше его, с которыми он вместе играл в поезда, уже работают на паровозах.

Езда на паровозе в сознании Володи никак не укладывалась в понятие "работа". Работают на ремонте пути, в цехах депо, на станции... А мчаться куда-то в ночь, сквозь пургу, врезаться в ущелья, пересекать реки, проноситься мимо ярко освещенных станций - да какая же это работа? Это счастье!

Скоро ему выдадут форменную тужурку с двумя рядами блестящих металлических пуговиц и синим кантом на петлицах, какую носят только паровозники.

Как и все они, он будет брать с собой еду в специальном железном сундучке...

Сундучок паровозника! Он существует столько же, сколько и паровоз. Кто изобрел его, неизвестно. Нет и не было приказа об обязательном ношении сундучка.

Он сам вошел в жизнь как совершенно неотъемлемая часть водителей поездов.

По всей необъятной стране, всюду, где есть хоть маленькая железнодорожная ветка, можно увидеть человека с сундучком. И в чем бы он ни был одет, как бы ни выглядел, ошибиться невозможно - этот человек водит поезда.

Паровозников - десятки тысяч. И каждый из них имеет сундучок одинаковой формы, с характерно изогнутой крышкой. Он может быть выкрашен в зеленый или синий цвет, может остаться неокрашенным вовсе, может быть чуть побольше или поменьше, но форма и даже внутреннее устройство одинаковы:

отделение для бутылки молока, для кастрюльки или чугунка, для сахара, хлеба, масла... На боковых стенках несколько дырочек, прикрытых козырьками. Это вентиляция.

Сундучок имеют только паровозники. Покажись путеец или связист с железным сундучком - и это произвело бы такое же впечатление, как если бы они надели чужую форму.

Сундучок паровозника... Сколько заботливых женских рук, рук матерей, сестер, жен, и среди дня, и на рассвете, и глубокой ночью укладывают сундучки для людей, которые поведут поезда! Ни угольная пыль паровоза, ни мазут, ни вода не проникнут в сундучок.

Ему не страшны толчки паровоза, и будь даже крушение, в нем все останется как было. И где бы ни довелось поесть машинисту - в пути ли, на долгой стоянке или в доме для отдыха бригад, - он найдет в своем сундучке самое любимое блюдо, найдет чай или соль именно в том месте, где им и положено лежать.

Сундучок паровозника - это не только удобная тара. В нем что-то символическое, в нем профессиональная гордость. Приобретение сундучка не просто обновка. Это шаг в жизни, это новый ее этап.

Когда юноша приходит домой с сундучком, еще не бывшим на паровозе, посмотрит мать на сына, вздохнет, погладит по голове: "Ведь вот еще вчера бегал по улицам, а уже с сундучком".

Потом постоит немного и снова вздохнет: "Пусть принесет он тебе счастье, сынок!"

А соседи, увидев такого юношу, одобрительно скажут:

"Этот самостоятельный, вон с каких пор уже с сундучком".

Часто бывает и так. Старый машинист, сидя у себя в садике, поправит очки, достанет из жилетного кармана казенные часы на тяжелой цепочке и, глядя на них, чтобы скрыть от людей набегающую слезу, скажет сыну с напускной суровостью:

"Новый сундучок не заказывай - мать соберет тебе мой. Я уже отъездился. Береги его. Он послужил мне тридцать лет, побывал и за левым крылом и за правым, видел маневровые паровозы, товарные, пассажирские.

Старенький он, и люди его знают. Где ни появишься с ним, всякий скажет, чей ты сын. Не забывай про это".

Володе хотелось по праву носить сундучок. Он уже ясно видел себя на мягком сиденье левого крыла.

Небрежно положив руку на подлокотник, обрамленный тяжелой бахромой, высунувшись немного из окна, он мчится по стальной магистрали, то поглядывая назад - в порядке ли поезд, то зорко всматриваясь в огоньки сигналов, то бросая взгляд на

манометр...

Потом картина меняется: он видит себя в темную ночь с горящим факелом, масленкой и ключом в руках возле паровоза.

И опять ночь. Он лежит на своей постели, и к его окну подходит человек. Человек легонько стучит падкой в окошко и громко говорит: "Помощник машиниста Чеботарев! Вам в поездку на три ноль-ноль".

Володя и сам знает, что в три часа ночи ему в поездку, но так уже заведено на транспорте, что часа за два до отправки, в ясный ли день или в ночной буран к паровознику придет рассыльный, чтобы разбудить его, напомнить о поездке, убедиться, дома ли человек, не болен ли, готов ли ехать.

Эти мысли тоже наполняют сердце Володи гордостью. Это специально за ним придет человек в любую погоду, в любое время суток, чтобы он, Владимир Чеботарев, повел поезд с важными грузами или людьми.

Потом его мысли уносятся еще дальше, и он уже смотрит на огромную, во всю стену, доску, разграфленную на сотни прямоугольников. В каждом из них металлическая пластинка, подвешенная на гвоздиках без головок. Володя отыскивает пластинку с четко выведенной масляной краской надписью: "В. А. Чеботарев".

Она висит в графе: "На отдыхе". Ему слышится голос дежурного по депо, обращенный к нарядчику:

"А где у нас Чеботарев?"

"Сейчас посмотрим".

Нарядчик пробегает глазами графы: "В поездке", "В командировке", "В отпуске"... На доске много граф, и они точно скажут, где в данную минуту находится любой из сотен паровозников.

Жизнь Володи в зти дни была ясной и радостной.

На пути к цели он не видел никаких преград, да их и не было: Барабинское ФЗУ принимало без экзаменов всех, окончивших семилетку. А школу Володя окончил хорошо.

За месяц до начала занятий в училище он вскрыл свою копилку, добавил немного денег из тех, что дал отец, и втайне от всех пошел к жестянщику к лучшему мастеру паровозных сундучков.

ТРИ КРАСНЫХ ОГОНЬКА

Председатель приемной комиссии просмотрел аккуратно сложенные документы Владимира и сказал:

- Будете приняты. Занятия начнутся первого сентября, но явиться надо дня на два-три раньше. Получить обмундирование.

И хотя ничего другого Володя не ждал, но радость сковала

его, и он, так ничего и не ответив, тихо пошел к двери. Он уже готов был переступить порог, когда председатель окликнул его:

- Э-э, молодой человек, - сказал он, глядя поверх очков, - исправьте свое заявление или лучше перепишите его. Не на паровозное отделение, а на слесарное.

Володя удивленно и тревожно посмотрел на председателя:

- Да, но я прошу на паровозное...

- Голубчик, - уже раздраженно ответил человек в очках, - ведь на двери аршинными буквами черным по белому написано - на паровозное отделение приема нет. Возьмите вот, перепишите. - И он протянул Володе лист бумаги.

Володя не смог подойти к столу.

- А кто повесил это объявление? - наконец выдавил он.

- Как - кто? - удивился председатель. - Я, приемная комиссия.

И опять Володя не знал, что делать.

- Берите же, - с нетерпением сказал председатель, потряхивая листом бумаги, - и не задерживайте меня, дорогуша.

- Я сейчас, я сейчас зайду, - забормотал Володя, - я должен сам прочитать объявление.

Он вышел и прочитал объявление. Затем спустился по ступенькам с крыльца и куда-то пошел, потому что ему теперь было все равно куда идти. Он ничего больше не ждал от жизни. Она была безжалостно разрушена и растоптана. Рухнуло все, о чем он мечтал больше трех лет, о чем думал ночами, что представлялось уже не мечтой, а самой близкой действительностью.

Нет, слесарем он не будет. И никем другим, кроме паровозника, не будет. Но ведь это похоже на упрямство первоклассника. "Не будет, не будет". А что делать? Если бы его одного не приняли, он добивался бы, мог дойти даже до начальника железной дороги. А понадобись, и самому наркому мог жаловаться. Но ведь просто приема нет. Никого не приняли, ни одного человека.

Володя шел вдоль путей в сторону депо. И вдруг лицом к лицу столкнулся с человеком, вынырнувшим из-под вагона. В руках у того был сундучок, Володя остановился.

Сундучок! Что он скажет жестянщику? Ему вспомнились слова этого старого мастера: "Молодец, парень, коль уже сундучок заказываешь". Как объяснить старику, что сундучок теперь не нужен? Ведь это не просто - заказал вещь, а потом передумал. Это все равно что заготовил себе командирские петлицы, а в командиры тебя не произвели. Зачем же он так поторопился?

Нет, к жестянщику он не пойдет. Пусть лучше его деньги пропадут, пусть его сундучок, достанется другому, более

счастливому человеку.

Володя повернул в сторону от депо. Он боялся теперь встретиться с людьми, которые несут сундучки.

Далеко за выходным семафором сел на бугорок, обнял колени и долго сидел, покачиваясь, ни о чем не думая, смотрел на проносящиеся поезда.

Когда стемнело, так же не думая, спустился с насыпи и уныло побрел домой. Он медленно ступал по шпалом и вдруг, как три года назад, увидел вырвавшиеся кз-за поворота два ярких огня. Володя остановился.

Неясно, лениво, не задержавшись, проплыла мысль: он стоит на том же пути, по которому идет поезд. Огни приближались быстро, слепили глаза, а он стоял и смотрел на них, не в силах оторвать взгляда или сойти в сторону. Он стоял будто под гипнозом этих притягивающих огней, и ему не было страшно. Снова неясно и лениво напомнила о себе тревожная мысль, но оборвалась от грохота, грома, света, навалившихся сзади. Володя шарахнулся в сторону и только тогда понял, что по второму пути в противоположном направлении промчался паровоз. Теперь мимо него неслись вагоны, грохоча на стыках. И опять подумалось:

если бы не встречный паровоз, он так и не смог бы уйти с пути и сейчас лежал бы под этими грохочущими вагонами. Он поспешно отошел подальше от путей, будто угроза еще не миновала, и решительно зашагал в сторону станции. Почему именно туда - он не знал, но ему было ясно, что надо действовать.

На станции, как и всегда, стоял бесконечный и беспорядочный гул. Десятки паровозов гудели на разные лады, надрывались, хрипели, и в эти голоса вплетались тонкие, визгливые или дребезжащие звуки рожков и свистков. Время от времени, заглушая все вокруг, заревет мощный паровоз, и гулко ответит ему далекое эхо.

Для Володи это не был хаос звуков. Каждый паровозный гудок выражал определенную, ясную мысль и имел точный адрес: между машинистами и станционными работниками шел деловой разговор. Чаще всего это был согласный разговор, и обе стороны оставались удовлетворенными. Но порой возникал спор, и тогда сигналы нервничали, надрывались, пока какая-либо сторона не уступит.

Даже в такую тяжелую минуту Володя не мог не остановиться и не послушать, о чем говорят паровозы.

Кто-то неистово требует, чтобы его пропустили на канаву для чистки топки. А вот этот уже вернулся из поездки и спешит на

деповские пути на отдых. Его гудки просящие, жалобные, "Я, конечно, понимаю, что всем вам некогда, но и меня поймите, ведь я устал, отдохнуть хочется".

Тонкие голоса маневровых паровозов, мечущихся по всем путям, крикливо сообщают о своем маршруте:

то им надо на третий путь, то на тринадцатый. И те, кто стоит возле стрелок у входа на эти пути, отвечают рожком: пожалуйста, можете не кричать, стрелка вам сделана.

А зазевается стрелочница, "маневрушка" поднимет такой шум, чтобы ее сигналы начальник станции услышал: видите, дескать, как плохо ваши люди работают.

Где-то сбоку, на запасных путях, еще одна трудолюбивая "кукушка", повторяя приказы составителя, заладила только три сигнала: "вперед", "назад", "тише". И, подчиняясь этим сигналам, действительно снует взад-вперед то быстрее, то тише.

В западном парке у товарного Эм не ладится с тормозами. Он все время сигналит: "затормозить", "отпустить".

Откуда-то издалека доносится оповестительный гудок. Это паровоз предупреждает всех: "Я приближаюсь с поездом, для меня открыт семафор, еще раз проверьте, все ли в порядке, не попаду ли я на занятый путь, остановилась ли "маневрушка", да и вообще я уже почти на станции, так что все, кому положено, пусть выходят меня встречать".

А с противоположной стороны несутся гудки группами по три длинных, протяжных, взывающих: машинист требует, чтобь! поездная прислуга немедленно затянула ручные тормоза. Он идет с уклона и, видимо, на одного себя не надеется.

И все эти гудки, свистки, сигналы сливаются в общий бесконечный гул, который кажется непосвященному человеку страшным хаосом.

Станция жила обычной, будничной жизнью. Володя постоял немного на путях, будто окунулся в нее, и пошел дальше, в депо. Еще несколько минут назад он не смог бы ответить, зачем идет туда. А вот сейчас прояснилась и мысль. Он хочет посмотреть на слесарей, хочет увидеть, как они работают.

Странные вещи бывают в жизни. Его тянуло в депо, будто он знал, как важно для него в эту минуту, именно в эту минуту, оказаться там.

На деповских путях было меньше света, чем на станционных. Часть территории совсем не освещалась.

Но и здесь шла своя жизнь. На всех путях стояли паровозы. Издали возле каждой машины виднелся только человек с факелом и исходящий от него огненный круг.

Володя знал, что там делается. Вот фигурка с факелом и

масленкой. Это помощник машиниста смазывает подшипники. Вот в огненном круге человек с молотком. Это машинист принимает паровоз. Вот факел вырвал из темноты фигуру у тендерных колес. Это кочегар осматривает буксы. Паровозная бригада готовится к поездке.

Рядом другой паровоз. Факелы поднимаются наверх, в будку машиниста, и там гаснут. Значит, все приготовления закончены, факелы опущены в бидон с мазутом. Здесь они хорошо пропитаются, и когда снова понадобятся, их просунут в дверцу топки, и они вспыхнут ярким светом.

Володя вошел в депо. Возле одного из паровозов возился слесарь.

- Черт знает что творится, тьфу! - услыхал Володя голос позади себя и обернулся.

Перед ним стоял его сосед по квартире, старый мастер депо.

- А ты зачем сюда так поздно, тоже в машинисты метишь?

Володя опешил. А старику, видно, хотелось излить душу безразлично перед кем, и он зло заговорил:

- Сопли не умеют утереть, а на паровоз лезут - потому так и получается.

- А что получается? - с недоумением спросил Володя.

- Как - что? Видишь, на канаву загнали, - показал он на паровоз. Насос, понимаете, испортился.

А что в нем испортилось? Пуговка от стержня оторвалась, вот и все. А он, нате вам, в депо гонит, - возмущенно развел старик руками. - Все потому, что скороспелок готовят. Раньше, бывало, ты годков пять-десять слесарем поработай, все нутро руками прощупай, посмотри, где что находится, а потом и на паровоз можно. А теперь что? Расскажут мальчишкам те-о-ре-тичес-ки, куда гайки крутятся, - и уже машинист! А ты руками пощупай, попробуй, куда они крутятся, покрути-ка их. То-то, брат... Вот и получается: чуть что, он в депо лезет, а случись какая малость в пути, вспомогательный паровоз требует. Тьфу! - сплюнул он еще раз и, не обращая больше внимания на Володю, пошел в свою конторку.

Весь следующий день слова старого мастера не выходили из головы Володи. Разумом он понимал, что надо сначала на паровозного слесаря выучиться, действительно узнать все нутро машины, но велика ли сила воли в пятнадцать лет! Он решил сразу учиться на помощника машиниста в Омском ФЗУ, где был недобор на паровозном отделении.

Несколько дней ходил Володя с мятущейся душой.

В день отъезда ему особенно было не по себе. Поезд отправлялся в три часа ночи, впереди целый свободный день. Его

тянуло в депо, хотя он твердо решил не ходить туда.

Он пошел в депо. Долго стоял возле паровоза, из которого вынули "нутро". Смотрел, как слесари ловко и уверенно на ощупь откручивают болты с невидимых деталей, спрятавшихся где-то под приборами.

"Действительно, это люди по-настоящему знают паровоз", - подумал Володя, и эта мысль была ему неприятна. Ведь вот известно им, что где-то внизу надо нащупать болтик, отвернуть его, отвести в сторону пластинку, наклонить ее, и тогда она снимется...

Он с нетерпением ждал вечера. Он гнал от себя мысли, навеянные старым мастером, о машинистахскороспелках, но отвязаться от них не мог. В нем шла борьба, в которой разум и неокрепшая воля робко выступали против юношеской фантазии, против романтики мчащегося паровоза, покоренного им. Он старался думать только о том, как будет водить курьерские поезда, он ловил себя на предательски разъедающих его сомнениях.

"А случись какая малость в пути, они вспомогательный паровоз требуют". Эта фраза мастера, как навязчивый мотив, не выходила из головы.

...В половине третьего ночи он пошел на вокзал. На перроне почти никого не было. Дежурный по станции, в красной фуражке, с фонарем в руках, встретил поезд и поспешил к себе в помещение. Важно шагая, проследовал главный кондуктор с кожаной сумкой через плечо. Какая-то старушка, толкаемая собственными сумками и мешочками, никак не могла влезть в вагон.

Но вот и она исчезла...

Володя не торопился занять свое место. Вещей у него нет, успеется. Он шагал по пустынному ночному перрону вдоль поезда и думал: "Почему только из трех вагонов вышли проводники? На станции полагается открывать все двери. Наверно, спят..." Мысли как будто улеглись, успокоились.

Раздались два звонка. Значит, до отхода поезда - две минуты. За это время успеет дойти вон до того вагона и вернуться обратно.

Главный с бумажкой в руках торопливо пошел к паровозу. Наверно, это предупреждение машинисту о том, что на таком-то километре надо ехать с ограниченной скоростью... Снова появился дежурный в своей красной фуражке. В дверях всех вагонов показались проводники с белыми огнями фонарей... Оказывается, люди не спали...

Свисток главного застал Володю возле тамбура седьмого

вагона, в котором он должен ехать. Теперь осталось время только дойти до середины вагона, до таблички с надписью "Владивосток - Москва", и вернуться назад.

Поезд тронулся, когда Володя подходил к подножке своего вагона. Надо бы ускорить шаг, но он продолжал идти спокойно, и она медленно проплыла мимо. Вот уже подножка следующего вагона. Он посмотрел на поручни, на нижнюю ступеньку. Никаких усилий не надо, чтобы встать на нее. Но и она проплыла... Поезд набирал скорость. Осталась еще одна возможность вскочить на последнюю подножку.

Это вагон номер двенадцать. Но ведь у него билет в седьмой... Володя горько усмехнулся: каким он стал точным!

Он обернулся, провожая глазами поезд. Все уменьшаясь и тускнея, струились три красных луча удалявшегося последнего вагона. Он вспомнил:

"Ночью хвост поезда ограждается тремя фонарями, показывающими назад три красных огня..."

Дежурный открыл свой фонарь, задул свечу и направился в здание. Больше на перроне никого не было.

"Теперь все", - подумал Володя.

Идти домой не хотелось. Машинально пересек пути и направился по проселочной дороге вдоль опушки леса. Далеко за городом близ монастыря, где размещался теперь детский дом, увидел силуэты трех парней, стоявших к нему спиной. До него донеслась фраза:

- А теперь ты узнаешь красивую жизнь. Пошли.

Встреч с детдомовцами Володя избегал. Не потому, что боялся, а как-то не по душе они ему были. Из нескольких ребят, с которыми он был знаком, нравился только Витя Дубравин. Тихий, хороший парень, не похожий, как Володе казалось, на детдомовских головорезов.

Трое зашагали в сторону города, и среди них Володя узнал Виктора. Он был в компании с мальчишкой по прозвищу Нэпман и еще какого-то грузного парня.

"Значит, Витька тоже такой", - подумал Володя, а те трое глядя на ночь пошли искать "красивую жизнь".

ПРИВИДЕНИЕ

В монастыре появилось привидение. Это не просто кому-то померещилось. Белый саван видели многие.

Как он возникал, никто не знал. Приходить с кладбища, расположенного поблизости, привидение не могло:

чугунные монастырские ворота на ночь запирались, а высокая каменная ограда была утыкана сверху большими осколками разбитых бутылок.

Почерневшие и изъеденные временами своды и стены в коридорах освещались тусклыми керосиновыми лампами. От недостатка кислорода они мигали и коптили. В кельях ламп не было. Те, кому удавалось раздобыть что-то вроде масла, зажигали у себя тощиа.

фитильки старых лампадок.

После отбоя, когда бывшие беспризорники расходились по своим кельям, именуемым спальнями, заведующий детдомом и воспитатели задвигали изнутри тяжелый засов главного входа, вешали на него замок и начинали обход. Они шли через многочисленные узенькие коридоры с большим фонарем, заглядывали в каждую спальню, осматривали все уголки и, убедившись, что везде должный порядок, поднимались в свои комнаты.

Разместить в келье по два топчана было негде, поэтому ребята спали по двое, "валетом". Спали чутко, настороженно: ожидали привидения в белом саване.

И оно являлось, возникая словно из воздуха, и с глухим стоном устремлялось в первую попавшуюся келью. Вихрем вылетали оттуда ребята, и их крик гулким эхом разносился под сводами. Мгновенно оживал весь детдом.

Несколько парней старшего возраста выбегали первыми, но привидение успевало исчезнуть. Особое стремление поймать Белый саван проявлял Колька Калюжный, по прозвищу Нэпман, и его друг Антон, у которого прозвища не было.

Шестнадцатилетнего Нэпмана уважали и боялись.

Большой силой он не отличался, но был бесшабашно смел и удивительно ловок. В любой драке оказывался позади противника и безжалостно пользовался этим преимуществом.

Красивый, с мягкими вьющимися волосами, Нэпман был одержим страстью шикарно одеваться. Носил модные брюки-дудочки, остроносые ботинки "джимми", клетчатый пиджак, из-под бортов которого виднелся кремовый жилет. Он любил, чтобы все видели, как щегольски извлекает он из жилета часы на тонкой длинной цепочке, как небрежно опускает их обратно в карман.

Нэпман с презрением отказывался от серой мешковатой одежды детдомовцев, благо никто не настаивал на том, чтобы он

получал ее, потому что одежды не хватало. Когда в монастырском дворе назревали драки, в ладони у Нэпмана неожиданно появлялась плоская черная рукоятка. Она словно выскальзывала из рукава. Несколько секунд он перебирал ее пальцами, потом неуловимым движением нажимал какой-то рычажок, и с металлическим щелчком из нее выскакивало тонкое лезвие кинжальной формы. Безучастный ко всему, он начинал старательно чистить лезвием ногти.

И все знали: еще одно слово против него, - и он ударит ножом.

Порой Нэпман исчезал из детдома, но через деньдва возвращался, объясняя воспитателям, как случайно встретил родную тетю, которая ехала на съезд женделегаток в Москву и, увидев его, сошла с поезда, чтобы побыть немного со своим племянником. Или оказывалось, что приезжал его родной дядя, который имеет собственную пуговичную фабрику, и тоже хотел повидать своего любимого племянника. В доказательство демонстрировал их подарки - большие свертки с продуктами, модные брюки или другую одежду.

Едва ли не половину своего времени заведующий детдомом тратил на Нэпмана. За каждую провинность строго наказывал, часами взывал к его совести и сознанию, угрожал, что отправит в исправительный лагерь, и действительно собирался это сделать. Нэпман понимающе кивал головой, соглашался со всеми доводами, обещал исправиться, искренне обижался за то, что воспитатели не верят в мифических родственников и их подарки.

После каждой отлучки вел себя примерно, помогал воспитателям, добросовестно работал в детдомовской столярной мастерской. И только на огороде ничего не хотел делать. Но тут его выручал Антон - деревенский парень, на год младше Нэпмана, неповоротливый и медлительный, обладавший большой, не по годам, силой. Грядки были распределены между детдомовцами, и Антон успевал обрабатывать и свой участок и грядку друга. Он охотно подчинялся каждой прихоти Нэпмана, понимал его взгляды, принимал их как приказ, слепо и радостно шел за ним на любое дело. Их боялся весь детдом. Боялись черной рукоятки и тяжелых, как гири, кулаков Антона.

Когда привидение появилось впервые, Нэпман похвастался, что поймает его во что бы то ни стало. И не просто пырнет ножом, а схватит живое, в таком виде, как оно является. И действительно, на крик они с Антоном успевали первыми, но все же опаздывали. Иногда дежурный видел их в коридоре после отбоя и радовался, понимая, что они вышли на охоту за Белым саваном.

В угловой келье жил маленький и юркий Витька Дубравин со

своим старшим братом Владимиром. Как и все в детдоме, они боялись Белого савана. И когда среди ночи скрипнула тяжелая дверь, Володя, лежавший с краю, успел прошмыгнуть в коридор, а Витькг, сжавшись в комочек, застыл на месте, боясь пошевелиться, и не дыша смотрел на высокое в полтора человеческих роста, белое чудовище. Оно медленно приближалось, словно плыло, шевеля крыльями, похожими на плавники. Привидение стало склоняться к нарам, и Витька увидел под кисеей совершенно человеческую форму головы. Сами по себе сжались мышцы во всем теле, он рванулся в каком-то неестественном прыжке и вцепился в горло привидения.

В ту же секунду его отшвырнуло к стене, он больно ударился головой и услышал радостный голос:

- Вот он! Наконец-то! Молодец, черт возьми!

Белая кисея была сброшена. На плечах у Антона, закинув ноги за его спину, сидел улыбающийся Нэпман. Он соскочил на пол и серьезно, даже сурово сказал:

- Ты мне очень нужен, парень. Я давно ищу такого маленького и смелого.

Из коридора донесся нарастающий гул голосов.

- Молчи! - властно сказал Нэпман, подфутболив кисею под топчан. Он выскочил в коридор вместе с Антоном, и уже оттуда Витька услышал его голос:

- Опять опоздали, черт побери. Только что здесь было. Вон парень в келье видел. Ни жив, ни мертв, слова вымолвить не может.

Витька никому ничего не сказал, даже брату. Не потому, что боялся. Он не понимал, что произошло, не представлял, что будет дальше, но радостное чувство, ощущение чего-то таинственного переполняло его.

Он всегда с восхищением смотрел на Нэпмана. Не красивая одежда и не сытая жизнь, какую ухитрялся вести Нэпман среди голодных ребят, привлекали Витьку. Он завидовал его бесстрашию, ловкости, власти над всем детдомом. Теперь Витька словно приобщился к миру Нэпмана. У них появилась общая тайна.

На следующий день, как и обычно, после завтрака начались занятия. Витька сидел спокойно, казалось, слушал урок, но из головы не выходило ночное происшествие. И то, что во время завтрака он дважды почти столкнулся с Нэпманом, и тот не обратил на него внимания, не только не расстроило, но вызвало гордость. Это же неправда, будто он не обратил внимания. На какой-то неуловимый миг прищуренные глаза Нэпмана задержались на Витьке и закрепили их союз. И ни одна душа не

могла этого заметить или понять. Витька тоже теперь будет делать вид, будто ничего общего с Нэпманом не имеет. Только так и надо сохранять тайну. Пусть знает Нэпман, что парень он не дурак и положиться на него можно.

После окончания уроков был свободный час до обеда. В этот час, разбившись на группы, детдомовцы вместе с воспитателями уходили за монастырские ворота, в лес или к речушке, протекавшей у самой ограды.

Хорошее настроение не покидало Витьку. Он перешел речку вброд и побежал по лесу, то сшибая с дороги сосновые шишки, то высоко подпрыгивая, чтобы достать ветки деревьев. На душе было легко.

...Чувство голода заставило Витьку вернуться к реке. Опоздаешь на обед - стащат твою пайку хлеба, и никакой силой ее не вернуть. А главное в обеде - хлеб. На завтрак и ужин давали по маленькому кусочку, зато к обеду - триста граммов. Кроме хлеба, полагается суп, который тем и славился, что был горячий.

На опушке увидел Нэпмана и Антона. Они сидели под вербой и играли в "ножички".

- Садись, - пригласил Нэпман.

Витька почувствовал, что говорят с ним как с равным. Ему было это приятно. Он смотрел и удивлялся, как плохо играл Нэпман. Нож у него падал плашмя, не врезаясь в землю. Антон легко выиграл. Коль так, то и Витьке не стыдно сразиться. Он многих обставлял в детдоме.

- Сыграем? - спросил Нэпман.

Предстояло вонзить нож в землю из семи положений. Когда Витька бил с четвертого, Нэпман еще не мог осилить второго.

- Пропал мой хлеб, - вздохнул Нэпман.

- Почему? - не понял Витька.

- Так мы ж на хлеб играем. В первый раз, что ли?

Витька не мог признаться, что на хлеб - в первый раз. Преимущество было явно на его стороне, но веру в выигрыш он почему-то потерял. И действительно, хотя с большим трудом, но победил Нэпман. Отказаться от следующей партии не хватило духу. Теперь игра шла на ужин. Витька решил выиграть во что бы то ни стало. Первым, как победитель в предыдущей партии, бил Нэпман. С легкостью жонглера он шесть раз вогнал нож в землю, а седьмой раз - в дерево -с большого расстояния.

Витька опешил.

- Я научу тебя владеть ножом, - покровительственно сказал Нэпман, вытирая травою лезвие.

С чувством неизмеримого превосходства над всем окружающим миром Нэпман направился к монастырю.

Антон последовал за ним. Витька смотрел им вслед и понимал, как он ничтожен.

Обедали в бывшей молельне, где разместились и столовая с посудными полками, и учебные классы с книжными шкафами. Длинные столы в две доски и скамейки ребята сделали сами. И за всеми столами сидели детдомовцы и ели хлеб с супом. Многие, чтобы не портить вкуса хлеба, съедали его отдельно, а потом принимались за свои миски.

Хлеб всегда выдавали несвежим. С него обильно сыпались крошки. На этот раз, впервые, он словно дышит. Хорошо выпеченный, мягкий, ноздреватый, как живой. Витька взял лежащую перед ним горбушку и не увидел, а почувствовал грозные взгляды Нэпмана и Антона. Он крепче сжал ее в руке, но это машинальное движение. Горбушка больше не принадлежит ему.

Он положил ее на стол, а она, точно губка, расправилась, приняла прежнюю форму.

Хлеб! Ароматный, теплый, вкусный. Сколько раз, глотая слюну, думал о нем Витька. Сколько раз видел во сне большие куски, целые краюхи, буханки, штабеля караваев. Круглые, поджаристые, пахучие, с бугристой полопавшейся корочкой сбоку, где оплыло и зарумянилось, запеклось тесто. Он явственно ощущал этот ни с чем не сравнимый запах свежего черного хлеба и никак не мог взять хоть один кусочек в онемевшие, безжизненные руки. Он тяжело стонал во сне, и плакал от обиды, и просыпался, и злился, что прервал такой чудесный сон. Он тянул носом, стараясь уловить этот живой запах, который только что так явственно ощущал, и вдыхал пыль товарного вагона или гнилой воздух мусорной свалки, где случайно заснул.

Но то были сны, видения, а теперь перед ним хлеб, его собственный, его доля, его пайка, положенная ему по праву.

За всеми столами ели. Молча, сосредоточенно, как пожилые крестьяне. Даже самые маленькие не торопились, не хватали, смаковали каждый кусочек, следя, чтобы не уронить крошку. Ели все. И только он один хлебал суп, не отрывая глаз от своей горбушки.

Если схватить ее и быстро-быстро большими кусками запихать в рот, отнять не успеют. Да можно и не спешить. Нэпман отнимать не станет. Даже внимания не обратит. А вечером будут бить. Накинут на голову одеяло и будут бить. Кричать нельзя. Если закричишь, тяжелые и частые удары в рот заставят замолчать. Хочешь сохранить зубы, терпи молча, без криков, без стонов. Бьют по справедливости, за делозначит, нечего артачиться. Будешь вести себя честно, и они выдержат все законы

"темной". Никто не ударит ногой или в запретные места. Когда упадешь и они увидят, что не притворяешься, оставят в покое.

- Витя, почему не ешь хлеб?

Перед ним стояла воспитательница Елена Евгеньевна.

- Сладкое на закуску, - не растерялся Витька.

Она потрепала его по волосам, улыбнулась, прошла дальше.

Разделавшись с супом, взял горбушку, чтобы сунуть ее за пазуху и после обеда незаметно для других отдать Нэпману. Когда он поднес ее к вороту рубахи, аромат хлеба, должно быть, вскружил ему голову. Со злостью оторвал зубами большой кусок и начал жадно есть.

Пусть бьют. Не в первый раз.

У него не хватило воли взглянуть на Нэпмана, не хватило выдержки не торопиться. За обеими щеками у него был хлеб, и он глотал непережеванные куски, низко нагнувшись над столом.

Весь остаток дня Нэпман ни разу не посмотрел в его сторону, и это было плохо, но все равно свой ужин Витька тоже съел сам. Семь бед - один ответ.

Вечером старшие ребята, несколько воспитателей и директор уехали на станцию за продуктами. Отправился с ними и Витькин брат. А Нэпман и Антон остались. Они заболели. У них поднялась температура. Девять легких щелчков по головке градусника, и температура будет тридцать восемь и шесть. Сильно бить нельзя - может разорваться ртутный столбик. Нэпман не мог доверить такое дело Антону. Он сам поднимал температуру на обоих градусниках.

Витька рано ушел в свою келью. Он знал, что придет Нэпман. Пусть уж лучше скорей это кончится.

Ждал со страхом и упрямством. И Нэпман пришел.

Заложив руки в карманы, широко расставив ноги, сказал:

- Ну как?

Витька молчал. Напряженно ждал первого удара.

Но Нэпман медлил. Он смотрел на свою жертву, наслаждаясь предстоящей сладостной местью. Он словно выбирал место, куда ударить, чтобы было красиво, неожиданно и сильно. Но он не такой простак, чтобы первым ударом лишить сознания Сначала надо позаботиться, чтобы страх перед ним остался надолго. Легкая пощечина обратной стороной ладони, потом вторая, так, чтобы раздразнить, разозлить - авось огрызнется. Вот тогда и оглушить кулаком. Подождет, пока придет в себя, и снова - по щекам.

Такое ощущение было у Витьки, так он понимал эту молчаливую стойку Нэпмана.

- Бей! - зло сказал он. - Ну, бей же!

Нэпман стоял в той же позе и смотрел, и это было невыносимо. Потом сказал:

- Пока еще рано. Сразу после обхода иди к забитым дверям возле кухонной лестницы.

Резко повернувшись, он вышел.

Значит, не хочет бить в келье. Ну что ж, придется идти. Надо расплачиваться. Винить некого, знал, что делал.

Он разделся, лег и стал ждать обхода. Вскоре появилась Елена Евгеньевна с двумя воспитательницами.

- Ты сегодня один, Витя? - спросила она.

- Да.

- Не боишься?

- Нет.

- Ну, молодец! Спи.

Как только за ними закрылась дверь, быстро оделся. Подождав несколько минут, никем не замеченный, пробрался в назначенное место. Под лестницей у забитой двери быа.о темно. Он видел, что там никого не г.

Прислонился к двери. Послышался шорох. Обернувшись, увидел, как отделились от стены два темных силуэта. Он узнал их. Он так и думал: придут оба.

Нэпман отпер ключом дверь, молча подтолкнул к ней Витьку. Все знали, что эта дверь забита. Оттого, что Нэпман так легко открыл ее собственным ключом, а потом запер снаружи и спрятал ключ в задний карман, Витька еще больше напутался.

Но куда они его ведут? Впереди Антон, сзади Нэпман. Значит, не просто бить. Что-то задумали. Зря пошел. В келье хоть отлежался бы. Если броситься в сторону или поднять крик, могут пырнуть ножом.

Молча прошли через кустарник к высокому дереву у самой ограды. На дерево Антон полез первым.

И опять без единого слова Нэпман подтолкнул Витьку, и когда тот стал взбираться на суковатый ствол и услышал глухой удар о землю, понял, что Антон уже на той стороне.

Держась за толстую ветку, Витька нащупал на ограде место, свободное от осколков, встал на него и прыгнул вниз. Не успел еще подняться с земли, как рядом оказался Нэпман.

- Раз ты не побоялся съесть мой хлеб, - сказал он, - и, не распуская соплей, пришел сюда - значит, ты не трус. Ты мне подходишь. Но если тебе придет в голову еще раз меня обмануть, я ее расшибу. Понял?

- Понял, - быстро ответил пораженный Витька, догадываясь, что бить его не будут.

- А теперь ты увидишь красивую жизнь. Пошли.

Витька не узнал в пареньке, прошедшем мимо, Володю Чеботарева. Его тело обмякло, и он почувствовал сильную усталость. Но так продолжалось недолго. Радость все больше охватывала его, и это была уже радость не оттого, что не будут бить, а перед чем-то новым, таинственным. Он верил в Нэпмана, гордо шел рядом с ним.

Спустя час они были в городе, а еще через пятнадцать минут Витька увидел красивую жизнь.

Маленький зал ресторана сверкал. Играла музыка, в зеркалах отражались люстра и хрустальная посуда, с начищенными подносами бегали официанты. Шумели, веселились, смеялись красиво одетые, холеные люди. Низенький человек в черном костюме, с черными усиками танцевал возле скрипача и пианиста, сидевших на возвышении, то и дело нелепо выбрасывая вперед живот, и каждый раз это вызывало громкий хохот и аплодисменты. Большая компания в самом центре зала, помогая музыкантам, нестройно пела:

Зазвенело, как звенело раньше, до войны.

За полтинник купишь шляпу, а за два - штаны...

Это великолепие ошеломило Витьку. Восхищенными глазами он посмотрел на Нэпмана, который со скучающим лицом, как человек, пресытившийся всем этим, искал глазами свободный столик.

- О, Николь, прошу, давно не заглядывали, - подбежал к нему толстяк с большой лысиной. Он дружески взял Нэпмана под руку и повел, указывая место.

На его пальцах сверкали перстни.

- Хозяин ресторана, - многозначительно шепнул Антон Витьке.

Они уселись за столик. Нэпман небрежно раскрыл меню. Витька украдкой глянул в большое зеркало. Ему хотелось придать себе такой вид, как у Нэпмана и этих шикарных людей. Но вид не получался. Сверкающие разноцветные бокалы, ножи и вилки с непомерно большими ручками, накрахмаленные салфетки, будто остроконечные шапки, уложенные на тарелках, белоснежная скатерть, к которой боязно прикоснуться, - весь этот блеск подавлял его. Он увидел, какие у него грязные руки и неподходящий костюм, и совсем растерялся.

А потом было хорошо. Как большой знаток, Нэпман заказал еду с непонятными названиями и графин красивого красного вина. Витька не знал, как приступить к еде. Есть вилкой не привык, а ложку ему не дали.

Нэпман налил вино, сказал: "За наше дело", чокнулся с Витькой и Антоном и залпом выпил. Витька тоже выпил залпом,

хотя с первого глотка понял, что это подкрашенный самогон. Кусок мяса, занимавший всю тарелку, оказался тонким, как картон, и очень жилистым. Но Витька сразу проглотил его. Нэпман снова предложил выпить, и веселье охватило Витьку, и он понял, как хорошо можно жить на свете.

Потом видел плачущую женщину, на которую ктото кричал, и видел, как красиво танцует Нэпман, как много у него друзей и как все они ему улыбаются.

Кто-то подсаживался к их столику, о чем-то шептались с Нэпманом и громко смеялись. Витьке тоже хотелось о чем-нибудь поговорить, но он никак не мог придумать, с чего начать. Потом придумал. Он спросил, зачем Нэпман устраивал привидение.

Тот солидно объяснил, что готовится к очень важному делу, которое даст возможность уйти из детдома и жить, ни в чем не нуждаясь. Но для этого ему, кроме Антона, нужен еще один помощник, который был бы маленьким и, главное, очень смелым. Он и решил взять того, кто не испугается привидения.

И снова гордость охватила Витьку, и он сказал, что ничего в жизни не побоится.

Расплачивался Нэпман, должно быть, щедро. Официант долго благодарил его, раскланивался, приглашал приходить почаще.

Домой попали перед рассветом через ту же "забитую" дверь. Когда Витька проник в свою келью и улегся на топчан, он старался не спать, чтобы лучше насладиться своим счастьем.

Завтрак проспал. Разбудила его Елена Евгеньевна.

Она была встревожена, спросила, не заболел ли он, приложила ко лбу ладонь. В детдоме никто никогда не просыпал завтрак. Она думала, что-нибудь случилось.

Витька сказал, что у него сильно болит голова, и это была правда. Елена Евгеньевна ушла, а через несколько минут вернулась с его завтраком. Она велела до обеда не вставать и еще раз попробовала, нет ли у него жара. Ему приятно было ощущать теплую мягкую ладонь Елены Евгеньевны, и ему хотелось, чтобы она скорее ушла и он мог бы свободно начать думать о вчерашнем вечере.

Как только за ней закрылась дверь, он начал вспоминать... Было обидно, что никто из ребят не видел его в этом шикарном ресторане, где находились только взрослые и красиво одетые люди, среди которых он чувствовал себя хорошо и свободно, как и подобает солидному человеку в таком обществе. Витька забыл, как поначалу растерялся, а если и помнил, то думать сейчас об этом ни к чему. Перед ним встала картина, как он подходил к музыкантам и просил сыграть "Позабыт, позаброшен" и как радостно они согласились, только показали на пальцах, сколько

надо платить.

Потом они все же сыграли, после того как Нэпман угостил их вином. Хорошо бы в следующий раз иметь деньги. Пусть играют то, что захочется ему.

В келью заглянул и вошел Нэпман. Витька обрадовался, рассказал о приходе Елены Евгеньевны, которая ни о чем не догадывается. Ему хотелось поговорить о вчерашнем вечере, и он сказал:

- Здорово было, а?

- Да так, чепуха, - нехотя и безразличным тоном ответил Нэпман. - В субботу будет веселее.

Витька не знал, что бы еще сказать. Он подумал:

может быть, Нэпман опять возьмет его с собой.

-- Но к субботе надо подготовиться, - заговорил Нэпман шепотом. - Тебе как раз будет тренировка перед большим делом. Пока это пустяк. - И он рассказал свой план.

Возле комнаты заведующего находится кладовка.

Отпирать ее не Витькина забота, она будет открыта.

Пока идут уроки, надо подняться туда, забрать шестнадцать пар новых ботинок, которые лежат в мешке, выйти через "забитую" дверь (она тоже будет открыта) и спрятать мешок в крапиве возле высокого дерева. Вот и все. Бояться нечего. И ребята и воспитатели на занятиях. Заведующего нет. Вернуться надо через ту же дверь. Нэпман будет охранять ее внутри монастыря, а Антон - снаружи. Если кто-нибудь случайно пойдет, они сумеют его задержать и отвести в сторону. Дело всего на пять минут.

- Понял? - закончил Нэпман.

- Понял, - машинально ответил Витька.

- Давай быстрее, пока идет урок. - И он исчез за дверью.

Витька все хорошо понял, но ему что-то мешало.

Какие-то неясные мысли. Он злился на эти свои непонятные мысли, которые неизвестно отчего привязались к нему. Не трус же он. В конце концов он избавился от них. О чем тут думать, когда так нахвастался своей храбростью. Да и не обязан Нэпман всегда платить за него. А в субботу надо идти в ресторан...

Все было, как сказал Нэпман. Кладовка оказалась открытой, он легко отыскал мешок с ботинками, быстро спустившись по ступенькам, прошел через "забитую" дверь, которая тоже оказалась незапертой, и юркнул в кустарник. Теперь уж никто не мог его заметить. Он шел согнувшись, хотя в кустах все равно его не было видно.

Вдруг сквозь ветки увидел какую-то фигуру. Шмыгнул в сторону, сунул мешок под куст и едва успел выскочить на

дорожку, как показалась женщина. Это была повариха. И что ей только здесь надо? Шляется неизвестно чего. Небось наворовала продуктов, пока все на занятиях, и отнесла куда-то.

Витька стоял с независимым видом, спиной к кусту.

Повариха внимательно посмотрела ему в глаза. Наверное, вид у него был более независимый, чем надо. Уже пройдя мимо, обернулась, опять внимательно посмотрела на него и спросила:

- Что ты здесь делаешь? Почему не на уроке?

- А тебе какое дело? - обозлился Витька и быстро пошел к дому. Пусть эта дура видит, что он просто гулял.

Повариха направилась к главному входу, единственному открытому входу в монастырь, и, когда она завернула за угол, Витька юркнул в "забитую" дверь.

Откуда-то возник Нэпман и запер ее.

Витька пошел на занятия. Ему хотелось быть среди ребят и не хотелось видеть Нэпмана. Он вспомнил, что в спешке оставил раскрытой дверь в кладовку. В том же коридоре - комната Елены Евгеньевны. Значит, о пропаже узнают сразу. Поднимется шум на весь детдом.

После уроков пошел в столярку. Яростно и зло строгал доски. Здесь его и отыскал Нэпман.

- Куда дел? - грозно спросил он. - В крапиве нету.

- Спрятал.

- Куда?

- В кусты.

Недобрыми глазами посмотрел Нэпман.

- После отбоя принеси к большому дереву у ограды. Понял?

- Понял.

Витька знал, что за обедом объявят о пропаже и начнется кутерьма. Решил идти обедать со спокойным и независимым видом. По дороге дал подзатыльник маленькой девочке, можно сказать, ни за что, растолкал соседей по скамейке, которые оставили ему мало места, придрался еще к кому-то. Потом вошла Елена Евгеньевна и призвала всех к порядку, сказав, что должна что-то сообщить ребятам, а перекричать всех не может.

Витька не заметил, как низко склонился над своей миской. Он искоса поглядывал на воспитательницу и не мог понять, почему она так часто смотрит в его сторону. Ведь он сидит тихо. Шумят совсем за другим столом.

Когда все стихли, она сказала:

- Вот что я должна объявить вам, ребята...

Она почему-то умолкла, и Витька замер, перестал жевать, и ложка остановилась у самого рта.

- Так как старших ребят нет, - продолжала она, - на вас лягут

дежурства по кухне.

Дальше она объявила, кто должен дежурить. В числе дежурных был назван и Витька. Только теперь он обратил внимание, что все продолжают есть, а он один сидит как неживой. Ему показалось, будто и Елена Евгеньевна это заметила. Он стал есть быстро и опять подумал, что это не дело: все едят нормально, и только он один то сидит как истукан, то хватает.

Во время "мертвого часа" в келью к Витьке пришла Елена Евгеньевна с Верочкой и сказала:

- Мы посидим у тебя, Витя. Хорошо?

Верочке девять лет. На вид ей лет пять. Ее отец - красный командир погиб на фронте. Она никогда его не видела. Она видела, как махновцы убили ее мать. С тех пор она болеет. Никто не может определить, чем она больна. Верочка живет в одной комнате с поварихой и почти все время лежит в постели. У нее маленькое, бледное личико и очень большие черные глаза. Они будто не ее. Совсем взрослые. В них всегда удивление и упрек. Заведующий детдомом как-то сказал: "Когда смотришь ей в глаза, чувствуешь себя виноватым".

Елена Евгеньевна опустилась на табуретку напротив Витьки, который сидел на топчане, привлекла к себе девочку и сказала:

- Верочка все просится во двор, а доктор не велит. Но там сейчас и неинтересно. Вот и Витя не выходил сегодня. - Она помолчала немного, потом спросила: -Ты ведь сегодня дома сидел, Витя? Или выходил?

Как-то странно она говорит. Очень настороженно, медленно, глядя ему в глаза. Он не мог выдержать этого взгляда и не знал, что сказать. Она ждала. Он ответил:

- Нет.

- Вот видишь, Верочка, Витя сегодня тоже не выходил.

Витька смотрел исподлобья и злился. Может быть, поэтому Верочка сказала:

- Я пойду домой.

Она ушла. Елена Евгеньевна молчала. Витька тоже молчал. То, о чем он думал, говорить было нельзя. Он думал: "Вот навязалась на мою голову".

- Мне очень жаль Верочку, - заговорила она. - Сегодня доктор разрешил ей выходить во двор. Но уже сыро, а у нее нет ботинок...

Витька перестал дышать.

- Кто-то забрал из кладовки всю обувь. Мы решили каждую пару выдавать на двоих, а Верочке - одной. Ни у кого больше нет такой маленькой ноги. Заведующий специально для нее доставал. Это было очень трудно... Напрасно я ей сказала об этом. Теперь

она все время просит ботиночки. Просит хоть показать ей...

Витька искал, к чему бы придраться, чтобы нагрубить ей и чтобы она уходила отсюда ко всем чертям.

Как раз в это время начали бить в рельс - значит, окончился "мертвый час".

- Я пойду, Витя, - сказала она. - У тебя уже совсем прошла голова?

- Угу, - буркнул Витька.

После "мертвого часа" надо было идти в столярку.

Он не пошел. Он долго сидел на топчане и мысленно ругал Елену Евгеньевну. Потом незаметно пробрался в кустарник, разыскал среди грубых солдатских ботинок маленькую пару, подержал ее в руках, рассматривая со всех сторон, и бросил обратно в мешок, обернулся по сторонам и побежал прямо в столярку. Его ртругали за опоздание, но потом похвалили, потому что работал он очень усердно до самого ужина.

И здесь, за работой, твердо решил, что делать дальше.

За несколько минут до отбоя он выйдет через главный вход, отнесет мешок к высокому дереву у ограды и пусть Нэпман делает с ним, что хочет. А ботинки Верочки заберет и подкинет под ее дверь. Нэпман ничего не узнает. Подумает, так было...

За несколько минут до отбоя, когда дверь еще не была заперта, но почти все находились уже в кельях, а воспитатели - в канцелярии, Витька пробрался в кустарник и вынул маленькие ботинки. Они лежали сверху. Потом вытащил мешок, ко ему мешали Верочкины ботинки. Он опять положил их на место, взвалил мешок на плечи и, уже не думая больше, смело пошел к главному входу, не таясь, не прячась, не пригибаясь.

Он едва успел проскочить в дверь, как раздался сигнал отбоя. В коридорах никого не было. Еще издали увидел на кладовке замок. Не останавливаясь, прошел мимо и у комнаты Елены Евгеньевны положил свою ношу.

По дороге в келью натолкнулся на группу воспитателей.

- Уже был отбой, Витя, - сказала Елена Евгеньевна.

- Зайдите в свою комнату, - грубо оборвал ее Витька и побежал, не желая давать объяснений.

Не раздеваясь, лег и стал думать, что сказать Нэпману. Не лежалось, не думалось. Он встал. И тут вошла Елена Евгеньевна. Она молча прижала Витькину голову к груди, поцеловала в висок и не оторвала губ, а так и осталась стоять, склонившись к нему, гладя его худые лопатки и перебирая губами волосики на виске. И Витька прижался к ней, боясь, чтобы она не отошла и не увидела его слез.

...Не дождавшись Витьки и не найдя мешка, Нэпман пошел в

город. Берегись, Витька, спуску теперь не будет.

Нэпман пил больше обычного, щедро угощал официантов и всех, кто подходил к столику.

Денег не хватило. Ему поверили. Знали, что на следующий день принесет.

Идти в детдом не было смысла. Все равно надо возвращаться в город доставать деньги. Ночевал в какой-то хибарке на окраине, у скупщика краденого.

Рано утром пошел на рынок. Здесь, между возами, ударили чем-то тяжелым по голове, когда полез в чужой, туго набитый карман. Он зашатался, но не упал.

Навалилась ватага спекулянтов и кулаков, мелькнули перед глазами двое из тех, кого так щедро вчера угощал. А потом уже ничего не видели глаза, заплывшие кровью.

Били не по законам "темной", не по справедливости. Били кулаками, как оглоблями, били ногами в низ живота и под ребра, чтобы не осталось следов. Били, когда обессиленные руки перестали прикрывать голову, когда рухнуло на землю тело.

Резкий свисток остановил одурманенную погань.

По дороге в больницу он скончался.

Его хоронили на монастырском кладбище. Он лежал в гробу в серой детдомовской рубахе. И не потому, что его модный костюм был изорван и окровавлен.

Он лежал в простой детдомовской одежде, потому что никакой он не нэпман, а такой же детдомовец, бывший беспризорник, как и те, что шли за гробом.

Теперь это видели и понимали все.

ПЕРВЫЙ РЕЙС

Владимир Чеботарев окончил училище, получив звание паровозного слесаря пятого разряда. Начав самостоятельную работу в депо, он не дал себе ни одного дня отдыха от занятий. Несколько месяцев проработал слесарем и решил, наконец, что пора сдавать экзамены на звание помощника машиниста.

Обычно перед экзаменами люди волнуются, в каком бы возрасте они ни были. Волнуются школьники, студенты, аспиранты, доктора. Волновался и Володя.

Но не только потому, что боялся провалиться. Он знал:

убеленные сединами машинисты-наставники, специалисты по тормозам, правилам, законам не любят слишком юного паровозника. Они прямо говорят: для того чтобы быть помощником машиниста, надо иметь волю, жизненный опыт, большую физическую силу.

А где взять их в восемнадцать лет? И если юноша не в совершенстве постиг программу, пусть лучше не ходит на

экзамен.

Испытание Володя выдержал. Экзаменаторы давно уже перешли за границы программы: уже задавались вопросы, на которые не всякий машинист ответит, но каждый раз следовал четкий и ясный ответ.

- Вот тебе и пикетный столбик! - сказал, улыбаясь, машинист-наставник. - Ну что ж, пусть ездит!

На этом опрос прекратился.

Владимир знал, что сразу его не пошлют на поездную машину, пока он не получит необходимую практику на маневровом или хозяйственном паровозе. Но вышло по-иному.

Время после экзаменов тянулось мучительно долго.

Каждое утро он являлся в помещение дежурного по депо, просовывал голову в окошко конторки и спрашивал:

- Скоро мне на дежурство, товарищ нарядчик?

- Вызовем, вызовем, - отвечал тот, не отрываясь от своих бумаг, едва взглянув на молодого помощника машиниста.

А Володя не уходил. Он смотрел сквозь окошко на огромную, во всю стену, заветную доску. Он искал среди сотен разноцветных пластинок только одну с надписью "Чеботарев В. А.". Она отчетливо представлялась ему. Так же как пластинки всех помощников, она будет окрашена в зеленый цвет, а фамилию выведут печатными буквами белой краской. Но ему не терпелось увидеть ее собственными глазами. Увидеть в графе "На маневрах", "На отдыхе" или лучше "В поездке", да в конце концов в любой графе, но только бы кончилась эта неопределенность. Прошло столько дней, а ничего не изменилось. Не передумали бы там...

Спустя неделю на свой обычный вопрос Володя вдруг услышал:

- А-а, Чеботарев! Собирайся, парень, в четыре часа ночи поедешь. До Чулымской резервом, а обратно поезд возьмете. Держись, брат!

Владимир и обрадовался и испугался. Не простое дело - сразу с поездом. Почему это так решили? Хотя иногда бывает. То ли заболел старый помощник, то ли нарядчик плохо людей распределил, но поезд надо вести, а помощника нет. Значит, посылают первого свободного человека.

Надо бы спросить, кто машинист, номер паровоза, но Владимир стоял и смотрел на нарядчика, пока кто-то не оттеснил его от окошка. Он поспешил к выходу.

- Смотри отоспись хорошенько, Чеботарев! - вдогонку крикнул нарядчик.

- Да, да, обязательно, - отозвался он, ускоряя шаги.

Володя все рассчитал точно. Чтобы уехать в четыре, надо

явиться к двум и не торопясь приготовить паровоз. Поэтому спать придется лечь в шесть вечера.

Придя домой, безразличным голосом сказал матери:

- Надо бы сундучок уложить, ночью ехать.

Вместе с нею старательно укладывал продукты, хотя сами по себе они его интересовали мало. Когда все было собрано и сундучок отставлен к стенке, Володя приготовил рабочий костюм. Собственно, костюм был давно приготовлен, он просто снял с гвоздя штаны и тужурку, потрогал их руками, осмотрел и повесил на место.

Потом мать ушла, а он несколько раз открывал сундучок, проверяя, не забыл ли чего. Но все было на месте.

Спать лег, как и хотел, ровно в шесть. Но заснуть не мог, видно, потому, что в доме еще никто не ложился. Правда, раньше ему случалось укладываться первым, и он тут же засыпал, но сегодня, наверно, сильно шумели. Когда легли все, ему опять не спалось, но это и понятно: разве уснет человек, когда перебили сон...

А потом у него нашлось занятие: он стал ждать рассыльного. Он прислушивался к лаю собаки во дворе, к шагам на деревянном тротуаре, проходившем под окнами, к звукам на улице.

Он хорошо знал, что рассыльный придет, но на всякий случай решил на него не полагаться, а следить за временем, чтобы не проспать. Теперь то и дело поднимался, шел на кухню, где висели ходики. Но и с ними что-то случилось. Последний раз смотрел на циферблат с полчаса назад, а вот стрелка передвинулась только на семь минут.

Он снова лег, твердо решив не подниматься до прихода рассыльного и немного поспать. Но теперь ему не спалось, видно оттого, что уже скоро вставать.

Шорох под окном послышался совершенно ясно.

Володя затаил дыхание. И вот - осторожный стук палочкой по стеклу... Он продолжал лежать не дыша, не шевелясь. Стук повторился. Чуть-чуть громче.

- Кто там? - раздался голос матери.

- Помощнику Чеботареву Владимиру в поездку на четыре ноль-ноль, послышалось с улицы.

- Володя... хорошо, хорошо, сейчас, - невпопад отвечала она, не зная, то ли будить Володю, то ли самой говорить с рассыльным. Быстро поднялась с постели, зажгла свет на кухне.

- Вставай, Володя! - позвала громко.

- А? Что? - будто спросонья отвечал он. - А сколько сейчас времени?

- Половина второго, ехать в четырз, поднимайся.

- Вот еще, рано как вызвали, вполне мог еще полчасика поспать, недовольно бормочет он, но так, чтобы мать слышала.

- Сколько спать можно! - удивляется она. - Ведь в шесть часов лег.

Володя ничего не говорит больше. Он деланно зевает, но одевается быстро. Два ряда металлических пуговиц блестят на тужурке.

Наступает торжественный момент. Небрежно поднимает сундучок, смотрит, хорошо ли закрыта крышка на щеколду, и солидно говорит:

- Ну, я пошел, вернусь, наверно, завтра к вечеру...

Он идет с сундучком по деревянному тротуару, и гулко стучат ослабшие на гвоздях доски. То ли от ночной прохлады, то ли от возбуждения вздрагивает.

Отчетливо слышны паровозные гудки.

Близ станции и на путях много движущихся фонариков. По тому, как они покачиваются, Володя угадывает, кто идет, определяет походку. Вот мелькает, подпрыгивает огонек. Он движется то медленнее, то быстрее, взмахи его очень короткие. Это определенно девушка: списчица вагонов, может быть, стрелочница...

Вот большие, широкой дугой взмахи. Это идет молодой сцепщик, или дежурный по станции, или составитель. Настроение у него явно веселое, вишь, как размахался. Шаги уверенные, крупные.

А этот фонарик то и дело переходит из одной руки в другую. Взмахи неровные, зигзагами. Человек нервничает. Вот его огонек поднялся вверх, отошел в сторону, снова опустился. Человек мысленно с кем-то спорит, жестикулирует, доказывает свою правоту.

Дальше виден фонарик, будто на тихих волнах. Он качается размеренно, спокойно. Сомнений не может быть: идет главный кондуктор. У этого всегда все хорошо уложено, он ничего не забудет дома, точно рассчитает время. Торопиться ему некуда, он никогда не опаздывает.

По огоньку можно определить, куда направляется человек.

На работу идут быстрее, домой медленнее, усталой походкой. Чистые, досуха протертые стекла в фонарике - значит, идет на службу. Закопченные, грязные - на отдых.

Вот понеслись огоньки к только что прибывшему составу. Вслед за ними еще несколько фонариков. Они уже мелькают вдоль всего поезда. Это осмотрщики вагонов и автоматчики.

Так издавна называются слесари по ремонту автоматических тормозов. Все они торопятся. Поезд стоит на станции недолго, и

надо успеть проверить ходовые части и тормоза всех вагонов.

И только паровозники, даже в самую темную ночь, ходят без фонарей. Но их легко узнать по сундучкам.

Чем ближе Володя подходил к станции, тем больше встречалось людей. Ночью железнодорожный поселок живет почти такой же жизнью, как и днем. В служебных помещениях беспрерывно трещат телефоны, передаются сводки, назначаются свидания, спорят извечно враждующие представители различных служб.

Круглые сутки работают столовая, душ, красный уголок. И глубокой ночью и на рассвете стонут столы от могучих ударов костяшками домино: одни ждут своего поезда, чтобы вести его, другие, чтобы осмотреть вагоны, и у всех находится свободное время для игры в домино.

Неумолкающий гул голосов в помещении нарядчика паровозных бригад. Время от времени из-за перегородки крикнет дежурный по депо или нарядчик, чтобы не мешали работать, и на несколько минут шум утихнет...

Никто не обратил внимания на Владимира, протискивавшегося к окошку. Нарядчик сообщил ему фамилию машиниста и номер паровоза. Потом Володя увидел, как нарядчик достал из ящичка пластинку и повесил на доску в графу "В поездке". На пластинке четкими буквами было написано: "Чеботарев В. А."

Он отыскал свой паровоз возле депо, поднялся в будку и осмотрелся.

Тускло горели две коптилки: у манометра и водомерного стекла. Под ногами трещал разбросанный по всему полу уголь. Пахло едким дымом и мазуюм.

Машина словно дремала.

Сколько раз во время учения и практики он бывал на паровозе! Что нового мог здесь увидеть? И все же новые, неизведанные и волнующие чувства охватили его. На этом паровозе поедет он!

Сегодня откроется счет километрам. Когда этот счет достигнет пятидесяти тысяч, он получит право сдавать экзамен на машиниста.

Поставил сундучок под сиденье, под свое сиденье за левым крылом, и снова осмотрелся.

- Эй, кто там? - послышался голос снизу.

Владимир выглянул в окно. В свое окно за левым крылом.

- Помощник машиниста, - как можно солиднее ответил он.

- Ну, принимай! - И человек с лопатой полез в будку.

Владимир знает: это деповский кочегар. Пока нет бригад, он

чистит топки паровозов, следит за огнем, за уровнем воды. Теперь надо принять у него топку, и он больше сюда не придет до следующего рейса.

Владимир потянул за рукоятку, и тяжелые чугунные дверцы топки легко разошлись на две стороны. Внимательно оглядел все внутри. Трубы не подтекают, связи и болты в порядке. Медленно тлеют огоньки по всей колосниковой решетке. Ни одного синего язычка, ни одного обугленного "блина" - значит, шлака нет, топка вычищена хорошо.

- Ну, я пошел, - сказал кочегар, видя, что претензий к нему нет.

Владимир подбросил в топку и захлопнул дверцы.

Еще с минуту стоял, оглядывая все вокруг, потом решительно снял тужурку, повесил на крючок позади своего сиденья и приступил к делу.

Захватив ключи, масленку и факел, спустился вниз.

Предстояло смазать около ста точек. Он работал быстро и внимательно, но дело шло медленно.

Владимир нервничал. Ему хотелось все закончить АО прихода машиниста, а стрелки на светящемся циферблате больших деповских часов бежали как сумасшедшие. Весь он перемазался и очень торопился.

Вскоре явился кочегар, здоровенный парень из близлежащей деревни. Поздоровался с Владимиром и полез наверх. Работы у него немного. Топит паровоз помощник, а не кочегар. К паровозу он отношения не имеет, его дело - тендер. Набрать в тендер воду и уголь, когда машинист подъедет к колонке и эстакаде, следить за тендерными буксами, заполнять углем большой железный лоток по мере того, как помощник выбирает оттуда уголь и забрасывает в топку, да еще выполнять мелкие поручения машиниста и помощника.

Владимира немного покоробило, что кочегар не остановился возле него, не спросил, что делать. Он велел кочегару хорошенько убрать в будке, хорошенько осмотреть тендерное хозяйство, хорошенько проверить уровень смазки в буксах. Кочегар выслушал Володю и добродушно, немного удивленно сказал:

- Ну, а как же? Я думал, тебе чего другого надо, а это я сам знаю.

Владимиру стало неловко. И чего, действительно, лезть со своими указаниями, если человек работает давно и многое знает, пожалуй, лучше помощника?

Машинист пришел, когда у Владимира было почти все готово. Взяв молоток, пошел вокруг паровоза, тщательно постукивая по бандажам колес, по клиньям, валикам.

Потом все поднялись наверх, и машинист, дав сигнал, тронулся на контрольный пост, откуда почти без задержки выехал на главный станционный путь.

Здесь, не дожидаясь указания механика, Владимир прицепил к заднему левому фонарю красный флажок - знак того, что паровоз пойдет резервом, и удовлетворенно отметил про себя, что машинист одобрительно следил за ним. Потом Владимир попросил маршрутный лист, чтобы отметить у дежурного по станции. И снова увидел, что машинист доволен его действиями.

Вскоре и сам дежурный вышел на перрон и вынес жезл - разрешение ехать. Паровоз тронулся и начал быстро набирать скорость.

Было совсем светло. Владимир сидел за левым крылом паровоза, и хотя сиденье оказалось не мягким, а подлокотник не был обрамлен тяжелой бахромой, но счастье разливалось по сердцу. Время от времени он подбрасывал в топку уголь, подкачивал воду, по мере надобности открывал и закрывал цилиндровые краны.

И все, что он делал, приносило ему радость.

Состояние у него было возбужденное, радостное и вместе с тем тревожное: давление пара никак не поднималось выше десяти, когда норма двенадцать. Чтобы увеличить тягу, он открыл сифон, но машинист велел закрыть.

- Куда тебе пар! - недовольно сказал он. - Ведь резервом едем, только уголь зря жечь.

Владимир и сам понимал, едут они налегке и десяти атмосфер вполне достаточно. Но все же ему хотелось видеть стрелку манометра на красной черточке - указателе предельного давления.

До Чулымской ехали долго. Паровоз держали почти на всех станциях, пропуская поезда. Добрались туда к середине дня.

Сдав машину деповскому кочегару, все вместе пошли отдыхать. Владимир старался идти степенно, солидно и не глазеть на людей, не выставлять напоказ свой сундучок, будто впервые взял его в руки. Но както так получалось, что его взгляд не пропускал ни одного прохожего, пока не дошли до дома для отдыха поездных бригад. Здесь отдыхают в ожидании поездов паровозные и кондукторские бригады. Здесь тихие, затемненные спальни, красный уголок, горячий душ, капера хранения. Едва ли не центральное место занимают кухня и прилегающая к ней столовая с длинным столом, обитым цинком. Здесь все приспособлено для того, чтобы люди могли приготовить то, что им хочется. В их распоряжении большой набор посуды, горячая вода.

В столовой и на кухне можно узнать все новости с любой из десятков станций участка. Здесь обстоятельно, авторитетно обсуждаются крупнейшие международные события и внутренняя жизнь страны.

Владимир вместе с машинистом и кочегаром помылись в душе и пошли на кухню варить суп.

Наступила минута, о которой тоже когда-то мечтал Владимир. Есть старая традиция паровозников: в доме для отдыха варить суп. И какая бы ни была поездка, тяжелая или легкая, какие бы ни сложились отношения между машинистом, помощником и кочегаром, но на отдыхе открываются сундучки и на столе появляются сало, крупа, картошка, лук - все, что требуется для супа паровозника. В приготовлении этого блюда паровозники достигли предела совершенства и не сменяют его ни на какие блюда.

Обычно готовит помощник машиниста или кочегар.

А машинист нет-нет да и откроет кастрюлю, попробует, даст указание получше поджарить сало или помельче нарезать лук, а то и сам, набрав соль в ложку, высыплет в кастрюлю и старательно размешает. Потом кастрюлю торжественно ставят на стол, подложив деревянный кружок, и первую миску наливают машинисту.

Каким бы разным ни было материальное положение членов бригады, суп готовят и едят вместе. Второе блюдо дело каждого. У любого паровозника в сундучке припрятано его любимое, приготовленное специально для него.

Владимир признался, что варить суп не умеет. Ему поручили чистить картошку и лук, а готовить взялся сам машинист. Он охотно открывал Владимиру тайны кулинарии, комментируя каждое свое действие.

Пообедав, легли спать, и на этот раз Владимир заснул, едва лег. Он не повернулся на другой бок, пока не разбудили в поездку.

Паровоз готовил уверенно, внимательно следил за топкой и к выезду под поезд нагнал двенадцать атмосфер пару. Воды было три четверти водомерного стекла, тоже - норма. К поезду подъехали в полной готовности.

И этот первый рейс Володя провел отлично. Была в нем удивительная природная хватка. Он быстро улавливал все новое, впитывая в себя опыт старших, и в месяц постигал то, что другим давалось за полгода. Еще будучи на практике, легко освоил и искусство топить паровоз, что помогло ему в скором времени пересесть на пассажирскую машину.

Мечта Володи - стать машинистом - на глазах превращалась в

реальность. Прошло менее двух лет, когда по комсомольской путевке его послали на курсы машинистов.

И ВСЕ ИЗ-ЗА ЗВОНКА

Из детдома Виктора Дубравина направили в железнодорожный техникум. Учиться ему не хотелось. Решил уйти с первого курса. До каникул дотянуть, уехать, а обратно не возвращаться. Но тогда его удержали.

Хитростью удержали. А вот сейчас, когда он уже на втором курсе, когда начали, наконец, изучать паровоз - эту удивительную машину, - его выгоняют.

На первом курсе, за неделю до зимних каникул, он выписал положенный ему, как железнодорожнику, бесплатный билет в Москву. Там не пропадешь.

Проездные документы не выдали. Сказали, что вызывает начальник техникума Николай Кузьмич Масленников. Значит, успел как-то пронюхать. Он всегда все знает.

Будь это не Николай Кузьмич, можно бы и наплевать. Без билета ехать не в первый раз. Но начальник мужик стоящий, и Виктор его уважал. Должно быть, потому, что у него два боевых ордена: за Перекоп и еще за какой-то особый героизм. А возможно, и по другой причине: он не похож на начальника. Здоровается за руку, на переменах забегает в курилку, и если случается, нет у него папирос, не стесняясь, просит у ребят. За ним не пропадало.

Особенно хорошо он относился к бывшим беспризорникам, которых кое-кто сторонился. Их было шесть человек, и все они очень остро переживали любое напоминание о своем прошлом. С Николаем Кузьмичом получалось как-то по-иному. Он охотно рассказывал им о гражданской войне и сам с удовольствием слушал об их собственных "подвигах". Они его не стеснялись.

Виктор решил явиться на вызов и не мудрить, а как только спросит, честно признаться, что учиться не будет. Но оказалось, он вызвал всех шестерых. "Я, - говорит, - вам сюрприз приготовил. Вот путевки на экскурсию в Ленинград, с полным питанием на месте, а вот деньги на дорогу. Стипендию приберегите, после каникул пригодится".

Все обрадовались. Отказаться Виктору было неловко. Да и почему бы не съездить в Ленинград?

Только в поезде спохватились, что за путевки директор велел расписаться, а за деньги - нет. И стипендию и всякие ссуды выдавал только кассир. И всегда надо было расписываться и проставлять сумму прописью. А тут выдал сам, без всякой ведомости. Както нехорошо получилось.

Бросать техникум сразу после возвращения из Ленинграда

было и вовсе неудобно. Решил потянуть месячишко. Когда снова собрался уходить, как назло, Николай Кузьмич позвал всех шестерых к себе на день рождения. "По возможности, - говорит, - принесите подарки. Подготовить успеете, впереди еще целая неделя". Он объяснил, что подарки принимает только контрольными работами с оценкой "хорошо" или "отлично". "Если не получится, предупредил он, - тоже не страшно, можно и так прийти. Но не вздумайте покупать что-нибудь. Выгоню".

Все знали: не выгонит и даже не упрекнет. Только покраснеет. Странный человек. Если ему нанесут обиду или оскорбят, он краснеет от стыда. Даже непонятно, как он ордена за героизм получил.

Портить ему настроение в такой день не хотелось.

И без подарка являться было стыдно. Виктор злился на Николая Кузьмича и мысленно ругал его.

На вечере, куда пришли преподаватели и много другого народа, ребятам было не по себе. Кто-то сказал, что зря позвали сюда беспризорников. Они не слышали этого. Они это чувствовали. Если человек говорит даже очень вежливо, улыбается, но думает о них как о беспризорниках, они это чувствуют и уже сами не могут спокойно разговаривать.

Всем было неловко - и ребятам и другим гостям.

Только Николай Кузьмич ничего не замечал. Он произнес тост за Виктора и его товарищей, за их отцов, которые отдали жизнь за революцию, за всех здесь присутствующих. Он поднял вверх шесть контрольных работ, на которых стояли оценки "отлично" и "хорошо", и сказал, что гордится своими питомцами и верит в них, потому что они, хлебнув немало горя, не пошли по легкому пути в жизни, а стараются быть достойными своих отцов. И он каждому из них в отдельности пожал руку. Преподавателям тоже захотелось пожать им руки, и неловкость, которая была вначале, как-то прошла.

После такого вечера сразу бросать техникум было совершенно невозможно. И еще был подходящий случай уйти наконец, и опять получилось так, что помешал Николай Кузьмич. А вот теперь, когда самое трудное позади, когда он уже на втором курсе, его исключают.

Откровенно говоря, единственное, чего ему жалко, это паровоза. Те, кто не понимает, думают, будто ничего особенного в этой машине нет. Они не представляют, какая в ней таится сила. Она вырабатывает в час около двадцати тысяч килограммов пару. Если этот пар сразу выпустить, его хватит, чтобы окутать всю Дворцовую площадь в Ленинграде вместе со всеми дворцами. Это целое небо. Но его загнали в один котел. Пар распирает котел с

силой пять тысяч тонн. Он так давит на воду, что она не может кипеть. Она закипает только при двухстах градусах.

Виктор забросил остальные предметы. Снова появились "хвосты", от которых он едва избавился. Зато на уроках по курсу паровоза он просто бог. У него не хватает терпения плестись вместе с классом, и он ушел далеко вперед. Целые ночи просиживал над книгами о паровозе.

Так было и перед тем злополучным днем. Он засиделся за "Историей локомотива" и лег спать только на рассвете. Утром его едва растолкали. Первые два урока была математика. Он совершенно не подготовился. Не имел понятия о том, что задало. Сидел на уроке и ждал звонка.

Сорок пять минут идет урок. Это две тысячи семьсот секунд. И каждую секунду могут вызвать к доске.

Какая ни с чем не сравнимая мука - ждать звонка.

Ждать, хотя урок только начался и еще не взялся за журнал математик, чтобы выбрать первую жертву. Никогда не бывает в классе такой настороженной тишины, как в эти нестерпимо томительные секунды.

Преподаватель медленно достает из кармана футляр, аккуратно извлекает очки, щурясь, смотрит на них против света и, подышав на стекла, начинает тщательно протирать их. Наконец надевает очки, с отвратительной медлительностью прилаживая за ушами дужки. Обводя долгим взглядом переставший дышать класс, торжественно раскрывает журнал.

Он тянет, будто нарочно, будто издевается, наслаждаясь своей властью. Он словно хочет продлить ее и петит за все огорчения, что порой причиняют ему здесь.

Все замерло, и слышно только, как шелестят журнальные страницы.

Виктор следит за глазами математика. Они медленно скользят по алфавитному списку. Уже первые буквы пройдены. Вот взгляд задержался. Дубравин опускает головv... Секунда, вторая, третья... Тишина. С надеждой поднимает глаза. Миновало. Уже где-то на "С".

Наконец фамилия названа. Будто вырвался общий вздох облегчения. Будто фотограф сказал "Готово". Расслабли напряженные мышцы, все задвигались, заерзали. Скрипнул стол, упала книга, кто-то кашлянул, ктото шмыгнул носом. Послышался шепот.

Наступает передышка минут на десять-пятнадцать.

Хотя нет. Вызванный к доске уже через несколько минут допускает ошибку.

- В чем ошибка, скажет нам... - Преподаватель обводит

глазами класс.

Виктор ниже склоняется над тетрадью.

- ...Скажет нам Дубравин.

Виктор медленно поднимается. Смотрит на доску, вглядывается, шевелит губами: "...логарифм... икс...

та-ак..."

Ну откуда ему знать, где ошибка? И кому нужны эти логарифмы, и кто только их выдумал! На паровозе логарифмов нет.., - Садитесь.

До конца урока остается тридцать семь минут.

Успеет еще десять раз спросить с места и вызвать к доске... Нельзя так часто смотреть на часы.

От этого время тянется медленнее. Надо о чем-нибудь думать.

Какое странное это явление - звонок. Кажется, ничто в мире не может доставить такой радости, так быстро преобразить подавленного и притихшего человека, как звонок. Хочется выкрикнуть какое-нибудь нелепое слово, щелкнуть по стриженому затылку товарища или закричать "ура". И уже нет сил усидеть на месте даже лишнюю минуту, дослушать до конца фразу преподавателя.

Какое странное это явление - звонок. Гремит, как барабанный бой врага, как сигнал бедствия. И целые толпы будто под гипнозом покидают веселые коридоры и добровольно идут на расправу. Звонок с урока - коротенький и тихий. О конце перемены он возвещает так, что могут лопнуть барабанные перепонки. Подойти бы да грохнуть по этому молоточку, по чашечке, чтобы разлетелись вдребезги... Снова долгие сорок пять минут. Две тысячи семьсот секунд...

Надо думать о чем-нибудь интересном. И он вспоминает. Ночь. Огромная станция забита поездами. Гдето среди эшелонов затерялся нефтяной состав. Сюда его гнали на большой скорости, а вот здесь будет дожидаться очереди часа полтора.

На паровозе все замерло. Задвинув окна, дремлют на своих мягких сиденьях машинист и помощник. Безжизненная, спит машина. Только лениво и беззвучно перебегают огоньки в потемневшей топке, да время от времени, точно испугавшись во сне, всхлипнет насос.

И снова все тихо. Сзади, на угольном лотке, сидит кочегар Виктор Дубравин. Он практикант. Это первая его практика. Но на паровоз лишних людей не пускают. Он член паровозной бригады, без которого нельзя обойтись. Он нужен здесь. Вместе с машинистом и помощником он водит поезда с грузами пятилетки.

Теперь оба они спят. Он принимает на себя полную меру ответственности за паровоз и всю полноту власти над ним. Это ничего, что никто его не уполномочивал и спрос с него самый маленький. Не в каждую поездку выпадает случай похозяйничать на паровозе.

В будке десятки маховиков, рукояток, рычагов, приборов. Ими управляют машинист и помощник. Кочегару ничего не достается. Он только и делает, что без конца швыряет уголь из тендера в лоток. Даже в топку он не имеет права подбросить. Топить паровоз - дело тонкое и входит в обязанность помощника. Но управлять приборами он может. Откровенно говоря, теоретически он знает больше этого помощника. Он знает о таких вещах, которые редкому машинисту известны.

Виктор сидит на лотке и сторожит стрелку манометра. Она уже возле красной черточки. Еще немного, и тонко запоет струйка пара на котле, сожмутся могучие стальные пружины предохранительного клапана, и, как огнемет, ударит в небо раскаленный пар, которому уже некуда деться в котле. Не будь этого клапана, котел разнесло бы на мелкие куски.

Но Виктор не допустит, чтобы пар без пользы уходил из котла. Стрелка манометра вот-вот закроет красную черточку. Пора.

Он подходит к приборам. Вид у него солидный, какой и положено иметь опытному паровознику. Повертывает одну рукоятку, приподнимает другую. Раздается щелчок, и с резким скребущим звуком вода устремляется в котел. Холодная вода в бурлящий- котел.

Она собьет пар, снизит давление.

При первом же звуке инжектора схватывается помощник, резко повертывает голову машинист. Инстинктивно они бросают взгляд на водомерное стекло и манометр. Словно сговорившись, без единого слова оба устраиваются поудобней и тут же засыпают.

Виктор воспринимает это как похвалу. Он все делает правильно, на него можно положиться, можно спокойно спать.

Паровозники могут спать в любом положении, под любой грохот. Они не проснутся, если на соседнем пути будут бить молотком по буферным тарелкам. Но стоит мальчишке, бегущему мимо, из озорства шлепнуть ладошкой по тендеру, и машинист насторожится.

...По почему смеется весь класс? На всякий случай он тоже смеется, и это вызывает бурный хохот.

- Я уже в третий раз обращаюсь к вам, Дубравин, - спокойно говорит преподаватель. - Прошу к доске.

Подавив тяжелый вздох, Виктор поднимается. Ну что они от него хотят? Он идет, думая о звонке. Сколько осталось? Посмотреть на часы не успел, а теперь неудобно. Заметит. Единственное спасение в звонке.

Если осталось немного, есть смысл тянуть. Можно долго и тщательно вытирать доску, аккуратно, не торопясь, писать условие примера или задачи, перепутать что-нибудь и, когда преподаватель поправит, "по ошибке" стереть все. Потом начинать сначала. Когда условие будет написано, можно повторить его. Хорошо бы, конечно, выйти в коридор намочить тряпку...

Он вытирает доску левой рукой, чтобы видеть часы.

Остается тринадцать минут. Эх, звонок-звоночек, не дождаться тебя...

Написав, наконец, условие примера, Виктор бодро говорит:

- Мы имеем логарифм дроби. Логарифм дроби равен логарифму числителя минус логарифм знаменателя.

- Правильно, - одобрительно кивает головой преподаватель.

- Приступаем к логарифмированию, - так же бодро продолжает Виктор.

Оказывается, логарифмировать нельзя. Оказывается, в числителе многочлен. Надо сначала преобразовать его. Как это сделать, он не имеет даже отдаленного представления... И для чего это надо делать, тоже непонятно. Его вполне устраивает и многочлен. И какой там многочлен, когда всего x2-y2. Ему говорят, что это просто формула. Он и сам видит, что это формула, И что же?..

- Вы совсем ничего не знаете, садитесь.

Обиженный, понуро идет на место. Раскатисто взенит звонок.

На втором уроке Виктор спокоен. Теперь преподаватель уже не спросит с места, не вызовет к доске.

Можно продолжать "Историю локомотива". Вчера прервал на самом илтересном месте.

Урок в разгаре. На коленях - книга. Виктор незаметно, беззвучно листает страницы, ищет, где остановился. Вот смешная выдержка из "Горного журнала".

Он уже читал ее, но снова пробегает.

Первая авария на транспорте. Паровоз наскочил на телегу с маслом и яйцами. Против паровоза полнята страшная кампания. Стефенсон изобретает гудок, чтобы предупреждать о движении поезда. Противники паровоза совсем обнаглели...

Идет урок- Кто-то отвечает, кто-то рвется к доске, кто-то трепетно ждет своей участи. Виктор далек от всего этого. Он не замечает, как поглядывает на него преподаватель, не слышит, как наступает тишина. Настороженная тишина перед вызовом

очередной жертвы.

"Железные дороги помешают коровам пастись, куры перестанут нести яйца, отравленный паровозом воздух будет убивать пролетающих над ним птиц, сохранение фазанов и лисиц станет невозможным, дома близ дороги погорят, лошади никому не будут нужны, овес и сено перестанут покупать..."

И в полной тишине настороженного класса Виктор громко хохочет.

- Выйдите за дверь!

Да, это ему. Он даже пригнулся. Преподаватель гневно повторяет свое требование.

Тихо и пустынно в коридоре. Как не сообразил захватить книжку?! Теперь за ней не вернешься... Ужасно неприятно одному в пустом коридоре. В классах идет жизнь. За этими дверьми смех. А вот здесь слышен только голос преподавателя. Должно быть, объясняет новое.

Побродив по коридору, Виктор спустился вниз. Над стенными часами, под самым потолком, - звонок Подвел сегодня, чертов звонок. Висит се5е, как святой.

А сколько людей сейчас думают о нем, ждут его. До конца урока одиннадцать минут. Человек десять во всех классах успеют получить "неуды". В среднем по одному "неуду" в минуту. Сколько нежданного счастья может принести этот бездушный звонок. И как это просто. Повернул выключатель - и готово: ни одного "неуда".

Какой-то толчок, вспышка безрассудной удали, и звон раскатисто понесся по этажам.

...Кто-то растерянно смотрел на часы, кто-то пытался удержать на месте людей. Но велика и непререкаема, как государственный закон, сила звонка. Ринулись в коридоры веселые потоки. Не удержать их.

Виктор и шагу не успел сделать, как подлетела к выключателю сторожиха.

- Ах ты, беспризорник проклятый, погибели на тебя нету! - кричала она, потрясая кулаками.

Прокатилась по телу и хлынула к горлу горячая волна, захлестнув дыхание. Виктор размахнулся, но какая-то не его, чужая, сила будто схватила за руку.

- У-у, старая... - слово вырвалось отвратительное, страшное, и уже не вернуть его.

Женщина зажмурилась, зажала ладонями уши...

Теперь его исключают. Все об этом знали. Ждали педсовета, который только формальность. Они думают, что он пойдет просить. Никуда он не пойдет, никого умолять не собирается.

Жаль, конечно. Не хватило выдержки. Но все равно ни одного слова нотаций выслушивать не будет. Ваше дело исключить, а поучать хватит. По самое горло сыт поучениями. И никаких извинений у нее просить не будет. Пусть не лезет.

К начальнику его вызвали вечером. Ни за что не пошел бы, не будь это Николай Кузьмич. Хороший он человек, только очень навязчивый. Виктор все время у него в долгу. То путевка в Ленинград или день рождения, то премия за производственную практику и лучшее место в общежитии, и еще черт знает сколько всяких поощрений. Постоянно чувствуешь себя обязанным ему.

Виктор хорошо знал, что ждет его в кабинете начальника. Николай Кузьмич не повысит голоса, не скажет грубого или обидного слова. У него будет даже виноватый вид; ничего больше сделать не может. Посоветует, как дальше жить, на прощание подаст руку. Чего доброго, еще покраснеет. И все это будет нестерпимо, и не будет возможности его не слушать.

Уж лучше бы вызвал завуч. Тот берет криком. Начинает разговаривать спокойно, а через минуту орет как сумасшедший. С ним легче, Послать его про себя ко всем чертям и хлопнуть дверью. Кричи на здоровье.

А вот как быть сейчас? И почему так не безразлична ему эта последняя встреча?

Виктор шел озлобленный, все больше накаляясь и настраивая себя против Николая Кузьмича, не в силах придумать, как отвечать на его спокойный тон. Несправедливый в своем озлоблении, он понимал зто, злился еще больше и переступил порог кабинета начальника, готовый к любому безрассудному поступку.

Как и ожидал Виктор, тон у Николая Кузьмича был спокойный.

- Вещи собрал?

- Собрал.

- Когда едешь?

- Да хоть завтра... Общежитие могу освободить сегодня.

Николай Кузьмич откинулся на спинку кресла и каким-то колючим, незнакомым Виктору голосом сказал:

- Завидую тебе. Легко по жизни пройдешь,.. В душу мне наплевал и с эдакой легкостью попрыгунчика:

"Да хоть завтра!" А отмывать кто будет?! -неожиданно закричал он и стукнул кулаком по столу. - Мне куда от людей глаза прятать? Или на всю жизнь, как короста, твои плевки прирастут ко мне!

Он вскочил и быстро заходил по кабинету.

- Нет, брат, шалишь! Ты походи, помучайся да каждый день в

глаза ей посмотри... Не исключу я тебя.

Понял? - Он схватил со стола лист бумаги, напечатанный на машинке, и, тряся им перед носом Виктора, злорадно заговорил: - Это приказ о твоем исключении. На подпись принесли. Видел? - И он в клочья разорвал бумагу. А теперь убирайся! Иди к сторожихе, собери всех преподавателей и студентов, плюнь им в лицо:

"Что, исключили? На-ка, выкуси! У меня здесь своя рука-сам Николай Кузьмич. Что хочу, то и делаю! Я вам еще не такое устрою. Вы у меня все запляшете! Сторонись, Дубравин идет!"

Тяжело дыша, он опустился в кресло. Обессиленный, бесстрастно и тихо сказал:

- Не могу я тебя исключить, Виктор. Понял? Ни одfjoro из вас шестерых не могу. Не прощу себе потом.

Иди. Поступай, как велит тебе совесть.

Виктор быстро и молча вышел из кабинета, потому что опять этот проклятый комок подступил к горлу. Да и все равно не мог бы он теперь ничего сказать, не мог бы выразить охвативших его чувств. Ни разу не мелькнула мысль о том, что его не исключили. Что-то очень большое заслонило эту маленькую радость. Могучие руки, как в детдоме, поддерживали его и не давали упасть.

Не в силах разобраться в собственных мыслях и чувствах, он машинально двигался по коридору. Закончилось какое-то собрание, и шумная толпа ринулась в раздевалку. Виктор шел, и люди смотрели на его странный, растерянный вид, на устремленный куда-то взор и расступались, и каждый, кто взглянул на него, уже не мог оторвать глаз и не мог понять, что с ним происходит.

Он вошел в раздевалку и остановился перед сторожихой. Она тоже встала, зажав в руках чьи-то пальто и шапку. Они глядели друг на друга.

Самый большой задира, упрямый и сильный, с болезненным самолюбием, ни перед кем не склонявший головы, он стоял расслабленный и беспомощный, и покорные глаза и подрагивающие губы - все сумрество его молило: "Прости меня, мать!"

Выпали из рук пальто и шапка, женщина рванулась к нему, встряхнула, взявши за плечи, зашептала:

- Ну что ты, дурачок, да я уже к начальнику ходила, это я во всем виновата, не бойся, он обещал...

ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ СВЕТ

После окончания техникума Виктор Дубравин легко садл испытания на должность помощника машиниста.

Он знал: пройдет не больше года, и так же легко получит он

право управления паровозом.

Перед первой поездкой Виктор нервничал. Его производственная практика, начиная с первого курса, проходила в депо или на маневровых паровозах. А теперь предстояло вести товарный поезд.

Состав был длинный и тяжелый. В голове стояли вагоны с оборудованием для Беловского цинкового завода и гигантскими деталями прокатного стана для Кузнецкого металлургического комбината, а в хвосте - фермы к новому мосту через Ангару. На первом вагоне висело красное полотнище с надписью: "Ни на минуту не задержим грузов второй пятилетки".

Машинист тоже заметно нервничал. На Омскую дорогу он перевелся недавно с одной из южных дорог, где паровозы отапливались нефтью. Как топить углем, знал только понаслышке, а на молодого помощника не надеялся. Он часто заглядывал в топку, предупреждал Виктора:

- Смотри же, парок держи, состав тяжелый!

Волновался и Виктор. Ему все казалось, будто в топке мало угля, и он, пока не тронулись, то и дело подбрасывал, хотя -знал, что наваливать много тоже нельзя.

От него не укрылись сомнения машиниста, и от этого еще больше водновался.

Но вот, наконец, главный дал отправление, и машинист умело тронул состав с места. Поезд пошел, тяжело набирая скорость. Виктор не спускал глаз со стрелки манометра. Она крупно вздрагивала, но возвращалась на красную черту предельного давления. Потом увидел, как она задрожала мелко-мелко и уже не вернулась на место, а сместилась немного влево: давление упало на четверть атмосферы.

Он быстро поднялся, взял лопату, раскрыл топку.

Пока паровоз стоит, тяги почти нет. Но в пути чем больше нагрузка, тем сильнее тяга. Каждый выхлоп отработанного пара выхватывает воздух из топки.

Виктор взглянул на огонь. Трудно было понять, что там творилось. Пламя бушевало, билось из стороны в сторону, и в каждые четверть оборота колеса, с каждым выхлопом бросалось в трубы, будто частыми рывками его заглатывала пасть огромного животного.

Поезд шел на подъем медленно, тяжело, и так же тяжело вздыхала топка: чч-ах! ччч-ах! ччч-ах!

Виктор хорошо знал: разбрасывать уголь надо равномерно по всей колосниковой решетке. Слой должен быть ровным. Но он очень боялся прогаров - оголенных мест. Если останется хоть одно место, не покрытое углем, пусть даже маленькое, величиной

в ладонь, пару не хватит. Струя холодного воздуха, как из брандспойта, будет бить по трубам, охлаждая их, охлаждая всю топку. Но и толстый слой ненамного лучше. Пока он схватится, пока раскалится, пар сядет.

А где в этой бушующей топке можно увидеть прогары или завалы? И первые несколько лопат Виктор бросил наугад, в самую середину, где сгорание идет интенсивней. После каждого броска он на секунду перевертывал лопату, и поток воздуха, стремящийся в топку, разбиваясь о лопату, расходился широким веером, срезая пламя. В эту секунду становилось виднее, что делается в топке, и он присматривался, куда бросать уголь.

Ему никак не удавалось топить враструску. Ему всюду мерещились прогары, и он швырял туда уголь, ложившийся кучками, как мокрая глина.

Обдаваемый жаром, обливаясь потом, швырял одну лопату за другой, пока не услышал окрик машиниста:

- Вприхлопку давай, вприхлопку!

Виктор в изнеможении стукнул дверцами. Да, так долго нельзя держать их открытыми. Взглянул на манометр. Где стрелка? Он слишком долго бросал уголь, охлаждая топку, значит, давление должно еще больше упасть.

После яркого пламени рябило в глазах и ничего не было видно. Он извлек из-под своего сиденья чайник, жадно прильнул к носику, глотая холодную воду и боязливо поглядывая на манометр. Глаза привыкли к темноте, и он увидел стрелку. Мучительно заныло сердце:

одиннадцать атмосфер вместо двенадцати!

В ту же секунду раздался характерный щелчок: машинист закачал воду на свой инжектор. Сейчас она идет в котел. Холодная вода - в кипящий котел. Значит, пар еще больше сядет.

Взглянул на водомерное стекло. Да, механик прав, надо качать воду, иначе потом не наверстать упущенного.

Виктор плюхнулся на свое сиденье, высунулся в окно, все еще тяжело дыша открытым ртом. Ветер охлаждал разгоряченную грудь. Но сидеть нельзя. Поезд идет на подъем, значит, надо подбрасывать уголь каждые полторы-две минуты. Да, надо топить вприхлопку, хотя это трудно.

Теперь самый страшный враг - холодный воздух.

Откроешь топку, и он врывается туда, охлаждая потолок, стены, трубы. Надо не пускать воздух в топку.

Вполне достаточно той порции, что идет через поддувало.

- Давай! - бросил он кочегару и взялся за лопату.

Лопата с силой вонзается в угольный лоток, она уже полная, и он размахивается ею в закрытые дверцы.

Еще доля секунды - и она ударится о чугунные плиты.

Но именно в эту долю секунды кочегар рванет рукоятку и дверцы раздвинутся.

Он стоит посередине будки, широко расставив ноги.

Слева топка, справа угольный лоток. Левая нога - на паровозной площадке, правая - на тендерной. Между ними изогнутая металлическая плита, как между пассажирскими вагонами. И так же "играет" эта плита.

Положение Виктора шаткое, неустойчивое, и уголь летит не туда, куда надо. В одно и то же место он с яростью бросает несколько лопат.

Бросок лопаты - удар захлопываемой дверцы. Бросок - удар! Бросок удар! Бросок - удар! Еще лопату, еще вон в то место, и вот здесь, кажется, прогар.

Еще последнюю..,. Но сил уже нет.

И снова холодная вода из чайника полощет горло, порывы ветра охлаждают грудь. Снова боязливые взгляды на стрелку, на водомерное стекло. Уже десять атмосфер - и только четверть стекла воды. Она приближается к указателю "Наинизший уровень". Но фактически ее еще меньше. Поезд идет на подъем, и она собралась над потолком топки. Как только машина начнет спускаться с уклона, вода убежит в переднюю часть котла, потолок оголится, расплавятся пробки.

- Воду! - кричит машинист, и Виктор приподнимает рукоятку инжектора: снова холодная вода сгонит пар.

Каждые полторы-две минуты подбрасывает в топку и качает воду. Он больше не вытирает пот. Только облизывает пересохшие губы, механически глотая смоченную соленым потом угольную пыль, а глаза прикованы к манометру и водомерному стеклу. Пара все меньше и меньше. Кричит, проклинает помощника машинист.

Ччч-ах! ччч-ах! ччч-ах! - ухают выхлопы. Это уже не отдышка. Это предсмертные стоны.

Любой машинист взялся бы за лопату, помог бы молодому помощнику. Но этот и рад бы, но сам знал только нефтяное отопление. Он лишь без толку то и дело заглядывал в топку, разводил руками, беспомощно метался по будке.

Виктор без конца швыряет в топку уголь и каждый раз, обессиленный, бросается на свое сиденье к окну, жадно глотая воздух. Теперь почти все повороты пути, все кривые загнуты в его сторону. Машинисту не видны сигналы, и Виктор обязан особенно зорко следить за ними. Но его ослепленные глаза ничего не видят. Он вглядывается вперед. Он ищет семафор. Уже четыре станции проехали без остановки. Скоро опять станция.

Надо искать сигнал.

И он увидел огонек входного семафора. Предательский зеленый огонек. Значит, разрешается въехать на станцию. Всматривается дальше, за границу станции.

Там должен показаться огонь выходного сигнала.

Как жаждал увидеть он красный свет, перед которым надо остановиться. Спасительный красный свет!

Можно будет спокойно заправить топку, накачать три четверти стекла воды. Можно будет, наконец, перевести дух...

Должен же быть когда-нибудь красный свет! Куда их так безостановочно гонят? Ведь существует старшинство поездов. Курьерские и пассажирские пропускают в первую очередь.

Виктор находит, какое место по старшинству занимает их поезд. Восьмое. Неужели же ни один из старших поездов их не догнал? Тогда бы они встали на запасный путь и с полчасика подождали, пока тот пройдет.

Виктору невдомек, что график движения поездов и составляется в зависимости от старшинства поездов, и если расписание не нарушено, то и курьерский не догонит ни одного грузового.

Он мысленно ищет новых возможностей остановки.

Могли бы подержать, например, у входного семафора. Ведь часто бывает так, что некуда принимать. Могли бы, наконец, остановить, чтобы выдать предупреждение: на таком-то километре ехать со скоростью не выше пятнадцати километров. Впрочем, предупреждение могут дать и с ходу, не останавливая поезда, как передают жезл. Ну, пусть хоть букса бы загорелась в вагоне. Тогда придется постоять, пока она остынет, потом тихонько доехать до станции и отцепить больной вагон. Да мало ли поводов для того, чтобы хоть немного посюягь. А их все гонят и гонят...

Он всматривается вперед, он ищет красный свет выходного сигнала. И видит: ярко лучась, горит зеленый огонь. Значит, опять на проход, стаять без остановки. Покачиваясь, идет к лотку, лопата врезается в уголь.

Бросок - удар, бросок - удар... И снова ослепленными глазами ищет красный свет...

ЧТО ТЫ НАТВОРИЛ?

Почти с пустым водомерным стеклом, при давлении в девять атмосфер дотянулись до станции, где предсюяло брать воду. Здесь стоянка двадцать минут. Уже перекрыт регулятор, и машинист притормаживает у водоразборной колонки. Кочегар, спрыгнув вниз, подводит ее хобот к тендеру и громко кричит:

- Ха-ро-о-ош!

Резко шипит воздух, выходя из тормозных приборов.

Виктор чуть-чуть открывает сифон, чтобы дым не шел в будку, и раздвигает дверцы топки. Но что тут творится? Будто прошел ураган. В одних местах навалены горы угля, в других прогары до самой колосниковой решетки. То там, то здесь вспыхивают синие язычки от шлака. Откуда же взяться пару?

Он достает из тендера резак - толстенный железный стержень длиною в два его роста с загнутым плоским концом. Это паровозная кочерга. Пробивает слой угля до колосниковой решетки. Теперь резак скользит по ней вперед, ломая спекшиеся глыбы шлака. Он делает три такие дорожки, открывая доступ воздуху из поддувала. Огонь сразу ожил, и Виктор заулыбался.

Эх, Витя, Витя, что ты натворил?

Мокрая рубаха плотно облегает тело. От жаркого пламени пот с одежды испаряется, и пары уносит в топку. Но новые струи увлажняют ее, а огонь сушит. Мокрой остается только спина. Спереди рубаха коробится, на ней остаются белые неровные полосы соли. Витя сдувает пот с верхней губы, облизывается, часто моргает и стряхивает струи с лица.

Он отбрасывает на тендер резак и достает скребок - инструмент, похожий на тяпку, с такой же, как у резака, длинной железной рукояткой. Скребок качает его из стороны в сторону, но, к счастью, никто этого не видит: машинист внизу осматривает машчч/, а кочегар стоит на тендере, наблюдая, чтобы вода на пошлт через край.

Виктор разравнивает уголь и до отказа открывает сифон: пусть сильнее будет тяга. 1еперь в топкэ гудит, идет парообразование, но пар не расходуется. Виктор хватает ключи, масленку, факел и быстро спускаете т вниз. Надо успеть добавить мазута хотя бы в горшневые и центровые подшипники, посмотреть, на греются ли они. Остальное проверит на следующей остановке.

Несколько раз вскакивает наверх, чтобы подбросить в топку и подкачать воду. Черными от угля и мазута руками вытирает пот с лица. На душе немного легче.

Пар поднимается, прибавилось воды. Просто радостно стало, когда на слова подошедшего главного: "Поехали, механик!" - тот ответил: "Сейчас, дорогой, чуть-чуть парку поднагоним". Значит, он не поедет, пока не будет двенадцати атмосфер и достаточного количества воды в котле.

Но вскоре прибежал сам дежурный и закричал:

- Механик, вы уже опоздали против графика на сорок минут. Диспетчер сказал, если сейчас же не поедете, отставит вас до утра, пока не пройдет основной поток.

- А я готов, - отвечает машинист и медленно поднимается в будку. Дает протяжный сигнал отправления, но трогаться с места не торопится. Он выгадывает время. Пусть побольше будет пару. Подумав немного, дает два коротких свистка. Это сигнал поездной прислуге - оттормозить. Сигнал ему фактически не нужен. Все для того, чтобы выгадать еще несколько минут.

Виктор радуется. Ему кажется, что теперь все будет хорошо. Но как только выехали, давление начало падать катастрофически. Он взглянул в топку - и обомлел. Вся поверхность угля покрылась синими язычками. Они прыгали, подмаргивали ему, переливались разными цветами, плыли. Кончики их становились зеленоватыми, потом появлялся голубой оттенок. Они очень красивы, эти страшные огоньки зашлакованной топки. Не знал он, что эти язычки породил сам в ту минуту, когда взялся за резак. Шлак, который он перемешал с углем, расплавился и, как стекло, залил колоснкковую решетку. Теперь никакого пара не будет, пока не почистят топку.

Он бросил несколько лопат угля и вскоре открыл дверцы.

Топливо пересыхало, обугливалось и, лишенное кислорода, не сгоревшее, улетало в трубы.

Он снова проходит резаком по всей колосниковой решетке. Появляется красно-белое пламя, но это ненадолго. Шлак, поднятый наверх, опять расплавится, зальет колосники. Виктор понимает: это все! Дальше ехать нельзя.

С опустошенной душой и подавленной волей смотрит на манометр. Стрелка мелко дрожит и ползет, ползет вниз. Он злится на эту проклятую стрелку. Он не знает, что делать. Ему уже все равно. Никаких сил больше нет. Пусть бы сказал кто-нибудь, что делать, и он не сдался бы. Он может бороться, пока не умрет.

Но как бороться?

Виктор не отрывает глаз от манометра. Слышит крик машиниста, но не понимает слов. И не старается их понять. Все кончено.

...Стрелка, стрелочка, дорогая, ну что же ты? За что ты меня, а? Молчишь, стрелочка? Дрожишь, и как вор, крадешься, ползешь вниз. Ну, ползи! Ползи, подлая!

Можешь врезаться мне в самое сердце. Можешь повернуться там. Больнее не будет. Эх, стрелка, стрелочка...

А вода? Ее тоже все меньше и меньше. Тоже подлая!.. Вот она, стихия, покоренная им!

Но что же он стоит? Ведь проехали только половину пути. Машинист орет, угрожая сбросить с паровоза.

Конечно, так и надо сделать. Его столкнут и вслед бросят сундучок. Поезд умчится, а он будет лежать.

Он поднимется и уйдет куда-нибудь далеко-далеко.

А сундучок не бросит. Сундучок еще пригодится.

Чччч-ах! чччч-ах! чччччч-ах! - бухают выхлопы, готовые вырвать и унести в трубу всю топку вместе с колосниковой решеткой. Четверть оборота колеса - выхлоп Колеса вращаются медленно, они едва движутся, и нет сил стерпеть муку, с какой выдавливается каждый выхлоп. Он так же мучительно и гулко отдается в сердце, тоже готовом вырваться.

И вдруг с бешеной скоростью завертелись колеса.

Завертелись на одном месте, не в силах тащить состав, будто точилом шлифуя рельсы, спиливая бандажи.

И выхлопы неслись каждые четверть оборота сумасшедше вертящихся колес, сливаясь, будто пулеметная дробь: ча-ча-ча-ча-ча-ча...

Из топки вырвало и вынесло в трубу обугленную массу. Густые клубы поднялись к небу и черным градом застучали по обшивке, завихрились в будку едкой пылью.

Машинист перекрыл пар, и буксование прекратилось. Но и так небольшая скорость еще уменьшилась.

Левой рукой машинист медленно открывает регулятор, снова пуская пар в цилиндры, а правую держит на рукоятке песочницы. Снова тяжело бухают выхлопы, и снова неудержимая гонка колес, пулеметная дробь и черный град.

- Песок, песок лопатами! - в отчаянии кричит машинист. То ли трубки песочницы засорились, то ли он уже вообще ни во что не верит.

Помощник и кочегар, схватив лопаты, бросаются вниз. Они бегут слева и справа от паровоза и впереди него и швыряют на рельсы песок с путей. До перевала осталось не больше тридцати метров. Дальше уклон.

Это спасение. Но надо еще вытянуть эти тридцать метров. А если нет? Если встанет? Горе тогда. Машинист затормозит состав и даст долгих три гудка для кондукторов. Да они и без сигнала

поймут, что случилось, затянут ручные тормоза, подложат под колеса башмаки и пойдут ограждать поезд. За километр от хвостового вагона поставят красный сигнал, положат петарды.

Как взмыленные, будут биться у топки все трое паровозников, пока не вычистят ее, не нагонят пару.

А дежурный по станции, откуда они недавно выехали, и диспетчер станут без конца звонить на соседнюю станцию и спрашивать:

"Прибыл, наконец, к тебе этот проклятый состав?"

"Нет, не слышно".

"Провалился бы он сквозь землю, хоть путь освободил бы!"

А поезда будут идти и идти, скапливаться на станции, пока не забьют все пути, кроме главного.

Но, нагнав и полное давление пара, машинист не сможет тронуться с места на подъеме. Состав расцепят посередине, и главный кондуктор отправит половину поезда. Потом вместе с паровозом вернется за второй половиной.

А поезда все будут накапливаться, стоять. Но пассажирские держать нельзя, их отправят по неправильному, по левому пути. По этому единственному свободному пути успеют проходить попеременно в обе стороны только пассажирские. А грузовые начнут скапливаться и с противоположной стороны. И все, от стрелочника до начальника отделения, будут проклинать машиниста. И ветер будет развевать полотнище с надписью:

"Ни на минуту не задержим грузов пятилетки".

Вся эта картина промелькнула в голове Виктора, и его охватил ужас. Он с яростью швырял песок на рельсы, поглядывая вперед. Вот уже осталось метров пятнадцать, двенадцать, десять...

Буксование, наконец, прекратилось, поезд пошел ровнее С трясущимися руками Виктор поднялся на паровоз Но впереди снова два зеленых сигнала: входной и выходной. Значит, опять пускают на проход.

Виктор смотрит на машиниста. Что же он собирается делать? Ведь пару только восемь атмосфер. Проезжая мимо дежурного по станции, который встречал с белым огнем в знак того, что можно ехать дальше, машинист дал три коротких сигнала: остановка.

- В чем дело, механик? - крикнул дежурный.

- Топку будем чистить, - мрачно ответил машинист.

И вот поезд стоит. Кочегар подтягивает с тендера резак, скребок и огромную лопату.

Чистка топки - тонкое дело и входит в обязанности помощника. Виктор открывает дверцы и берется за резак, хотя силы покидают его.

- Давай я, - говорит кочегар тихо, - я умею.

Виктор в нерешительности. Но из этого состояния его выводит механик.

- Машину смотри! - кричит он злобно. - Без тебя почистим!

Помощник еще минуту продолжает стоять, а кочегар уже сует резак в топку.

Захватив ключи и масленку, Виктор зажигает факел и спускается вниз. Значит, его отстранили: один из жалости, другой из недоверия. Горькая обида подступает к горлу. Но на кого обижаться?

Кочегар сгребает жар к передней стене, к самым трубам, и очищает от шлака середину. Работает очень быстро.

Топка сильно охлаждается, а в котле пар и бурлящая вода. Могут потечь трубы или связи. Он торопится, на нем намокла одежда, пот струится с лица, но ему не до этого. На очищенные от шлака места подгребает жар.

Шлаком уже забито все поддувало. Его тоже надо чистить. Это обязанность кочегара. Обычно помощник чистит топку, а потом кочегар скребком выгребает из поддувала. Но сейчас машинист, сбросив вниз скребок, кричит:

- Эй, выгребай поддувало, да поживей!

Окрик звучит оскорбительно, но делать нечего. Виктор молча берет скребЧж и сует в поддувало. Мимо него, видимо, возвращаясь с гулянья, шумно идут трое ребят. Ну и пусть гуляют. Ему надо выгребать горячий вонючий шлак, от которого даже на воздухе угорают.

Он может совсем отбросить скребок и грести голыми руками...

Спустя полчаса на колосниковой решетке ярко горел ровный слой угля, раздуваемый сифоном. Закончив свои дела, Виктор поднялся, взял лопату, чтобы подбросить.

- Не тронь! - заревел машинист. - Уходи с левого крыла, топить будет кочегар.

- Да нет, теперь хорошо, он справится, - смущенно забормотал кочегар.

- Видели, как он справлялся, с меня хватит! - зло ответил механик, и кочегар умолк.

В депо приехали в одиннадцать часов утра.

Сейчас Виктор больше всего боялся, как бы знакомые не увидели за левым крылом кочегара. Ему было стыдно.

Стояла хорошая солнечная погода, и его это раздражало. Ему хотелось бы идти домой ночью или в дождь, чтобы никому не попадаться на глаза. Будь он хоть без сундучка и без этих блестящих пуговиц, еще ничего, а сейчас чувствовал себя как в чужой одежде, будто чужую славу присвоил. А тут еще кочегару

оказалось по пути с ним, и тот шагал рядом. Оба молчали. Как назло, один за другим попадались знакомые.

"Привет, Витя!", "Здорово, механик!", "Поздравляю, Витя!" - только и слышалось со всех сторон.

Молодой слесарь, с которым Витя вместе учился, узнал его, когда уже прошел мимо, и на ходу спросил!

- Как съездил, Витька?

Не успел Виктор и рта раскрыть, а на помощь ему пришел кочегар.

- Здорово съездили, хорошо! С него причитав!сл - И кивнул на Виктора.

Но это уже было совсем невмоготу.

- Плохо съездил, завалился! - крикнул он вдогонку слесарю.

А тот по-своему понял эти слова, обернулся и, погрозив пальцем, сказал:

- Это ты брось, не отвертишься, все равно стребуем.

Виктор шел, глядя далеко вперед, чтобы заранее увидеть врага. А врагом теперь казался каждый знакомый

Вскоре он заметил идущую навстречу уборщицу общежития. Он знал ее как надоедливую и болтливую женщину. Уж она наверняка остановит, начнет расспрашивать. Но, на счастье, кочегар стал прощаться.

Ему надо было перейти на противоположный тротуар и свернуть в сторону. Воспользовавшись этим, Виктор сказал.

- Пожалуй, и я пойду по той стороне, там идти удобнее - тротуар лучше. - И он направился вслед за своим спутником.

Но когда судьба издевается над человеком, жалости в ней нет. Она бьет, пока человек не упадет, потом бьет лежачего, бьет обессиленного, и чем меньше он сопротивляется, тем сильнее ее удары.

Не успел Виктор ступить на тротуар, как из-за угла показалась Маша. Эта девушка работала на материальном складе, куда он заглядывал не только по делу. Когда лишь мечтал о паровозе, именно ее хотелось ему встретить после первой же поездки. Но сейчас!.. Уж пусть бы лучше он не переходил на эту сторону, пусть бы хоть час терзала его болтливая уборщица, но только бы не встретить Машу.

Остановиться у него не хватило сил. Растерянно поздоровавшись, он неестественно быстро прошмыгнул мимо.

К вечеру у Виктора начался жар. Врач выписал лекарство, велел потеплее укрыться на ночь и дал бюллегень на три дня.

То-ю посмеются над ним в нарядной. Машинист, конечно рассказал, как он съездил, а то, что сказано в нарядной, распространяется быстрее звука. И уж ни один машинист не

согласится его взять.

Наутро ему стало лучше, но вставать не хотелось.

Он лежал лицом к стене и думал. Думал только об одном: как быть дальше? С паровоза он не уйдет. Но и позориться так больше невозможно и подводить машиниста нельзя. Впрочем, ведь его и не возьмет никто. Интересно, как ездят другие2 Он обернулся и, убедившись, что в комнате никого нет, быстро оделся и вышел Температура еще не совсем спала, его немного мутило, кружилась голова.

Виктор шел в сторону депо, ни от кого не прячась, поглощенный своими мыслями. И когда увидел шедшего навстречу старого машиниста-наставника, которому сдавал экзамены, спокойно отметил про себя: этот уже все, конечно, знает, а ведь он не любит молодых помощников. Наверно, торжествует сейчас.

И как ни странно, его не испугал предстоящий разговор, хотя он понимал, что разговор будет неприятный.

Уже первые слова наставника подтвердили опасения Виктора.

- Ну что, герой, - иронически сказал наставник, когда они поравнялись, - завалился? Расскажи-ка!

Виктор молчал. Ничего больше не говорил и старик.

Виктору приходилось не раз бывать на собраниях, он знал, как достается бракоделам, и ему хотелось, чтобы наставник уж поскорей выругал его и отпустил.

Молчание становилось невмоготу, и он спросил:

- Рассказать, что произошло?

- Что произошло, я тебе расскажу! - неожиданно резко ответил наставник. - Ничего не произошло.

Понял? Ничего!

Теперь уж действительно Виктор ничего не мог понять. А тот продолжал:

- В каждом деле всегда разобраться надо. Понял?

- Понял, - с готовностью ответил Виктор.

- Так вот, падать духом тебе рано. Почему? А вот Почему. Уголь вам дали один тощий, шлакующийся, надо бы немного жирного подкинуть. Это раз. Теперь.

Машинист не очень в топке углем разбирается. Это два. Так? Да к тому же паровоз ваш последний рейс перед капитальным делал. Там только накипи на трубах с палец толщиной. Это три. Значит, зови хоть самого Стефенсона или обоих Черепановых, пару не будет.

Виктор ушам своим не верил. И хотя старался спрятать радость, но лицо расплывалось в улыбке. Наставник не смотрел на него и продолжал:

- Только и радоваться тебе нет причин. Главное все-таки в том, что топить ты не умеешь. Это четыре.

Но с первого раза и никто не умеет. Понял? Научишься. Машину ты знаешь хорошо, а это главное.

...Вихтора назначили на маленький парозов ОВ, работавший на ветке. Она соединяла несколько леспромхозов со станцией Чулымская.

Работая на маленьком паровозе, Дубравин прежде всего учился топить. Узнал характер и повадки всех марок и видов топлива: жирного, тощего, длиннопламенного, шлакующегося, коксующегося... Узнал, что одни угли надо хорошо смачивать, другие надо лишь опрыскивать, а третьи вообще не переносят воду. Он видел, к какому топливу нельзя прикасаться резаком, а какое, наоборот, не будет гореть, если его не взрыхлять.

Теперь открывал шуровку уверенно, как настоящий хозяин паровоза. Он видел все, что делается на каждом сантиметре колосниковой решетки. Понял, что значит наиболее выгодный режим огня. Уголь у него ложился тончайшим слоем по всей поверхности и раскалялся в несколько мгновений.

Он виртуозно овладел узкой и длинной лопатой на короткой рукоятке, лопатой паровозника. Казалось, каждый крошечный уголек летел именно в то место, которое предназначал для него Виктор.

Вскоре Виктор Дубравин выехал с ветки на главную линию Великой транссибирской магистрали и пересел на мощный товарный паровоз.

Теперь каждая поездка приносила радость. Радость больших скоростей. Он возненавидел красный сигнал семафора, сигнал остановки.

Виктор все чаще поглядывал на правое крыло, все внимательнее присматривался к действиям механика.

Машинист многому научил своего помощника и время от времени уступал ему место за правым крылом. Пока Виктор вел поезд, механик стоял рядом, чтобы мгноренно предупредить малейшее неверное действие.

Виктор познал устройство и ремонт паровоза. Но для того, чтобы стать машинистом, этого было мало.

Предстояло изучить более тысячи различных правил, положений, законов, норм, размеров, сигналов. Все это тоже одолел Дубравин.

Теперь он смог бы управлять паровозом. Но только паровозом, без поезда. А машинист, естественно, должен водить составы. Это тоже целая наука. Не освоив ее, человек не сможет стронуть поезд с места, не подтянет его к колонке, обязательно

разорвет на первом же перегоне.

Ведь вагоны не стоят вплотную друг к другу, как книги на полке. Состав сжимается и разжимается наподобие гармошки или звеньев цепи. Вагоны могут толкать друг друга. Да кому не знакома эта картина ка станциях, когда вдруг загромыхает, залязгает состав, и вагоны, каждый в отдельности, тычутся взад и вперед, и не поймешь, в какую сторону пойдет поезд? Даже сидя в пассажирском вагоне, можно ощущать эти толчки в противоположные стороны.

Так вот, вести состав, в котором каждый вагон действует "самостоятельно", нелегко. Уметь хорошо стронуть с места тяжеловесный состав - тоже искусство, особенно зимой. И все-таки пришло время, когда Виктор решил сдавать экзамен на машиниста. Испытание тяжелое. Те, кто выдает права управления паровозом, скидок не делают.

Четыре дня его экзаменовала деповская комиссия.

Когда ему сообщили, что на все семьдесят три вопроса он ответил хорошо, это означало, что окончился первый подготовительный этап испытаний и ему предоставляется право на пробную поездку.

Дубравин вместе с машинистом-наставником пришел на первый подготовленный к отправке поезд, на чужой паровоз и встал за правое крыло. Наставник молча наблюдал за каждым движением будущего механика: как тот осматривает паровоз, что говорит помощнику, как готовится к отправлению. Так же молча следил за движением рук Дубравина, когда тот трогал с места поезд, преодолевал подъем, спускался с уклона, тормозил, Он следил за глазами машиниста, чтобы определить, когда тот начинает искать световой сигнал, правильно ли пользуется приборами, не нервничает ли.

Наставник, на которого ложилась ответственность за любое происшествие в этом рейсе, ни разу не вмешался в действия Дубравина, не сделал ему ни одного замечания. Пробная поездка прошла отлично. Это означало, что он получил право предстать перед экзаменационной комиссией Барабинского района. И здесь он отвечал на множество вопросов, и испытания прошли хорошо

Так закончились все подготовительные этапы, и Виктор получил командировку в Омск, в управление дороги, где и предстоял настоящий экзамен.

ПИДЖАК, ПРАВЫЙ НАРУЖНЫЙ...

В управление прибыл днем, когда испытания уже шли полным ходом. Человек, отметивший ему командировку, велел явиться на следующее утро. От нечего делать Виктор решил побродить по городу, а заодно заглянуть в технический кабинет,

посмотреть, как сдают люди из других депо.

Экзамены на железных дорогах распространены как нигде. Ежегодно каждый рабочий, служащий, инженер, начиная от сторожа до министра, сдают Правила технической эксплуатации и должностные инструкции.

Кроме того, непрерывно идут испытания на более высокую квалификацию. Кочегары сдают на помощников, помощники на машинистов, машинисты четвертого класса постепенно добиваются третьего, второго, первого. Вокзальные уборщицы экзаменуются на стрелочнич, стрелочницы на операторов, операторы на дежурных по станции - и так в любой службе.

Казалось бы, люди могли привыкнуть к экзаменам, относиться к ним спокойно. Но ведь любой, сдающий испытания, сколько бы лет ему ни было, всегда становится школьником. Поэтому никого и не удивляет, что порой убеленный сединами старик, боязливо озираясь по сторонам, сует кому-то шпаргалку, или солидный начальник со звездами на петлицах украдкой листает под столом учебник.

В коридоре перед техническим кабинетом, куда пришел Виктор, было людно и шумно, как в вузе во время сессии. Кто-то заглядывал в щелку чуть-чуть приоткрытой двери, кто-то нервно и быстро листал записи в последний раз перед тем, как идти отвечать, кого-то уже вызвали, и он, подбежав к урне, часто-часто засосал папиросу, не в силах оторваться от нее. Счастливчики, уже сдавшие экзамены, делились своими впечатлениями.

Особенно шумно было возле какого-то парня, который сильно жестикулировал. Его голос слышался по всему коридору. Еще издали Виктор узнал в нем Владимира Чеботарева.

- А что вы смеетесь? - продолжал тот. - Я вам верно говорю: идешь на экзамен - надевай жилет!

Я потом разъясню, зачем он, а сейчас не перебивай. Так вот, я и говорю, самое главное - расположить к себе комиссию. Это совсем плевое дело, если психологию людей понимать. Ведь они, бедняги, сидят целыми днями, и все время перед ними измученные, перепуганные, страдающие люди. И сами они должны быть грустными, озабоченными и серьезными. А им давно все опостылело вот аж до каких пор, - резанул он ладонью по шее. - Им бы поболтать, развлечься хоть немного, а нельзя. Другой вспомнит что-нибудь смешное и даже улыбнуться не имеет права. Значит, понимать это надо, сочувствовать людям, разрядку им дать. Я как зашел, как глянул на их тоскливые лица, мне аж жалко стало:

сидят, бедные, друг перед другом, да и перед нами марку держат. Ну, глянул я и говорю: "Ух, видно, жарко мне будет,

разрешите для начала холодной водички напиться, а то потом руки дрожать будут". Так, верите, минут пять все смеялись. Они в таком безвыходном положении, что им любую глупость скажи, все равно засмеются. И не от того, что ты скажешь. Кто на законном основании про свои дела будет смеяться, кто просто засиделся и с полным правом на стуле повертится, разомнется. Им ведь и минутная передышка дорога.

А мне все равно, главное - уже людей к себе расположил, на свою сторону поставил, и у них пропал интерес меня сыпать.

- Ну, а если ты все-таки ничего не знаешь? - спросил кто-то.

- А ты не забегай вперед, все поясню, - отрезал рассказчик. - Ну вот, продолжал он, - дадут тебе, например, "Устройство крана машиниста системы Казанцева" и скажут, чтобы посидел, подумал, подготовился. А что ж готовиться, когда на охоту идти? У хорошего хозяина должно быть заранее все приготовлено. Значит, садишься и смотришь на руку под столом. - И он показал исписанную химическим карандашом ладонь левой руки. - Тут оглавление, видите, тринадцать глав, по числу моих карманов. В них шпаргалки по всему паровозу. Значит, и ищи то, что надо. Кран машиниста надо, вот иши тормоза. Против них, - он провел пальцем вдоль ладони стоит "ЖЛН", значит - "жилетный, левый нижний". Ну, лезу в указанный жилетный карман...

Все грохнули от смеха.

- А ну, перестаньте смеяться! - притворно рассердился он, но тут же продолжал: - Спросят тебя, скажем, паровую машину, ты опять в оглавление. Против паровой машины, видите, стоит "ППН", значит - "пиджак, правый наружный", ну и так далее. К следующему экзамену я себе френч сошью, чтоб больше карманов было, и на штанах второй задний карман прорежу.

Все слушали, улыбаясь, а он, поощряемый общим вниманием, с еще большим жаром выкладывал свои секреты.

- Самое главное, - говорил он, - чтоб комиссия не поняла, когда ты в тупик зашел. Иной обрадуется легкому вопросу, важности на себя напустит, как индюк, и отвечает, будто профессор, а на второй вопрос - тырпыр, тыр-пыр, и вся спесь пропала. И веры в него больше нет. Рядом со мной сдавал один, так сначала он не говорил, а изрекал, солидно так, знаете, басом: "карркарр-карр", потом слышу, уже чирикает - "чирик-чирик-чирик", а дальше только - "тютя-тютя-тютя", едва бормочет.

Самое страшное дать себя забить! Задали тебе вопрос, на который не знаешь ответа, делай вид, будто самого вопроса не понял, переспрашивай хоть десять раз, они и начнут перебивать друг друга, стараясь попроще объяснить вопрос, а ты пытай их без жалости, пытай до тех пор, пока не проговорятся. Обязательно

кто-нибудь проговорится. А уловил ответ, улыбнись так удивленно - ах, вот, мол, о чем вы толкуете, так это же совсем просто. И отвечай так, чтоб рельсы гудели.

Но не всегда надо так! - быстро проговорил он, будто спохватившись. Вот задают тебе вопрос: "Какое давление воздуха должно быть в магистрали, чтобы тормоза считались подготовленными к действию?" Ну, другой хотя и не знает, но для важности выпалит, как пулемет: "Для того чтобы тормоза считались подготовленными к действию, давление воздуха в магистрали должно быть..." и осекся, будто на скаку перед тобой яма выросла. И никто не подскажет. А надо заставить комиссию подсказать, надо ее измором взять.

- Да как же ты ее изморишь? - рассмеялся сосед Виктора.

- А очень просто. Отвечай так: "Для того чтобы тормоза..." - и замолчи, вроде слово забыл. Тебе по закону сейчас же кто-нибудь из комиссии подскажет:

"...считались...", а ты подхватывай: "...считались подготовленными к действию, давление в..." - и снова замолчи. И опять тебе подскажут: "...магистрали...", значит, твоя очередь продолжать: "...в магистрали должно быть..." Ну, уж тут обязательно, у кого нервы послабей, ляпнут: "пять.,.", а ты только добавишь: "...атмосфер". Если будешь так тянуть, они все время норовят подсказать тебе, как здоровый человек заике.

- Ну, а если никто не подскажет? - не выдержал Виктор.

- Витька, ты?! - удивился Чеботарев. - Ну, слушай, ума набирайся. Если никто не подскажет, все равно выход есть! Тут уж на крайние меры иди: попробуй сообразить сам. Трудно это, конечно, но не скажешь же ты "двадцать атмосфер". Допустим, скажешь "четыре". По лицам видишь, что не попал, и сразу перестраивайся. "Хотя точно не помню, говори, - ведь человеческая память не совершенна". Тут все и рассмеются.

А ты лицо такое невинное делай, мол, и с вами может случиться, на другие-то вопросы я хорошо отвечаю.

Значит, снова разрядку дал и в честные люди вышел:

забыл человек, так прямо и говорит, не мудрствуя. Или вот еще...

Но в это время раскрылась дверь техкабинета, и секретарь комиссии вызвал очередного экзаменующегося. На вызов никто не откликнулся. Секретарь повторил фамилию и, не получив ответа, назвал следующего кандидата. И опять то же самое. Все молчали.

И вдруг Виктор почувствовал, как холодная волна прокатилась от груди к ногам и снова поднялась вверх.

И прежде чем выкристаллизовалась неясно промелькнувшая

мысль, он выпалил:

- Разрешите мне?

- Откуда? - сухо спросил секретарь.

- Из Барабинска. Виктор Дубравин.

В большой комнате, увешанной плакатами, схемами, чертежами, загроможденной различными паровозными деталями, оказалось много людей. Четверо экзаменующихся склонились над своими листками и что-то нервно писали, готовясь к ответам, один стоял у доски.

Семь человек восседали за столом экзаменационной комиссии. Лица у них были напряженные, сосредоточенные, хмурые, точно такие, какими их только что описывал в коридоре Владимир. "Эх, рассмешить бы их чем-нибудь, расположить к себе, как советовал тот", - подумал Виктор, но только мысленно махнул рукой и решительно направился к столу председателя.

Сорок минут отвечал Дубравин и вышел с каким-то странным чувством не то облегчения, не то пустоты.

- Ну как? - набросились на него стоявшие у двери.

- Наверно, сдал, - неуверенно сказал Виктор, - вопросы попались легкие, вроде на все ответил.

РАЗЪЕЗД БАНТИК

Права управления паровозом Виктор Дубравин и Владимир Чеботарев получили в один и тот же день.

И на работу их послали в одно и то же депо. Но дружбы между ними не было. Тихий и скромный Виктор недолюбливал Владимира за хвастовство, за то, что где только мог показывал свое превосходство над другими.

Владимир чувствовал холодок в отношениях к нему бывшего беспризорника, но это его не трогало. Он ни с кем не дружил и, казалось, ни в чьей дружбе не нуждался. Паровоз он любил, содержал его в отличном состоянии, легко перекрывал нормы, и его фамилия то и дело появлялась в приказах, где отмечали лучших, и он откровенно любовался своим портретом на Доске почета.

Виктор близко сошелся с Андреем Незыба - начальником крошечного разъезда со странным названием Бантик. К этому названию Андрей имел прямое отношение.

Еще будучи выпускником института инженеров транспорта он проходил практику на комсомольской стройке. От главной магистрали комсомольцы вели ветку через лес, где были обнаружены залежи какого-то важного стратегического сырья, Один из трех разъездов на этой ветке и было поручено строить Андрею. Работа легкая и простая: по готовым чергэжам собрать из готовых щитов маленькое служебное здание, похожее на барак.

- Приезжать сюда мне некогда, - сказал ему начальник участка Бабаев, надеюсь, ты и сам справишься с таким делом, тем более что ребят тебе выделил хороших, работать умеют.

Проект здания Андрею не понравился. Он давно мечтал о самостоятельной работе, ему хотелось создать что-нибудь оригинальное, красивое, даже выдающееся, а тут просто барак. Вечером засел за чертежи. Скачала переделал крышу, потом окна, увлекся и от старого проекта ничего не оставил. Утром показал своей бригаде эскиз рубленого домика, выполненный в красках, и все ахнули.

- Да ведь это же из сказок Андерсена, - восхитился Хоттабыч. Так прозвали здесь единственного старого человека, очень доброго, трудолюбивого и веселого. Он побывал на других комсомольских стройках, и его энергии и жизнерадостности могли позавидовать многие молодые рабочие.

Домик не походил на служебное железнодорожное здание. Никто об этом не думал. Он был красивый. Может быть, поэтому так придирчиво отбирали лес, подгоняли бревна одно к одному, рамы и двери зачищали пемзой, тщательно выкладывали ступеньки. Трудились, забывая покурить, и к сроку соорудили чудо-домик.

Позади него и с боков не срубили ни одного дерева, впереди не разбили скверика и симметричных клумбочек. Пусть все останется, как сотворила природа, в диком лесу.

Выкрашенный масляной краской цвета свежего меда, под красной черепичной крышей, выглядывавший из лесу домик и в самом деле походил на сказочный теремок. Люди смотрели на творение своих рук, искренне удивляясь, как это они сработали такую игрушку. И как раз в это время приехал Бабаев.

Несколько мгновений Бабаев стоял пораженный, глядя на домик, а вся бригада, переполненная радостью, смотрела на Бабаева. Потом он обернулся, ища Андрея.

Тот стоял, скромно опустив глаза, и медленно отделял узенькие ленточки от широкой стружки. Не в силах больше скрыть счастливой улыбки, поднял, наконец, голову.

- Вон отсюда! - заревел Бабаев. - Это... это... - начал он заикаться, не находя нужного слова, - это сумасбродство, ото хулиганство, это черт знает что!..

Девять молодых парней и Хоттабыч растерянно смотрели на Бабаева и на Андрея. Им было стыдно за начальника участка, который так кричит, и обидно за Андрея. Он молча и зло рвал на кусочки стружку поперек волокон. Бабаев продолжал кричать, и все поняли:

сюда едет начальник строительства Тимохин. И

действительно, вскоре у разъезда остановилась его дрезина.

Как и Бабаев, он несколько секунд смотрел на странное сооружение молча.

- Зто что же за бантик такой? - обратился он, наконец, к Бабаеву.

Вид у того был несчастный. Он молчал. Вперед выступил Андрей,

- Это не бантик, товарищ начальник. Это разъезд "Седьмой километр".

Тимохин рассмеялся:

- Откровенно говоря, чудесный домик.

Кто-то предложил объявить Незыбе благодарность.

- Если каждый практикант будет строить то, что ему вздумается... - Он умолк, не закончив фразы.

На следующий день Бабаеву был объявлен выговор, Андрея отстранили от работы. А домик так и остался.

Не ломать же, коль он построен.

Название "Бантик" привилось к разъезду. Иначе его никто и не называл. Когда дорога была сдана, он стал так именоваться во всех официальных документах.

После окончания института Андрея послали на одну из крупных станций. Работа поглощала все его время. Так продолжалось, пока он не поступил в заочную аспирантуру. Совмещать службу с учебой стало трудно. Руководители дороги предложили ему перейти на одну из станций с меньшим объемом работы. Андрей попросился на разъезд Бантик, где оказалось вакантное место.

Движение к тому времени увеличилось: ветку протянули дальше рудников, и она соединила две магистрали. Пассажирские поезда там не останавливались. Да и грузовые чаще веего проносились мимо.

Андрей сошел на станции Матово в пяти километрах от разъезда и пошел пешком. С обеих сторон близко к полотну, как стена, подступал лес. Неожиданно из лесу показались несколько девушек. Они несли нивелир с треногой и рейку. Андрей, которому не терпелось скорее увидеть свой домик, быстро догнал их и безразличным тоном спросил:

- Далеко еще до будки?

- До какой будки? - удивились девушки. - Здесь нет будок.

- Ну, до разъезда, что ли. - В его тоне слышалось явное пренебрежение.

- Хорошенькая будка, - рассмеялась та, что несла рейку.

Перебивая друг друга, девушки стали рассказывать, какой это сказочный домик.

Ему было приятно слушать. Чтобы определить, как вести себя дальше, осторожно спросил, почему разъезду дали такое несолидное название.

- Этого мы не знаем, - последовал ответ.

Андрей хотел было рассказать историю Бантика, но заговорила Валя. Так звали девушку с рейкой.

- Почему дали это название, неизвестно, а кто строил, знаем.

- Кто же? - вырвалось у Андрея.

- Очень хороший человек строил, - убежденно ответила она.

Андрей смутился.

- Построил и уехал, - продолжала она, - и никогда, наверное, не увидит своего разъезда.

- Ну и фантазерка вы! Почему же не увидит? - улыбнулся Андрей. Ему и в самом деле стало смешно. - Вы очень медленно, - неожиданно сказал он и, поблагодарив девушек, размашисто зашагал по шпалам.

Андрей увидел, что все осталось по-прежнему.

И краска такая же, и никаких фигурок с веслами или теннисными ракетками. Он ненавидел эти неестественные серебряные фигуры обязательную принадлежность почти всех станций.

Он стоял, глядя на дом, и радовался. Солнце заходило, но было похоже, что наступает утро. Возможно, от тишины и свежести леса, а может быть, от щебетанья птиц, какое обычно можно услышать только ранним утром.

Тишину нарушил сигнал приближавшегося поезда.

Сняв со стены большое проволочное кольцо на рукоятке, дежурный по разъезду заправил в нее жезл - разрешение машинисту следовать дальше - и вышел на платформу. Свесившись на подножке, помощник машиниста ловко подхватил на руку протянутое кольцо. Дежурный подобрал сброшенный жезл предыдущей станции и направился к себе.

Широко улыбаясь, бежал к нему Андрей.

- Принимать разъезд приехал? - улыбнулся тот, пожимая ему руку. Они вошли в здание и долго беседовали. С радостью узнал Андрей, что здесь в качестве стрелочника работает Хоттабыч. У него и поселился Андрей.

Андрей любил скрипку и хорошо играл. Но присутствие людей его смущало. Он избегал слушателей.

Почти каждый вечер уходил в лес, на свою любимую полянку, и играл.

Иногда приглашал Валю. Она была студенткой техникума, находившегося в Матово, и на разъезде проходила геодезическую практику. Ему было приятно, что Валя любит и понимает музыку.

Все шло хорошо, пока не появился какой-то странный сигнал. Он раздавался через сутки в самые различные часы. Обычно перед разъездом машинисты давали только сигнал бдительности: один короткий гудок и один длинный. Так они предупреждали, что идет поезд, чтобы дежурный вовремя встретил и вручил жезл. Другие сигналы на разъезде и не требовались, хотя существует их множество.

Паровозный язык выразителен. Сочетание коротких и длинных гудков дает возможность машинисту передать поездной бригаде и станционным работникам все необходимое. Каждый сигнал люди знали, точно буквы алфавита. И как не может человек по своей прихоти придумать новую букву, так не придет в голову машинисту изобретать новый сигнал. А это был, бесспорно, новый сигнал: короткий, длинный, два коротких. В служебной инструкции таких нет.

Кроме официально установленного значения, в сигналах есть нечто выработанное самими машинистами в течение десятилетий. И многие сигналы даются не так, как они записаны в инструкции. Даже школьнику из железнодорожного поселка известно, например, что сигнал остановки - это три коротких гудка. Но если он услышит просто три коротких, поймет, что на паровоз забрался новичок. Опытный машинист даст этот сигнал так: "Тут-ту-тууу!" Все три гудка будут разной тональности и продолжительности. Правда, иной раз можно услышать три совершенно одинаковых коротких и нетерпеливых, даже нервных "Ту-ту-ту1", но это будет не просто остановка. Это значит, что машинисту уже в который раз дают сигнал куда-то ехать, а он топку чистит, или еще что-то мешает ему трону! ься с места. И каждый железнодорожник поймет машиниста: "Слышу, слышу, не приставайте, никуда не поеду.

Подойдите сами и все увидите".

А послушайте, как машинист дает тот же сигнал остановки у закрытого семафора перед станцией. Какие там короткие! Целую минуту гремит. И станционные работники поймут его: "Эх вы, зашились, даже на станцию впустить не можете! Из-за вас и пережог топлива и простой паровоза... Вот и выполняй с вами план!.."

Постоит машинист минут десять, снова даст сигнал остановки. Но значение его будет уже другое: "Ну, сколько держать будете? Или хотите, чтобы я начальнику отделения пожаловался?" На станции опять поймут его, бросят в сердцах: "Ори сколько хочешь", а все-таки начнут торопиться, чтобы поскорее избавиться от этого крикуна.

Новый сигнал ни на что не был похож. Сначала не придали

ему значения, но, когда он стал регулярно повторяться, забеспокоились: дорога шла мимо разработок руды и имела специальное назначение.

Вскоре было установлено, что дает сигналы комсомолец Владимир Чеботарев.

Каждый машинист, как и положено, на разъезде снижал скорость. А Владимир будто нарочно несся так, что казалось, вот-вот кувырком полетят вагоны. Стоять с жезловым кольцом близко от несущегося поезда страшновато, а порой и небезопасно.

При очередном рейсе Андрей воткнул под жезл записку, предупредив, что, если в следующий раз скоРОСТЬ не будет снижена, он остановит поезд. Под жезлом, который Владимир сбросил на обратном пути, Андрей нашел ответ: "Если вы не справляетесь с работой, уступите ее другому".

Была у Андрея и более веская причина с неприязнью относиться к Владимиру. Ему часто приходилось бывать на станции Матово. Как-то в ожидании попутной дрезины домой Андрей вместе с Виктором сидели в станционном буфете. Туда же вошла группа паровозников, среди которых был Володя. Продолжая какой-то спор, компания шумно расселась. Разговаривали громко, не обращая внимания на других посетителей. Неожиданно в дверях появилась Валя. Она была в легком ярком платье, стройная, загорелая. Опустив глаза, подошла к буфету. Паровозники умолкли вдруг, проводив ее взглядом. Валя взяла мороженое и села близ буфетной стойки.

- Бот это да-а! - протянул кто-то из паровозников. - К такой не подступишься.

- Подумаешь, невидаль, - с пренебрежением сказал Владимир. - Захочу - в два счета познакомлюсь.

- Пари!

- Пари! - протянул руку Чеботарев.

- Надо подойти к ней, чтобы прекратить эту сцену, - поднялся Андрей. Впрочем, пусть нахал останется в дураках. - И он скова опустился на стул.

Пари состоялось. Условия жесткие: Володя должен сесть за Валин столик и угостить ее фруктовой водой.

Если она охотно примет угощение и будет активно вести разговор, а на прощание подаст руку - значит, знакомство состоялось. Окончательное заключение выносил арбитр, один из компании, в объективность которого все верили.

Ничего зазорного в том, что девушка выпьет стакан воды, предложенный соседом по столику, Андрей не видел. Но он знал: Валя этого не сделает.

Владимир подошел к ней и что-то сказал. Она ответила

небрежным кивком головы, не скрывая недовольства его приходом. Сев напротив, он снова заговорил.

Она продолжала есть мороженое; точно слова его относились не к ней. Потом стала есть быетрее, и Андрей сказал:

- Сейчас уйдет. Как только поднимется, я пойду навстречу.

- Не стоит обращать на себя внимание, - по_оветовал Виктор.

- Верно, - согласился Андрей. - Да и интересно посмотреть, с каким видом он вернется за свой столик.

Там уже хихикают.

Не успел Андрей закончить фразы, как ложечка в руках Вали замерла на полпути. Она взглянула на Владимира и улыбнулась. Сначала едва заметно, потом широко и, наконец, рассмеялась, откинувшись на спичку стула.

Андрею нравилась улыбка Вали и ее смех. Но Виктор видел, что ему стало больно смотреть. А Володя уже демонстративно требовал у официанта воду. Он налил ей и себе, и она, отпив несколько глотков, сама стала что-то рассказывать. Улыбка не сходила с ее лица, и глаза были обращены к Володе.

- Неинтересно смотреть, что делается за чужим столиком, - сказал Андрей, резко поднявшись.

На следующий день, взяв скрипку, он ушел на свою полянку один, хотя должен был зайти за Валей. И вообще он старался не встречаться с ней.

Спустя недели две по дороге домой Андрей остановился у переезда, пропуская пассажирский состав.

Когда промчался последний вагон, Андрей увидел по другую сторону Валю. Она смотрела вслед поезду, провожая его грустным взглядом. Пройти мимо было неловко. Андрей поздоровался. Она ответила рассеянно и, не поворачивая головы, сказала:

- Не могу спокойно смотреть на поезда. Мне кажется, поезд - это всегда судьба. Промчался он, и не догнать его. И будто из жизни что-то ушло. Почемуто жаль себя становится. Окончу техникум, уеду далеко-далеко...

Андрею надо было что-нибудь сказать. Он сказал:

- Это со стороны так кажется. А в поезде все обыденно.

- Все равно судьба, - возразила Валя. - Вот едет человек в Москву, торопится, дни считает, а за окном от него убегают поселки, города, люди... И летит, быть может, от своего счастья все дальше и дальше и никогда не узнает, где проскочил мимо.

Помолчав немного, Валя сказала:

- Почему вы не берете меня больше с собой, когда уходите играть? И почему мы стоим? Проводите меня немного.

Очи пошли. Андрей сослался на занятость, на то, что и сам теперь редко ходит в лес.

Почти у своего дома, без всякой связи с предыдущим, Валя сказала:

- Недавно я очень смешно познакомилась с одним машинистом...

- Знаю, - перебил Андрей. Он сказал, что видел их вместе в буфете, умолчав о пари. Но она заговорила об этом сама. Оказывается, Владимир рассказал ей правду.

- Почему же вы поддержали его в этом... - он замялся, подбирая слова помягче, - в этом не очень красивом пари?

- Потому что душа у него красивая. Открытая, простая, понимаете? Иной бы на его месте на всякие уловки пошел, а он сразу же во всем признался. "Сгоряча, - говорит, - сболтнул, а когда предложили пари, не хватило духу отказаться .. Протягивая руку, я понижал, что глупо все это, что вернусь к столу посрамленный, но назад уже хода не было. Если вы скажете: "Уходи", уйду немедленно". Вид у него был растерянный, наивный, он не мог в глаза смотреть. Мне стало.

Она неожиданно оборвала фразу и забормотала:

- Извините, я забыла... Мне срочно надо вернуться...

Не попрощавшись, быстро пошла назад, в сторону разъезда, и, едва скрывшись за деревьями, побежала.

Андрей видел, как она побежала. В его ушах еще звучал только что раздавшийся сигнал: короткий, длинный, два коротких...

Андрей лег спать поздно. Эта история не выходила из готовы. До случая в буфете он относился к Вале довольно равнодушно. Так, по крайней мере, казалось ему. После странного знакомства девушки с Владимиром Андрей стал чаще думать о ней. А теперь этот сигнал потряс его. Значит, при первой же встрече договорились... Но, может быть, это случайное совпадение?

Возможно, у нее действительно было срочное дело?

Весь следующий день Андрею было не по себе.

А еше через день рассеялись все сомнения. Во время его дежурства где-то далеко раздался этот новый сигнал С тяжелым чувством он вышел на платформу.

Поезда еще не было. Андрей смотрел вдаль, на блестящие рельсы .. Старые сосны ограждали их с обеих сторон, точно гигантские стены. Возле семафора, стоявшего на насыпи, лес отступал в сторону. И именно здесь, на высоком взгорке, появилась вдруг девичья фигурка. Почти одновременно показался поезд. Высунувшись из окна паровозной будки, подавшись вперед всем корпусом, сияющий Владимир кричал ей что-то, энергично жестикулируя, а она приветствовала его, медленно и плавно покачивая рукой.

Андрей видел только фигуру Вали, только ее силуэт, но знал: она улыбается.

С этого дня его не оставляло мучительное, щемящее чувство ожидания. Он ждал гудков. Помимо своей воли он будет знать теперь о каждом свидании Вали и Володи. Он обречен быть незримым участником этих свиданий.

Движение напряженное, густое. Каждые полчаса раздается сигнал бдительности: короткий, длинный.

Он ждал еще двух коротких. Сидя за чертежами, при звуке гудка прекращал работу. Ложась спать, прислушивался.

И Валя ждала сигналов, хотя не условливалась о них, как думал Андрей. Все получилось само собой.

Дня через два после знакомства с Володей, переходя пути возле семафора, она услышала серию гудков...

Отец Вали был машинистом. Она выросла в железнодорожном поселке на станции Матово и хорошо знала паровозный язык. Как и все дети поселка, по звуку определяла, какой паровоз дает сигнал. По гудку могла угадать даже настроение машиниста. Длинный сигнал иногда звучит гордо, победным кличем, а порой похож на жалобу, на плач. Короткий гудок можно дать бесстрастно, как ставят точку в конце фразы. А можно властно, будто восклицательный знак. Паровозный гудок может многое сказать...

В незнакомом сигнале, который она услышала возле семафора, было что-то зовущее, призывное. Валя невольно обернулась. Она увидела в паровозном окне Володю, который радостно махал ей рукой. Спустя несколько часов сигнал повторился. Поняла: он возвращается в свое депо. Это специально для нее дает сигналы.

С тех пор Валя часто слышала эти гудки. Теперь они раздавались далеко от разъезда: он заранее предупреждал о себе. Если в такие минуты она находилась поблизости, обязательно шла к семафору. Валя видела, как радует это Володю. И самой ей было интересно. Их коротенькие и такие оригинальные свидания казались очень романтичными. Постепенно привыкла к ним. Если долго не было сигнала, начинала беспокоиться.

Шли дни. Два человека жили на разъезде в ожидании сигнала, тщательно скрывая это друг от друга.

Встречались теперь редко.

В очередное дежурство Андрея день был пасмурный. Около шести часов диспетчер передал по селектору:

- К вам идет шестьсот первый. Поставьте на запасный путь. Сначала пропустим пассажирский и два порожняка.

- Понято! - ответил Андрей, и, позвонив стрелочнику, передал

распоряжение диспетчера.

А через несколько минут раздался сигнал: короткий, длинный, два коротких.

Андрей пошел встречать поезд. С какой радостью отказался бы он от этой неизбежной служебной обязанности. Он старался не смотреть в сторону входного семафора. Он знал: она там. У него хватило воли на несколько секунд. Бросил взгляд на стрелку: переведена ли на запасный путь - и медленно, с затаенной надеждой повернул голову к семафору... Как ей не стыдно! Будто на посту. Стоит ждет.

Поезд приближался. Андрей развернул красный флажок: никуда теперь не уедет Чеботарев часа полтора, пока не пройдут пассажирский и два порожняка.

Доложив диспетчеру о прибытии шестьсот первого, Андрей посмотрел в окно. Он увидел Чеботарева, бегущего к семафору. Навстречу ему шла Валя...

Андрей встречал и провожал поезда. Механически повертывал рукоятку жезлового аппарата, механически извлекал и передавал машинистам жезлы. Точно автомат, принимал распоряжения диспетчера и докладывал о движении поездов. Он все делал правильно и бездумно.

Неожиданно и очень громко раздались в селекторе слова диспетчера:

- Можете отправлять шестьсот первый.

Казалось, только теперь он начал волноваться. Состояние, как перед катастрофой. Он взглянул на циферблат. Час сорок минут они были вдвоем... Зачем он подсчитывает их время?

Разбудив главного кондуктора, дремавшего на табуретке в соседней комнате, Андрей вручил ему жезл.

Как и положено, вышел проводить поезд. Главный, кутаясь в большой брезентовый плащ, торопился к паровозу.

Вскоре раздался долгий, тревожный сигнал отправления. Андрей знал: Чеботарева на паровозе нет. Это помощник зовет своего машиниста. Прошло еще минут пять, и сигнал повторился. Протяжный, тоскливый.

Эхо долго пробивалось сквозь лес и где-то растаяло.

И снова все тихо.

Андрей сразу увидел Владимира, потому что смотрел на то место, откуда он и должен был появиться.

Перескочив кювет, тот побежал по шпалам к паровозу.

Поезд тронулся резко, с сильным грохотом и быстро набрал скорость. Андрей смотрел вслед, ожидая прощальных гудков Вале. Когда длинная красная змейка вагонов скрылась в лесу, донесся далекий сигнал: короткий, длинный... Сигнал

бдительности. Должно быть, по путям шел случайный прохожий.

Тихо и безлюдно на разъезде. Медленно и бесшумно падают желтые листья. Шагает по дощатой платформе Андрей. Он смотрит на тропку, уходящую в лес.

Здесь должна показаться Валя. У края перрона останавливается, стоит минуту и шагает назад. Он не хочет оборачиваться, пока не достигнет конца платформы. Должно быть, забыв об этом, делает несколько шагов и поворачивает голову... Напрасно так долго остается в лесу. Сыро, одета совсем легко...

Он увидел ее на опушке. Она шла, опустив голову.

Наверное, поссорились.

Через час Андрей сменился. Он пришел домой, сел за рабочий стол и начал ждать. Перед ним лежали схемы, чертежи, расчеты. Но у него теперь было неотложное дело: ждать сигнала. Что будет потом, он не знал.

Ему важно было дождаться сигнала, когда Чеботарев поедет обратно.

Он просидел за столом сколько мог и пошел на разъезд.

- Чеботарев не проезжал назад? - спросил он своего сменщика.

- Проехал, паразит. Несся так, что чуть стрелки не разворотил.

Четыре дня Андрей не видел Валю. Он работал, прислушиваясь к гудкам. Сигнала не было.

Узнав, что у нее грипп, он встревожился и в тот же день навестил ее. Она обрадовалась. Оказывается, грипп прошел, но осложнение на ухо. Оно забинтовано. Под глазами черные круги.

- Ничего не слышу, - улыбнулась она. - Понимаете, даже паровозных гудков не слышу.

Она слышала гудки. Она замирала при каждом их звуке. Ждала. Боялась пропустить сигнал.

Андрей пришел на следующий день. Повязки на ухе не было.

- Вам лучше? - обрадовался он.

- Да-а, то есть нет, но я не могу больше ничего не слышать.

Ей казалось, будто порою слух пропадает совсем.

Иногда она слышит гудки, а бывает, что целыми часами их нет. Не может быть, чтобы поезда так долго не ходили. Она просила посидеть подольше и проверить, все ли гудки она слышит. Казалось, ей безразлично, что он подумает.

Андрей сидел долго. Никогда еще не было так велико желание услышать этот ненавистный сигнал. Гудков было много, но не те, которых они, втайне друг от друга, ждали.

Андрей ушел, когда стемнело. Моросил мелкий дождик.

Домой не хотелось. Он не знал, куда идти. Возле закрытого семафора пыхтел паровоз.

- Почему не пускают? - крикнул из будки знакомый машинист.

- Не пускают? - растерянно переспросил Андрей и вдруг рассмеялся. Сейчас пустят.

Он ловко взобрался на паровоз.

- Сейчас пустят, - повторил он. И хотя тон и вид Андрея показались машинисту странными, он ничего не сказал, когда тот взялся за рукоятку сигнала.

Над разъездом, над поселком, над лесом прокатились могучие гудки: короткий, длинный, два коротких.

КУКЛА

По пятницам в красном уголке депо созывалось оперативное совещание, на котором разбирались все происшествия за неделю.

Первые два ряда занимали машинисты-инструкторы и механики высшего класса - водители тяжеловесных и курьерских поездов. Это умудренные жизнью и трудом люди, солидные, медлительные, с подчеркнутым видом собственного достоинства. Скажите им, что есть профессия интереснее машиниста, и они смолчат.

Только взглянут на вас с сожалением и сочувствием, как смотрит взрослый на неразумное дитя.

Машинист - профессия гордая. В сутолоке перрона не всякий обратит внимание на человека в паровозном окне. Но всмотритесь: властный взгляд, уверенность, воля, даже величие в этой фигуре.

Не только по петлицам можно узнать машиниста в группе железнодорожников. В его облике как бы отражаются чувства особой ответственности за судьбы тысяч людей, доверяющих ему жизнь, гордость за это доверие, вера в собственные силы.

Первым на оперативном совещании докладывал молодой машинист, недавно получивший права управления. В пути у него заклинило диск золотника. Пока он безрезультатно пытался сдвинуть диск, пока вызывали вспомогательный паровоз, пока вытаскивали по частям состав, было задержано шесть поездов.

Машинисты задали несколько вопросов, и картина стала ясной. Дело не в плохом ремонте, как докладывал молодой механик, а в том, что по его халатности или неопытности воду из котла бросило в цилиндры.

И зачем только он говорил неправду! Разве проведешь этих зубров, сидящих впереди!

Совещание единодушно решило: перевести машиниста в помощники сроком на два месяца и организовать среди

паровозных бригад беседу на тему "Как предотвратить бросание воды в цилиндры".

Следующим разбирался случай, вызвавший большое оживление. Одаренный машинист Гарченко, поставивший уже не один рекорд, в день Первого мая приладил на своем паровозе красный флаг с надписью: "Вперед, товарищ Гарченко, за миллион тонно-километров!"

Так он проехал по всему участку, вызывая недоумение и улыбки людей.

- Ну, за что вы меня ругаете? - наивно спросил Гарченко, когда ему предоставили слово для объяснения. - И в домах, и на улицах - везде праздник. Ну пусть хоть раз и на паровозе будет международный смотр сил. Вот если бы министр путей сообщения приказал флаги вывешивать, вы бы что сказали? "Забота о живом человеке", - сказали бы. А если Гарченко, значит, легкомыслие. Да будь моя воля, я бы в такой день на всех дрезинах флаги поразвесил.

В задних рядах рассмеялись.

- Или вот лозунг, - повысил он голос, чтобы его слышали все. - На станциях и депо висят призывы бороться за миллион тонно-километров. Это же для одного человека написано. Для начальника дороги, потому что это цифра плана всей дороги, за которую он отвечает. А как мне за нее бороться, объясните, пожалуйста? Приятная и радостная цифра, а уму непостижимо.

Теперь рассмеялись все.

Многие из присутствующих ничего страшного в этом происшествии не видели, но знали: первые два ряда не спустят. Поднимется кто-нибудь из маститых и скажет: "Как может машинист - гордость транспорта, костяк рабочего класса железных дорог - позволять себе такое мальчишество и позорить всех паровозников!"

Первым взял слово старший машинист Виктор Ду5- равин.

- Нам хочется видеть все здание, куда мы кладем и свой кирпичик, сказал он. - Мне непонятно, почему общая цифра плана неинтересна для Гарченко.

Дубравин сурово осудил его поступок, но неожиданно предложил взыскания не накладывать, потому что во многом Гарченко прав.

- Возьмите дом, что строится за кондукторским резервом, - продолжал он. - На нем лозунг, призывающий строителей дать к сроку шесть тысяч квадратных метров жилой площади. Как же они, бедняги, должны бороться за шесть тысяч, когда во всем доме не больше пятисот метров? Ведь это наверняка план всего района. Для кого же лозунг? Вот так и у нас.

А ты дай цифру для всей дороги и на одного машиниста. Тогда это будет не просто красивая картинка, а обращение партии лично к каждому. И каждый будет знать, где недобрал и где поднажать.

Люди были склонны принять предложение Дубравина и не тратить больше времени на обсуждение этого вопроса, когда попросил слова Владимир Чеботарев.

Это вызвало движение в зале. Кто-то покачал головой, кто-то переменил позу, кто-то шепнул соседу:

"Так я и знал". Все понимали: если Дубравин сказал "белое", значит Чеботарев будет доказывать "черное".

Отношения между ними резко ухудшились. Когда на железных дорогах страны появились первые тяжеловесники, начальник депо решил, что и у него в депо должен быть рекордсмен. Выбор пал на Чеботарева.

Машинист он, бесспорно, хороший и ездил лихо. Но условия ему были созданы особые. Его рекорды готовили десятки людей.

Последние экземпляры дефицитных деталей никому не отпускались - может быть, понадобятся Чеботареву. Когда он выезжал "под уголь" или за песком, его не задерживали лишней минуты. Да и уголек хорошему механику надо дать пожирнее.

Ремонт его машины делали лучшие бригады слесарей, они приносили отборные запасные части, хромировали и никелировали детали. Ремонт шел под особым наблюдением не только мастеров, но и начальника депо. Заглядывал в будку ремонтируемого паровоза секретарь парткома.

Когда выезжал Чеботарев, к селектору приходили все руководители, вплоть до начальника отделения.

И по всей линии шли депеши: приготовиться, поезд ведет Чеботарев, пропускать без очереди.

Деповские инженеры написали за него брошюру и подготовили технический доклад о его опыте.

И казалось, так это и должно быть, потому что хороший работник должен иметь хороший инструмент, с его пути должны быть устранены все помехи, его опыт следует обобщать и всячески помогать ему в работе.

Но постепенно у людей укоренилось чувство особой ответственности за машину и за рейсы Чеботарева. Едет Владимир, и гудят провода, несется в эфире: поезд ведет Чеботарев.

Раньше времени выходят из своих будок стрелочники, торопятся дежурные на станциях и блок-постах, готовят обратный маршрут диспетчеры.

Едет Чеботарев, и по всей линии, от края и до края, горят

зеленые огни.

Едет Чеботарев, и уже не хромом или никелем покрыт номер его локомотива, как было прежде, а литые в бронзе слова "Машинист В. Чеботарев" под тяжелым бронзовым гербом Советского Союза горят на паровозе как монумент, как памятник при жизни.

Бронзу отливали по специальному заказу Министерства путей сообщения. Да и весь локомотив капитально ремонтировали на заводе специально для него.

Конечно, это такой же типовой локомотив, как и все другие, но только чуть-чуть лучше пригнаны и отшлифованы детали, только больше лаку добавили в краски, только немного тщательней принимали машину контролеры ОТК, только сам Чеботарев ездил за ней на завод.

А коллектив - организм чувствительный. Пропало у людей желание сделать для него все возможное и невозможное, охладели к нему люди. Но даже при новых условиях Владимир первенства не отдал и еще больше утвердился в своей мысли о превосходстве над другими. Так, может быть, и впрямь было в нем что-то исключительное?

Все объяснялось просто. Линия на протяжении почти трехсот километров на запад и на восток привыкла к тому, что поезда Чеботарева должны проходить в особых условиях, пусть даже в ущерб другим.

Рейс в один конец и обратно занимает не больше восьми часов. Это очень удобно. Каждая из трех бригад, закрепленных за локомотивом, находится в поездке нормальный рабочий день, а пробег локомотива превышает норму.

Но бывает и так. Прибыл поезд в оборотное депо, паровоз отцепляют, но назад везти нечего. Бригаде дают два-три, а то и пять часов отдыха. Но кому интересно отдыхать в оборотном депо! Да и простой локомотива получается большим, не вырабатывается норма. Поэтому все стремятся ехать "с оборота", то есть прибыть в оборотное депо, взять другой поезд ч ехать домой.

Так вот, приехал Чеботарев на конечный пункт, ма-"

шину отцепили и послали "с оборота". Когда он уже собрался трогаться в путь, к нему подошел машинист Евтубин и сказал:

- Совесть у тебя есть? Ты же знаешь, что я приехал раньше тебя, а второй наш локомотив торчит здесь уже полдня. Твоя очередь третья, а ты что же делаешь?

- А я здесь при чем! - возмутился Владимир. - Сам, что ли, я отцеплялся? Послали, я и поехал.

Формально Чеботарев прав. Он действительно не просил,

чтобы его отправили без очереди. Он лишь полностью использовал современную технику. На его локомотиве, как и на многих других, стоит рация. Он может разговаривать с управлением дороги, с министерством, с кем угодно. И как только выехал из своего депо, тут же соединился с диспетчером. Он ни о чем не просил, только весело поздоровался, только сказал, что ведет поезд он, Владимир Чеботарев.

И этого было достаточно: диспетчер давно привык отправлять его раньше всех, вот и отправил.

Все это, конечно, знал Владимир. Знал, что противозаконно поступил диспетчер, что обидел его товарищей. Но это его не трогало. Он спокойно дал сигнал, и уехал, и еще долго возмущался в пути, что к нему посмели предъявить претензию. Да и в самом деле никакая официальная комиссия не установила бы здесь его вины.

Только два машиниста, оставшиеся в оборотном депо, смотрели укоризненно на удалявшийся поезд, а когда он скрылся, Евтубин сказал:

- Хорошо, что у нас один Чеботарев, а то совсем езды не было бы.

Владимир, казалось, не обращал внимания на недовольство товарищей. Неприязнь к нему объяснял завистью. И тут произошел случай, к которому он не имел отношения, но тем не менее окончательно подорвавший его авторитет.

...У окошка нарядчика паровозных бригад всегда шумно. Одни вернулись из поездки и оформляют маршрутный лист, другие ожидают подхода своей машины, третьи пришли узнать, когда предстоит ехать в очередной рейс, а то и просто послушать деповские новости.

И действительно, все новости, приказы, происшествия прежде всего узнают здесь. Тут завязываются споры о тонкостях локомотивного дела, и маститые механики поучают молодых, а молодые изощряются друг перед другом в каверзных вопросах из теории и практики вождения поездов. Здесь идут горячие схватки острословов, и несдобровать тому, кто попадет к ним в немилость.

Такая обстановка и была в нарядной, когда вошел туда Дубравин. Обсуждалась последняя новость: начальник дороги приказал передать соседнему депо три паровоза. Два из них были приняты, а третий, сопровождаемый Николаем Ершовым, вернули обратно.

- Загнал свою машину на канаву Николай, - рассказывал Чеботарев, - а сам - в сторону, вроде ему и неинтересно, как принимать будут. Обошел мастер слева, ничего не сказал. "Ну, -

думает Николай, - самое главное пронесло". Справа вроде все в порядке, избавится он, наконец, от своей гробины. А тут подзывает его мастер и так заинтересованно спрашивает:

- Знаешь, где у нас поворотный круг?

- Знаю, - отвечает Николай, а сам чувствует - не иначе, подвох.

- Это хорошо. Давай скорей на круг и дуй без оглядки домой. Мы тебе "зеленую улицу" схлопочем, может, и не успеет по дороге машина развалиться.

А дураков в других депо поищите.

Стоявшие рядом паровозники рассмеялись.

- У Николая и так кошки на душе скребут, - продолжал Владимир, - а тут подходит какой-то слесаренок в кепочке козырьком назад и говорит: "Шо вы, хлопци, на цьому паровози воду грили чи шлак возили?"- Владимир громко расхохотался.

- Что же ты зубы скалишь? - не выдержал Дубравин.

- А тебе что! - огрызнулся Володя. - Николая жалко? Так возьми себе его машину. А? Или только болтать можешь, слезу пускать.

- Тьфу! - сплюнул Дубравин и вышел из нарядной.

Он шел и злился: забыл спросить нарядчика, когда е,му ехать, хотя только за тем и приходил, злился на Владимира, на себя, что не смог как следует ответить этому зазнайке.

Возврат машины остро переживали все паровозники. И не потому, что начальник дороги объявил выговор начальнику депо и Николаю Ершову за попытку сплавить негодный паровоз. Этот факт получил большую огласку и лег на депо позорным пятном. Ведь паровоз хотели всучить своим же товарищам.

А с паровозом действительно творилось что-то неладное. Пережоги топлива, частые ремонты и вынужденные из-за этого простои резко снижали показатели работы и заработки трех бригад, прикрепленных к этому локомотиву.

Вернувшийся локомотив снова поставили на ремонт. Устранили все неполадки, но в первом же рейсе машина словно взбесилась. Ни пару, ни воды не держала, грелись подшипники, и Ершов едва дотянул до своего депо. Не заходя домой, пошел к начальству.

Пусть делают с ним, что хотят, но ездить больше на этой гробине не будет.

...Виктор Дубравин решил не возвращаться к нарядчику, а зайти в контору и оттуда позвонить. Он все еще не мог успокоиться после стычки с Чеботаревым. Да и машина тоже... Что она, заколдована, что ли?

И пока он шел и злился, случайно мелькнувшая мысль

вытеснила все остальные. Раздражало только, что этот зазнайка подумает, будто свое решение принял по его подсказке. Но решение теперь было твердое, и Дубравин направился к начальнику депо. Попросил принять у него паровоз, один из лучших на всем отделении, и дать ему машину Николая Ершова.

И оставить всех членов бригад этого локомотива, будь они даже нарушителями трудовой дисциплины.

Просьба Дубравина смутила руководителей депо.

Он достоин самого большого доверия, но тем более нельзя его подводить. Он простоЧ не рассчитал своих сил.

На следующий день ему предложили взять один из худших паровозов, но не машину Ершова, чуть ли не аварийную, которую раньше срока решили отправить в заводской ремонт. Дубравин стоял на своем. Просьбу удовлетворили.

Многие машинисты не скрывали своего удивления.

Кто-то сказал:

- Это безумие - отдать такой золотой паровоз и взять рыдван.

Дубравин не очень прислушивался к таким словам.

Через его руки прошла не одна машина, и, какой бы строптивой ни казалась, он находил способ обуздать ее.

После первой поездки Дубравин не пошел домой.

Почти всю ночь провел возле локомотива, проверяя, измеряя, выслушивая узлы и детали. Нашел, наконец, почему бьет реверс, и, кажется, причину грохота в дышлах. Этот грохот, разносившийся далеко вокруг, просто угнетал его. Ему стыдно было ехать на паровозе. Подъезжая к станциям в своей первой поездке, он прятался в будке, откуда наблюдал, как озираются на паровоз железнодорожники...

Домой вернулся в пять утра. Ни о чем не спросила его жена Маша. Она все видела, все понимала. Он заговорил сам:

- Теперь хоть стук в дышлах прекратился. Нашел, в чем там дело. А то совестно было людям в глаза смотреть.

Дубравину не терпелось скорее увидеть результаты своих первых побед над паровозом. Со двора видны огромный косогор и высокая железнодорожная насыпь. Здесь скоро должен проехать напарник. Виктор вышел, поднялся на крышу погреба, чтобы было виднее. Остановилась на крыльце Маша. Вскоре послышался шум поезда. В обычном грохоте паровоза выделялись резкие и частые удары, точно по дышлу били кувалдой. Те самые, которых, как казалось ему, уже не должно быть. Как набат, неслись они над косогором, над пролеском, над всем рабочим поселком.

- Спустился Виктор, - рассказывала на следующий день соседке Маша, как глянула я на него - сердце зашлось - такое лицо было у него...

Молча вошли в /ом. Только в десять утра заснул.

Через час вызвали в депо: какое-то срочное совещание. Не идти нельзя. Он член партийного бюро. После заседания, наскоро перекусив, побежал встречать свой паровоз. Он забросал вопросами напарника о том, как вела себя машина. И снова копался в ней, пока не пришло время отправляться в рейс.

После нескольких поездок, записав, что должны сделать слесари, Дубравин поставил машину в депо.

- Здесь мы ее уже видели, - усмехнулся кто-то из слесарей. - Ты ведь ездить взялся, а не в депо стоять.

Ничего не мог ответить Дубравин. Слесарь был прав.

С первыми деньгами, заработанными на новой машине, пошел в сберкассу. Снял с книжки сорок рублей и добавил к получке.

- Вот видишь, Маша, - сказал он, придя домой, - заработок почти не уменьшился.

Ей хотелось сказать, что дело не только в заработке, но зачем же огорчать Виктора? Пусть хоть этим будет доволен.

Шли дни и ночи. Они смешались у Дубравина, и он потерял им счет. Весь смысл его жизни и жизни его семьи был теперь в машине. Ему жаль было смотреть, как страдает Маша. Но скрыть от нее ничего не удавалось. Если он приходил домой, напустив на себя веселость, она говорила:

- Не надо, Витя, я ведь вижу. Что же ты от меня таишься?

Просыпаясь ночью, он лежал не шелохнувшись, боясь разбудить ее. Но стоило ему открыть глаза, как раздавался ее голос:

- Спи, Виктор, еще рано.

Все депо наблюдало за борьбой Дубравина. Приходили старые машинисты-пенсионеры, чтобы помочь ему. Забегал на паровоз секретарь партийного бюро.

Предлагали свою помощь комсомольцы. Кое-кто выжидал: "Ну-ну, посмотрим".

Чеботарев в присутствии группы машинистов сказал: "Говорят, на старую машину запросился, а?"

За помощь и сочувствие благодарил Виктор, насмешки сносил молча.

Прошло два месяца. Шестьдесят тяжких дней.

Шестьдесят бессонных ночей.

В очередную получку Дубравин впервые за эти месяцы не взял денег со сберкнижки.

Вечером он присутствовал на городском партийном активе.

В конце своего доклада секретарь горкома сказал:

- Успех нашего движения вперед не в том, чтобы ставить

рекорды, создавая для этого особые условия отдельным людям. Успех зависит от таких людей, как Виктор Дубравин, взявший на свои плечи тяжелую и, по мнению других, невыполнимую задачу. - И он рассказал историю с паровозом Дубравина, занявшего первое место в депо.

- Городской комитет Коммунистической партии Советского Союза, закончил он, обведя взглядом зал, - поручил мне поздравить вас, Виктор Иванович, с большой победой.

Раздались дружные аплодисменты. Люди смотрели по сторонам, ища Дубравина. Он сидел в предпоследнем ряду. Когда была названа его фамилия, он испугался. Он не знал, что делать.

- Встань! - толкнул его локтем сосед.

Он встал и начал неловко кланяться. Теперь весь зал смотрел на него и аплодировал ему. Это было мучительно радостно. Он подумал: "Маше бы послушать в награду за все ее муки".

- Товарищи! - сказал секретарь горкома, наклонившись к самому микрофону. - Я думаю, не страшно, если мы немного нарушим обычный порядок собрания. Есть предложение дополнительно избрать в президиум товарища Дубравина.

И снова грянули аплодисменты. Секретарь еще чтото говорил, слов не было слышно, но по его жесту Дубравин понял: приглашают в президиум.

- Иди же, - снова подтолкнул его кто-то.

Он выбрался из своего ряда и удивился, какая длинная ковровая дорожка ведет к сцене. Он шел один по этой широкой и мягкой дорожке через весь зал, и гремели аплодисменты, и люди поворачивали головы, провожая его, и он не мог решить, быстро ему надо гдти или медленно.

Конечно, торопиться нельзя, будто только и ждал, как бы быстрее попасть в президиум. Но двигаться медленно еще хуже. Подумаешь, важность какая плывет и задерживает все собрание. И в унисон своим мыслям он то замедлял, то ускорял шаг. И пока он шел через весь улыбающийся ему зал, так и не решил, куда ему надо смотреть. Идти, наклонив голову, как хотелось бы, неудобно. Люди приветствуют его, а он, гордыня, даже не взглянет на них. А смотреть всем в глаза - вот я какой герой, любуйтесь! - и вовсе нельзя.

Он злился на свои глупые мысли, но другие в голову не приходили.

Когда поднялся, наконец, по лесенке на сцену и хотел примоститься где-нибудь сзади, кто-то подтолкнул его к столу, в первый ряд президиума, где для него освободили место.

И тут в голову пришла уж совсем нелепая мысль.

Он подумал, что его уже дважды подталкивал сосед, чтобы он

встал и шел на это почетное место, и что давно-давно его тоже подталкивали, но не в президиум, а к "запертой" монастырской двери и к высокому дереву у каменной ограды, утыканной осколками бутылок, и какой он молодец, что все же вернул ботинки...

Во время перерыва его поздравляли знакомые и не то в шутку, не то всерьез говорили: пусть и не думает так отделаться, а сразу же после актива ведет в ресторан.

И тут к радостному возбуждению, в каком находился Виктор, примешалось вдруг что-то досадное.

Будто чего-то еще не хватало, что-то было недосказано. Это мешало ему в полной мере насладиться счастьем.

Неожиданно Виктор решил купить Маше подарок, и от этой мысли стало легче на душе. Хорошо бы цветы. Он никогда не дарил ей цветы. И не рвал для нее цветов. А когда доводилось им вместе бывать в поле, она собирала их сама. И вообще он ничего ей не дарил.

День рождения или Восьмое марта не в счет. Подарки в такие дни обязанность каждого. Да и то они всякий раз вместе советовались, что именно он должен ей подарить. И она же давала деньги на подарок, потому что получку он приносил ей, а брать в сберкассе было ни к чему. Часто получалось так, что, коль скоро он идет в магазин, пусть заодно возьмет мыло - уже кончается, и, самое главное, пару катушек ниток, потому что белые давно вышли, а она все забывает купить, и просто стыд и срам пуговицу пришить нечем.

Виктор приносил свой подарок в общем свертке с хозяйственными вещами, и это был уже не подарок, а неизвестно что.

...О цветах сейчас и думать нечего, их не достанешь. Да и вообще магазины уже закрыты. Он отошел в сторонку, чтобы меньше попадалось знакомых, и оказался возле большого книжного прилавка. На стене надпись: "Книга - лучший подарок". Ему не хотелось покупать книгу.

Он вспомнил, что тут же, в фойе, есть еще один прилавок, где торгуют местными кустарными изделиями. Здесь ничего хорошего не оказалось. Безвкусно сделанные шкатулки, уродливые статуэтки, гуси, похожие на кенгуру, и другие некрасивые безделушки.

Его внимание привлекла лишь очень смешная куколка из пластмассы. Это был негритенок. Вернее, маленькая негритянская девочка. Она придерживала края широкой юбочки, похожей на пачку балерины, и казалось, вот-вот присядет в реверансе. Круглая мордочка и большие глаза с голубоватыми белками, и

губы были надуты. Еще секунда - и она расплачется. На ее трогательную фигурку и лицо нельзя было смотреть без улыбки.

Он купил куколку. Продавщица завернула ее, и он положил сверточек в боковой карман, перевернув его, чтобы куколка лежала не вниз головой, как ее подала девушка, а в нормальном положении.

Когда Виктор вернулся домой, Маша сказала:

- Сейчас разогрею ужин, - и отложила в сторону свое шитье.

И снова, как там, в зале горкома, Дубравину стало обидно за Машу. Он усадил ее на диван и стал рассказывать о совещании. Она слушала молча. На лице ее была радость. Когда Виктор окончил, она попросила, чтобы он еще раз и со всеми подробностями и не торопясь пересказал, как он шел на сцену, и как весь зал аплодировал ему, и кто из знакомых там был.

- Ну что ты, Машенька, - взмолился он, вставая - Вот поставь куда-нибудь. - И он достал из кармана свою покупку.

- Что это? - поднялась и она.

- Да так, безделушка, - небрежно ответил Виктор Иванович.

- Ничего не понимаю В куклы у нас некому играть, да и где ты ее взял, не на активе же?

- На активе, - сказал он, словно оправдываясь - Для тебя купил... Ничего подходящего не было, понимаешь7

- Для меня?.. Ты там подумал обо мне, да? - Лицо у нее стало серьезным, озабоченным.

- Ну да, вот видишь... совсем безделушка... пятьдесят копеек стоит... просто так... - Он говорил и видел, что Маша сейчас заплачет, и не знал, что еще сказать.

И она действительно расплакалась и, не выпуская из рук куколки, обняла его, а он не стал успокаивать ее или задавать вопросы, а только гладил ее волосы.

Потом она поставила куколку на комод и сказала:

- Будем ужинать.

Она вышла в соседнюю комнату и вернулась с чистой скатертью и в другом платье и начала накрывать на стол не в кухне, как обычно, а в большой комнате.

То и дело поглядывала на комод, а когда выходила, на куколку смотрел Виктор. Он неожиданно заметил, что у куколки вовсе не обиженный, а просто удивленный вид и совсем не хочется ей плакать, а складки у губ, потому что она сейчас улыбнется. И как только ему могло померещиться, будто она обижена...

На следующий день Владимир Чеботарев узнал все, что говорил секретарь горкома. С тех пор он и стал придираться к Дубравину. Делал это очень умно и не грубо. Он был находчив и

остроумен и умел безобидными на первый взгляд шуточками высмеять человека. Виктору трудно было сладить с ним, и он начал просто избегать Чеботарева. Но тот не сдавался. Стоило Дубравину выступить на собрании, как он находил повод, чтобы свести это выступление на нет. Когда обсуждался поступок машиниста Гарченко, вывесившего на своем паровозе лозунг, и Виктор предложил не наказывать его, все знали, что Чеботарев потребует сурового наказания. Так оно и оказалось в действительности.

Владимир говорил красиво и остроумно, решительно осуждая анархию, которая до добра не доведет. Он выразил удивление, как мог столь авторитетный и всегда точный в своих действиях старший машинист Дубравин поддержать такую партизанщину, и предложил объявить Гарченко выговор.

Выступление не понравилось. Сам Чеботарев недавно был понижен в должности за лихачество, едва не приведшее к аварии. Не понравилось и потому, что машинисты его не любили. И все дружно проголосовали за предложение Дубравина.

ЗАПИСКА

Вскоре после памятного сигнала, который Андрей Незыба непродуманно дал, чтобы успокоить Валю, он снова навестил ее. Девушку нельзя было узнать. Еще за день до того черные круги под глазами делали ее лицо изможденным, страдальческим. Теперь они лишь ярче оттеняли ее сияющие глаза, точно мазки грима, положенные опытной рукой мастера.

Валя говорила без умолку, легко перескакивая с одной темы на другую, часто смеясь собственным словам. Андрей никак не мог поспеть за ее мыслями и не мог понять, почему ей смешно. Он устал. Ему было невыносимо смотреть на ее счастье, и не было сил ПОДЕЯТЬСЯ и уйти. С той самой минуты, когда он дал этот сигнал, в нем не прекращалась внутренняя борьба.

Сначала ему было хорошо, как человеку, совершившему благородный поступок. В таком состоянии он пребывал до утра. Проснулся с тревогой в душе. Кто дал ему право вмешиваться в чужую жизнь? Хотел сделать приятное больному человеку? А если это принесет новые страдания? Да и чем все это кончится?

- Вы скоро пойдете на дежурство?

Это она спрашивала его. Андрей вскочил.

- Да, да, извините, - заторопился Андрей. - Действительно, расселся здесь...

- Нет, что вы, - смутилась Валя. - Вы не так меня поняли. Я просто спрашиваю. Вы ведь сегодня с шести?

Она не "просто спрашивала". Андрей видел это. Она стояла красная от смущения. Краска покрыла не все лицо, а выступила

пятнами. Валя не могла на что-то решиться. Андрей попрощался и не уходил. Ждал, что она скажет.

- У меня к вам просьба, - выдавила она из себя наконец. - Когда будет проезжать Чеботарев, прошу вас, положите это под жезл. - И она протянула сложенную вчетверо записку.

- Хорошо, пожалуйста, с удовольствием, - забормотал Андрей, беря записку и тоже глядя на пол. Еще раз сказав "до свидания", неестественно быстро и неловко вышел из комнаты.

Дома посмотрел на записку. Вверху надпись: "Владимиру Чеботареву". Чуть ниже в скобках: "Лично".

Буковки кругленькие, каждая похожа на колобок.

Записка, несомненно, вызвана сигналом, который он так необдуманно дал., чтобы успокоить Валю. Но ведь Чеботарев и не подозревает об этом сигнале. Как же чудовишно можно подвести ее! Что он подумает о Вале, прочитав записку?

В голову приходит постыдная мысль, от которой он краснеет. Но другого выхода нет. Если прочитать эю чужое письмо, станет ясно, что делать. Поступить иначе он не имеет права.

Андрей боязливо опускает занавеску, зачем-то бросает взгляд на дверь и садится к столу, на котором лежит записка. Он протягивает руку, но она сжимается в кулак. Когда же окончится эта мука? Надо решительно. Ведь это единственный выход. Он читает:

"Володя, если бы Вы знали, как я благодарна Вам.

за этот сигнал. Я рада, что Вы больше не сердитесь на меня.

Сейчас я больна (грипп) и еще целую неделю, наверное, не смогу прийти к семафору. Но прошу Вас, посылайте мне эти сигналы. Они нужны мне. Я буду их ждать.

До скорой встречи, Валя".

Он снова посмотрел на письмо и увидел только одну строчку:

"посылайте мне эти сигналы. Они нужны мне. Я буУУ их ждать".

Теперь она ждет. Начиная с шести, будет ждать каждую минуту. Она будет ждать весь вечер, и ночь, и следующий день, и так ежедневно.

Андрей пошел на дежурство.

Как только принял смену, позвонили из Матово:

- Могу ли отправить поезд номер пятьдесят три?

- Ожидаю поезд номер пятьдесят три, - ответил Андрей, облегченно вздохнув: номер двузначный - значит, поезд пассажирский. Чеботарев водит грузовые.

Следующий был тоже пассажирский, в обратном направлении со станции Зеленый дол. И снова он обменялся с соседом стандартными фразами из инструкции. Только так могут разговаривать между собой дежурные. Это всегда раздражало его. Теперь радовало:

не надо думать.

- Могу ли отправить поезд номер шестьсот сорок три? - запросило Матово.

- Ожидаю поезд номер шестьсот сорок три, - привычно ответил Андрей. Но мысли уже забегали, Номер трехзначный.

Из селектора раздался голос диспетчера:

- К вам идет тяжеловес на большой скорости.

Пускайте на проход, маршрут готовьте заранее,

- Кто ведет? - выдохнул Андрей.

- Чеботарев.

Несколько минут Андрей сидел неподвижно. Потом поднялся. Позвонил в Зеленый дол. Получив разрешение отправлять тяжеловес дальше, вынул из аппарата жезл. На нем выбито: "Бантик - Зел. дол". Через пятнадцать минут эту надпись будет читать Чеботарев:

машинист обязан убедиться, что ему вручен жезл того перегона, по которому едет. Если под жезлом лежит бумажка, машинист недоволен. Значит, опять предупреждение: на таком-то километре идет ремонт, ехать с ограниченной скоростью. Вначале Чеботарев подумает, что это предупреждение. Прочтет немедленно.

Решит, что Валя ослышалась, и не устоит против ее зовущих и чистых слов. Вполне успеет дать сигнал, А если не захочет?

Андрей снял со стены проволочный круг, открыл зажим. Сюда надо вставить жезл. Но сначала - записку. Свернуть ее трубочкой, вставить в гнездо и прижать жезлом.

Раскатисто прозвучал сигнал бдительности. Думать больше нельзя. Чеботарев ездит как сумасшедший, через две-три минуты будет здесь...

Прошло несколько дней. Валя почти поправилась.

Она еще раз убедилась, насколько правы врачи: если настроение хорошее, болезнь проходит быстро. Володя часто посылает ей сигналы. Завтра она обязательно сама пойдет к насыпи. Надо только не прозевать. Хорошо бы узнать график его дежурств. Андрей может это сделать. Что-то перестал заходить. С тех пор как передал записку.

Размышления Вали прервал Хоттабыч. Его прислал техник за дневником геодезических съемок. Когда старик уходил, Валя попросила передать Андрею, что, если сможет, пусть забежит на несколько минут.

- Вряд ли, - хмуро сказал Хоттабыч, - замаялся опять со своими думами.

Валя посмотрела с недоумением.

- Как Бантик свой строил, вот такой же сумной ходил. Должно, опять затевает чего-то.

- Какой Бантик? - почему-то испугалась Валя,

- Да наш. Разве не знаешь?

Хоттабыч охотно рассказал историю Бантика. Валя задумалась. Проплыла перед глазами первая встреча с Андреем. Вспомнились ее собственные слова: "Очень хороший человек строил". Вот почему он тогда покраснел. Ей захотелось вдруг взглянуть на разъезд. И, неизвестно отчего, стало грустно. А старик уже рассказывал другую историю, должно быть, очень смешную, потому что самому ему было смешно. Валя не слушала.

- ...хе-хе-хе, - смеялся Хоттабыч. - Так и мается каждый день. Уйдет на станцию пешком, а обратно на паровозе едет. Как увидит входной семафор, так и просится у машиниста погудеть. Точно малое дитя...

Гуди на здоровье, жалко, что ли. Да гудеть-то не умеет, хе-хе-хе. Все сигнал бдительности норовит дать - короткий, длинный, - а остановиться не может, и получается еще два коротких. Такого и сигнала не бывает.

Старик снова рассмеялся, но, взглянув на Валю, осекся. Она смотрела на него своими большими глазами, прижимая пальцами полуоткрытый рот, точно удерживая готовый вырваться крик.

- Побегу, - заторопился он.

Валя не ответила.

"Что это с ней?" - подумал Хоттабыч, осторожно выходя из комнаты. Но тут мысли его отвлеклись; на ступеньках он едва не столкнулся с Андреем.

Андрей решил уехать. Он попросил отпуск на месяц за свой счет. К его возвращению Вали уже здесь не будет, и кончится эта пытка. Теперь шел к ней, чтобы во всем признаться. Чем больше хотел помочь Вале, тем безнадежнее запутывался. Один неверный шаг - он проклял ту минуту, когда дал первый сигнал, - "повлек за собой новые, непоправимые ошибки... А теперь уже ничего сделать нельзя. Ничего больше придумать он не может.

На стук Андрея послышался испуганный голос Вали:

- Да, - точно вздрогнула.

Валя не удивилась его приходу. Словно он и раньше был в

комнате и только на минутку выходил. Казалось, она не может оторваться от своих мыслей и не замечает его. Так продолжалось несколько минут. Потом Валя как-то жалостливо, просяще посмотрела на него. Он решительно не мог придумать, с чего начать.

Совершенно спокойно, может быть, лишь немного устало глядя ему в глаза, сказала:

- Ничего не надо, Андрей, - и повторила: - Ничего. Я благодарна вам.

Он опустился на стул, подумав: "Зачем я сажусь?"

- Уезжаю завтра. - Помимо его воли слова звучали в тон ей, медленно, спокойно.

Она сказала:

- Это хорошо.

- Я зашел попрощаться. До свидания.

- До свидания, Андрей.

На следующий день за ним прислали дрезину. Проводить его до Матово пришел Хоттабыч. Дрезина тронулась, рывками набирая скорость. Андрей обернулся.

Хоттабыч махал шапкой. Далеко позади показалась фигурка. Дрезина мчалась, и фигурка становилась все меньше. Временами ее заслонял Хоттабыч, который все еще махал шапкой. Потом оба они исчезли. И разъезд уже не был виден.

Навстречу по соседнему пути, только что пущенному в эксплуатацию, пролетел поезд. В паровозном окне мелькнуло задорное лицо Чеботарева. Сейчас они увидят друг друга.

Через минуту раздался сигнал: короткий, длинный, два коротких.

- Вот и все, - грустно сказал Андрей.

Он не верил, что Валя сейчас помирится с Владимиром. Ведь тот совсем забыл о ней. А вот увидел и так, из озорства, снова посигналил.

После всего, что узнала Валя, ее неудержимо повлекло к разъезду. Она шла туда, думая об этом домике, и мысли ее были заняты. Может быть, поэтому не расслышала сигнала. Она услышала только паровозный гудок, только звук.

Вскоре, закончив практику, Валя уехала домой, в Матово. Владимир знал, что Вали уже нет на разъезде, но каждый раз, проезжая мимо, давал этот сигнал.

Гудки звучали печально и жалобно, как стоны.

МАШИНИСТ ПЕРВОГО КЛАССА

У Виктора Дубравина было много планов, но их поломала война. Отныне все его стремления свелись к одному: перевозить много и быстро.

В поездах, которые он гнал на запад, были танки, орудия, бомбы, снаряды. Марка мирных заводов непривычно выделялась на минометах и автоматах. На восток перевозил эвакуирующиеся заводы и раненых.

Он хорошо видел и понимал, что делается в стране.

Во время войны он работал, как все советские люди: не зная отдыха, недосыпая и недоедая. И на душе у него было, как у всех: тяжело и тревожно. Но особенно тяжелый день выдался в феврале сорок второго года.

Деревянный тротуар скрипел от мороза. К вечеру мороз забирал с новой силой. Подул легкий ветерок, он обжигал лицо. Виктор пришел домой, когда стемнело. Решил хорошо отоспаться, потому что в предыдущую поездку его вызвали раньше времени и он не успел отдохнуть. Часов в двенадцать ночи проснулся от ветра, который бился в окно. Прислушался и понял, что, кроме ветра, в стекло стучится человек. Он знал, что это рассыльный, хотя так скоро не должны были вызывать в поездку.

Виктор поднялся, зажег свет, впустил рассыльного.

- Ехать, Виктор Иванович! - сказал тот, вздыхая. - Совсем зашились, все паровозы позастревали, а твой вернулся. Хотя отдых тебе не вышел, но велели вызывать.

- Во сколько?

- Нарядчик сказал - как можно скорей, помощника и кочегара я уже направил, - говорил он, растирая руки над еще теплой печью.

- Что, холодно? - спросил Виктор.

- Мороз не так уж большой, сорок один, да ветер проклятущий полосует.

Поднялась Маша, молча стала собирать сундучок, Виктор быстро оделся, взял легонький сундучок, как всегда, поцеловал жену, сказал: "Запирай двери", - и вышел.

Ветер завывал, обжигал лицо, качал в разные стороны.

Возле паровоза суетились помощник и кочегар.

- Что успели сделать? - спросил он, поздоровавшись.

- Да мы только пришли, Виктор Иванович!

- Давайте быстрее, ребята. В буксы добавляйте подогретой смазки, на параллели и кулисный камень тоже подогретой. Проверьте, хватит ли песку, не смерзся ли он. По такой погоде без песку ни шагу.

Прибежал дежурный по депо, еще на ходу крича:

- Давай скорей, Виктор Иванович, давай, дорогой, там уже скандал на всю дорогу!

Это был тяжелый месяц для сибирских машинистов. Нескончаемым потоком шли на запад танки, орудия, воинское

снаряжение, а навстречу оборудование эвакуирующихся заводов с рабочими, эшелоны с ранеными, нефть, металл. Почти все поезда в обоих направлениях были литерными, то есть подлежащими пропуску без очереди, на правах курьерских или пассажирских.

...Дубравин дал сигнал и выехал на контрольный пост.

С высоты паровозного окна огромного и мощного ФД он видел забитую поездами станцию, и ему казалось, что такого скопления здесь еще не бывало... "Зашили станцию так, что и к поезду не проберешься", - бормотал он, выезжая с контрольного поста. Возле стрелки его остановили, и он пришел в ярость. Как же не зашить станцию, если и поезда сформированы, и паровоз готов, а их держат! Но он ничего не мог поделать. Без разрешения нельзя даже трех метров отъехать... Спят они, что ли? Дать бы сейчас сигнал тревоги, сразу зашевелятся.

- Почему держите? - крикнул он стрелочнице, показавшейся из будки. Под поезд хоть пустите, тормоза опробую.

- Пока нельзя, - ответила стрелочница. - Двойной тягой отправят, ваш паровоз головной. Вот сейчас подойдет второй, пропущу его, а потом вас.

Дубравин не выдержал и пошел на станцию. Почему это при такой нехватке паровозов двойной тягой?

Ветер гнал снежную пыль вдоль вагонов, как по трубам, глухо ударял в пустые цистерны и, взвихряясь, тонко завывал в проводах.

В помещении дежурного по станции было много народу и стоял сильный шум. Без конца звонили телефоны; из наушников, лежавших на столе, то и дело доносился голос диспетчера.

Виктор Иванович поздоровался, но ему почти никто не ответил. Каждый был занят своим делом. Тут же находились военный комендант станции, различные представители, "толкачи" и заместитель начальника Омской дороги Василий Тихонович Кравченко.

Оказывается, надо было срочно отправлять три поезда особого назначения - два нечетных на запад и один на восток. А депо могло выдать только два паровоза. Решили поэтому нечетные два поезда сцепить и отправить их двойной тягой, а как быть с третьим составом, придумать не могли. Об этом и шел разговор.

Через несколько минут после прихода Дубравина с контрольного поста сообщили, что вышел второй паровоз.

- Давай скорей, Виктор Иванович, - обратился к нему дежурный, - ты пойдешь ведущим. Не застрять бы только вам где-нибудь на подъеме, махину такую даем, что и конца не видно. Не знаю, как и с места ее стронете.

Дубравин стоял, прикрыв глаза, и его высокая фигура едва заметно и неравномерно покачивалась, будто он дремал. Трудно было понять, то ли разомлел человек с мороза в этом жарко натопленном помещении, то ли сковала вдруг усталость от беспрерывной работы и недосыпания, или просто закружилась голова.

- Заснул, Дубравин? - окликнул его дежурный, и все обернулись к машинисту.

Тот поднял веки и, вытирая ветошью чистые руки, сказал:

- Прошу разрешить мне одному взять эти два состава. Тогда второй паровоз у вас освободится под...

- Перестаньте фантазировать! - перебил его дежурный. - Немедленно отправляйтесь!

- Подтолкнет сзади паровоз и трону с места, а дальше поеду сам! настаивал Дубравин.

- А если пару не хватит, встанете, кто подталкивать будет? раздраженно возразил дежурный. - Кто за вас отвечать будет?

- Пар - это моя забота, я и отвечать буду! - повысил тон Виктор.

По лицу дежурного и по его нетерпеливым жестам было видно, что он скажет сейчас что-то резкое, но в разговор вмешался Кравченко.

- Вы поступаете, как подлинный патриот, - обратился он к Дубравину, но разрешить такую поездку нельзя. Во-первых, вы уже слышали, что это не обычные составы, а тяжеловесные. Во-вторых, его длина достигает километра, значит в случае необходимости вы даже на станции не сможете встать, чтобы не задержать движения остальных поездов, потому что он не уместится ни на одной станции. А в-третьих, при таком морозе и ветре дай бог вам хоть двумя паровозами стронуть с места и вытянуть эту махину. Вот обстоятельства, которые надо учитывать, - закончил Кравченко и, помолчав немного, добавил: - Понимаете, если вы не вытянете на перегоне, значит на два-три часа выйдет из строя все направление. Вот почему мы не можем рисковать.

В комнате стало тихо. Все смотрели на Дубравина.

- Ну, так вот, значит... - неопределенно протянул дежурный, давая понять, что разговор закончен.

А Виктор заговорил очень медленно, растягивая слова и как бы устало:

- Я это понимаю. Я все понимаю. Меня надо только подтолкнуть с места вторым паровозом и дать "зеленую улицу" до конца рейса... Я не подведу... Я ручаюсь...

Дубравин говорил тихо, казалось, даже неуверенно.

В его словах не было ни пафоса, ни энергии, и почему они так подействовали на окружающих, сказать трудно. Но всем стало ясно, что надо разрешить ему вести этот немыслимый километровый поезд, несмотря на мороз и ветер, несмотря ни на что. И хотя тон и вся его фигура казались вялыми, люди, слушавшие его, один за другим поднялись.

- Родина скажет вам спасибо, Дубравин, - крепко пожал ему руку Кравченко.

Виктор Иванович вышел в соседнее помещение отметить у оператора маршрут, и в комнате заговорили все сразу. Потом Дубравин услышал, как из шума вырвался чей-то окрик: "Тише!" - и все смолкли. Донесся голос Кравченко: "Я разрешил", и опять тихо.

Ясно, что он говорил по телефону или по селектору.

Через несколько секунд снова послышался голос за дверью: "Нет, отменять я не буду. Я беру на себя всю полноту ответственности за этот рейс. Может быть, действительно я превысил свои права как уполномоченный, но я выполнил свои обязанности как коммунист. И верю ему - коммунисту. Повторяю: всю ответственность беру на себя".

ДРОЖЬ

Дубравин быстро шагал вдоль состава, который ему предстояло вести, поглядывая на рельсы, запорошенные снегом, на сцепления между вагонами. Он торопился. Время работало против него. С каждой минутой все сильнее застывает смазка в вагонных буксах и сковывает оси. Волокна подбивки примерзают к шейкам осей, держат их, точно клешнями, не дают вращаться. Снег на рельсах, мягкий и рыхлый, предательски хватает скаты будто тысячами магнитов, спрессовывается под колесами, и не передавить его. Смерзаются стяжки между вагонами, и весь состав превращается в одну сплошную массу, которую никакими силами не стронуть с места.

Он поднялся в будку, объяснил помощнику и кочегару, какой предстоит рейс. Пятнадцать атмосфер выдерживает котел паровоза ФД, и все пятнадцать надо держать до конца рейса. Дубравин заглядывает в топку. Ровный слой раскаленного угля покрывает всю колосниковую решетку. Полукруглый свод перед трубами, во всю ширину топки, выложенный из огнеупорного кирпича, тоже раскален и кажется розово-прозрачным. Словно марево, струится вокруг него огненный воздух.

Снизу раздается знакомое, привычное: "Поехали, механик!" Пронзительный свисток главного - сигнал отправления.

Дубравин нажимает рукоятку свистка, и рев могучего ФД, заглушая вьюгу и станционный шум, разносится далеко вокруг и

замирает где-то у угольной эстакады. Потом дает два коротких свистка: это приказ заднему паровозу начинать подталкивание. И откуда-то сзади, совсем издалека, доносится такой же сигнал: "Приказ услышан и понят, толкание начинаю".

Виктор медленно открывает регулятор. Издавая резкий скрип, один за другим трогаются с места смерзшиеся вагоны. Он открывает еще немного регулятор, прибавляя пару. Паровоз вздрагивает, гудит, у него не хватает сил тянуть все увеличивающуюся тяжесть. Еще секунда - и завертятся на месте колеса, заухает топка. Этого допустить нельзя. Словно от далекого залпа тяжелой артиллерии, доносится глухое эхо: буксует задний паровоз. Дубравин дает короткий свисток и через несколько секунд слышит ответный сигнал толкача. Теперь тот будет стоять, пока снова не получит приказ: "Начать толкание". Виктор тоже перекрывает пар, машина облегченно вздыхает и, заскрипев на снегу, останавливается.

Ясно, что так стронуть с места смерзшийся состав не удастся. Надо "раскачать" поезд, раздавить снег на рельсах. Машинист быстро переводит рычаг реверса в заднее положение и снова открывает регулятор. Паровоз движется назад, сжимая вагоны, а они скрипят, сопротивляются, и вот уже он уперся в них, точно в стену. Надо немедленно перекрыть пар, иначе колеса начнут вращаться на месте.

Два раза раскачивал вагоны взад и вперед, пока снова не попросил машиниста толкача помочь ему. На этот раз дружными усилиями обоих паровозов удалось стронуть весь состав. Проехав метров сто, он дал сигнал толкачу, что тот ему больше не нужен и может возвращаться.

Теперь все зависело только от него самого. Больше никто не поможет. И не знает машинист, какая беда ждет его. Он открывает еще немного регулятор и подтягивает к центру реверс. Поезд медленно набирает скорость...

Где-то далеко-далеко сзади плывет в морозном мареве белый огонек последнего вагона. В сторону станции он показывает красный свет. И тот фонарик, что с левой стороны хвостового вагона, и тот, что внизу его, тоже показывают оставшимся на перроне красный огонь. Виктор Иванович знает: сейчас там стоят дежурный, все представители, уполномоченные, Кравченко.

С надеждой и тревогой смотрят на эти красные огоньки. Они будут так стоять и смотреть, пока не скроется поезд и останутся только три красные точки в тумане.

Виктор Иванович нажимает на рукоятку сигнала. Ревет ФД во всю свою мощь: длинный, короткий. Это сигнал бдительности. Пусть знают, что не дремлет механик. Пусть спокойно идут

работать...

Он оборачивается в будку, освещенную двумя электрическими лампочками. Стрелка манометра подрагивает на красной предельной черточке - пятнадцать атмосфер. Воды - три четверти стекла. Смотрит, улыбаясь, на помощника, и тот, понимая его мысли, весело говорит:

- Сюда не смотри, Виктор Иванович, ниже красной не пущу!

Дубравин знает, что так это и будет. Не зря помощник прошел его школу и уже поглядывает на правое крыло.

Ветер стих, и ясное небо все усыпано звездами.

Провода телеграфных линий провисли от тяжести намерзшего на них снега.

Дубравин смотрит в окно. Правая рука на подлокотнике, левая на рукоятке песочницы. Вслушивается в работу машины. Он видит ее всю, от переднего бегунка до тендерной стяжки, будто под рентгеном. Дрожит, стучит, грохочет гигантская машина ФД - "Феликс Дзержинский".

Еще немного открывает механик регулятор и снова подтягивает реверс. Пока поезд идет по площадке, по ровной линии, он выслушивает машину. Но не всю сразу, а как врач больного: сначала сердце, потом легкие, каждый орган отдельно. Он как бы выключает все звуки, кроме тех, что определяют работу выслушиваемой детали.

Машина в полном порядке. Скоро начнется уклон, а потом подъем. Теперь надо выгодно использовать всю тяжесть поезда. Надо дать такую скорость, чтобы легко выскочить на гору. А потеряешь скорость до пятнадцати километров, ничем ее не наверстать, поезд неизбежно станет, не вытянет паровоз.

И пять тысяч шестьсот тонн воинских грузов, растянувшись на километр, несутся вниз. Но путь слаб, и надо тормозить. Как обидно, что нельзя дать хотя бы сто километров в час: быстрее и легче выскочил бы на подъем. Когда, наконец, уложат такие пути, чтобы можно было ездить по-человечески!

Дубравин хорошо знает профиль пути. Знает все подъемы, уклоны, мосты, кривые. Без этого ехать нельзя. Ни один машинист не сможет вести поезд, если не знает профиля. Механика, пришедшего с другой дороги, не пустят на паровоз, пока он не изучит новый для него профиль. И даже после этого на первую поездку ему дадут проводника. Дубравин может ехать, не выглядывая в окно. По ходу машины с закрытыми глазами он определит, где находится.

Сейчас перед ним трудная задача. Поезд идет с уклона, а потом, почти сразу, - подъем. "Яму" состав должен проскочить или в сжатом состоянии, или в растянутом. Пока хоть один вагон

в "яме", нельзя ни прибавлять пару, ни уменьшать. Иначе неизбежен разрыв поезда. Обычно Виктор дает нужный разгон и легко преодолевает подъем. Ну, а как быть с этим длинным составом?

В середине спуска он затормаживает поезд почта до полной остановки. Это тоже требует большого умения. Неопытный машинист может так затормозить, что вагоны начнут карабкаться друг на друга, полетят в стороны.

Уже на уклоне открыл регулятор, растянул состав и благополучно миновал обрывное место. Теперь надо преодолеть подъем.

Скорость упала до тридцати километров. Он решает сохранить ее до конца подъема. Но вот на кривой вздрогнула машина, посторонний звук вмешался в гул колес. Еще доля секунды - и паровоз забуксует. Значит, почти неизбежна остановка или большая потеря скорости, которая тоже приведет к остановке.

Он улавливает эту долю секунды, в которую надо дать песок на рельсы. Машина пошла спокойнее, но стрелка скоростемера чуть-чуть сдвинулась влево. Пора дать подкрепление из резервов. Он отпускает реверс на один зуб. Только на один: подъем еще велик, резервы потребуются.

Теперь все чаще вздрагивает паровоз. Левая рука - на рукоятке песочницы, чтобы не прозевать тот момент, когда ее надо открыть. Он высовывается в окно, чтобы слышать машину, чтобы уловить момент перед тем, как она вздрогнет. Пускать песок под колеса, когда они начнут буксовать, бесполезно, вернее вредно. Он будет действовать, как наждак, стачивая бандажи и рельсы.

Все тяжелее выхлопы. Виктор отпускает реверс еще на один зуб. Осталось только два. А потом?

И вот уже скорость двадцать пять километров и реверс отпущен до отказа. Все! Машине отдано все, что можно. Вывози, родимая! Ничего больше не может сделать механик.

Но уже головная часть на ровном месте, уже с каждой секундой паровозу легче; еще сто - двести метров - и вынырнет сзади, будто из ямы, белый огонек хвостового вагона. На площадке можно снова набрать скорость, накопить резервы.

Скоро покажется белый огонек. Машинист оборачивается назад и явственно чувствует, что сердце остановилось: в трех местах поезда струятся кровавокрасные круги. Это кондуктора, вращая фонарями, дают сигнал остановки. Это приказ, который надо выполнить немедленно. И в ту же минуту он слышит крик помощника:

- Букса горит! Останавливают!

Надо остановиться. Надо остановить весь этот воинский груз, закрытый чехлами, почти на гребне подъема. Это даже не танки и не пушки. Это что-то новое, секретное. Этого с нетерпением ждут на фронте. Надо остановиться. Через сколько же часов растащат по кускам этот бесконечный состав? "...Я понимаю, меня надо только подтолкнуть..." Вытаскивать придется одному, вспомогательного не дадут: нет паровозов. А на станциях в это время будут скапливаться другие воинские эшелоны, и поезда с эвакуирующимися заводами, и составы раненых... "Я понимаю... Я не подведу...

Я ручаюсь..." Нет, это не кровь, это красные от бессонницы глаза заместителя начальника дороги Кравченко.

Они смотрят на него: "Родина скажет вам спасибо, Дубравин".

Надо остановиться... Но нет сил протянуть руку к регулятору. Остановиться на подъеме с таким составом - значит, никакими силами его потом не взять.

Надо вытянуть поезд на площадку.

- Горит! Огнем горит! Останавливайте! - слышит он снова.

- Нет! - властно кричит Дубравин, не то отвечая помощнику, не то своим мыслям. - Смотри хвостовой сигнал, оба смотрите!

Сам он наполовину высовывается из окна, и глаза врезаются в темноту. Где же этот белый огонек? Или глаза, исполосованные морозом, ослепленные кровавыми сигналами остановки, перестали видеть? И будто в ответ ему закричали помощник и кочегар:

- Есть! Показался!

- Хвост виден!

Виктор с силой рвет на себя регулятор и резко тормозит. С шумом вырывается воздух из тормозных цилиндров. Поезд останавливается. Дубравин опускается на сиденье, откидывается на спинку. Помощник и кочегар застыли в каких-то неестественных позах.

Так проходит минута. Замолкло все, только нет-нет и всхлипнет автоматически действующий насос. Дазление в магистрали должно пополниться до пяти атмосфер. Тогда насос выключится, тормоз готов к действию. Но кому нужен сейчас тормоз?

Дубравин поднимается. Лицо его серьезно и спокойно.

- Ну что ж, - вздыхает он, - смотрите машину, раз есть возможность.

Помощник и кочегар срываются с места.

Машинист снова выглядывает в окно. Вдоль поезда движутся два огонька: белый и красный. Белый - это главный кондуктор. Он

скажет, что буксу сейчас перезаправят и можно будет ехать. Но как тронуться с места, он не скажет. Красный - поездной вагонный мастер. Он идет заправлять буксу.

- Почему так долго не останавливались? - еще издали кричит главный.

- Не мог, - отвечает Дубравин, - надо было вытащить на площадку хвост.

- Вот проклятые, чтоб им околеть! - в сердцах ругает главный тех, кто недосмотрел за буксой, и миролюбиво добавляет: - Пойду вызывать вспомогательный, вина не наша.

- Вызывать не надо, нет паровозов.

- По частям потащишь?

- Нет, все сразу.

Главный молчит: он не верит в эту затею. Но машинисту не хочется разговаривать, он просит лишь, чтобы поскорее покончили с буксой, пока поезд не замерз.

Спустя полчаса все было готово, и главный разрешил ехать.

Три раза Дубравин раскачивал вагоны взад и вперед, пока не решил, что пора попытаться стронуть с места весь состав. Он думает, что это возможно при одном условии: если ему удастся, действуя одновременно регулятором, реверсом и песочницей, в каждое мгновение трогать с места только один вагон. Нагрузка на паровоз будет возрастать постепенно, как и сила тяги машины, и, когда очередь дойдет до последних вагонов, паровоз уже продвинется метров на двадцать вперед, появится маленькая сила инерции, которая будет помогать ему.

Но как уловить эту ничтожную величину, на которую надо открывать окна цилиндров, чтобы скорость при трогании с места была одинаковой, пока не пойдет весь состав? Откроешь мало - у машины не хватит сил тянуть. Откроешь чуть-чуть больше - паровоз рванет, но состав всеми своими тысячами тонн будет упираться в рельсы, и машина забуксует. Если же превысишь это "чуть-чуть" на микроскопическую величину, поезд разорвется, как бумажный шпагат в сильных руках.

Где же эта граница, эта невидимая величина, единственно необходимая сейчас машинисту? Для каждого веса поезда она разная.

...Левая рука на регуляторе, правая на реверсе.

Медленно сжимаются мышцы левой руки. Со скрипом от мороза, с глухим стоном трогаются с места смерзшиеся первые вагоны. За ними, все увеличивая скрип и стон, тянутся следующие. Тяжко и гулко грохнул выхлоп ччч-ах! И вот уже напрягается, вздрагивает паровоз. Медленно, едва-едва поворачиваются колеса.

Сейчас будет второй выхлоп. Но мелкая, словно судорожная дрожь пробегает по всему корпусу паровоза.

Он угрожающе рычит, и нет у него больше сил. Надо дать новую струю пара, как задыхающемуся больному воздух из кислородной подушки. Но сколько же его надо дать, чтобы не завертелись на месте колеса, не грохнула, как от взрыва, топка?

Дрожит рукоятка регулятора, и эта дрожь передается на руку механика, на плечо, на грудь, на сердце.

По этой дрожи он словно определяет пульс механизма.

Кончики нервов механика будто простерлись по всему огромному корпусу машины, будто перешла к нему ее сила, и не в котле, а в груди его бьются все пятнадцать атмосфер. И он ощущает каждую деталь механизма, как удары собственного сердца. Он улавливает неуловимую долю мгновения, в которую надо вдохнуть новые силы паровозу, и ту величину силы, единственно необходимую для этого мгновения. Он чувствует миг, в который надо дернуть и поставить на место рукоятку песочницы, чтобы она выплюнула на рельсы именно ту порцию песка, который только на эту секунду должен увеличить сцепление колес.

И вот уже опасная секунда миновала, но поезд становится тяжелее, машина уже не дрожит, а содрогается всем своим могучим телом. И снова кончики нервов улавливают доли мгновения, и снова укрощает машину человек.

Сколько времени продолжалась эта борьба, Виктор не мог бы сказать. Но вдруг его лицо, где каждая мышца будто сведена судорогой, становится мягче.

Вес поезда перестал увеличиваться, значит, движется весь состав, значит, он взял его с места, значит, кончился кошмар остановки. Он оборачивается на помощника и кочегара, видит их окаменелые лица и широко раскрытые глаза, и его лицо расплывается в улыбке.

И только большая сила воли помогает сдержать восторженный крик, готовый вырваться из груди.

Помощник бросается к окну, смотрит назад и весело кричит:

- Плывет! Плывет хвостовой огонек!

Теперь Виктор Иванович смело прибавляет пару и подтягивает реверс. Надо ехать на самом экономичном режиме, надо готовить резервы.

Дубравин садится, сталкивает на затылок шапку, вытирает платком весь в испарине лоб.

Одна минута потребовалась на то, чтобы стронуть с места поезд, но за эту минуту сорок раз содрогался паровоз и сорок раз машиниста бросало в пот.

До конечной станции доехали хорошо. Паровоз пришлось протянуть чуть не к выходному семафору.

Потом состав расцепили посередине, он проехал немного вперед и осадил на другой путь первую половину поезда. Теперь они стояли рядом, две половинки. Дальше каждую из них поведет мощный паровоз.

Заправившись водой, Дубравин поехал в депо и сдал машину деповскому кочегару. Потом все трое забрали свои сундучки и отправились в дом для отдыха паровозных бригад.

Отдых! Принять горячий душ, поесть - ив теплую постель. Ведь он не спит уже которые сутки!

По дороге им встретился дежурный по депо. Оказывается, он ищет их.

- Диспетчер говорит: может быть, поедете обратно? - обращается он к механику. - Стоит литерный особого назначения, а ехать некому.

Дубравин смотрит на помощника и кочегара. Те молчат, но по их лицам он видит: "Мы готовы, Виктор Иванович, как вы, так и мы".

- А какой вес поезда? - спрашивает он.

- Тяжелый, - вздыхает дежурный, - три тысячи тонн.

- Ну, такой мы увезем, только пусть получше топку вычистят. Пока будут чистить, можно поесть.

Теперь они идут уже не в дом для отдыха паровозных бригад, а в деповский буфет, находящийся рядом.

По маршрутному листу каждый получает триста граммов черного хлеба, сто пятьдесят граммов колбасы и десяток кругленьких, без оберток, конфеток. На маршрутном листе ставят штамп в рамочке: "Получено".

- Вот как здесь здорово снабжают, - говорит кочегар. - А в другое депо приедешь - один хлеб, да и тот сырой.

- Ну и люди! - улыбается Виктор. - Всегда чемнибудь недовольны. Ведь это тебе сверх нормы дают, да еще по карточкам получишь. Чего же тебе "ще?

Кочегар смущенно молчит.

Они садятся за стол и открывают сундучки. Там тоже кое-что имеется: молоко, вареная картошка, а у помощника даже кусочек сала.

Дубравин берет две конфетки к чаю, а остальные тщательно завертывает и прячет в сундучок. Колбасу разрезает на две равные части и половину тоже прячет.

Через сорок минут паровоз уже был под поездом.

Светало. Мороз упал до тридцати градусов. Телеграфные провода все так же прогибались под тяжестью снега. Утренний

туман еще не рассеялся, и тускло-тускло мерцали огоньки стрелок и семафоров.

Снизу послышалось: "Пое-хали, механик!" Рев ФД прокатился по дремлющей станции. Дубравин опять трижды "раскачивал" вагоны, пока не тронулся с места весь "литерный особого назначения".

На этот раз тянулись долго. Поезд держали почти на каждой станции. В Барабинск приехали, когда начало темнеть.

Дубравин устал. Громко, на всю улицу говорил репродуктор. Передавали сводку Информбюро. Сводка была хорошая.

Он идет по деревянному настилу, держа в левой руке сундучок, а правой мнет ветошь, которую забыл бросить. Спохватывается, что идет медленно и его качает. Надо ускорить шаг, надо обязательно отоспаться. Ведь снова могут вызвать раньше времени.

Ему хотелось идти быстро. Он шел медленно, тяжело. Перед домом приободрился. В кухне Маша приняла у него сундучок и тяжелый ватный бушлат с блестящими пуговицами, для которого было отведено особое место, чтобы не пачкал стену у вешалки.

Он присел на минутку в кухне на сундук. Теплота разливалась по всему телу, глаза слипались. Хотел снять валенки, но не было сил.

- Раздевайся, Витя, сейчас дам горячей воды, - сказала Маша, выходя в сени.

Хотел разуться, но голова повисла, и он просто уперся руками в валенок, чтобы не свалиться. Он так и остался сидеть, пока не скрипнула дверь. Вошла Маша и поставила на плиту кастрюлю. Виктор стаскивал второй валенок, когда она сказала:

- Пока умоешься, как раз суп разогреется.

А он уже клонился на сундук, уже совсем слипались глаза.

- Только пять минут, Машенька, - просит он, - заметь по часам, я сейчас же встану...

- Да умойся хоть, Витя, покушай, ну что же ты?.

Но голова беспомощно стукнулась о доски, и Маше кажется, что это он со сна бормочет:

- Там, в сундучке, конфетки дочке... А ты колбаски поешь... хорошая колбаска... ты не ругайся, много дали, у меня осталось.

Тяжело вздохнув, она идет за подушкой, покрывает ее чистой тряпочкой и подкладываёт под голову мужа. Потом подставляет табуретку под свисшие с сундука ноги. Она вытирает платком угольную пыль, оставшуюся в уголках его глаз, вытирает лицо. С минуту смотрит на мужа, снова тяжело вздыхает и выносит обратно в сени кастрюлю.

Теперь она будет прислушиваться к каждому шороху под

окном... Только бы не стукнула по стеклу палочка, только бы не пришел рассыльный!

ПРОЩАЙ, МОЙ ТОВАРИЩ...

Дубравин был машинистом Транссибирской магистрали. Но теперь эта магистраль превратилась в дорогу жизни всей страны, подобно тому как ледяной путь через Ладогу стал жизненным нервом для осажденного Ленинграда.

Виктор был машинистом первого класса на первой линии борьбы.

Когда кончилась война, Дубравин получил орден Ленина. В первые послевоенные выборы в органы власти стал депутатом Верховного Совета республики.

Трудно верилось в показатели, которых достиг Дубравин. И начальник Омской железной дороги издает приказ: командировать его во все депо. Пусть машинисты сами посмотрят на паровоз Дубравина, посмотрят, как трогается он с места, какие водит составы.

Спустя два месяца, возвращаясь домой, Виктор Иванович обратил внимание на какие-то странные квадратные ямы, выкопанные на равном расстоянии друг от друга вдоль всего пути.

Они виднелись и с левой стороны путей и уходили до самого горизонта, будто две толстые пунктирные линии по краям сплошных нитей рельсов. Дальше ямы были уже не пустые. В них оказались железобетонные тумбы, из которых торчало по четыре толстых штыря. И ему стало вдруг все ясно. Это фундаменты под мачты для электролинии. Через несколько километров показались и самые мачты.

Теперь никаких сомнений не было. Значит, после стольких разговоров действительно начинают электрифицировать участок.

Любая новая стройка в родном краю всегда радовала его. Он любил наблюдать ее от самого начала до конца. Вот он едет на паровозе и замечает, что на пустыре роют фундамент. А в следующих поездках смотрит, как быстро растут стены. Проходит два-три года, и кажется, что новое предприятие стоит здесь десятки лет, и странно, если бы его не было.

Особенно радовало строительство на железной дороге. Даже маленький кирпичный завод, даже новая баня.

И вот опять новая стройка, да не бани, а электрической железной дороги. Но эта стройка не вызвала радости. Даже как будто испортилось настроение.

Поезд шел быстро, и мачты мелькали, как частокол, ограждавший путь. В пейзаж, знакомый до каждого кустика и бугорка, врезалось что-то непривычное, чуждое. Будто

отгородили машиниста от степей и лесов.

Чем ближе подъезжал к дому, тем хуже становилось настроение. От прежней приподнятости и радости не осталось и следа.

Ну зачем Дубравину пересаживаться на электровоз?

Паровоз принес ему уважение товарищей, почет, славу, полный материальный достаток. Он может проехать много километров без набора воды. Но электровоз работает вообще без воды, и это умение, выработанное годами и упорным трудом, уже никому не будет нужно. Он может дать огромную экономию угля.

Но электровозу не нужен уголь. И звание мастера отопления паровоза тоже теперь ни к чему. И его искусство добиваться высокой степени перегрева пара, все его знания и опыт, все, за что он получил ордена, медали, все это никому больше не нужно.

Но главное не в этом. Что ему делать дальше? Он ведь никакого понятия не имеет не только об электровозе, но даже об электротехнике, без которой нельзя и приступать к изучению новой машины. Те немногие познания в области электричества, которые получил в техникуме, давно выветрились. Значит, начинать сначала, с голого места? И все это после того, как он достиг вершин мастерства!

Дома, кое-как перекусив, ушел в свою комнату, сказав, что будет работать. И действительно, он решил ответить на последние письма избирателей. Открыл пишущую машинку, заложил два листа - один с личным бланком депутата, второй чистый - и начал думать, как ответить на лежащее перед ним письмо. Но не мог сосредоточиться, потому что мешал Валерик.

Мальчик сидел в соседней комнате за пианино и разучивал новую для него песню, напевая в такт ударам клавишей:

Я-а зна-а-ю-у, друзь-я-а, что ке жить мне без мо-ря, Как мо-ре мертво-о без ме-ня-а!

На слове "море" он фальшивил, начинал сначала и снова не мог найти нужную ноту.

Виктор Иванович прислушивался к звукам за дверью, с раздражением ожидая фальшивой ноты. Потом не выдержал и вышел к сыну.

- Неужели ты не слышишь? Мо-оре, мо-оре, а ты бьешь мо-ре-ее, - говорил он, ударяя одним пальцем по клавишам.

Он вернулся к себе, расправил под машинкой зеленое сукно письменного стола, напечатал: "Уважаемый товарищ!" - но тут раздался телефонный звонок - из горкома партии сообщали, что через день заседание бюро и его просят присутствовать.

Положив трубку, отодвинул и закрыл машинку.

Как же пересаживаться на электровоз, если это совсем другая

машина? Почему он должен менять профессию? Да и сумеет ли освоить электровоз, к которому у него нет никакого интереса. Годы ведь ушли! На паровозе все ясно: в топке горит огонь, вода в котле кипит, и образуется пар, который толкает поршень в цилиндре то взад, то вперед. С помощью простых сочленений поршень соединен с колесом, и оно вращается. Этот процесс ясен любому, даже ребенку. Все это можно увидеть собственными глазами. А почему движется электровоз? Где-то, в сотнях километров от локомотива, вырабатывается никем и никогда не видимый-ток, невидимо и бесшумно идет по тонким проводам, тая в себе огромную силу, которая заставляет вращаться двигатели. Здесь надо все только представлять в своем воображении, ничего нельзя увидеть. Фантастика какая-то! Ищи этот невидимый ток, если он вдруг пропадет или пойдет не туда, куда надо. Ему хочется сейчас же найти, по каким законам и куда движется ток.

Виктор Иванович резко поднимается, приоткрывает дверь, громко зовет:

- Вера!

Из кухни вбегает старшая дочь:

- Что, папа?

- Принеси мне скоренько твой учебник по физике, - говорит он, не глядя на нее.

...Он листает учебник. Законы Ома, Фарадея, Кулона, Джоуля... Ага, вот что-то о направлении тока. Это закон Ленца:

"Индукционный ток всегда имеет такое направле-1 ние, при котором его магнитное поле противодействует изменению магнитного потока, которое является причиной возникновения этого тока".

Что это значит?

Он снова листает учебник, выхватывая наугад фразы.

"Для синусоидального переменного тока эффективное значение его меньше амплитудного в 2/V3 раза..."

Сам черт ногу сломит.

Из-за двери доносится все тот же мотив: "Я-а знааю-у, друзь-я-а..."

Но это же немыслимо! Сколько можно разучивать одну музыкальную фразу? Теперь начался там какойто спор.

Раньше ни шум, ни музыка, ни разговор за дверью не могли бы отвлечь его от работы. Напротив, ему приятно было ощущать жизнь семьи совсем рядом, этот шум был просто необходим, как певцу аккомпанемент, как машинисту грохот паровоза. Ведь этот грохот не только не мешает, а успокаивает, показывает, исправно ли работают механизмы. Сделайте паровоз бесшумным - и

механик не сможет на нем ехать, он не будет слышать пульса жизни машины. Вот так же Виктору Ивановичу надо было ощущать жизнь семьи за дверью своего кабинета.

Но сейчас все его раздражало. Он стал прислушиваться к спору. Оказывается, пришла младшая дочь Тамара и потребовала, чтобы Валерка освободил ей место.

Виктор Иванович представляет себе ее лицо: задорный носик, быстрые глазенки. Она решительно махнула рукой: "Марш отсюда!" - и метнулись в сторону косички.

Как странно получается! Валерик старше ее, он мальчишка, но всегда и во всем уступает ей. То ли он такой тихоня, то ли девочка очень боевая.

...Конечно, на электровозе чище и легче работать.

Там все готовое. Не нужны ни пар, ни вода, ни уголь - сел и поехал. Машинисты приходят туда, как служащие в контору, при галстучках и с бутербродами, завернутыми в газетку. В зимние холода незачем открывать окна. Стекла обдуваются воздухом и не замерзают. Щетка очищает их, как в автомобиле. Но мало ли есть удобных и красивых машин! Надо же знать их, уметь на них ездить.

Виктор Иванович с раздражением смотрит на дверь. Он слышит голос жены. Аккорд обрывается...

Нет, все равно невозможно здесь сидеть.

Он поднимается, бессвязно объясняет Маше, что у него срочное дело, и уходит. Машинально направляется в депо, напевая застрявшее в голове: "Я знаю, друзья, что не жить мне без моря..."

На двери дежурного по депо большой плакат. Сверху призыв: "Работать зимой так же, как летом!" Ниже надпись крупным шрифтом: "Как водить поезда в зимних условиях". А еще ниже - буквами чуть ли не в ладонь величиной: "Опыт работы машиниста В. И. Дубравина".

Он смотрит на свой портрет, обрамленный текстом его доклада. Плакат напечатали в Москве. Сюда его приклеили давно. Виктор Иванович так привык к нему, что не только перестал обращать на него внимание, но просто больше не замечал. А сейчас этот лист бумаги резанул глаза. Он попятился назад, быстро пошел в другую сторону.

Сняли бы хоть скорее, а то людям на смех. Теперь уже, наверно, печатают другие плакаты, в которых описывается лучший опыт электровозников.

И, как назло, глаза уставились в красное полотнище над воротами депо:

"Паровозники! Будем работать, как лучший машинист В. И.

Дубравин".

Это тоже теперь уберут...

- Привет, Виктор Иванович! - слышит он чей-то голос и ежится, будто его застали за нечестным делом.

- Привет! - поспешно отвечает он, оборачиваясь.

Перед ним радостный, улыбающийся нарядчик.

- Дождались, Виктор Иванович! -говорит он, потирая руки и не замечая смущения Дубравина. - В белых перчаточках теперь поезда будем водить, Виктор Иванович! Идите скорее в брехаловку, там все собрались...

- Да... конечно... - силится улыбнуться Дубравин, с облегчением замечая, что нарядчик проходит мимо, не собираясь останавливаться.

Нет, в нарядную он не пойдет! Надо сначала самому разобраться во всем, что происходит.

Он идет в сторону вокзала.

На перроне людно. Только что пришел экспресс.

Рядом стоит скорый Ленинград - Хабаровск, прибывший немного раньше. Ярко горят станционные огни.

Сколько человеческих судеб! Сколько надежд, радости, горя везут люди в поездах!

Поток устремился в ресторан. А вот этот, в очках, смело пересекающий поток, ищет газетный киоск. Он купит все центральные газеты, если они остались, купит городскую, областную, районную, многотиражку и, если бы продавалась стенная газета, купил бы и ее.

Когда поезд тронется, он, усевшись поудобней и предвкушая удовольствие, будет читать о том, как живут далекие для него люди Барабинских степей. С таким же интересом будет смотреть газеты, добытые на других станциях, о жизни в Кулундиисках степях, о прокатчиках Новосибирска, студентах Томска. Он берет от своего путешествия все, что может.

А вот выскочили трое в расстегнутых пижамах, с беспокойными, блуждающими глазами. Расталкивая людей, глядя поверх толпы, они тоже ищут киоск.

Это преферансисты. Они проводят в поезде бессонные ночи, успели истрепать свои карты и ищут, где бы купить новую колоду.

Но самое интересное - наблюдать гуляющих. Молодой человек шагает размеренно, чинно, о чем-то сосредоточенно думая. Наверно, только что окончил институт и едет к месту работы. Он понимает, что инженер, прибывший из столицы с путевкой за подписью министра, должен иметь солидный вид...

Вот медленно прохаживаются пожилые люди: муж и жена.

Они стараются не удаляться от своего вагона, идут молча. Возможно, ездили в отпуск или в Ленинград к сыну, а теперь возвращаются домой, полные впечатлений. Им не до разговоров. А вот эта парочка явно познакомилась только в вагоне. Они ходят от края и до края поезда. Оба очень молодые и очень стеснительные, держатся на почтительном расстоянии друг от друга. Интересно, о чем они говорят! Чем окончится их знакомство? Может быть, через несколько станций кто-то из них сойдет и больше никогда они не увидятся. А может быть... Кто знает, что может быть, как сложится их судьба!

Как сложится судьба! Нет, судьбу надо складывать, а не ждать, пока она сама сложится .. Надо прежде всего решить: идет ли он на эту чистенькую, но чужую машину.

Работы по электрификации шли полным ходом. Две группы монтажников от Чулымской и-Барабинска тянули линию навстречу друг другу. В поездах, которые водил Дубравин, все чаще попадались платформы с мачтами и проводом для новой линии. С каждой поездкой все длиннее становился путь, огражденный частоколом мачт, накрытый паутиной проводов. Эти провода мешали ему, будто загородили от него небо, будто весь путь загнали в туннель.

При очередной командировке в Москву, на какойто станции, как только к поезду прицепили электровоз, Виктор Иванович, спросив разрешения, поднялся в кабину. Он вошел и подумал: "Да, это, конечно, не будка, как на паровозе, а кабина, иначе ее не назовешь". Устланный линолеумом пол, стенки, как в вагонах метро, электропечь с регулируемым нагревом.

Чисто, тепло, уютно. Перед механиком - щиток с кнопками и две рукоятки на контроллере. Это приборы управления - словно в трамвае. Правда, кое-что перешло сюда с паровоза: знакомый, родной кран машиниста для торможения, песочница, скоростемер... Паровозники называют его "доносчиком". Он показывает и одновременно записывает на ленту не только скорость движения, но и каждый шаг машиниста. По ленте видно, когда, как и где, в скольких метрах от светофора, или стрелки, или разъезда начал тормозить механик, какую степень торможения дал, как ехал и на подъем и спускался с уклона, буксовала ли у него машина и сколько времени, где его действия были правильны, а где ошибочны. И если случится что-либо с поездом - только правду надо говорить, потому что "доносчик" все знает, все видел, все записал.

И автостоп здесь точно такой, как на паровозе. Если впереди покажется красный свет, где-то над головой возникнет удивительно противный звук, что-то среднее между скрипом ножа

по тарелке и свистком футбольного судьи. Так будет продолжаться девять - двенадцать секунд. Если машинист никаких мер не примет, автостоп сам даст экстренное торможение и остановит поезд. Этот нескромный прибор вмешивается в действия механика не только при красном свете.

Он начинает свою "музыку" перед станциями, разъездами, всюду, где надо сократить скорость или призвать машиниста к бдительности.

Видно, не без задней мысли конструкторы дали ему такой противный голос: чем бы ни был занят машинист, он бросит все, только бы унять автостоп, только бы заставить его замолчать.

Дубравин обратил внимание на то, как чисго одет машинист, как легко и спокойно ведет состав. Странным казалось, что впереди кабины ничего нет. Даже у шофера перед глазами часть машины, а тут рельсы бегут прямо под ноги. Зато как хорошо видно все, что делается впереди, и справа, и слева.

Виктор Иванович задал несколько вопросов механику, и о чем бы ни зашла речь, получалось, что здесь во много раз лучше и легче, чем на паровозе.

По возвращении домой Дубравин увидел, что депо продолжает жить тревожной, настороженной жизнью.

Ни один машинист не имел достаточного образования, чтобы начать изучение электровоза. Повсюду собирались паровозники, спорили, судили-рядили, как быть дальше. Бывший напарник Дубравина, прекрасный механик, так подвел итог одного из споров: "На мой век паровоза хватит. Пусть другие учатся". Эта фраза поползла по депо, звучала как призыв. Но многие механики сами побывали на электровозах, многие передавали то, что слышали от людей, и, когда началась запись на Омские краткосрочные курсы, десятки машинистов подали заявления.

Дубравин заявления не подал. А в депо только и говорили о новом виде тяги.

...По всей необъятной стране день и ночь идут угольные эшелоны. По всей стране разбросаны тысячи железнодорожных угольных эстакад. Круглые сутки бесконечной конвейерной лентой поднимаются на эстакады груженные углем вагонетки, соединенные тяжелой цепью, чтобы заполнить бездонные бункеры.

А внизу уже дожидаются, уже стоят в очереди, гудят ненасытные паровозы: давай уголь! И тысячи черных, как этот уголь, людей не успевают открывать бункерные крышки: каждая пятая угольная шахта в стране отдает всю свою добычу железнодорожному транспорту.

Пятьсот вагонов угля в час заглатывают пасти паровозных

топок. И только двадцать из них расходуются с пользой.

Четыре процента! Таков в среднем КПД -коэффициент полезного действия паровоза. А у электровоза- до семидесяти процентов.

...Есть ли у него право не идти на электровоз? Он кадровый рабочий, дважды "Почетный железнодорожник", депутат, коммунист. Что же, бежать от новой техники в другое депо? Но ведь электровоз догонит.

Да и бегал ли он когда-нибудь от трудностей? Чего же бояться? Лишнего труда, пока будет осваиваться машина? Так ему ли бояться труда! Сами названия медалей "За трудовое отличие", "За трудовую доблесть", "За доблестный труд" и орден Трудового Красного Знамени свидетельствуют, что он получил их за труд, за преодоление трудностей.

Да и действительно, не так страшен черт, как его малюют.

Решение созревало постепенно, оно укреплялось, цементировалось, пока не вылилось в страстное желание покорить эту новую машину, взять новую высоту.

Он начал учиться на деповских курсах без отрыва от основной работы.

У него сильная воля. Он не видел ни долгих зимних ночей, ни чудесных летних дней: сидел за книгами. С каждым днем распутывались бесконечные лабиринты электрических схем, он уже отчетливо представлял пути тока, так же отчетливо, как путь пара или воздуха в паровозе. Совсем не страшными оказались Ом, Фарад ей, Кулон, Джоуль, Ленц...

Он сидел за книгами и работал на паровозе, как положено работать машинисту первого класса, признанному страной.

И только однажды дрогнуло и сжалось сердце:

предстояло совершить последний рейс на паровозе. В последний раз он шел с сундучком. На электровозе железный сундучок не нужен. Там нет воды, угля, пара, грязи. Там не нужна железная оболочка для сохранения пищи. В последний раз он осматривал и готовил к рейсу паровоз. "Прощай, мой товарищ, мой верный слуга..."

Трудно было Дубравину прощаться с паровозом.

Казалось, он свыкся с мыслью об электровозе, заинтересовался им, уже не терпелось ему совершить свой первый рейс. Он убедился, как велики преимущества электровоза, насколько легче на нем работать, какие огромные перспективы для развития транспорта открывает электротяга, И все же... Ведь он любил паросоз! Есть в этой машине какая-то особая сила, что притягивает к себе.

Да, паровоз - это уголь, мазут, копоть. Он морально отжил

свой век и должен уйти со сцены. Но Виктор Иванович прощался с машиной, на которой проработал больше двадцати лет, как с живым существом, как с ветераном труда, идущим на отдых.

Дубравину был дорог отживший свой век паровоз, как дороги сегодня боевому генералу гимнастерка и шлем времен гражданской войны.

ПЕРЕД КАТАСТРОФОЙ

Владимир Чеботарев совершил аварию и был переведен на должность помощника машиниста. Такая мера наказания широко практикуется на транспорте.

Владимир понимал, что поступили с ним правильно, но тяжело переживал свой позор. Перед вечером зашел к нарядчику и тот сказал, что заболел помощник Дубравина и Владимиру придется ехать вместо больного. Настроение совсем испортилось. Решил зайти в столовую, потом часика два поспать и - в рейс.

В деповской столовой людно и шумно. Толпятся рабочие у буфетной стойки, у кухонного окошка. За столиком в углу сидят четверо. У ног каждого из них - железный сундучок. Это машинисты высшего класса, водители экспрессов и тяжеловесных поездов.

Их легко определить и по осанке, и по чувству собственного достоинства, написанному на лицах, и по тому, с каким уважением здороваются с ними рабочие.

Чуть поодаль, за отдельным столиком, низко склонившись над тарелкой слесарь Тюкин. Он в грязной спецовке, зашел перекусить. Увидел Чеботарева, радостно вскочил:

- Володька! - и увлек его за свой столик. - Вот молодец, что зашел. Обернувшись по сторонам, хитро подмигнул: - Я как знал. - И он быстро и ловко, не вынимая бутылки из бокового кармана, налил в стакан, подставил второй. По всему видно, что уже прикладывался к этой бутылке.

- Ты что! - возмутился Чеботарев. - Мне ж в поездку, - и он отодвинул от себя стакан.

- Так и я ж на работе, - пожал плечами Тюкин, словно это был самый веский довод за то, чтобы выпить.

Четверо маститых, наблюдавших эту сцену, переглянулись. Молча поднялся самый старший из них машинист Карбышев, подошел к Тюкину. Молча встал возле него. У Тюкина забегали глаза.

- Вылей! - властно сказал Карбышев.

- А я не за ваши, за свои... а вы разве не пьете?

- Пьем! - отрубил Карбышев и выплеснул в пустую тарелку стакан. - Пьем! - И он медленно пошел на свое место.

Тюкин не осмелился ничего сказать. А Карбышев обернулся к

Чеботареву:

- А ты тоже! Машинист, называется.

- Был машинист, да теперь помощник, - развязно ответил Владимир.

- С таким дружком и в кочегары недолго.

- У дружка руки золотые.

- Руки-то золотые, потому и сходит все с рук.

Чеботарев не ответил. Поднялся, пошел. Вслед засеменил Тюкин.

- Сколько раз тебе говорил, - зло сказал Владимир, когда они вышли. Выпить тебе негде, что ли?

Вечно в столовую прешься.

- Да ну их к черту, - отмахнулся Тюкин. - Ты с кем едешь?

- С Дубравиным, - нахмурился Владимир.

- Мировая машина. Сейчас только клапан на инжектор поставлю, и будут заправлять.

Так и не поев, Чеботарев отправился домой, а изрядно выпивший Тюкин в депо. На канавах стояло несколько холодных паровозов. В окне одного из них ярко горела переносная лампа. Ниже номерного знака табличка: "Старший машинист В. И. Дубравин". На эту машину и поднялся Тюкин. Видно, что он уже здесь работал. Взял с сиденья медный клапан размером с пол-литровую банку и попытался ввернуть в тело котла. Резьба ке наживлялась.

- Э, черт возьми! - ругается он.

- Давай быстрей, Тюкин! - раздается крик снизу. - Машина под первый номер идет

- Сейчас, сейчас...

Он наживил, наконец, резьбу, завертывает ключом.

Клапан идет туго, сил не хватает.

- Вот проклятый! - бормочет Тюкин.

Решительно хватает кусок дымогарной трубы, валявшейся на полу, насаживает ее на рукоятку ключа.

Рычаг получился длинный. Тюкин налег на него всем телом. Скрипя и подрагивая, клапан пошел. Медный клапан шел не по резьбе. Острая стальная резьба котла резала тонкие медные нити, прокладывая себе новый ненадежный путь.

Клапан стоит точно пробка в бочке. Одна его сторона - под напором воды и пара в котле, вторая - выходит наружу в будку машиниста.

...Холодный паровоз вытащили из депо и развели пары. А ненадежно поставленный клапан так и остался, точно мина замедленного действия. Где-то она ботает...

На душе у Чеботарева было тяжело, потому и шагал тяжело,

смотрел вниз. Нет, он никуда не смотрел.

Он думал, и думы его были горькие.

По звукам, доносящимся со станции, по зареву и отблескам угадывалась кипучая жизнь железнодорожного узла. Надрывались сигналы локомотивов, точно хотели перекричать друг друга, и в их голоса вплетались тонкие, визгливые или дребезжащие звуки рожков и свистков. Время от времени, заглушая все вокруг, заревет мощный паровоз, и гулко ответит ему далекое эхо.

Выскочил из переулка Сенька, паренек лет десяти с пионерским галстуком и рюкзаком за спиной,

- Драсте, дядя Володя. Вы в поездку?

- Угу.

- А мы в лагеря едем, - радостно сообщает тот, - всей школой едем.

- Угу, - снова мычит Владимир.

Отчетливо донеслась серия гудков - три раза по три: ту-ту-ту, ту-ту-ту, ту-ту-ту!

- Опять зашились, шестая машина подряд под уголь запросилась, - говорит Чеботарев как бы самому себе.

- А откуда вы знаете?

- Ну, слышишь, девятый путь высвистывает.

- Верно, дядя Володя! - восторгается он.

У школы - гурьба ребят.

- Пока, дядя Володя! - припрыгивая, побежал к ним Сенька.

А Чеботарев снова углубился в свои невеселые думы. Он идет уже по виадуку, бесконечно длинному и ажурному, взметнувшемуся над железнодорожным узлом. Зеленые, красные, желтые лучи выходных сигналов, стелющийся над рельсами синий свет карликовых светофоров, молочные огни стрелок и над всем этим гигантские прожекторные мачты, будто наклонив огненные головы, уставились на крыши вагонов и на рельсы. Широкая сеть тяжелых проводов, распластавшись над всеми путями, к границе станции сужается и, слившись в две нити, убегает куда-то, тая в воздухе.

На фоне станции в застекленной башне перед электрическим табло с бегающими огоньками виден человек. Он нажимает кнопки, что-то говорит в селектор.

И в такт движения его пальцев меняют цвета огни светофоров, загораются на них цифры, щелкают на путях автоматические стрелки, качнувшись на стрелках, расходятся в разные стороны локомотивы, которые, казалось, вот-вот столкнутся. Все подчинено единой воле.

Вырвались из темноты глазницы электровоза, осветив стрелочную будку и стоящего за ней молодого железнодорожника

с сундучком в руках. Он вглядывается куда-то, посматривает на часы, переминается с ноги на ногу. Из мощных репродукторов на столбах над всеми путями несется голос:

- Бригаде Титова, приготовиться! В шестой парк осаживаю нефтеналивной!

Осветилась и расплылась в полумраке фигурка девушки в форменной тужурке. Юноша с сундучком заметил ее, пошел, будто и не стоял за будкой, не дожидался. И вот они уже идут вместе.

* * *

Паровоз стоит у поворотного круга. За правым крылом машинист Виктор Дубравин, за левым - помощник машиниста Влади: шр Чеботарев. Подрагивает стрелка манометра. Всхлипывает насос. Бьется огненная полоска между топочными дверцами.

- Под экспресс давай на контрольный пост! - доносится снизу крик.

Виктор поднимается, медленно передвигает рычаг реверса. Взялся за рукоятку регулятора. Он понимает:

сейчас еще можно отказаться. Дадут другого помощника.

- Что ты копаешься! - слышен нетерпеливый крик снизу. - Экспресс на подходе.

Это последний рейс Дубравина на паровозе. Он не хочет ссориться. Он открывает регулятор. Глухо ударили золотники, зашипели паром цилиндровые краны.

Паровоз тронулся. Почти безлюдный перрон под большим гофрированным навесом. Длинный пассажирский состав. В окнах свет. Звонкие удары молотка по колесам. Отцепился от состава и ушел электровоз. Подъехал и стукнулся буферами паровоз Виктора.

- Механик! Проверим тормоза! - кричит кто-то снизу.

Виктор дает два тихих коротких гудка и повертывает тормозную рукоятку, стоящую возле злополучного кчапана.

На путях шеренга красных огней светофоров. Главный кондуктор посматривает то ка часы, которые дерXVHT в руке, то на светофор. Смотрит из окна и Виктор.

Погас красный луч, и ударил зеленый.

- Поехали, механик! -кричит главный и дает свисток. Владимир открывает регулятор.

- Чч-ах! - ухнула топка. Плавно трогается состав.

В будке машиниста яркий свет четырех электрических лампочек. Справа Дубравин, слева - Чеботарев. Оба смотрят в окна. Разбегаются рельсы, разноцветные огоньки.

Идет красавец экспресс. В станционных бликах сверкают

вагоны, покрытые красной эмалью, и белые лакированные буквы: "ЭКСПРЕСС". Черным блеском отливает котел паровоза, перепоясанный медными, горяшими обручами.

Сидят в будке два человека. Один справа, другой слепа. Вращается на тендере огромный винт по форме тстг о такой, как в мясорубке. Он подает в топку уголь.

Манометры. Рычаги. Тяги. Вентили... Рукол;ка килектора. Клапан.

Миновали станцию. За окнами темнота. Два человека молчат. Несутся рельсы. Тревожно грохочут дышла, колеса. Мелькают блокпосты, телеграфные столбы. Далеко впереди зеленый огонь светофора.

- Зеленый! - кричит Владимир.

- Зеленый! - отвечает Виктор.

И снова молчат.

На большом циферблате дрожит стрелка: 90 километров в час.

- Уголь смочить бы надо, - говорит Дубраыш.

- Уголь - моя забота, - отвечает Владимир.

- Ну, вот что! - недоволен Виктор. - Давай сразу договоримся: за правым крылом - я. И не дам тебе командовать.

- А за топку отвечаю я. Не хватит пару, тогда и будешь командовать.

- Тогда поздно будет... Скоро разъезд Бантик, - примирительно говорит Виктор.

- Да-а, Бантик, - задумчиво отвечает Владимир. Он смотрит в окно. Темно. Едва угадываются контуры деревьев. Видны лишь кудрявые верхушки, в темноте похожие на клубы дыма. Постепенно в его воображении они светлеют, и вот уже это не дым, а пар. И вспомнилось Чеботареву прошлое.

...Пар клубится, вырываясь из паровозного гудка:

короткий, длинный, два коротких. Под лучами солнца ожил лес. Владимир несется на паровозе и дает эти сигналы.

На семафоре - красное очко, и поезд останавливается. Соскочив с паровоза, мчится к дежурному, стоящему на платформе.

- Долго простоим?

- Минут тридцать. Пропустим литерный и два порожняка.

Он радостно бежит дальше, туда, к семафору на насыпи, где появилась фигурка Вали. Взявшись за руки, они идут к лесу. И вот уже сидят под сосной, на крошечной полянке, окруженной высоким, густым кустарником. Володя пытается отнять у Вали травинку, точно такую, какими усеяно все вокруг. Но ему, должно быть, необходим именно этот, Валин стебелек. Она вырвала свою

руку, отвела далеко назад.

Его пальцы, скользя по ее руке, тянутся за стебельком, они уже у самой ее кисти, но вдруг застыли. Разжалась Валина ладонь, упал в траву никому больше не нужный стебелек...

...Сидит Чеботарев за левым крылом, думает. Виктор высовывается в окно, смотрит вперед, дает длинный гудок.

Владимир слышит этот долгий гудок. Но в его ушах - другой сигнал. Перед его воображением все та же крохотная поляночка. Спиной к нему сидит на пеньке Валя, низко опустив голову. Он растерянно переминается с ноги на ногу, не зная, что сказать.

Гремит гудок.

- Это меня зовут, Валечка, - робко говорит Владимир.

Молча, не поворачиваясь, сидит Валя. Вздрогнули плечи.

- Ну, что ты, Валечка? Ты ведь сама...

Будто током ударило, вскочила Валя. Застыла, как окаменевшая, подняв голову, всем корпусом подавшись вперед лицом к нему. Великолепно и страшно это гордое, поднятое вверх лицо.

- Что сама?! - выдохнула она, наконец.

- Ну... сюда пришла...

Как удар хлыста раздалась пощечина.

- Вот, дура! -вырвалось у него. В сердцах он говорит еще что-то, но все заглушили гудки, зовущие его, И, не оборачиваясь, он побежал к станции,

- Пар садится.

Эти слова Дубравина отрывают его от воспоминаний.

- Пар - моя забота, мы уже договорились с тобой.

- Ну, твоя, так твоя. Я просто, чтобы ты не прозевал.

- Я прозеваю, ты не упустишь.

- Ты это про что?

Чеботарев медленно открывает левый инжектор, тщательно вытирает ветошью руки;

- Про пар.

И снова оба смотрят в темноту,

- Зеленый!

- Зеленый!

Бьется огненная полоска между топочными дверцами, сверкает медью и краской тормозной кран. Рычаги.

Вентили. Рукоятка. Маховик. Клапан.

Грохочут дышла и колеса, "играют" затянутые в чехлы переходы между вагонами. Открылась дверь вагона No 7, проводник, уцепившись одной рукой за поручень, выглянул в темноту, швырнул с лопатки мусор.

В коридоре вагона пусто и тихо. Не угомонились только

преферансисты. Табачный дым окутывал четырех игроков и двух болельщиков, но никто не обращал на это внимания. Один из игравших, похожий на плакатного лесоруба, без конца повторял: "Жми, дави, деревня близко". Что это означало, трудно было понять.

То ли он поторапливал партнеров, то ли призывал бить карту, но каждый раз громко и добродушно смеялся своей остроте. Играл он плохо, часто рисковал и проигрывал, но, казалось, приходил в еще лучшее настроение. "Вот это влип, - восторгался он от собственной неудачи. - Ну, жми, дави, деревня близко".

Рядом с ним чернявый юноша, суетясь и нервничая, поучал остальных, щеголяя преферансной терминологией, по-петушиному напускаясь на каждого, кто, по его мнению, допускал ошибку.

Как только на чемодане, заменявшем стол, появлялся туз, третий партнер, капитан танковых войск, неизменно отмечал: "Туз и в Африке - туз". Он же монотонно подсчитывал: "Три козыря вышло", "Пять козырей вышло"... И только четвертый игрок, сухонький старичок, действовал молча и сосредоточенно, но партнеры то и дело покрикивали на него:

- Кто же с туза под играющего ходит.

Или:

- Нет хода, не вистуй!

Старичок застенчиво оправдывался или молча сносил упреки.

Болельщики, получившие последнее предупреждение чернявого юноши ("Еще слово, и я выставлю вас из купе"), точно немые, издавая нечленораздельные звуки, тыкали пальцами в карты игроков, не в силах сдержаться, чтобы не дать совета.

Два купе занимали спортсмены-легкоатлеты. Они ехали не то на соревнования, не то на совещание в Москву. Из-за дверей купе слышался смех и громкий говор, но, когда они появлялись в коридоре, пассажиры в полной мере чувствовали, как велико их превосходство над всеми. Чувство собственного достоинства не покидало их. Они словно были одни в вагоне: никого не замечали, ни с кем не разговаривали, и вид у них был серьезный, деловой. На больших стоянках соскакивали на противоположную от перрона сторону и бегали взад-вперед от паровоза до хвостового вагона, и лица у них становились еще более ответственными.

По соседству со спортсменами ехала молодая женщина с четырехлетней Олечкой и два небритых студента-заочника. Должно быть, им предстоял экзамен:

обложившись на своих верхних полках учебниками, они

озабоченно листали их, делали выписки, время от времени консультируясь друг с другом.

Полной хозяйкой вагона чувствовала себя Олечка.

Ее огромные голубые банты мелькали то возле проводников, то в противоположном конце вагона. Она принимала деятельное участие в уборке, держась за рукав пылесоса, забегала во все купе, серьезно объясняя, с кем и куда едет, задавала бесчисленные вопросы, восторгалась беленькими домиками, проносившимися мимо окон... Всюду ее принимали радостно и ласково, спортсмены - снисходительно, и только преферансистам было не до нее. Олечку обильно угощали. Вызывая улыбки, она запихивала в свои крошечные кармашки конфеты, солидно комментируя: "Это ка после". А потом Олечка рассмешила всех, поплатившись за это свободой. Пожилая женщина, которая была недовольна своим местом, постельным бельем, сквозняками, плохим обслуживанием- одним словом, всем, - позвала проводника, заявив, что у нее капризничает радио.

- А вы нашлепайте его, - посоветовала Олечка. - Когда я капризничаю, мама дает мне шлепков. Больнобольно!

Покрасневшая от смущения молодая мамаша молча потащила девочку в купе...

Пассажиры разошлись по своим местам. Только один человек стоит в коридоре у окна и смотрит в темноту.

Это Андрей Незыба. Он работает в Москве и едет из командировки. Скоро столь дорогие для него места, и спать он не может: экспресс приближается к разъезду Бантик.

Владимир Чеботарев поглядывает на манометр, то прибавляя, то уменьшая подачу угля в топку легким поворотом маленького вентиля. Время от времени поднимает ручку своего инжектора, и слышно, как вода пробивает себе путь в котел.

За правым крылом - Дубравин. Он держит одну руку на тормозном кране, вторую - на карнизе раскрытого окна и смотрит в темноту. Правый инжектор, тот, что ставил слесарь,Тюкин, пока бездействует. Это могучий аппарат. За две с половиной минуты он нагкгтает в котел тысячу литров воды.

Мелькают деревья, домики, зеленые огоньки. Скорость девяносто шесть километров в час. Едут молча.

Разговаривать нет времени, да и не услышать ничего 31 грохотом паровоза.

Одна за другой проносятся станции. Поезд скорый, остановок мало.

До станции Матово оставалось пятнадцать километров. Начинался уклон. Машинист рванул на себя рукоятку регулятора, перекрыв выход пара в цилиндры.

А бешеное парообразование продолжалось. Гудел котел от напряжения. Надо немедленно дать выход пару или качать воду. И помощник открыл мощный правый инжектор.

Ненадежно поставленный клапан вышибло с силой снаряда. Он пролетел мимо уха машиниста, ударил в железную стену и рикошетом пронесся в тендер.

Кипящая вода, перегретая до двухсот градусов, увлекаемая паром, как огнемет, била в железную стену. Острой пылью брызгнуло стекло четырех электрических лампочек. Свет погас. Густой, непроницаемый пар метался по будке. Как в смерче, носились и с грохотом сталкивались бидоны, масленки. Цепляясь за приборы и вентиляцию, пар свистел и выл.

Дубравин не мог сообразить, куда ему деться. Сцинка его сиденья упиралась в стену, о которую билась струя, и, разбрызгиваясь, окатывала его кипятком. Впереди-нагромождение приборов и тоже стена. Слева, совсем рядом, как шлагбаум, - струя. Справа окно. Машинист оказался зажатым на площадке в полквадратных метра, отрезанный от тормозного крана, хотя до него рукой подать.

В момент удара Дубравину обожгло лицо, грудь и руки.

О грозящей катастрофе в поезде не знали.

- Может быть, завтра доиграем? - робко спрашивает партнеров старичок преферансист, - поздно уже.

- Э-э, нет, - возражает капитан, - завтра жена и одного круга не даст мне сделать.

- До завтра еще дожить надо, - замечает болельщик.

- Жми, дави, деревня близко.

В коридоре появилась девушка в форме связистки.

- Кто забыл дать телеграмму? - говорит она.

- Вот хорошо, - выглянула из купе Олечкина мама. - Возьмите, пожалуйста.

Связистка подсчитывает слова:

"Приезжаем завтра экспрессом. Вагон 7. Лида".

В соседнем вагоне возле входа в умывальник четверо ребят в трусиках, во главе с Сенькой, который встретил Чеботарева по пути в школу.

- Мишка не побоялся бы, а тебе слабо, - шепчет один из мальчишек.

- Мне слабо?! -тоже шепотом возмущается Сенька, бросая взгляд на стоп-кран.

- А вот и слабо!

- Мне слабо?! - делает он шаг в сторону крана...

В служебном отделении этого же вагона сидя дремлет проводник. Дверь ходит взад-вперед, и щелка то больше, то

меньше. Старик "клюет". Голова падает на грудь и снова поднимается.

- И не пузырься, все равно слабо! - подстрекают Сеньку.

- Ах, так, уже едва не кричит он, хватая стоящую рядом лесенку (кран высоко, не дотянуться).

Встав на две ступеньки, решительно взялся за рукоятку. Видно, что сейчас рванет. - Ну! - торжествующе говорит он. - Скажи еще раз "слабо".

Поезд дернулся, со стуком распахнулась дверь проводника. Он схватился, выглянул в коридор.

- Вы что делаете! - бросился к ребятам.

В диспетчерской из репродуктора раздается голос:

- Экспресс номер один проследовал раньше времени на четыре минуты. На стрелках прошел с превышением скорости.

- Что они, с ума сошли! - возмущается девушкадиспетчер, нажимая на кнопку селектора. - Шумилов! - кричит она. - Машинист Шумилов.

- Я - Шумилов! - отвечает машинист с тяжело идущего паровоза.

- Давай веселей, дорогой, чтоб не задержать встречный экспресс, он ведь с ходу идет.

- Успею, - отвечает машинист, взглянув на часы.

Это тянется на подъеме длинный состав цистерн, на которых написано: "Огнеопасно", "Пропан". С противоположной стороны к этому же разъезду несется экспресс.

У Дубравина не хватило выдержки дышать паром, и он инстинктивно прижался к окну, высунув из него голову. Он понимал, что такое положение надо потерпеть несколько секунд.

Чеботарев, находящийся по другую сторону струи и далеко от нее, успеет остановить поезд.

Перед помощником - дверь на боковую площадку, идущую вдоль котла. На переднем брусе паровоза, между фонарями, - концевой кран. Точно такой, как в вагонах. Только в вагонах надпись: "Для экстренной остановки поезда ручку крана повернуть к себе", а на паровозе нет надписи. И повернуть надо не к себе, а от себя. Но даже ученики младших классов железнодорожной школы знают: этим краном можно остановить поезд.

От будки до крана-двадцать шагов. Когда скорость почти сто километров, по узкой, не огражденной площадке быстро не пробежишь. Не держась, по ней и шагу не сделаешь: паровоз сбросит. Дубравин сознавал это и терпел. Он знал, что Владимир пробирается, держась за различные тяги, как за перила, а это замедляет движение. К счастью, это не помощник, а опытный машинист Чеботарев, который сообразит дернуть по пути рукоятку крана Эверластинга. Правда, уйдет лишняя секунда, но зато откроется широкий выход пару и воде наружу. Струя в будке сразу ослабнет.

Дубравин, окутанный паром, в жгущей одежде, сильнее прижимался к окну. Поезд мчался с уклона, увеличивая скорость, кран Эверластинга оставался закрытым. Дубравин понял, что Чеботарев убит, Убит паром в будке или сорвался с площадки.

Набрав побольше воздуху, втянув голову в плечи, Дубравин окунулся в пар и начал левой рукой на ощупь подбираться к тормозному крану снизу. Струя коснулась мышц ниже локтя, и кожу сорвало, будто наждачным точилом. Чтобы дотянуться до крана, надо еще немного поднять руку. Тогда она окажется поперек струи. Боль можно бы вынести, но, прежде чем он повернет кран, пар съест руку.

Он рванулся к окну, потому что будка сильно нагрелась и дышать было нечем. Надо бы высунуться из окна побольше и

ждать, пока выдохнется этот проклятый котел. Но Дубравин не рискнул так поступить.

Дело в том, что приближалась станция Матово. Дальше был однопутный участок и очень крутой уклон.

Встречные грузовые поезда не всегда укладывались в график, и пассажирскому приходилось ожидать их в Матово по нескольку минут. Не исключено, что и на этот раз где-то тянется встречный.

Дубравин решил сам добираться до концевого крана, куда не дошел Чеботарев. Это всего пятнадцать метров. Ухватившись за подоконник, он подался всем корпусом в окно и одну за другой перекинул ноги.

Снаружи под окном укреплена откидывающаяся вверх ажурная рамка для улавливания жезла. Она похожа на металлическую окантовку полочки. От нее идут два стержня взад и вперед. Удерживаясь на руках, Виктор повернулся лицом внутрь будки и коленями встал на рамку. Он нервничал и сгоряча уперся не в самую рамку, а в стержень, который тут же согнулся. Колени скользнули вниз. Инстинктивно противясь этому движению, Дубравин дернулся вверх, и складная рамка захлопнулась. Постепенно локти разогнулись. Он остался висеть, держась за широкий мягкий подоконник.

В таком положении и увидел Дубравина путевой обходчик. Он увидел бешено мчащийся поезд, густые клубы пара, валившие из окна, и человека, висящего на подоконнике. Потрясенный, бросился вслед за поездом и, когда скрылся последний вагон, продолжал бежать, не отдавая отчета в своих действиях. А может быть, думал старый путевой обходчик, что вот-вот сорвется это тело и упадет человек не на ноги, а на бок, потому что ноги сильно относило ветром назад.

До станции Матово оставалось километров пять.

Андрей Незыба очень давно там не был.. В самом начале войны из железнодорожников их узла сформировали специальный отряд и послали на фронт. В отряд попала и Валя. Пока они ехали к месту назначения, она часто думала о том, как странно складывалась ее судьба. Андрея назначили старшим отряда, он был энергичен, настойчив, решителен. Это никак не укладывалось в ее представлении об Андрее. Она знала его, как человека чистого, благородного. Не могли, конечно, укрыться от нее и его чувства. Внутренне она тянулась к нему, но разум протестовал. Юноша должен быть решительным, смелым, порывистым. Андрей казался слишком инертным, безжизненным. Другое дело - Чеботарев. Разве Андрей решился бы так с ней познакомиться! И уже совсем добили ее гудки Андрея. Как легко он уступал свою любовь. И не только уступал, но все делал для

того, чтобы помочь Владимиру. Разве это герой.

Перелом произошел на фронте после первого же боя, которого она не видела, но о его подвиге, мужестве, смелости говорил весь отряд. А во втором бою их отряд был разгромлен. Ей удалось пробраться в какую-то деревушку, стоящую в стороне от основных дорог войны. Это не помешало ей действовать активно.

Две недели задерживала она поезда, создав огромную пробку и дезорганизовав движение немецких эшелонов по главному ходу, пока ее диверсии, удивительно простые и остроумные, не были разоблачены.

Перед самым гребнем крутого подъема, где поезда едва-едва тащились, Валя натирала рельсы салом.

И будто в стену упирались самые мощные паровозы, бешено вращались на месте колеса, лишенные силы сцепления. Поезда останавливались, их вытаскивали по частям, на долгие часы задерживали движение. Прозрачный и тонкий слой сала, вполне достаточный для того, чтобы остановить любой поезд, был абсолютно незаметен, и никому в голову не могло прийти ощупывать рельсы, пока кто-то на них не поскользнулся.

Чтобы не выдать себя, партизаны, действовавшие в этом районе, до поры до времени не могли совершать диверсий, но с целью разведки тщательно следили за движением поездов. Партизаны и заметили девушку.

Когда немецкие патрули устроили засаду, чтобы поймать диверсанта, партизаны предупредили ее далеко от опасного места и увели в отряд. Здесь она и встретилась с Андреем.

На исходе третьего месяца пребывания в отряде Валя и Андрей решили больше не расставаться.

Валя раздобыла где-то скрипку и каждую свободную минуту заставляла его играть. Это были радостные минуты. Он по-прежнему избегал слушателей. Он играл для себя. Для себя и для Вали. Это было их маленькое, дорогое счастье. Как только они уединялись, ему не терпелось скорее взяться за смычок. Но он медленно расстегивал футляр, не спеша извлекал скрипку, тщательно натирал канифолью волос. Он словно испытывал себя: чем ближе было мгновение, когда смычок коснется струн, тем больше он старался отдалить этот миг. Но уже сами собой смыкались веки, он прижимался щекой к скрипке, ему слышалась любимая мелодия. Он медлил, не сознавая, что пальцы уже скользят по грифу. Он не мог уловить тот миг, когда начинал играть... А звуки, чудесные звуки рождались и заполняли все вокруг, весь мир. И казалось, нет в жизни ничего, кроме этой бесконечной песни...

Партизаны с особым нетерпением ждали возвращения

Андрея, посланного на разведку. Предстояла крупная операция, первый бой, где должны были участвовать все силы отряда. Андрея послали на разведку минных полей, ограждавших железнодорожное полотно.

Вернулся он ночью, а утром командир приказал его группе сделать три широких прохода в разведанных полях.

- Наша операция проводится во взаимодействии с регулярной армией, предупредил командир. - Если враг откроет предполагаемое место удара, и мы и армия понесем большой урон.

.. В белых маскировочных халатах группа тронулась в путь. Они должны были выполнить задание за три часа. К назначенному сроку партизаны стали возвращаться. Задерживался только Андрей. Уже начало темнеть, а его все не было.

Командир отправил группу бойцов на его поиски.

Что же случилось с ним?

Разослав бойцов по участкам, Андрей пошел вдоль опушки. Через три километра предстояло выйти на открытое место и подползти к заграждениям. Этот район, наиболее трудный, он решил взять на себя. Достигнув минного поля, одну за другой снял десятка полтора мин. Оставалась последняя, противотанковая. Вообще можно было бы ее не трогать. Но вдруг это "сюрприз"?

На всякий случай решил снять.

Андрей разгреб вокруг нее снег, рассмотрел со всех сторон, установил, что вместо одного взрывателя поставлено три. Два из них вытащил без труда. Третий стерженек, торчавший из-под деревянной крышки, не поддался. Видимо, взрыватель примерз к стенке мины.

Андрей подышал на него и снова потянул. Взрыватель остался на месте, но пружина сжалась. Чека выпала в снег.

Мгновенно он понял, что произошло. Чеки больше нет. Кончиками пальцев он держит короткий, как патефонная игла, стерженек толщиной в грифель цветного карандаша. Сжатая пружина вырывает его из рук.

Скользкий стерженек не удержать. Он вырвется, ударит в капсюль... Взрыв неизбежен.

Взрыв! Взрыв - это сигнал врагу. Это провал наступления или многие лишние жертвы... Лечь на мину и заглушить взрыв. Но ведь все равно услышат... Надо унести мину.

Сдирая кожу, он подсунул руку под мину. Вторая рука приросла к взрывателю. Упираясь одним локтем в снег, он пополз, держа мину на весу... Он ползет к врагам. Они обступят

его, и он разожмет пальцы... Но тогда фашисты узнают, что он снял мину, что здесь готовится наступление. Нет, к врагам нельзя... К своим тоже нельзя. Они бросятся на помощь и погибнут вместе с ним. И все же Андрей решает ползти к своим.

Жертвами окажутся несколько человек. А если враг обнаружит направление удара, убиты будут десятки, может быть, сотни.

Мина все сильнее давит на руку; прижимая ее к снегу, Андрей перевертывается на спину, кладет ношу на грудь. Сразу становится легко. Теперь левая рука совсем свободна. А правая... Все его силы сосредоточены в пальцах правой. Это сильные пальцы. Пальцы скрипача.

Он ползет на спине, упираясь в снег одной рукой и ногами. Он несет смерть товарищам. Он крикнет им, чтобы никто не смел подходить. Но разве они послушают. Еще и Валя прибежит. Поймет ли она, почему пришлось тащить сюда эту смерть?

Незаметно для себя, вопреки разуму он ползет не к своим, а куда-то в сторону. И вдруг его лицо, лицо человека, обреченного на смерть, озаряется радостью.

Именно сюда и надо ползти. Надо двигаться вдоль ничейной линии, подальше от того места, где должны пройти партизаны. Ползти как можно дальше, пока не онемеют пальцы.

Он полз, прокладывая спиной дорожку в снегу. Когда голова не могла держаться на весу и падала на снег, это отрезвляло его. Он снова полз. Он терял нить мыслей, цепляясь только за одну: ползти. Ползти весь остаток жизни...

Совсем стемнело, когда Андрей наткнулся на дерево. Он хорошо знал весь район и эту одинокую березу.

Она была далеко от того места, где сделан проход.

Теперь все. Можно разжать пальцы. Точно сведенные судорогой, они сжимают стержень. Значит, можно еще ползти.

Андрей уперся ногами в снег. Ему только показалось, будто согнул ноги. Они не пошевелились. Они больше не подчинялись ему.

Он все сделал, что может сделать человек. Он решил, что умрет под этой березкой вместе с ней. Противотанковая мина подкосит ее, как былинку. Андрею стало жалко березку. Еще бы немного отползти и совсем спокойно умереть.

Умереть! Только сейчас ощутил он весь страшный смысл этого слова. Еще полчаса назад он обязан был идти на смерть. А теперь? Почему он должен умирать теперь, когда все уже сделано? Ведь его ждет Валя.

И командир ждет, и все партизаны говорят о нем...

Им овладело странное чувство, будто он совершает

предательство по отношению к ним.

Ему так захотелось остаться жить в эти минуты, когда смерть казалась неизбежной, что ослабевшее, почти безжизненное тело обрело новую силу. Еще неотчетливо понимая, что будет делать, он снял с груди свою смертельную ношу, от которой никак не мог отвязаться, за которую держался всем своим существом.

Лег на живот и левой рукой извлек из кармана маленький нож. Если удастся поломать его вдоль лезвия так, чтобы получилось нечто вроде шила, его можно будет воткнуть в отверстие. Андрей понимает безнадежность своей затеи, но это последнее, что он может придумать.

Он втискивает всю заостренную часть лезвия между крышкой и корпусом мины и пробует повернуть его вокруг оси. Нож остался цел, но одна дощечка крышки, скрипнув гвоздем, чуть-чуть приподнялась.

Гвоздик!

Андрей трудно глотнул воздух. Стараясь не волноваться, действует ножом как рычагом. Только бы не сломать нож. Дощечка приподнимается еще немного.

Андрей расшатывает гвоздик окровавленными пальцами, тащит его зубами. И вот он в руках, этот маленький гвоздик, от которого зависит жизнь. Пальцы дрожат, но ему удается втиснуть гвоздь в отверстие для чеки, Андрей разжимает онемевшие пальцы. Несколько секунд не может двинуться с места. И вдруг, точно испугавшись, быстро ползет назад...

Валя и группа партизан находились в землянке командира, когда вошел Андрей.

- Что так долго? - обрадованно спросил командир.

- Трудная мина попалась, - ответил Андрей и, неловко козырнув, быстро отдернул руку.

Но все увидели его пальцы. Белые, отмороженные пальцы скрипача... Андрей лишился трех пальцев на правой руке.

- Теперь я больше не минер и не скрипач, - сказал Андрей, когда они остались вдвоем с Валей.

- Ты человек, - ответила Валя. - Очень дорогой для меня человек.

Она не могла больше ничего придумать для его утешения. Она только напрягала силы, чтобы при нем не плакать. По ее настоянию в тот же день появился приказ командира, в котором говорилось, что Андрея и Валю "полагать вступившими в законный брак" и что выписка из приказа "подлежит замене в загсе на официальную регистрацию при первой возможности". Неделю Валя не отходила от Андрея. В эти дни он понял, как дорог ей.

Отряд готовился к боевой операции. Готовилась и Валя. Уходя, она поклялась отомстить за Андрея.

Партизанам удалось разбить гарнизоны трех станций. Но одна группа бойцов, увлекшись успехом, ушла слишком далеко и напоролась на главные силы противника. В этой группе, где были самые отчаянные головы, находилась и Валя. Никто из них не вернулся.

Этот удар Андрей едва перенес. Он приписывал себе вину за гибель Вали. Казалось, он потерял интерес не только к жизни, но и к борьбе. Это происходило в период непрерывных налетов вражеских карательных войск на отряд. Его пришлось разделить на несколько групп. Командование одной из них и поручили Андрею, у которого еще не зажила рука. Вот тогда он немного пришел в себя.

Еще год Незыба находился в отряде, пока его не отозвали в тыл как специалиста-железнодорожника.

При первой же возможности Андрей поехал к Валиным родителям. Встретил он и Чеботарева. Но они могли рассказать ему только то, что он знал и сам.

Спустя пять лет после окончания войны Андрей женился на Валиной подруге. Жили они дружно, хотя любви у него к ней не было. С годами, казалось, он совсем забыл о Вале. А вот теперь, в нескольких километрах от Матово, нахлынули воспоминания о первой любви.

Он решил хотя бы с тамбура хвостового вагона, откуда хорошо все видно, посмотреть на станцию.

...Поезд несся с уклона, увеличивая скорость. В будке машиниста никого не осталось. Паровозом никто не управлял. Только упрямо вращался стокерный винт.

По форме точно такой, как в мясорубке, только раз в двадцать больше. Он подавал в топку все новые и новые порции угля, и шесть тоненьких сильных струек пара исправно разбрызгивали Т9пливо равномерно по всей колосниковой решетке. Парообразование шло бурно.

Дубравин понял, что на подлокотнике долго не провисеть. На левой руке не было рукава. Он куда-то делся. Было похоже, что на нее натянута длинная порванная резиновая перчатка, потому что кусочки кожи болтались на ветру. Но боли совсем нэ чувствовал.

Одежда мгновенно остыла и уже не дымилась.

Он висел, держась за мягкий подлокотник, стараясь сообразить, как поступить дальше. Под ним песчансш насыпь. Насмерть не разобьешься... Но ему пришла в голову мысль, что он не имеет права разжать руки.

В поезде ехало восемьсот человек.

Рядом с паровозом в багажном вагоне люди не спали.

Они подтаскивали к дверям вещи, которые надо было сдать на первой остановке. В соседнем - тоже не спали. Это почтовый вагон. И тут готовились к остановке, где предстояло обменяться почтой. Дальше вагон, в котором первое купе занимал главный кондуктор. Здесь несколько случайных пассажиров-железнодорожников на один-два перегона. Они режутся в домино. Рядом в запертом купе бодрствует вооруженный человек. У него перед глазами запечатанный сургучом мешок. Это почта государственного значения.

В тамбуре одного из вагонов парень и девушка. Он целует ее, она, отстраняясь, говорит:

- Не надо, Юра. Ну, прошу тебя, кто-нибудь зайдет.

- Да спят уже все! - и он снова тянется к ней.

- Ну, завтра, Юра, понимаешь? - Что-то вспомнив, роется в сумочке и, широко улыбаясь, показывает ключ. - Завтра, Юрочка! - и она сама обнимает его.

- Здесь нельзя находиться, граждане! - строго говорит появившаяся проводница. Оба поспешно идут в вагон.

- Доигрался, - чуть не плача шепчет девушка.

...Купе спортсменов.

- С такой самоуверенностью проваливаются, а не берут мировые рекорды, недовольно говорит тренер атлету. - Конечно, ты сильнее американца, но завтра они выпускают Горбу, это не шутка.

- Но я же все время тренируюсь, - оправдывается атлет... - А вот едем впритык. Это ни к черту не годится. Еще и поезд опоздает.

- Типун тебе на язык. Опоздает, значит американцам засчитают победу без борьбы.

...Вагон-ресторан. Почти со всех столов сняты скатерти. Заперт буфет. За угловым столиком, развалившись, сидит пассажир. Вокруг него почти весь штат ресторана.

- Ну, совесть же поимейте, - уговаривает его официантка. - Ведь нам осталось три часа отдыхать.

- Ра-аботать надо, а не отдыхать, - заплетающимся голосом говорит пассажир.

На переходной площадке вагон-ресторана - двое.

Кухонный рабочий кричит им сквозь застекленную дверь:

- Закрыто, закрыто, утречком приходите, свежее пиво будет...

Олечкина мама говорит соседке по купе, девушке в очках:

- Вы правы, но не хватает у меня духу укладывать ее. Видите, показывает она фотографию: на плоской, без матраца, койке лежит на спине Олечка. Ноги в гипсе. В подбородок упирается

какая-то конструкция, не дающая ей наклонить голову. - Все говорили, что ходить никогда уже не будет. Чудо спасло. И, представляете, сделал это совсем молодой врач. Она улыбается и добавляет: - Завтра на вокзале отец впервые увидит ее на собственных ногах.

Андрей шел к хвостовому вагону. Перед тамбуром вагон-ресторана до него донесся недовольный голос проводника:

- Немедленно закройте дверь! Вот еще новости!

- Понимаете, мне очень надо посмотреть, прошу вас... Только станцию Матово.

Андрей замер в проходе между вагонами, уцепившись за перильца.

- Валя!

Она вскинула голову, вскрикнула, бросилась к нему и вдруг остановилась, точно перед пропастью.

Взволнованно сказала:

- Какая странная встреча.

И вот они стоят в коридоре затихшего вагона.

Валя плачет. "Плен... годы скитаний по чужим странам". Больше ничего она не говорит. Андрей не расспрашивает. Вместе с документами военного времени у него хранится выписка из приказа командира партизанского отряда, "подлежащая замене в загсе при первой возможности". Так она и не представилась, эта возможность.

Должно быть, Валя думала о том же. Она сказала:

- Все годы перед глазами стоял наш разъезд. Я любила его, как человека. Как свою юность.

- Хочешь посмотреть на Матово из тамбура?

- Пойдем, Андрей.

Поезд шел, все увеличивая скорость.

...Мелко и медленно перебирая руками, Дубравин передвигался вперед, ища ногами хоть какую-нибудь опору, потому что руки уже отрывались. И он нащупал ее. Это было ребро зольника. Сразу стало легко.

Уже не раздумывая больше, Виктор открыл рамку жезлоуловителя и, держась за нее, подвинулся до самого края зольника. Правее и ниже находился короткий отросток пожарной трубы. Он поставил на отросток одну ногу, а на нее вторую, потому что места для обеих ног не хватило. Уцепившись за какую-то тягу, опустился еще ниже на лафет бегунковых колес. Теперь над ним была узкая длинная площадка, такая, как с левой стороны котла, по которой можно дойти до концевого крана. Он поздно понял свою ошибку.

С пожарного отростка надо было сразу карабкаться на

площадку, а не спускаться вниз. Назад теперь не пробраться.

Он держался за край площадки, упираясь ногами в лафет, сильно изогнув спину. На стыках рельсов лафет подбрасывало, и эта ненадежная опора прыгала под ногами. Мокрые волосы высохли и уже не липли к глазам. Совсем рядом с грохотом бились многотонные дышла, бешено вертелись огромные колеса. Один оборот - шесть метров. Двести пятьдесят оборотов делали колеса в минуту. Они сливались в сплошные диски, перекрещенные бьющимися дышлами. Дальше идти некуда. Он смотрел на вертящиеся колеса и дышла и не мог оторвать от них взгляда. Они притягивали. Он не хотел, ему невыносимо было смотреть в этот страшный водоворот металла, но смотрел, и тело, уже не подчиняясь разуму, клонилось туда. Масляные брызги ударили в лицо. Это сбросило с него оцепенение. Ноги оторвались от лафета, в каком-то неестественном прыжке дернулось, подпрыгнуло и замерло тело.

Теперь согнутая в колене нога лежала на площадке, словно вцепившись в нее, а руки обняли эту заветную полосу железа с обеих сторон: сверху и снизу. Голова, вторая нога и весь корпус повисли в воздухе. Колеса оказались совсем близко, и волосы едва не касались их.

Теперь весь смысл его жизни заключался в том, чтобы втянуть на паровозную площадку свое тело.

И когда он сделал это и лицо приятно охлаждалось, мысли его отвлеклись, но он все же подумал, что забыл сделать что-то важное, без чего ему нельзя жить.

Он никак не мог уловить, что же еще надо сделать.

Надо решить какой-то главный вопрос. Вот вертится все время в голове, но никак за него не ухватишься.

Значит, Чеботарев так и не подтянул подшипник, хотя говорил ему об этом дважды. Как же, сам машинист, не терпит указаний. А теперь, когда переместились на площадку колеса, слышно, как стучит. Может выплавиться.

И опять он подумал, что отвлекся, хотя очень важно сохранить подшипник. Но это можно сделать потом.

Сейчас надо заняться неотложным делом. Надо срочно купить дочери программу для поступающих в техникум. Обещал девочке - значит, надо сделать. Уже второй раз забывает. Но это же не главное. Главное было в том, чтобы тронуть с места смерзшийся состав после остановки. Так он и поступил...

Дубравин рассмеялся каким-то путающимся мыслям. И от этого смеха вдруг все вспомнил. Рывком поднялся и тут же опустился на колени. Ему было страшно. Он боялся упасть с площадки. Быстро полез, хватаясь за горячие трубы, рычаги, тяги.

Левая рука почернела. К оголенным мышцам легко приставали угольная пыль и кусочки промасленной ветоши. Лишь в тех местах, где только сейчас сползла кожа, задеваемая выступами на площадке, оставались красные со слизью пятна. Но и они быстро чернели.

Лицо было тоже черное.

Пока Дубравин карабкался к концевому крану, поднялись, всполошились люди. Девушка-диспетчер, совершенно растерянная, кричала в телефонную трубку начальнику какой-то станции:

- Как-нибудь, умоляю вас, ну, как-нибудь остановите! Они проскочили красный...

В эту минуту из репродуктора раздался голосу

- Диспетчер!

Она бросилась к селектору:

- Я - диспетчер! Я - диспетчер!

- Я - Узкое. - Голос тягучий, противный, будто человек зевает. - Уже вся станция завалена шлаком.

Ну, когда же вы...

- Какой шлак? - трет она лоб. - Какой шлак, я не понимаю!

- От паровозов, говорю. Когда мусорную платформу пришлете?

- С ума сошли!

...Помещение дежурного по станции Узкое. Тускло горит свет. В углу на табуретке дремлет кондуктор в большом плаще. За столом дежурный.

- Во-от бюрократы! -тянет он. - Молоко на губах не обсохло, а уже начальство. Уже и разговаривать не хочет. Ну и ну!

...Прихожая частной квартиры. У телефона немолодая женщина в ночной рубахе. Говорит зло:

- Как где? Откуда я знаю? На линии, на линии, там, где всегда...

Хлопнув трубкой, идет в комнату. Укладывается в постель рядом с мужем.

- Звонили или показалось? - спрашивает он сонным голосом.

- Ни стыда, ни совести! - злится она. - Ночь-полночь звонят начальнику отделения по всякой чепухе.

Он вскакивает:

- В такое время по чепухе не звонят.

Быстро идет к телефону, поднимает трубку:

- Дежурного по отделению!

...Несколько железнодорожников в служебном кабинете.

- Машинист Шумилов! - нажимает кнопку селектора один из них.

- Я - Шумилов.

- Я - дежурный по отделению. Немедленно останавливайте и осаживайте поезд назад, на вас идет экспресс. Оставьте поездную прислугу и кочегара, пусть кладут на пути петарды. Давайте сигналы общей тревоги беспрерывно.

- Маково! Маково! - снова нажимает он кнопку.

- Я - Маково.

- Вагонами вперед к вам осаживает взрывоопасный. Принимайте его на второй путь. Идущий вслед экспресс пускайте по главному. Примите все меры, ятобы остановить его.

...Владимир Чеботарев лежит возле своего сиденья.

Бьется на ветру дверь на боковую площадку. Там, впереди - стоп-кран. Ему легко туда пробраться. И он пополз. Пополз быстрее, но нет, не на площадку, к выходу. Это всего три шага. Уцепившись за поручни, спускается на самую нижнюю ступеньку. Присел, оторвался одной ногой и рукой, сейчас прыгнет.

Бешено несется на него каменистое полотно, пикетные столбы. В беспорядке разбросаны шпалы, подвезенные для ремонта. Нет, прыгать страшно. Разогнул колено, встал на подножку обеими ногами, держится за поручни.

В багажном вагоне подтаскивают к двери домашние вещи.

- Еще вот это сюда, - показывает старичок девушке на детскую коляску с биркой. - Красивая штука!

Агу-сеньки, - наклоняется он над коляской, будто там ребенок.

...Соседний вагон спит. Из купе высунулась заспанная встревоженная физиономия:

- Сортировку не проехали?

- Я ведь вам сказала, разбужу. Спите спокойно, - отвечает проводница, подметающая коридор.

...Начальник отделения в белье у телефона.

- Задержите все четные поезда. Те, что на перегонах, гоните быстрее на станции и разъезды. Освобождайте весь главный ход.

Нажимает пальцем телефонный рычаг и тут же спускает его.

- Дежурного по управлению дороги!., Разъедините!.. Разъедините, я вам приказываю!.. Работайте только со мной!

...Кабинет дежурного по управлению дорогой. Телефоны. Селектор. Зеленое сукно. Человек с большими звездами в петлицах говорит в трубку:

- Санитарный давайте вслед экспрессу. Поднимите весь отдыхающий медперсонал и посылайте туда же на автомотрисе. Восстановительный поезд гоните через Каплино...

...Экспресс. Служебное отделение вагона. Несколько железнодорожников, среди которых связистка.

- Хорошо идет, сукин сын, - замечает один из них, Еыглянув в окно.

- На то и экспресс, - говорит второй.

- А невыгодно им на пассажирских, - рассуждает сосед. - На грузовых сейчас такое творится... Взял сотню, другую тонн лишних или скорость побольше держи, вот и перевыполнение плана. А у нас что? За превышение скорости - взыскание. Лишних вагонов тоже не нацепляешь, - смеется он. - И как им план перевыполнять?

Весь экспресс спит. Окна закрыты, занавески задернуты. Олечка дремлет. Мать, лежа с ней, похлопывает ее по спине, тихо напевает:

За окном свет и тень,
Окна полосаты..
Спи и знай:
Лучший день
Это только завтра.
Будем завтра играть
В наших космонавтов!
А сейчас надо спать:
Завтра - это завтра.

Олечка открывает глаза, говорит:

- Завтра папа встретит нас, я спрячусь, а ты скажи, что я умерла.

- Фу, глупая, - возмущается мать.

На носочках расходятся преферансисты.

- С червей надо было ходить, - горячо шепчет юноша, - он ведь без двух сидел...

- А я ему по трефям, по трефям, хе-хе-хе, - хихикает старичок.

Двое шепотом набрасываются на него:

- Уж вы бы молчали!

- Всю игру портили.

Старичок умолкает, но не обижается. Он и сам чувствует себя виноватым.

...Пути на перегоне. Темные силуэты людей. Они бегут, укладывая на рельсы петарды.

Рельсы резко уходят вправо. Далеко-далеко впереди видны огни нефтеналивного. Оттуда беспрерывно гудки тревоги: длинный - три коротких, длинный - три коротких...

Несется экспресс. Люди на путях отпрянули в стороны. Со страшным грохотом рвутся под колесами нетарды. Несутся гудки.

...Майор милиции в служебном кабинете. Говорит по телефону:

- Нет, оставьте только постовых!.. Да... Наш вагон прицепят к

автомотрисе с медперсоналом... Зачем? Никакого оружия...

...Служебный кабинет. Черный кожаный диван.

Стеклянный шкаф. За столом человек в белом халате.

Говорит в телефонную трубку:

- Первая и четвертая больницы предупреждены...

Рабочий кабинет в квартире. У телефона женщина

лет сорока пяти. Из-за неплотно прикрытых дверей доносится веселый шум. За длшшьш столом поднимают бокалы.

- Нет, это не обком, это частная квартира, - спокойно говорит женщина. - Да, квартира секретаря обкома Жорова, но его нет... Не знаю, товарищ, давно должен был прийти. - Кладет трубку, садится. По щекам текут слезы.

Дожевывая пищу, из соседней комнаты со смехом вбегает человек лет пятидесяти:

- Это Петр звонил?

- Нет, - грустно качает она головой.

- Вы что, Вера Васильевна? - увидел он слезы.

- Не могу я больше, Леонид Андреевич. У нас срадьбы не было, шахта тогда в прорыве находилась.

Мне так хотелось хоть серебряную справить. Хотелось в белом платье побыть. Собрали гостей, а бюро горкома в два часа ночи закончилось... Пришел домой, когда я уже посуду перемыла... Ну, пусть... Но сегодня, на свадьбу единственной дочери... Мне стыдно смотреть в глаза Васе и его родителям. Они ведь не верят.

Думают - гордыня, секретарь обкома...

Открывается дверь из прихожей, на пороге - Жоров.

- Ну, ты и подлец, Петя! - набрасывается на него Леонид Андреевич.

Вошедший сразу понял обстановку, быстро подошел к жене, у которой снова показались слезы.

- Не надо, Верочка, - говорит он, целуя ее. - Не надо родная. Поверь, не мог... Еще ведь не очень поздно. Зато целые сутки никуда из дому не уйду и телефон выключу.

Женщина успокаивается.

- Переодевайся быстрее. - Она берет под руку Леонида Андреевича и возвращается к гостям.

Звонит телефон. Жоров неприязненно смотрит на аппарат. Потом на дверь, за которой скрылась жена.

Телефон звонит.

Посмотрел на часы, поднял трубку:

- Слушаю... Да...

...Застекленная вышка на большом аэродроме. За столами несколько офицеров в летной форме. Телефонный звонок.

- Дежурный по части майор Саблин слушает!

- Говорит секретарь обкома Жоров...

- Слушаю! - отвечает майор, плотнее прижимая трубку к уху. - Ясно... Поднимаю санитарные машины... Понял. Вертолет для вас посылаю на городскую площадку... Будет через семь минут...

Машинист Шумилов видит огни экспресса, несущегося на него, резко толкает регулятор. Но это уже от бессилия: регулятор давно открыт полностью, рукоятка не поддается.

Над полотном летят три вертолета с красными крестами. В кабине переднего - врач и медсестра в белых халатах. Они смотрят из окон вниз. Отчетливо видны два поезда: взрывоопасный, идущий вагонами вперед и догоняющий его экспресс. Быстро сокращается между ними расстояние. На паровозе экспресса по площадке ползет человек. С противоположной стороны, уцепившись за поручни, стоит на ступеньках второй человек.

...Несется вспомогательный поезд из четырех специальных вагонов. На открытой платформе небольшой кран, тяги, мотки проволоки, запасные части паровоза.

...Мчится санитарный поезд. Вагоны пустые. В опорационном вагоне люди в белых халатах готовят инструмент.

...Здание больницы. Одна за другой выходят машины "скорой помощи".

Кружат вертолеты. Смотрят вниз люди. Очень быстро сокращается расстояние между поездами.

Хвостовые вагоны взрывоопасного уже влетели на станцию. У входной стрелки два человека. На платформе люди с красными фонарями описывают огненные круги - сигнал безоговорочной остановки.

...Смотрят из вертолета.

Резко, едва не перевернувшись, цистерны свернули на боковой путь. Они несутся, извиваясь у стрелки.

Экспресс догоняет. Остались метры...

Рушится, оглушает сигнал тревоги.

Машинист взрывоопасного бросил рукоятку сигнала, уперся ногами, уцепился за раму.

Наклонившись, стрелочник держит рычаг стрелки Между паровозами один метр. В это мгновение стрелочник рванул рычаг. Он успел перевести стрелку.

С вертолета видно: экспресс несется рядом с нефтеналивным.

...С боковой площадки паровоза на переднюю спускаются четыре почти отвесные узенькие ступеньки. Паровоз бросало из стороны в сторону, и они вырывались из слабых и липких рук Дубравина. Он свалился на переднюю площадку и подполз к

самому краю. Лежа на груди, свесив руки, нащупал концевой кран.

Двести семьдесят шесть тормозных колодок впились в колеса паровоза и вагонов. Шипя и искрясь, поезд встал на выходных стрелках станции Матово.

Ночь кончалась.

Гулкие шаги ча левой площадке отвлекли Дубравина от путающихся мыслей. Шаги затихли совсем рядом. Поднять голову было трудно, но он услышал знакомый голос:

- Ты здесь, Виктор?

Он не поверил. Он оторвал голову от железной плиты, тяжело уперся черными руками в холодный металл и посмотрел вверх.

Перед ним стоял Владимир Чеботарев.

Дубравин сказал:

- Да, я здесь.

Через несколько минут в спящих вагонах раздался тревожный голос радиста:

- Товарищи пассажиры! Товарищи пассажиры!

Если среди вас есть врач, просим его срочно прибыть к паровозу. Повторяю...

Голос был взволнованный, напряженный. Восемьсот человек проснулись, заговорили, полезли к окнам.

Повеяло военным временем. Никто не знал, что делать.

Точно ветром подняло спортсменов. Они побежали к паровозу первыми.

- Может быть, йод нужен, - неуверенно спросила пожилая женщина, та, что была всем недовольна. - У меня есть йод... - И словно убедившись в правильности своей мысли, выкрикнула: - Что же вы стоите, мужчины. Скорее отнесите йод!

Будто выполняя приказ, капитан танковых войск унесся с пузырьком йода. И вдруг люди стали рыться в корзиночках, сумках, чемоданах. Не сговариваясь, несли бинт, вату, какие-то пилюли, порошки. Мать Олечки вынесла термос с горячей водой. Появился и термос с холодной водой. Пассажир, напоминающий плакатного лесоруба, не раздумывая, вывалил на полку содержимое своего чемодана, на котором играли в преферанс, и удивительно проворно уложил туда все собранное. Он побежал к выходу вместе с чернявым юношей.

Шумно хлынул к паровозу народ. Совершенно растерянные, торопились Андрей и Валя. Невесть откуда уже все знали, что в эту трудную минуту струсил и спрятался в безопасном месте помощник машиниста, который легко мог остановить поезд.

Чем ближе подходили, тем тише становился говор.

В безмолвии остановились. С паровозной площадки раздался

тихий голос:

- Товарищи! Тяжело ранен машинист. Он обожжен паром...

Человек огляделся вокруг и продолжал:

- Такое большое скопление людей на путях опасно. Оно может задержать движение встречных поездов и эвакуацию машиниста. Не исключены несчастные случаи. Ваш долг сейчас, товарищи, - вернуться в вагоны.

Молча попятилась, отступила, пошла назад толпа, Ни один человек не ослушался. Возле паровоза осталась только сгорбленная фигура помощника.

- Смотри! - вскрикнула Валя показывая на него.

Андрей обернулся. Чеботарев не видел их. Он стоял, понурив голову, вытирая ветошью руки.

На запасном пути остановился санитарный поезд.

На маленькой вокзальной площади сел вертолет.

Из-за паровоза показались носилки с Дубравиным, Позади них - старичок, тот, что играл в преферанс.

Но теперь его не узнать. Сильное, волевое лицо, энергичные глаза. Какая-то сила во всей его фигуре.

Здание больницы. У крыльца - толпа. Она увеличивается.

Кабинет в больнице. За столом сидит старик преферансист в белом халате. Вокруг него, с величайшим благоговением на лицах, стоят врачи. Женщина приготовилась писать. Старик говорит:

- Так... Пишите...

Открылась дверь.

- Павел Алексеевич, - сказал вошедший врач - тут люди пришли, предлагают свою кожу и кровь, чтобы спасти Дубравина. Что им сказать?

- Скажите... Я сам скажу... Пишите, - снова обращается он к женщине: Лондон... Так?.. Президиуму международного конгресса хирургов... Написали? Независящим обстоятельствам присутствовать конгрессе не могу. Написали? Не могу, - повторил он убежденно. - Точка. Свой доклад высылаю нарочным. Все. Моя подпись...

Скопление людей у больницы.

На крыльце появился Павел Алексеевич. Медленно и как-то растроганно говорит:

- Я - старый фронтовой хирург и ученый... - он умолк, не то подбирая слова, чтобы высказать свою мысль, не то не зная, что сказать дальше. - По всем законам медицины... - он медленно развел руки и беспомощно опустил их. - Но по всем законам физики и механики, - продолжал он, - по всем законам человеческой логики он не мог остановить поезд. Но он

остановил...

Вот так же мы будем бороться за его жизнь.

1960-1969 годы

КРИК ИЗ ГЛУБИНЫ

Наверно, только о любви написано так много, как о море: романы, повести, сказки, поэмы, песни. Море воспевают народы и эпохи. И эти несовместимые понятия - любовь и море - удивительным образом где-то сходятся, сливаются воедино и одинаково волнуют и будоражат душу.

Воспето море буйное, жестокое, беспощадное, воспето ласковое и нежное, неповторимо сказачной красоты. Оно может, как и любовь, довести человека до отчаяния, погубить, но так же дает ему силы, радости, одухотворяет. И какие бы испытания ни несло море людям, они будут тянуться к нему и думать о нем, потому что захватывает оно, как любовь.

Я видел этих людей, которым не жить без моря и без которых нет моря. Видел на боевых и мирных кораблях, на подводных лодках и на морском дне. Об этих людях и пойдет рассказ.

...На базе стояли подводные лодки. Они готовились к выходу на учения.

Когда учения окончились, все вернулись на свою базу, а одна лодка осталась на дне моря, зарывшись винтами и кормой в илистый грунт, оторванная от всего мира.

...На базу подводных лодок я приехал поздно вечером. Здесь было еще спокойно, еще никто ничего не знал. Мне предстояло идти на одной из лодок, чтобы написать о том, как морские охотники выслеживают и топят лодки. Казалось, для этого достаточно побывать на морских охотниках. Но я ходил с ними и, откровенно говоря, мало что понял.

Как только вышли в море, командир показал на карте район, где скрывалась лодка. Район охватывал много квадратных километров. Глубина была большая.

Найти там подводную лодку - все равно что иголку в сене.

Наш корабль вел знаменитый командир. Он сказал:

- Иголку в сене легко найти, надо иметь сильные магниты.

- От нашего командира еще ни одна лодка не ушла, - заметил вахтенный сигнальщик.

Корабль то и дело менял курс. Потом выяснилось, что лодка обнаружена, и он велел забросать ее глубинными бомбами. Это были не настоящие бомбы, а специальные гранаты, имитирующие взрыв глубинных бомб. Но все равно от их разрывов на лодке было жутко. Мне сказали, что иногда от этих взрывов и сотрясений гаснет свет.

Лодка заметалась. Точно привязанный к ней, заметался

корабль, забрасывая ее гранатами. Улизнуть лодке не удалось. Она не выдержала и всплыла.

...Вот и все, что я мог сообщить о поединке. Этого было мало... Чтобы написать подробнее, я и отправился на базу подводных лодок. Оказалось, никакая это не база, а просто большое здание. Вахтенный матрос прочитал мой пропуск, долго изучал паспорт, внимательно сличал фотографию с моим лицом. Сложив наконец документы, вернул их мне и сказал:

- Поднимитесь по этому трапу и по левому борту верхней палубы ищите каюту номер двадцать шесть.

Я вспомнил случай, который произошел за несколько дней до этого на одной из улиц Севастополя.

Отвечая на мой вопрос, какая-то старушка указала на городскую лестницу, куда большую, чем знаменитая одесская, и добавила:

- А вот поднимитесь по этому трапу, как раз и попадете к памятнику Ленину.

У моряков любая лестница - трап, любой пол, даже в подвале, - палуба, комната - каюта.

Я шел по коридорам и читал надписи: "Каюта No 9", "Каюта No 10", "Камбуз", "Кают-компания"... Командира подводной лодки я не застал. Зато в каюте старпома Игоря Александровича Григоровича все напоминало штаб части, готовящейся к операции. Он ухитрялся одновременно разговаривать по телефону, печатать на машинке и отвечать на вопросы штурмана. Здесь же заместитель командира по политчасти Леонид Васильевич Абрамов говорил какому-то матросу, чтобы тот сам придумал для себя наказание, которое бы подействовало, потому что уже не знает, что с ним делать дальше. Матрос поначалу тоже не знал, а потом неуверенно спросил:

- А может, попробовать один раз не наказывать?

Вполне возможно, подействует.

- Можно бы, конечно, - согласился Абрамов, - да по уставу не положено. По уставу всякий проступок должен иметь последствия.

- Так вы же нас учили гибко применять устав, сообразуясь с обстановкой... Вот внушение мне сделали...

В конце концов Абрамов согласился. Когда матрос ушел, замполит рассказал, что это великолепный подводник, который совершенно не переносит, если новички, которых он учит, ошибутся или выполнят задание не с такой быстротой, на какую способен он сам. И вместо того чтобы терпеливо учить людей, начинает на них кричать.

В каюту заходили все новые офицеры. У каждого было дело.

Потом пришел командир лодки Ленислав Филиппович Сучков. Он совершенно не был похож на командира подводной лодки.

Может быть, так казалось потому, что еще раньше мне довелось близко познакомиться с другим командиром подводной лодки - Юрием Михайловичем Лисичкиным. Это высокий атлет, штангист, с удивительно волевым лицом. Для скульптора, работающего над портретом морского офицера, Лисичкин просто клад.

Я подумал об этом, когда далеко в море всплыл его подводный корабль. На мостик он поднялся первым, а за ним четверо офицеров и сигнальщик. Они выходили из люка и словно каменели в тот момент, когда поднимали головы. Поэтому позы у них были неестественны:

кто-то застыл, не разогнув еще спину, кто-то замер, не успев найти надежной опоры для второй ноги, держась за поручни. Все смотрели в одно место. На горизонте стоял гигантский линкор, раскаленный докрасна. Он не горел, а был именно раскален. Отчетливо виднелись башни, тяжелые строенные стволы главного калибра, широкие трубы. Из одной трубы поднимался дым.

Казалось, густые клубы висят над трубой, точно гигантский рыхлый гриб. Края кормы не было. Похоже, что ее отсекло чем-то.

Потрясенные люди стояли на мостике, не в силах скрыть волнения. Никто и не пытался этого сделать.

Только Лисичкин стоял спокойно, в полный рост, чутьчуть расставив ноги, заложив руки за спину.

Впереди лодки волн не было. Они веером расходились сзади от ее винтов. На море стояла тишина. Нигде ни одного корабля. Лодка шла к линкору.

По лицу Лисичкина ничего нельзя было определить.

Ни удивления, ни растерянности. И это тоже была не поза, а его естественное состояние. Он первым понял, что произошло. Трудно представить себе явление природы более фантастическое. Багровый шар заходящего солнца на одну треть опустился в море. Верхнюю часть срезали облака. Они падали на середину огненного диска угловатыми клочками, образуя поразительно точный рисунок корабля.

Юрий Михайлович Лисичкин запомнился мне таким, каким он стоял в тот раз на мостике.

...Сучкова трудно было выделить из массы людей.

Во-первых, он как и все его офицеры, был очень молод.

Во-вторых, казался стеснительным. Он начал задавать вопросы старпому будто из любопытства, будто пришел на экскурсию и ему все интересно. Голос у него был тихий, и он расспрашивал, как подготовлен выход в море, словно боясь, что

его вопросы могут надоесть людям и они не станут отвечать. Потом посмотрел на часы, сказал, что до выхода есть еще время поспать и пусть люди идут в свои кубрики, а через час чтобы явились на лодку.

К причалу я пошел вместе со старпомом. Была ночь.

Рядом с нашей лодкой стояла та, на которой потом случилось несчастье. Оттуда доносились голоса, люди готовились к выходу. Мы отошли от стенки первыми. Из бухты были видны далекие огни города. А вблизи один мрак. На волнах качались тусклые огоньки буев. Рейд, закрытый бонами, походил на тихое озеро. У берегов громоздились черные силуэты кораблей. Можно было подумать, что это скалы. Но кое-где горели лампочки, и становилось видно, где корабли и где скалы. Лодка шла бесшумно, осторожно обходя какие-то запретные участки. Может быть, от этого обстановка и казалась напряженной, будто вот-вот должно что-то случиться.

На мостике находились командир, старпом, штурман и сигнальщик. Штурвальный поминутно повторял команды старпома.

Откуда-то издалека, из темноты часто-часто замигал огонек. Нас спрашивали, кто идет, и требовали позывные и номер корабля. Сигнальщик доложил об этом командиру и начал отвечать.

- Отставить! - прогремел голос Сучкова. - Передать только позывные! Ротозеев пусть в другом месте ищут.

Помолчав немного, он добавил:

- По позывным они могут, если захотят, определить и бортовой номер. Зачем же нам его оглашать!

С контрольного поста ответили, что выход разрешен, и маленький буксир развел боны. Путь в море открыт,

Лодка шла тихо, будто ей мешали волны. Какие-то странные волны - очень широкие и пологие. Казалось, что вода расступается, уходит из-под лодки и можно провалиться на дно. Потом нас поднимало, должно быть, только для того, чтобы дать разгон, потому что тут же мы неслись вниз. Временами над водой оставался только мостик.

А мне почему-то почудились чайки. Сначала они летели справа, потом одна рванулась на левую сторону, и вся стая бросилась за ней, думая, наверное, что та увидела добычу.

Белокрылую чайку воспели поэты. Поэтам поверили, и она стала символом светлого, невинного. Поэты не правы. Зря воспели чайку. В действительности она злая и мрачная птица. Как коршун, пикирует на рыбу, разоряет гнезда промысловых птиц, питается падалью.

Моряк не любит чаек. Они летят за кораблем, кивают и громко кричат: "Знаем, знаем, знаем..." И кажется, в самом деле они летят вот так уже тысячи лет, и все видели, и знают тайны моря, и знают, что случится впереди. И всем своим хищным видом показывают, что ничего хорошего не случится, иначе бы они не летели за кораблем. Летят и жадно высматривают добычу, готовые из-за нее заклевать друг друга.

По преданию, чайки - это души погибших моряков.

Поэтому их нельзя убивать. Преданию давно никто не верит, но все равно в них не стреляют.

Тихая черноморская ночь. Удаляется берег. Давно скрылись огни города. Штурману не на что уже было нацеливать пеленгатор гирокомпаса, и он скрылся в люке. Командир стоял с правой стороны в своем кожаном реглане, обдаваемый крупными брызгами, и молча смотрел вперед. И все, кто был наверху, молчали и смотрели вперед. Только один сигнальщик все время озирался по сторонам.

Неожиданно море пересек огненный пунктир, точно замедленные трассирующие пули. Это неслись куда-то торпедные катера, то скрываясь в волнах, то выскакивая на гребни. Медленно проплыли вверху цветные огоньки самолетов. А потом ничего не стало видно.

Море было чем-то закрыто. Можно было подумать, будто над водой рассеяна цементная пыль. И в этой кромешной тьме одновременно, в одну и ту же секунду, раздались два голоса. Голос командира:

- Почему не докладываете?

И голос сигнальщика:

- Справа по траверзу в десяти кабельтовых четыре корабля.

Я не сразу увидел их. Они шли без огней.

- На боевое задание, - кивнул им вслед старпом в ответ на мой вопрос. И, видно, не надеясь, что я понял его, добавил официальным тоном: - Несут охрану государственных морских рубежей.

Едва они скрылись, как море от края и до края полоснул прожектор. Он описал дугу, осветив огромную территорию. В поле зрения не оказалось ни одного судна. Я никак не мог понять, куда они девались, - не подводные же это лодки.

- А зачем ему освещать наши корабли? - засмеялся командир. - Луч обошел их.

Советские воды Черного моря жили своей жизнью.

Где-то на картах расчерчен каждый квадратный метр водной глади, каждый кубический метр до самого дна.

Бороздят водную гладь сторожевые катера и охотники,

движутся где-то подводные лодки, прислушиваются к шуму в воде умные, чуткие приборы и аппараты. Не пробиться, не протиснуться здесь чужому кораблю.

Против своей воли он даст десятки сигналов, которые точно укажут, где он находится, куда и на какой скорости идет и что собой представляет.

Командир лодки, не меняя позы, не поворачиваясь, сказал:

- Приготовиться к погружению.

Он сказал это таким тоном, каким несколько минут назад спрашивал, сколько на румбе. Но все мгноьеиио пришло в движение, будто случился пожар. Буквально рухнули в люк все, кто стоял на мостке, кроме самого командира. Раздались звонки, сигналы, шум. Задраивались люки между отсеками, опускался перископ, закрывались вентиляционные клапаны, заслонки и заглушки. Проверялись носовые и кормовые торпедные аппараты. Неизвестно откуда неслись резкие, отрывистые голоса, усиленные микрофоном:

- Седьмой отсек готов!

- Второй отсек готов!

- Пятый отсек готов!..

Едва командир спустился вниз, как ему доложили:

- Лодка к погружению готова!

- Начать погружение! - раздалась команда.

Лодка вобрала в себя положенное количество воды и пошла на глубину. Заработали маховики рулей. Часть команды ушла на отдых.

Собственно, никто никуда не уходил. Боевые торпеды были заложены в аппараты, а запасные лежали тут же, в отсеке. Матросы опустили привязанные к стенам узенькие брезентовые койки, которые повисли над торпедами, и улеглись спать. Со стороны казалось, что они лежат прямо на торпедах. Но здесь, можно сказать, еще просторно. В других отсеках теснее.

На лодке негде повернуться. В ней не видно ни стен, ни потолков, ни корпуса. Там, где им положено быть, - маховики, рукоятки, аппараты, люки, краны. В самом центре из люка поднимается перископ, а рядом опять приборы, аппараты. И в этом нагромождении механизмов, между которыми надо протискиваться, приподнимаясь на носки, у крохотного наклонного столика сидит боком к узенькому проходу штурман. Чуть дальше и ниже гидроакустик, тоже боком к проходу.

Когда передвигаешься по лодке, их увидишь не сразу, потому что они словно вписаны в приборы и не выходят за габариты окружающих механизмов. Они-как на детской загадочной картинке. Будто одно целое с лодкой. И вся команда тоже одно

целое с лодкой, и все это вместе один организм. Здесь синхронно связаны действия каждого человека и каждого механизма. У них общее дыхание и общий воздух. Если у лодки под водой нет воздуха, она не всплывет и погибнет, как и Человек, которому нечем дышать.

Человек здесь виден, точно на войне. Одного похода достаточно, чтобы проявились все его качества. Чувства товарищества и взаимопомощи развиты и обострены настолько, что теряются понятия "я" и "он". Их работа как у группы акробатов под куполом: неточное движение одного - полетят вниз все. Поэтому здесь не может быть отстающего или не выполняющего своих обязанностей. Это мгновенно отразится на всех. Это может застопорить всю жизнь лодки или сорвать боевое задание. Плохая работа в таких условиях воспринялась бы как что-то близкое к предательству. Поэтому она здесь немыслима.

Человек, у которого нет сильной воли и большой физической силы, недостаточно выносливый, с неразвитым чувством товарищества или обретает эти качества, или его списывают с подводного флота. Здесь только отборные люди. Поэтому подводники гордые.

Самая обширная и исчерпывающая характеристика таких людей укладывается в одну фразу: "Моряк о подводной лодки".

...Морские охотники искали лодку. Сейчас почти все зависело от ее гидроакустика Леонида Исакова. Он должен обнаружить охотников раньше, чем они лодку.

Он вслушивался в звуки моря и смотрел на маленький экран. На экране билась живая огненная звездочка, в каждую сотую долю секунды меняя свои формы и очертания. В неуловимые для глаза мгновения из ее тела выскакивали и исчезали то крохотные кинжальные острия, будто в коротком замыкании соединились провода, то тупые уголки или волнообразные выступы.

Аппарат издавал звуки, похожие на шум неисправного приемника. Ничего не разберет здесь непосвященный человек. Но в этих звуках и искорках для Исакова целый мир. Он ощущает и видит море. Каждый оттенок звука, каждая искорка понятны ему, как телеграфисту азбука Морзе.

Минут пятнадцать Исаков смотрел и слушал спокойно. Потом подался немного вперед, надел наушники, прищурился и застыл. Убедившись, что не ошибся, доложил:

- Слышу шум винтов.

В центральном отсеке насторожились.

- Крейсер и два эсминца идут со скоростью двадцать пять узлов, рапортовал Исаков.

Тут же был определен курс кораблей.

- Это, должно быть, не за нами, - сказал старпом.

Я внимательно следил за звездочкой и шумами. Все было как и прежде. Так же билась звездочка, такие же звуки издавал аппарат. И в этом клубке звуков, в искорках "короткого замыкания" Исаков находил и выделял крейсеры и эсминцы, вычислял скорость оборотов их винтов. Он досадовал, что я ничего не могу уловить.

- Слышите? - поднимал он вверх палец. - Вот глухой звук, будто перекатывается что-то. Это крейсер.

А рядом два позвонче, почаще. Это эсминцы... Ну как же? Их легко отличить, как ход легковой машины от пятитонки... Слышите? Скорость прибавили. Вот и на экране все видно... Каждый корабль имеет характерный звук, какую-то отличительную черту... А иначе как стрелять торпедами? развел он руками, словно удивляясь. - Корабли ограждения всегда прикрывают главную цель. А мы ее приметим и засечем. Тогда уж и пускай торпеду по главной. Если звук торпеды сольется со звуком корабля "противника", значит, в точку угодили...

Его радостно было слушать. Верилось каждому слову. Тельняшка обтягивала его могучие бицепсы, крупное добродушное лицо словно излучало чистоту и искренность. Даже малодушный пойдет с ним на любое задание не страшась, потому что его воля и сила передаются окружающим.

Он разговаривал, уступив место своему ученику, и вдруг быстро взялся за наушники.

Какое-то удивительное чутье! Не прошло и трех минут, как появились новые шумы, на этот раз более опасные. На очень большом расстоянии от лодки, но прямо на нее шли три морских охотника. Одна за другой последовали несколько команд. Единый организм людей и корабля пришел в движение. Бешено завертелись маховики рулей, заработали приборы и аппараты.

Это заняло секунды.

- Если вы их слышите, значит, и они вас?

- Нет, еще не значит, - сказал старпом. - Во-первых, надо иметь такого гидроакустика, как Исаков, который услышал их в ту долю мгновения, когда возник их первый туманный звук. Во-вторых, надо иметь такого командира, как Ленислав Филиппович, который в эту долю мгновения успел принять решение. В-третьих, надо иметь такой экипаж, который в следующие мгновения выполнил волю командира. Если всем этим обладает "противник", то все равно в первой стычке победили мы, так как у него не было возможности проверить, не ошибся ли он в своих предположениях:

наши шумы пронеслись на его приборах как пуля и исчезли,

ибо мы успели осуществить сложный маневр.

Куда мы делись, им пока не известно, но они понимают, что добыча где-то близко.

Так начался поединок. Поединок между подводной лодкой и охотниками за ней. Охотники были опытные, хладнокровные, с современными приборами. Они знали, что имеют дело с сильным "противником" и совершенной техникой. Несколько раз лодку почти настигали, но ей удавалось ускользать. Решили, что известными методами ее не "потопить". Придумали другие методы.

Для того чтобы скрываться от противника, надо знать, где он находится. И вот настал момент, когда люди на лодке потеряли след охотников. Никаких подозрительных шумов не мог обнаружить Исаков. Он слышал, как над нами и недалеко от нас проходили корабли. Но то были другие корабли, не те, что преследовали.

"Противник" был на верном пути и удалиться далеко ке мог. Не такой он простак. Сучков это понимал. Не исключено, что охотники заглушили двигатели, притаились где-то и ждут, пока лодка сама себя выдаст. Не издавая ни одного звука, они вслушиваются в подводную жизнь. Каждую минуту можно наскочить на них, постыднейшим образом попасть впросак. Оставаться дальше в таком положении было нельзя. Штурман предложил на несколько секунд всплыть так, чтобы из ЕОДЫ вынырнул только глазок перископа, окинуть горизонты и заодно взять пеленги, то есть определить, где находится лодка. Это был риск, потому что преследователи могли оказаться где-нибудь поблизости.

Подводники все взвесили. Решили идти на риск.

Придумали план действий на случай неудачи. Оставался тот же риск, но не безрассудный, а основанный на точном расчете, - риск, вызванный необходимостью.

Раздалась команда:

- Приготовиться к всплытию!

Мгновенный аврал и четкий доклад:

- Лодка готова к всплытию.

Замер у рулей боцман Николай Зубарев, застыли неподвижные фигуры у подъемника перископа, у аппаратов. Ждали приказа.

Командир медлил. Он мог еще отменить решение о всплытии. Может быть, последний раз взвешивал все.

Он один в ответе за судьбу лодки и людей.

Напряжение росло. Все было как перед боем. Точно во вражеских водах. И вот приказ отдан.

Еще вытеснял воду из балластных цистерн сжатый воздух, еще не поднялся, а только двигался вверх перископ, а командир уже вцепился в него обеими руками, прильнул к окулярам. Одним рывком, не отрывая глаз от перископа, описал им дугу градусов на двести и замер. Все, кто были в центральном отсеке, недвижно уставились на командира, готовые к самым решительным и мгновенным действиям.

Он сказал:

- Вижу. Очень далеко. Точки, а не корабли. Но это они. Расходятся в разные стороны... Что-то задумали.

Командир лодки и командир отряда охотников знали друг друга. Они жили на одной улице, встречались в штабе флота, бывало, вместе встречали праздники.

Но сейчас это были непримиримые "противники".

Каждому достался нелегкий орешек. Они это тоже знали. И каждый ожидал от "противника" такого, чего в практике еще не было.

Впоследствии мне довелось видеть обоих командиров совсем в другой обстановке. У колоннады исторической Графской пристани, где русский народ некогда встречал великого флотоводца Нахимова, где рвались победные салюты героев Сапун-горы и Малахова кургана, где в дни праздников гремит могучее матросское "ура!" и, как в старину, состязаются в перетягивании каната богатыри в тельняшках, появился командующий Черноморским флотом.

Красная ковровая дорожка спускалась по широкой лестнице к причалу и обрывалась у белого сверкающего катера. Замер неправдоподобно точной геометрической формы строй почетного караула. Начинался военный парад Советского Черноморского флота.

Приняв рапорт, адмирал поднялся на катер. Во флагах расцвечивания стояли на рейде лучшие корабли флота. Командующий и член Военного совета обходили корабли. Раскатывалось "ура!".

Вслед за катером командующего шла гостевая яхта.

Когда катер, забурлив винтами, застопорил ход у строя подводных лодок, я увидел Сучкова. Он стоял на мостике своей лодки в парадной форме, а на палубе выстроился его экипаж. На их лицах была гордость.

Горело на солнце золото офицерских кортиков, точно полоса шлагбаума, перерезали строй руки в белых перчатках, державшие автоматы: один в один стояли подводники. Это не скульптурная группа, не изваяние. Это живая кованая воля и сила. Это - сознание великой миссии защиты Родины.

Катер рванулся дальше и остановился близ морских охотников. На мостике корабля стоял недавний "противник" Сучкова во главе монолитного строя. Матросы спокойные, сильные.

После парада по-иному представился эпизод, происшедший накануне на разделочной базе.

"Разделочная база" - предприятие. Но это не завод рыболовной флотилии. Не разделывают здесь и мясные туши. Это место, где режут корабли. Огромные изношенные корабли, не пригодные для жизни.

...Рано утром начальник одного из цехов базы, офицер запаса, увидел на горизонте дымок. Едва обозначились контуры судна, как на быстроходном катере он пошел навстречу. С мостика корабля увидели катер и увидели человека, застывшего у флагштока. Ветер развевал его седые волосы, катер качало, но он стоял неподвижно, заложив руки назад, и не отрываясь смотрел ка корабль. Он видел, как бросили якорь и спустили парадный трап.

Медленно поднялся он на палубу. Раздалась команда "смирно!", и командир корабля отдал военный рапорт этому гражданскому человеку, а сотни матросов застыли там, где стояли, и смотрели на него, и он виделся им таким, каким знали его по портретам в дорогих рамках, что висят в кают-компании и в кубриках.

Он виделся им весь в орденах и в форме капитана первого ранга, каким был в военные годы, когда командовал этим кораблем.

Медленно и молча обошел он палубу, сопровождавмый офицерами, и поднялся на мостик. Он прошелся взад и вперед, сверху осмотрел корабль и тихо сказал:

- Пошли.

Командир корабля не отдал приказ. Он выпрямился, опустив руки по швам, и молча склонил голову.

- Спасибо! - сказал человек в штатском.

И тут же, усиленный микрофоном, по всему кораблю разнесся его голос:

- По местам стоять, с якоря сниматься!

Сколько раз, идя в бой, он отдавал эту команду с этого мостика. Теперь корабль шел в свой последний путь. И, как в опаленные войной годы, его вел боевой командир. Он пришвартовался к стенке базы с лихостью лейтенанта и мастерством ветерана. Последний причал. Все.

Каждое утро он поднимался на мостик. На корабле разбирали машины, резали стальной корпус. Корабль резали с двух сторон: с

носа и с кормы (никто не упрекнул в нарушении технологии). И пришел день, когда остался только мостик, как нефтяная вышка, устремленная ввысь. На ней стоял командир. Как истый моряк, он покидал свой корабль последним.

Немножко грустно было слушать эту историю. Но когда я увидел морской парад и новое поколение военных моряков с их новой техникой в действии, моряков, которые хранят не только портреты, но и боевые традиции морской гвардии, по-иному посмотрел на разделочную базу. Жизнь неумолимо идет вперед, и в авангарде этого движения - великая держава, способная решительно отбросить старое и отжившее.

...Наша лодка вернулась "домой". И другие лодки вернулись. Все, кроме одной.

Вот что с ней произошло.

Выполнив задание, она всплыла и направилась на свою базу. Матросы и офицеры были довольны. Во-первых, они "потопили" все, что им приказано было "потопить", а во-вторых, возвращаться на свою базу всегда приятно. Неожиданно командир получил по радио еще один приказ и велел приготовиться к погружению. Приготовились очень быстро. Тут и готовиться нечего, каждый хорошо знал, что в таких случаях надо делать.

Задраили люки, через которые могла проникнуть вода, закрыли шахту подачи воздуха. Специальный сигнал показал, что газовая захлопка закрылась. В действительности она закрылась неплотно. Никто этого не знал. По приказу командира открыли доступ воде и боковые цистерны, чтобы лодка погрузилась. Она действительно стала погружаться, но через шахту подачп воздуха сквозь неплотно закрытую захлопку вода рньулась к дизелям, затопила один отсек. Командир тут же приказал всплывать. Это значило, что надо продуться, то есть пустить в цистерны сжатый воздух, который вытеснит оттуда воду. Но полностью выдуть ее не удалось, так как лодка с затопленным отсеком погружалась под большим углом. Чтобы выровнять ее, затопили еще один отсек, но это не помогло. Так и врезалась она в грунт винтами и кормой.

Было сделано несколько попыток выровнять лодку и всплыть, но безуспешно. Были исчерпаны все возможности, и осталась надежда только на помощь со стороны. Выпустили буй. Он очень похож на детский волчок. Похож по форме и по яркой раскраске в несколько цветов. А диаметр его как у хорошей бочки.

Буй привязан к лодке. От него тянется кабель, по концам которого телефоны: один в лодке, другой внутри буя.

Теперь осталось ждать, пока кто-нибудь заметит плавающий на волнах буй, откроет герметическую крышку и поднимет

телефонную трубку. Тогда в лодке раздастся звонок. Вот все, что осталось делать экипажу: ждать. Ждать, пока кто-то придет на помощь. И этот "кто-то" должен поторапливаться, потому что воздуха осталось немного и он уже не такой чистый, как надо, а с большим количеством углекислого газа.

Буи качался на волнах, но его не видели: никого поблизости не было.

У подводников нет свободного времени. На лодке всегда много дел. А тут никто не мог придумать, чем заняться. Оставалось только ждать.

Ждать всегда неприятно. Но одно дело, скажем, долго ждать поезда, зная, что он обязательно придет, а другое - может быть, кто-нибудь спасет.

Командир лодки думал о том, как поддержать боевой дух матросов. Матросы знали, о чем он думает, и старались как-то помочь ему в этом. Люди стали рассказывать всякие веселые истории и, хотя эти истории были всем известны, так как .уже не первый год они вместе служили и самое интересное каждый успел давно рассказать, все-таки смеялись, поглядывая на командира: видит ли он, как им весело.

Командир понимал, что все это делается специально для него, и был благодарен им, и тем более ему хотелось что-нибудь сделать для матросов. И он сказал коку так, чтобы все слышали:

- Ну-ка, доставай из аварийного запаса что есть повкусней.

- Эх и попадет нам от интенданта базы за то, что вскрыли аварийный запас, - улыбаясь, заметил замполит.

Матросы тоже улыбались и потирали руки, показывая, что им понятен смысл этой фразы: коль скоро "попадет", значит, они будут спасены и вернутся на свою базу.

Так вели себя люди. А что у них было на душе, сообразить нетрудно. Каждый знал: подняться с затонувшей лодки довольно просто. Ствол, в котором находится торпеда, - это длинная труба большого диаметра, с обеих сторон закрытая крышками. Если вынуть торпеду, в трубу могут влезть несколько человек в водолазном снаряжении. После этого закрывают внутреннюю крышку и открывают трубопроводы, по которым вода ринется в трубу. Внутреннее давление сравняется с забортным, люди откроют верхнюю крышку, выберутся оттуда и всплывут на поверхность.

Еще легче выйти из люка, если дифферент небольшой.

Все довольно просто. Но спастись удается редко.

Дело в том, что под водой газы, которыми дышит человек, ведут себя не так, как на земле. Даже спасительный кислород на определенной глубине убивает человека. А главное - давление.

Если на большой глубиш; выстрелить из револьвера, пуля не вылетит. Пороховые газы не сумеют преодолеть давление воды.

На глубине ста пятидесяти метров человека сжимает сила в триста тонн. Он не превратится в лепешку и останется невредимым, если в его груди, в сердце, в сосудах, во всем организме будет такое же давление, как и снаружи. Это и понятно. Глубоко под водой банку с консервами раздавит, как под паровым молотом.

Но если в ней окажется достаточно большое отверстие, туда мгновенно ворвется вода, и она будет давить на стенки с такой же силой, как и наружная. Банка останется в целости.

Чтобы человек не погиб, надо уравнять давление в его организме с давлением воды на данной глубине. А вот это уже совсем не просто. Да и всплывать в силу ряда обстоятельств надо не сразу, ибо это смертельно, а в течение нескольких часов, делая длительные остановки под водой. Короче говоря, без помощи водолазов спастись почти немыслимо. И это хорошо знали подводники с лодки, беспомощно торчавшей на дне моря.

Командир, исчерпав все возможности всплыть, твердо решил не выпускать людей, а ждать помощи, ждать, пока их найдут и спустят водолазов.

И водолазы появились. Во главе их был старшина водолазной команды лауреат Государственной премии мичман Николай Иванович Баштовой.

Человек это выдающийся. Впервые я услышал о нем на спасательном судне, которым командовал Никифор Иванович Балин. Я попросил Балина рассказать о работе водолазов.

- Ну что говорить о них... - развел он руками. - Ничего нового сказать не могу. По книгам и кинокартинам широко известно, что водолаз живет в удивительном и чудесном мире. Он видит неповторимо красочное подводное царство: причудливые рифы, удивительные растения, фантастических рыб и животных. Легко, как мячики, перепрыгивают со скалы на скалу почти невесомые в воде люди в скафандрах, как воздушные шары поднимаются со дна моря на высокие палубы затонувших кораблей, спускаются в лабиринты кают и кубриков, отыскивают сокровища, раскрывают тайны. Ведь так вы представляете себе работу водолаза? - улыбнулся он. - Понимаете, у нас часто любят показывать все в голубом свете, увлекаются только романтикой. И металлурги и шахтеры иной раз описываются так, что только диву даешься: как легко, оказывается, варить металл и добывать уголь.

Никифор Иванович вдруг резко встал и заходил по каюте.

- Вы видели фильм "Командир корабля"? Посмотрит такой фильм любитель легкой жизни и скажет:

"Вот бы куда устроиться - ни забот и ни труда. Море, гитара, работать не надо... Красота... Не жизнь, а сказка".

Вот так и с водолазами. Только одну сторону жизни описывают романтическую. Представляют их эдакими подводными туристами. Почему-то никто не говорит о том, что работа водолаза ежеминутно связана со смертельным риском и очень тяжела физически. Кроме умения ходить под воду, надо овладеть еще добрым десятком специальностей. И не кое-как, а на высокий разряд. Водолаз должен быть очень опытным такелажником. Он должен уметь вязать под водой сложнейшие узлы из стального троса, иначе не поднять ни затонувшего корабля, ни торпеды. Он должен быть квалифицированным сварщиком, ибо под водой производится сложная сварка. Он должен уметь работать молотком и зубилом, напильником и автоматическим инструментом. Он обязан быть опытным минером, иначе подорвется на первой же мине. Трудно даже перечислить все качества, которыми должен обладать водолаз.

Никифор Иванович ходил по каюте и говорил словно сам с собой.

- Ну как рассказывать о водолазе? - снова развел, он руками. Понимаете, это целый мир, это надо видеть. В глубине моря у него много дел вне зависимости от того, начал он выполнять задание или нет. С палубы корабля за ним тянутся сигнальный конец, то есть толстый канат, и воздушный шланг вместе с телефонным кабелем. Водолаз должен внимательно следить, чтобы они не запутались, чтобы не зажало где-нибудь шланг, иначе прекратится подача воздуха. Надо поминутно нажимать головой клапан, вентилировать скафандр, иначе можно отравиться углекислым газом. Ко выпустить много воздуха нельзя, потому что вода раздавит. И лишний воздух нельзя держать - водолаза выбросит наверх, как надутый мяч.

Под водой трудно идти. Труднее, чем против очень сильного ветра, потому что плотность воды в семьсот семьдесят пять раз больше плотности воздуха. И еще потому, что велико давление воды. Чем глубже опускается водолаз, тем сильнее сжимает его вода. В скафандре и в организме водолаза по мере погружения тоже повышается давление. Оно уравновешивается. Но равновесие надо точно соблюдать. Если в скафандре окажется лишний воздух, водолаз обретет положительную плавучесть, и его выбросит наверх. Но до поверхности он не долетит. Где-то не выдержит и лопнет скафандр, распираемый изнутри воздухом, и человек камнем полетит на дно, потому что на нем несколько пудов груза.

Идти грудью вперед почти невозможно. Водолазы ходят

боком. Странное противоречие: человек вместе со скафандром в воде очень легок, но внутри скафандра он скован. Точно свинцовый в воздушном шаре.

Об этом никто не пишет. И вообще странно: профессия летчиков-испытателей, например, справедливо овеяна славой. Любой школьник скажет, что это люди непревзойденной отваги, выдержки, воли. Каждый метр отвоеванной высоты на новой машине приносит им заслуженное признание и почет. Имена летчиковиспытателей знает народ.

А что вы слышали о водолазе-испытателе? О таком, например, как Николай Баштовой? Он спускается на глубины, где никогда еще не был человек, спускается в скафандре новой конструкции. Он осваивает и новую конструкцию, и недосягаемые ранее глубины. А ведь морские глубины не терпят вторжения человека. Вечный, непроницаемый, как броня, мрак и леденящий душу холод окутывают его; исполинские силы воды, будто готовый схватиться бетон, сжимают тело и словно выжидают малейшей оплошности, чтобы расплющить это чужеродное тело, перевернуть вниз головой или выбросить на поверхность, разорвав легкие. В его легких не воздух. На таких глубинах воздух задушит человека. И Баштовой дышит газовой смесью, которую придумали ученые, и испытывает на себе эти газы.

Летчик-испытатель стремится достичь новой высоты на новой машине. Для водолаза новая глубина и новая конструкция скафандра только часть дела. На дне моря он должен еще и работать. Принимая на себя гигантские перегрузки, рассчитывая любое движение, чтобы не погибнуть, он должен одновременно выполнить задание, во имя которого спустился. Ведь просто наблюдать морское дно можно без особого риска и неудобств из батисферы или других снарядов, специально для этого созданных. Водолаз не может только наблюдать Он вступает в борьбу с могущественными силами воды, чтобы отвоевать жизни и богатства, которые притянет морское дно.

Во всех странах, связанных с морем, идет непрерывная борьба за освоение глубин. Каждый отвоеванный у моря метр имеет огромное значение: в интересах науки, для подъема затонувших богатств и прежде всего для спасения людей. Известно немало случаев, когда экипажи подводных лодок, в частности американских, находясь на неосвоенной для работы глубине, гибли.

Ведь достигнуть определенной глубины еще не значит освоить ее. Существует неумолимая зависимость: чем больше глубина, тем меньше времени может находиться там человек. Освоить глубину - значит получить возможность там работать. А

если у человека для этого две-три минуты, а потом долгие, изматывающие часы подъема, - какая же это работа?

Опытные водолазы спускаются на такие большие глубины, где могут находиться одну-две минуты, ничего не делая, буквально ни одного движения. А покажется иному, будто хватит сил для того, чтобы сделать несколько шагов, поднять что-либо с грунта, - и потеряет человек сознание. В таком положении едва ли его поднимут живым, ибо подъем должен проходить с многочисленными остановками и длиться до десяти часов.

На иной глубине водолаз может работать в течение нескольких минут, но очень медленно. Сделает два-три резких движения - и тот же результат: потеря сознания.

Работа водолаза, - продолжал свой рассказ Никифор Иванович, - это тот редчайший вид работ, где угроза смерти или тяжелого увечья одинаково реальна как в мирное, так и в военное время Это люди, для которых вся жизнь - война. Особенно для испытателей морских глубин.

Мне хотелось подробнее расспросить Балина о Баштовом, но пришел вахтенный офицер и сообщил, что получен приказ о начале учений. Надо немедленно выйти в море на спасение "затонувшей" подводной лодки. Балину сообщили координаты места, где обнаружен аварийный буй. Через два часа мы его увидели.

Удивительно красив этот буй. Яркие полосы красного, синего, желтого и белого лака переливались на голубых волнах, и с трудом верилось, что это сигнал страшного бедствия. Уж очень невинный и радостнопраздничный у него вид. А возможно, так казалось потому, что это был сигнал не подлинного бедствия, а учебной тревоги, и лодка, выпустившая буй, могла в любую минуту всплыть самостоятельно.

Вот такой же красивый буй выпустила и та лодка, с которой случилось несчастье. Как только стало известно, что она не вернулась на базу, начались поиски.

Низко над морем летали самолеты, бороздили воду быстроходные корабли специального назначения. Аварийный буй обнаружили довольно быстро. К нему устремилось спасательное судно, где старшиной водолазной команды был мичман Николай Иванович Баштовой.

Корабль застопорил близ буя. Шлепнулась о воду шлюпка, в которой уже сидели шесть матросов и лейтенант. Рванули весла. Прыгая на крутых волнах, пошли к бую.

Его не сразу ухватишь. Когда шлюпку поднимало на гребень, он проваливался вниз. Но вот уже накинули на него петлю, прижали к шлюпке, лейтенант открыл крышку и поднял

телефонную трубку. На всю лодку раздался сигнал.

Может ли быть для людей, замурованных на дне моря, звук сладостней этого обычного телефонного зуммера! Торжествующее "ура" огласило отсеки и заглушило слова командира, ухватившего телефонную трубку. А в следующий момент все замерло.

- Прежде всего - воздух! - сказал командир. - Даже загрязненного углекислотой воздуха, который у нас остался, хватит не больше чем на два часа. Во-вторых, теплая одежда.

Командир сообщил глубину, на которой лежала лодка, и ее положение на грунте. И эти данные были неутешительными.

Радость людей от того, что лодка найдена, поблекла.

Опасность для жизни подводников не только не миновала, а со всей неумолимой очевидностью встала перед спасателями. Самым простым, на первый взгляд, казалось спустить водолазов, застропить лодку и мощными буксирами вырвать ее со дна морского на поверхность.

Но так только казалось. Людям под водой осталось дышать два часа. Лодка находилась на такой глубине, где водолазы долго работать не могут. И быстро не могут. Любое движение требовало от них огромного напряжения всех сил. Обстановка на дне моря была неизвестна. Могло встретиться много непредвиденных препятствий. Принять этот план - значило рисковать безрассудно.

Оставался единственный выход: дать людям воздух, теплую одежду и все необходимое для жизни, а потом начинать работы по подъему лодки. Но и подобный план не радовал. Не так просто все это сделать за два часа. Предстояло прежде всего поставить спасательное судно точно над лодкой и закрепить его в открытом море неподвижно. Отдать якоря судно не могло из-за опасности протаранить лодку. Приняли . решение: на определенном расстоянии от спасателя сбросить на якорях две швартовые бочки, поставить на якоря два эсминца, расположив их так, чтобы бочки и эсминцы образовали четыре угла огромного воображаемого прямоугольника, в центре которого находился бы спасатель. Затем подать к ним со спасателя четыре стальных троса - два с кормы и два с носовой части, - натянуть их, чтобы они намертво закрепили спасатель на одном месте, над лодкой. Только после этого можно было спускать водолазов с воздушными шлангами.

Подготовительную работу моряки выполнили с необычайной быстротой. Еще только обсуждался план работ, но по боевой тревоге к месту аварии неслись эсминцы, специальные катера устанавливали на якорях бочки, другие суда тянули к ним со спасателя стальные тросы. В самом начале работ буй подняли на спасатель и сообщали на лодку, что делается наверху.

Как ни быстро работали моряки, но, когда подготовительные работы были закончены, все поняли, что для водолазов осталось слишком мало времени. Все труднее дышать становилось подводникам, все сильнее насыщался воздух углекислым газом. Теперь по приказу командира моряки лежали в отсеках не шевелясь, чтобы не растрачивать силы.

Шансов на спасение оставалось мало. Это понимали и спасатели и подводники. Понимал это и старшина водолазной команды мичман Баштовой. Хотя его люди еще не имели возможности приступить к работе, но состояние у него было такое, будто все моряки вокруг - с эсминцев, с бесчисленных катеров и кораблей, собравшихся у места аварии, - выполнили свой долг и только водолазы сидят без дела. И если погибнут подводники, значит, всей своей тяжестью вина ляжет на водолазов.

Он знал: формально никто не станет предъявлять к ним претензий, потому что немыслимо в такой срок подвести воздух на лодку на дне моря, обстановка вокруг которой еще неизвестна. Но от этого легче не было. Он не мог избавиться от ощущения собственной вины. В самом деле, подводники еще живы и останутся они жить или погибнут, зависит от водолазов.

Грустные мысли прервал командир. Он собрал водолазов и

сказал:

- Катера уже потянули тросы к эсминцам и бочкам, скоро начинать вам. Теперь все зависит от вас.

На вас смотрит флот, страна.

Он долго еще говорил про это, и от его слов еще горше становилось на душе. Каждый водолаз и сам видел, что катера уже потянули тросы, и понимал обстановку, и любые слова казались казенными, ненужными.

Баштовой приступил к действиям. Чтобы лучше разобраться в них, надо подробнее рассказать о нем самом.

В матросском клубе девушки танцевали с водолазами. Парни были сильные и широкоплечие. Но и среди них выделялась фигура Николая Баштового. Новая форменка обтягивала грудь. Точно шлифованные лопасти, выпирали на спине косые мышцы. Он стоял у колонны, заложив назад руки, привыкшие вязать морские узлы из корабельных стальных тросов. Брови большие, черные.

- Что ж не танцуете, моряк? - смеясь спросила Верочка, одна из стайки девушек, проходивших мимо Николая.

- Не умею.

Остаток вечера Николай набирался храбрости. Когда стали расходиться, Вера задержалась у зеркала, и Николай ринулся к ней - будь что будет!

На следующий день они пошли в кино. Потом Вера учила его танцевать. После шестой встречи он сказал:

- Ухаживать я не умею, сама видишь. Давай поженимся.

Верочка рассмеялась, хотя шутка ей не понравилась. Потом поняла, что он говорит серьезно, и испугалась.

- Дурехи девки, - укоризненно сказал Николай. - Когда всякие пижоны их обманывают, они млеют, развесив уши, и верят. А если от всей души морской - подвоха ищут.

- Ну как же можно так скоро! - возмутилась она. - А если характерами не сойдемся?

- Про характер это специально для разводов придумывают. Я, например, с личным составом всего корабля сошелся характером. А тебя целая фабрика любит. Что же нам друг перед другом характер выказывать?.

Она поверила. Поверила этим ясным глазам. Спустя несколько дней пошли в загс. Служащий просмотрел их документы, записал фамилии в какие-то книги и сказал:

- Вам дается три дня для последних размышлений.

Если ничего у вас не изменится, приходите. Оформим законный брак.

Они не знали о таком порядке.

- Вот что, - обрадовалась Верочка, - давай эти три дня не встречаться. Пусть каждый из нас подумает наедине с собой.

Она понимала, что "испытательный срок" ничего не изменит в решении Николая. Мысли у него ясные и простые, все обдумано и крепко, как крепок он сам.

События, неожиданно и резко изменившие ее жизнь, пугали, но она верила в хорошее. Полагалась уже не так на себя, как на него. С ним не будет страшно. Но в душе словно царапало что-то: уж очень все молниеносно, прямо перед людьми совестно. И она обрадовалась этим трем дням. Они как бы государственная проверка, после которой можно со спокойной совестью идти в загс.

Условились встретиться на четвертый день в двенадцать часов. Она говорила:

- Если ты передумаешь, ничего не надо объяснять.

Просто не приходи. А если меня к двенадцати не будет дома, тоже не ищи и ни о чем не спрашивай.

Николай слушал улыбаясь.

За пятнадцать минут до назначенного срока три подруги, помогавшие Вере убирать комнату, расцеловали ее и убежали, чтобы не встретиться с Николаем: в этот торжественный момент они должны быть только вдвоем.

Вера была в белом платье. Она посматривала на часы и волновалась. Но ей не хотелось, чтобы он пришел и раньше времени. Пусть ровно в двенадцать!

Пусть полностью истечет срок.

На следующий день, смущенная, растерянная, каким-то безразличным тоном сказала подругам:

- Передумал... Это его право... На то и давались три лня.

Она не плакала. Ее успокаивали: человек военный, могли задержать по службе, может быть, завтра придет.

Он не пришел ни завтра, ни на следующий день.

Вера решила уехать в Белгород к матери. Пошла в райисполком за какой-то справкой. Долго ходила по незнакомым коридорам. Забрела не на тот стаж. Остановилась, пораженная, увидев на двери надписы "Депутат Севастопольского горсовета Николай Иванович Баштовой принимает избирателей по личным вопросам в первую среду каждого месяца от 5 до 9 часов вечера".

Не могла оторвать глаз от таблички.

- Сегодня приема нет, - услышала чей-то голос.

- Кто этот Баштовой? - выдохнула она наконец.

- Как - кто? Депутат... Водолаз, член партийного бюро части.

Держась за стены, Вера спустилась вниз.

"Значит, не передумал, а просто не собирался жениться.

Иначе не скрыл бы своих чинов и званий.

Как же принимает он "по личным вопросам"? Какое право на это имеет?"

Она рассеянно шла, никуда не глядя, и уже у своего дома, завернув за угол, остановилась пораженная. Навстречу ей, качаясь из стороны в сторону и балансируя руками, шел Баштовой, едва удерживая равновесие.

Бескозырка была сбита набок, волосы лезли на мутные остекленевшие глаза.

Увидев Верочку, он рванулся к ней и еще издали заплетающимся языком заговорил:

- В-верочка... пон-нимаешь...

С Баштовым поравнялась машина и резко затормозила. Из нее выскочили морской офицер и два матроса с красными повязками на рукавах: военный патруль.

- Вот он, голубчик, - сказал кто-то из них.

Верочка прижалась к стене. Ей слышно было, как

Николай пытался доказать, будто он не пьян, она видела, как моряки взяли его под руки и втащили в машину.

Ч го же случилось с Баштовым?

Почему не пришел он в назначенный час?

Все свои двадцать три года он прожил честно. Еше совсем мальчишкой стал взрослым, потому что шла война. Мужчин в селе не осталось. Он просился на фронт, его не пускали: молод. Но настало время, когда сказали: приходите с вещами.

Николай попал в запасный полк, в роту противотанковых ружей. Мучительно долго текли месяцы учения. И вот наконец полк погрузился в вагоны.

Эшелон приближался к фронту.

На остановках Николай бродил по перронам незнакомых станций, на продпункты шел не торопясь, как бывалый воин. Раненым, возвращающимся домой, безразличным тоном солидно говорил: "Да вот на фронт едем".

На какой-то станции выдали автоматы. Значит, теперь близко. Поезд шел по чужой земле. Все чувства смешались: собственное достоинство, гордость, что-то огромное, захватывающее и где-то, казалось, за пределами сознания, - тревога. Но она заглушалась свершившимся: едет на войну.

Сколько читалось о старых войнах, о подвигах в этой войне. Но то была лишь романтика, далекая от его жизни. Теперь в руках автомат и все реже остановки эшелона. В голове какая-то смесь из книг Толстого и Николая Островского, но все это неотчетливо, неясно. Он не вспоминал произведений, но когда-то прочитанное всплывало как собственные туманные мысли. Это были даже не

мысли, а ощущение, будто заполнен он чем-то, все его существо стало другим, и весь он другой. Он знал, что совершит подвиг и этот момент близок.

На прифронтовой станции эшелон загнали в тупик и объявили: война окончилась.

Великое всеобщее ликование захлестнуло его, но к этому радостному чувству примешивалось что-то обидное. Будто прав особых на эту радость не было.

Не было его доли в победе. Теперь уже не свершить подвига.

Запасный полк отвели на переформирование. Тех, кто отслужил свое, отправляли домой, а новичков - кого куда. Желающим предоставляли возможность идти в военные училища. В полк приехал капитан-лейтенант, который сообщил, что объявлен набор в водолазную школу. Он никого не агитировал, а просто рассказывал ребятам о жизни водолазов. Ничего подобного Николай никогда не слышал.

На дне морей и океанов и поныне лежит несметное количество кораблей. В течение многих веков они гибли от ураганов и штормов, шли ко дну в результате столкновений, их топили в бесчисленных войнах.

Только в Северной Атлантике в мирное время ежегодно сталкивается триста шестьдесят судов. Многие из них тонут вместе с ценностями, находящимися в трюмах. В редких случаях эти богатства удается извлечь из морских пучин. Но чем большие глубины осваивает человек, тем реальнее становятся возможности поднимать затонувшие ценности. Вот почему все страны мира ученые и практики-водолазы - ведут неустанную борьбу, отвоевывая у моря все новые глубины.

В двадцать первом году, столкнувшись в тумане с другим судном, затонул английский пароход "Иджипт", на борту которого находились золотые слитки стоимостью миллион фунтов стерлингов. Потребовалось почти пятнадцать лет, чтобы поднять золото.

И хотя часть его осталась где-то в морских пучинах, это была немалая победа водолазов. Удалось спасти золотые слитки на два миллиона фунтов стерлингов и с затонувшего английского судна "Ниагара". Подобных примеров единицы. Тысячи кораблей с богатствами лежат на дне моря и ждут своей очереди. В первой мироаой войне было потоплено 178 немецких подводных лодок. А надводных кораблей? А потери всех стран в бесчисленных войнах, какие знает мир? Все это тоже богатства, и покоятся они на дне морей и океанов. С незапамятных времен скапливаются там золото, драгоценности, сокровища мирового искусе гва и древней культуры. И поныне бесчисленные экспедиции на всех широтах и

долготах ищут затонувшие сокровища.

Капитан-лейтенант рассказал ребятам, что в Британском музее хранится уникальное произведение античной древности - фриз Парфенона, поднятый с морского дна. В самом начале девятнадцатого века под благовидным предлогом "сохранить в целости" его разобрал на части и вывез из порабощенной турками Греции английский дипломат лорд Элгин. Судно, куда погрузили этот ценнейший груз, по "пути в Англию затонуло. Два года изо дня в день уходили под воду люди, нанятые Элгином, пока не подняли все скульптуры, которые и продал лорд Британскому музею.

На протяжении веков в морских пучинах обнаруживаются все новые произведения античного искусства, затонувшие до нашей эры. Спустя столетие после истории с фризом Парфенона, украденным Элгином, греческий охотник за губками Стадиатис обнаружил в Тунисских водах близ порта Махдия множества произведений древнего искусства, затонувших более двух тысяч лет назад.

- Вот как пишет об этой находке знаток подводного царства Патрик Прингл, - сказал капшан-лейтенант и прочитал: - "Достигнув грунта, Стадиатис, всэ мысли которого были сосредоточены на поисках губок, испугался при виде этих, казавшихся живыми предметов: огромных белых лошадей, то вздыбленных, то лежавших на спине вверх копытами; обнаженных мужчин и женщин белого или бронзового цвета, в большинстве случаев наполовину зарывшихся в ил...

В панике он дал сигнал подъема".

Богатства, таящиеся на дне морей и океанов, столь фантастически велики, что сейчас трудно даже представить, какую огромную пользу принесут они человечеству, когда люди освоят большие глубины и смэгут находиться там длительное время. А освоение это идет удивительно быстро. Забегая далеко вперед, скажу, что именно за освоение глубин, на которые еще не спускался человек, Николаи Баштовой и удостоился впоследствии звания лауреата Государственной премии.

Совсем недавно казалось немыслимым бурить морское дно и извлекать оттуда нефть. Сейчас этот процесс широко освоен ие только у нас, но и в других странах. Люди научились на дне моря плавить металл, воздвигать сложные сооружения, пользоваться там новейшими достижениями техники. Водолазы взрывают под водой стальные входы в кладовые затонувших судов, переборки, палубы, открывая путь к сокровищам.

Подводные фото- и киносъемки, подводное телевидение служат не только для удовлетворения эстетических потребностей

человека, но и широко используются в аварийно-спасательной службе.

Рассказы морского офицера из водолазной школы открыли перед Николаем Баштовым, имевшим всею"

четырехклассное образование, и удивительный мир обитателей морей. Оказывается, вопреки множеству описанных в книгах случаев, передаваемых из уст в уста, акула не нападает на человека. Схватка между ними может произойти лишь в том случае, если нападет человек.

Легендой оказалось и все, что Николай знал о страшных осьминогах. Кому из ребят не известно, что осьминог захватывает свою жертву огромными щупальцами, тысячами сосков присасывается к ней и держит, пока не вытянет всю кровь. Вот это как раз и оказалось легендой. Тысячи сосков у осьминога только для того, чтобы удерживаться на отвесных подводных скалах или камнях. И он тоже не нападает на человека, если его не трогать. Бывали случаи, когда осьминог захватывал водолаза, но достаточно было ударить животное между глаз, и беспомощно поникали его щупальца.

Как правило, морские хищники смертельно боятся пузырьков воздуха, выскакивающих из-под шлема водолаза при выдохе. Завидев пузырьки, хищники обращаются в бегство. В худшем случае они могут с опаской наблюдать со стороны, не подплывая к водолазу.

Конечно, могут быть, да они и известны, случаи из ряда вон выходящие, когда хищник ведет себя по-другому, но это лишь редчайшие в мире исключения.

Особый интерес у Баштового вызвал рассказ о том, как действуют люди-торпеды. Это не самурайские смертники, обреченные на гибель вместе со своей торпедой, а водолазы. Еще в первую мировую войну итальянцы Паолуччи и Розетта создали торпеду с двумя отделяемыми магнитными минами замедленного действия. На специальный катер они погрузили свой аппарат, пересекли Адриатическое море и ночью высадились на воду близ югославского порта Пула. Усевшись верхом на торпеду, направились в гавань к австрийскому линкору. И аппарат и диверсанты двигались под водой. На поверхности оставались только головы людей. Диверсанты были одеты в резиновые костюмы с воздушными карманами, и это давало возможность не только без усилий держаться на воде, но и легко управляться с торпедой. Они имели возможность выпустить из карманов воздух или вновь заполнить их, в зависимости от того, надо ли им укрыться под водой или всплыть на поверхность.

На пути к линкору Паолуччи и Розетти встретили массу

препятствий. Они перетаскивали свою торпеду через боны и заградительные сети, она тонула, но они извлекали ее со дна и снова двигались к цели. Достигнув линкора, поставили дистанционный взрыватель на полчаса, чтобы за это время уйти в безопасное место, и приложили магнитные мины к днищу судна. Уйти, однако, им не удалось, так как было уже светло и их заметили. Но это не помешало взрыву, который произошел в назначенное время и вывел из строя боевол корабль.

Опыт Паолуччи и Розетти был значительно шире применен во второй мировой войне. Обычно во зсех портах ставятся бесчисленные заграждения, которые надежно закрывают вход для вражеского подводного и надводного флота. Закрыть путь небольшой торпеде, сопровождаемой диверсантами, едва ли возможно.

Они легко проделывают отверстия в заградительных сетях, без каких-либо усилий обходят мины и другие препятствия, губительные для кораблей. Это обстоятельство и позволило им совершать ряд крупных подводных диверсий во второй мировой войне.

Окончательно Баштовой решил идти в водолазное училище, когда услышал историю "Черного принца".

17 декабря 1923 года по инициативе Ф. Э. Дзержинского была создана "Экспедиция подводных работ особого назначения иа Черном море", сокращенно - ЭПРОН. Первая поставленная перед ней задача сводилась к тому, чтобы отыскать на дне моря "Черного принца" и, если там действительно есть золото, извлечь его из морских глубин.

Что же это за "Черный принц", о котором ходило немало легенд? Это судно, и отнюдь не мифическое.

Во время Крымской войны, как известно, против России выступили Англия, Франция, Турция и Сардиния.

На стороне коалиции был еще ряд стран, открыто не участвовавших в войне. Объединенные силы противника устремились к главной военно-морской базе русских - Севастополю. Защитников города было неизмеримо меньше, чем вражеских войск, но севас шпорцы удерживали город триста сорок девять дней. Врагу они оставили развалины, да и то находившиеся под обстрелом с северной стороны Севастопольской бухты, куда отошли русские.

В этой войне Россия имела только парусный флот, а противники моторный. После многомесячной осады русские моряки решили затопить свои корабли, чтобы они не достались врагу. И сентября 1854 года корабли были затоплены так, что полностью закрыли для врага вход в Севастопольскую бухту.

Вражеский флот вынужден был базироваться в Балаклаве. В начале ноября, не по-крымски в тот год холодном, туда начали подходить многочисленные вражеские суда со снаряжением, боеприпасами и обмундированием. Среди них были американские транспорты и корабли объединенных сил противника.

Спустя две недели о судьбе этих судов сообщала вся мировая печать. "Лионский курьер" писал: "4 ноября на рассвете буря началась проливным дождем при жестоком ветре, который быстро превратился в ураган. К 9 часам после некоторого затишья ветер внезапно перебросило к западу с невообразимой силой и яростью. Вся масса кораблей, загнанная к северу, стремительно понеслась к скалам, где ей угрожало совершенное разрушение.

В Балаклаве восемь больших английских транспортов погибло с людьми и грузом, их разбило об исполинские скалы, окружающие внешний рейд. Ни один из них не мог войти в тесный ход гавани при такой бурной погоде".

Английское адмиралтейство сообщило названия кораблей, нашедших гибель на подходах к Севастополю Среди них было названо и паровое судно "Принц".

Это оказались только первые ласточки. Со второго по четырнадцатое ноября у Балаклавской бухты затонуло более тридцати вражеских судов. Особенно большой потерей для врага был пароход "Принц", которому еще в те времена в России дали название "Черный принц".

Из многочисленных сообщений печати и официальных данных стало известно, что на борту этого парохода, кроме теплого обмундирования, находилось большое количество золотых денег, предназначенных для выплаты жалованья войскам за длительное время.

Водолазам объединенных сил противника не удалось найти "Черного принца". Почти семьдесят лет спустя, когда задача неизмеримо усложнилась, за это дело взялись и успешно решили его советские водолазы. В том месте, где затонул "Черный принц", глубина доходила до ста двадцати метров Но судно зацепилось за выступ подводной скалы в шестидесяти метрах от морского дна и застряло там. Водолазы подняли с него ряд деталей, свидетельствовавших, что это действительно "Черный принц". Возможно, золото высыпалось из многочисленных пробоин, полученных судном при катастрофе, и за долгие десятилетия монеты занесло илом и камнями, может быть, покрылись они ракушечником таким толстым слоем, что потеряли всякую форму, но так или иначе, время свершило свое дело: найти золото не удалось.

Но работа водолазов принесла неоценимую пользу.

С морского дна было поднято много металла и ценных материалов, в которых остро нуждалась страна.

История "Черного принца" на этом не закончилась.

Японские официальные органы заявили, что они берутся извлечь золото с "Черного принца" и готовы для этого снарядить собственную экспедицию, оснащенную передовой по тому времени водолазной техникой.

Советское правительство приняло предложение, и был заключен контракт, по которому японцы обязались:

1. Оплатить советской стороне все расходы ЭПРОНа, нашедшего судно.

2. Обучить советских водолазов новой технике подводных работ.

3. Передать советской стороне половину золота, которое удастся поднять.

4. Все работы проводить под полным контролем советской стороны.

Японцы выполнили все свои обязательства. Они затратили много времени, сил и средств и золото нашли:

семь монет. Спустя много месяцев после начала работ, убедившись в их бесплодности, водолазы прекратили дальнейшие поиски.

Рассказав историю "Черного принца", морской офицер добавил, что первые самостоятельные спуски молодые водолазы совершают на это судно.

Вместе с группой ребят Николай Баштовой сменил солдатскую форму на тельняшку и морской бушлат.

Учился водолазному делу. На дне моря узнал, что такое война. Он увидел затопленные, изуродованные линкоры, крейсеры, подводные лодки, самолеты, катера, транспорты. Увидел тысячи и тысячи неразорвавшихся бомб, торпед, снарядов. Наших и немецких.

Морские мины лежали на грунте, плавали на разных глубинах, на поверхности.

В фантастическом хаосе послевоенного морского дна были свои улицы, переулки, площади, тупики.

Были баррикады из якорей, цепей, тросов, обломков.

Черноморские порты и курортные пляжи таили опасность. Водолазам предстояло освободить от пут, оставленных войной, советское побережье Черного моря.

На первое серьезное задание Баштовой пошел с сознанием важности предстоящей операции. На грунте лежала немецкая подводная лодка. Надо было осмотреть ее, определить, в каком

положении она находится, насколько занесена илом, какие имеет повреждения. Одним словом, доложить с исчерпывающей ясностью и полнотой обстановку на грунте.

На палубе раздалась команда:

- Водолазу Баштовому приготовиться.

Он надел шерстяное трико, свитер и вязаную шапочку, с трудом влез, как в мешок с узкой горловиной, в огромный водолазный костюм из толстой резиновой ткани. Натянул штанины, встал, прижав руки по швам, и четыре матроса с четырех сторон взялись за горловину, толстую, как протектор автомобильной покрышки. Под команду сильными рывками растягивали ее, поднимая вверх, пока не перетащили через плечи. Теперь он оказался по самую шею в просторном костюме и легко просунул руки в рукава. На плечи положили медную манишку, а сверху почти пудовый круглый шлем и прижали его тремя болтами. На груди и на спине закрепили грузы, всунули его ноги в свинцовые галоши, тоже в пуд каждая, затянули ремни, закрутили иллюминатор, привязали нож и фонарь.

- Как слышимость? - раздался в шлем гулкий голос, похожий на эхо,

- Хорошая.

- Проверьте воздух!

- Хорош! - сказал Баштовой, и это слово через автоматически действующий телефон разнеслось по палубе.

- Приготовиться к спуску! - звучит новая команда.

И вот он уже под водой.

Погода стояла ясная, солнечная, глубина сравнительно небольшая, видимость отличная. Вскоре он сообщил наверх:

- Подо мной метрах в шести лодка.

Он внимательно смотрел на нее и вдруг заметил, что на мостик из люка поднялся человек, должно быть командир. Вслед за ним вылезло человек десять матросов. Открылись крышки торпедных аппаратов, заработали винты, лодка стала медленно подниматься.

~ Взволнованно, заплетающимся языком он передавал наверх все, что видел. Но на палубе никто не удивился этому невероятному сообщению.

Дело в том, что при повышенном давлении газы, которыми дышит человек, ведут себя предательски.

Кислород на глубине более двадцати метров отравляет организм. На большой глубине вдох кислорода может быть смертельным. В лучшем случае человек теряет сознание, а потом долго бьется в судорогах. Кислородное отравление наступает мгновенно, и водолаз не успевает что-либо сделать, не успевает

даже сообщить наверх о несчастье. Поэтому величайшая ответственность лежит на человеке, сидящем с наушниками у пульта. Он обязан непрерывно поддерживать связь с водолазом, чтобы уловить момент, когда с тем что-то случится.

Азот под давлением превращается в сильнейшее наркотическое средство. Водолаз, отравленный азотом, поет, что-то бормочет... Перед ним возникают миражи.

И он сообщает наверх, будто видит на дне моря дымящиеся домны, эскадры, ведущие бой, и другие небылицы. Водолаз не понимает, в каком состоянии находится. Его охватывает веселье, он становится удивительно легкомысленным и может совершить самый безрассудный поступок. Бывали случаи, что человек в легководолазном снаряжении выплевывал загубник, через который дыщал, и через несколько минут умиУслышав странный доклад Баштового, водолазный специалист, наклонившись к самому микрофону, сказал:

- Не беспокойтесь, лодка пройдет мимо.

Он велел поднять Баштового на пять метров и спросил, как тот себя чувствует. Николай ответил, чго самочувствие отличное, что видит лежащую на гр/нте лодку, облепленную ракушками и водорослями, и не понимает, почему прекратили спуск. И этот его ответ был понятен. Как только человека поднимут из сферы, где азот действует отравляюще, он приходит в нормальное состояние. Он не помнит, что с ним происходило.

Так получилось и на этот раз. Трижды спускали Николая к лодке, и трижды возникал перед ним мираж. Спуски пришлось отменить.

Было еще два подобных случая, но с течением времени организм привык к глубинам и галлюцинации прекратились.

Задания, которые он выполнял, становились все сложнее.

На глубине более восьмидесяти метров близ водной спортивной станции и пляжа пионерского лагеря нашли мину. Обыкновенную морскую мину, которая может разорвать стальную броню большого корабля.

Баштовому велели приготовить ее к подъему, чтобы потом отбуксировать эту опасную штуку от людного места.

Водную станцию и пляж временно закрыли. Коекто был недоволен. "Куда смотрят люди, - говорили они, - и как допускают, что до сих пор на пляже мины".

Те, кто так говорил, были неправы. Они просто не знали, что такое морская мина. Обнаружить в воде металл легко. Но металла много. На дне остались железные и стальные части затопленных кораблей не только времен второй мировой войны, но и периода прошлых войн. Осталось много обломков, якорей,

цепей И приборы будут все время показывать присутствие металла. Значит, приборами мину не найдешь.

Ее легко уничтожает тральщик. Заденет мину тралом - вот и конец ей.

Так может быть. Но не всегда. Есть мина хитрее и умнее. Ее аппаратная часть недаром напоминает внутренности мощного радиоприемника. Там столько цветных проводков, что в них сам черт ногу сломит.

И не зря их понацепляли. Через них идет ток к приборам срочности и кратности. Скажем, установили срок взрыва год - и раньше не взорвется. И трал не поможет. А когда истечет срок, начнет действовать прибор кратности. Пройдет, скажем, тральщик раз пять, все дно переворошит, можно бы считать район свободным от мин, а у мины, оказывается, кратность одиннадцать. Значит, еще пять кораблей пройдут над ней невредимыми, а одиннадцатый она взорвет.

Как же искать мины? Пройти со щупом каждый квадратный метр морского дна на протяжении тысяч километров? Да и то не всегда найдешь. Морское дно не бетонная дорожка. Там, где сегодня яма, завтра может оказаться бугор, а под ним - мина.

Баштовому приказали приготовить мину к буксировке. Пока она лежала на палубе или в трюме какого-то корабля, ее свинцовые рога были покрыты стальными предохранительными колпаками. В маленькой открытой коробочке на ее теле поршенек с пружинкой прижимал кусочек сахару. Обыкновенного, какой кладут в чай. Когда мину сбросили в воду, сахар растаял. Поршенек уперся в кнопку, привел в действие весь предохранительный механизм - и стальные колпаки прыгнули в разные стороны. Остались чувствительные и податливые свинцовые рога. Ткнутся они во что-нибудь - и сломаются внутри них тончайшие стеклянные колбочки. Все. Взрыв.

Мина послушна. Но только тому, кто ее снаряжает. Захотят - она будет плавать на поверхности. Могут заставить ее встать на любой глубине или лечь на грунт.

Мина Баштового лежала на грунте. Значит, так хотели те, кто бросил ез туда.

И вот теперь с ней надо что-то делать. Подходить со стальным или железным инструментом нельзя. Она может быть магнитной. Не успеешь прикоснуться, как возбудится магнитное поле - и взрыв.

На Баштовом был антимагнитный костюм. Это еще не означало, что можно смело подходить к мине. Она могла быть звуковой. Стукнешь случайно чем-нибудь о камень или заденешь ее свинцовой галошей - наверняка взрыв.

Баштовой приблизился к мине бесшумно, подождал, пока осел ил. И все равно видны были только ее очертания. На глубине ведь темно. Свой мощный фонарь он не взял. Ни к чему. Мина может быть световой. Она не вынесет даже тусклого лучика и взорвется.

Едва прикасаясь к металлу, ощупал всю поверхность и обнаружил крохотный экранчик. Так и есть - световая. Начни поднимать ее, она, не дойдя немного до поверхности, где-то в верхних слоях воды, восприняв свет, бабахнет, и все.

Баштовому спустили с водолазного судна специальный состав, и он замазал экран. Подождал немного и для верности покрыл его вторым слоем. Только тогда потребовал фонарь.

Мина глубоко сидела в грунте, и, что таила скрытая часть, было неизвестно. Стало ясно лишь, что кольцо, которое для того и делается, чтобы за него зацепить трос, находится снизу. Он долго разрывал руками грунт и убедился, что никакие новые неприятности его не ждут. Оставалось застроить мину мягким канатом, завязать этот шар так, чтобы канат не сдвинулся и не коснулся рогов, когда рванут мину вверх. Баштовой и это сделал. Второй конец короткого каната прикрепил к резиновому ненадутому понтону, который лежал пока на грунте в нескольких метрах от мины. Когда все было сделано, Баштового подняли на палубу.

Медленно стали накачивать воздух. Уже, казалось, понтон надут, но мина держала его. Компрессор гнал воздух. Понтон набрал максимальную мощность и вырвал ее с грунта.

Понтон плавал на воде, а под ним висела мина.

И снова Баштовому пришлось идти к ней. Он проверил стропку, привязал к понтону трос от буксирного катера. Все. Теперь водолазу здесь уже нечего делать.

Мину уволокут на буксире куда-нибудь подальше, и минеры что-то с ней сделают. Может быть, взорвут, а возможно, вытащат на пустынный берег и разберут.

Баштовой научился работать с минами. Он знал:

морская мина, как и противопехотная, - всегда тайна.

Только в пять тысяч раз больше ее взрывная сила; только ощупывать ее надо во мраке, бесшумно; только, ложась возле нее, чтобы ощупать низ, надо не забывать, что тебя может перевернуть вверх ногами; только работать надо скованными, онемевшими руками, в громоздком костюме, увешанном грузами, и не забывать вовремя прибавить или убавить дыхательной смеси, чтобы не задушило и не выбросило наверх.

Баштовой поднимал корабли, бомбы, торпеды. По цвету воды научился определять глубину, на которой находится. Он мог

передвигаться в нескольких сантиметрах от грунта, не ступая на него, чтобы не потревожить ил. На дне моря провел несколько тысяч часов, исходил немало километров: Феодосия, Керчь, Поти, Ялта, Сухуми, Батуми, Севастополь... Он узнал все глубины, рифы, профили грунта. Он знал теперь морское дно как собственный поселок. Он стал непревзойденным мастером морских глубин.

Вот тогда-то Николай и решил жениться на Верочке. За день до назначенной встречи ему предстоял спуск под воду, а следующие два дня были свободными. Он знал, что не опоздает и ровно в двенадцать приедет к ней.

Под водой ему предстояло найти и обследовать затопленный теплоход "Серов". В том месте, где его спустили, корабля не оказалось. Куда идти неизвестно.

Он искал долго. Срок пребывания на грунте кончался. Ему не хотелось возвращаться ни с чем. Сам не зная почему, повернулся и пошел в другом направлении. Вскоре показалось, будто с той стороны, куда он , двигался, нависла огромная тень. Пошел быстрее, хотя сил оставалось мало.

Водолазы не переносят под водой ни тени, ни звука. Это, как правило, связано с неприятностями. Это значит, что появилось что-то постороннее, и воа,олаз будет нервничать и настороженно искать, пока не найдет источник звука или тени.

Озираясь, Баштовой двигался навстречу тени. Неожиданно выросла перед ним громада, и он отчетливо увидел надпись: "Серов".

Теперь, казалось, можно подниматься. Но он попросил разрешения влезть на палубу затонувшего судна и закрепить там конец, чтобы для других водолазов это была направляющая прямо на "Серова".

Он прибавил в скафандр воздуху. Ровно столько, чтобы стать невесомым и легко всплыть. Прибавишь чуть-чуть больше - выбросит наверх.

Всплывая на палубу, следил, чтобы ноги ни на миг не оказались выше уровня головы. Это почти всегда смертельно: воздух устремится в штанины, грузы на спине и груди потянут вниз и его перевернет вверх ногами. Он успеет сообщить о несчастье на корабль, но быстро поднять его не смогут: это наверняка смерть. Чем больше давление, тем больше газов растворяется в тканях и крови. Если быстро поднять человека, газы в виде шариков рванутся из организма, как из открытой бутылки шампанского. Но выхода у них нет. Они закупорят, разорвут кровенсслые сосуды.

Он благополучно взобрался на палубу "Серов", очень

торопливо, но накрепко привязал стальной тросик к какому-то поручню и потерял сознание.

Очнулся от сильного звука. Это радист, наклонившись к микрофону, кричал: "Баштовой, Баштовой, почему не отвечаете? Что случилось?"

Николай спокойно сказал:

- Ничего не случилось. Готов к подъему.

Во время подъема еще раз на короткое вречт терял сознание. Это был результат перегрузки от быстрых и резких движений.

На палубе его положили в декомпрессионную камеру на сутки. Она похожа на барокамеру, какой пользуются летчики. Но там сильно разреженный воздух. Там устанавливают давление ниже атмосферного, какое было на большой высоте, и постепенно сводят к нормальному. Здесь, наоборот, сначала воздух сжимают до такого давления, какое испытывал водолаз на самой большой глубине, а потом на протяжении многих часов снижают до атмосферного.

Баштовой решил, что не опоздает к Верочке. Когда истек срок пребывания в камере, врач осмотрел его и велел остаться еще на двенадцать часов. Протесты Николая не помогли.

Как же ему теперь быть?

Баштовой сбежал с судна. Решил повидаться с Верой и тут же вернуться. Но по дороге начался приступ кессонной болезни. Это профессиональная болезнь водолазоз, являющаяся результатом больших перегрузок под водой. Она доставляет человеку мучительную боль в костях, а внешне он становится погожим на пьяного. Его качает из стороны в сторону, и говорит он заплетающимся языком. В таком состоянии его и увидела Верочка возле своего дома.

В военной комендатуре, куда доставили Николая, недоразумение быстро выяснилось, и его отвезли в госпиталь. Оттуда и получила от него запуску Вера, за два часа до отправления поезда, на котором собиралась уехать из Севастополя.

Они поженились.

Николай вернулся к работе. Принимал участие в подъеме крейсера "Червона Украина", крупных судоз "Грузия", "Абхазия" и других. Он мастерски владел электрическим и пневматическим инструментом, техникой сварки и резки металлов под водой, знал всэ виды подъемных и глубинных работ. Он перешел в высшую категорию, стал водолазом-испытателем.

Когда затонула подводная лодка и жизнь люде!

оказалась под угрозой, на их спасение прежде всего направили судно, где старшиной водолазной команды был

Баштовой. Он же исполнял" обязанности секретаря партийной организации. Перед тем как пустить под воду своих людей, он никакого инструктажа им нэ дал, не сказал напутственного слова. Сказал одну фразу:

- Углекислота на лодке приближается к трем процентам.

А что им говорить еще! Под воду пошли мастера глубин, такие же, как и сам Баштовой. Каждый из них за свою жизнь провел на дне морей и океанов не одну тысячу часов и смерть знал в лицо. Какие же им слова говорить, какие давать инструкции! Они знали:

три процента углекислоты в воздухе - это смертельная граница. Значит, люди вот-вот начнут задыхаться.

Водолаз Анатолий Шведов нашел на дне лодку, постучал по корпусу, чтобы экипаж знал: водолазы действуют. Быстро закрепил направляющий тросик, по которому прямо к лодке спустилась группа водолазов с массивными шлангами подачи и отсоса воздуха. Открыли люч!ки и заглушки, соединили с лодкой шланги, сообщили наверх: готово!

Заработали насосы, надулись шланги. Ринулся в лодку могучий поток свежего воздуха. Со свистом втягивались в другой шланг отравленные газы и вылетали на поверхность.

Это была первая, решающая победа. Это - жизнь.

Лодка находилась в таком положении, что стало ясно:

для подъема потребуется много времени. Обстановка осложнялась начавшимся ветром.

На лодку передали по телефону команду: извлечь торпеды из аппаратов, закрыть внутренние крышки и открыть наружные.

В специальных, герметически закупоренных пеналах водолазы опустили в торпедные аппараты горячее какао, спирт, необходимые продукты и теплое белье.

По их команде из лодки закрыли наружные крышки и открыли внутренние. В лодку хлынула вода, увлекая за собой пеналы.

Теперь можно было спокойно готовиться к подьему лодки. Правда, спокойствие относительное, так как ветер усилился. В двенадцать тридцать ночи страшным порывом обор-вало воздушные шланги и телефонный кабель от буя. Связь с лодкой прекратилась. Но это была не катастрофа: экипаж подводного корабля имел теперь все необходимое для длительного пребывания на грунте.

В районе спасательных работ появились крейсеры и встали, как волноломы, образовав искусственную бухту. Водолазы снова пошли на грунт, снова подвели шланги, восстановили связь. Они работали безостановочно, сменяя друг друга, пока могучие

буксиры не вырвали лодку на поверхность,

Через несколько дней разыгралась трагедия, которую никто не мог предусмотреть.

Утром Николай ушел на свой корабль, сказав Вере и шустрому Сашке, что вернется на следующий день.

Не знали они, жена и сын, что не вернется он ни завтра, ни через неделю, ни через месяц.

Баштовому предстоял спуск на очень большую глубину. Находиться в воде надо было не меньше шести часов. Он одевался на палубе, весь мокрый от нестерпимого солнца. Надел две пары толстого шерстяного белья, сверху меховой жилет и длиннющие меховые чулки. Матросы помогли натянуть тяжелый костюм глубоко-водника.

Он шагнул на специальную раму, сел на отведенное для него место. По другую сторону рамы сел второй водолаз - Сергей Рыков.

На раме укреплен колокол. В нем и произошла катастрофа. По форме колокол похож на вертикально поставленную, удлиненную железную бочку, у которой открывающееся внутрь дно, а наверху высокий купол. Когда раму опустят, вода под купол не попадет, хотя крышка внизу будет открытой. Останется воздушная подушка, как остается она в перевернутом вверх дном стакане, если опустить его в воду.

Выполнив задание на дне моря, водолазы сядут на свои места на раме, и начнется подъем. На определенной глубине они поднырнут под колокол, влезут в него, упрутся ногами в железный обруч, на который ляжет крышка, когда ее закроют. С пульта управления, приняв сообщение водолазов о том, что они находятся в колоколе, начнут подавать туда воздух, который вытеснит воду. Тогда водолазы закроют крышку, встанут на нее, открутят друг на друге иллюминаторы, отпустят болты и снимут шлемы. Уже там, на глубине, начнется декомпрессия. По мере подъема давление будут снижать. На корабле колокол подгонят и прижмут к декомщрессионной камере. Откроются внутрь крышки колокола и камеры, и водолазы перейдут в нее, не выходя на палубу.

А пока Баштовой и Рыков сидят на раме.

Раздается команда:

- Приготовиться к спуску!

Взвиваются на мачте флаги: "Под водой люди".

Искрится вода на солнце. Море тихое, спокойное, ясное. Только вечные чайки кричат и бьются за жалкие крохи, выброшенные за борт коком. Ухватив добычу, глотая на лету, несутся прочь, а кому не досталось, кружатся, парят, будто

просят: дайте, дайте, дайте...

Подрагивая, скользит стрелка на пульте. Глубина 10 метров, 20... 30... 50... Вода обжимает тело. Как резиновыми бинтами, схватило у щиколоток, обтянуло икры, колени. Тугим корсетом стянуло живот, ребра.

Каждые десять метров давление увеличивается на одну атмосферу. И на столько же повышается давление воздуха в водолазном костюме, в легких, во всем организме.

По мере погружения Баштовой то и дело слышит:

- Самочувствие?

- Отличное.

Дрожит стрелка: 60... 70... 80... Море сжимает тело водолаза. Не отрывая глаз, следят за давлением у пульта.

...90... 100... 120..

- Самочувствие?

- Хорошее.

...130... 140... 150... Давление в груди БаштоБОго шестнадцать атмосфер. Больше, чем в самом мощном паровозном котле. Такое же давление растворенных гаоов в крови, в тканях, в сердце.

Вода сжимает тело Баштового с силой в 288 тонн.

Стоящий на палубе у пульта искусственно создает в организме Баштового такую же силу противодействия.

Уже не дрожит, уже трепещет стрелка,

Ниже... ниже... ниже...

- Видимость?

- Метр.

Ниже... ниже... ниже ..

- Стоп! Стою на грунте.

Разрешение получено, можно приступать к работе.

Еаштовой подходит к Рыкову, водолазы обмениваются рукопожатием, о чем-то говорят.

Я наблюдал, как разговаривают водолазы на дне моря. Удивительно трогательное зрелище. На дне моря ведь все не так. Человек видит окружающее точно под мутным увеличительным стеклом. Предметы кажутся ближе и больше, чем в действительности. Сравнительно крупную рыбу новичок может принять за акулу.

А слышит человек не ушами, а костями. Если водолаз работает молотком, звуки ударов будут слышны стоящему рядом, независимо от того, открыты у него уши или он их накрепко заткнет. Если водолаз будет изо всех сил кричать что-либо на ухо своему напарнику, тот все равно ничего не услышит. Но достаточно им коснуться друг друга шлемами, как звук начнет передаваться, точно электрический ток по провода:м.

Когда смотришь, как, прижавшись шлемами, стоят на дне моря водолазы, кажется, будто нежно склонились друг к другу и ласкаются какие-то существа с другой планеты, еще не научившиеся целоваться.

Пожелав друг другу удачи, водолазы приступили к делу. Николай пошел, а Сергей остался на месае. Он обеспечивающий. Он будет держать шланг Баштового, окажет помощь, если что-либо случится.

Николай шагнул в ледяной непроницаемый мрак.

Вода бетонного цвета на расстоянии вытянутой руки превращается в железную броню. Будто замурованный. Ни рыб, ни водорослей, ни сказочных красот. Ничего. Небытие.

Баштовой идет. Он очень легок, водолаз, в воде.

Вместе с пятипудовым грузом на груди и спине, вместе с галошами он весит не больше четырех-пяти килограммов. Едва оттолкнувшись от грунта, он подпрыгнет на один-два метра. Но уже не бинтами, а гипсом схвачено, сдавлено, сковано тело. Каждая мышца отдельно перебинтована. На большой глубине можно идти со скоростью не больше трехсот метров в час.

Но целый час двигаться никто не сможет, не хватит сил.

Баштовой благополучно выполнил задание. Время пребывания под водой истекло, силы иссякли. Он получил приказ подниматься.

Он двигался к раме, стараясь не сделать резкого движения. Возле рамы услышал удар и подумал, что у него начались галлюцинации. Сергея Рыкова на раме не было. В ту же минуту раздался приказ сверху:

- Немедленно проверьте, что с Рыковым. Он нэ отвечает.

Разбросав руки, лежал близ колокола Сергей. Сил у Баштового прибавилось, он рванул вверх товарища и, когда лица их сблизились, увидел, что во рту у Сергея нет загубника, и понял, что это значит. Николай поднял Сергея так, чтобы голова вошла под колокол, заполненный газовой смесью, и влез туда сам. Теперь Сергею было чем дышать. Но он не вздохнул, не пошевелился.

Баштовой не знал, сколько времени Сергей лежал без загубника, не знал, держит он мертвое тело или человека, но понимал, что его надо держать в таком положении долго, пока не поднимут наверх.

Надо держать его вот так, как сейчас, или немного приподнять, но опускать нельзя ни на сантиметр, потому что вода доходит до груди, а маски нет и, если еще жив человек, он захлебнется.

Предупредив Баштового, сверху начали подъем. Рама

двигалась так же медленно, как обычно, и она будет делать такие же бесконечные остановки только при этих условиях растворенные в организме газы постепенно выйдут через кровь и легкие и не изувечат человека.

Сверху передали совсем ненужные слова ободрения и печальные слова о том, что, пока он на большой глубине, помощи оказать не смогут. Николай знал это сам. На палубе оставались только молодые водолазы, не освоившие еще глубоководного снаряжения, и спускать их сюда - значит просто убивать людей.

Баштовой встал поудобнее, упершись спиной, привалил к себе Сергея так, чтобы его тяжесть приходилась не только на руки, но и на грудь и живот. И когда он выбрал эту удобную позу и прикидывал, как переменит ее, когда замлеют руки, Сергей вздрогнул и изо всех сил ударил Николая свинцовой галошей и головой. Голова стукнулась о колокол, а удар галошей пришелся по кости ниже колена. И хотя этот удар был смягчен одеждой, все равно у Николая затуманилось в голове, он осел и хрипло выдохнул:

- За что?

Это был не то стон, не то глухой крик, но усиленный микрофоном, он разнесся по палубе. Матросы слышали удар о колокол и слышали Баппового, и каждый окаменел на том месте, где стоял. Только телефонист у пульта каким-то не своим голосом кричал:

- Баштовой! Баштовой! Что случилось?

В ответ снова раздался глухой удар, потом частые удары, бормотание, возня.

Хотя в голове у Баштового затуманилось, он все же успел подумать, что нельзя выпускать Сергея, потому что тот может захлебнуться, и даже обязательно захлебнется. А удары сыпались один за другим, и, озлобившись, он приподнялся и сдавил своими железными руками Сергея, и тот перестал вырываться.

- Отвечайте же, Баштовой! Отвечайте! - надрывался телефонист.

- Да замолчи ты! Он в судорогах бьется.

Все поняли, что Рыков отравился кислородом. Понял и Николай. А руки уже ослабли, и Сергей снова стал бить головой и ногами. Изо рта у него шла пена.

Николай не мог перехватить рук и взяться поудобнее, потому что вода плескалась у самого подбородка и боязно было уронить человека. Опираться на правую ногу он не мог и не знал, перебита она или нет. Зато головой ему удалось прижать голову Сергея к колоколу. Но когда он почувствовал удар в живот и левое колено, должно быть, съежился, потому что голова Сергея

вырвалась.

- Вот проклятый! - выругался Николай и все же встал на правую ногу, так как левое колено совсем отнялось.

Он уже не мог защищаться, и только старался не упасть и не дать Сергею захлебнуться, и все бормотал:

- Не бей... Не бей по голове... Ну, не бей же...

Это бормотание, усиленное микрофоном и специальным устройством для увеличения разборчивости слов и очищения их от посторонних шумов, было отчетливо слышно наверху.

Рвануть бы лебедку на бешеные обороты, выхватить из глубины людей на эту солнечную палубу, на этот широкий морской простор, располосовать одежду, дать им живительный воздух!.. Но он смертелен.

Несется по палубе гул из морской пучины. Солнце в зените. Плещутся на мачте яркие флаги: не приближаться, под водой люди. Море голубое, нежное...

Матросы не могут смотреть на море. Те, кто послабее, уходят вниз, в кубрики, чтобы ничего не слышать.

Они молчат и не смотрят друг на друга. И хотя их много и они все вместе, невыносимое одиночество охватывает каждого, и нет сил оставаться в кубрике.

Они бредут наверх, а те, кто был на палубе, спускаются и движутся бесшумно, как немые, как тени. Было мучительно сознавать, что вот на глазах у всех здесь, под кораблем, погибают два человека, а целый экипаж здоровых ребят ничего не может сделать.

Молодые водолазы, не знавшие глубин, подходили к командиру, просили: "Опустите под воду". Он даже не благодарил их за мужество. Это не мужество, а самоубийство.

Посередине юта стояли офицеры.

Командир поднял голову, вопросительно посмотрел на врача.

- Такую нагрузку на глубине человеческий организм выдержать не может, ответил врач. - Баштовой обязательно потеряет сознание.

Взгляд передвинулся на заместителя по политчасти, - Могут погибнуть оба, - ответил тот.

Были сказаны четыре короткие фразы: четыре офицера доложили свое мнение. Оно было общим. Никто не произнес страшных слов, но все знали: погибнут оба.

Командир мздлил. Будь это не Баштовой, не так мучили бы сомнения. Баштовой4 находит выходы из самых безнадежных положений. Когда несколько лет назад на большой глубине перевернуло вверх ногами водолаза, гибель казалась неминуемой. Рядом находился Баштовой. Его вес в воде не

превышал пяти килограммов. Чтобы поставить водолаза в нормальное положение, требовалось усилие в триста пятьдесят килограммов. Баштовой придумал поразительное инженерное решение для спасения товарища и выполнил его. В безнадежном, казалось, положении был и другой водолаз, потерявший сознание на большой глубине. И здесь Баштозой, рискуя собой, выручил товарища. Казалось, Баштовой все может. Поэтому так трудно было командиру решать вопрос о Рыкове. Но ведь и Баштового надо когда-то пощадить. Сам он умеет удивительно бережно относиться к людям.

Однажды исключали из партии немолодого офицера, начальника склада. Были приведены, казалось, исчерпывающие доказательства его вины. Против исключения был один человек - Баштовой. Он кому-то писал, куда-то звонил, с кем-то встречался.

Член партийной комиссии мичман Николай Иванович Баштовой докладывал.

Слушали капитаны всех рангов, слушали адмиралы. И всем стало ясно, как изощренно и утонченно обыватели оклеветали офицера.

Как депутат Севастопольского горсовета Баштовой зашел однажды в пещеры, где после войны жили люди.

- Депутат? - неприязненно спросила какая-то старуха. - Вон шею какую нарастил. Небось в депутатской квартире живешь. А мои сыны на фронте погибли, а их детей вы в пещере держите.

- Не виноват я, что не погиб на фронте, - только и ответил Баштовой.

Как объяснить этой убитой горем женщине, что всего три процента жилищ осталось в городе после войны, что сам он живет в крохотной каморке, снимая ее в частном доме.

А спустя некоторое время прямо с заседания исполкома бежал через весь город Баштовой, бежал к пещерам, чтобы скорее сообщить женщине: "Дали!"

...Командиру было трудно принять решение. А репродуктор вдруг замолк. Не слышно стало ударов, но не отвечал и Баштовой. Усилия телефониста ни к чему не приводили. И, словно забыв, что находится на военном корабле и несет службу и рядом стоят командиры, он взмолился:

- Отзовись, Колька! Ну что же ты? Ребята просят.

Баштовой отозвался. Никто не разобрал слов. Чтото прохрипело в микрофоне и умолкло. И тогда к аппарату подошел командир. То ли по четкой, не по обстановке походке, то ли внутренним чутьем матросы все поняли. И без приказа замерли на своих местах по стойке "смирно".

- Мичман Баштовой! - сказал командир. - Немедленно

переходите на раму и занимайте свое место!

Баштовой не отвечал. Далеко по правому борту шел белый сверкающий теплоход "Россия", и оттуда неслась записанная на пленку песня Градова. Неслись по морю звонкие, радостные голоса:

Город на вольном просторе, Город отваги морской, Город, влюбленный в Черное море, - Севастополь родной.

...Сергей затих и неподвижно лежал на руках Николая. И это был первый в жизни Баштового случай, когда он уже не надеялся на свои могучие руки. Это не его руки, он их не чувствует, и упадет сейчас Сергей, и захлебнется. И это было все равно что бросить его в пропасть. Вынести такое Николай не мог. И в последний раз точно судорогами свело мышцы, он приподнял Сергея, опустился на корточки, заняв всю нижнюю часть колокола, и посадил товарища себе на плечи.

- Мичман Баштовой! - зазвенел голос командира.

Но ничего уже не слышал мичман. Посадив на себя Сергея, он лишился последних сил и потерял сознание.

Медленно вращался барабан, наматывая стальные тросы. Медленно поднималась рама, неся на себе два неподвижных тела.

Солнце садилось. Ласкалось о борт бирюзовое море. Неслась песня с теплохода "Россия". "Дайте, дайте, дайте", - кричали чайки и как безумные уносились прочь.

В квартире Баштового готовились к семейкопу празднику. Верочка убрала обе комнаты, кухню и балкон и удивилась, когда Сашка с таинственным видом заявил, чтобы к тумбочке отца она не подходила. Мама выпытала, что там отец приготовил для нее подарок. Она обрадовалась, но стало досадно: почему сама она не догадалась сделать подарок мужу. Николай заслужил. Полгода после родов она лежала в постели.

Он сам кормил и купал Сашку, сам делал Вере уколы.

Университет марксизма-ленинизма не бросил. Ему как секретарю комсомольской организации было это не к лицу. Поэтому занимался ночью, в те часы, когда Сашка не плакал, или на корабле в свободное от спусков время. И все это еще можно было понять. Но, вспоминая тот далекий уже вечер, когда они услышали по радио, что Николай удостоен звания лауреата Государственной премии, она и теперь чувствовала неловкость.

Николаю хотелось в тот вечер сделать для нее чтонибудь хорошее, но было поздно, и даже подарок он не мог купить. Когда все легли и она заснула, Николай бесшумно поднялся, вышел на кухню, поставил на газовую плиту бак с водой. Потом собрал в кладовке белье, приготовленное для большой стирки, и начал стирать. Он стирал смешные Сашкины трусишки, и большие

пододеяльники, и ее серое платье, и скатерти. Белое он стирал отдельно и то, что надо было подсинить, подсинил, а что положено было крахмалить, крахмалил. Когда все закончил, было уже светло, и он развесил белье во дворе. Ему надо было уходить в море, и он не стал будить ее, а оставил записку и в конце написал, чтобы постаралась проследить за бельем, а то пересохнет и трудно будет гладить.

Она читала записку, и ей хотелось плакать. Когда он вернулся, она ругала его, потому что ей было стыдно: соседи видели, как он, лауреат Государственной премии, вешал белье, и смеялись. Он слушал ее улыбаясь, а потом сказал: "Смеяться люди перестанут.

Даже над смешным один раз смеются".

Вера решила во что бы то ни стало сделать сегодня Николаю сюрприз. Ей пришла в голову блестящая идея, она развеселилась и, схватив Сашку, закружилась по комнате.

...Когда у Баштового все поплыло перед глазами, он понял: теряет сознание. У него промелькнуло в голове, что своим огромным скорченным телом он загородил выход и Сергею некуда будет падать. И уже потом, когда очнулся Сергей, когда поднялись они так, что стало возможно спустить к ним молодых водолазов, он пришел в себя.

Час сорок восемь минут Баштовой боролся с Рыковым, удерживая его на руках. Срок подъема для вынесенной Баштовым нагрузки был фантастически велик. Но этот срок сильно сократили, он длился девять с половиной часов. Пока шел подъем, Николай сидел на своем месте, а рядом на раме стояли два молодых водолаза и поддерживали его в те минуты, когда он снова терял сознание и начинал бредить.

На полубе его раздели, положили в декомпрессионную камеру, где установили такое же давление, какое было на самой большой глубине. Сорок восемь часов давление снижали, пока не довели до нормального.

За все это время он выпил два стакана чаю и съел несколько сухарей. В камере возле него находился врач, а у маленького окошка все время толпились матросы, чтобы он их видел. И самых веселых посылали в камеру, чтобы они говорили ему что-нибудь смешное.

Когда открыли люк, он не дал себя нести. Он встал на палубе, широко расставив немного согнутые в коленях ноги, и долго нацеливался, чтобы шагнуть, как это делает ребенок, впервые в жизни поставленный на пол. И он пошел, качаясь, рывками, и плотной подковой двигались матросы, протянув к нему руки, чтобы поддержать, когда будет падать. Так добрался он до своей

койки и заснул.

В четыре часа ночи Баштовой проснулся. Ему хотелось есть. Он сел, достал из тумбочки плитку шоколада, развернул и тяжело грохнулся на пол. У него отнялись руки и ноги. Кессонная болезнь началась.

Его подхватили и снова уложили в камеру. Здесь, под давлением, все ожило, но, будто взявшись за ступни, кто-то вывертывал ноги в разные стороны, а руки заламывал назад. Он знал, что это кессонная болезнь, что боль пройдет, поэтом/ терпел. Она действительно начала стихать и вскоре прошла.

Через сутки открыли люк и Николая увезли в госпиталь. Там вместе с Сергеем Рыковым лечились они долго.

С Баштовым я познакомился в Высшем военноморском училище. Он теперь учит здесь молодежь.

Много раз я наблюдал, как он спускается под воду или снаряжает на спуск курсантов. Он рассказывает им, что и как надо делать, или экзаменует их. И глаза, и его лицо при этом такие же, как по вечерам, когда разговаривает с Сашкой, проверяя уроки или отвечая на его важные мальчишеские вопросы. Руководитель Баштового контр-адмирал Самарин сказал мне, что Баштовой гордость Высшего военно-морского училища.

Когда думаешь о Баштовом, легче жить. Ведь таких, как он, много. Просто они скромные и их не сразу замечают.

1S56 год

ДВОЙНАЯ ДУША

В доме колхозного бригадира Ивана Вакуловича Сологуба было весело ждали старшего сына Василия, от которого днем пришло письмо. Люди веселились и не знали, что тяжелое горе свалилось на семью.

Последний раз Иван Вакулович ездил в ремесленное училище месяц назад, перед началом выпускных экзаменов.

Вакулыч хмуро слушал ребят, которые хвалили своего комсомольского вожака. Комсомольский вожак- это его сын Васька. Насупившись, листал табель, рассматривая пятерки, и потребовал от Васьли отшета: почему вот по этой науке стоит четверка?

Суровый вид Вакулыч делал нарочно. Он стыдился своего отцовского счастья и старался замаскировать его.

И вот теперь Василий приезжает в родное село.

Вечерам будет дома.

Вечером пришел почтальон с такой телеграммой:

"Приезжайте на своей машине, с Василием Сологубом несчастье".

Мать забилась в истерике. Вакулыч не успокаивал ее. Понял:

большое несчастье, если везти надо не в больницу, а домой. Иначе бы машину колхозную не требовали.

...Суббота - день короткий. В два часа Вася закончил работу и собрался в деревню к родным. Вместе со своим другом Иваном Мисюрой забежал в столовую, чтобы наскоро перекусить на дорогу.

Когда в зале появился преподаватель истории Алексей Кузьмич Поголов, их классный руководитель, оба наклонились над тарелками и стали быстро и деловито есть. Но Алексей Кузьмич заметил их.

- Когда же придете? - спросил он, подойдя к столу.

В течение недели этот вопрос он задавал им уже в третий раз. Дело в том, что погреб под полом его кухни был очень маленький, просто ямка, и надо было его расширить. А то просто одно мучение без погреба. Ребята вполне могли справиться с таким делом. Не платить же рабочим, если есть свои ученики, да еще такие вот силачи, как кузнецы Сологуб и Мисюра.

Правда, неделю назад на педсовете начальник училища еще раз запретил преподавателям брать учеников на свои огороды или в квартиры и заставлять их работать. Но, возможно, в то время, когда говорил начальник, мысли Алексея Кузьмича отвлеклись, и он не слышал предупреждения.

За Алексея Кузьмича ребятам было немного стыдно: хотя совсем еще не стар человек, но получает большую пенсию, да и зарплата, кроме того, немалая, мог бы поднатужиться и нанять людей. Но человек настаивал, и в третий раз отказывать было неловко.

- Пообедаем и придем, - сказал Вася.

Где живет Поголов, Иван знал еще с зимы. Классный руководитель просил тогда отнести к нему домой лист жести, который, должно быть, просто валялся без толку, а в домашнем хозяйстве мог пригодиться.

В большом двухэтажном доме найти квартиру Поголова оказалось совсем просто. Во двор выходило около двадцати окон, но только его окно было перекрещено тяжелой решеткой из полосового железа.

И вход к Алексею Кузьмичу не перепутаешь: две маленькие застекленные рамки на самом верху высоких дверей тоже перекрещены железными решетками.

Иван и Вася пришли к Поголову как раз вовремя.

Уже заканчивали рабочий день ученики 17-й группы, которая в квартире Алексея Кузьмича проходила практику. Конечно, не вся семнадцатая группа являлась сюда, а человека по три, по пять в день, не больше, потому что работы было немного:

отремонтировать и привести в порядок сортир. Вот и вся работа.

Семнадцатой группой Алексей Кузьмич был недоволен. Всю неделю почему-то работали плохо. Он говорил соседям, что мастер поставит им по практике двойки, если так будет продолжаться.

Иван и Вася осмотрели погребок и увидели, что Алексей Кузьмич сказал верно: это пока просто ямка, похожая на ящик неправильной формы. По своей неопытности ребята не знали, как приступить к работе.

Дело в том, что открывалась только одна доска длиною чуть больше полуметра. Поднять бы еще две-три доски..!

Но Алексей Кузьмич поднимать доски не разрешил. Он считал, что протиснуться вниз все-таки можно. Иван полез туда, и действительно, все его тело уместилось в ямке. Щекой он упирался в пол изнутри, а ведро для земли - Алексею Кузьмичу было это хорошо видно - удобно зажалось между грудью и согнутыми в коленях ногами.

Учитель подал Ивану коротенький ломик и кельму - штукатурную лопатку и сказал, что можно начинать.

Работа шла очень медленно. Но постепенно Иван набрал полное ведро земли, и Вася вытащил его и понес во двор.

Заботясь о том, чтобы не заставлять человека зря торчать в погребе и чтобы не допускать простоя, пока Вася будет относить землю в самый конец двора и ходить взад-вперед с ведром, Алексей Кузьмин тут же протиснул Ивану второе ведро.

После десятого ведра Вася стал кричать на своего друга, чтобы тот вылезал, потому что уже пора смениться. Но Иван ковырял землю и насыпал ведра, пока у него не осталось сил.

В дырку полез Василий. Одно за другим наполнял он ведра, делая только коротенькие перерывы, чтобы растереть те места на теле, которые затекли, и повертеть шеей, которая немела.

Алексей Кузьмяч тоже не стоял без дела. Опустившись на коленки, он низко наклонялся над дыркой и показывал Васе, где у него огрехи и где еще надо подчистить.

Чтобы облегчить Васе труд, Алексей Кузьмич принес настольную лампу на длиннющем шнуре. Места для нее теперь было достаточно.

При ярком свете обнаружились всякие бугорки и выемки. Алексей Кузьмич указывал на них, а Васч выравнивал и наполнял ведра, пока руки его почти совсем не перестали двигаться. Учитель заметил это.

Будучи классным руководителем, он изучал характер ребят и хорошо знал Васю. Знал, что это самый лучший ученик, честный и трудолюбивый, и симулировать не станет. И раз уж руки не

двигаются, значит, толку от него больше не добьешься. Тем более что хотя вытащили всего ведер пятьдесят, погребок уже выглядел славно. Поэтому он сказал, что хва.иг копать, ну его к черту, надоело. Как-нибудь обойдется и с таким погребком, какой получился.

Правда, вот трубы водопроводные в погребке теперь оголились. Как человек хозяйственный, Алексей Кузьмич прикинул, что хорошо бы их покрасить. Не звать же для этого еще кого-нибудь

Вася начал красить, и Алексей Кузьмич, сочувствуя усталости парня, не стал торопить его, а только внимательно смотрел, ровно ли ложится краска.

Потом Алексей Кузьмич вспомнил про лист жести, который принес еще зимой Иван. Вот, оказывается, и пригодился в хозяйстве: покрасить его и положить на землю в погребке.

Учитель повел Ивара в сарай за жестью. Когда вернулись, Вася все еще был в погребке.

- Вылезай, Вася, - ласково сказал Алексей Кузьмич.

Вася не ответил.

И тут обозлился Иван, который стоял с листом в руках и ждал. Ему уже давно ыадосю возиться здесь, он закричал:

- Хватит валять дурака, Васька! Вылазь!

И опять Вася не ответил.

Бросив на пол свою жесть, Иван склонился над погребком и увидел, что Васька лежит в неестественной позе и без движения и на животе у него опрокинутая лампа.

Иран поспешно сбросил ее и начал тормошить человека, но тот был редвижим.

Иван стал тащить из погребка своего друга, бормоча:

- Вася, ну что же ты? Слышишь, Васенька? Ну, вставай!

Алексей Кузьмич, должно быть, не сообразил помочь Ивану или побежать к соседям и позвонить в "Скорую помощь". В волнении он шагал по комнатам своей квартиры, время от времени заглядывая в кухню и еще больше нервничая оттого, что Иван так долго возится.

Но Иван не был виноват. Вытащить через эту щель большое недвижное тело оказалось нелегко. Придерживая голову друга, чтобы не повредить ее, он тащил его, всхлипывая, как девчонка.

Наконец он вырвал из ямы тело и, ухватив Васю под мышки, потащил к выходу.

Алексей Кузьмич бросился ему помогать. Он шел впереди, открывая все двери. Жена Алексея Кузьмича и их взрослая дочь тоже сильно волновались и всплескивали руками.

Во дворе какая-то соседка, увидев странные шрамы на ладони

и на лице Васи, сказала, что он побит электрическим током и срочно требуется искусственное дыхание.

Иван начал энергично делать искусственное дыхание, хотя не очень отчетливо представлял, как это следует делать.

Алексей Кузьмич с нетерпением и надеждой смотрел на Васю, досадуя, что тот до сих пор не открывает глаза. Так продолжалось минут пятнадцать, и Алексей Кузьмич все не решался выпустить из своего поля зрения это дело, пока пожилая женщина, стоявшая рядом, не закричала на него злым голосом:

- "Скорую помощь" хоть вызовите!

Не теряя больше ни секунды, Алексей Кузьмич побежал звонить.

Врач "Скорой помощи" товарищ Рогова сказала, что машины нет, но вот-вот, буквально через две-три минуты, подойдет. Она просила поскорее дать необходимые для врача данные, чтобы потом уже не задерживать машины.

Поголов быстро ответил на ее вопросы. Сказал, что человеку на строительстве стало нехорошо, что стройка находится по такому-то адресу. Адрес строительства сообщил точно. Оно было на той же улице, где и его дом, и на той самой стороне, и не так уж далеко.

Когда его спросили, упал ли потерпевший с лесов стройки, Алексей Кузьмич честно ответил: нет. А на надоедливые вопросы, что же все-таки произошло с человеком, он твердо сказал, что не знает.

Как на грех, от этих переживаний классный рукородитель запамятовал фамилию своего лучшего ученика, но, видимо, стесняясь признаться в этом, сказал, что фамилия пострадавшего ему неизвестна.

Повесив трубку, Алексей Кузьмич двинулся к месту происшествия, где Иван все еще делал Васе искуственное дыхание.

Алексей Кузьмич объяснил, что машины нет, и поняв это, Иван бросился на улицу и встал на пути проходившего мимо грузовика. Возмущенный шофер, который вез на вокзал срочный груз, стал было кричать на Ивана, но, взглянув на его лицо, тут же свернул к воротам.

Теперь весь двор был полон людей. Несколько человек подняли Васю и понесли.

Госпиталь для инвалидов Отечественной войны находился ближе, чем городская больница, поэтому грузовик помчался в госпиталь. Привалив Васю к себе на колени, Иван поддерживал его, чтобы меньше трясло, поправлял его вьющиеся волосы и плакал. Алексей Кузьмич молчал, а потом высказал мысль,

которая, должно быть, одолевала его давно, а возможно, посетила только здесь в машине. Классный руководитель сказал своему ученику:

- В госпитале заявим, что этого человека мы подобрали на дороге, а кто он и что с ним, не знаем.

Иначе, понимаешь, Ваня, мне тюрьма.

Алексей Кузьмич хорошо знал Ивана Мисюру как дисциплинированного ученика и понимал, что тот не ослушается своего классного руководителя. Но на всякий случай перед госпиталем повторил свои наставления еще раз, как он это обычно делал в классе, когда хотел подчеркнуть и выделить главную мысль. Будучи лектором Бердичевского отделения Общества по распространению политических и научных знаний, он также постоянно пользовался этим приемом, пропагандируя и воспитывая в людях духовную чистоту, бескорыстие, честность, читая доклады о моральном облике советского человека. Вот так и сейчас, в машине, он повторил свою главную мысль: в больнице скажем, что этого человека мы не знаем.

Иван молчал, и Поголов понял, что все будет хорошо.

Когда они приехали и медсестра спросила у них, что случилось с парнем, а Алексей Кузьмич объяснил, как они на дороге подобрали неизвестного, Ивал закричал не своим голосом:

- Да что же вы говорите, Алексей Кузьмич!

Он рассказал, как было, но сестра сама уже поня~ ла и велела обоим немедленно делать человеку иск) сствегшое дыхание, пока она готовит все необходимое для врача, вызванного из другого корпуса.

Алексей Кузьмич объяснил, что не сможет выполнить ее просьбу, так как от волнений у него разболелась печень. Он ушел домой.

Весь свой опыт и знания, накопленные долгими годами, всю свою энергию приложил старый врач Марк Васильевич Фескж, чтобы спасти парня. Но он умер; слишком поздно привезли.

Специальная медицинская экспертиза установила, что кузнец Василий Иванович Сологуб, девятнадцати лет, роста 178 сантиметров, атлетического телосложения, был убит электрическим током.

На похороны Поголов не пошел. Но все это было ему ужасно неприятно, и после похорон он предлагал родителям Васи деньги, ничего взамен не требуя, только бы скорее они успокоились и чтобы уж раз и навсегда покончить с этим делом.

Его привлекли к ответственности по 165-й стагье Уголовного кодекса. В этой статье говорится, что за злоупотребление служебным положением, в результате чего наносится ущерб

государству или отдельным гражданам, виновных следует лишать свободы от одного до трех лет. Если же это злоупотребление приводит к особо тяжким последствиям - до пяти лет.

Дело слушалось в большом, переполненном зале бердичевского суда. Приговор был оглашен не в том же зале, как положено, а в маленьком кабинете судьи.

Поголова присудили к одному году лишения свободы в исправительно-трудовой колонии. Житомирский областной суд приговор оставил в силе.

Областной прокурор с решением суда не согласился. Он опротестовал это решение как неправильное.

В своем протесте написал, что "суд избрал меру наказания, не отвечающую тяжести совершенного преступления", и мера эта, по его мнению, "чрезвычайно суровая". Он потребовал заменить Поголову один год лишения свободы на один год исправительных работ, без лишения свободы, по месту службы, с удержанием 20 процентов зарплаты. Президиум житомирского областного суда это требование удовлетворил.

Через три дня после гибели В. Сологуба Поголов был уволен со службы. А еще через три дня он ггэистутшл к новой работе. Его назначили мастером кондитерского цеха горпищекомбината, а спустя некоторое время по его просьбе перевели в другой цех, где делают целлофановые трубки для колбасы.

Я был у него и дома и на работе. Он долго говорил о своих достоинствах и заслугах, о пропагандистской работе, которую ведет.

Поскольку я очень тщательно изучил все это дело, мне хочется сказать и свое мчение о Поголове.

Мое мнение такое: он подлец.

Возможно, прочитав эти строки, он подаст на меня в суд за публичное оскорбление. И я поеду на этот суд. И в зал заседания придут еще семнадцать человек, с которыми я беседовал, но не имею возможности привести здесь их слова. Это люди, которые знают Поголова много лет по прежним работам, и те, что успели узнать его за короткое время. Они расскажут о том, как пользовался Поголов чужим трудом и в прошлые годы, сколько мелкой злобы в нем, как тащит он в свой дом за решетками все, что попадается под руку.

И перед судом раскроется человек с мелкой и двойной душой, хитрый и безжалостный к чужому горю, беспощадный к людям, когда речь идет о его собственной выгоде.

На суде я прочту выдержки из письма в редакцию колхозного бригадира Ивана Вакуловича Сологуба, который спрашивает: "За что погиб мой сын? Кузнец высокого класса, комсомольский

секретарь, честный, справедливый, самый воспитанный, как говорит все училище, как знает его все село. Порубили его, красивого и сильного, как зеленое дерево, и вырвали у нас сердце, и до конца нашей хахзни нам будет темно".

И, выслушав людей и взглянув на Поголоза, может быть, увидит суд, что совершил ошибку.

ОГНЕННЫЕ ТРАКТОРИСТЫ

Я расскажу историю, полную трагизма и величия, красивую и страшную, как сказка.

Историю борьбы, победы и гибели. Гибели, которую нельзя назвать смертью.

"Огненный тракторист!"

Эти слова впервые прозвучали с газетных полос много лет назад, когда в борьбе за хлеб комсомольца коммуны "Новый путь" Петю Дьякова кулаки облили керосином и подожгли.

Эти слова повторила "Комсомольская правда", когда вручали орден Ленина теперь уже коммунисту, герою борьбы за хлеб в наши дни Петру Дьякову.

Эти слова - "огненные трактористы" - я снова прочитал в "Известиях" и поехал в казахские степи, чтобы рассказать их историю. Я расскажу историю борьбы за хлеб.

* * *

Нет более нежной травы, чем ковыль. Пуховые метелочки ласкают и щекочут. Про степной ковыль поют Песни. Те, кто их сложил, должно быть, ничего не знают про степной ковыль. Его семечко похоже на штопор с длинным пушистым хвостиком. Хвостики нежно обволакивают шерсть овцы, а семечки ввинчиваются в тело и убивают животное. Поэтому ковыль называется еще смерть-трава. И не только поэтому.

Пуховые метелочки горят быстрее пороха. Не надо спичек. Попадет в сухой ковыль тлеющая табачная крошка, и он вспыхнет.

...Пятьдесят километров в длину, пятьдесят - в ширину. Это хлеба целинного совхоза московских комсомольцев. А дальше - ковыль. Тысячи километров ковыля и сухостоя.

Солнце в казахских степях не греет, а жжет. Три самых жарких месяца не было дождя. Накалялась, трещала земля. Травы стали хрупкими, сморщился шелковый ковыль, потрескался сухостой. Над степью струился раскаленный воздух. А потом ворвался ветер. Он носился, ломая травы, взвивал на большую высоту перекати пол.е и швырял о землю, бросался из стороны в сторону, будто искал, что разрушить.

В двадцати километрах от совхозного поля бездумно бросили на дорогу окурок. Ветер схватил его и швырнул на ковыль.

Вспыхнуло пламя и метнулось по бровке вдоль дороги. Метнулось со скоростью курьерского поезда. Издали казалось, будто пролетел трассирующий снаряд, оставляя, как комета, багре зый след.

И поднялась пятикилометровая огненная стена, и, увеличиваясь и нарастая, всей массой ринулась в сторону совхозного поля.

Бригадир Владимир Дмитриевич Котэшков объезжал свои владения на легком, с резиновым ходом тракторе. Сбор урожая шел к концу. Нескошенным оставался только один участок - около тысячи гектаров. На горизонте увидел огненную стену и рванулся навстречу огню.

На границе участка показался трактор. Тракторист соскочил на землю, подбежал к плугу, покрутил какую-то рукоятку и резко обернулся на звук приближавшегося трактора Котешкова. Бросился к бригадиру, и Владимир увидел, что это Коля Грибов, и странно было смотреть на его просиявшее лицо в такую страшную минуту.

Они перекинулись только двумя фразами, потому что им было все ясно и у них были одинаковые мысли. Они не могли уйти с поля. Это был их хлеб и хлеб их товарищей, с которыми они вместе спали и ели, вместе вспахали и взрыхлили каждый клочок тысячелетиями слежавшейся земли и каждую клеточку этой земли удобрили и напоили своим потом. Они очистили каждое зерно, брошенное в землю, и следили за всходами, и радовались, глядя, как наливаются колосья соками жизни, и горевали, когда пило соки из зерен проклятое солнце. И поздними вечерами, покидая поле, не выплескивали куда попало остатки воды из бочки, а бережно поливали рсстки. И хотя солнпе выжигало пшеницу, урожай их бригады был сешым высоким в совхозе и самым высоким среди ближайших совхозов, и это уже было не просто хлебное поле, не просто материальная ценность, а их честь и совесть, гордость целинников, слава ленинского комсомола, их ответ на призыв Родины. Это была их жизнь. И они решили сражаться за каждый колос своей земли, как сражались за каждый клочок ее их отцы на войне.

Вдоль всей границы хлебного поля шла свежевспаханная полоса, которая для того и делалась, чтобы остановить здесь огонь, если вдруг загорится степь.

Но они понимали, что такой невиданной силы бушующее пламя перескочит это препятствие. Они решили проложить в ковыле еще одну борозду, параллельную первой, метрах в двадцати от нее. Они также понимали, что огонь все равно перебросится через их борозду, но большой силы набрать не

успеет и выдохнется на главном препятствии.

Владимир сел на плуг, где было более опасно и ответственно, а Коля в кабину трактора. Справа от них, километрах в шести неслось пламя, слева терзаемая ветром, билась о землю пшеница.

Трактор шел ровно и быстро. Владимир зарывал лемеха не очень глубоко, чтобы не перегружать двигатель, но и не совсем мелко, чтобы все-таки перевернуть верхний слой земли травою вниз.

Они смотрели на надвигавшийся огненный вал и на двухметровой ширины борозду, остававшуюся позади, и на путь, что предстояло еще сделать, и понимали, что успеют. Возможно, потому, что этот вал был уже близко, им казалось, что скорость его увеличилась и огонь уже больше не припадает к земле, а вздымается все выше. Но, возможно, это так и было, потому что ветер неистовствовал. Вырвались вперед края огненной стены, образовав полукруг, а из середины выбросило вперед несколько факелов, и уже пылал огромный массив.

Неожиданно ветер ударил в противоположную от хлебов сторону, пламя затрепетало, забилось, заметалось и вдруг с новой силой рванулось вперед, будто для того и отступало, чтобы сильнее был прыжок.

До конца хлебного поля трактористам оставалось не больше километра. А дальше все вспахано под зябь. До победы несколько минут. Извиваясь и изгибаясь, нарастал огненный девятый вал, гонимый неистовым ветром, припадая к земле и вздымаясь до уровня телеграфных проводов. Неслась зубчатая гряда, то багровая, то белая, то кровавая, и игрушечным казался трактор, на который она надвигалась. Пламя теперь неслось косой степом, и левый его конец был еще далеко, а праый достиг трактористов.

Они самоотверженно сражались, они сделали вгс, что в их силах, и в эту минуту, когда вплотную подступгла смертельная опасность, по всей логике вещей должны бы уйти с поля. Но, видимо, действовала другая логика логика сердца. Они не могли уйти. Теперь шла борьба не только против бессмысленного разрушения созданного человеком, но за его достоинство, честь, за тех, кто поднял тысячелетиями СЕЗВптие земли.

Трактористы шли по прямой, параллельно хлебному полю, а огневой вал под углом к ним, и позади гламя перебрасывалось через их двухметровую борозду и, обессиленное, падало на втором препятствии.

Владимир отбивался от пламени и видел, как Коля сшибает палкой горящие клочья травы, падавшие на трактор. Огненная стена, подрезаемая их бороздой, быстро укорачивалась. Она не успевала пересечь путь чрактору, но ссе время настигала его, и

все время трактористы соприкасались с огнем.

До вспаханного поля оставалось метров сто, когда огненный сноп упал Владимиру на спину. Он сорвал огонь, но одежда на нем загорелась. Разрывая на себе куртку, Владимир смотрел вперед и понимал, что пламя перережет путь трактору в каких-нибудь десяти метрах от вспаханного поля и ворвется в эти ворота на пшеницу. Он срывал с себя одежду, отбрасывал новые огненные снопы и видел, как Коля защищает от огня трактор, тоже готовый вот-вот загореться. А когда Коля обернулся, Владимир что-то закричал, рубя вытянутой рукой воздух, и, хотя крик был не слышен, Коля понял мысли бригадира и, круто свернув влево, чтобы не дать огню проскочить перед трактором, повел его на соединение со старой бороздой у вспаханного поля.

Владимир успел сорвать с себя куртку, но горящие брюки разорвать не мог, потому что пальцы обгорели. В трех метрах от конца поля он спрыгнул и, падая, увидел, как трактор пересек старую борозду, окончательно отрезав путь огню, как выскочил, должно быть ему на помощь, Коля и вспыхнул с ног до голэвы, потому что комбинезон у него был пропитан паслом.

Владимир бросился к нему, а Николай, весь объятый пламенем, бежал на вспаханное поле и рухнул на нем, уже не в силах гасить на себе огонь.

Брюки и белье на Котенкове догорели, и руки он ладоней до плеч были местами обожжены, а местами обуглены, и им не поддавался горящий Колин комбинезон. Тогда он стал обеими руками быстро грести землю на своего друга, и пламя погасло. Но било поздно.

Владимир стоял перед Колей на коленях, смотрел на его лицо и аккуратно стряхивал с него сеплю. Потом поднялся.

Он посмотрел вдсль и увидел черную степь, черную до самого горизонта, откуда только что катился огненный вал, сраженный им и его теперь ,уже мертвым другом. Потом обернулся и увидел бескрайнее поле золотой пшеницы, тоже уходящей до саного горизонта.

Было тихо, и ни один колосок не шевелился. Только нещадно пекло солнце.

Владимир стряхнул с головы свою старую армейскую фуражку, у которой сгорел козырек, отшвырнул с ног остатки туфель и пошел по вспаханной земле к полевому стану. Он шел голый и черный от ожогов, шел под палящими лучами солнца и не чувствовал их.

До полевого стана было четырнадцать километров, и он решил пройти пешком эти четырнадцать километров, потому что в его положении трзктср не занести. Он шел, и падал, и не злился

на то, что па/ает, а терпеливо поднимался и упрямо двигался далгпе.

Четыре тысячи гектаров было отдано под его власть, и за семь лет жизни на целине он прошел своим трактором и своим комбайном каждую пчдь этой земли, и не осталось клочка, который бы лично он не вспахал или не убрал комбайном.

Он не смотрел, куда идет, но это была его земля, которую знало все его существо, каждат: его клетка, и он держал верное направление и, не думая об это?:, выбирал самый короткий путь к полевому стану. Тек он прошел три километра, и он прошел бы все четырнадцать, но из-за косогора показался комбайн.

Владимир не обратил на него внимания и не стал звать комбайнера или размахивать руками, потому что комбайн на поле - обычное дело и ничего удивительного в его появлении не было. Он продолжал идти намеченной дорогой, падая и упрямо поднимаясь, как это делал до сих пор.

А комбайнер Николай Макан увидел эту странную и страшную фигуру голого, то и дело падающего человека и, пораженный, свернул в сторону, ему наперерез. Подъехав, он соскочил и увидел, что это бригадир, весь обожженный и черный, и бросился к нему.

- Стой! - закричал Владимир, широко расставив руки. - Будет больно... Поезжай вот так прямо, там Коля Грибов. Он сгорел... Совсем сгорел.

- Машину пошлем за ним, - взмолился Макан, - давай скорее в бригаду. И он приблизился к Владимиру, но тот отстранил его:

- Сам.

Макан схватил из ящика новую спецовку и ватник, уложил их на площадку, и Владимир сам влез на нее и лег. Одиннадцать километров шел комбайн на самой большой скорости, и Макан не спускал глаз с бригадира, боясь, чтобы он не умер.

На полевом стане он тоже не дал к себе прикоснуться набежавшим комбайнерам и трактористам, а слез сам и, окруженный ими, пошел в дом, лег на кровать и сказал, чтобы его смазали подсолнечным маслом. Но тут подъехал на "газике" старший агроном Владимир Иванович Рогов и уже не дал командовать Котешкову. Его подняли вместе с матрацем, уложили в машину и отвезли в больницу.

У комбайнеров и трактористов не хватало духу идти к Полине Котешкозой. Но и скрывать от нее было нельзя. Решили, что пойдет комбайнер Алексей Калиничев со своей жексй Валей.

Полина стирала белье. Леночка собиралась в школу. Правда, в школу ей еще не сейчас, но всего через два года, поэтому на всякий случай готовилась заранее. Вовка, убедившись, что никто

с ним играть не будет, обиделся и ушел в свою комнату.

Алексей и Валя вошли и остановились на пороге.

Полина пригласила их в дом, но Алексей сказал:

"Спасибо, мы на минутку". Дальше он не знал, ч го говорить. Он не знал, с че-о качать.

- Да что вы какие-то вареные? - рассмеялась Полина, снимая фартук. Проходите.

Вовка уже был тут как тут, а из открытой двери поглядывала на гостей Леночка, и от этого Алексей совсем разнервничался и начал улыбаться. Улыбка получалась неважная.

Должно быть, есть у женщин какое-то особое чутье на беду. Полине неоткуда было ждать беды, но она с тревогой посмотрела на виноватое лицо Алексея, машинально стянула с головы косынку, скомкала ее в руках. А он все еще молчал, и она выдохнула:

- Говори!

- Понимаешь, Поля, хлеб загорелся... Володе руки обожгло, он в больнице...

Губы у нее задергались, она стала поспешно заталкивать косынку в мыльную пену, и, испугавшись, Алексей быстро забормотал:

- Ты не волнуйся, он вполне сознательно разговаривает.

- Почему же не разговаривать, если только руки! - закричала она на Алексея и бросилась вон из дома.

Расступились сбившиеся у крыльца механизаторы и девушки из полевых станов.

Она бежала через поселок босиком, в стареньком платьице, бежала к рыжим хлебам, между которыми вилась узкая дорога. Никто не сообразил, как остановить ее, и никто не знал, надо ли останавливать.

Выскочили на крыльцо испуганные Леночка и Вовка. Они не плакали. Может, поэтому их не заметили.

Люди смотрели на бегущую Полину, на платьице, которое она сшила еще в Москве в самом лучшем ателье, когда собиралась сюда. Оно было тогда нарядным и модным, а ей только исполнилось девятнадцать, и никакого поселка и хлебов здесь не существовало, и не было этой гигантской телевизионной антенны над их домом, а в непролазной грязи стояло несколько вагончиков и палаток среди бескрайней и дикой целины. И смешно было носить это шикарное модное платье и она впервые надела его, когда праздновала целина первую комсомольскую свадьбу в первом построенном для Владимира и для нее доме.

Полина уже скрылась в хлебах, когда вырвался из гаража вдогонку ей автомобиль главного инженера.

До больницы больше двадцати километров. Петляет в хлебах дорога, накспанная к твердая, как бетон. Несется машина. Катятся пшеничные волпм до самого горизонта. Хлеба, хлеба без конца, без края.

Сухими глазами смотрит на волны Полчна. Целина! Сколько горьких и сладких слез пролито здесь!

Сколько радости, сколько горя вынесено!.. Горя? Разве то было горе, когда заметало пургой палатки, когда утопали в грязи? Разве то было горе? Вот оно когда подошло! Подстерегло одну ее, подкралось и ударило, подлое! За что?

...Казанский вокзал в Москве. Музыка, цветы, юность .. Таинственная, маняшая целина. Двести пятьдесят четыре человека с комсомольскими путевками.

Смех, поцелуи, слезы... Куйбышев, Уфа, Челябинск.

Встречи, оркестры, танцы, цветы.

Юность! Провожали на подвиг московскую юность...

Прошел по вагонам старший, Влади?шр Котешкор.

Высокий, сильный, подтянутый. Только что из армии.

Говорят, понтонер. Командир понтонного отделения.

Серьезный, строгий... Нет, хороший. Улыбается хорошо. Прошел, не взглянул. Подумаешь, нужен больно...

Караганда!

Тают остатки снега. Разлилась Нура. Задыхаясь, тащится трактор с одним вагончиком на прицепе. Зарывается в землю. Откапывают, снова тащится...

Греются у тощих костров.

- По ко-оням!

Это командует Котешков.

Передрогшие, лезут в холодный вагончик. Двести километров за трое суток. Меньше трех километров в час. Опять остановка.

Приехали.

Стегь. Сырая, холодная, воющая, бесконечная. Без воды, без света. Ни днем, ни ночью не снимают ватников. Надо подальше спрятать это тонкое, модное платье...

Обед. Шумный обед в палатке. Веселый остряк кричит через весь длинный стол: "Котешков, что это твой конь всегда у второго вагончика стоит?"

Зачем она не смолчала? Сама себя выдала. Как могло у нее вырваться: "Неправда, не только у нашего".

Дружный и долгий смех: "Знает кошка, чье мясо съела". Зарделась, убежала.

Через две недели предложил расписаться.

- С ума сошел! Мы далее не гуляли.

- Так негде же здесь гулять, Поленька. Да и чеЛОЕСК у нас виден лучше, чем в парке культуры имени Горького. Как на войне виден. Я, например, за тебя ручаюсь. Ты - настоящая.

Идет в гору Володя. Лучший тракторист. Лучший комбайнер. Лучший механик. Член партийного бюро.

Ласковый, добрый. И дети в него. Недаром сына Вовкой назвала...

Счастье... Что же оно такое счастье? Нет, не надо ей никакого счастья. Пусть будет все как есть...

Несется машина по узкой просеке. Шелестят колосья. Волнуются хлеба. Она знает: нет, не только руки. Она не плачет. Она не плакала всю дорогу. Ну, а куда же деться слезам? Они скапливались и хлынули, когда показалась больница.

Главный врач Раиса Петровка Панкратьева велела выпить капли, сказала: пустит в больницу, если сможет Полина не удивляться, не ахать, не вскрикивать, что бы ни увидела. Увидит обожженного человека.

Клятву дала: не покажет виду.

Володя был накрыт одеялом поверх каркаса, чтобы оно не прилегало к телу. Лицо обожжено не сильно.

Волосы ке тронутые. Благодарно, спокойно смотрит на нее.

Отлегло немного.

- Как же тебя, Володенька?

- Я-то, видишь, ничего. А вот Коля Грибов сгорел.

Совсем сгорел. - Повлажнели глаза. - Кольку жалко...

Очередная процедура. Сняли одеяло, подняли каркас. Увидела...

- Ну что ты, Поленька? Самое страшное позади.

Трое суток стоял почетный караул у гроба Коли Грибова. Сменяли друг друга его друзья, комб1йперы и трактористы, представители ЦК комсомола Молдавии. Несли почетную вахту руководители совхоза, делегаты Караганды. Стоял у гроба сына прилетевший из Молдавии отец.

Как героя Коло торжественно похоронили на кургане близ совхозного поселка, откуда видны необъятные просторы хлебов, и

весь поселок, и убегающая вдаль дорога.

А за жизнь Владимира Котешкова началась борьба.

Врач Раиса Петровна Панкратьева еще до окончания института десять лет работала старшей операционной сестрой в Караганде. У нее огромный опыт в области ожогов. Она знала, что делать. Прежде всего преодолеть первый смертельный рубеж: не дать умереть от шока. Надо было знать и умело использовать все новейшие методы в их точной и неукоснительной последовательности, чтобы немедленно, сию же минуту, не дожидаясь консультаций, вывести из шока. И все это было сделано.

Почти ни одну процедуру нельзя было выполнить обычными способами. Как, например, сделать внутривенное вливание? Нащупать, найти вену даже на здоровой руке не всегда просто. А ощупывать обожженную руку немыслимо. И она применяет веносекцию:

вскрывает внутреннюю поверхность голеностопного сустава, находит вену и делает вливание. Не как обычно, а с помощью специальной системы, капля за каплей.

Обработка ран. Но так даже сказать нельзя. Идет обработка одной, сплошной, на все тело раны. Оно поражено ожогами третьей и четвертой степени на семьдесят процентов. Общее поражение - восемьдесят пять процентов. Только верхняя часть груди да стопы остались нетронутыми.

В пять часов вечера привезли в больницу Котешкова, в шесть часов утра отошли от его постели Раиса Петровна и опытнейшая сестра Эмма Ивановна Кайзер. Попеременно помогали им сестры Валя Трестер и Валя Борисова. В точных дозах и последовательности, с необходимыми промежутками в организм вводились средства борьбы за жизнь.

Спустя несколько дней корифеи Ожогового центра Академии медицинских наук СССР отметили исключительную тщательность всех проведенных мероприятий, их необходимость и исчерпывающую полноту, точность и правильность всех процедур.

В тот первый день у постели больного был главный врач района Дмитрий Александрович Кулагин. На спеииальном самолете прилетел из Караганды хирург Петр Михайлович Немьшов. Были приняты все профилактические меры: против заражения крови, против столбняка, против пневмонии...

То и дело появлялась дежурная сестра:

- Раиса Пегровна! Сорок человек пришли и предлагают кровь для Котешкова.

- Поблагодарите, скажите, есть.

...Камфора, морфий, кофеин, спирт, чай, искусственное

питание...

- Раиса Петровна, пришли, предлагают кожу для Котешкова.

- Поблагодарите. Объясните, что при таких ожогах подходит только кожа близнеца.

В палате стоит постель для Полины. Круглые сутри дежурят врач и сестра. Целый лень у больницы толпятся целинники. Не отходят от больного его друзья:

директор совхоза Воробьев, секретарь парторганизации Танаев, председатель рабочкома Боярский, главный агроном Рогов. То и дело звонят из обкома.

Котешков спокоен. Удивительно спокоен и рассудителен. То ли воля такая нечеловеческая, то ли не понимает, что происходит. Ему больно. Ему должно быть нестерпимо больно.

В целинной совхозной больнице был отведен первый смертельный удар. Трое суток борьбы сделали возможным эвакуировать больного. Снова появился специальный самолет. Хирург Щербак и бортфельдшер Василенко сопровождали его до Караганды.

Центральная клиническая больница. Лучшие силы медицины. Консилиум. Летят телеграммы в Москву.

Заведующий отделом обкома звонит в ЦК партии.

Секретарь обкома разговаривает с министром здравоохранения. Кто-то из Москвы спрашивает заведующего облздравотделом Антерейкина:

- Вы разве не врач? Ведь смертельная граница тридцать процентов, а у него семьдесят...

- Я врач. Но это человек необыкновенный. Это непостижимая воля.

Два дня борьбы за жизнь Котешкова в Караганде дали возможность эвакуировать его в Москву.

Аэродром. ИЛ-18. Это не санитарная машина, но самая надежная. В ней пассажиры. Освободили лучшее отделение, и каждый старался уступить свое место сопровождающим.

Машина в воздухе. Летит красавец ИЛ-18 над просторами Репины и несет борца, героя, коммуниста.

И более пятидесяти человек следят за его полетом, ждут его. В Ожоговом центре сестры и няни готовят отдельную трехместную палату, глазные специалисты по хирургии и терапии Министерства здравоохранения Анохин и Кузнецов проверяют, все ли готово к приему. Освобождается посадочная площадка на аэродроме для идущего раньше времени самолета. Ждут профессора, доктора наук, врачи. Собран цвет советской хирургии в области ожогов.

Первый консилиум: главный врач института хирургии имени

Вишневского Сергей Иванович Смеловский, руководитель Ожогового центра профессор Михаил Израилевич Шрайбер, доктор медицинских наук Тигран Моисеевич Дарбппян, кандидаты наук Леонид Иванович Васильев и Борис Львович Гельман, научный сотрудник Станислав Константинович Завьялов.

Самое передовое, чем располагает мировая хирургия и мировая наука об ожогах, применяется к Котешкову. Каждое утро на специальной врачебной конференции светилы советской медицины обсуждали вопрос: состояние Котешкова и дальнейшие меры борьбы за его жизнь.

Все сделала Родина, что могла. Но не достигла еще медицина таких вершин, чтобы дать человеку новый покров на всем теле.

С воинскими почестями, как павшего в бою воинагероя, похоронили в Москве на Пятницком кладбище Владимира Дмитриевича Котешкова. Гроб с телом несли директор совхоза, председатель рабочкома, трактористы, комбайнеры, представители комсомола столицы.

Они жчли как герол и погибли как коммунисты, и слава о них будет передаваться из уст в уста, из поколения в поколение и, как чудесная сказка о богатырях, как величие эпохи, будет жить в веках.

1962 год

В РЕЙСЕ

Обьединенная Антарктическая китобойная флотилия возвращалась в Одессу после восьмимесячного рейса. На подходах к порту ударили гарпунные пушки на китобойных суднах, взвились ракеты, поднялся с посадочной площадки флагмана "Советская Украина" красный вертолет.

И орудийный грохот салюта, и фейерверки, и торжественные круги вертолета над флотилией продолжались, пока она не втянулась на внутренний рейд.

С причала, заполненного массой людей, доносились звуки марша. Так встречают героев. Китобои заслужили эту встречу богатырским трудом, подвигами.

Вместе с группой товарищей я поднялся на борт флагмана за четыре часа до его швартовки и теперь смотрел на ликующий причал.

Антарктическая флотилия охотилась за кашалотами в тропиках. Ночью китобойцы лежали в дрейфе, а с рассветом все приходило в движение. На верхушки мачт взбирались по вантам марсовые матросы. На большой высоте, раскачиваемые в своих "бочках", они высматривали добычу. Одновременно на ходовых мостиках появлялись капитаны, штурманы, гарпунеры и

добровольные наблюдатели - члены экипажа, свободные от вахт. Вся территория вокруг разбивалась на секторы, и каждый ощупывал биноклем свою зону.

Шла флотилия, на сотни миль прочесывая океан.

То и дело слышалось:

- Справа по борту вижу фонтан!

- Слева на траверзе - фонтан!

Били пушки, вынося на бесконечном капроновом лине гарпуны с длинными и острыми гранатами. Врезались гарпуны в китовые туши, рвались внутри гранаты. А потом люди подтаскивали к борту мертвое тело кита. В него вонзали полые пики со шлангами, и мощные компрессоры нагнетали воздух. Туши раздувались и, точно исполинские понтоны, оставались на плаву.

В них втыкали флаг с номером китобойца, которому туша принадлежит, и ставили радиобуй, подающий сигналы. По этим сигналам их найдет потом китобоец или подберет база.

Здесь, на базе, особенно жарко. И в прямом и в переносном смысле. Антарктической флотилии, приспособленной к работе в холодной зоне, тяжко в тропиках.

Долго стоять на тропическом солнце нельзя. Особенно людям, привыкшим к Антарктике. Но надо стоять долго: длинный рабочий день.

Туша, освобожденная от жира на кормовой палубе, поступает в разделочную. Вдоль борта едва выступают над палубой горловины котлов, скрытых внизу, в жирзаводе.

На разделочной палубе снимают и режут китовое мясо, отделяют печень, амбру, если она попадается, пилят голову, хребет, ребра, хрящи. Все идет в котлы, И все пойдет своими путями: мясо - в морозилку, жир - в танки, мука - в мешки.

Тонны китовых внутренностей, кишечника, слизи разлагаются под тропическим солнцем. Раскаленный воздух насыщен ядовитыми парами. То мокнет, то коробится одежда, исполосованная белыми следами соленого пота. Все это видит капитан.

Моряки жирзавода завидуют палубе. Там, наверху, на палубе, легко. Там температура пока не поднималась выше сорока пяти градусов. А внизу, в жирзаводе, - до шестидесяти пяти. На палубе легче. Там газы не застаиваются. И уж если совсем невмоготу человеку, может к борту подбежать, глотнуть свежего воздуха. А тут бежать некуда. И отравленному воздуху деваться некуда.

Машинист-жировар Иван Иванович Бахров, человек огромного роста, богатырского здоровья и атлетического телосложения, не обращал внимания на неудобства. Как и

подобает коммунисту, работал на совесть.

Надо, так надо. Он только все больше злился на свое могучее тело, на мускулистые, точно в узлах, руки, которые становятся непослушными и слабыми. А главное- голова. Туманить ее стало, и ведет его из стороны в сторону, точно пьяного.

Иван крепился. Не белоручка он, вынесет.

На десятый день пребывания в тропиках заступил в ножную вахту. Пошел к своим котлам. У него три колла, его рабочая площадка больше пятидесяти метров. Едва спустился, как раздался резкий звонок, загорелась красная лампочка. Это сигнал с палубы: первый котел загружен, начинайте варку.

Несколько оборотов вентиля, и пар, перегретый до ста пятидесяти градусов, со свистом ринулся в котел.

Завертелся внутри сетчатый барабан, перемешивая сырье. Иван бросился к третьему котлу, где варка уже завершилась. Всем телом навалился на тяжелый рычаг пробки перепускной трубы, по которой густая масса должна идти в жироотделитель. Пятидесятикилограммовая пробка поддавалась туго, масса не шла.

Что-то там засорилось. Несколько раз тяжело переводил рычаг из одного положения в другое, пока все не наладилось. Он торопился, потому что у второго котла надрывался телефон, тревожно мигала лампочка: котел полон, быстрее начинайте варку. А у первого котла давление поднялось до предела, надо немедленно перекрыть пар. На ходу увидел в глазок жироотделителя, что пошла грязь и надо быстрее спустить ее, иначе вслед за жиром потечет в отстойник.

Иван метался между накаленными котлами, жироотделителями, отстойниками, открывая и закрывая вентили, краны, пробки. Откуда-то капали жир, горячая вода, свистел фланец. Горячий зловонный воздух обжигал горло. Било в висках. Пустить бы сюда мощную струю охлажденного воздуха, но вентилятор едва шевелится, на Антарктиду рассчитан.

Выбрав свободную минуту, Иван пошел напиться.

На весь жирзавод, где в смену работает больше семидесяти человек, одна колонка с водой. Тоже в расчете на Антарктиду. Там не очень пьется, а здесь - до ведра воды в день на каждого.

На соседней позиции послышался шум. Оказывается потерял сознание и упал жировар Виталий Быстрюков, тепловой удар. Не выдержал двадцатисемилетний Виталий Быстрюков, бывший водолаз, спортсмен-разрядник. По крутому трапу вытащили наверх, привели человека в чувство. Каких-то особых, исключительных изменений в его организме не произошло.

Лишь давление было сто на пятьдесят пять, пульс - сто сорок

ударов, вдвое больше нормы. Но у всех такое состояние появлялось к концу рабочего дня, а у Виталия - в первый час дежурство.

Капитану доложили о происшествии.

- Всякое бывает, - сказал он рассеянно.

С этого дня началось. Потерял на вахте сознание Онишко, через день Скоморохов, потом Покотилов, Фатыхов, Панченко...

Иван держался. Только бы миновали ночные вахты.

Едва дотянул до прихода утренней смены и пошел в каюту спать. Он понимал, что надо обязательно поесть, желудок пустей, а есть не мог. Хотелось пить.

Хорошо бы кружку воды, разбавленную сухим вином.

Врачи определили, что такая смесь хорошо утоляет жажду. Поэтому в колдоговоре пункт есть в обязательном порядке выдавать в тропиках вино. И все моряки Советского Союза получают его. Капитан запретил выдавать вино, должно быть, мало захватили.

А возможно, потому, что вино лучше расходовать как стимул для выполнения плана. По всей флотилии капитан объявил: за пять убитых кашалотов - пять бутылок... Слово свое он держит. На всех суднах прислушиваются, когда он отдает приказ.

"Такому-то три бутылки отпустить, такому-то - восемь бутылок.."

Не досталось вива Ивану. Потащился он в каюту.

Жара. Вентилятора нет. Резкий запах китовой продукции. Здесь и лег спать. Долго метался в постели, резало глаза, слипались веки, а уснуть не смог. Нет мочи спать в такой атмосфере. Поднялся, стащил с койки матрац и побрел на палубу.

Тропическое солнце набирало высоту. Разделочная палуба гудело. Мокрые, в китовой слизи люди резали, пилили, растаскивали крючьями распотрошенные части туши, загружая котлы. Близ надстроек, качаясь, брели люди с матрацами. Это была ночная смена.

Капитан каждый день видит этих людей с матрацами. Ему докладывают, что в каютах невыносимо и надо уходить из тропиков. И он отвечает: "Вы ставите личные интересы выше государственных".

Иван искал место в тени. И те, кто работали, и те, кто с матрацами, то и дело злобно поглядывали в одно и то же место. Иван знает, куда они смотрят. Он не хочет туда смотреть, но поднимает мутные глаза: верхний аварийный капитанский мостик. Святая святых любого судна, любого корабля. Здесь установлены все необходимые приборы, и если захлестнет стихия ходовой мостик, управление ведется с аварийного. Это самая

высокая площадка. Отсюда далеко видны океанские просторы, палубы, надстройки, корма, бак.

И со всех точек судна хорошо виден верхний мостик.

Иван поднял глаза на этот мосткк, сплюнул и побрел дальше. Резвились, гоняясь друг за другом, и прыгали в купальный бассейн, сооруженный на аварийном мостике, Светлана и капитан. Бассейн - сюрприз Светлане - сделан по его приказу и под его руководством ремонтными бригадами в пути. Я видел этот бассейн, выложенный метлахской плиткой, с наружным и внутренним трапами, с красиво изогнутыми перилами. Жалкими и ненужными кажутся возле него гирокомпас и другие приборы управления судном.

Надругался капитан над верхним капитанским мостиком, над китобоями.

Было бы неправильно считать, что Светлана тунеядец или просто жена, находящаяся на иждивении мужа. Нет, она работает. Правда, долгие годы должности, которую она занимает, не было, и создал ее капитан, когда взял в рейс жену. Люди считают, будто ее работу мог бы выполнять обмерщик китов, затрачивая на это минуту. Но капитану виднее. Чтобы каждый понял, какую ответственную работу выполняет Светлана, он положил ей зарплату по шестой категории. Как старшим мастерам жирзавода и разделки - главной руководящей силе всего производства. Должно быть, Светлана того стоит. Недаром газеты капиталистических стран, в чьих портах бывает флотилия, печатают ее портреты на первых полосах.

Чтобы не обидеть своего сына Геннадия, он и его жене положил приличный оклад. Она тоже Светлана, и ее нельзя обижать, потому что она киноактриса.

Уже в трех фильмах участвовала. Вернее, она - марсовый матрос. Она очень смеялась, когда ее назначали марсовым матросом и выдали паспорт моряка. Это так экзотично - сидеть в "бочке" на самой верхушке мачты и высматривать китов. Жаль, все погошают, что не полезет она туда. И жаль, что они с Геннадием плавают не на флагмане, а на обычном китобойце, который назвали поисково-научным судном. Хотя Геннадий поставлен здесь начальником, ему даже капитан подчиняется, но все равно удобства не те. И эти матросы придираются к Геннадию больше, чем к его отцу. На собрании подняли вопрос, будто она пичею не делает, а зарплату получает. Правда, Геннадий дал должный отпор. Он сказал: "Во-первых, моя жена только числится марсовым матросом, фактически она лаборантка. Оценивать ее работу как лаборантки вы не компетентны. Это могу сделать только я, как научный руководитель. А я - довожу до вашего

сведения- оцениваю ее работу положительно". Но все равно неприятно.

Тяжело было в жирзаводе. Председатель базового комитета профсоюза, опытный моряк, решил на себе проверить условия работы в жирзаводе. Отработал один день, а на другой пошел к капитану: "Надо немедленно уходить из тропиков".

Капитан объявил всеобщий опрос: "Кто за то, чтобы оставить тропики, где много кашалотов и будут большие заработки, и идти в Антарктику, где еще не известно, есть ли киты?"

Почти все китобойные суда, оторванные от жизни и работы жирзавода, проголосовали за то, чтобы остаться. Жирзавод вместе с линией муки - за уход.

Как дальновидный руководитель, капитан это предвидел.

- Ничего не могу поделать, - развел руками. - Подчиняюсь большинству, остаемся.

С первым попутным транспортом отправили, выдав больничные листы, первую партию вышедших из строя. Вошел в эту группу и Иван Бахров.

- Инвалид второй группы, - грустно улыбнулся Бахров, заканчивая рассказ о своем последнем рейсе. - Вы не смотрите, что на вид я такой мускулистый.

Это от прошлого. Законом мне работать запрещено, даже стельки в артели вырезать. Сердце не выдержало, на последней ниточке оно...

В связи с отправкой людей капитан выступил на собрании. Он сказал:

- Уехали нытики, хлюпики, разгильдяи. Подлинные матросы не бегают по врачам, не уезжают, не боятся трудностей.

Спустя несколько дней матрос Дмитрий Чегорский полез прочищать ножи в жирзаводе. Температура наверху- градусов семьдесят. Через пять минут спустился. Хотя воздух обжигал горло, но вдохнуть все-!

таки можно было, а выдох не получался.

Чегорский - один из лучших людей базы. И один из сильнейших. Овсянникову надо бы лезть наверх, его это участок, но Чегорский не пустил: "Куда тебе, ты пожилой. Постой внизу, включай и выключай, когда скажу". И снова полез. Через несколько минут упал.

Бросились к нему люди, а Овсянников кричит:

- Аккуратней, аккуратней!

И в самом деле, надо было аккуратно спускать человека, потому что трап вниз - костыльный. Но все это было ни к чему. Чегорский не потерял сознание, а умер. Правда, комиссия, созданная капитаном, написала, будто температура наверху была

всего 56 градусов, а не 70, но китобои этому не верят. Они показали мне площадку, где погиб Чегорский. А у них в ту прохладную ночь было 52 градуса жары.

После смерти Чегорского капитан объявил: "Жирзавод настаивает на уходе из тропиков. Сегодня берем курс на Антарктиду".

Обещание он выполнил. А через сутки на тех же тропических широтах наткнулись на нескольких китов. Ничего не объясняя людям, генеральный капитандиректор приказал остаться в тропиках.

Тридцать девять человек, здоровых и сильных, выведенных из строя, с бюллетенями на руках, отправили из рейса домой на попутных судах.

Людей не хватало. Запросили новых. На рефрижераторе, прибывшем за китовой продукцией, приехали семь человек. Среди них - старый китобой И. Авроманко, которого не взяли в рейс в связи с ярко выраженными признаками гипертонической болезни. Здесь, в океане, врач снова осмотрел его и установил, что давление двести десять на сто.

- Немедленно домой! - сказал он. - На этом же рефрижераторе.

Соответствующее заключение дал инспектор по кадрам. Генеральный капитан-директор вызвал врача:

- Почему отправляете людей при такой нехватке рабочих рук?

- Гипертоник, сильное солнце абсолютно противопоказано. Может всякое случиться.

- Ничего, поставим на легкую работу - печень резать.

Резать печень надо на палубе, под тропическим солнцем.

Я не могу больше об этом писать. Пора ответить наконец на вопрос: как все это могло случиться?

Широкое развитие китовый промысел получил у нас вскоре после войны. Новому делу государство уделяло особое внимание. Удовлетворялись все нужды китобоев. Возглавлявший флотилию "Слава" капитан, прислушиваясь к голосу людей и опираясь на их силу, способствовал быстрому развитию новой отрасли хозяйства. Пятнадцать лет назад он получил заслуженную награду - звание Героя Социалистического Труда.

Бесчисленные очерки о китобоях в газетах и журналах начинались с капитана. Появились брошюры, книги, фильмы - всюду почетное место отводилось ему.

И появилось честолюбие, заносчивость, зазнайство.

Стоило человеку высказать критическое замечание, как его немедленно списывали из флотилии. Уволить, опорочить, забить всякого, кто посмеет сказать слово против него или написать

жалобу! Этот "метод" - грубейший и открытый зажим критики - стал главным в его работе. И работать с ним становилось все труднее. Он убивал в людях чувство справедливости, чести, собственного достоинства. Сотнями увольнял китобоев, а желающих попасть на флотилию становилось все больше.

Да как же это так?

Моря, океаны, неведомые страны, "сороковые ревущие". Антарктика, увлекательная охота за китами - кого из молодых и сильных не захлестнет эта романтика.

А почет! Когда приходила флотилия, поднималась вся Одесса. Приморский бульвар, его необъятные склоны, все улицы и площади, прилегающие к порту, были усеяны людьми. Так встречают героев. Это увеличивало популярность китобоев. Государство установило им высокие заработки, что также играло немалую роль.

Капитан использовал эти факторы, чтобы немедленно изгонять ему не угодных и окружать себя подхалимами.

Каждого выступавшего с критическим замечанием в его адрес он вызывал к себе, как говорят китобои, "на ковер", и, листая личное дело вызванного, учинял разнос, предупреждая, что выгонит. Он не только предупреждал. Из предпоследнего рейса дал радиограмму в отдел кадров об увольнении ста одиннадцати человек. Ни один из них не знает, за что уволен. В -ответ на замечание председателя цехового комитета профсоюза Е. Волошина о том, что люди жалуются на его неправильные действия, капитан в присутствии нескольких человек ответил: "Я этих жалобщиков, как кочаны капусты, рубал на кусочки, и рубать буду".

Свои действия генеральный обставлял так, что к нему трудно было придраться. Он заявлял, будто ничего не решает сам. Будто решает промысловый совет или весь коллектив.

Как "решает" коллектив, мы видели на примере опроса - уходить из тропиков или оставаться. А вот как "решает" промысловый совет.

- Капитан Красноженов, - говорил генеральный по селектору, - думаю, нам целесообразно пойти в такой-то район. Ваше мнение?

- Учитывая такие-то факторы, - отвечает капитан, - может быть, повременить с отходом?

- Ни черта вы не понимаете! Следующий!

- Что-то рациональное есть в предложении Крас-, ноженова, - начинает второй капитан.

- Своим умом надо жить! Следующий!

А следующий уже не хочет получать оскорблений.

И все остальные не хотят. Они отвечают:

- Ясно, идем в такой-то район.

Пятьдесят три человека! Это капитаны, штурманы, жировары, матросы люди флотилии, которые рассказали мне о ее жизни.

Сотни страниц! Это письма в редакции, протоколы собраний, приказы, акты, постановления, жалобы, справки, характеризующие жизнь флотилии, с которыми я познакомился.

Жирзавод, мучная линия, каюты, трюмы, морозиль-j ня, камбуз, санчасть, машинное отделение, палубы - всю территорию, где работают и живут китобои, я осмотрел и изучил.

Я видел китобоев - жизнерадостных и сильных, поэтов и романтиков с глубокой верой в идеалы Родины, каждодневно совершающих подвиги во имя ее славы.

От имени двух тысяч моряков Флотилии они просили передать: "На китобоев Родина может положиться.

Все вынесут китобои для ее счастья".

Но китобои - гордые люди Матрос Станислав Черных на профсоюзном собрании заявил: "Мы устали не от физического напряжения. Мы устали от гнета капитана и не желаем больше нести этот гнет".

Капитан вызвал Черных "на ковер" и сказал, что в следующий рейс "уставшие" не пойдут.

Забыл он, на какой земле вырос, кому должен служить, кто поднимал его по лестнице славы. Забыл о советских людях...

Прошел год. Прославленная китобойная флотилия подходила к Одесскому порту после восьмимесячного юбилейного рейса. Но не били в приветственных залпах гарпунные пушки, как в прошлые годы. Не было не только приветственных залпов. Не было и прежних генерального капитан-директора, его заместителя по политической части, являвшегося одновременно секретарем парткома, и главного врача. Они были сняты с работы и сурово наказаны.

Перед выходом в юбилейный рейс снова бурлила флотилия. Люди радовались, но этой радости что-то мешало. Что-то словно царапало, неотчетливое, неясное, тревожное, за что никак нельзя было ухватиться, нельзя было понять, что мешает торжеству.

А потом один из приверженцев старого руководства сказал: "Посмотрим, какие расчетные книжки вы привезете женам со следующего рейса. Так ли будете радоваться, как сейчас".

И кое-кто приуныл. Люди знали, в течение многих лет на капитанском мостике стоял человек, который все мог. Ну, пусть терпели от него, пусть невмоготу порой становилась его жестокость, но опыт у него большой, чутье старого охотника, и без плана не возвращались. А ведь бить китов - не лес в тайге

рубить.

Надо уметь найти их. Недаром некоторые капиталистические страны продали свои флотилии: не могут найти китов.

А как-то будет теперь? Уж очень застенчив и мягкотел новый капитан-директор Борис Макарович Моргун.

Перед выходом в рейс в Одесском доме ученых состоялась партийная конференция китобоев Со всех судов прибыло сто пятьдесят два делегата. Отчитался партком. Начались новые выборы. По традиции предполагалось, что секретарем парткома будет избран новый заместитель генерального капитан-директора по политической части. Да и обком партии, знали уже люди, рекомендовал его на этот пост.

Вышел на трибуну. Робкий какой-то, говорит неуверенно.., Яроцкий... Владимир Степанович, тридцать шесть лет... окончил политехнический институт, работал инженером на заводе по ремонту китобойцев...

в последнее время - председателем райсовета Центрального района Одессы... Взысканий не имеет... Вот и все. Может, вопросы будут?

Вопросов не было. Не понравился. Поднялся один из китобоев и сказал: "Разве из полтыщи коммунистов флотилии, хорошо знающих людей и специфику промысла, мы не можем найти достойного секретаря парткома? Зачем же выбирать нового человека?"

При тайном голосовании В. Яроцкий в партком не прошел.

Флотилия вышла в рейс. Двадцатый, юбилейный рейс. Босфор... Дарданеллы... Суэцкий канал, Краснов море. Наконец достигли района Антарктики. По докладу старого руководства знали, что китов там много.

Китов не оказалось. Вело разведку поисковое судно, летал над океаном вертолет, два десятка китобойцев бороздили пустынные воды. Хоть бы какой захудалый кашалотишко для взбодрения духа! Утро, а уже рябит в глазах от неотрывного прошаривания гривастых волн. Хоть бы один... И вдруг чуть испуганный крик помощника гарпунера Николая Порожнякова:

- Справа по траверзу фонтан!

Будто вздрогнул крутобокий китобоец- первый кит на всю флотилию. А если сорвется, уйдет! Его так ждут. Ждут - от капитан-директора до дизелиста Виктора Кравца. Сейчас в эти минуты все китебойное счастье - в руках гарпунера Селецкого...

Прошел по перекидному мостику к пушке. Вроде спокоен. Да его и не угадаешь - всегда невозмутим.

Сейчас вся команда работает на него. В казенную часть пушки заталкивается гильза с зарядом. Двое матросов со ствола

загоняют гарпун. Ничего себе штучка - семьдесят кило. На его конец навинчивается граната с пороховым зарядом. Теперь китобоец к бою готов. Гарпунер застыл у пушки, судно чутко ловит его команды. Вот чуть повел рукой вправо - помалу работай "права руля". Еще чуть... Звонки - своя домашняя морзянка от гарпунера на ходовой мостик: длинный - "полный вперед", короткий - "стоп, машина". Китобоец, будто охотник, подкрадывается к дичи. Тут уже не удача - искусство, опыт, слаженность команды: все то, что зовется китобойным промыслом.

Голова у кита побольше нашей: тоже, поди, смекает что к чему. Как к нему подойти, усечь момент для удачного выстрела? Не только для всякой породы китов свой маневр, но каждая особь тоже "индивид":

характер, повадки - голыми руками не возьмешь. Сейвала, к примеру, лучше брать на малом ходу, финвала - на полном. Есть киты - "спортсмены", "водолазы", "ходовые". Это уже своя терминология, пущенная гарпунером. За десять лет плавания китобоем, из коих семь у гарпунной пушки, - хоть диссертацию о китах защищай. Да и рука в порядке: есть в анкете Селецкого фронтовой пункт: "Наводчик минометного расчета", потому, наверно, и тут, в море, промахов почти не бывает.

Гарпунер на китобойце - человек особенный: промах, и летит в трубу многочасовой тяжелый труд нескольких десятков твоих товарищей. Гарпунер в особом почете. А чего это стоит! Бывает, по суткам крутится у пушки, каждую минуту может быть нужен.

А нервы? Нейлоновые надо иметь. За иным китом полдня ходишь: не подпускает, да и только. Фонтан дал - нырнул, где появится - неизвестно. Ходишь за ним - приноравливаешься: по скольку сидит, далеко ли, в какую сторону отходит. А потом еще на лине потаскает, если ранишь. До километра вымотает линя.

А случается, уйдет - хоть рубаху на себе рви.

...Это был кашалот: только он дает фонтан в одну струю. Уже час идет охота. Вот уже осталось с полмили. Звонок - застопорить машину. Видны "блины" - разводья в местах погружения кита. Ближе, ближе.

Уже видна туша. Ну же, гарпунер, что медлишь? Нет, рано - метров на пятьдесят подпустить, чтоб наверн-ша. Качает. Надо чутьем или чем хочешь, но ухватить эту единственную точку в пространстве, с которой гарпун точно пойдет в цель. И передержать нельзя: вот-вот нырнет.

Припал к прицельной планке. Ну, Георгий, на тебя Европа смотрит! Грохот выстрела. Наповал. Теперь гарпунер может спокойно утереть со лба пот. Подтянуть кита к борту,

пришвартовать цепями, накачать, как мяч, воздухом, чтобы оставить на плаву и продолжать охоту, - это дело палубной команды.

Однако на этот раз надувать не стали. Первый китвсе равно что первая борозда для пахарей, первая плавка у сталеваров. Праздник. "Знатный" торжественным ходом направляется к базе. Вся флотилия уже знает: лиха беда начало - первый кит есть! На базе- музыка, звучит поздравление капитан-директора.

Команде "Знатного" вручается метровый именной торт с надписью "За первого добытого кита" и шампанское.

В тот день "Знатный" добыл еще двух китов.

И опять ничего нет. Легко справляясь с небольшой нагрузкой, раздельщики китов и жировары приводили в порядок базу. Оббивали ржавчину яростно, точно мстили. Суричили, красили. Ремонтировали промысловое снаряжение. В свободное время играли в футбол или волейбол, купались в доступном теперь для всех бассейне, выложенном метлахской плиткой, щелкали рукоятками новых автоматов с газированной водой, отдыхали в каютах с кондиционированным воздухом.

Китов не было. Несколько десятков добытых животных было трудно принимать в расчет. По плану должны быть сотни. Люди видели, как тяжело переживает создавшееся положение капитан. Понимали всю меру тяжести и ответственности, которые легли на плечи этого человека. Им казалось, что стыдно ему перед экипажем. Никого ни в чем не упрекает, нет раздражения в голосе. Будто он один во всем виноват. Вежливый, учтивый. Уж лучше бы накричал на кого-нибудь, чем все в себе носить.

Каждый вечер по радио проводились диспетчерские совещания. Моргун внимательно выслушивал советы капитанов китобойных судов, почти всегда соглашаясь с ними. Согласился и с общим мнением: сменить район промысла.

Регулярно шли занятия в 8-11-х классах школы рабочей молодежи, где обучалось 295 китобоев. Сидели над книгами 300 заочников специальных и высших учебных заведений. На одной из тренировок спортсменов матрос первого класса мастер спорта штангист Валерий Кухарский побил мировой рекорд Ефима Магаляса, выжав штангу весом 125 килограммов.

Это на пятьдесят килограммов превышало его собственный вес. Гарпунер А. Солиенко загарпунил исполинскую акулу длиной 10,4 метра, весом 13,7 тонны. Состоялось собрание женщин. Избрали новый женсовет во главе с врачом М. Померанцевой.

Китов не было. К двадцатому ноября месячный план выполнили процентов на тридцать. Не дала перелома и последняя декада. Теперь уже никто не мог скрыть тревоги. С

берега от родных шли сотни радиограмм:

как идут дела, как настроение?

Что отвечать? Кроме престижа и уязвленной гордости, китобоев волновало еще одно немаловажное обстоятельство. Добыча китов - это охота. Нет китов - нет заработка.

И уже казался нерешительным капитан. Добрый, чуткий, предельно скромный, с обаятельной улыбкой, он пользовался всеобщим уважением. Люди готовы были по его слову выполнить любое задание. Но что делать? Он все советуется, а китов не прибавляется.

В особенно тяжелом положении оказался замполит В. Яроцкий. Капитану легче. Бориса Макаровича Моргуна китобои знали много лет. Он всю жизнь на море.

Во время войны при высадке десанта еще совсем юношей был ранен, потом при таких же обстоятельствах контужен. Все знают, какой это смелый человек. Начав службу во флотилии со старпома маленького китобойца, прошел путь до капитан-директора "Славы".

Его назначение на пост капитан-директора китобойной флотилии "Советская Украина" и "Слава" китобои встретили с большим одобрением. А Яроцкого не хотели. Он знал это по итогам выборов в партком.

После партийной конференции просил, чтобы не посылали в рейс. Ведь это юбилейный рейс. Трудно будет, если китобои так отнеслись. А рейс должен пройти обязательно успешно...

Двадцать лет советского китобойного промысла.

Ветераны флотилии помнят: двадцать лет назад поднялся на мостик "Славы" легендарный ледовый капитан В. Воронин и повел флотилию из нескольких китобойцев в первый рейс. У гарпунных пушек, на решающих участках разделки стояли иностранные специалисты: не было у нас опыта охоты за китами.

Как проходил этот рейс, рассказывает старый китобой капитан "Павла Фролова" А. Морозов, служивший тогда на китобойце "Слава-4": "После того как Гарпунер Олсен взял первого кита, нас охватило ликование. Рвались в бой. Но, к огорчению, в этот день ничего больше не удалось добыть. По одному киту досталось и остальным китобойцам. Олсен и другие гарпунеры-иностранцы явно не желали бить китов. Уверяли, будто киты "неподдающиеся" и взять их невозможно. Но странное дело. Как только мы обнаруживали китов, в районах охоты появлялись флотилии соотечественников наших гарпунеров и с успехом начинали вести промысел. Никакого опыта иностранные гарпунеры нам не передавали, не подпускали к пушкам наших учеников, не давали им сделать выстрела".

Так было в первом рейсе, так было во втором.

Иностранные специалисты знали, что ничему они не выучили советских китобоев, поэтому удивились, когда Советский Союз отказался от их услуг.

Бывший технический консультант нашей флотилии Сигурд Нильсен на вопрос, справятся ли с промыслом советские китобои без иностранной помощи, ответил:

"По правде говоря, очень плохо. Возможно, китобаза справится сама, но значительно хуже дело обстоит с командами на китобойцах, особенно с гарпунерами.

Из года в год китов становится меньше, искать их все труднее.

Русские, конечно, кое-чему научились, но вряд ли они приобрели достаточный опыт. Поэтому вряд ли они добьются чего-нибудь".

Пророчество не оправдалось. В первом же рейсе без иностранных специалистов советские китобои загарпунили значительно больше китов и вытопили больше жира. С тех пор флотилия росла и крепла с каждым рейсом.

И вот двадцатый, юбилейный... Флотилию отбросило назад, до уровня добычи первых лет. И в этот критический момент произошли два события, сыгравшие решающую роль в судьбах рейса и в известной мере изменившие психологию китобоев.

Первым событием явилось обращение Моргуна к флотилии заменить лозунг: "Увидел - добыл" лозунгом: "Увидел-сообщил".

Объективно говоря, авторы действовавшего старого лозунга исходили из лучших побуждений. Речыпла о том, чтобы не упустить ни одного крупного промыслового кита из тех, что обнаружены. Однако этот лозунг в основе своей таил весьма порочное начало. Он воспитывал индивидуализм, стремление укрыть добычу от товарищей, стремление самому взять все, что увидел. А бывало, что взять все не хватало сил и возможностей, и часть китов уходила. И это в то время, как марсовые матросы других китобойцев безуспешно обшаривали горизонты, не находя ни одного фонтана.

Возможно, так было и в неудачные дни ноября.

Большинство китобойцев не справились с планом, а "Знатный" и "Дружный", обнаружив китовые стада, месячное задание выполнили на десять дней раньше срока. Хороших результатов в ноябре добились еще несколько китобойцев. И, кто знает, может быть, вся флотилия имела бы успех, работай она по принципу:

увидел китов - сообщи всем свои координаты.

Старый лозунг воспитывал у людей чувство: "Это мое, и

никому не отдам: увидел - добыл". Порождались антагонизм между китобойцами, зависть удаче, собственнические настроения. Несли моральный и духовный урон китобои, несло урон государство из-за неиспользованных возможностей.

Новый лозунг был порожден стремлением к коллективизму, к дружной работе всей флотилии, к взаимной выручке и товариществу.

Китобои приняли новый лозунг. Экипажи "Жаркого", "Доброго", "Вдумчивого", "Дружного" первыми оповестили флотилию о найденных китах, сообщив свои координаты. К ним устремились те, в чьем поле зрения китов не было. Дружно и быстро взяв добычу, пошли дальше. И как-то легче на душе стало у людей. Родилось великое чувство локтя, сознание, что ты не один. И не будь этого начала, вряд ли выступил бы со своей идеей гарпунер "Гуманного" Юрий Арипов.

Дело в том, что далее при коллективном методе охоты успехи у китобойцев разные. Решающей фигурой добычи является гарпунер. Только гарпунер. Один гарпунер гоняется за китом пять часов, другой возьмет в несколько минут. Получалось, что и трудовые успехи, и слава, и заработки всего экипажа китобойца зависели от одного человека. И, бывало, человеквтот зазнавался, подминал под себя капитана и весь экипаж: ему все нипочем, его на любой китобоец возьмут. Порождался некий культ гарпунера.

И вот, досрочно выполнив план на своем китобойце, Арипов попросил отправить его на отстающий китобоец "Гордый". И это прозвучало как сигнал.

Другие бывалые гарпунеры, едва выполнив свой план, пересаживались на китобойцы, где работали менее опытные товарищи.

Более активным стал поиск. Когда киты исчезали из поля зрения, китобойцы выстраивались в одну шеренгу на расстоянии двадцати пяти миль друг от друга и, прочесывая океан, обязательно находили китов.

В декабре был полностью покрыт и октябрьский долг. И вот тут-то надо сказать о втором событии, происшедшем на флотилии. Это даже не событие, но нечто, сыгравшее большую роль для успешной работы.

Речь идет о Яроцком. Незаметно, ненавязчиво, както очень по-хорошему занял он на флотилии достойное место. Людям вдруг показалось, что много лет они плавают вместе с ним, и никакого другого замполита у них не было, и близкий это им человек, и родной.

В дни неудач ноября Яроцкий пересаживался с одного судна на другое, спал и ел где придется, надолго оставляя пустой свою

благоустроенную каюту. Он не отдавал приказаний, не нервничал в трудные минуты, не навязывал своих мыслей, не стремился шуточками да прибауточками поднять настроение китобоев. Он просто жил среди них, органически вошел в их среду, и люди увидели, как дороги ему их интересы. Он постоянно кому-то помогал в чем-то, из Антарктики без конца связывался с Одессой, то устраивая детей китобоев в детский сад или ясли, то хлопоча о квартире.

Защищал несправедливо обиженных, помогал решать спорные вопросы на судах, и всегда скромно, без указующего перста, никогда не демонстрируя больших прав, которыми был наделен. Он сделал уйму докладов, но никто не чувствовал в нем специального докладчика. Говорил человек о жизни, о стране, о других странах, говорил интересно, и уже с нетерпением стали ждать его прихода. Его стало не хватать людям. Он сделал доклад о том, каким должен быть коммунист, и все вдруг увидели, что именно таким является он сам. Это то, что люди увидели. А незаметным остался процесс, трудный и важности чрезвычайной.

Идею капитана о коллективных методах охоты Яроцкий воспринял задолго до того, как Моргун обратился с ней к китобоям. И с той поры в каждой беседе, в докладах так или иначе касался этой темы.

Чаще всего не в лоб, как всегда, не навязчиво, но убедительно говорил о собственнических инстинктах другого мира, вызывая у людей отвращение ко всему эгоистическому, чуждому, чистоганному.

Призыв капитан-директора о переходе на коллективные методы охоты лег на подготовленную его заместителем по политической части почву. Яроцкий помог решить и еще одну важную проблему. Раньше средний командный состав практически ни во что не ставился. Люди были низведены до рядовых исполнителей. Они выполняли только приказ. Яроцкий первым обратил внимание на то, что эта большая сила остается скованной.

Моргун поддержал Яроцкого, и средний командный состав получил важные права, обрел самостоятельность.

На подходах к Одессе группа китобоев рассказывала нам о Яроцком. Один из лучших матросов-раздельщиков, прямой и честный Владимир Шевченко сказал:

- Нам стыдно перед обкомом, перед Владимиром Степановичем Яроцким за то, что мы не избрали его в партком. В рейсе мы не извинялись перед ним. Но по нашим глазам, по готовности, с какой шли за ним, он понимал нас. Скоро новые выборы, и ни одного голоса не будет против него.

А часом позже, в каюте капитан-директора тоже зашел разговор о Яроцком. Борис Макарович сказал:

- Это умный и скромный человек, надежный товарищ, особенно в трудную минуту. Только помощь, конкретную и нужную, я получал от него в течение всего рейса.

Декабрь стал месяцем не только значительного перевыполнения плана. Люди увидели, практически ощутили силу коллектива, обрели уверенность. В течение рейса было немало чудовищных трудностей и~ критических моментов, о которых пойдет речь ниже, но не было ни одного окрика, ни угроз, ни ущемления достоинства людей, характерных для последних рейсов.

Может быть, поэтому в феврале, о котором тоже еще пойдет речь, экипажи судов вынесли нечеловеческую нагрузку, и не было ни одной жалобы, ни рапортов, ни недовольства. В равной мере с капитаном флотилии люди чувствовали на себе ответственность.

Декабрь был радостным, и немногие знали о надвигавшейся беде. Моргун без конца обменивался радиограммами с материком, пока не убедился: танкер с горючим к сроку не придет. Он появится в Антарктике, где находилась флотилия, через двадцать дней после того, как будет израсходовано все топливо. Без топлива осталась база и два десятка китобойцев. Был единственный выход: на двадцать дней ложиться в дрейф. Январский план казался обреченным. Никто не знал, что делать. Да и делать, собственно говоря, было нечего. Пришлось смириться.

Моргун смириться не мог. У него родилась идея.

Наивная и неосуществимая. Он решил попросить взаймы две с половиной тысячи тонн горючего у дальневосточной флотилии "Советская Россия", промышлявшей на расстоянии суточного перехода.

Могли ли пойти на это дальневосточники? Дела у них шли в этот период не очень хорошо. Чтобы дать горючее, надо потерять день, который трудно потом наверстать. Второй такой же день уйдет на то, чтобы принять горючее у танкера, когда тот появится. И кто знает, какая будет тогда погода. Надвигалась пора штормов, а в шторм танкер не приблизится к китобазе, и сколько придется потратить времени на то, чтобы получить обратно свое горючее, неизвестно.

Было и еще одно важное обстоятельство. Одесская и дальневосточная флотилии претендовали на первое место в соревновании китобоев страны. Первое место- не только знамя и слава, но и солидная премия.

Конечно, об этом никто не скажет, но не учитывать такого

обстоятельства дальневосточники не смогут.

Все это хорошо понимал капитан-директор "Советской России" Иван Трофимович Люлько.

- Какой может быть разговор. Давай уточним координаты, - ответил он на просьбу Моргуна.

"Советская Россия" пошла на помощь "Советской Украине".

Много лет соревнуются эти две флотилии, но никогда не встречались флагманы. Построенные в СССР по одним и тем же чертежам, равные по габаритам и мощности, с одинаковым укладом жизни и внешне похожие, как близнецы, равноправные, самостоятельно и независимо друг от друга действующие, они являлись частью единого советского организма и пошли друг другу навстречу: "Советская Россия" в ущерб себе, чтобы оказать помощь "Советской Украине".

Они встретились в Антарктике, подошли друг к другу поближе, прижались бортами. Будто с Родиной встретились люди. На глазах были слезы.

Пока шла перекачка горючего, экипажи почти в полном составе перешли на братские суда: русские китобои пошли к украинским, украинские - к русским. И каждый стремился поскорее увидеть, как выглядит его рабочее место на дружественном судне.

Люди обменивались опытом, открывая друг другу самые сокровенные тайны китобойного мастерства.

А потом одновременно состоялись два концерта самодеятельности: украинцы показали свое искусство русским, русские - украинцам.

Глубокой белой ночью раздались прощальные гудки. Было светло. Никто не спал. Флагманы расходились, чтобы лечь на свои курсы. На мостиках стояли, прощально махая руками, два капитана, два коммуниста с Золотыми звездами Героя Социалистического Труда на груди.

Спустя два месяца состоялась новая встреча в Антарктике, на этот раз не флагманов, а китобойных судов двух флотилий.

В марте "Советская Украина" собирала богатую добычу. В районе, где промышляла "Советская Россия", китов не было. Мартовский план находился под угрозой срыва. Моргун спросил китобоев своей флотилии, как они отнесутся к тому, чтобы пригласить дальневосточников в свой район, и получил горячую поддержку всех экипажей.

С благодарностью принял предложение И. Люлько.

Теперь ".Советская Украина" пришла на помощь "Советской России". Сорок китобойцев обеих флотилий сошлись в одном районе. И если появлялся кит в поле зрения русского и

украинского китобойцев, украинцы отходили. Об этом просил своих людей Моргун, и восприняли они это как долг, как дело чести.

И еще представился случай "Советской Украине"

помочь "Советской России". В течение рейса дальневосточники расходуют шесть танкеров топлива и смазочных материалов. Китобои фрахтуют танкеры нефтеналивного флота. Каждый поход танкера в Антарктику - это огромные деньги. Моргун по собственной инициативе оказал помощь дальневосточникам, в результате которой они смогли отказаться от шестого танкера.

А это привело к снижению себестоимости продукции, тоже, к слову говоря, показателю, имеющему значение при определении места в соревновании.

...Январский план "Советская Украина" значительно перевыполнила и ушла в новый район, богатый добычей. Радужные перспективы открывал февраль. Он принес бедствие.

Точно взрывалась изнутри Антарктика. Больше двадцати дней било в ледяном шторме флотилию. В самые тихие дни шторм достигал семи баллов. Но тихих дней было мало. Одиннадцать-двенадцать баллов.

Маленькие китобойные суда не тонут даже при максимальных кренах. Но их бросало так, что оголялись рули, они теряли управление, их несло на айсберги, и капитаны немыслимыми маневрами избегали катастрофы.

Флотилия двигалась вперед, чтобы уйти от шторма, но он захватил тысячи миль, и уйти от него было некуда. То там, то здесь прорезали туман исполинские головы кашалотов, и находились гарпунеры, что в этом чудовищном хаосе били их и швартовали к борту. Может быть, не в силах оказались сдержать охотничий азарт, а возможно, стоял перед ними пример дальневосточного китобойца "Циклон". Двенадцатиметровый кашалот ринулся на это судно и могучей головой ударил в борт. Китобоец едва не опрокинулся. Вышли из строя двигатели. Повреждения оказались столь серьезными, что пришлось отправлять "Циклон" на буксире во Владивосток.

Когда на базу сообщили о добытых в этом шторме китах, на всю флотилию прозвучал приказ Моргуна.

Может быть, это был первый приказ, который предварительно не обсуждал он с капитанами и не советовался с ними. Приказ резкий, категорический, безоговорочный: ни при каких обстоятельствах не рисковать.

Беречь здоровье и силы людей и каждого человека в отдельности.

На флотилию обрушились новые бедствия: люди не могли спать. Чтобы не разбиться от ударов о выступы и переборки кают, надо было упираться ногами в надежную опору, удобно уцепившись руками за какой-нибудь поручень. Как же в таких условиях спать!

Это был шторм, о котором моряки говорят: "Трудно понять, где голова, где ноги". Китобазу качало значительно меньше. Но удивительное зрелище представляли люди на палубе. Они плясали. Конечно, им было не до плясок, они прыгали, чтобы удержать равновесие, но со стороны это казалось дикой пляской.

Первые пять дней ни на минуту не утихавшего шторма почти вывели из строя людей с китобойных судов. Человек не может жить без сна. Семь дней без сна в непрерывной борьбе со стихией... Десять дней... Тринадцать.

Моргун отдал приказ всем китобойцам, находившимся на расстоянии сотен миль друг от друга, выставить круглосуточную вахту и искать большой айсберг.

Во что бы то ни стало найти большой айсберг.

Он был найден. Исполин длиной больше десяти миль и высотой метров сорок, без вершин, точно сказочная крепость-стена. Вокруг него бушевал шторм, но с подветренной стороны было тише. К нему и устремились все китобойцы. Раздался приказ: спать. Будто вымерли суда. Только вахта следила, чтобы не бросило на айсберг, маневрируя, то стопоря машину, то на малом ходу уходя от исполина.

Качались и прыгали на волнах уснувшие китобойцы. Не слышно было ни команд, ни шума, ни работы двигателей. Мертвым сном спала флотилия, охраняемая вахтой. И будто заглушенная горами, доносилась с какого-то судна мелодия, записанная на пленку: "Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат..."

Шторм продолжался. Только по нескольку часов в день укрывались китобойцы за айсбергом. Остальное время проводили в океане.

На исходе было горючее. На этот раз танкер пришел вовремя. А что с того? Подойти к китобазе не было возможности. Но настало время, когда ждать уже было нельзя. Моргун повел "Советскую Украину" под укрытие айсберга и попросил капитана танкера, чтобы тот все-таки подошел к нему. Капитан отказался. По всем законам и положениям он был прав. И правильно сказал: "Меня бросает, как китобойца, о каком подходе может идти речь".

А ждать было нельзя. Моргун сам решил подойти к танкеру. Водоизмещение флагмана - сорок четыре тысячи тонн. Танкера - десять тысяч. Моргун шел на риск. Но это был не безрассудный риск. Это был риск маститого ледового капитана, основанный на

богатейшем опыте, глубоких знаниях, непревзойденном мастерстве.

Моргун уравнял скорость движения судов, довел ход до самого малого, привьючил к борту убитых китов вместо кранцев. Сильного удара не должно быть. И его не было. Полетели с флагмана на танкер тонкие многометровые выбросками. Ухватившись за них, матросы вытащили на палубу тяжелые капроновые канаты и стальные тросы с петлями на концах и накинули их на кнехты. Медленно заработали лебедки флагмана, подтягивая к нему танкер.

Шесть носовых, два прижимных и четыре кормовых троса намертво связали два судна. Теперь они представляли одно целое.

И еще был случай, когда проявилось мастерство капитан-директора как судоводителя. В тихую погоду флагман шел среди айсбергов. В поле зрения их было не меньше ста пятидесяти. Но айсберги не страшны. Их хорошо видно. Страшны ропаки. Это те же айсберги, но почти полностью скрытые под водой. Не всякий глаз их увидит, не всякий локатор возьмет. Для судна они смертельны. Ропаками был усеян океан. У штурвала стоял матрос Сергей Тимофеевич Борщев, заместитель секретаря парткома и секретарь головной парторганизации флагмана. Человек бывалый и смелый. Он - Герой Советского Союза. Кроме ордена Ленина, у него пять орденов Красного Знамени, ордена Александра Невского, Красной Звезды и двенадцать медалей. На площади перед знаменитым Одесским театром рядом с именами героев-одесситов высечено в граните и его имя. На героя не похож. Крупное наивное лицо, хорошая улыбка. Раньше был военным летчиком. Выйдя в отставку, мог вести преподавательскую работу, потому что он образованный человек. Но к спокойной работе было трудно привыкать, и он уехал в родную Одессу.

Он хорошо знал небесные штормы, и ему хотелось узнать штормы океанские. Он узнал их. Думал сделать только один рейс, но уйти с флотилии не смог. Вокруг были сильные, мужественные люди, люди-герои. Вокруг была дикая, неуправляемая стихия. Это было ему по душе.

...Он вел судно, маневрируя между айсбергами, обходя ропаки, и ему было хорошо. Хорошо от сознания, что ведет самый большой в мире китобойный флагман, который подчиняется его воле, малейшему его желанию. Это было испытание нервов, мастерства, воли.

Рядом на мостике стоял Моргун. Они говорили о каком-то партийном задании, которое кто-то не выполнил.

- Почему же вы не поручили мне? - спросил Моргун. - Я бы

вполне справился с этим делом.

Ответить Борщев не успел. Китобаза стала забирать влево, он повернул штурвал в правую сторону, но судно не послушалось. Оно шло на айсберг. Моргун резко обернулся Он понял, что произошло. Вышло из строя рулевое управление.

Моргун рванул рукоятку семафора. Раздался резкий звонок и оборвался. Метнулась и встала, дрожа, стрелка семафора на секторе "Стоп": где-то в глубине у двигателей приказ услышан, понят, выполнен. Ход застопорен. Но китобаза по инерции продолжала двигаться на айсберг. Он дал левой машине передний ход, а правой - задний. Судно отвернуло от айсберга, пошло правее. Справа был ропак, и Моргун дал полный вперед обоими двигателями. Поскольку и впереди был айсберг, пришлось стопорить и отрабатывать назад, как только флагман проскочил ледяные глыбы, находившиеся по бокам. Казалось бы, чего проще остановиться. Но айсберги движутся, и надо уходить от них.

Моргун управлял судном, одновременно отдавая команды, и по этим командам старший механик и электромеханик бежали в румпельное отделение, и еще какие-то люди куда-то бежали, чтобы выяснить, что произошло, и устранить повреждение. Пока они этим занимались, Моргун управлял судном без рулевого управления, лавируя между айсбергами и ропаками, которых было видимо-невидимо, и было неизвестно, когда они кончатся.

- Самый высший пилотаж, - сказал Борщев, - детские игрушки по сравнению с теми страшными минутами.

А ведь Борщев знает, что такое высший пилотаж.

В этом рейсе был для генерального капитан-директора момент куда страшнее, чем описанный, хотя никакой физической угрозы не представлял. Обычно по всем важным вопросам, прежде чем принять решение, он советовался с капитанами. И, как правило, они всегда приходили к общему мнению.

Решался вопрос о смене места промысла. Девятнадцать капитанов считали, что надо подниматься вверх.

Моргун предложил спускаться. Он долго убеждал капитанов, приводил множество доводов, закончив тем, что и чутье подсказывает: идти вниз. Доводы не убедили. Что касается чутья, то и это ведь дело сомнительное. Капитаны стояли на своем.

Еще раз объяснив, на основании каких доводов действует, Моргун отдал приказ: спускаться.

- Вот тебе и мягкотелый, - сказал кто-то из китобоев.

Все ждали, чем это кончится. Все понимали, какую ответственность взял на себя Моргун. Если бы он принял точку зрения капитанов и китов бы не оказалось, ну что ж, виноваты

все. А сейчас?

Во время перехода люди видели, как он старается показать, что не нервничает.

На новом месте промысла китов не оказалось.

Нервничать он перестал. Кроме поискового судна "Гневный", выслал в разведку двух китобойцев, сняв их с промысла. Оказалось, киты есть. В этом районе взяли много добычи.

Кстати, о плане. Мы забыли сказать, чем кончился штормовой февраль.

В эти дни на судах потерялось значение слов "дежурство", "рабочее время", "смена", "вахта". Ясно, что заставить людей так работать невозможно. Так работать можно только по велению собственной души и сердца. Люди спасали план, как спасали бы от беды своего ребенка, забыв о сне и еде.

А март принес новые испытания. Китобойцы, окруженные айсбергами, начали обледеневать в тумане, толстым слоем льда покрывались борта, палуба, агрегаты, пушки. Обкалывали, били из брандспойтов кипятком. Провисали, готовые рухнуть под тяжестью льда антенны, обледенели стекла биноклей. Привязавшись крепкими канатами, с накинутыми капюшонами, люди скалывали смертельный для судна лед, пока обдаваемая брызгами одежда не превращалась в ледяной панцирь, схватывающий человека, как бетон. Тех, кто уже не мог шевелиться, втаскивали в помещение, а на смену шли другие, чтобы продолжать невыносимый бой.

А гарпунеры били китов. По добыче этот период оказался лучшим.

И победный рапорт китобоев звучал с трибуны партийного съезда Украины, он был послан съезду КПСС.

Право на эти рапорты китобои получили, закончив рейсовый план задолго до окончания рейса, завоевав первое место в соревновании китобоев страны.

Не было еще такого рейса. Никогда не было такого единодушия, братства, товарищества. Не было такого единения командного и рядового состава, всего коллектива китобоев. С огромной моральной и производственной победой они возвращались домой.

В четыре часа ночи на внешнем рейде Одессы мы беседовали с Борисом Макаровичем Моргуном. Он был озабочен.

- Понимаете, - говорил он, - много у нас недостатков, и как бы не закружилась у людей голова оттого, что справились с заданием. - И он начинал перечислять недостатки, недоделки, которых пока еще хватает. Когда речь заходила о достижениях, он тут же называл людей:

- А-а, это? Это заслуга Борщева. Редкостный человек, большой, настоящий. Когда он проводит партийг ное собрание, проходишь школу, какой я никогда не видел... А это - заслуга Яроцкого, а это - капитаны, это жировары...

И даже то хорошее, что сделано только по его инициативе или им самимт-он-старался свалить на других. И получалось, будто не было на судне капитандиректора, опытного, простого, подлинно советского человека.

Антарктическая китобойная флотилия "Советская Украина", вытянувшись в бесконечную кильватерную колонну, возвращалась в Одессу после семимесячного рейса. Во главе колонны шел охотник за китами "Жаркий" с капитаном Е. Буровым на мостике, занявший первое место в соревновании. За ним двигались китобойцы "Знатный" и "Дивный", ведомые капитанами И. Завьяловым и А. Коротковым.

Величественный и неколебимый волнами, точно плавучий остров, шел вслед флагман "Советская Украина", на ходовом мостике которого стоял капитандиректор Антарктической китобойной флотилии Герой Социалистического Труда Б. Моргун, проведший флотилию через три океана и двенадцать морей, через тропики, Арктику и Антарктику, сквозь двенадцатибалльные штормы и циклоны в районах скопления айсбергов и вечных льдов, флотилию, совершившую путь, равный двум окружностям земного шара.

В полном соответствии с занятым местом в соревновании шли за флагманом более двух десятков китобойных судов.

Приморский бульвар, склоны приморского парка, историческая Потемкинская лестница, улицы и площади, примыкающие к порту, и сам порт заполнили ликующие люди. Женщины и дети были в разноцветных платьях, в руках они держали розы. Эта яркая, цветастая масса шевелилась, переливалась на солнце, и издали, с борта "Советской Украины", где мы находились, казалась фантастическим творением природы.

Медленно и торжественно втягивалась флотилия на внутренний рейд. Взрывались в воздухе гирлянды ракет, в приветственном салюте заливались гудки кораблей, стоявших на рейде, гремели оркестры.

Флотилия подходила к причалам Одессы.

У моряков дальнего плавания, какие бы штормы и ураганы они ни перенесли, нет более напряженного состояния, чем в последние сутки перед приходом в родной порт. Люди не могут спать, некурящие закуривают, невозможно сидеть в каютах, и, точно загипнотизированные, моряки молча бродят по палубам.

Последние часы перед встречей с родными просто немыслимы не хватает силы воли ждать.

В такой напряженный момент, когда флагман проходил створ, с подножья маяка, усиленный мегафоном, на весь рейд раздался голос:

- Мужайтесь, китобои! Остались метры...

И вот флагман у причала. По трапу спускается командование флотилии. Розами засыпают моряков пионеры. Горячие объятия, поздравления, митинг, оркестры.

Так закончился двадиатый, юбилейный рейс.

А гарпунные пушки не били потому, что сразу после стрельбы их надо чистить, смазывать, консервировать.

Горькая обида охватывает тех, кто это должен делать:

они не могут, как все китобои, сбросить рабочую одежду и надеть белые рубашки, не могут прижать к груди своих детей, которые прибегут на палубу

- Не надо гарпунных залпов, - сказал Моргун, - не надо так много шума.

1964-1965 годы

ЭТО ОШИБКА, МАШЯ

История, о которой пойдет речь, произошла в Атлантическом океане, когда теплоход "Солнечногорск"

шел из Гибралтара в Гавану. Мне хотелось сразу же рассказать о ней. Но все осложнялось тем, что ни начала ее, ни конца я не знал. Мне стала известна только одна деталь. Поразительная деталь в истории отношений двух, должно быть, любящих людей.

Забегая вперед, скажу, что полгода я настойчиво искал их. Хотелось узнать хоть какие-нибудь подробности. Но все оказалось тщетным Оставался один выход: писать рассказ. Придумать начало и конец или хотя бы только начало. Мог бы получиться интересный рассказ. Так я и решил поступить. Но чем больше вдумывался в существо единственно известной мне детали, тем более вся эта история казалась чем-то неприкосновенным, хрупким, что ли. Казалось, любой домысел мог разрушить что-то очень красивое, созданное жизнью. Поэтому я решил рассказать только то, что знаю. Пусть читатели сами нарисуют себе картину, какой она им представится. А может быть, те двое, прочитав эти строки, сами захотят рассказать о себе.

Тогда мы уж точно будем знать, что произошло.

Все в мире подсчитано. Сколько километров до Луны, сколько рыбы в море, сколько кораблей в сутки сталкиваются. Например, только в Северной Атлантике ежегодно происходит более трехсот столкновений.

Конечно же, подсчитали и сколько судов одновременно находятся в плавании Я не знаю этой цифры. Но достоверно, что все они одновременно ведут радиопереговоры: между собою и с береговыми станциями.

В это же время говорят по радио сотни стран, разделенных морями и океанами. И величайший хаос звуковых волн царит над водными просторами.

Поздно вечером я зашел в радиорубку, чтобы передать в редакцию сообщение о ходе рейса. Как пробиться через эпицентр этого хаоса с Атлантического океана в далекую Москву?

В радиорубке на вахте был Лев Вестель. Здесь столько всяких аппаратов, а на них такое бесчисленное количество ручек, кнопок, стрелок, делений, что диву даешься, как это люди разбираются, что к чему.

В силу ряда обстоятельств, я думаю, герой нашей истории судовой радист. Мне кажется, радист должен быть обязательно подвижным, быстрым, мгновенно реагирующим на все окружающее. Не представляю себе человека в радиорубке медлительного, тучного или даже просто полного. Возможно, мне так кажется потому, что эталон радиста для меня Вестель. Сразу же вспоминается знаменитый Кренкель. И не только по созвучию фамилий. Вестель - начальник радиостанции на "Солнечногорске" и ас-коротковолновик. Едва ли не с каждым уголком планеты, где есть коротковолновики, он сумел установить связь.

Как всегда, в радиорубке громко и жалобно пищала морзянка, и неслись точки-тире, обгоняя друг друга, будто боясь, что их остановят. А им действительно мешали какие-то посторонние звуки, грубо разрывали их ниточку, но они снова пробивались, тоненькие, жалобные, беспомощные, как цыплята: пи-пии, пи-пи-пи, пии... Одновременно гудел какой-то аппарат, рядом постукивало, а то вдруг разозлится что-то страшное, злое и зарычит, заскрежещет так, что невольно бросаешь взгляд в иллюминатор на неспокойный океан.

Но Вестель покрутит какие-то ручки, и снова только пии, пи-пи...

Он принимал на пишущую машинку радиограммы, и они вылетали, как с конвейера: в каретку была так заложена пачка бланков, что когда кончался один, начинался второй. Время от времени, не снимая наушников и не прекращая печатать, он прислушивался к морзянке другого приемника - не касается ли передача его? Тут же подстраивал какую-то аппаратуру и разговаривал со мной. Он успел, не отрываясь от своих дел, предложить мне место, немыслимой скороговоркой выпалить: "черезпятьминутосвобожусь", достать из стола и передать мне

радиограмму о приближающемся шторме.

И голова и все его тело двигались, но без напряжения, а весело, даже лихо. Я знал, откуда такая легкость. Она имеет те же корни, что и легкость в движениях корифеев балета или спорта, за которой стоят годы тренировок, постоянного совершенствования.

В восемнадцать лет он уже работал начальником радиостанции на ледоколе Теперь ему сорок пять. Лет

десять был старшим преподавателем, и теперь сотни его учеников плавают по морям и океанам. Потом_ снова потянуло море. Это ведь не только в песнях: "Не ?кить мне без моря". Оно в самом деле не отпускает человека, если уж он начал плавать.

Вестель много видел. Только его военные годы - это книга. Мне было интересно с ним, и я часто заходил в радиорубку, особенно перед окончанием вахты.

После горячих часов работы он нет-нет да и уступал моим просьбам послушать, что делается в эфире.

И уму непостижимо, что там делалось. Миллион слов в минуту на всех языках мира. Фантастическое вавилонское столпотворение, увеличенное до масштабов вселенной. Как же разговаривают в этом немыслимом хаосе именно те, кто хочет друг с другом поговорить?

Очень просто. Никакого хаоса нет.

Весь мировой эфир поделен. Поделены волны, поделены частоты, поделены зоны, пояса, время. Поделены буквы латинского алфавита, их комбинации дали возможность присвоить отдельные позывные миллионам радиостанций, каждому суденышку. И все позывные раций, связанных с морем, позывные каждого судна занесены в книгу, набранную мельчайшим шрифтом, и любой радист без труда может найти их.

Но как все же пробиться со своим разговором?

Представьте себе густой дождь. И представьте невозможное: струйки его идут не сверху вниз, а горизонтально. Так вот, очень схематично, сугубо условно, каждая струйка - это радиоканал. И на концах ее разговаривают радисты. И радистов таких может уместиться миллионы и миллионы. Но все больше в мире появляется радиостанций и все гуще струйки. То и дело одна надвигается на другую, и мастерство, чтобы ни к одной не прикоснуться. Но подключиться можно к любой.

Слушать, о чем говорит мир, интересно. Вот знакомый мне теплоход "Лениногорск" просит разрешения войти в канадский порт Монреаль. Тронулся караван судов через Суэцкий канал. Среди них три парохода из Одессы. Закончил разгрузку чугуна в

Японии "Ленинский комсомол" и просится домой, но ему дают распоряжение следовать в Джакарту...

Чисто служебных, "морских" разговоров не так уж много. Моря и океаны полны пассажирскими судами.

И редкий пассажир откажет себе в удовольствии послать весточку родным или друзьям из Атлантики, Тихого, Индийского океанов или из далеких тропических стран. Ни на минуту не отрываются от коммерческой жизни "деловые люди" капиталистического мира. Акции, биржи, сделки, проценты, валюта, цены - все в эфире. Идут радиограммы, длинные, короткие, остроумные, нежные, грубые, унизительные, властные.

Летят в эфире слова. Днем и ночью, медленно и с бешеной скоростью записываемые с одной пленки на другую. Заполнен, забит эфир звуками.

Но наступает минута, нет секунда, одна и та же секунда для мирового водного пространства, когда все обрывается. На полуслове умолкают судовые и береговые радиостанции всего мира. Прекращаются передачи "срочных", "сверхсрочных", "молний", "особо важных". Прерываются сводки о надвигающихся штормах и вспыхнувшей эпидемии, распоряжения пароходных компаний и диспетчеров об изменении маршрутов кораблей, и, случись даже государственный переворот, сообщение об этом прервут на полуслове. Наступают минуты молчания. Они наступают с пятнадцатой до восемнадцатой и с сорок пятой до сорок восьмой минуты каждого часа. Сорок восемь раз в сутки с перерывами в полчаса длится трехминутное молчание.

На циферблатах часов в радиорубках два яркокрасных сектора от центра к окружности пересекают эти минуты: остановить передачу! И все судовые и береговые радисты мира ловят одну струйку, настраиваются на одну волну: 500 килогерц. И вслушиваются.

Никто не имеет права проронить звук. Никто, кроме судна, терпящего бедствие. В эфир можно выйти только с единственным словом: "SOS".

Для того и замолкает весь морской мир, чтобы услышать этот одинокий сигнал бедствия, если он раздастся. Поистине братский закон моряков всех стран.

И суровой ответственности подвергнется судно, которое нарушит его. Десятки, а то и сотни раций засекут, запишут, запеленгуют нарушителя, осмелившегося заговорить или не прервать передачу, когда приходят минуты молчания.

В тот вечер, о котором идет рассказ, Вестель закончил передавать мою корреспонденцию в двадцать три сорок. Через пять минут начались минуты молчания. Все звуки замерли

одновременно. Недаром крупнейшие мировые державы регулярно передают для судов очень точное время. Недаром на судах под двойными стеклянными колпаками хранятся специальные морские часы: шум в аппаратах прекратился, будто повернули выключатель.

Три минуты мы вслушивались в эфир. Ни звука.

В двадцать три сорок восемь рубка заполнилась шумом так же вдруг, словно открыли где-то кран: минуты молчания кончились. По международным законам радиовахта на судне нашего класса в поясе, где мы находились, заканчивалась в двадцать четыре часа. После минут молчания Вестелю фактически уже делать было нечего. Он слушал на всякий случай морзянку и объяснял мне устройство автоаларма.

Умный прибор. Когда радист кончает вахту, он обязан переключить на автоаларм антенну и привести нрибор в действие. Если раздастся где-то сигнал тревоги- двенадцать тире, автоаларм сработает, и загрохочут звонки громкого боя в каютах капитана, начальника рации, в штурманской и радиорубке. Они будут звенеть до тех пор, пока не прибежит к аппарату радист и не узнает, где и с кем беда. Такого же типа прибор имеется в штурманской. Если бедствие будет терпеть наше судно, а радист по каким-либо причинам не сможет занять своего рабочего места, вахтенному штурману потребуется меньше минуты, чтобы разбить стекло и привести прибор в действие. Немедленно полетят в эфир двенадцать тревожных тире, а за ними "SOS", наши позывные и координаты.

Мы разговаривали с Вестелем, и он время от времени повертывал ручку настройки, успевал точки, тире превращать в английские слова и переводить их на русский. Чего только люди не посылают в эфир!

"...Этот брак с нищенкой компрометирует нас, если ты не откажешься, лишаю тебя наследства...", "...до сих пор не собраны членские взносы общества пожарников тчк проведите разъяснительную работу среди экипажа за стопроцентный охват результатах сообщите...", "...бродяги, которых вы насовали вместо матросов, разбежались порту Джорджтаун, капитан все время пьян, набираю новую команду...", "Кики не выносит качки, ветеринара на судне нет, вынуждены сойти Сеуте консультации, дальнейшее сообщим...", "Имею сведения: цветные матросы свободно ходят палубам.

Возвращении домой я вас выгоню. Немедленно оградите корму, как было при мне..."

Кстати, в Сингапуре, когда я находился на турбоходе "Физик Вавилов", мы стояли рядом с амстердамским судном. Самый край

кормы был огражден металлической сеткой, за которой сидели малайцы. По одежде можно было понять, что это матросы и моряки машинной команды.

Вестель навел порядок на своем столе, и мы уже собирались разойтись по каютам, когда он, взглянув на часы, сказал:

- Скоро минуты молчания. Послушаем?

И вот все смолкло. Откуда-то из донных глубин судна доносился к нам на седьмой "этаж" мерный гул могучих двигателей. Бились о борт покатые массивы мертвой зыби Атлантики. Молчал эфир.

Так прошло минуты полторы. Может, потому, что мы уже не думали что-нибудь услышать, барабанным боем показался писк ворвавшейся морзянки. Нет, это не были двенадцать тире, предвещавших сигнал "SOS".

Отчетливые, никем не заглушаемые, неслись точкитире, складываясь в английские слова, которые быстро записывал Вестель. Почерк у него немыслимый.

Какие-то крючки, а не буквы. Если добавить к этому, что знания английского языка у меня школьные, станет ясно, почему я не мог разобрать ни одного слова.

А он, вслушиваясь, перестал вдруг писать, хотя отчетливо бились в эфире точки-тире. Предупреждающе поднял палец, чтобы я не заговорил.

Передача оборвалась, и радиорубка заполнилась обычным шумом: минуты молчания кончились. Вестель, наконец, перевел мне посланные в мир слова:

"Это ошибка, Мария, ты слышишь меня, Мария, это ошибка, я люблю тебя".

Какое-то время мы молчали, если не считать слова "да-а", которое оба поочередно произнесли несколько раз. Потом стали рассуждать.

Прежде всего установили, что говорил радист. Вопервых, потому, что фраза была передана трижды (вот почему Вестель не все время вел запись), как передают радисты все позывные и вызовы. Во-вторых, потому, что радист никого не допустил бы к аппарату вообще, а в минуты молчания тем более. Несомненно, на судне или на береговой радиостанции находилась и неизвестная нам Мария. Иначе бессмысленны были бы призывы к ней в минуты молчания: ни своих позывных, ни адресата он не передал. Значит, рассчитывал на то, что Мария обязательно в этот момент у аппарата. Решили мы, что любовь радиста очень большая, настоящая. Он ведь знал, такой проступок, как нарушение минут молчания в своих личных интересах, повлечет суровое наказание, дисквалификацию, а может быть, и суд.

Только во имя настоящей любви человек мог пойти на это.

Стало ясно и то, что произошла ошибка столь серьезная, которая могла заставить Марию немедленно совершить что-то непоправимое, может быть, самое страшное. Иначе радист мог бы все объяснить ей при встрече или нашел бы другой способ объясниться, а не идти на такое грубейшее нарушение международного закона.

Нам не удалось установить, какой стране принадлежала рация, передавшая эту фразу. Имя "Мария"

широко распространено во многих странах. А то, что передана она была на английском языке, еще ни о чем не говорило. Ведь это международный язык моряков.

Все радиопереговоры они и ведут на английском.

Мы еще долго строили всякие предположения. И я решил обязательно узнать эту историю. Тогда мне все представлялось просто. Есть специальный орган, которому обязательно сообщат о нарушителе. Хотя очень редко, но бывают случаи, что на каком-нибудь судне то ли увлекутся передачей, то ли люди, не имея навыка, забудут о минутах мЬлчания и не вовремя прервут радиограмму. Это не только обижает всех радистов, но оскорбляет их. В этом видят они какое-то ущемление своей профессиональной гордости и немедленно сообщают о "браконьере".

С тех пор прошло почти полгода. И ни один человек из сотен или тысяч, кто слышал эту фразу, не сообщил о радисте-нарушителе. Возможно, не успели запеленговать. А может быть... Может быть, не считали это нарушением и приняли как сигнал бедствия Ведь гибла любовь.

1963 год

ЗОЛОТАЯ НИТЬ

Сначала Владимир Миробанов ударил Юлю в комнате кулаком по лицу, потом два раза ножом в спину на лестничном пролете, когда она убегала.

Раны получились неглубокими, во-первых, потому, что бить приходилось на ходу, а во-вторых, нож был сапожный и лезвие скользило по касательной. Но всетаки Юля качнулась, и, чтобы она не упала, Миробанов обхватил ее одной рукой за плечи и привалил на себя. Теперь у него появилась возможность бить не куда попало, а с расчетом. И он ударил в грудь. Крик Юли слышали все соседи. На двух этажах распахнулись двери. Выглянули Александра Алимова и ее муж Дмитрий, у которых Миробанов частенько выпивал, выскочила Надежда Сидельникова, раскрылись и другие двери, но тут же захлопнулись. Все знали, что это такое - Миробанов с ножом.

В грудь он ударил тоже неудачно, потому что прижал Юлю близко к себе и неудобно было размахнуться.

Ученица девятого класса 118-й школы Таня Егорушкина с нижнего этажа, выскочившая на крик, видела только этот последний удар. Она тоже знала, кто такой Миробанов, знала, что пощады Юле не будет, поэтому с криком: "Дядя Володя!" - бросилась к нему.

В три прыжка Таня достигла площадки. Особых усилий это от нее не потребовало, потому что она - капитан баскетбольной команды и хорошая спортсменка. На площадке Таня оказалась в тот момент, когда Миробанов занес руку для четвертого удара. Ударить не успел: Таня схватила его у запястья так, что он не мог больше шевельнуть рукой. Дело в том, что перила были высокими. Стоило чуть-чуть прижать его руку вниз - и локоть попадал как раз на перила. Получался рычаг с точкой опоры на локте. И не мудрено, что одной левой рукой Таня не только удержала его правую руку, но и причинила ему нестерпимую боль.

Конечно, пятнадцатилетней девочке броситься на бандита, вооруженного ножом, дело серьезное, но у нее мгновенная реакция и очень точный глаз. При игре в баскетбол ее "держат" не меньше двух спортсменок из команды противника. И когда все устремляются к его кольцу, Таня резко бросается назад, к центру, мяч летит ей вслед, и с центра она точно попадает в кольцо. Не каждый раз, но часто. На лестничной площадке тоже не было гарантий, что она точно схватит запястье, а не напорется на нож. Но она донимала, что промах может быть смертельным не только для Юли.

О том, что произошло тогда на лестнице, в школе No 118 узнали спустя несколько месяцев из Указа о награждении Тани медалью. Сама она никому ничего не рассказала.

Раньше Таня была членом комитета комсомола, председателем совета дружины, теперь - физорг. Ее слушаются не только девчонки, но и мальчишки. Ей можно доверить самые страшные тайны. У Тани приятный голос. Поет на школьных вечерах и просто так, когда идут стайкой на стадион или еще куда-нибудь.

Все это рассказали мне девочки из ее класса и секретарь комитета Надя Звездина. Они говорили, что Таня хорошая. Справедливая, умная, веселая.

Я подумал, может, они только теперь так говорят, потому что Таня совершила подвиг. Сказал им, что это только общие слова, а нужны примеры.

- Ну вот, я приведу пример, - начала одна из моих

собеседниц. - В нашем классе одиннадцать мальчиков и двадцать две девочки. Восьмого марта ребята пришли в класс раньше всех и положили в наши парты подарки - книги. А мальчишки у нас жестокие: в трех партах подарков не оказалось. Во многих партах было по одной-две книги, в Таниной - двенадцать. Пока не пришли обиженные, она незаметно для класса положила в их парты почти все свои книги.

- Ничего не вспоминается, - сказала комсорг класса Светлана Сакунцова. - Но если бы мы узнали, что наша ученица бросилась на бандита, в руках которого был нож, и спросили бы нас, кто из девочек способен на такой героизм, все назвали бы только Таню.

- Верно, - сказала Тамара Микулина.

- Правда, - поддержали ее Саша Одинцова и Люда Киреева...

Вскоре после суда Миробанов писал матери Юли - Марии Дмитриевне, пятидесятилетней женщине:

"Манюнька, здравствуй! С приветом к вам твой муле Владимир. Я жив и здоров, чего и вам желаю. Ты пишешь, что соскучилась, а я разве нет? Может, поэтому и худею... Что-то долго вы там с посылкой, ничего не пойму. Маша, посылай три кг сала, один кг сахару, колбаски, папирос, ну и еще там чего-нибудь.

Сала побольше, оно не портится. Купи мне портсигар, длинный такой, на пружинке, как у меня был..."

Двадцать три года назад муж Марии Дмитриевны погиб на фронте. На ее руках остались Юля и Люда.

Мать вышла замуж за главного бухгалтера из торговой сети Петра Степановича Кудоярова. Как человек здравомыслящий, он понимал, что Юля серьезная, трудолюбивая девочка. Видел, что ей вполне можно доверять нянчить детей. А они появились один за другимНадя, Виталик, Инесса.

У Марии Дмитриевны не было возможности ухаживать за детьми из-за большой перегрузки по службе. Она работала добросовестно, не считаясь со временем, и, пока не распродаст все пиво, домой не уходила. Случалось, просиживала в пивном ларьке с утра и до позднего вечера. Чтобы облегчить положение Юли, Мария Дмитриевна посоветовала ей перейти в школу рабочей молодежи, и тогда высвободится день для ухода за маленькими.

Юле было тринадцать лет, а ее соученикам в ШРМ по двадцать пять тридцать. Ей мерещились веселые подружки, пионерские сборы. Она поддалась этим соблазнительным мыслям и, не спросив разрешения мамы, ушла из ШРМ и вернулась в свой класс.

Мария Дмитриевна была недовольна, но смолчала.

И Кудояров не стал упрекать девочку и вообще ни слова ей не сказал. Он написал, обстоятельное письмо в райком комсомола, сообщил, что Юля ведет себя не по-комсомольски, не желает помогать семье, а эгоистично печется только о себе и своей личной выгоде и вообще растет барчуком.

На следующий день Юля пошла в школу рабочей молодежи. Проучилась месяца три, когда в доме случилась беда. У Петра Степановича оказался туберкулез в открытой форме. Его перевели на инвалидность.

Мария Дмитриевна поместила мужа в отдельную комнату, выделила для него посуду, полотенца, постельное белье и запретила детям находиться там. Поскольку она работала в пивном буфете, то есть в системе общественного питания, - естественно, не могла ухаживать за человеком, у которого открытая форма туберкулеза. Поэтому решила, что лучше всего, если Юля бросит школу.

Не закончив восьмого класса, она оставила школу и занялась больным, как велела мама. Чтобы не подвергать младших детей риску заразиться туберкулеюм, решили освободить Юлю от ухода за ними, тем более что им уже вполне могла помогать Люда.

Петр Степанович целыми днями лежал, выходя лишь за водкой. Юля убирала за ним, мыла горячей водой пол, стирала в хлорке тряпки, чистила посуду, делала все, как учила мама.

Месяцы шли. Мария Дмитриевна понимала, что у девочки остается много свободного времени. А ведь ей уже почти шестнадцать, могла бы и сама догадаться чем-нибудь помогать семье. Недовольства Мария Дмитриевна не высказывала. Возможно, лишь поделилась своими мыслями с мужем, а может быть, подобные мысли самому ему пришли в голову, но он мол"

чать не стал. Заявил Юле: коль скоро она не учится, вполне могла бы поступить на работу, а не сидеть на его шее.

Юля отправилась искать работу. Куда идти, к кому обратиться - не знала. Ходила изо дня в день, а когда прибегала домой, чтобы убрать за Петром Степановичем и покормить его, он спрашивал:

- Ну что, устроилась? Или опять скажешь: не берут?

Мария Дмитриевна, не в пример мужу, не ругала Юлю и ни в чем не упрекала. Если случалось, он при ней говорил Юле: "Все находят работу, одна ты не можешь", - Мария Дмитриевна не поддерживала его, а уходила в другую комнату. Больше того, сама решила помочь дочери и устроила ее в цех сухого порошка на горчично-маслобойный завод, где раньше работала буфетчицей.

С непривычки Юля сильно уставала, ее мутило, но

постепенно освоилась и уже спустя год ко всему привыкла. Она гордилась тем, что раз в две недели получала зарплату, и это были ее собственные деньги, которые она приносила маме.

Время шло, и однажды Юля узнала о наборе учеников на канатном заводе. Она отправилась туда не задумываясь: там нет горчичной пыли, к которой, оказывается, привыкнуть нельзя.

Ее согласились принять, но медицинская комиссия обнаружила затемнение в легких. Юлю взял на учет туберкулезный диспансер. Она вернулась на свой завод. За год ее вылечили. Вскоре Петр Степанович умер, и уже не было риска заразиться.

К этому времени Мария Дмитриевна познакомилась с Владимиром Решетниковым, человеком веселым и жизнерадостным. Ей стало ясно, что Владимир может скрасить жизнь, тем более что он был одиноким. Жену с ребенком Решетников оставил на Кубани, а со второй развелся. Вернее, разводиться им не надо было, так как, не оформив брака с первой женой, он не мог расписываться со второй. Они просто поделили комнаты: одна - ему, вторая - ей и их двум детям.

Решетников видел, что и Маша скрасит его жизнь:

на алименты удерживали много денег, а в ее буфете на берегу Волги в любое время можно было хорошо выпить и закусить.

Спустя полгода он вызвал с Кубани свою первую жену и ребенка. В те дни, когда случались ссоры, он переходил в соседнюю комнату ко второй жене и, если та начинала его упрекать, говорил, что плевать хотел на них обеих, и отправлялся к Марии Дмитриевне.

Потом Решетников перестал приходить. Мария Дмитриевна нервничала. Решила однажды сама к нему пойти.

С тревогой и нетерпением Юля ждала ее возвращения. Вернулась Мария Дмитриевна скоро. Заливаясь слезами, рассказала дочери, как опозорил ее этот негодяй. Он разразился столь чудовищной руганью, обзывал такими словами, что повыскакивали соседи, и она бежала назад, как сквозь строй позора.

Юля успокаивала маму как могла, хотя на глазах у самой были слезы, и, прижимаясь к ней, гладила ее волосы. Может быть, в первый раз за долгие годы ощутила она и сама материнское тепло.

В дверь позвонили. Юля пошла открывать. Перед ней стоял улыбающийся Решетников.

- Вон отсюда! - закричала она. - Духу вашего чтобы здесь не было!

И тут же услышала торопливый голос матери:

- Володя, Володя,.. Ты с ума сошла!

Мария Дмитриевна рванула Юлю в сторону, а та, захлебнувшись воздухом от слов матери, захлопнула дверь, из-за которой донеслось: "Я жду, Маша".

- Не пущу! - зарыдала Юля, раскинув руки.

Мать наотмашь ударила по незащищенному лицу дочери, еще раз и еще, пока не сжалась Юля в комок.

Мать снова рванула ее в сторону от двери, но Юля успела ухватиться за ручку. Она упиралась в дверную раму, цепляясь за что попало, захлебываясь в рыданиях, кричала: "Не пущу! Не пущу! Не пущу!" - и вдруг обмякла, перестала сопротивляться и, глядя куда-то, точно лунатик, пошла в комнату.

Спустя три дня Мария Дмиариевна сказала дочери, что встретила наконец настоящего человека - Владимира Федоровича Миробанова, которого горячо полюбила, что он, в свою очередь, хотя и моложе ее на одиннадцать лет, тоже полюбил и завтра у них свадьба, после которой он останется здесь жить.

На мой вопрос о том, как произошел этот крутой поворот в жизни Марии Дмитриевны, она ответила обстоятельно:

- Я не люблю всякое такое. Так и сказала Володьке Решетникову: "Или иди к жене, или переходи ко мне, иначе я несогласная". А он мне на это отвечает:

"Понимаешь, Маша, я-то хочу к ней, но за ней какойто хлюст стал ходить. Давай подождем немного: если она отошьет его, я к ней вернусь, а если они поженятся, вот тебе мое слово - будем жить с тобой".

Эти слова показались мне обидными, - продолжала Мария Дмитриевна, - и я высказала их своей судомойке Вале, которая меня с ним познакомила. А она говорит: "Плюнь ты, - говорит, - на него, Маша, я тебя с настоящим человеком сведу". Я ее с работы отпустила, сама стала кружки мыть, она его и привела.

Посмотрела на Володьку - ну, на Миробанова - и подумала: жизнь наша ничего с ним сложится. Жить у него после заключения негде, скитается по баракам, потому не работает. А у меня, сами видите, квартира большая, три комнаты. Куда, думаю, он от меня пойдет. Устроится на работу, и будем жить.

Я спросил, долго ли Миробанов находился в заключении и за что - За всякое, - неопределенно ответила ола. - Года три отбывал. Первый раз два месяца отсидел. Ему железнодорожный трибунал в сорок пятом пять лет дал, а тут аккурат амнистия по случаю победы. Второй раз опять трибунал, шесть лет определили в сорок седьмом. Девять месяцев тогда отсидел, не помню уж, по какому празднику опять отпустили. Потом обратно пять лет дали

и обратно в пятьдесят третьем большая амнистия, всех тогда выпускали. В четвертый раз ни"

каких амнистий не было. Два года дали, два и отсидел.

Теперь вот семь лет... Тоже только на амнистию надежда...

С приходом Миробанова жизнь в доме изменилась. Появился мужчина и глава семьи. Пил вволю, нещадно бил Марию Дмитриевну, изъяснялся матом.

В этой своей жизни он время от времени устраивал перерывы для работы. Бывало, на одном месте до трех месяцев удерживался, но зарплату получал не больше чем за месяц, ввиду того что за прогулы не платили.

Когда в проходной "горчичника" задержали с ворованным маслом, ушел "по собственному". Перенервничал он в то время - думал, судить будут. После такого полгода пришлось отдыхать.

Пил Миробанов каждый день, и каждый день гудели стены от скандалов. Когда ему все это надоедало, он уходил к отцу, старому пенсионеру Федору Мироновичу, который жил где-то в бараке, был популярен, и всегда у него собирался народ. Кто полтинник раздобудет, кто две-три пустые бутылки смотришь, на поллитровку собрали. И никто не мог так справедливо разделить ее, как это делал Федор Миронович. Двадцать копеек принес - получай тридцать пять граммов; три пустые бутылки раздобыл - шестьдесят три грамма. И никто не в обиде.

Мария Дмитриевна не все прощала Миробанову.

Несколько раз подавала в милицию, чтобы выселили его. Старший оперуполномоченный Н. Свиридов одобрял ее действия, обещал "в два счета" выслать. Но сердце не камень. Марии Дмитриевне становилось жаль человека, она снова шла в милицию, признавалась, что во всем виновата сама, возвела напраслину, и писала: "Прошу считать мое заявление недействительным".

Так и жили. Юля работала на канатном заводе волочилыцицей в бригаде коммунистического труда.

Странно звучат сегодня слова "волочилыцица", "волочительный стан". А на стане этом Юля "волочила" да трехсот пятидесяти километров стальной латунированной проволоки в смену, вырабатывая сто пятьдесят процентов плана.

Бушует всю ночь за стеной Юли скандал, а утром она идет на работу. Бежит золотая нить толщиной пятнадцать сотых миллиметра. Бегут на шпуле один рядок за другим, бегут мысли, горькие, безысходные.

Бежит нить через восемнадцать алмазных волвков, все утончаясь, и лопнет вдруг. И обрываются мысли. На специальном станочке Юля проворно сварит кончики, и снова бежит золотая

нить. И мысли, точно кто сварил их, опять к тому же, и некуда от них деться.

Юля снимает полные шпули, ставит новые, переходит ко второму стану, поглядывает на соседние, где работают ее подруги по бригаде Валя Жукова и Валя Харламова. Это передовая бригада коллективной ответственности. Пока одна заправляет стан - дело кропотливое, требующее сноровки и силы, - за вторым ее станом следят подруги. Не ладится у Юли - помогут обе Вали.

Помогут? Здесь-то помогут, а дома? Ничего они не знают о том, что у Юли дома. А спросят, почему грустная, улыбнется и ничего не скажет. Только следит потом за собой, чтобы чаще улыбаться. А золотая нить бежит, бежит,.. Где-то она оборвется?

Однажды с утра выпил хорошо Миробанов и собирался вместе с Марией Дмитриевной в родильный дом навестить Люду. По дороге он сказал, что, пожалуй, выпил больше нормы и лучше вернуться ему домой. Она согласилась.

- Потом думаю, - рассказывала мне Мария Дмитриевна, - не домой пошел. К отцу. Вернулась я, подхожу к бараку, а Володька только-только вошел. Ну тут уж я ему спуску не дала, потащила назад. Идет и злится, скандал затевает. А дома вовсю разошелся. Бросилась к Борису - сосед это наш, Володька слушается его. Борис было пошел, а жена не пустила. Подальше, говорит, от греха. Вернулась я как раз, когда ударил он Юлю. Я опять назад, за милицией.

Юля выбежала вслед за матерью. Миробанов схватил сапожный нож. На лестничном пролете догнал, О том, что там произошло, уже рассказано.

Все раны, нанесенные Юле, были неглубокими. Пока шло следствие, ее успели выписать из больницы и перевести на амбулаторное лечение. Юля видела, как страдает мама. И послушалась ее: пошла в суд, попросила, чтобы прекратили дело.

Восьмого марта я предложил Юле и ее знакомому Эдику провести праздничный вечер в ресторане. Сначала она отказалась наотрез, но потом согласилась.

Это был большой сверкающий зал. Он вовсе не походил на ресторанный зал. Оригинально расставленные столы, улыбающиеся официантки в нарядных платьях - вся обстановка создавала несовместимые, казалось, ощущения: подлинного, чуть ли не семейного уюта и большого бала.

Шикарно одетая танцующая публика, веселый джаз, смех, пробки шампанского - все это приводило Юлю в восторг. Она улыбалась. Совсем не смущаясь, как бы самой себе сказала:

- Я первый раз в жизни в ресторане, - и немного грустно добавила: - А ведь мне скоро двадцать девять.

Когда заиграл джаз, я предложил Юле и Эдику потанцевать.

- Нет, нет, - торопливо сказала она, пряча под стул ноги. И я понял, что поступил опрометчиво, даже бестактно. И вспомнил разговор, который происходил в тот же день.

Я спросил тогда Марию Дмитриевну, как строится их бюджет. Она ответила, что Надя отдает ей всю зарплату, семья Люды - шестьдесят рублей в месяц, а Юля пятьдесят. Мне показалось это несправедливым.

- А зарабатывает она сто рублей, - возразила Мария Дмитриевна, пятьдесят у нее остается.

- Нет, - устало заметила Юля. - Ты ведь знаешь, мама, для себя ни копейки не остается. То Виталику штаны надо, то собирается долг за квартиру, мебель взяли в кредит, выплачиваю. Ну а на обед пятьдесят копеек, верно, ты даешь.

Мария Дмитриевна молчала. Может быть, думала, что слишком дорого обходится ей Миробанов.

Я уже давно собирался с ним поговорить в том месте, где он находится, да никак не получалось.

В первый раз приехал, а он - в кино. Картина только началась. Люди свободные поступают, как хотят.

А он - в колонии строгого режима, хочешь не хочешь- два раза в месяц художественный фильм, И школу тут не бросишь, как это сделала Надя. Образование обязательно. Окончил школу, получай аттестат зрелости. Тогда обязательным останется только профтехобразование.

Это положено по закону. Матерые преступники, сидящие в колонии строгого режима, знают, как получить дополнительные льготы. Например, Миробанову первая передача положена через три с половиной года, то есть по истечении половины срока заключения. А он месяца за три получил уже три посылки. В своих письмах сообщил три способа передачи посылок. Чтобы не распространять его богатый опыт, не стану их описывать. Но способы надежнейшие.

За день до моего отъезда я сказал Марии Дмитриевне все, что о ней думаю. Сказал, что она жестокий человек, что именно так и напишу о ней, процитирую письма Миробанова.

- Ну что ж, - ухмыльнулась она, - пишите, почитаем. А жить все равно буду как хочу.

На следующий день, когда я собирал вещи, пришла Юля. Я видел, сколько усилий прилагала она, чтобы сдержать слезы, но расплакалась. Просила не писать о маме. Жалко маму.

- Это она вас послала?

- Нет, нет, - заторопилась Юля. - Я сама. И Надя просит.

Как же не писать? Знать о несправедливости, жестокости,

садизме и молчать. Как же это?

Юля задумалась, перестала плакать, только всхли"

пывала.

- Ну хоть фамилии не пишите.

Я дал слово, что фамилии не напишу. Фамилии ее отца, погибшего на фронте. Поэтому называю Юлю только по имени.

1964 год

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Каждый человек - сам хозяин своей судьбы. Чего добился в жизни, то и пожинай.

Так-то оно, конечно, так, а только многое в нашей судьбе зависит от тех, кто стоит рядом.

* * *

Женя Алейкин не успел убежать. Это был первый налет фашистской авиации на порт, и он растерялся.

В ногу попал большой осколок. Пришлось ее отрезать,

Вышел из больницы на костылях. Через год с фронта вернулся отец, тоже на костылях. У него была еще рана в животе, его долго лечили, но лечение это было уже ни к чему. Когда отец умер, мать пошла работать в порт.

Женя потерял два года и был в классе старше всех.

Он обижал малышей, и за спиной его дразнили "одноногим". Он знал, что его так дразнят. Учиться ему надоело и вообще все это надоело, он бросил школу и пошел в порт. Его не приняли. Далеко от центра, где не встретишь знакомых, была сапожная палатка. Там работали три мастера, и он поступил к ним в качестве ученика.

С утра все трое искали мелкий ремонт, чтобы выполнить его сразу, при клиенте, и тут же получить за работу. Рассчитываться доверили Жене Алейкину. Первой и главной его обязанностью было внимательно считать деньги и не прозевать тот момент, когда набежит на пол-литра и полкило колбасы. Труда это не составляло, тем более что после каждого клиента механически прикидывали в уме, сколько уже собралось, и, как бы про себя, но все-таки вслух, говорили: "Как раз!", или: "Ну вот!", или еще что-нибудь в этом роде.

Женя брал костыль и вприпрыжку бежал в ларек.

Мастера ценили его трудолюбие, поэтому наливали немного и ему. Пить было противно. Над ним посмеивались. Он стал пересиливать себя и уже не отказывался от своей доли.

В удачные дни и в получку раньше времени закрывали палатку. Женя приносил два, а то и три пол-литра, чтобы потом уже зря не бегать. Теперь не приходилось себя пересиливать, потому что в этом деле он ненамного отставал от мастеров.

Жить стало легче. В первые месяцы работы он расстраивался по любому поводу: увидит ребят из ремесленного и завидует им. В такие минуты он становился задумчивым и рассеянным. Потом понял, что ничего хорошего в его жизни не будет. Значит, можно не расстраиваться от встреч с ребятами, у которых счастливая судьба, и не забивать себе голову всякими мыслями и

бесплодными мечтами Он твердо решил, что теперь будет легче, и, если эти ненужные мысли опять лезли в голову во время работы, он гнал их, не раздумывая, яростно забивая гвозди в ботинок. Если они заставали его, когда он бежал за водкой, тоже не обращал на них внимания. Когда они будили его ночью, он с издевкой отвечал на них про себя, что его это совершенно не трогает и плевать на них хотел, пусть даже они не дадут ему спать до утра. И он ждал этого утра с нетерпением, чтобы поскорее выполнить первые заказы.

Мать все понимала. Однажды сказала:

- Может, в целинный совхоз уедем?

Ему было все равно. Он ответил:

- Мне все равно.

Новому директору совхоза Ивану Шарпову было не до них. У него была мечта: три дождя. И ничего в жизни больше не надо: три хороших дождя. Первый - сразу после сева, второй - когда выйдет третья связка. Хлебный стебель, он ведь, как бамбук или камыш, коленцами пересечен. Так вот. На выходе третьего коленца дождик нужен. И последний - под налив хлебов.

Мечта не сбылась. Не было дождя. Ни первого, ни второго, ни третьего. Вообще не было дождей. Были огромное солнце, не загороженное облаками, и горячив ветры. Но землю оплодотворили, и должна была появиться жизнь.

Она появилась: вышли, выбились сквозь трещины ростки, жалкие, бледные заморыши. Они выбились к свету и влаге. А влаги не было. Подгорали, обвисали стебельки. Рост прекратился. Но они еще жили, маленькие и хрупкие и, как все живое, стремились оставить потомство. Они торопились, потому что жизнь едва теплилась в них, и надо было успеть это потомстыо дать. Раньше времени выбросили стрелку и пошли в колос. Родились колосики-недоноски. Крошечные, хилые, безжизненные.

И снова палило солнце, обжигали суховеи, не жалея эти существа, они сжались, сморщились, потрескались, не в силах сопротивляться. Било солнце лежачего.

Так пришла пора уборки. Вечером, в кабинете директора подводили итоги первого дня. Пятнадцатьдвадцать килограммов с гектара. А сажали по сто двадцать. Расходились, не глядя друг другу в глаза.

Вошел кладовщик подписать какую-то бумагу. Подписал. Тот уже направился к двери, но директор задержал:

- На первый раз предупреждаю. Повторится, отдам под суд.

Сказал безразличным тоном, будто пришла случайная мысль, он ее и высказал.

- Не знаю, про что это вы, Иван Андреевич, работаю я

честно...

Пока он это говорил, директор внимательно смотрел на него. Взгляды их встретились, инстинкт самосохранения сработал, и кладовщик осекся. Знал, что директор нрава крутого и пощады от него не жди. Уж лучше смолчать.

- Ну вот, так-то вернее...

Читает, что ли, чужие мысли? Домой шел, злясь на директора. Время трудное, на всякий случай надо коечто предпринять, чтобы легче зиму прожить.

Предпринял. Ничего серьезного, так кое-что по мелочи припрятал. Через два дня получил приказ: переводят на работу по уборке скотного двора. Пойти на директора в атаку, так черт его знает, что ему известно. Как бы хуже не было. Но и молчать нельзя.

Перед вечером позвал в гости кузнеца Алексея Дробова, Был он и трактористом, и комбайнером, и вообще мастером на все руки. Своим мастерством не бахвалился, но цену себе знал. Отличался болезненным самолюбием, и с этим недостатком начальство мирилась, боясь, как бы не обиделся человек и не переметнулся в другой совхоз.

Дробов пришел в гости охотно. О новом директоре кладовщик заговорил после третьего полстакана. Что за директор талой! Сидит себе, барин, в кабинете, иэ окон свет - как прожектора, а у лучшего человека, Дробова Алексея, дети уроков не могут делать, нет света. И нет на него управы, боятся все...

Долго ли самолюбивого выпившего человека разъярить! Алексей поднялся, молча толкнул дверь и, качаясь, пошел по неосвещенной улица Шумно ввалился в кабинет директора.

- У тебя, директор, свет горит?

- Горит.

- А у детей моих почему вет света,?

- Движок маленький, на весь поселок ие хватит.

Через два дня закончится ремонт электростанции... - Иван Шарпов спокойно уговаривал кузнеца пойти отдохнуть, и это спокойствие все больше раздражало Алексея. Стукнув ладонью по столу, закричал:

- Переключай свет на мою квартиру!

Звякнули крышки чернильниц, опрокинулся узенький пластмассовый стаканчик с карандашами. Директор поднялся, близко подошел к кузнецу. Тем же спокойным тоном сказал:

- Если вы сейчас же не уйдете, я вас вышвырну, как щенка.

Кровь и водка ударили в голову. Это его, кузнеца и лучшего комбайнера, как щенка. Рука, привыкшая играть кувалдой, сжалась в кулак. Откачнулся Дробов и наотмашь ударил. Удар

пришелся в воздух, но Алексей почувствовал, что замурован. Перехватив его руку каким-то приемом, Иван скрутил могучее тело кузнеца, подтолкнул его к двери и вышвырнул. Не удержав равновесия, под дружный смех сидевших на скамейке, Дробов плюхнулся жа живот. Подбежал кладовщик, помог подняться. Алексей отстранил его рукой.

Обернулся, долгим взглядом посмотрел на ярко горящие окна и зашагал в темноту.

В час ночи Иван Шарпов возвращался домой. На душе было тяжело, хотя о недавнем инциденте не думал. Чуда не произойдет: хлеба нет. Едва-едва натянут то, что посеяли... Иван шел задумавшись, никуда не глядя. Да если бы и посмотрел на деревья, что стояли у тропки, все равно не увидел бы притаившегося там человека.

Удар был неожиданным и сильным. Развернуло Ивана, качнулся, а на ногах устоял. Перед ним -кузнец. Дурак ты, парень. Разве против человека с разрядом по самбо тебе идти! Скрутил Иван кузнеца.

В районе Шарпову сказали, что действовал он правильно и другого выхода не было. Отдают кузнеца под суд.

Муторно было на душе, когда возвращался в совхоз. Какие-то люди незнакомые, парень с костылем.

- А вы кто такие?

- Алейкины мы, на работу сюда послали, - заискивающе говорит женщина. Это мой старшенький...

Сапожник хороший.

Ничего не сказал, пошел дальше. Потом обернулся:

- Остановились где? - и, не дожидаясь ответа: - Ступайте в общежитие, скажите, я велел.

С Иваном Шарповым я познакомился спустя три года после этих событий, в разгар уборки. Мы ехали в высоких хлебах по великолепным межклеточным дорогам, а справа и слева гудели комбайны, оставляя могучие полосы пшеничных валков.

- Вот моя опора, - заулыбался Шарпов, указывая на приближающийся комбайн. - Поговорите с ним.

Тракторист и комбайнер высшего класса, непревзойденный специалист по двигателям, депутат областного Совета. И жена у него - золотые руки.

Шарпов уехал, а я, подождав, пока подойдет к дороге комбайн, вскочил на лесенку и поднялся на мостик. Шестиметровая расческа комбайна врезалась в густые стебли у самой земли, а поперек нее метались ножи, и, вздрогнув, падали подкошенные колосья на полотно транспортера. Комбайнер вел машину, не переключая скоростей. Казалось, совсем просто вести

комбайн.

Показывая на штурвал, кричу!

- А я не сумею?

- Нет, - смеется он, качая головой, - Корреспондент, наверное?

- Корреспондент, - подтверждаю я, называя себя. - А ваша как фамилия?

- Алейкин.

- Что?!

- Алейкин! - кричит он. - Евгений Алейкин!

Он разворачивает комбайн, а я украдкой смотрю на его ноги. Одной ноги нет.

- Вот о ком писать надо, - кивает он на идущий поблизости комбайн. Учитель мой. Сейчас меняться будет.

Мне неинтересен сейчас учитель. Как произошло такое чудо с Женей Алейкиным? Расспрашивать неловко. Решаю идти к учителю, который, конечно же, расскажет все подробно. Его место за штурвалом уже занял сменщик, а он зашагал в сторону полевого стана. Я догнал его, попросил рассказать о Жене. Я почувствовал, что этот вопрос ему приятен.

- Ремонтировал я комбайн, - начал он, - подъезжает директор, парень с ним на костыле. Сошли с машины, стоят смотрят. А у меня не ладится, маховик никак не наживлю. И вдруг директор закричал на Женьку. Он у нас на людей не кричит, а тут закричал:

"Что стоишь, не видишь, что ли! Подержи ему маховик". Парень бросился помогать. Потом отозвал меня Иван Андреевич и говорит: "Большая у меня к тебе личная просьба. Помоги человеку в люди выйти. Злой он, грубый, но не верю ни в его злость, ни в грубость.

Просто задавлен из-за своей ноги. Морально задавлен, понимаешь. А парень смышленый. Если увидит, что не дают ему скидок и считают полноценным, далеко может пойти. Сделаешь из парня человека, и низко тебе поклонюсь, Алексей Дробов".

- Позвольте, кто же это, Алексей Дробов?

- Как кто? Я.

Растерянный, иду молча. Наконец решаюсь:

- Товарищ Дробов, я знаю вашу историю с директором. Как получилось, что вы здесь?

- А я и не прячу свою историю. Куда ее спрячешь!

- Суд был?

- А как же! Вызвали на суд главного свидетеля обвинения Шарпова. Я знал, что он будет мне мстить, а отвести такого свидетеля нельзя, потому что он - потерпевший. Встал Шарпов

перед судьями, ко мне боком и развел руками. "Не знаю, - говорит, - что сказать, товарищи судьи. Не знаю. Оправдывать его нечем, по всей строгости судить надо. Но вот расписался я тут у вас, что только правду буду суду говорить, а если правду, то обвинять его душа не велит. Понимаете, не тот это человек, кто за решеткой должен сидеть. Ошибка тут какая-то".

Не послушался суд Ивана Андреевича, - вздохнул Дробов. - Три года строгого режима дали. Взяли меня под стражу, а Шарпов прямо с суда в область уехал.

Как он там свою правду доказывал, не знаю. Область срок мне утвердила, только добавила: "Условно". И объяснение дали: на основании личной просьбы и гарантии директора. Когда решение пришло, вызывает он меня и говорит: "Понимаете, какие вы права получили?" - "Понимаю, - говорю, - полную свободу". - "Да нет, - говорит, - ничего вы не поняли. Вы теперь на меня права получили, что хотите со мной сделать можете. Все равно, что партийный билет взаклад за вас положил".

Ничего я не мог ответить Ивану Андреевичу. Повернулся и пошел, чтобы не видел он моего состояния.

Оно у меня было, как у бабы, слезы выдавливало...

Через несколько дней и привел он ко мне Женьку.

Представляете, как взялся я за парня.

Впоследствии Шарпов рассказывал мне, как Дробов учил Женьку. Сделать из него человека стало делом жизни Алексея. Он словно не Женьку учил, а себя переделывал.

Не было меры счастья и для Евгения Алейкина:

лучший специалист, депутат, глава семьи, отец двух детей. Путь от сапожной палатки до этих вершин был пройден за три года.

Что стало бы с ними, не будь Шарпова? Трудно сказать. Три года заключения у одного, нелюбимая профессия и водка у другого - кто знает, куда привели бы эти дорожки.

1966 год

ПОЕДИНОК

Дневной концерт в Доме актера окончился. Хорошенькая, кокетливая Аллочка со своим другом Сашкой выходили почти последними. В вестибюле она взяла его под руку, но он отстранился:

- Не надо, Аллочка.

Алла обиделась. В последнее время с ним творится что-то странное. Веселый, энергичный, чуть-чуть нагловатый, он никого и ничего не боялся, ходил, широко расправив плечи, не уступая дороги встречным, точно демонстрируя свою отличную спортивную выправку.

Сейчас весь он был напряжен, его фигура как-то уменьшилась, глаза бегали по сторонам. Руки чуть согнуты в локтях, будто приготовился отразить удар.

На широкой ступени у выхода Сашка на мгновение задержался. Направо и налево метнулись глаза. Надел черные защитные очки и, взглянув под ноги, чтобы не оступиться, шагнул.

Зря он смотрел себе под ноги, потому что как раз в это время и прозевал тот миг, когда из толпы бросился на него человек. Все-таки Сашка успел схватиться за револьвер в кармане. Но тут он почувствовал на шее чужой твердый бицепс, который давил ему на горло и заламывал назад голову. Рука, державшая револьвер, тоже была стиснута, хотя и не очень сильно, но, должно быть, ему придавили какую-то жилку, потому что пальцы сами по себе разжались, выпустив рукоятку.

А главное - нападавший успел обвить его ногу своей ногой и, оттянув ее назад и в сторону, присел на ней, и такую боль терпеть было нельзя.

Все эти ощущения - и на шее, и в руке, и на ноге - он почувствовал одновременно, и можно было подумать, будто бросился на него не один человек, а целый десяток.

Сашка был сильным, мог терпеть боль, а в борьбе и драках имел большой опыт. Он знал, что сейчас одно спасение: мгновенно падать, увлекая за собой противника, Тогда, возможно, удастся выхватить револьвер.

В крайнем случае можно стрелять и сквозь карман. Уж если он выстрелит, не промажет. Пусть с первого раза и не удастся убить, но ранит наверняка, и, конечно, разбежится толпа, кричащая вокруг.

Но Сашка не успел упасть, потому что в руки вцепились еще двое. Его поволокли обратно в вестибюль, отобрали револьвер, скрутили ремнем.

Все это было обидно до слез. Он знал, что кольцо вокруг него сжимается, знал, что его могут выследить, готовился к этому и дешево отдавать жизнь не собирался. Он готов был к самому худшему, но чтобы вот так, без единого выстрела, как цыпленка...

Он обвел взглядом могучую фигуру своего противника и, не скрывая сожаления, сказал:

- На секунду ты меня опередил, а то лежать бы тебе сейчас на мостовой.

- А мне секунды достаточно. Даже много, - добродушно улыбнулся тот, и на его щеках появились ямочки.

В помещение вошел старшина милиции и сказал:

- Машина пришла, товарищ Чельцов.

В машине разговор продолжался. Ехали два специалиста. Каждый в своей области: матерый и жестокий бандит Сашка и агент уголовного розыска, старший лейтенант милиции Владимир Ильич Чельцов. И оба прощупывали друг друга. Первым опять заговорил Сашка. Он сказал:

- Почему ты к Дому актера пришел? Я ведь не мог там быть.

- Вот-вот, - обрадовался Чельцов, - и я так подумал: надо искать тебя там, где ты не можешь быть. Это же твой метод. Ты все время делал такое, чего нормальным людям в голову не придет. Вот мы охраняем, скажем, банки, сберкассы, ну, одним словом, ясно что"

А кто ж догадается у донорского пункта охрану ста-"

вить? Там ведь деньги для тех, кто отдает людям свою кровь.

Чельцов говорил очень искренне, точно объясняя, втолковывая, чтобы человек хорошо понял его мысль.

- Значит, ты и про донорский знаешь?

- А как же? - удивился Чельцов.

- Значит, взяли уже кого-нибудь?

- Нет, - признался старший лейтенант, - скоро возьмем. Если окажешь содействие, может, и не расстреляют тебя, кто его знает.

- А что, могут расстрелять?

- А как же ты думал? В бирюльки будут играть?

Больше на этот раз им не удалось поговорить, потому что открылись тюремные ворота и пора было выходить.

За два месяца до описанных событий жизнь Сашки была безоблачной. Тщательно выбрившись, протерев лицо "Шипром" и попудрив его, достал из-под подушки крупнокалиберный револьвер системы "фроммер", насвистывая, вышел из дому. В магазине "Культтовары"

на улице Горького купил пластилин цвета слоновой кости и в первом же подъезде нанес тонкий слой пластилина на свои передние золотые зубы. Надев затем черные очки, направился к стоянке такси и уселся рядом с шофером.

Когда он остановил машину, на счетчике было пятьдесят шесть копеек. Небрежным жестом достал рубль, небрежно подал шоферу, сказал "Благодарю вас" и вышел. Это был его последний рубль. Больше у него не осталось ни копейки.

- Сдачу забыли! - крикнул вдогонку шофер.

- Ну, пустяки, - махнул он рукой и, поправив мягкую шляпу, быстро завернул за угол. Он сразу увидел Игоря и Женьку с маленьким чемоданчиком. Молча поздоровались, молча направились к большому скупочному пункту в конце улицы.

Одеты они были не шикарно, не крикливо, но очень аккуратно и прилично. Все трое рослые, интересные, спортивного

телосложения. Смотреть на них было приятно.

Еще издали сквозь большое окно и стеклянную дверь увидели, что в скупке посетителей нет. Женька и Игорь вошли первыми. В помещении находились кассирша и три приемщицы. Это были женщины не старые, но уже далеко не молодые.

- Спокойно, девочки, без шуму, - направил на них револьвер Игорь. Рядом, тоже с револьвером в руке, стоял Женька. А Сашка в это время прикрепил к двери заранее заготовленную бумажку: "Закрыто на учет" - и повернул ключ замка.

Сашка загнал женщин в подсобное помещение и для надежности остался у входа. Чтобы они не бросились па него, он не опустил свой "фроммер". Посмотрел на них и увидел, что они его боятся. Особенно одна, пожилая. Бледное как мел лицо, руки трясутся. Сашке было это приятно. Он повел револьвером в ее сторону.

Она зажмурила глаза.

- У-у, стерва! - победно сказал Сашка. - Тоже жить хочет.

Игорь сгреб из кассы бумажные деньги и ушел.

Вслед за ним, ссыпав в карман мелочь, отправился Женька.

Внимание Сашки привлекла женская сумочка, лежавшая на столе. Он извлек оттуда еще семнадцать рублей и сказал:

- Кричать "караул", "грабят", "помогите" и прочие пошлые слова разрешается. Но если это будет раньше чем через одиннадцать минут, мы вас убьем или зарежем.

Дома Игорь надел другой костюм и переложил в него деньги. Совсем тоненькую пачечку десятирублевок спрятал. Если делить их на всех, то каждому достался бы просто пустяк. А одному это хоть чтонибудь, тем более что главный - он.

Через час они собрались у Сашки и выложили на стол деньги. Семнадцать рублей, взятые из сумочки, Сашка упустил из виду или просто посчитал, что они добыты только его трудом.

Деньги со стола по-честному разделили поровну.

Бандитская шайка действовала не столь легкомысленно, как могло показаться. В частности, описанное выше ограбление было совершено лишь после третьей попытки, когда создались необходимые условия. Каждое нападение готовилось тщательно.

Перед тем, например, как ограбить квартиру стоматолога Г., проживающего на улице Горького, преступники сделали следующее.

Придя "подлечить" зубы, красивый и обаятельный Женька сумел осмотреть квартиру, установить, в какие часы врач работает в поликлинике и когда принимает дома, узнал, что его дочь учится в стоматологическом институте и еще массу деталей, которые точно определяли режим жизни семьи. Затем узнали в

институте, на каком курсе и как учится его дочь, какое нимает участие в общественной работе, фамилии ее друзей, фамилии декана, руководителей партийной, комсомольской, профсоюзной и других организаций.

Установили и расписание занятий девушки.

Определили день, когда и дочь и отец вернутся домой поздно, а в квартире останется только одна хозяйка. Как и ожидали преступники, дверь она им не открыла, а спросила, кто они. Игорь ответил, что он и его товарищи представители общественности института и пришли поговорить о поведении ее дочери, которая сожительствует с таким-то преподавателем. Очень ловко, походя назвал несколько фамилий студентов и работников института. Потрясенная новостью, она открыла дверь.

Сверкнули длинные ножи. Игорь, надев кожаные перчатки, грохнул женщину по голове и приступил к делу. Удар оказался не сильным, но вполне достаточным, чтобы она отдала деньги и ключи от гардероба.

Эти налеты, наглые и за долгие годы беспрецедентные, требовали принятия немедленных и решительных мер.

Московский уголовный розыск создал оперативную группу для поимки бандитов. Начальником группы назначили майора милиции Александра Сергеевича Сальникова. В нее вошел и старший лейтенант милиции Владимир Ильич Чельцов. Я близко познакомился с ним. Это боксер, шахматист, пловец, стрелок. Имеет первый спортивный разряд по самбо. Первый разряд по вольной борьбе. Первый разряд по волейболу. Первый разряд по штанге.

Десятилетку окончил с серебряной медалью. В Московском специальном училище милиции золотыми буквами на мраморной доске написана его фамилия.

Он раскрыл не одно преступление, выловил многих преступников. Таких, что, застигнутые врасплох, сдавались без сопротивления, и тех, кто яростно защищался и нападал.

Нападать на него бесполезно. На близком расстоянии он не даст в себя выстрелить, не даст ударить ножом или кастетом. Если будет лишняя доля секунды, отведет удар. Если нет - перешибет бандиту руку, Его слабость с мальчишеских лет - математика. Так можно любить музыку. Он решал самые головоломные задачи. Десятилетку окончил, будучи сержантом милиции. Ему трудно было расстаться с математикой, но работать хотелось в милиции. Он не знал, куда поступать.

И все же подал заявление в МГУ на один из технических факультетов. То ли по ошибке, то ли отделение он такое выбрал, но, несмотря на медаль, ему предложили держать экзамен по

физике.

Как и другие абитуриенты, он вытащил билет и сел за стол. Сначала что-то писал, потом бросил. Вокруг усердно скрипели перья, а он сидел, растерянно глядя по сторонам. Через полчаса к нему подошел член комиссии, старенький преподаватель, и спросил:

- Почему вы сидите, товарищ милиционер?

Чельцов беспомощно молчал, не находя, что сказать.

Подошедший взглянул на его листки, потом взял их в руки. Он увидел каллиграфически выведенные формулы и задачи, решенные двумя способами, хотя достаточно было одного решения.

- Почему же вы не сдаете работу? - поразился преподаватель. - У вас все отлично сделано.

- Да как-то неловко лезть первому.

На следующий день в студенческой многотиражке была опубликована заметка "Глубокие знания", рассказавшая о Володе Чельцове.

Он проучился два месяца, когда пришла телеграмма о смерти отчима. Володе надо было брать на себя содержание семьи, а значит, оставить учение. Его не отпускали. Его просила, уговаривала, упрекала декан факультета член-корреспондент Академии наук Топчиева.

Группа товарищей решила ежемесячно отдавать Володе часть своей стипендии. Это не только потому, что он был талантливым студентом. Главное, потому, что он был хорошим. Человеком хорошим. Добрым. Поэтому и помощь принять не мог.

Он снова надел форму сержанта милиции. И вскоре поступил на вечернее отделение юридического факультета МГУ. Теперь работнику милиции трудно без юридического образования. Он отличался успехами. Экзамены сдавал только на пятерки. Но и сейчас нет у него большей радости, когда товарищи по работе - "вечерники" - попросят его помочь в математике или физике.

Он отличался успехами не только в учении. Всю свою жизнь он отличался чем-то хорошим. С десяти лет легко выполнял в колхозе работу здорового мужчины. Он был сильным. В четырнадцать лет стал слесарем-котельщиком на горячих работах Косогорского металлургического завода. Шла война. Он клепал заплаты на раскаленных доменных печах. В свои четырнадцать лет не давал себя сменить по четырнадцать часов: шла война. Его наградили медалью "За доблестный труд". Пять лет он работал у горячих домен.

Когда пришло время призыва, войны не было. Попросился в десантные войска. Взяли.

Он совершил около ста прыжков с парашютом.

Прыгал днем, прыгал ночью, на болота, на леса, на города. Опускался в дождь, в снег, в мороз, в жару. Прыгал с оружием, снаряжением, рацией. Приземлившись, выполнял задания особого значения. Выполнял талантливо. Его назначили командиром отделения разведки десантных войск.

После демобилизации лучшим предлагали работу в милиции. Он был среди лучших. Сейчас тоже. Поэтому его и взяли в группу по ликвидации шайки, которая так обнаглела, что начала действовать в Москве.

Несмотря на опыт, как это всегда бывает, преступники оставили одну тончайшую нить, и даже не нить, а паутинку, по которой, искусно перебираясь, чтобы не порвать, можно было выйти на их след.

Работа оперативной группы агентов началась.

Шайка состояла из трех человек, хотя время от времени привлекала для всяких поручений более мелкую сошку, Главарь банды, 27-летний Игорь, имел высшее образование, имел судимости, нигде не работал, числясь инвалидом. Его правой рукой был 23-летний морфинист Женька, красивый как бог, исключенный поочередно из двух институтов за неуспеваемость. Он тоже имел судимость и тоже нигде не работал. Сашка получил среднее образование и бросил работу.

Шайка сделала все, чтобы стать неуловимой. Физически сильные, остро ощущающие обстановку, они были отличными шоферами, стрелками, фотографами.

Они брали напрокат автомобили разных марок, в зависимости от предстоящего дела. Они знали толк в вине и наркотиках. Развлекались широко, платили щедро.

Они думали о своем будущем. Чтобы не попасться, изучали криминалистику, психологию, следственное дело, методы разоблачения преступников. Они разработали перспективный план грабежей и план на ближайший период В числе их объектов оказались ряд государственных учреждений и квартиры видных деятелей науки и культуры.

Их теоретическая подготовка приносила плоды. На многие объекты приходили по три-четыре раза и в конце концов отказывались от них, так как улавливали невидимые для неопытного глаза последствия. Это их спасало. На любом из них ждал неминуемый провал, Именно те "точки", где для них не было опасности, они грабили.

Группа Сальникова распутывала паутину. И вот это уже не паутина, а нить. Уже что-то осязаемое в руках.

Уже нащупывались дальние подходы к преступникам.

Но тут нить оборвалась. Они исчезли из того района, где должны были показаться их следы. Они готовились к новому "делу".

Прежде всего осмотрели местность вокруг приходной кассы No 375 Первомайского района, которую решили ограбить. Но стоит ли ее грабить?

Пересчитали среднее количество посетителей и определили примерную дневную выручку - 2000 рублей. Стоит.

Изучили расположение мебели, местонахождение телефона и проводов к сигнальной сирене, убедились, что запасного выхода нет. Разработали точный план действий, четко распределили обязанности. Дело верное.

За десять минут до закрытия кассы туда вошел Женька. Уселся за стол и начал заполнять бланк расчетной книжки по оплате коммунальных услуг. Условным знаком показал, что в помещении находятся два посетителя. Когда те вышли и кассирша направилась запирать двери, появились Игорь и Сашка.

На двух женщин направили три револьвера и приказали молчать. Сашка запер дверь изнутри, Женька перерезал провода сирены и оторвал телефонную трубку.

И здесь уже был совершен первый просчет. Провода эти шли не к сирене. Они имели другое назначение.

Когда Игорь направился к открытому сейфу, где лежало 2600 рублей, кассирша Л. Мосина ткнула его ногой и, бросившись на свое место, наступила на кнопку сигнала тревоги. На улице заревела сирена.

Опрокидывая столы с картотеками и бумагами, преступники бросились на улицу и скрылись, ничего не успев взять.

Группа Сальникова изучала обстановку в приходной кассе в течение нескольких часов, хотя, казалось, изучать там нечего То, что в кассе побывала все та же шайка, было ясно уже в первые минуты. Перед уходом Чельцов обратил внимание на одно странное обстоятельство В куче разбросанных на полу бумаг, рядом с опрокинутым столом, лежало несколько расчетных книжек, которые, как он выяснил у сотрудников, были забыты здесь в разное время посетителями. И вот одна из них, No 1223, принадлежала А. М. Лапшовой, проживающей в другом районе. Оплату коммунальных услуг и следовало производить в том районе. Как она сюда попала? А не та ли это книжка, которую заполнял преступник, вошедший первым!

В руках агентов оказалась уже не паутинка, не ниточка, а канат, за который можно было ухватиться двумя руками.

Книжка принадлежала трудовой женщине, хлебнувшей в жизни немало горя. Она жила вместе со своим сыном

Александром, не подозревая, что он и есть бандит Сашка, который теперь бесследно исчез. Второй сын, Михаил, инженер-геолог, проживал со своей семьей в другой квартире и тоже не знал, куда девался брат.

Хотя завеса приоткрылась перед группой Сальникова, но, с другой стороны, поиски осложнились. Теперь преступник, зная, что на его след напали, домой не вернется и, конечно, забьется в самый темный угол.

Где искать его в многомиллионном городе? А может быть, бежал из Москвы? Но прежде всего надо убедиться: тот ли это человек, которого они ищут?

В его комнате нашли старенький чемоданчик с инструментом и запчастями слесаря по газоаппаратам.

Чемоданчик показали в ограбленной квартире известного актера.

- С этим приходил проверять газ?

- Да.

Показали фотографию:

- Он?

- Да.

Фотографию опознали и другие пострадавшие.

И мать и Михаил понимали, что Сашку найдут обязательно, и желали только одного: скорее бы это произошло, пока не натворил новых преступлений.

Теперь группа Сальникова располагала многими данными. С исчерпывающей полнотой узнали его характер, вкусы, наклонности. Узнали многих его знакомых, друзей, всех родственников. Проанализировали всю его жизнь.

Было установлено, что денег у него нет, а, судя по характеру, без денег он из Москвы не уедет. Значит, тем же способом будет добывать их.

Его фотографию в нескольких видах вручили всем, кому было положено. Перекрыли все пути, по которым он мог пойти. Один за другим отсекались районы города, куда доступа ему уже не было. Вернее, доступ был, но только в руки милиции. Дважды натыкались на его след, но он уходил.

Где-то он еще прорежется, как-то даст о себе знать.

Сам или через своих друзей. В одиночестве человек жить не может.

Сашка оставался верен своей тактике. Преступник не станет скрываться в центре города. Преступник должен скрываться на каких-то окраинах, их много, поэтому он скрывался в центре. Здесь не станут искать.

Но ведь тактику его разгадали.

Вместе с Михаилом Лапшовым и Чельцовым майор находился в квартире Сашки, когда раздался телефонный звонок.

- Берите трубку, - сказал майор Михаилу и едва успел дать знак Чельцову, как тот исчез.

- Слушаю, - поднял трубку Михаил.

"- Сашу можно? - спросил мужской голос.

- Его нет дома...

А Чельцов тем временем действовал. Уже спустя полминуты, близко прижав к губам телефонный рожок рации, он требовал от кого-то

- Немедленно адрес телефона, с которым говорит квартира Лапшова.

А еще через полминуты он говорил в ту же трубку дежурному по отделению милиции:

- Проверьте документы, постарайтесь задержать минут на пять-семь человека, находящегося в будке телефона-автомата номер девяносто шесть возле булочной, в двухстах метрах от вас. Выезжаю немедленно.

Пусть дают зеленый!

Разговор из комнаты Лапшова продолжался.

- А кто со мной говорит? - спросил позвонивший.

- Михаил, брат Саши.

- А-а, здравствуйте, голос у вас похож на Сашкин.

Я вас знаю по его рассказам, а вы меня не знаете, я его товарищ.

Майор Сальников подал Михаилу записку, написанную крупными буквами.

"Говорите как можно дольше. Не меньше трех-пяти минут".

Михаил кивнул и сказал в трубку:

- А как вас зовут? Может быть, я знаю.

- Нет. Но мне очень нужен Сашка. Вы ведь в курсе, что с ним что-то случилось.

- Да, только как я могу с вами говорить, может, вы не тот, за кого себя выдаете?

~- Да нет, тот, - раздался в ответ смех. - Ну, как же быть, может, нам встретиться?

- Давайте.

f- Нет, не стоит, за вами наверняка следят.

Чельцов рванулся к машине и замер. Появись сейчас перед ним вся банда, он не пришел бы в такое замешательство, как сейчас, увидев проходившую мимо девушку.

После демобилизации из десантных войск он был постовым милиционером на станции метро "Курская".

За несколько лет он узнал всех постоянных пассажиров. Ему

доставляло удовольствие угадывать профессии людей. Идет человек с железным сундучком - значит, машинист паровоза или помощник машиниста.

Потом вместо сундучков появились маленькие саквояжи или спортивные чемоданчики. И одежда стала совсем чистой, не то что прежняя спецовка. Он знал:

это паровозники перешли на электровоз.

Первыми на работу шли пожилые люди. Шли степенно, не торопясь. И он угадывал: вот это - мастер, Ф это бригадир слесарей, а тот, видимо, инженер. За пожтт-ыми шумной гурьбой шла работая г молодежь. Потом появлялись служащие. Чем ближе к началу рабочего дня, тем гуще становился поток. Впархивали машинистки, секретарши, полные и худенькие, в коротких платьицах, суетливые, хихичеюшие.

Многим пассажирам он присвоил имена и радовался, что вот сегодня Леночка прешла в новой шапочке, а Акакий Акакиевич, наконец, в новом драповом пальто.

Он любил смотреть на людей. Он выискивал среди них своих любимчиков. Это прежде всего высокий седой старик, названный им Академиком. Именно таким представлялся Володе ученый-атомник или Главный конструктор космических кораблей.

На особом счету была девушка под условным названием "Верочка". Скромная, красивая и, как он решил, очень трудолюбивая. Однажды ему показалось, будто она взглянула на него приветливо. Возможно, она улыбнулась только одними глазами. Он ответил тем же. На следующий день безмолвное приветствие повторилось. И так пошло.

Они обменивались взглядами дважды в день, словно здороваясь и прощаясь.

В одно из дежурств, в 17 часов 43 минуты, постовым милиционерам всех станций метро передали приказ, в котором сообщалось, что в метрополитене находится преступник, которого при выходе задержать во что бы то ни стало. Приметы такие-то. Особую бдительность проявить постовым у привокзальных станций.

Спустя несколько минут с площади вбежала женщина, крича:

- Скорее, товарищ милиционер, скорее, там драка.

- Подерутся и перестанут, - отшутился Володя.

Но с криками "Милиция!" вбежали еще двое. Доносилась и ругань дерущихся. Возле Володи стала собираться недовольная толпа, и он решительно потребовал:

- Пройдите, граждане.

И тут же услышал:

- У-у, дармоед. Вон шею какую наел!

Группа здоровых парней, пройдя мимо дерущихся, ввалилась в метро. Один из них, с бородкой, нагло глядя в лицо Володе, весело продекламировал: "Моя милиция меня бережет". Вся компания громко расхохоталась.

И тут вплотную к нему подошел Академик.

- Что же вы стоите, молодой человек? - сказал он сурово.

- Не могу я уйти с поста, - взмолился Володя.

Эти слова вызвали негодование окружающих. Раздались крики:

- Какой же здесь пост!

- Чего тут охранять!

- На этом посту инвалиду стоять, а не такому детине!

Посыпались оскорбления. Володя все сносил молча, смотрел на эскалатор. Но когда человеку не везет, то уж во всем. Он услышал негодующий голос:

- Как же вам не стыдно!

Перед ним стояла Верочка.

- Пройдите, гражданка! - впервые за годы службы резко повысил он тон.

Как ему хотелось, чтобы в эту минуту появился преступник. Чтобы прошел здесь, через его эскалатор, чтобы увидели люди, чтобы оправдаться перед ними.

И пусть Верочка видит, пусть стоит Академик, пусть посмотрят, как он обезоружит и скрутит этого гада, этого паразита, эту сволочь.

Но ему сообщили: преступник задержан. И драка уже кончилась, и люди разошлись.

На следующий день Академик взглянул на Володю и быстро отвел глаза. А Верочка не отвела своих красивых глаз, но в них было презрение. Недружелюбно, неприязненно посмотрели на него еще несколько человек, которые видели вчерашнюю сцену.

Возвращаясь с работы, Верочка опять посмотрела на него, и это был такой же взгляд, как утром. Володя не отвернулся. Отвернуться - значит признать свою вину, хотя ее нет.

Раньше он открыто и радостно смотрел на людей.

Теперь это было трудно. Ему все время мерещились неприязненные взгляды. По всему поведению Академика Володя понял, что тот презирает его. А главное - Верочка. Она ни разу не прошла мимо, чтобы молча, но жестоко не унизить его. Объяснить бы ей, рассказать все. Но он не имеет права.

У Володи была большая выдержка. Только выдержка спасла его, когда однажды стропа перехлестнула купол парашюта и он камнем полетел вниз. Его железная выдержка помогала по многу часов изо дня в день, из года в год выносить раскаленную

атмосферу доменных печей. У него хватало воли после работы каждый день сидеть над учебниками до глубокой ночи, чтобы не получить оценки ниже пятерки.

Но вынести неприязнь людей, людей, которых он любит, во имя которых и стоит здесь, а если надо, то для их благополучия не задумываясь будет рисковать жизнью, такой выдержки у него не хватило.

Он пошел к начальнику и попросил перевести его на другой пост.

- Почему? - спросил тот.

- Особых причин нет.

- Так зачем же переходить?

- Товарищ начальник, - убежденно сказал Володя. - Я ни в чем не провинился, никаких проступков не совершил. Служу честно. Но, поверьте, стоять на этом посту больше не могу.

Володю перевели на другой пост.

С тех пор прошло несколько лет. Как-то он вспомнил о Верочке и решил: если случайно встретит, объяснит ей, что произошло. Пусть не со всеми подробностями, но все-таки объяснит.

И вот перед ним Верочка. Она тоже смущена и удивленно смотрит на его гражданский костюм. Но ведь у него ни одной лишней секунды.

Он бросился к машине и рванул ее с бешеной скоростью. На всех перекрестках без задержек давали зеленый свет. Через четыре минуты он затормозил на углу близ булочной.

- Все еще разговаривает, - подошел к нему милиционер.

Чельцов направился к телефонной будке.

Через два дня Сашка Лапшов был схвачен у выхода из Дома актера.

Когда пришли за Женькой, он спал тяжелым сном.

На стуле у кровати лежал шприц и пузырек от морфия.

У Игоря Дестгкова шла пьянка. Работники милиции бэсш"мно проникли в коридор и неожиданно для всей компании оказались в комнате. Десятков не успел схватиться за револьвер, как его скрутил Чельцов.

С делом вооруженной банды Десяткова и их разнообразным оружием я знакомился в рабочей комнате Чельцова. Здесь созданы все условия, чтобы спокойно работать. Дома у него тоже хорошо. Он живет в общежитии милиции Там всегда тихо, потому что все учатся. Если возникает шум, то только ночью, но и то на короткое время, когда кого-нибудь поднимают по боевой тревоге. В такие минуты просыпается вся комната, потому что спят люди настороженно, чутко. Но оружие и одежда у каждого заранее

приготовлены, а собираться в одну минуту уже все давно привыкли.

Умчится в ночь вызванный, а остальные снова спят.

1962 год

СЕДЫЕ ВОЛОСЫ

Течет эскалатор с людьми в метро "Маяковская".

Среди шляп, кепок, беретов - седые волосы. Короткие, красиво уложенные волнами. Только одна темная прядь, будто брошенная художником.

Раскрываю "Вечерку". Что-то мешает читать. Чтото тревожное. Машинально оборачиваюсь. Женщина с седой прической уже далеко внизу. А мой эскалатор идет вверх. Чуть виден ее профиль. Потом его заслоняет чья-то спина.

Я знаю эту женщину. Я очень хорошо ее знаю. Мне обязательно надо с ней встретиться. Вот только бы вспомнить, кто она. Или хоть бы понять, зачем надо встретиться.

Все смешалось. Только одна отчетливая мысль:

догнать во что бы то ни стало.

Медленно тащится эскалатор. Наконец, площадка Заталкиваю в автомат пятак. Под сводами будто эхо:

"Гражданин! Бежать по эскалатору запрещено". Это мне. И как подтверждение: "Гражданин, это к вам относится!" Смотрят люди. Замедляю шаг.

Слева мелькнули красные огоньки удаляющегося последнего вагона. В поезде справа захлопнулись двери, сейчас тронется. Иду по платформе. Мне не хватило минуты. Одной минуты. Спустись я чуть раньше, нашел бы ее обязательно. А теперь поздно. И все-таки смотрю в ярко освещенные окна. Поезд набирает скорость...

Я увидел ее. Она стояла у двери, лицом ко мне. Седые волосы и черная прядь. Красивые серо-голубые глаза. И я вспомнил. Все, что было двадцать пять лет назад...

Начфин Иван Зорин объявил себя начальником погранзаставы. Никто его на эту должность не назначал, и он не стал спрашивать, согласны ли офицеры и солдаты, чтобы ими командовал начфин, а просто приказал беспрекословно подчиняться ему, поскольку нет времени входить в объяснения. В бинокль люди видели, какая тьма танков идет на них, и понимали, что скоро от заставы ничего не останется.

Только один Зорин не хотел этого понять. Он прикзал убрать в помещение тело убитого осколком начальника заставы и носился по всему участку, указывая, кому где занимать оборону.

В конце концов начфин оказался прав. У самой заставы пограничники подбили целую шеренгу танков, а остальные машины стали обходить ее, чтобы не задерживаться. Тогда Зорин

приказал бить их с флангов, а потом и с тыла, и постепенно вся застава превратилась в островок, вернее, в крепость, защищенную со всех сторон подбитыми машинами. Теперь взять ее было нелегко.

За этот первый бой в первый день войны двадцатилетнего Зорина наградили орденом Красного Знамени.

Я познакомился с ним год спустя в минно-диверсионком батальоне, где он командовал ротой. На Западном фронте такой батальон был один. Диверсионным его не называли, потому что все привыкли считать, будто диверсант - это враг, и трудно было объяснить людям, что это такая воинская профессия.

Героизм и мужество здесь не воспитывали, поскольку эти качества некому было прививать: людей, не совершивших подвигов, сюда не брали. Весь батальон был сформирован из минеров, показавших непревзойденную храбрость. Иначе было нельзя. Такие задачи стояли перед батальоном. Он находился в лесу, далеко от передовой, но то и дело по ночам группы людей уходили в тыл врага и совершали там диверсии. Не просто диверсии, только бы навредить врагу, а такие, что расстраивали его планы, срывали наступление или отрезали пути его отхода. Совершались диверсии, необходимые в данный момент командованию фронта.

В то время я служил в оперативном отделе штаба инженерных войск Западного фронта и часто бывал у диверсантов. Отчаянные головы! Не все они возвращались с заданий. Но не было случая, чтобы задание оказалось невыполненным.

Каждый минер батальона - это легендарная биография. Меня возмущало, когда на них покрикивала Женя Кочеткова. Найдет в землянке грязный солдатский котелок и поднимет крик на всю часть. Кто она, в конце концов, такая? И как попала в этот батальон героев?

Красивая, стройная девчонка лет двадцати, беззаботная хохотушка. Странным и неуместным было ее пребывание здесь. Слишком много времени уделяла собственной персоне. Сапожки на каблучке, пригнанная по фигуре шинель, тщательно разглаженные гимнастерка и юбка. Числилась она военфельдшером.

Снимала на кухне пробу и всегда придиралась к повару. Она успевала просматривать все кинофильмы и в штабе инженерных войск, близ которого стоял батальон, и в соседних частях. А случись где-нибудь праздничный вечер, заставляла играть гармониста чуть ли не всю ночь и танцевала без перерыва.

Поражала ее наивность. Увидит цветную ракету или

трассирующие очереди наших зениток и смеется от радости. Чему же радоваться? Ее приводили в восторг огонек, выбивающийся из-под заснеженной землянки, красиво опушенная елочка, - ну, буквально любой пустяк. В гуще кровавых событий находился миннодиверсионнык батальон, и не мог я понять, для чего здесь Женя. А главное, какими судьбами она сюда попала?

Постепенно я нашел этому объяснение, и оно не обрадовало. Комиссаром в роте Зорина был капитан Федя Губарев, человек железной логики, непревзойденной храбрости и удивительного спокойствия. Он не только никогда не повышал голоса, но не было случая, чтобы он говорил с раздражением. Командира и комиссара связывала трогательная и крепкая дружба.

Женя Кочеткова, как, впрочем, и все, кто знал Зорина, боготворила его. А к Губареву у нее было особое отношение.

Влечение людей друг к другу скрыть невозможно.

Как ни прячут свою школьную любовь, скажем, Петя и Оля, все равно где-то появится надпись: "Петя + Оля = любовь". То же и у взрослых, разве только без этой надписи.

Отношения Жени и Губарева были особыми. Не вызывало сомнений, что в батальон героев она попала благодаря стараниям Губарева, который участвовал в формировании рот. Это был его серьезный просчет.

Едва ли он отдавал себе отчет в том, что рано или поздно ей придется идти в тыл врага. Как же намучаются люди, с которыми она пойдет! Я никогда не высказывал Жене подобных мыслей, но видел: она понимает, как я к ней отношусь.

Двадцатая и тридцать первая армии готовились к наступлению. Вдоль линии фронта взад-вперед курсировал немецкий бронепоезд. Рота Зорина получила приказ взорвать железную дорогу, обезвредить бронепоезд. Одну из групп возглавил сам Зорин.

Минеры уже находились близ передовой, в заранее намеченном месте, когда я узнал, что включен в группу Зорина. В группу входили: капитан Зорин, сержант Миронов, я и Женя Кочеткова. Изменить что-либо было поздно.

Миновав наш передний край, мы благополучно спустились в лощину к маленькой "ничейной" Зеваловской переправе. Шла редкая артиллерийская перестрелка. Время от времени где-то раздавались пулеметные очереди. Мела пурга.

Неожиданно я почувствовал глухую боль в ноге выше колена, будто грохнули толстой доской. Густой, тошнотворный туман ударил в голову. Неловко скорчившись, я упал. Несколько секунд слышал, как падали мерзлые комья земли, и потерял сознание.

Когда очнулся, прежде всего увидел Зорина. Он лежал,

уткнувшись в снег, с перебитыми кистями рук и большой раной в животе.

- Вот и все, братцы... Я убит.

Это были его последние слова.

Контуженный сержант Миронов стоял в изорванной осколками шинели, широко расставив руки, чуть сгорбившись, будто под дождем, и, бессмысленно улыбаясь, смотрел по сторонам. У меня, кроме ноги, были ранены плечо, пальцы рук, а на двух отбиты фаланги.

Мелкие осколки попали в грудь. С Женей ничего не случилось. Только копотью почему-то покрылось лицо. Она сидела возле меня на снегу.

Потрясенные смертью Зорина, какое-то время мы молчали. Потом Женя стала кричать на сержанта:

- Какого черта стоишь! Накладывай жгут, да побыстрей поворачивайся!

Я знал, что так будет вести себя Женя в трудную минуту.

Контуженный, лишившийся слуха сержант Миронов переступал с ноги на ногу, продолжая бессмысленно озираться.

Как она может! Опять кричит на сержанта, не трогаясь с места. Разве не видно, что он контужен! Она показывает то на свою сумку, валявшуюся в стороне, то на мою развороченную ногу.

- Давай скорее, надо немедленно остановить кровь!

Туман застилает все вокруг... Сержант прилаживает жгут. Женя взялась, наконец, бинтовать пальцы. Медленно, неумело, то и дело морщась, будто ей все это противно.

Голова одурманена, все в тумане. Боли нет, только этот проклятый дурман и белая пелена на глазах.

- Куда жгут кладешь, с ума сошел! Иди ищи кого-нибудь, сама наложу.

Сквозь белую пелену проступает кровавое пятно.

Нет, зто не в воздухе, это на боку у Жени. На ее пригнанной по фигуре шинели. Пятно расплывается, ширится. Ее правая рука неестественно согнута в локте и в кисти, точно сведена судорогой. Пытается встать, но не может. Только сильнее морщится. Вот, оказывается, почему она морщится.

Падают бомбы на переправу, пикируют бомбардировщики. Ничего больше не видно...

И опять Женя. Она валится на бок. Левой рукой делает из жгута петлю на моей ноге. Цепляется за один конец зубами и тянет... Расплывается по сторонам, растет кровавое пятно, потом исчезает...

Что происходит? Сколько прошло времени? Черное лицо

Жени. Локтем недействующей правой руки она упирается в перекрестие жгута на ноге, а левой делает еще одну петлю. Снова цепляется зубами и тянет. Уже не пятно, уже кровавое полотнище. Она останавливала мою кровь, теряя свою. Нет, это не мираж, туман рассеялся. Я видел и запомнил: сведенная судорогой рука, пропитанная кровью пола шинели, черное, в пороховой копоти лицо двадцатилетней красивой Жени.

У меня не было никаких сомнений: на эскалаторе, а потом в вагоне метро на станции "Маяковская" я видел Женю.

Я знал, что после тяжелого ранения у Зеваловской переправы она осталась жива. Спустя месяца два после того случая меня навестил в госпитале Федя Губарев. Он и сообщил, что она тоже в госпитале, в Москве. В ее теле четыре осколка - в животе, в боку и два в руке. Врачи не решаются их извлекать, но угрозы для жизни нет.

Я рассказал Феде все, что думал о Жене раньше, как стыдно мне перед ней. Сказал также, что доложил командованию о ее самоотверженности, достойноп награды, ибо она, бесспорно, жертвовала собой во имя спасения товарища. Еще в полевом госпитале врачи сказали, что участь мою решил вовремя наложенный жгут.

А Федя не удивился поведению Жени. Оказывается, они познакомились в минно-диверсионном батальоне, и к тому, что она попала туда, Федя не имел никакого отношения. Он как комиссар роты знал ее биографию.

Когда началась война, Женя была на первом курсе мединститута. В первый же день войны пошла в военкомат, пробилась на фронт. Участвовала во многих боях, была в окружении. Осенью сорок первого года в момент жестокой схватки перетаскивала раненых через реку. Временами в холодной воде теряла сознание, но каждый раз, когда раненый выскальзывал из рук, непонятная сила приводила ее в чувство. Она достигала берега, карабкалась на глинистый подъем, сдавала раненого и снова перебиралась на поле боя. В ту же ночь была ранена в ногу, сама перевязала ее и никому ничего не сказала. С каждым днем скрывать ранение становилось труднее, и на девятый день командир узнал о нем. Из госпиталя, куда ее положили, она вскоре сбежала и вернулась в свою часть.

В минно-диверсионный батальон ее взяли на общих основаниях: как человека, проверенного боями.

- Она ничего о себе не рассказывала, - закончил Губарев, - вот и считали ее только хохотушкой.

Спустя год на одной из фронтовых дорог, у КПП я увидел Женю.

- Что за растяпа здесь пробку устроил? - кричала она, вылезая из санитарной машины. И вдруг расхохоталась, захлопав в ладоши, глядя, как растянулся в грязи поскользнувшийся солдат. Шинель была тщательно пригнана по фигуре, рантовые сапожки на каблучке, чуть-чуть набекрень пушистая шапка.

Женя торопилась, и разговаривали мы недолго, Прощаясь, я стал благодарить ее за все, что она для меня сделала. Но Женя не стала слушать.

- Меня уже отблагодарили так, что еще отрабатывав эту благодарность надо, - распахнула она шинель, показывая орден Красной Звезды.

Больше я не видел ее.

Те, кто знал Женю, помнят ее веселой, жизнерадостной Боль и страдания всю войну она прятала в себе.

Но боль должна иметь выход И в сорок пятом году, двадцатичетырехлетней, она стала седой.

* * *

Умчался поезд метро...

Я искал Женю. И вот мы сидим у меня жизнерадостная, молодая, с удивительно красивый седой принеской Женя и только что вышедший в запас полковник Федор Губарев. Первый тост провозгласила Женя за Ивана Зорина.

- До сих пор звучат эти слова, - сказала она - "Вот и все, братцы .. Я убит".

Мы вспоминали боевых друзей из минно-диверси

онного батальона и далекие, но незабываемые дни.

Я предложил тост за Женю и Губарева, за их дочь.

- Кстати, почему вы не взяли ее с собой?

- А она у нас вся в маму, - улыбнулся Федя, - на танцы побежала, ей ведь двадцать лет.

1?67 год

ЖИЛ-БЫЛ СОЛДАТ

В эту ночь все было не гак.

- Ты куда, Александрыч? - спросила Елизавета Федоровна мужа, когда в первом часу он стал одеваться.

- Пойду, - ответил Сергей Александрович.

Надел валенки, короткий полушубок, взял в сенях лыжи и вышел. Она заперла за ним дверь, легла, прислушиваясь, как спит сын.

Иван спал тяжело и что-то бормотал.

Мать видела, что ему не по себе, надо бы разбудить, может, просто неудобно лежит. С такими мыслями она и задремала.

Как же теперь верить в предчувствия? Будь они на самом деле, она ни за что не заснула бы в эту ночь.

Она разбудила бы Ивана и послала бы к пограничникам, а сама побежала бы в деревню поднимать людей.

А она вот заснула.

Лес шумел от ветра и потому, что он всегда шумит, когда даже нет ветра. Это не мешает спать людям, привыкшим жить в лесу. А Тузик, который иногда по ночам лает, ушел вместе со своим хозяином.

Тузик - маленькая мохнатая рыжая дворняжка.

Но Александрыч не сменял бы ее на самого породистого пса, потому что Тузик хорошо понимает, что к чему.

Александрыч шел на лыжах. Тузик бежал впереди.

Было темно. Тропки замело, и Тузик злился оттого, что не знал, куда идет хозяин. Но Сергею Александровичу тропки ни к чему. Он знал, что в этом лесу, где уже двадцать лет служит обходчиком, заблудиться нельзя. Это не город, там сам черт не разберется, куда идти. Тут совсем другое дело. Каждое дерево точно скажет ему, где он находится. А деревьев здесь тысячи и тысячи, и нет одинаковых, все разные, так что заблудиться невозможно. Лес тянется и туда, на чужую сторону, а километрах в двадцати от его дома плотно прикрывает большой военный объект.

Люди, которые там служат, от самых больших начальников до тех, кто лежит в "секретах", знают его.

Он им всегда помогает. Они с уважением пожимают его руку при встречах и иначе как Александрыч не называют. Сейчас он шел по направлению к ним. Решил идти туда потому, что выдалась плохая ночь. Всякое в такую ночь может случиться.

В лесу стоял гул. От мороза трещали сосны. Ветер срывал снег с деревьев и гнал снежинки в разные стороны. Они кружились, потом их выносило наверх, и можно было подумать, будто лес не принимает их. На небе тоже неизвестно что происходило. Облака казались черными, и они летели без конца и ле давали луне светить. Изредка ее лучи прорывались, и тогда лес освещался.

Километрах в трех от дома Тузик залаял. Это было плохо. Зря он не станет лаять. Даже на зверя не поднимет голос. Он по-другому даст понять, что поблизости зверь.

Обходчик заставил его замолчать, но собака вела себя странно. Много раз Тузик обнаруживал я лесу незнакомых людей: то ли грибы собирают, то ли придут лыжники, и по поведению собаки всегда можно было определить, в какой стороне чужие. А теперь Тузик прыгал в разные стороны, и ничего нельзя было понять.

Обходчик остановился. Выглянула луна и исчезла.

Но он успел увидеть что-то непривычное для глаза.

Поначалу показалось, будто это ствол сломанного дерева. Но дерево тут не росло. А теперь вот откуда-то ствол. Потом опять проплыла луна, и он понял: стоит человек.

Стоит молча. Дожидается его.

Ветер утих сразу, будто выключили рубильник .машины, которая приводила в движение всю эту пургу.

Он увидел, что несколько стволов стали вдруг толще. Это из-за дерева выдвинулись люди. Они молчали.

Под тяжестью снега- верхушки берез наклонились к земле, образовав серебряные арки, а прямые и гордые ели тянулись к небу. Будто ничего не случилось, светила луна. Молчал заколдованный лес. Молча стояли люди.

Первым не выдержал Тузик. Он тявкнул, хотя изза трусости не бросился на чужих, а стоял у ног своего хозяина.

Очень тихо и властно Александрыч сказал: "Домой!" Тузик прижался животом к снегу, пополз, исчез.

Черные силуэты отделились от деревьев и застыли.

Обходчику стало незмоготу. Он не знал, что делать.

Но тут раздался голос:

- Почему же остановился?

Голос показался знакомым, хотя Александрыч и не понял, кто же это такой. И вместо ответа сказал:

- Кто вы такие и что здесь делаете?

- Подходи, расскажем, - ответил тот же голос.

И опять Александрыч подумал, что знает этого человека. Просто перепуталось все в голове и не может вспомнить. Не то чтобы случайно слышал. Нет, слышал его много раз и совсем хорошо знает этого человека... Фу ты, черт, можно же так... Но тут мысли его перескочили на другое. Он подумал, что самое главное теперь-выиграть время. Четверо, стоявшие с боков, немного продвинулись, а двое остались впереди.

Фактически он был окружен. Вступать в драку трудно.

Троих, может, он и одолел бы, а их шестеро .. Убежать - тоже не убежишь: все на лыжах, да и оружие у них наверняка есть. Значит, надо хитростью. Надо тянуть время. Может, подоспеет помощь.

Он сделал несколько шагов вперед, и те, кто стоял вокруг него, тоже шагнули и оказались совсем близко.

Луна осветила лица. Александрыч увидел: пять человек чужие, с той стороны леса, а шестого узнал - Фома Сузи из соседней деревни.

Обходчик решил не подавать виду, что узнал Фому. Иначе убьют. Он сказал:

- Ну, вот я подошел.

- Куда перенесли пост? - спросил Фома и растолковал, какой именно пост имеет в виду.

Обходчик хорошо знал эту наблюдательную воинскую вышку и знал, чем ее заменили. Он не подумал о том, как им отвечать. Он думал только о том, как бы оттянуть время, и хотел проверить: понял Фома, что его узнали, или нет? Он сказал:

- Как же я могу отвечать на такой вопрос, если я вас не знаю? Может, вы ревизоры. Эдак и службы не долго лишиться.

Он сказал эти слова и был доволен, что говорил так длинно и основательно.

- Не знаешь? - усомнился Фома.

- Нет, в темноте не разберу.

- А я подсвечу.

Обходчик заметил, как у стоявшего справа блеснул нож. Должно быть, такой у них был условный сигнал, потому что ножи сразу появились у остальных.

Они не прятали их от Александрыча, а держали открыто и повертывали в руках, чтобы он лучше видел блестящие лезвия.

- Я подсвечу, - еще раз сказал Фома и, шагнув к обходчику, ударил его кулаком по лицу. Кулак у него был как гиря, но обходчик не упал. Он только крякнул, и у него вырвалось:

- Ах ты, гадина!

Вместо того чтобы терпеть и снова тянуть время, он двинул Фому в подбородок. Все это произошло так быстро, что никто и пошевелиться не успел.

Кулак у него похлестче, чем у Фомы, и тот качнулся, но тоже не упал, успел ухватиться за дерево. А кто-то сбоку ударил Александрыча ножом в лицо. И каждый из них ударил его по одному разу ножом и тоже в лицо. Оно залилось кровью. Но в глаза все-таки не попали, и он успел заметить, что Фома уже оправился и в руках его сверкнул револьвер.

К этому времени, совсем выбившись из сил, Тузик прибежал домой, забил лапами в дверь и заскулил.

Мать и сын вскочили с постели. Поняли: несчастье.

Открыли дверь, Тузик метнулся по комнате и бросился к выходу. Он скулил, лаял, и совсем человеческие его глаза смотрели то на Ивана, то на хозяйку.

- Скорее, Ванюша, скорее, - запричитала мать.

Но Иван и без того торопился. Сунув босые ноги в

валенки, вскочил на лыжи и помчался, на ходу надевая варежки. Тузик бежал впереди, часто оборачивался и подвывал, торопя Ивана.

Глупый Тузик! Он радовался, будто не шестнадцатилетнего

парня вел на подмогу, а целый отряд. Он выполнил приказ, выполнил свой долг.

Еще издали Иван увидел черное пятно на снегу.

Он понял: отец. Рванулся к нему. Уткнувшись лицом в снег, лежит распластанное тело. Машинально оттолкнул лыжи, подошел, опустился на колени. Вокруг головы черный подтаявший снег. Кровь! Приподнял голову и закричал. Не просто вскрикнул от испуга человек. Он кричал изо всех сил, не переставая, будто видел, как рвут лицо отца, и этот крик несся по холодному и безмолвному лесу.

И, будто сжалившись над сыном, слабо застонал Александрии. Иван обхватил отца за плечи, поддерживая голову, приподнял немного, привалил на себя.

- Фома Сузи... убил меня, - выдавил Александрыч и захлебнулся кровью.

Опустив отца, Иван выхватил из кармана тонкую вэревку, связал салазками свои лыжи, сбросил ватник и соорудил подголовник. Втащил на салазки отца, потянул за поводок и побежал. Не домой, а в противоположную сторону, к леснику. Он бежал, дыша открытым ртом, в нижней расстегнутой рубахе навыпуск, без шапки и варежек, которые неизвестно куда делись.

Бэжал, спотыкаясь о скрытые под снегом бугры и хворост, путаясь в собственных валенках. Бежал, пока не загнал себя, пока не рухнул, как камень. Поднялся, бросил взгляд на безжизненное тело отца, крикнул Тузику: "Сиди", - и побежал один.

Лесник спит чутко. Вскочил, едва хлопнула калитка. Выслушав задыхавшегося Ивана, дал ему тулуп и шапку, быстро запряг лошадь.

Пробраться на санях к месту, где лежал обходчик, было нельзя. Мешали деревья. Подняли тело на лыжах, как на носилках, и отнесли в сани.

- Живой! - сказал лесник, берясь за вожжи.

Лошадь была сытая, резвая, гнали вдвоем и меньше чем через час остановились у воинской части. Отца отнесли в госпиталь, а Ивана повели к начальнику.

- Знаешь, где живет этот Фома? - спросил тот, выслушав парня.

- Знаю.

Вырвались из ворот пятнадцать всадников и понеслись, взметая снежный вихрь. Едва успевал за ними Иван на горячем коне. Вздыбили лошадей у темного, точно вымершего дома Фомы. Добротный, не по-деревенски глухой забор. Заперты тяжелые ворота. Заперта резная калитка.

Постучались. Никого.

Встав на седла, перемахнули через забор два бойца. Упал засов, распахнулись ворота. В окнах зажегся слабый свет. Накинув тулуп, вышел на крыльцо старик.

- Где сын?

- Не знаю.

- Обыскать.

Фомы в доме не оказалось.

- Обыскать подвал, сарай, коровник, конюшню.

Нигде нет.

- Прощупать штыками сеновал.

Яркий свет ударил в углы. Медленно погружались штыки в сено, пока не раздался глухой стон. Весь всклокоченный, вылез Фома.

- Где остальные?

Молчит Фома.

Иван смотрит на него, смотрит на клинок стоящего рядом бойца. Случайно командир перехватывает этот взгляд, кладет руку на плечо Ивана:

- Пойди в дом погрейся. Там два бойца остались.

Иван пошел. Может, он забыл, куда надо идти, может, подумал, что мать одна и ничего еще не знает, а может, просто, ни о чем не думая, вышел из ворот и побрел в лес. Только возле дома мелькнула мысль: что же сказать матери? И, ничего не придумав, вошел и рассказал всю правду, все, как есть.

Военные врачи не дали Александрычу умерать. Четыре месяца боролись за его жизнь, и выжил человек.

Уходя из госпиталя, благодарил их за то, что спасли его. Но главный хирург сказал:

- Организм у вас железный, товарищ Александров, вот что.

- Это верно, - ответил он, - в лесах русских, на хвое настоянный.

И снова ходил по родным лесам обходчик, не расставаясь теперь с винтовкой. И в огромном лесу ни один новый след не оставался им не замеченным, и не раз помогал он властям, и пуще, чем пограничников, боялась погань из нерусского леса человека со шрамами на лице.

Шли годы. Иван женился. Стал шофером и водителем мотовоза.

* * *

На трещину никто не обратил внимания. К вечеру она раздалась, расширилась и черной пропастью легла поперек ледовой Дороги жизни осажденного Ленинграда. Ночью ударил мороз. Тонкой пленкой затянуло трещину. Замело поземкой.

Из темноты показались желтые щелочки фар. Идет тяжелый

грузовик с мукой. За рулем солдат Иван Александров. Он смотрит на дорогу, на бесконечную пунктирную полоску тусклых огоньков, показывающих трассу. Он смотрит, и что-то мешает ему. Трет чистое ветровое стекло, но все сильнее застилает глаза. Иван не сознает, что это слезы...

Машина идет медленно, но идет. И все ближе и ближе прорубь. Ни в какие бинокли не разглядеть ее теперь, никакими прожекторами не высветлить. Замело, занесло ее и сровняло со всей трассой.

Идет машина к своей гибели! Ничего не знает солдат за рулем. Плачет. Немцы казнили Машу. Нет больше Маши на свете... Что сказал ей, когда уходил на фронт? "Береги сына", - сказал. А о ней забыл.

Всякий солдат наказывает беречь сына. Что же про жен никто не скажет? Эх, жены солдатские! Все снесут, все стерпят, все в сердце спрячут. Разве не знает она, что надо беречь сына! Разве не отдаст ему последние крохи! Разве не прикроет своим телом! Береги сына!..

Теперь поздно. Теперь ничего ей не скажешь. Не услышит. Может, похоронили люди, а может, коршуны растерзали тело, раздавила вражья подкова...

Береги сына... Сберегла. Где, по каким дорогам, по каким углам скитается малыш? Где искать его? А может, у немцев? Нет. "Сына люди взяли", - сказано в письме. Про фашистов так не скажут. А люди сберегут. Кончится война, найдет сына солдат.

Стелется морозный туман. Свистит ветер, метет поземка. Ближе, ближе, ближе... Накатили передние колеса на тонкую ледяную корку, провалились. Обожгло тело... Только волна хлестнула по краям воронки да вынырнули обломки льда.

Кто же теперь будет искать твоего сына, солдат?

...Нелегко он дался Ивану. Мечтал Иван о сыне. Машу не успели отвезти в родильный дом. Начались схватки, а через час она родила. Когда пришел с работы и, переступив порог, увидел бледное лицо Маши и комочек в одеяльце под ее рукой, и она прошептала:

"Сын", - счастье разлилось по его телу, и он опустился на лавку там, где стоял.

- Да ты подойди, Иван! - сказала Маша.

Он поднялся и молча вышел. Снял рубашку и долго отмывал свои шоферские руки, лицо и грудь. Потом переоделся во все чистое, трепетно поднял крохотное тельце и долго смотрел на сына.

- Весь в деда, - сказал наконец.

Может, и не был похож ребенок на Ал.ександрыча, может,

еще и не определить, на кого он похож, но Иван поверил: весь в деда.

И дал ему гордое имя Эйно. Почему Эйно?

Иван объяснял всем. В воинской части, прилегающей к лесу, в котором он родился и вырос, был комиссар - носил он три ромба - и не было героя больше, чем этот комиссар. Давно, когда тайно везли Ленина на паровозе в Финляндию, этот комиссар сидел в первом вагоне с двумя револьверами и гранатами.

Случись что, он поднял бы такое, что все силы на себя оттянул бы. Он охранял Ленина, когда ехали обратно.

Ленина охранял в Питере. Партия ему доверила это.

И Ленин верил ему. И вот этот человек стал комиссаром и пожимал руку Ивана той самой рукой, которую жал Ленин. И имя этого человека Эйно. Эйно Рахья.

В честь его и назвал сына Иван.

...Вскоре после родов Маша тяжело заболела. Иван пеленал сына, сам ходил за молоком, сам кормил его.

Ночами не спал, укачивая Эйно, когда он плакал. И потом, спустя много времени, когда выздоровела Маша и сама стала ходить за сыном, все равно спрашивала Ивана, отчего вот тут пятнышко и можно ли кормить вот этой кашей. Иван сурово смотрел на пятнышко и говорил, что это просто отлежал парень, и, мешая ложкой, смотрел на кашу и говорил, что такой кашей кормить можно.

И в благодарность Ивану первое слово, которое сказал сын, было "папа".

...Машина Ивана шла первой. Далеко за ней двигалась вторая, третья, четвертая... Вся колонна. Шли с большими интервалами, только бы не упустить из виду товарища. С кабин были сняты дверцы. Таков приказ. Если провалится машина в воронку от бомбы или в трещину, водителю легче будет выскочить. И не уследил шофер второй машины, куда делась головная.

Как в воду канула. А может, и впрямь в воду? Остановился, побежал и замер. Увидел карабкающегося по льдине Ивана.

Под счастливой звездой родился Иван... Обгоняла колонну легковая машина. Закутали его в огромные полушубки, и рванула легковушка в сторону от трассы, в ледяной домик, в санчасть. Растирали спиртом и мазями, поднесли кружку:

- Так пьете или разводите?

- Внутри само разведется.

И еще дважды тонул в Ладоге Иван Александров и не утонул. И замерзал Иван в пургу в восьми километрах от трассы, сбившись с пути, и не замерз: нашли самолеты. И косили Ивана пулеметами, били в него бомбами, да не достали. И стиснули его немцы в окружении, да разорвал кольцо гранатами. Так должна же где-то смерть настигнуть Ивана?!

Когда прошел последний рейс по тающей Ладоге и провел свою машину до подножек в воде на место, как лучшего водителя взяли его в танковые войска.

Подучили немного, и повел Иван свой танк в бой.

Бой был страшный. Всю ночь шел бой. Отбивались от врага. Шесть машин осталось на поле. А танк Ивана разворотило: взорвался боезапас. Утром унесли труп командира машины лейтенанта Юдина.

- Еще живой, - показал санитар на тело Ивана.

Четыре дня Иван не приходил в сознание. Сестра вытирала ему марлей рот, когда он раскрыл глаза.

Он потерял слух и голос. Пять месяцев лежал то на одном боку, то на другом: всю спину исполосовали хирурги. И выжил Иван. И слух и голос вернули ему.

И опять пошел на фронт солдат. Теперь - в авиацию, возить бомбы к самолетам.

Всю свою злость изливал в работе. А нежность скапливалась. Некуда было ей деваться. И прорвалась она, когда сыну исполнилось шесть лет. Во все города рассылал письма, искал его. Только затерялся след Эйно. Поздравить бы сына с днем рождения, да куда писать? А нежность распирала его и вылилась стихами. Забившись в уголок землянки, Иван писал:

Здравствуй, сын ты мой родной,
Здравствуй, мальчик дорогой!
Добрый день, добрый час.
Что ты делаешь сейчас?
Ты, наверно, моя крошка,
Папу ждешь, глядя в окошко,
Ну, а папа для сынишки
Написал это письмишко.
Ну, так вот, дела бросай
И письмо мое читай.

Не забыл ли ты, мой сыник,
Ты ж сегодня именинник.
Вот еще чуть подрастешь,
В школу ты ходить начнешь,
Много ты поймешь, Эйночек:
Почему растет цветочек,
Где какие города
И куда бежит вода,
Как устроена машины,
И зачем у них пружины,
Почему летают птицы,
А кроты живут в землице.
Будешь хорошо учиться,
Только надо не лениться,
А когда пройдут года,
Взрослым станешь ты тогда,
Я уж буду совсем стареньким.
Купишь мне на зиму валенки.
А пока что, моя лапка,
Будь здоров, целую. Папка,
Ты поверь мне, все равно
Я не брошу, я найду тебя, Эйно,

Перечитав стихи, солдат улыбнулся, тяжело вздохнул, сложил треугольником и написал адрес: "Моему сыну Эйно", достал свой вещевой мешок и спрятал на самое дно.

И снова шел Иван по дорогам войны, по чужой зет тле, и стояло перед ним видение: лицо отца, каким оно было в ту страшную зимнюю ночь, и вся в соломе голова Фомы. И стояло перед ним это видение, когда появилась на груди медаль "За оборону Ленинграда", и медаль "За освобождение Варшавы", и медаль "За взятие Берлина".

...Остановил свою машину Иван возле поверженного рейхстага, зубилом вырубил на нем свое имя и отправился в обратный путь.

Демобилизовался Иван Сергеевич Александров в январе 1946 года. Приехал в Ленинград, обосновался здесь и начал искать сына. И нашел. Через семнадцать лет.

1961 год

ЧУЖИЕ ЛЮДИ

Командир отделения Шмаков сказал:

- К деревне подойдем со стороны леса. Там он нас не достанет. Только одна полянка под огнем. Перебегать будем по одному: я - первым, Григорий Бродягпн - последним.

Шмаков бежал зигзагами, время от времени припадая к

земле, пока не достиг опушки на противоположной стороне.

- Ну, пошел! - дружески хлопнул Гриша по плечу очередного бойца, и тот ринулся на поляну, точно десантник с самолета.

Один за другим солдаты проносились сквозь огонь.

Настал черед Гриши. Он бежал к заранее облюбованной толстой осине. Оттуда до опушки рукой подать.

В двух метрах от осины его ударили ломом по голове.

Такое было у него ощущение, когда он падал.

Очнулся Гриша в полной тишине. Никто не стрелял. Будто сквозь сон, услышал чей-то крик из лесу:

- Куда несешь, здесь раненые! Убитых давай в одно место, где лежит Бродягин!

Пошевелиться Гриша боялся. Он закричал. Но это ему показалось, будто он закричал. Просто что-то забулькало в горле.

...Сержант Шмаков перевязал ему рану, спросил:

- Можешь двигаться сам?

- Могу.

Вместе с двумя ранеными пошли через лес в тыл.

Была пурга. Они заблудились. Они шли не туда, куда надо, и понимали это. Но куда надо, определить не могли. С трех сторон были немцы. А где сторона без немцев, они не знали. Раненые сели в глубокий снег, и ветер начал заметать их следы. Они понимали, что теперь уже не сделают и одного шага. Бинты на голове Григория отвердели, потому что кровь, пропитавшая их, замерзла. Клонило ко сну. Страх перед этим сном взбадривал их. И все-таки они задремали. Это еще не был крепкий сон, иначе бы им не услышать, как сквозь кусты пробирался человек. Подняться не было сил, но они все же достали из карманов свои гранаты.

Оказалось, это какой-то солдат, посланный с пакетом в тыл. Он заставил их идти. Гриша двигался с полузакрытыми глазами и думал: все это так, как ему сейчас мерешится, или здесь что-то другое?

...Операцию ему сделали в Серпухове. Большой осколок, вынутый из головы, Грише не дали на память, и это было плохое предзнаменование. Значит, не верили, что он выживет. Так он подумал.

Григория отправили в глубокий тыл и боролись за его жизнь восемь месяцев. Он выжил. Центральная нервная система оказалась пораженной, но никто еше не знал, что пройдет немного времени, и он не сможет управлять своим телом, не сможет пошевелить ногой или приподнять голову. Отстоять удалось только руки.

Но пока он свободно передвигался, и срок пребывания в госпитале окончился.

С трудом узнал адрес семьи. Она находилась в Буграх близ Кривощекова, в двадцати километрах от Новосибирска. Вместе с сопровождавшей его медсестрой сели в поезд и после трех суток езды еще целый день искали эти проклятые Бугры, пока не узнали, что такого населенного пункта не существует. Оказалось, Буграми называли землянки, где временно размещались эвакуированные, и землянок этих тьма-тьмущая.

Решили вернуться в Кривощеково и разузнать все поточнее. Но это была пустая затея, потому что лдти Гриша уже не мог. Он уселся под деревом, будто для того, чтобы покурить. Он доставал из кармана махорочные крошки и думал, как бы ему избавиться от этой сестры, которая совсем замучилась и неизвестно, за какие такие его заслуги таскается с ним, хотя положено ей было ехать только до Новосибирска, и он уже десять раз говорил ей, пусть отправляется домой.

И когда он так думал, проходившая мимоk женщина посмотрела на его костыли и спросила, куда он держит путь. Выслушав, велела не уходить до ее возвращения. Вскоре она появилась на подводе со свертком еды.

- Покушайте, - сказала она, - и езжайте. Подвода будет в вашем распоряжении. - С этими словами ока попрощалась и ушла.

- Это кто же такая? - спросила медсестра.

- Хорошая женщина, - ответил старый вознкца. - Заврайсобесом товарищ Бондаренко.

Часа через два он уже сидел в кругу своей семьи в маленькой землянке. Здесь жили отец с матерью, два брата и две сестры. Старший, Федор, находился где-то на Тамбовщине, Антон - в армии.

В первую ночь Гриша не мог заснуть: заедали блохи, нечем было дышать. Утром написал заявление и поковылял в жилотдел. Людей там была уйма, но человека на костылях пропустили вперед.

Никто не мог поверить, что Грише так скоро дадут комнату, пока он не принес ордер. Теперь это уже было совсем другое дело. Вся семья работала на оборону.

Работали день и ночь, жили голодно и дружно. А когда райсобес выделил большой участок под картошку, совсем райское житье пошло.

Вскоре вышла замуж и уехала куда-то Дарья. Потом навалились напасти. Неожиданно умерла Мария, а меньше чем через полгода надорвался отец. Не успели схоронить его, как менингит забрал Арефия и утонул в Оби Александр. Даже тела его не нашли. Остался Гриша вдвоем с матерью. Он уже не вставал с постели.

За год спустили на рынке многие вещи. По вечерам мать подавала ему балалайку, и он играл грустные мелодии, тихонько напевая. Играл задушевно.

Об их трудной жизни Гриша написал брату Антону.

Кончалось письмо так: "Свои вещи мы продали. Если ты не против, мать продаст один твой костюм, тот, что похуже. Жив будешь, купим после войны другой".

Ответ пришел скоро. "Что касается костюма, - писал Антон, - то моими вещами не командуй. Из-за этого костюма ты мне смерти желаешь. А ослушаетесь, приду с фронта, пеняйте на себя".

- Вот видишь, Гриша, - сказала мать, утирая слезы, - не надо было сердить Антошу.

Она перебрала в сундуке вещи Антона, добавила нафталина, аккуратно прикрыла остатком старенькой простыни.

Когда окончилась война, Антон вернулся домой. Он поставил на видное место свой иностранный чемодан, не торопясь обнял и поцеловал мать, прошелся по комнате и протянул руку Грише.

Мать засуетилась, собирая к столу. Но Антон сказал, пусть дает только чай. Он сам достал банку консервов, колбасу, сало. Ел с аппетитом, угощал мать, велел дать попробовать брату, чтобы и тот знал, как кормили под конец войны солдат-победителей.

Покушав, указал место, где поставит свою кровать, поднялся л медленно произнес:

- А теперь я буду переодеваться в грс. чданское.

Где мои костюмы?

Мать полезла в сундук, и он видел, как, Придерживая плевами крышку, она перебирала веши Старуха торопилась и совсем запуталась в барахле. Немного пришурив глаза и не поворачивая головы, он стоял посередине комнаты и внимательно посматривал то на мать, то ка брата, стараясь уловить выражение их лиц, ожидая, что они теперь ему скажут.

Когда мать вытащила два костюма, он осмотрел их, потрогал руками, сказал: "Переоденусь потом" - и ушел. От радости, что приехал сын, она не знала, за какие дела браться, суетилась и без толку переставляла веши с места на место. А радость распирала ее, и она побежала к соседям. "Вы слышали, - говорила она всем, кто встречался во дворе, - мой сын приехал. Мой старший сын приехал". Ей было немного обидно, что люди уже знали новость, но все равно она останавливала каждого и торопилась скорее все рассказать, чтобы ее не перебили. И люди выслушивали ее, улыбаясь, и говорили: "Мы видели его, Максимовна, просто красавец, косая сажень в плечах, за двоих сработает".

Особенно была довольна семья грузчика Зарубина.

Его жена Ксения Федоровна и сыновья Гриша и Саша часто приходили в дом Евдокии Максимовны. Они помогали, чем могли, по хозяйству, слушали, как душевно играет на балалайке ее больной сын, слушали его рассказы о войне.

В день возвращения Антона ребята прибежали к дяде Грише. Они тоже радовались за него, радовались, что в доме появился работник и родной ему человек.

- Садись, Сашок, на стул, - сказал Григорий, - а ты, тезка, отодвинь мои ноги и устраивайся на кровати. Буду сон рассказывать.

Ребята знали, что свои сны он сам придумывает, но охотно слушали, потому что сны эти походили на сказки.

- Снилось мне, - закрыл глаза дядя Гриша, - что гонятся за мной жулики. А ноги у меня длинные, мускулистые, сильные. Бегут, бегут эти жулики, а догнать никак не могут. И захотелось мне над ними потешиться. Начал я потихоньку сдавать. Обрадовались бандюги и еще шибче припустили. Вот-вот схватят, уже и руки протягивают. Тут я чуть шире шаг сделал и сразу метров на десять оторвался. Не знал я, какой подвох ждет меня впереди...

В это время пришел Антон. Гриша застесняйся, перестал рассказывать. И ребятам стало почему-то неловко, и они быстро ушли.

Соседи правильно говорили, что приехал настоящий работник. Антон и дня не хотел сидеть без дела Пошел на завод, объяснил, что всю войну был на фронте и еще больше года после войны оставался в армии, и вот вернулся, и на его плечах родной брат-инвалид и старушка мать, потерявшая троих детей и мужа. Приняли Антона хорошо и, войдя в его положение, подобрали ему работу повыгодней и приставили лучших мастеров, чтобы могли быстро обучить человека.

Смышленый, бойкий и сильный, Антон оправдал доверие и в короткий срок освоил профессию шлифовальщика Уже в первый год заработки его доходили в старом исчислении до двух тысяч.

Он оказался человеком серьезным, денег на ветер не бросал. Но иждивенцем тоже не хотел быть. Каждую получку выкладывал матери ровно столько, сколько на него уходило. Он не считался с тем, что пенсия у брата меньше, и отваливал пять-шесть сотен, а то и все семьсот рублей каждый месяц. Как человек хозяйственный, тщательно проверял, куда расходуются его деньги. А мать по старости и нерасторопности не могла вести точной бухгалтерии, и когда приходило время отчитываться, никак не могла припомнить, куда девалась четвертная, а то и

целая полсотня.

Антон не ругал ее за это и даже не упрекал, а молча ходил по комнате и, уже отправляясь в клуб или к товарищам, не повышая голоса, замечал:

- Подумай все-таки, может, вспомнишь.

Она понимала, что не годится так вести хозяйство, и ей было стыдно перед Антоном. Когда выяснилась очередная недостача, она сказала:

- Ты не думай, Антоша, что я расходую лишнее на себя или на Гришу. Это по своей малограмотноети не могу досчитаться.

И на этот раз Антон не стал ее ругать Он только сказал, что, если бы по неграмотности, иногда и излишек мог бы получиться, а то одни недостачи.

Мать подумала, что и в самом деле он прав, но, осмелев, сказала, может, лучше, если он сам на свои деньги будет покупать себе продукты, какие ему нравятся, а она станет только готовить и стирать на него.

Зря старуха все это говорила, потому что ее слова расстроили Антона.

- Когда же это я буду таскаться за продуктами да очередя выстаивать, обиделся он. - Целый день работаю, а вечером то собрание, то другие дела.

- Об этом я не подумала, - примирительно сказала мать, видя, как он стал нервничать. Но Антон понял, должно быть, что отпор дал недостаточный, поэтому добавил:

- Выходит, Гришка ничего не делает, и ты будешь сидеть дожидаться, пока тебе готовенькое на тарелочке принесут, а на одного меня вали, знай, наваливай.

Так, что ли?

Тут совсем не к месту обиделся Григорий и заступился было за мать, но Антон быстро поставил его на место.

- Ты, самострел, лежи да помалкивай, - оборвал он младшего брата.

Голова и плечи Григория дернулись, но подняться он не смог, и костылей уже на месте не было, потому что их за ненадобностью продали, и зря он ощупывал руками это место. Глаза его забегали, руки заметались из стороны в сторону.

- Это кто же самострел? - тяжело глотнув, наконец хрипло спросил он.

- Конечно, самострел, - безразличным тоном ответил Антон. - И месяца не повоевал, домой помчался.

Видели мы на фронте таких. То руку из окопа высунет, то ногу, смотришь, прострелили - и пожалуйте в тыл.

Глаза Григория уже не бегали, потому что в них появились

слезы. Руки безжизненно лежали на груди.

Они устали и тоже не могли двигаться. Ему было обидно, что брат так о нем думает, и он стал оправдываться:

- Не пулевое же это ранение. Разве под осколок подставишь? Да и какой дурак станет голову подставлять!

- Все равно в тыл торопился, - тем же безразличным тоном продолжал Антон. - Если бы вперед шел, на немца, и рана спереди была бы. А она у тебя на затылке, вот что.

Григорий опять хотел возразить, что так про пулевое ранение можно говорить, а снаряды и сзади рвутся, но стерпел. Говорить ему было трудно, и он боялся, что будет плакать. А старшему брату, должно быть, интересно стало, что еще скажет Гришка, и он продолжал:

- Тот, кто в честном бою рану получил, награду имеет. Я вот и без ранения получил орден, а у тебя и медали даже нет.

Григорий глотнул наконец тугой комок.

- Коршун ты, гадина и фашист!

Антон не ожидал, что этот инвалид может его оскорбить. Он взревел, схватил за гриф балалайку, свистнули в воздухе струны.

- Бей сильней! - закричал Григорий и разбросал в стороны руки. Мать рванулась к сыновьям. Антон все же не ударил брата, потому что мог задеть мать, а что было сил метнул балалайку в угол. Сил было много, и она разлетелась на маленькие кусочки. Отдавать в ремонт уже было нечего.

Этот скандал, наверное, слышали за окном юные Зарубины. А возможно, им передали соседи с первого этажа. Вечером они обо всем рассказали отцу. Александр Осипович слушал сыновей и недовольно откашливался.

Несколько месяцев Антон не скандалил. Он только говорил, что ему противно приходить в эту комнату, где пахнет парашей. "Жениться мне уже давно пора, - сокрушался он, - да разве пригласишь сюда девушку!"

Все это раздражало Антона, и в те часы, когда он бывал дома, только об этом и говорил.

Мать и Григорий видели, как они мешают ему, понимали, что он должен жениться и что чужой человек не согласится жить вместе с ними. Все это они видели и понимали, но ничего придумать не могли, и Антон все больше раздражался.

Как только появлялся брат, Григорий замирал на своей койке и старался не встретиться с ним взглядом.

По ночам, когда брат был дома, ему не спалось. В одну из бессонных ночей в голову пришла хорошая мысль.

Когда Антон встал, и мать подала ему завтрак, и он сел за стол в одной майке, Григорий любовался, как играют мускулы на

его спине, а потом сказал:

- Ты не сердись, Антоша, я ведь и сам вижу, как тебе трудно со мной, вот и подумал: если мне дали комнату, то тебе и подавно дадут. Может, попросишь...

- Это меня ты хочешь выгнать? - перебил его Антон, поворачиваясь к брату лицом. Глаза их встретились. Должно быть, вся злость, собравшаяся у Антона за три года против брата, вырвалась, он ухватился за спинку койки, приподнял ее, рванул вверх и в сторону.

Григорий не успел уцепиться руками за края койки.

Не закончив завтрака, Антон убежал. Матери совестно было звать в дом чужих людей, и она долго мучилась, пока ей удалось снова втащить сына на кровать.

Хорошо еще, что сам он помогал ей руками, а то бы одной не справиться с этим делом.

Хотя мать и не хотела, чтобы чужие люди знали, что делается в доме, все же Ксении Федоровне сама рассказала об этом случае. А та сообщила мужу. И опять Александр Осипович только покашливал, хмурился и ничего не говорил. Он работал на том же заводе, где и Антон, только в другом цехе, и они почти не виделись. Всего один раз и встретил его на каком-то общезаводском собрании.

Здоровье Григория резко пошло на убыль. Он худел на глазах, перестал есть, часто находился в забытьи.

Он стал пугаться брата. Нервничал, если мать суетилась возле него, будто других дел у нее не было, и спрашивал, готов ли обед для Антона и есть ли для него чистая рубашка? Мать работала уже не так провор-4 но, как прежде, все сильнее давала себя знать печень.

По своей нерасторопности она не успевала по-настоящему обслужить Антона, и неизвестно, чем все это могло кончиться.

Григорий все худел, и врач сказал, что, видно, скоро помрет. Григорий не знал этого. Он видел, как трудно приходится старухе, и подумал, что, может быть, лучше, если его отвезут в дом инвалидов.

Мать выслушала сына, вспомнила слова доктора и согласилась: хуже чем дома, не будет. Ей только стыдно было чужих людей, да боялась, могут не принять.

Туда брали только тех, у кого нет родных.

Свои сомнения она высказала Ксении Федоровне.

Та против обычного не стала утешать соседку или давать советы, а просто ничего не ответила.

Дома она увидела, что ее сыновья о чем-то шепотом спорят и ссорятся, как малые дети, хотя Гриша уже кончал ремесленное, а

Саша собирался туда поступать. Когда она спросила, в чем дело, оба они присмирели, и Гриша, переминаясь с ноги на ногу и трудно подбирая слова, заговорил:

- Вот мы, мама... понимаешь, мы с Сашкой все будем делать... вот... ну, полы мыть... да? Я уже немного зарабатываю... Может, возьмем к себе дядю Гришу?

Она ничего не могла ответить, потому что навернулись слезы, а только выпрямилась от гордости за своих сыновей и за то, что она - мать этих сыновей.

Она увидела, как засветились их глаза, и уже знала, что они поняли ее, хотя ничего еще им не сказала.

Гриша начал вдруг поправлять книги на своей этажерке, Саша спросил, не надо ли за чем сбегать в магазин, а она все стояла молча, пока Гриша не тронул ее за руку:

- Ну что ты, мама?

Тогда она ответила:

- Я уже давно про это думаю, надо спросить отца.

Вечером, выслушав свою жену и своих детей, Александр Осипович Зарубин сам пошел вниз, к Григорию.

Они говорили о войне, о заводе, о деревне, и Григорий рассказывал, как в детстве он вместе с отцом делал гребешки из клена.

Вернувшись домой, Александр Осипович сказал:

- Комната у нас не меньше ихней. Не понравится - и от нас в дом инвалидов не опоздает.

Утром Гриша Зарубин и его товарищ Геннадий Ковалевский подняли Григория вместе с койкой и перенесли на второй этаж, освободив для него лучшее место.

И в двух комнатах, расположенных одна над другой, одинаковых, как близнецы, по-новому разместились люди: на первом этаже - двое, на втором пятеро.

Внизу - родные, вверху - чужие люди.

Как плох Григорий, увидели только вечером, когда стали его купать. Ванны в доме не было. Его посадили на табуретку и, придерживая со всех сторон, бережно мыли мягкой тряпкой, и часть воды стекала в корыто и в таз, а часть - на пол. Но ее тут же убирали тряпками Гриша и Саша, чтобы она не просочилась между половыми досками.

Пока шло мытье, кто-то из Сашкиных товарищей сбегал за парикмахером, а кровать покрыли шуршащей простыней, и Григория положили на нее, чисто выбритого, красиво подстриженного, в новом белье Александра Осиповича, и он понял, как хорошо жить на свете.

С тех пор прошло десять лет. Зарубины уже давно переехали

из Кривощекова в Новосибирск и взяли с собой Григория Бродягина. Здесь комната немного поменьше, но места хватило всем. Десять лет лежит на спине в доме Зарубиных чужой человек. Каждое утро, когда он просыпается, ему приносят тазик с водой и помогают умыть лицо. А руки он свободно моет сам.

Потом Александр Осипович или сыновья повертывают его на живот, и Ксения Федоровна растирает ему плечи и спину. Эту процедуру делает только она, никому не доверяя. Дело в том, что поначалу у него были пролежни, но за несколько месяцев удалось их вывести, и спина стала чистой и хорошей, и на ней нет больше ни единого пятнышка, хотя в общей сложности он пролежал на спине больше пятнадцати лет.

Ксения Федоровна думает, что это результат массажей. Может быть, это и так, но, конечно, немалую роль играют матрасики, подматрасники, подушечки, которые она понашила.

Когда по утрам выспрашивает у него, где за ночь надавило или, может быть, терло и он отвечает, будто все было хорошо, она начинает сердиться и не доверять ему, и, чтобы не волновать женщину, приходится признаваться, что под левой лопаткой немного немеет, а вот в этом месте, кажется, чуть-чуть давит. И тогда она уже не слушает его больше, и растирает там, где надо, и подкладывает свои подушечки туда, куда считает нужным. И вообще она с ним не церемонится.

Если вдруг замечает, что плохо работал желудок, клизмы ему не миновать, пусть хоть плачет. Или там грипп привяжется, кашель или головные боли мало ли к человеку цепляется всяких болезней, - всю норму лекарств, все, что положено, заставит выпить, все процедуры выполнить. Недаром он как-то назвал ее "товарищ начальник", и это прозвище привилось к ней, и даже муж, а иногда и дети именно так и называют ее.

Она тоже в долгу не осталась и начала называть его Гришуней, как в детстве своего старшего сына. И весь дом, даже 85-летний Осип Зарубин, отец Александра Осиповича, переехавший сюда на спокойную старость, как-то сразу принял это имя, и теперь иначе его не называют.

К уходу за Гришуней люди привыкли, да и не мудрено: все десять лет каждый день одно и то же - туалет, массажи, лекарства, завтрак. Потом достают из ящика газеты, и его уже не оторвать от них. В обед и ужин - то же самое, только вместо газет - книги, а в перерывах между едой отдельные процедуры. Немного сложней по субботам, когда идут купание, смена белья и другие дела, но здесь помогают все, и в конце концов это тоже не так страшно.

По-настоящему трудно было только первые два-три года,

пока чужие люди привыкали друг к другу. Дело осложнялось тем, что поначалу Гришуня очень стесдялся и не рассказывал, где болит, и ни о чем не просил.

Если бы за ним ухаживал кто-нибудь один, было бы лучше. А так он нервничал: ему казалось, будто вся семья только и делает, что возится с ним. Но все это, конечно, с непривычки и только первые годы, пока он часто болел и был очень плох. Волновался и Александр Осипович. Ему все казалось, что не удастся выходить человека и он умрет. Успокаивала его Ксения Федоровна. Как ни плохи были дела, но она видела, что они не ухудшаются и все-таки человек идет на поправку.

С тех пор как удалось определить его в медицинский научно-исследовательский институт, а потом в специальную больницу, и наладили, наконец, желудок, и избавился человек от головных болей, прошла и бессонница, все стало по-другому.

В свободное от еды и всяких процедур время Гришуня читает. За эти десять лет он перечитал много книг, и не было у него дня без газет, и оказался он в очень выгодном положении. Он знает все, что делается в Москве, на новостройках, знает фильмы, спектакли и все, чем живет мир. И какие бы в семье ни возникали споры или проблемы, получалось так, что в любой области лучше всех информирован Гришуня и лучший совет дает он.

Семья жила дружно. Но случалось, обидится ктонибудь, и дело доходит до ссоры. Так произошло перед уходом Саши в армию, когда Гришуня получил извещение на посылку. Он увидел, что это с Тамбовщины, от самого старшего брата, лейтенанта милиции Федора, и обрадовался, как ребенок. "Вот видьте, - говорил он каждому, кто входил в комнату, - старший брат прислал. Это вам не Антон, это - настоящий". Он все торопил, чтобы скорее принесли посылку, и велел открывать ее не на столе, а возле него, на стуле, чтобы ему хорошо было видно, как там все уложено. И вся семья собралась возле его постели, и всем не терпелось посмотреть, что прислал самый старший брат, который не чета Антону. В посылке оказались яблоки. Они были маленькие и зеленые - должно быть, такой сорт.

Гришуня начал всех угощать и просил, чтобы ели не стесняясь, кто сколько хочет. Он ел сам и гордился тем, что эти яблоки специально для него прислал брат.

И все взяли по одному, и откусывали по маленькому кусочку, и, покачивая головами, говорили, какие вкусные яблоки, и видели, как он доволен. Но тут совершенно неожиданно и обиделась мать на сыновей. Незаметно она подала знак Саше, чтобы он вышел, и в коридоре набросилась на него так, что парень не знал, куда деваться. Она сказала, будто он вместе со

своим братом Гришкой совсем потерял стыд и совесть. Она велела, пусть и брату передаст, чтобы ели по-настоящему, а не ломались, как барышни, и набрали бы полные карманы яблок с собой, и ничего с ними не случится, потому что желудки у них железные, а Гришуптэ эти зеленые камни погубят.

Через три года, когда Саша уже вернулся из армии, а Гриша женился и получил отдельную комнату, принесли вторую посылку от Федора. Вышло это так.

Пришел срок, и Федору выдали новое обмундирование, в том числе сапоги. Не задумываясь, он снял свои, еще совсем хорошие, без единой заплатки, и вместе с большим куском сала, килограмма в два или даже три, послал Гркшуне. В письме написал, что сапоги дарует Александру Осиповичу, а сало - для общего пользования.

Посылок от Федора больше не поступало, но письма были. Правда, последние годы писем нет, видно, потому, что занят человек и ему некогда. Зато сестра Дарья, которая живет под Новосибирском, пссепг.ет Гришупю. В первый свой приезд она рассказала, ч го муж зарабатывает мало и как трудно ей жить с т:с?:я детьми. Когда ушла, Александр Осипович сказал:

- Не по-братски ты поступаешь, Гришуня.

- Почему? - удивился тот.

- Ну как же? Легко ей, думаешь, с тремя детьми?

А у тебя пенсия, мог бы и помочь. Не чужая она тебе.

- Так пенсия же у меня солдатская. Ведь у самих не хватает, растерялся Гришуня.

- Э-э! -махнул рукой Зарубин. - Денег всегда не хватает. Я бы на твоем месте послал...

С того дня Гришуня стал помогать сестре. Не каждый месяц и не помногу, а все-таки помощь.

Довелось Гришуне за эти десять лет встретиться и с Антоном. Это было после женитьбы Саши, когда он уже получил свою комнату, а в родительской стало соссем просторно. Там остались только дед Осип, отец с матерью и Гришуня. Правда, просторно было только днем, когда люди на работе, и ночью. А в остальное время почти каждый день приходили Гриша с Аней и дочерью Наташенькой да Саша со своей женой Галей, и все равно набивалась полная комната. Но, как говорят, в тесноте, да не в обиде. Может быть, сыновья так часто и не ходили бы сюда, не будь больна мать. Сердце последние годы стало сильно сдавать, а дел по дому немало. Вот и собираются все вместе, чтобы помочь хозяйке.

Так вот, о встрече с Антоном. Как-то Сашин товарищ, шофер с "Победы", получил задание развезти пакеты в учреждения,

расположенные во всех концах города. Было это в канун праздника, и он сказал: "Бери Галю, поедем иллюминацию смотреть". Но Саша взмолился: "Давай Гришушо возьмем, он ведь никогда не видел ни города, ни иллюминации".

Гришуню уложили поперек заднего сиденья, так, чтобы голова была повыше и ему все хорошо было видно. Когда экскурсия закончилась, решили навестить мать Гришуни. Они не знали, что она умирала. Антона дома не было.

Через неделю, в день похорон, Саша снова привез Гришуню в Кривощеково и сказал, что вернется за ним часа через три. Вскоре пришел Антон. Он удивился и поэтому забыл поздороваться, а сразу спросил: кто его доставил сюда и как будет дальше? Гришуня ответил, что за ним приедут. Антон только насмешливо улыбнулся и сказал: "Дурачок ты, дурачок, тебя ведь просто подкинули, кто же за тобой приедет?"

И все время, пока там был Гришуня, брат то и дело спрашивал: "Ну где же они, почему не едут? А адрес их ты знаешь?"

Потом в соседней комнате начались поминки (комнату Гришуни и комнату своей жены Антон обпенял на две). Гришуне тоже хотелось выпить рюмку в память матери, но никто ему не принес, и, как только вернулся Саша, они уехали.

Несколько лет назад в доме Зарубиных произошло знаменательное событие. Выехал сосед по квартире, и его жилплощадь передали им. Теперь у них отдельная двухкомнатная квартира со всеми удобствами, и у Гришуни, как он выражается, собственный кабинет.

Я приехал к Зарубиным в одиннадцать утра. На стук никто не ответил, но дверь приоткрылась. В углу большой прихожей стояла девочка лет четырех, прижав к уху спичечную коробку, от которой тянулся куда-то тонкий шпагат.

- Я слушаю, - серьезным тоном говорила она. - Это детский сад.

Из комнаты донесся мужской официальный голос:

- Скажите, пожалуйста, как ведет себя девочка Наташенька?

- Очень хорошо, - тем же тоном отвечала она, - .

передайте дяде Гришуне, что это наша самая лучшая девочка.

Это говорили "по телефону" дочь Гриши Зарубина и Григорий Григорьевич Бродягин.

В доме Зарубиных я провел три дня. В одном из разговоров, на какие-то мои слова о совсем чужом человеке, Александр Осипович заметил: "Так это формально чужой, а по эпохе он мне брат".

1961 год

СОРОК МИНУТ ОГНЯ

В Атлантическом океане нам встретился танкер "Лиски". Он шел к катастрофе. Никто не мог этого предвидеть, и люди радовались, потому что танкер держал путь к родным берегам. Он был белый и длинный.

Почти четверть километра. Издали судно походило на ракету. Мешала только единственная надстройка на корме.

Задолго до этой встречи я был на "Лиски" в нашем порту. Любому посетителю танкера обязательно дают сопровождающего - для предупреждения возможной оплошности. Обстановка здесь как в пороховом погребе. Был солнечный день, и сквозь открытые люки в пустых танках отчетливо были видны пары и газы не то нефти, не то бензина. Сизые, густые, они медленно клубились, таинственно передвигались, точно исполинская амеба нащупывала искорку, хотя бы такую, как тлеющая табачная крошка. Этого вполне достаточно для взрыва и самовоспламенения.

Сеть пожарных рукавов и труб оплетала танкер. Их длина исчислялась многими километрами. В специальных помещениях стояли сотни и сотни черных баллонов, похожих на снаряды гаубиц. Баллоны соединены между собою тончайшими трубками и представляют одну мощную систему. В них противопожарные средства под давлением 150 атмосфер.

На всех палубах, надстройках, в коридорах лежали изготовленные к бою брандспойты на бесконечных рукавах. Сверкали лаком расчехленные лафетные стволы.

В боевую готовность были приведены системы паротушения и пенотушения.

От солнечных лучей может нагреться палуба, и тогда взрыв газов, воспламенение станет неизбежным.

Поэтому в солнечную погоду или в районе тропиков приводят в действие систему орошения, и вся главная палуба омывается водой.

Иной мир в служебных и жилых помещениях надстройки.

Пластик, красное дерево, хром и никель, телевизоры последних моделей в красных уголках и клубе, бассейны для купания и выложенные метлахской плиткой ванные комнаты для матросов, новейшее навигационное оборудование, автоматическое управление - все, что создала передовая конструкторская мысль современного кораблестроения, было на "Лиски".

Пересекая Атлантику, танкер шел в Туапсе. В чужом порту он опустошил свои восемнадцать нефтяных бассейнов, выбросив точно мониторами больше тридцати тысяч тонн нефти за одни

сутки.

С океана все члены экипажа дали радиограммы домой: "Прибываем Туапсе четырнадцатого". Такое же сообщение получила жена первого помощника капитана врач Варвара Николаевна Трегубенко. Она, как и жены других моряков танкера, живет в Одессе. Но в Одессу танкер не зайдет. В Туапсе его напоят нефтью до отвала, и он отправится к берегам Японии.

Взяв на три дня отпуск за свой счет, Варвара Николаевна поехала на аэродром. Здесь встретилась с женой старшего механика Токаревой и ее шестилетней дочерью Иришей, женой начальника радиостанции Галиной Невечеря с обоими детьми - Сережей и Леной и другими женщинами и детьми, тоже спешившими к приходу "Лиски". Самолет доставил их в Адлер, там пересели на автобус до Сочи, а оттуда на электричке приехали в Туапсе.

..."Лиски" приближался к родному порту. Теперь уже никто из встречавших не беспокоился о судьбо своих близких. Беспокоятся, когда провожают, когда судно уходит в рейс. Когда томительно тянутся дни, недели, месяцы. Когда узнают, что танкер после разгрузки в чужом порту идет не домой, а в новое далекое плавание и никому не известно, когда вернется.

Город жил своей обычной жизнью, не зная о нависшей над ним опасности. В порту и на судах шла обычная работа. Шла она, незаметная и предательская в трубопроводе нефтепирса. Изо дня в лень, постепе - но и неумолимо нарастали пирофорные отложения в трубах. И воздух, чистый, живительный воздух, становился источником смерти: пирофорные отложен!

в присутствии воздуха самовоспламеняются и неизбежно ведут к взрыву.

Накапливались на внутренних стенках труб смолистые вещества, механические примеси, продукты корозии. Эта смесь при определеиных условиях тоже способна воспламениться.

Шли в трубопроводе простые и страшные химические процессы. Неотвратимо и медленно, точно ожидая "Лиски" и момента, когда женшины и дети поднимутся на борт, когда, увлеченный встречей, потеряет бдительность экипаж.

"Лиски" подходил к пирсу. Отдали правый якорь, вытравив семь с половиной смычек, то есть около двухсот метров якорь-цепи. С бака и кормы подали по пять концов. Наступили самые мучительные минуты. Судно уже у причала, уже спущен трап, по которому сбежал лоцман - единственный человек, имеющий право в эту минуту покинуть судно. Поднялись на борт пограничные власти, таможенники, представители пароходства.

И никто больше: судно пришло из-за гранипы, должны быть

проверены документы прибывших и произведен таможенный досмотр.

Это долгая процедура. Пока судно швартовалось, встречающие искали глазами своих. Радостно кричали дети, махали цветами и платками женщины, подходя к самому борту. А многие стояли в стбронке. Их родные и близкие на вахте, где-то в чреве судна, в машинном отделении или еще где-то там, и никогда не могут они, как вот эти счастливчики, высыпавшие на палубу, поприветствовать встречающих в момент прихода судна.

Когда власти поднялись на борт, моряки с палубы ушли в каюты. Таков порядок. При досмотре из каюты выходить ке положено.

А семьи теперь долго будут бродить взад-вперед, ожидая, пока "откроют границу". У каждой женщины - чемоданчик, корзинка или просто сверток. Почти на всех судах питание изобильное и вкусное, но по старой традиции каждая женщина приготовила для мужа самое любимое.

И вот все формальности закончены. Бегут вверх по трапу жены и дети. Но далеко не всех встречают мужья и отцы: слишком много неотложных дел у экипажа в первые минуты после прихода. Да и не только в первые минуты. Сразу же должна начаться погрузка, а ведь к ней надо хорошо подготовиться. И люди осматривали и проверяли танки, закрывали и пломбировали кингстоны, тщательно вели заземление. Нефть на судно гонят с такой скоростью, что от трения в рукавах заряд статического электричества может дать искру. Поэтому заземляли резервуары, цистерны, трубы, воронки, шланги. И отложить эту работу, чтобы побыть с семьей, нельзя.

Группа матросов начала приемку продуктов питания. Моряки машинного отделения готовились к профилактическому ремонту, выписывали запасные части, получали горючее и смазочные материалы. Распределялись скопившиеся на берегу за время рейса газеты и журналы. Последние уточнения вносились в рейсовый отчет, который надо немедленно сдать в пароходство.

И хотя этих отчетов никто обычно не читает, если не было чрезвычайных происшествий, но строго следят за тем, чтобы отчеты представлялись точно к сроку.

Поднялась на борт, как это бывает почти всегда, какаято проверочная комиссия.

В первый же день на судно подали четыре могучих рукава, запустили компрессоры, и потоки нефти ринулись в танки. Нефть гнали и остаток дня и всю ночь.

Второй день стоянки был легче. Часть экипажа отправилась в город, многие отдыхали в каютах вместе с семьями. На постах

оставалась лишь вахта да второй помощник капитана Георгий Любич, отвечающий за грузовые операции.

К шести вечера были заполнены почти все бортовые танки и часть центральных - двадцать одна тысяча тонн. Оставалось догрузить одиннадцать, когда случилось несчастье.

По официальным документам все это началось так.

"Я, капитан порта Туапсе Корсак Н. Н., на основании материалов, представленных капитанами судов, опроса всех лиц, причастных к пожару на нефтепирсе, и заключения экспертизы, установил:

14 апреля на внешний рейд порта Туапсе прибыл танкер "Лиски", плавающий под флагом СССР и принадлежащий Черноморскому государственному пароходству, под командованием капитана дальнего плавания Турецкого М. А. В тот же день в 19 часов 35 минут танкер "Лиски" был ошвартован левым бортом к шестому причалу нефтепирса под погрузку 32 000 тонн сырой нефти на Японию.

В 8 часов 15 апреля на внешний рейд порта Туапсе прибыл танкер "Сигни", принадлежащий частной судовладельческой фирме Редери А/Б Салли, под командованием капитана Якоба Доннинга. В тот же день в 10 часов 15 минут танкер "Сигни" был ошвартован левым бортом к причалу No 4 шестого нефтепирса под погрузку 15 000 тонн дизельного топлива на Финляндию.

После постановки судов к причалу корпуса обоих судов были заземлены обычным способом..."

"За несколько секунд до 18.00 местного времени мы были поставлены в известность о начале погрузки.

Я, капитан теплохода "Сигни" Якоб Доннинг, и мой старший помощник Эрола Ойва, а также один человек с берега были на палубе, и наши вентили были открыты. Я пошел в каюту для того, чтобы зафиксировать начало погрузки. Ровно в 18 часов я услышал звук, похожий на небольшой взрыв трубы, а затем несколько глухих ударов, похожих на то, как будто что-то тяжелое падало на причал. Я вышел на палубу и увидел огонь на пирсе вблизи открытого места, где еще раньше рабочие открывали несколько секций покрытия пирса, как я думаю, для ремонта.

Нефтепродукты черного цвета, похожие на сырую нефть, вытекали из этого отверстия и горели на пирсе, под пирсом, и пожар стал захватывать обшивку моего судна и другого русского танкера у противоположной стороны пирса. Недавно окрашенный борт загорелся сразу.

Немедленно я пошел на мостик и дал сигнал тревоги. Как только я дал сигнал тревоги, мои офицеры и команда, кроме меня

и моего старшего помощника, покинули судно без моего приказа. Несколько моряков покинули судно по швартовым концам носовой части, и некоторые моряки покинули судно при помощи спасательной шлюпки с кормовой части правого борта.

Затем я и мой старпом, а также русский человек с берега пошли на бак и отдали все швартовые концы.

Затем мы перешли на корму и сделали то же самое.

Однако грузовые шланги все еще держали судно у пирса. Позже, когда шланги загорелись, судно отошло от пирса".

Так описал поведение своего экипажа капитан Якоб Доннинг. Он дал только общую картину, не входя в детали. Капитан порта внес некоторые уточнения. В своем протесте Доннингу он писал:

"Большинство вашей команды, возвратившейся из города, было в нетрезвом состоянии. На судне не было принято каких-либо мер по ликвидации пожара. Вся команда в паническом состоянии покинула борт танкера, что значительно затруднило береговым пожарникам борьбу с огнем. Для ликвидации пожара на нефтеппрсе требовалось немедленно отвести танкер от причала. Однако это оказалось невозможным, поскольку не была готова машина судна, не было пара для подъема якоря".

Матрос танкера "Лиски" Алексей Несметный в своем объяснении писал:

"Я заступил на вахту 15 апреля в 16 часов вместе с матросом В. И. Диденко и вторым штурманом Любичем. С причала на судно было подано четыре шланга для приема сырой нефти. В 18 часов с минутами вместе с матросом Диденко я находился у трапа в районе шлангов и увидел облако дыма и пламя из-под носовой части причала. Отдав команду матросу Диденко закрывать глазки, крикнув на берег, побежал в пульт дистанционного управления, где находился вахтенный штурман. Я нажал сигнальный ревун, а штурман дважды объявил тревогу по принудительной трансляции. Когда снова выбежал на палубу, огонь уже подходил к шлангам, загорелась краска на борту, пламя быстро распространялось вдоль корпуса к кормовой надстройке. Парадный трап горел, поэтому женщины и дети - члены семей экипажа бежали к корме, откуда боцман спустил штормтрап..."

Как писал впоследствии капитан порта Н. Корсак:

"Пламя, выходившее из-под пирса, между пирсом и бортами танкеров, легким вестовым ветром отклонялось в сторону танкера "Сигни". Так как с возникновением пожара экипаж танкера "Сигни", кроме капитана и его старшего помощника, покинул судно, борьбу с огнем вести было некому, средняя надстройка "Сигни" загорелась, и пламя быстро охватило все надстройки".

Итак, горел нефтепирс, горел танкер "Лиски", горел никем не управляемый танкер "Сигни". Взрыв должен был произойти, как только нагреются пары нефти.

На "Сигни" огонь охватил ящик с ракетами на спардеке. Такие ракеты есть на каждом судне, и их выпускают по одной, когда надо дать сигнал бедствия или по другим причинам привлечь к себе внимание в море.

А сейчас они стали рваться пачками. Красные, синие, зеленые фейерверки взметались с окутанного дымом судна и били во все стороны. Они достигали "Лиски", тоже охваченною пламенем.

Над нефтегаваныо бурно клубился черный дым.

К небу он поднимался медленно, заволакивая город.

Все вокруг заглушали сигналы бедствия: длинный гудок, два коротких, длинный, два коротких...

Опасность над городом нарастала, потому что танкеры должны были вскоре взорваться. Это означало, что вся акватория порта покроется слоем горящей нефти толщиной сорок сантиметров. К нефтегавани устремились спасательные суда Туапсе, Новороссийска, Батуми, Поти, Сочи. Пожарные команды города окружали порт.

Впоследствии многочисленные эксперты, крупные специалисты самых различных областей знания скрупулезнейшим образом исследовали все обстоятельства пожара, чтобы установить его причины. Было точно установлено, что на иностранном судне курили в недозволенных местах. Однако не это явилось причиной пожара. Общее и единодушное мнение: форс-мажор.

Непреодолимая сила. Чрезвычайные обстоятельства, подобные стихийному бедствию, которые не могли быть ни предусмотрены, ни предотвращены.

И вот, как форс-мажор, загорелись в трубопроводе пирофорные отложения, и труба разорвалась. Она шла под покрытием пирса. Взрывом подняло в воздух несколько плит этого покрытия, и, упав, они высекли искры.

Под пирсом имеются емкости, где скапливается нефть, - патерны. Искра попала туда. Но не всякая искра зажжет нефть, ибо она загорается при температуре 380-530 градусов. Искра зажгла пары нефти в воздухе, а от них загорелись патерны. Трубы взорвались.

Поток перекрыли довольно быстро, но десятки тонн нефти выплеснулись в воду. Черная масса хлынула во все стороны с большой скоростью, и огонь не успевал охватывать ее.

Ширина пирса - шестнадцать метров. Патерны и источник огня оказались посередине. Потребовались мгновения, чтобы

пламя пробежало восемь метров до каждого судна. Борта танкеров были охвачены пламенем одновременно. И одновременно на обоих, судах раздался сигнал пожарной тревоги.

На всех флотах существует "Расписание по тревоге". Это точное распределение обязанностей и мест - кто куда должен бежать, где находиться, что делать при любых несчастьях, могущих свалиться на судно. Ни в одном "Расписании" мира не сказано, что по сигналу пожарной тревоги надо прыгать за борт или другим способом покидать судно. Вообще покинуть судно можно только по приказу капитана.

Видимо, моряки с танкера "Сигни" плохо знали "Расписание тревог". Как только раздался сигнал, бросились за борт боцман Лённблад Свен-Олиф, второй помощник капитана Хусель Стиг Р., старший матрос Полтилла Вильо и еще добрый десяток моряков. Прежде чем они достигли воды, ее покрыла лавина нефти.

Огонь был пока далеко, но тело, омытое нефтью, не может дышать. Надо смыть нефть, иначе человек погибнет.

Берег был совсем рядом. Туда и ринулись, обгоняя друг друга, люди с черными от нефти лицами и слипшимися волосами. Их тут же отправили в больницу; "смыть" нефть надо сухой горчицей, определенным, известным в"рачам способом.

Остальные члены экипажа "Сигни" поняли, что прыгать в нефть рискованно, тем более что ее настигал огонь. Наиболее оперативные, уцепившись за швартовые концы на баке и корме, быстро перебирая руками, устремились к пирсу. Некоторые из них сорвались в воду, но серьезных повреждений не получили. Остальная часть команды тоже благополучно спаслась, успев спустить с кормы шлюпку. Эти и вовсе не пострадали.

Не могли остановить бегства капитан Якоб Доннинг и его старпом Эрола Ойва. Но сами они, как истые моряки, оставались на борту до последнего момента, конечно, понимая, что в любую минуту танкер может взорваться.

Когда вспыхнул пожар, на шлюпочной палубе танкера "Лиски" играл.и Таня Нихолайчук, Ира Токарева, Люда Кернасюк и Лека Птушкина. Всем им вместе девятнадцать лет. Неподалеку от них решали сложные проблемы пока только на кубиках Лена Невечеря и Олег Байдун. Этим по два года. И только самый старший, девятилетний Сережа Невечеря, стоял один на правом крыле капитанского мостика и, заложив руки в карманы, грозно вглядывался в морскую даль. О чем он думал, кем представлял себя, догадаться трудно.

Остальные дети и почти все женщины находились в каютах. Варвара Николаевна Трегубенко спустилась вниз, в единственное помещение, где разрешено пользоваться горячим утюгом.

В момент возникновения пожара капитан "Лиски"

Михаил Андреевич Турецкий и его первый помощник Илья Вуколович Трегубенко вошли в каюту второго механика Юры Борискина. Кроме хозяина, там был стармех Николай Иванович Токарев. Старшие командиры пришли к Борискину, чтобы поздравить его с днем рождения. Должно быть, прихода этого он не ожидал, и был обрадован, и вместе с тем смущен: не догадался приготовить стол для подобающего случая и теперь суетился, стараясь поскорее что-либо сделать. Как раз в это время и раздался сигнал тревоги. Капитан и его помощник бросились на мостик, а стармех и второй механик - в машинное отделение.

Члены экипажа бежали по палубам в разные стороны. Непосвященному человеку могло показаться, что они спасаются бегством. Но капитан видел, что каждый бежал на свое место по "Расписанию". И только женщины и дети не знали, куда деваться. Они бросились к трапу, но тут же отпрянули: трап был охвачен огнем.

Первая команда капитана и относилась к ним. Из всех репродукторов принудительной трансляции по всему судну раздался его приказ: немедленно на корму, без паники спускаться по штормтрапу, боцману и двум матросам обеспечить эвакуацию.

Второй приказ капитана - качать пенную атаку - был отдан для того, чтобы подтвердить правильность действий экипажа, ибо атака эта уже началась. Били лафетные стволы, брандспойты, пеногонные аппараты.

Женщины и дети устремились к корме. Четырехлетняя Люда звала отца, не понимая, почему он бежит куда-то, хотя видит ее. Матрос Витя Кернасюк обернулся, беспомощно посмотрел на дочь, хотел что-то крикнуть в ответ, но бегущий рядом подтолкнул его, и он, так и не найдя слов для дочери, побежал дальше и скрылся за надстройкой.

Семьи экипажа сбились в куче на корме. Дети не плакали. Они были серьезными. Никто не суетился и не рвался вперед. Возможно, потому, что несчастье было большим, или на всех повлияло поведение моряков.

Они просто работали, пряча свой страх перед взрывом.

Без шума, деловито, быстро. То и дело раздавались команды с мостика. Ясные и уверенные.

Видимо, трудно бежать с судна или вдаваться в пакику, когда вокруг родные и близкие в пламени ведут борьбу с огнем. Ни одна из женщин не крикнула мужу, чтобы берег себя или не лез бы в это пекло. Почему не плакали дети - трудно сказать. Не плакали, и все.

Скорее всего обстановка, страшная и деловая, оказывала на

них воздействие.

Никто не устанавливал очереди у штормтрапа. Но очередь была. Вне зависимости от того, кто пришел раньше, каждая занимала положенное ей место, будто об этом была договоренность. Сначала снимали маленьких детей и их матерей, потом детей постарше и, наконец, самых старших. Женщины без детей становились в сторонку, чтобы сойти в последнюю очередь. На пирс детей спускали по одному. Матрос, стоявший на штормтрапе, одной рукой прижимал к себе ребенка, которого ему подавал боцман, и спускался вниз, перехватывая балясины трапа второй рукой. На пирсе тоже стоял матрос, который принимал ребенка. А дальше, под прикрытием водяных вееров, которые устроили пожарные, матери и дети бежали на берег.

Варвара Николаевна, услышав пожарные сигналы, схватила белье и побежала в каюту. Поступила она так от растерянности, потому что белье незачем было сюда нести, да и делать в каюте нечего. Накинув на плечи пальто, тоже побежала к корме. И теперь, стоя здесь и наблюдая эвакуацию, видя, как быстро распространяется пламя, думала, как бы помочь, но понимала, что ее помощь морякам не нужна. Она решила, что вполне сможет принимать внизу детей вместо матроса, и он высвободится для тушения пожара. Она не знала, как спуститься вниз, чтобы не лезть по штормтрапу впереди детей.

Обернувшись по сторонам, увидела толстый канат, укрепленный на палубе за кнехт и переброшенный через борт. Второй его конец свисал между пирсом и бортом судна.

Варвара Николаевна - бывшая спортсменка. У нее сильные руки, на которые можно положиться. Повесив на какой-то крюк сумку, перелезла через планшир и, ухватившись за канат, стала спускаться. Пальто мешало ей. Спустившись на несколько метров, посмотрела вниз, чтобы нащупать ногами пирс. Глядя на пирс и крепче сжимая канат, медленно перебирая руками, уже готова была встать. Но она сорвалась и полетела вниз.

Не потому, что ослабли руки или устала. Она не заметила, что нижняя часть каната была покрыта толстым слоем сгустившейся нефти. Тут и акробат не удержится.

Варвара Николаевна могла разбить голову о пирс или о корпус судна, если бы зацепилась за что-нибудь.

Но упала она удачно, как раз в узкий промежуток между пирсом и бортом. Вода здесь была покрыта нефтью, по которой приближалось пламя. Варвара Николаевна скрылась под водой.

Пожар разгорался. Водяные и пенные струи с пирса и танкера гудели и бились о палубу и надстройку, взвивались арками. Водяной пылью заполнился воздух, образуя множество красиво

пересекающихся радуг.

...Когда начался пожар, стадион, находившийся поблизости, был полон. Шла отчаянная борьба между командой порта и ростовской "Стрелой". Обстановку здесь можно не описывать: болельщики футбола везде одинаковы. Но мне рассказывали, что туапсинцы по экспансивности достигают уровня бразильцев. Видимо, это неправда, потому что бразилец не уйдет со стадиона, если даже загорится его собственный дом. Здесь же весь стадион ринулся на нефтепирс, как только поднялся в небо черный дым.

Со всех улиц и площадей толпами бежали люди, загораживая пути пожарным машинам. Многие прорвались на пирс и полезли в гущу огня. Вереницы добровольцев бесконечным потоком шли с ящиками ПОЕНОГО порошка в головную часть пирса.

Пожарные, добровольцы, военные моряки тушили пожар. На пирсе было много людей, и несколько человек заметили, как упала в воду Варвара Николаевна.

Она скрылась под водой, но тут же всплыла. Волосы, лицо, руки были покрыты нефтью.

Вытащить ее удалось быстро, потому что на помощь бросились пятеро здоровых ребят. Они же и отвели ее в больницу.

Илья Вуколович Трегубенко, как и положено первому помощнику, почти все время был возле капитана.

Выполняя какой-то приказ капитана, он побежал на бак. Увидел на крюке сумку жены, увидел, как вытащили из воды всю черную от нефти Варвару Николаевну. У него не было времени подбежать и узнать, что случилось, не разбилась ли она. Он бежал на бак, то и дело оборачиваясь, чтобы увидеть, пойдет ли она сама или ее понесут. Его раздражало, что по всему судну несутся сигналы пожарной тревоги. Это сработала автоматическая система пожарных сигналов, и никто не догадается выключить ее, будто и так не ясно, что на судне пожар.

...Вдоль бортов над палубой выступают расширители танков. При погрузке в расширителях скапливаются легковоспламеняющиеся пары нефти, которые выходят в атмосферу через смотровые глазки. На солнце видно, как струятся эти пары. Они идут не только вверх, но и в стороны.

Пламя, охватившее борт, подбиралось к расширителям. Взрыв должен был произойти еще до того, как эвакуировались женщины и дети. Взрыва тогда не последовало, потому что вахта заметила пожар в то мгновение, когда он возник, а в следующие секунды матросы Алеша Посметный, Володя Диденко и моторист Митрофан Хурда, определив точно главную угрозу, ринулись в самое опасное место, успели закрыть глазки.

Выход паров нефти и доступ огня в танки были отрезаны. Но пары нефти оставались и накапливались в железных расширителях. Достаточно было им немного нагреться, и взрыв оказался бы неизбежным.

Эту вторую возможность взрыва в начале пожара предотвратил вахтенный штурман Георгий Любич. Он так же точно определил, где главная опасность в даыную минуту, и приказал открыть пожарные рожки, орошающие палубу, и направить на расширители мощные струи из лафетных стволов. Вода охлаждала расширители и мешала пламени пробиться к ним.

Третью возможность взрыва предотвратил капитан, приказав главный удар всех средств тушения направить не туда, где огонь в данную минуту был наиболее сильным, но не угрожал взрывом, а в места, омываемые изнутри нефтью или ее парами, чтобы не дать им нагреться.

Горел борт, левая сторона надстройки, двенадцать кают, крыло капитанского мостика. Пламя охватывало шлюпочные лебедки, спасательный мотобот, амбулаторию. С треском лопались иллюминаторы, открывая доступ огню во внутренние помещения. В каюте первого помощника загорелась груда пересохшего белья, которое, так и не успев погладить, бросила на стол Варвара Николаевна.

В воде и пене, прорываясь сквозь пламя, орудовали брандспойтами матросы Посметный, Кернасюк, Диденко, мотористы Чермак, Лисица, Хурда. Отбивали огненную атаку Любич и Невечеря. В машинном отделении, не зная, что стало с женами и детьми, что делается наверху, работали старший механик Токарев, мотористы Байдун и Николайчук.

Вентиляторы гнали в машинное отделение не чистый воздух, а черный дым, который окутывал судно.

Вентиляцию отключили, но поздно. Дымом наполнилось все машинное отделение. С мостика раздался приказ приготовить машину, и в накаленном воздухе, в дыму люди готовили к запуску главный двигатель. Экипаж машинной команды действовал на ощупь, потому что сильные электрические лампочки не могли пробить густого черного дыма. Дым проникал в легкие, резал глаза, и люди кашляли до тошноты.

На полную мощность работали электродвигатели насосов, компрессоров. В ход были пущены все средства противопожарной защиты. Механики держали максимальное давление в магистралях, в стволах, брандспойтах, рожках, в системе орошения.

Потом все компрессоры и насосы остановились.

Брезентовые рукава обмякли, потому что прекратилась подача воды и пены. Пламя бросилось на палубу и переборки, захватывая новые участки.

Матросы беспомощно озирались и кричали:

- Воду! Воду давай!

- Давай пену!

Они все еще держали шланги и брандспойты, не зная, что делать.

Капитан на мостике и старший механик в машине одновременно схватились за телефонные трубки: один вызывал машину, второй - мостик. Один - чтобы спросить, что случилось, второй - чтобы доложить, что случилось.

- От перегрузки сработала автоматическая защита, сгорели предохранители и двигатели отключились, - сообщил стармех. - Электромеханик струсил, куда-то сбежал.

Капитан бросил на рычаг телефонную трубку.

Включить двигатели - дело одной минуты. Но дело это электромеханика.

Через несколько секунд по всему судну из репродукторов принудительной трансляции раздался голос капитана:

- Палубному электрику Ковганичу немедленно в машинное отделение на место электромеханика.

Капитан повторял свой приказ, но это было уже ни к чему. Ковганич бежал, перепрыгивая через трубы и шланги, удерживаясь руками за перила, скатывался с трапов, пока не ворвался в машинное отделение.

Дым ударил в глаза. Запершило в горле. Что-то крича, задыхаясь, Ковганич на ощупь пробирался к электрощиту.

Вскоре вздрогнули и рукава брандспойтов. Люди ринулись в атаку на огонь.

В эти критические минуты перед капитаном Турецким встала проблема, которую он не знал, как решить.

Он не знал, оставаться ему на месте или уходить в открытое море. На всякий случай повторив свой приказ машинной команде приготовиться к отходу, он не решался трогаться с места. Он видел, что пожарные машины заполнили нефтегавань, видел их реальную помощь. Начальник порта И. Шаповалов и начальник городской команды И. Аксенов организовали на тушение пожара уйму людей, в их распоряжении мощная техника, большие запасы пенного порошка. Если отойти от причала - значит лишить себя столь мощной поддержки. Против отхода был и хорошо известный опыт тушения пожара на танкере "Волга-нефть", непосредственно у причала.

Но капитан Турецкий понимал и другое. Недегазированный

танкер "Сигни" может взорваться в любую минуту. Танкер "Лиски", имея на борту более двадцати тысяч тонн сырой нефти, тоже мог взорваться и стать очэгом гигантского пожара, что представляло угрозу городу. И времени на решение этого вопроса у кегпимна не было.

С пульта управления стармех Токарев доложил:

- Машина к пуску готова.

В ту же минуту раздался в машине звонок. Сквозь дымную завесу взглянул Токарев на освещенный изнутри диск телеграфа. Стрелка метнулась и, дрогну з, замерла на секторе: "Полный вперед".

Это приказ капитана. Это значит - он решил уездить горящее судно в море.

Токарев быстро перевел рычаг телеграфа на сектор, указанный стрелкой. Звонок оборвался: приказ принят, понят, повторен.

Перед тем как отдать приказ "По мши вперед", капитан скомандовал людям на баке и корме:

- Рубить все концы!

Отдать концы с пырса не было возможности, потому что вокруг бушевал огонь. Два конца отдали на б"

ке, остальные обрубили. Судно удерживалось чэтырьмя шлангами; по которым качают нефть. Их оборвали, дав машине полный ход.

Только теперь капитан обратил внимание, что у штурвала нет старшего рулевого Абрамова. Он не явился на свой пост по сигналу тревоги. Он и не тревожился, Валерий Абрамов. Он сидел со своими друзьями в ресторане. Народу было мало, тихо играла музыка, улыбались официантки. Хотя Валерий почти весь день бродил с ребятами по городу и все хотели есть, официантку не торопили. Они отдыхали. Им было хорошо. Когда она появилась с полным подносом, всэ пришло в движение.

Увольнение у Валерия до девяти часов, и он может спокойно сидеть в ресторане, и ему неинтересно, как некоторым зевакам из зала, выскакивать на улицу и узнавать, что за шум. Но сквозь шум до него донеслось:

- Нефтепирс горит!

Валерий рванулся к окну. Черный дым поднималст со стороны гавани. Валерий бросился к выходу. В такси, стоявшее у входа, садились трое.

- Уступите, прошу вас, мой танкер горит, - взмолился Валерий.

Молча отступили трое. Машина понеслась. Остановились далеко от нефтегавани: сквозь толпы людей ыэ пробиться.

Валерий с раздражением шарил по карманам, забыв, куда девал деньги.

- Да ты что! - закричал на него шофер. - Беги! - И он подтолкнул пассажира.

Перед Валерием открылась нефтегавань: объятые пламенем танкеры, горящий пирс, бесчисленное количество пожарных. Спасательные и пожарные суда, мотоботы, и над всем этим десятки водяных арок, образованных брандспойтами и лафетными стволами. Перед ним открылась картина грандиозного пожара.

Горел родной "Лиски".

Валерий пробивался к гавани сквозь толпу. Когда он выскочил на пирс, рухнули остатки сгоревшего трапа. Откуда-то из толпы вынырнул старший штурман Леонард Арсеньевич Позолотив и бросился к штормтрапу. Вслед за ним - механик Борис Михайлович Петров. Они тоже были в увольнении.

Штормтрап лизало пламя, когда ухватился за него Валерий. Судно отходило от причала. Кто-то сверху сбросил новый штормтрап, но Валерий успел уже вскочить на борт. Не останавливаясь, прыгая через шланги, понесся на ходовой мостик.

За штурвалом стоял штурман.

- Разрешите, - виновато обратился к нему Валерий.

В гуще событий оказался старпом Позолотин. Механик Петров помчался в задымленное машинное отделение.

Обрывая, как нити, оставшиеся необрубленными швартовые концы и нефтеналивные шланги, судно отошло от пирса, винтами отгоняя пламя на воде. Из жерл нефтяных шлангов, свесившихся за борт, били огненные струи, точно из реактивного двигателя. Танкер уходил от мощнейших береговых средств тушения пожара. Уходил, чтобы не погубить порт и, если придется, погибнуть одному. С берега смотрели на горящий танкер, ка огненные струи оборванных рукавов се":ьи экипажа.

Едва "Лиски" отошел, как у его левого борта потвился морской буксировщик "Дедал". Это был отчаянный шаг маленького экипажа, рисковавшего жизнью, ко он сыграл решающую роль для жизни "Лиски". Буксировщик направил водяные струи на борт танкера и, двигаясь за ним, сбивал пламя с этой почти недоступной для самого танкера площади, охваченной огнем.

"Дедал" бесстрашно следовал за судном, готовым взорваться, и окатывал водой надстройку, каюты, переборки.

На судно не успели попасть десять членов экипажа, находившихся в увольнении. Раздобыв где-то катер, они готовы были отчалить вдогонку "Лиски", когда их остановил крик

судового врача Любови Родионовны Смирновой.

- Меня подождите! - кричала она, подбегая к причалу.

- Куда вам в такое пекло?! -махнул кто-то рукой и, обращаясь к мотористу, скомандовал: - Пошли!

Катер оттолкнули от причала, и все увидели, как эта немолодая женщина в каком-то неестественном и страшном прыжке полетела за борт.

- Как вам не стыдно?! - чуть не плача, упрекала она товарищей, успевших подхватить ее на руки.

Катер подходил к борту "Лиски". Опасность взрыва еще не миновала. С палубы кто-то кричал:

- Назад! Немедленно назад, капитан запретил подниматься.

Это был приказ капитана, который отказался выполнить экипаж. Первым ухватился за штормтрап комсорг Валя Кирсанов, потом штурман Синеокий, Пилипенко, за ними потянулись Смирнова, Шевченко, Перекрест, Ревтов...

С полным составом экипажа "Лиски" уходил на внешний рейд. Задыхаясь в дыму и жаре, держала максимальные обороты машинная команда. Снова включили вентиляторы, и стало легче. Матросы и штурманы добивали гаснущее пламя.

- Спасибо за помощь! - кричал капитан в мегафон, махая рукой буксировщику "Дедалу". - Теперь сами справимся, опасность миновала.

Капитан "Дедала" Сигидов взял курс к пирсу.

Английское судно, стоявшее далеко на рейде, забило огненным тире, вызывая "Лиски". И начальник радиостанции Николай Невечеря принял:

"Восхищен вашей героической борьбой с огнем.

Поздравляем с победой над грозной стихией. Капитан "Оверсиз Эксплорер".

Что же происходило на пирсе и на "Сигни", пока шла борьба с огнем на советском танкере?

Во время стихийных бедствий самое страшное - паника, растерянность, неорганизованность. И еще страшно изобилие командиров, советчиков, консультантов, добровольно берущих на себя эти функции вне зависимости от возраста, опыта и квалификации. Изгестно огромное количество случаев, когда на борьбу с бедствием выходят сотни и сотни людей, которые легко могли бы победить стихию, но терпят поражение из-за неорганизованности, оттого, что нет уверенной направляющей силы, не определены очаги главной опасности и каждый отдает команды, которые лично ему кажутся наиболее целесообразными, хотя видит он только ограниченный участок борьбы, часто не решающий, десятистепенный.

В первые минуты после начала пожара, одновременно с первыми приказами пожарным, был создан штаб по борьбе с огнем, который расположился на горяшем пирсе. И все теперь было подчинено его воле, на себя он взял всю полноту власти и всю меру ответственности.

Штаб знал, какими мощными противопожарными средствами оснащен танкер "Лиски", видел, как организованно идет там борьба с огнем. Стало ясно, что главная опасность - "Сигни", брошенный экипажем, недегазованный "Сигни", все танки которого заполнены взрывоопасными газами.

Сосредоточив пеногонные установки в центре пирса, начальник городской пожарной команды И. Аксенов бросил главные свои силы в атаку на "Сигни", а остальную часть - на пирс. В следующую минуту связался по телефону с Краснодаром и получил подтверждение, что в Туапсе вышли спасательные суда Новороссийска, Батуми, Поти, Сочи.

Были проложены километры рукавной линии по всей длине пирса, параллельными полосами. Под давлением десять атмосфер пожарные заламывали тяжелые рукава и наращивали их, чтобы дотянуться до "Сигни".

На танкере не было ни груза, ни балласта, ни запасов топлива. Значит, и не было у него почти никакой осадки. Над водой возвышался весь его корпус. От пирса до палубы больше десяти метров. И ни одного трапа ка палубе - все сгорело.

Пробиться на пирс с пожарной машиной-лестницей не представлялось возможным. И люди со шлангами ринулись на "Сигни" кто как мог. Это была акробатическая работа в огне. Цепляясь за выступы, за какие-то обрывки канатов, пожарные и рабочие порта, помогая друг другу, карабкались вверх по горящему борту. Сбивая пламя вокруг них, расчищая от огня путь, рушились на борт удары брандспойтов.

Метался на горящем судне единственный человекмолодой и смелый капитан "Сигни" Якоб Доннинг. Он сбрасывал людям канаты, помогал взбираться наверх.

Рвались ракеты на спардеке, иллюминируя судно, что-то падало, грохотало, гремело. Кричали люди в мегафоны, отдавая и принимая команды с пирса, с "Лиски", с катеров и буксиров. И над всей гаванью клубился черный дым. С десятков иностранных судов, стоявших на внешнем рейде с разведенными парами, готовых в любую минуту ринуться в открытое море, уставились с биноклями и подзорными трубами десятки моряков. Тысячи жителей города заполнили берега, крыши домов, балконы.

Пламя подбиралось к расширителям. Глазки на них были открыты. Может быть, это случайность, но люди обогнали стихию

на секунды. Несколько секунд оставалось, чтобы пламя достигло расширителей. Это неизбежно вызвало бы взрыв. Но с трех сторон ударили брандспойты. Вода и пена смяли, оттиснули огненные языки от расширителей и других взрывоопасных мест.

Это был первый и решающий рубеж, была предотвращена первая возможность взрыва. Атака воды и пены распространялась на капитанскую каюту, штурманскую и радиорубку. Люди вышибали иллюминаторы и заливали пламя в помещениях.

Пожарный катер "Стремительный", заняв место "Лиски" у причала, бил через пирс по левому борту "Сигни", по надстройке.

Концы на "Сигни" были обрублены в самом начало пожара, и его удерживали четыре толстых гофрированных рукава, поданных с пирса для погрузки солярки.

Постепенно рукава обгорели и разорвались. Под давлением брандспойтов со "Стремительного" и отжимного ветра танкер начал отходить от пирса. Катер немедленно отвел брандспойты, но "Сигни" продолжал двигаться. Пожарные рукава стали вырываться из рук людей, находившихся на борту, и они лишились воз(можности управлять водой. Отогнанное от расширителей пламя, ничем больше не гасимое, под силой ветрл снова поползло к ним.

Понимая вновь создавшуюся угрозу взрыва, "Стремительный" обошел пирс и встал между пирсом и бортом "Сигни", чтобы, следуя за танкером, продолжать борьбу с огнем.

Морской буксировщик "Дедал", гасивший пламя на воде близ правого борта "Сигни", увидев, что танкер отходит, и понимая, какая возникает опасность, бесстрашно подошел вплотную к "Сигни", уперся носом в его борт и начал подталкивать танкер обратно к пирсу. И все увидели, что это огромное судно вот-вот навалится на пожарный катер "Стремительный", прижмет его к железобетонному пирсу и раздавит.

- Назад! - раздались десятки голосов, обращенных к "Стремительному". Люди махали руками, показывая на возникшую опасность.

Капитан "Стремительного" Виктор Пянзин и сам понимал, в каком оказался положении. Понимал, что должен немедленно дать задний ход. Но сделать этого не мог. Катер не имел заднего хода. Вернее, не было возможности включить задний ход.

Как же такое могло случиться?

Когда раздался первый сигнал пожарной тревоги и горел только пирс, "Стремительный" стоял на ремонте в маленькой бухточке у тихого причала. Это был заранее запланированный ремонт, но в день бедствия работы там не производились, потому что было воскресенье. Часть команды ушла на берег.

"Стремительный" не мог тронуться с места: двигатели разобраны, механик Василий Железняк смотрит футбол. Там же, на стадионе, матрос Борис Чернышев и другие члены команды.

Естественно, капитан "Стремительного" Виктор Пянзин не мог участвовать в тушении пожара. Конечч но, было обидно, что специальное пожарное судно в та"

кой момент должно стоять, но рассчитывать на него не приходилось.

Как только раздались гудки пожарной тревоги, Виктор Пянзин скомандовал:

- Отдать концы!

Матросы Петр Дьяченко и Владимир Трегубов переглянулись.

- Двигатели же разобраны, - сказали они в один голос.

- Отдать концы! - закричал Пянзин.

Ребята с недоумением отдали концы с кормы и бака и только тогда поняли, что затеял их капитан. Он направил в воду со стороны кормы две мощные струи из лафетных стволов, превратив свое судно в реактивное.

Пока катер шел к нефтепирсу, ребята собирали двигатели, но дело не ладилось, так как не было механика Железняка. Но вместе со всеми, кто был на стадионе, Железняк помчался в порт. Не к пирсу, а к месту стоянки своего катера. Не найдя его там, упросил капитана какого-то гидрографического бота подъехать к нефтегавани. Вскочив на свое судно, Железняк прежде всего взялся за левый двигатель, в котором было нарушено сцепление. Вскоре катер обрел ход. Он, как и подобает "Стремительному", быстро маневрировал, сбивая пламя на пирсе и на "Сигни".

Вскоре примчался из города на мотоцикле матрос Борис Чернышев. Бросив мотоцикл, побежал на пирс, где его и заметила команда "Стремительного". Прибыл и радист Лев Паас, матрос Володя Бурохов, прыгнул на борт даже бывший член команды Иванов. С полным составом экипажа "Стремительный" продолжал борьбу с огнем. Но двигатели были собраны поспешно, на живую нитку, и переключение на задний ход вышло из строя как раз в тот момент, когда катер оказался между пирсом и надвигавшимся на него танкером "Сигни".

Раздумывать было некогда, и капитан крикнул:

- Самый полный вперед!

"Стремительный" проскочил в узкую щель перед тем, как "Сигни" прижался к пирсу. И хотя это была страшная минута, зато катер оказался на чрезвычайно выгодной позиции и с новой силой ринулся на огонь танкера.

Все пожарные действовали смело и решительно. Так им и положено действовать по службе и по уставу. Они выполняли

свой служебный долг.

Ну а больше ста добровольцев, находившихся в самой гуще огня, близ готовых взорваться танкеров? Что руководило этими людьми? Они шли на смертельный риск. Шли сознательно, добровольно, бесплатно. Никому бы не пришло в голову обвинить в чем-либо членов экипажа "Лиски" Позолотина, Абрамова, Петрова, находившихся в увольнении, если бы и не успели они примчаться на горящее судно. Тем более не могло быть претензий к врачу Смирновой и всей группе, тоже находившейся в увольнении и опоздавшей к отходу "Лиски" на рейд. Но они догнали свой опасный танкер и вопреки приказу капитана поднялись на борт.

Их действия можно понять: горел их танкер. Но почему ринулись в огонь инженер-конструктор судоремонтного завода А. Горчаков, главный инженер этого завода А. Приходько, рабочие завода В. Богуславский, А. Тимченко, главный инженер порта В. Солонов и десятки других людей?

Кто звал их на этот смертельный риск? Кто звал экипаж "Стремительного", стоявшего в ремонте с разобранными двигателями? Они ведь понимали, что "Сигни" может вот-вот взорваться, но именно сюда они пришли.

Они подчинялись только одному зову - зову сердца советского человека.

В 18.40 капитан "Лиски" Михаил Андреевич Турецкий записал в вахтенном журнале: "Пожар на судне полностью ликвидирован". Спустя несколько часов капитан "Сигни" тоже сделал запись в своем вахтенном журнале: "Около полуночи экипаж был доставлен властями на борт после того, как пожар был полностью ликвидирован".

1965 год

ВЕРА

Баки были пусты. Не хватило нескольких секунд, одного рывка. Слишком долго Николай Борисов отбивался от истребителей, пока не ушел с вражеской территории. Опасность миновала, он смог спокойно оценить обстановку. Точно определил, где упадет машина - на камнях, близ прифронтового аэродрома. Оставался единственный выход - парашют. К прыжку готовился медленно. Было жаль машину.

Весь бой провели вместе, ни разу не подвела. Захлебываясь, из последних сил, взмывала, опровергая несовместимость понятий "из последних сил" и "взмывала". Пикировала в облака, если они оказывались внизу, и, прикрытая ими, резко меняла курс, выскакивая там, где ее не ждали. От перегрузок вибрировала, дрожала, готовая развалиться, и все-таки успевала

поливать огнем врага. Едва ли даже конструкторы знали, какие в ней заложены силы.

Теперь за ними никто не гнался, но сил она лишилась. Она еще держалась в воздухе, опустошенная, в бесчисленных рваных ранах. Беспомощная, беззащитная, обреченная. Планировала в сторону аэродрома, быстро теряя высоту, приближалась к каменным грядам.

Он понимал их положение. Надо спасаться одному, или погибнут оба. Твердо решил прыгать, но все еще медлил.

Он знал, что на войне бывает чудо. Это была единственная его защита против безрассудной мысли не покидать друга. И он уцепился за нее. Они шли над самой землей - и машина попыталась приподнять грудь, чтобы врезаться в камни не головой. Он виделпрыгать теперь поздно, и на душе стало легче: избавился наконец от проклятого вопроса: покидать ее или нет?

До того, чтобы произошло чудо, оставалось несколько секунд. Маленький рывок, и он достиг бы взлетной дорожки. Именно этих секунд не хватило. Чуда не свершилось. 19 часов находился без сознания. На операционных столах немного меньше. В госпиталях - долго. Машина поднялась в воздух спустя два месяца.

Потом Николаю Георгиевичу Борисову дали эскадрилью, во главе которой он и улетел в гвардейский бомбардировочный авиационный полк. Большую часть орденов и званий полк получил уже при Борисове, и к этим наградам он, Борисов, имел прямое отношение.

Ветеран полка Виктор Онучак командовал звеном в эскадрилье Николая Георгиевича и рассказал о нем подробнее.

- При пикировании бомбы бросает не штурман, а летчик, - начал он. - Чем круче угол, тем точнее попадание. Борисов с большой высоты чуть ли не под прямым углом в пике бросался. Раньше на законном основании пикировщики по одному выходили на цель. Это создавало удобства немцам. Ясно, что за первым пойдут следующие, зенитчикам легче приноровиться. Борисов, обучив ребят, пошел в пике звеном. Тройка должна была входить в пике и выходить из него, будто закрепленная на одной раме. Спустя короткое время всю эскадрилью в пике бросил.

Это и есть высшее мастерство, и пошло оно от Борисова.

Пикировать не всегда позволяла погода. А в обычной бомбежке есть самые важные 30-40 секунд и самые опасные для пилота. Идешь на цель, и начинают бить зенитки. В такой момент очень хочется увеличить скорость, поскорее уйти от огня. Малоопытный ведущий или у кого нервишки послабее так и делает. Хоть и рванешься за ним, а не всегда догонишь. Иное звено и вовсе отстанет. На него и набросятся.

У майора Борисова в такой момент нервы как изоляцией обмотаны. Ни за что не прибавит скорость, хотя знал - в нашей эскадрилье не отстанет никто. Но тогда двигатели будут реветь на пределе и запаса мощности на рывок или другой маневр не хватит. А маневру под огнем он придавал решающее значение. Тут за ним, как за броней, не зевай только повторять его движения. Строй рассредоточит и маневрирует. Да не просто из стороны в сторону, а с умом. Видит, к примеру, разрывы слева, ясно, надо правее брать, подальше от них, а он, смотришь, прямо на те вспышки. Следующие уже далеко справа трещат. Пока они там внизу к его характеру все пересчитают, он новый немыслимый маневр придумает, который вроде бы против логики идет. И вся девятка за ним. Хоть стену зенитную ставь, все равно Борисов прорвется через нее со своей эскадрильей.

Завидев цель, допустим, вражеский аэродром, штурман направляет на него машину, подсказывая летчику - два градуса правее или там три градуса левее. Он на аэродром смотрит по крестику, вроде в полевой бинокль. Как только вертикальная черточка пойдет по центру аэродрома, дает знак командиру "Боевой". В ожидании, пока горизонтальная тоже пересечет аэродром и он окажется перечеркнутым вдоль и поперек и штурман выпустит бомбы, проходят те самые секунд 30-40, в течение которых отклониться от курса нельзя ни на миллиметр. Ну, а как быть, если в эти 30-40 секунд по тебе бьют трассирующие и понимаешь - следующий снаряд твой?

-Тут позарез маневр нужен. И Борисова - мастера маневра - в эти секунды никакая сила не заставит ни на какой маневр идти. Понимает, сманеврируешь, сохранишь жизнь, но бомбы пойдут мимо. Если же - в цель, это спасение многих жизней советских воинов, пусть хоть самое крохотное, но движение к победе.

Об этом Борисов не говорил, но его убежденность передавалась нам.

При налете истребителей он строй сомкнет, и мы круговую оборону держим. Борисов знал: от его приказа никто не отступит - защищай не себя, а соседа.

Оно виднее и удобнее бить по тому, кто на соседа идет. Правда, тут надо от инстинкта самосохранения отрешиться. Но на это у нас хватало воли, мы глубоко верили друг в друга.

Жена Борисова - Маша Кириллова была командиром звена пикирующих бомбардировщиков в полку Марины Расковой, и не раз случалось ей вместе с Борисовым идти в бой, поскольку их полки входили в одну дивизию и базировались на одном аэродроме.

Тогда они еще не знали, что поженятся.

Биографии у них схожи. В 20 лет Маша стала летчиком-инструктором. Пока пробивалась на фронт, пока наконец пришла радостная телеграмма от Марины Расковой с вызовом, она успела подготовить 78 военных летчиков.

В свои 22 года Маша знала, что такое бой и что та"

кое смерть. И всю войну она шла на бей и на смерть.

Многое в ее биографии забылось, стерлось временем. Кто, например, вспомнит ее бомбежку вражеских складов в мае сорок третьего, когда, вернувшись, предъявила снимки "дела рук своих" - трех очагов грандиозных пожаров, и предъявила дело рук вражеских- 57 пробоин на теле своей машины. Только одной строчкой помечено это в ее уже пожелтевших наградных листах.

А перечислено там немало. Впрочем, не только там.

В том же 1943 году командование Военно-Воздушных Сил СССР поставило в пример всему личному составу эскадрилью Е. Тимофеевой, где Маша - тогда только командир экипажа - и Тоня Скобликова были главными героинями. После бомбежки самолет командира звена Маши Долиной подбили, и он загорелся. Можно ли помочь горящей над вражеской территорией машине, тем более что добивать ее бросились два истребителя? А разве можно бросить горящую Машеньку одну?

Кириллова и Скобликова прикрыли ее собой, направив на истребители все огневые средства. Долина дотянула до своей территории, где и приземлилась в плавнях. Они же все прикрывали ее, пока от их огня не рухнул истребитель, а второй не ушел на разворот.

Недавно я был у них дома в Паневежисе. Маша осталась красивой и сильной. Она член партийного бюро на заводе "Экранас", где работает, член Советского комитета ветеранов войны, уже второй созывдепутат горсовета.

Почему Паневежис? После демобилизации решили остаться здесь, где впервые встретились, на земле Прибалтики, которую хорошо знали по военным картам, за освобождение которой сражались, где вместе вынесли тягчайшие дни войны.

Все шло хорошо. Появились дети - два сына и дочь.

Они любили рассматривать фронтовые снимки родителей. Особенно нравилась фотография Героя Советского Союза Сергея Люлина, который летал вместе с отцом.

Спустя лет шесть после войны именем Аюлина назвали улицу в Риге и сверхмощный траулер, А Николая Борисова примерно в то же время исключили из партии.

Маша сама прочитала решение об исключении.

Домой возвращалась убитая. В длинной преамбуле говорилось о том, что Борисов Н. Г. выдал врагу государственную

и военную тайну, рассказал о расположении и численности самолетного парка, боевых задачах, запасах горючего, раскрыл место дислокации и район действия своего авиаполка, 3-й и 5-й авиадивизий 5-го авиакорпуса, 3-й воздушной армии, назвал фамилии командиров.

Когда вернулась, Борисов сказал:..

- Ты не верь, Маша...

Генеральное сражение за освобождение Прибалтики было решено начать 14 сентября 1944 года, в частности, разгромом всех ее аэродромов. Немцы понимали, что удар будет и главные силы Советское командование направит на Рижский аэродром. Поэтому, ослабив другие участки, стянули на рижский плацдарм более двух зенитных дивизий, многочисленную береговую и корабельную зенитную артиллерию, более ста истребителей. Советская разведка знала об этом. И командование решило: к Рижскому аэродрому пробиться малыми силами, связать боем все средства обороны противника, решающий удар с воздуха нанести на других направлениях.

"Малые силы" - понятие количественное. Для того чтобы выполнить задачу, требовались лучшие силы.

Выбор пал на полк, где служил Борисов. Ну что же, война есть война. И кроме главного, на войне бывает везение или невезение. Полку не повезло до того, как он поднялся. Стоял удивительно ясный и тихий день.

Небо было высокое и чистое, без единого облачка.

Условия идеальные для обороны и наихудшие для нападения.

Полк пошел на цель под защитой 36 истребителей, зная, что его ждет. Навстречу поднялись 56 "фоккевульфов" и десятка два других истребителей. Падали машины и с крестами, и со звездами. По сигналу длинных шлейфов красных ракет немецкие истребители разлетелись. Ударили зенитки. "Стреляло все, - рассказывал мне участник боя подполковник запаса Владимир Наркевич. - Зенитная артиллерия всех калибров с суши и кораблей. До 600 одновременных разрывов, сухой треск которых заглушил шум моторов. Казалось, мы попали в густую сеть, узелками которой были непрерывные разрывы снарядов".

Полк просочился сквозь сеть. И снова - истребители. Командир полка Григорий Николаев смыкал строй, не давая "фокке-вульфам" рассеять его. Николаев и поразил цель первым. Очень дорогой ценой. Бросил на аэродром свой горящий самолет с бомбовым грузом в 1150 килограммов. Вместе с ним погиб Герой Советского Союза штурман Сергей Люлин, летавший раньше с Борисовым.

При подходе к цели на высоте 5000 метров от разрыва

крупнокалиберного снаряда под самолетом Борисова был убит стрелок-радист Сергей Евтихеев. Борисов отбивался вдвоем со штурманом, пока не настали эти 30-40 секунд. Машина шла точно на цель и точно сбросила бомбы. Но те секунды немцы не прозевали.

Машина загорелась.

Следующим снарядом убило штурмана Николая Нетребенко. Новый удар перебил левую подмоторную раму, и мотор перекосило. Борисов не терял надежды уйти, отбиваясь теперь один. Очередной снаряд разбил приборную доску, и вышли из строя все приборы управления и контроля. Защищенный бронеплитой, Борисов серьезных повреждений не получил. Осколки попали только в лицо. Глаза заплыли кровью. Но теперь все равно он не мог больше вести изуродованную, горящую, неуправляемую машину. Не мог даже направить ее на вражеское расположение.

Выбросился с парашютом, и его сильно ударило о хвостовую часть. Очнулся под немецкий говор. Карман, где лежали партийный билет и удостоверение личности командира эскадрильи, был пуст. Значит, немцы знают, кто он. Это была вторая мысль после того, как пришел в себя. Первая - он в плену. Кобура тоже оказалась пустой.

Борисова отправили в лагерь военнопленных. Бомбовые удары нашей авиации он слышал часто. Несколько месяцев спустя раздались залпы артиллерии.

Значит, скоро. Борисов подобрал пятерых наиболее надежных ребят, и вместе они вырыли нишу в заброшенном сарае, где, прижатые друг к другу, пролежали двое суток. Вскоре пришли свои.

Борисова месяц держали в госпитале, потом послали в запасной полк. С ним часто беседовали, и он понял: проверяют. Обижаться не приходилось, по-разному люди вели себя в плену. Проверка длилась три месяца. Сверяли документы, захваченные у немцев, и показания свидетелей.

Борисову выдали новый партбилет взамен утраченного, снова дали эскадрилью, но воевать не пришлось, война кончилась.

Шли годы. И выплыл из каких-то архивов обширный доклад немецкого обер-лейтенанта, на котором расписался и его командир, начальник штаба 1-й возДушной армии Аллоис, доклад, составленный, как в нем говорилось, на основе допросов военнопленных, в том числе Борисова. Доклад содержал данные о ряде частей и соединений наших военно-воздушных сил.

Появилась резолюция секретаря Паневежского уездного комитета партии: "Проверить факты и доложить на бюро".

Стали проверять. Сходились фамилии командного состава, тип вооружений, состав полков и другое. Многие факты с ходу не проверишь. Как их теперь проверять, когда столько времени ушло! Но... если одни факты подтвердились, значит, и остальное верно. Человек, в чьих руках оказалась судьба героического воина, не проанализировал, что именно подтвердилось, не придал значения даже тому, что рассматривал не протоколы допросов Борисова, а доклад, составленный на основе допросов нескольких человек. И, может быть, не Борисов, а кто-либо другой сообщил эти данные? И действительно ли они секретные?

Несущественные факты, лежавшие на поверхности и тоже требовавшие анализа, который, однако, сделан не был, заслонили главное - позицию человека, его суть, его поведение. Доказать невиновность Борисова- дело сложное, хлопотливое. Пусть уж он сам занимается этим. Формально и равнодушно просмотрев материалы, холодные руки написали: "Факты проверены и полностью подтвердились".

Беда человека была поставлена в вину: его исключили из партии.

На заводе, где Борисов работал электромехаником, он не потерял авторитета. Тяжело переживал случившееся и пришел к единственному выводу коммунист не должен опускать руки.

Он стал образцом в труде. В его трудовой книжке перечислены 47 благодарностей, почетные грамоты, денежные премии, ценные подарки.

Ему верили, как коммунисту. Избрали в бюро изобретателей и рационализаторов, в редколлегию заводской газеты, в члены месткома, членом товарищеского суда.

Ударник коммунистического труда, чей портрет висел на Доске почета, он добился всеобщего уважения.

Не получалось только одно - в партии не восстанавливали. Он писал, ходил, доказывал, ездил в Ёильнюс.

Просил и требовал. Но ни одного доказательства привести не мог. Откуда могли быть доказательства у бывшего пленного?

Снова и снова до мельчайших деталей вспоминал дни, проведенные у чужих. Судил по самым строгим меркам, но вины своей не находил. В дни Победы надевал тяжелый от орденов пиджак и с достоинством выходил на трибуну, потому что такие дни не мыслились без его сильного слова. Только вечером расслаблялся, и становилось грустно. Он не отвечал на письма однополчан. Как объяснить им? Поверят ли?

Один взгляд Маши на мужа, и ей становилось ясно, что у него на душе.

- Все думаешь? Или уже духом пал?

- Да нет, Маша. Все бы ничего, детей жалко. Подрастут, что им скажешь? И как сами они будут перед людьми оправдываться?

- Подрастут, на ордена посмотрят, на Доску почета, а люди... Люди им сами о тебе расскажут. Да и пока подрастут, восстановят. Не верю, что так останется.

Слух о беде Борисова дошел до боевого летчика, бывшего начальника штаба полка, гвардии полковника Анатолия Левашова не скоро. А когда узнал, вдвоем с женой Екатериной Александровной, однополчанкой Маши, отправились в Паневежис. Вернувшись в Москву, встретились с ветеранами своего и Машиного полка, В вину Борисова никто не поверил. Решили обратиться в Комиссию партийного контроля при ЦК КПСС.

- Пусть Ленка идет, - сказал Левашов.

Ленке - Елене Мироновне Кульковой- под шестьдесят. Подруга Маши по боям. Бесстрашная летчица пикирующих бомбардировщиков, совершившая не один героический подвиг.

Она пришла в ЦК, не имея никаких фактов. Только вера в человека. Она говорила об источниках веры в одного из героических сынов Родины, и вера ее была великой и чистой.

Вскоре в КПК были приглашены А. Левашов и В. Наркевич. Папка с делом Борисова лежала на столе. Их ознакомили со всеми документами, дали допуск к архивам. Попросили как специалистов, знавших обстановку, проанализировать немецкий доклад и на основе всех фактов и объяснения Борисова документально подтвердить или опровергнуть обвинения. С его объяснения и начали.

Да, он назвал врагу свою фамилию, должность, партийную принадлежность. Но ведь это знали по документам, изъятым у него.

Однако ответы на вопросы, которые противник мог легко проверить, дали возможность скрыть подлинную военную тайну. Уже давно полк взлетал звеньями, а не в одиночку, как заявил врагу Борисов. Сбор был на "петле", а не на кругу, как записал с его слов следователь, и тратилось на это не 20 минут, вопреки показаниям Борисова, а 5-7.

Дезинформируя противника, сообщил о перебоях в снабжении, в связи с чем полк якобы по три дня бездействовал. А ведь он не выходил из боев, люди согершали по 2-3 вылета в день и горючего было в избытке. Борисов привел множество фактов о том, как в весьма важных вопросах дезориентировал противника, не выдав ни одной военной тайны.

В Комитете партийного контроля была проведена тщательная, кропотливая работа. Все до единого факта, приведенные Борисовым в объяснении, удалось подтвердить документами. Более того, в архивах нашли немецкую запись его слов, сказанных врагу: "Уверен, что уже к осени мы победим".

Проверка показала - нет, советский офииэр, боезой летчик Борисов не нарушил воинской присяги. Мужественно, не теряя достоинства, выполнял свой долг коммуниста и советского гражданина. Это подтвердили все находившиеся рядом с ним, заявив, что именно Борисов поднимал дух людей, сплачивал их, вселял веру в скорую победу.

В документах XXV съезда говорится: "Коммунистическая идейность - это сплав знаний, убеждения и практического действия". В полной мере эти слова можно отнести к убежденному коммунисту Борисову.

Находясь в плену, он продолжал воевать, пусть не бомбами,

но средствами дезинформации противника, которые применял тонко, умно, лишая возможности разоблачить себя. Это и давало Борисову силы и право чувствовать себя достойным сыном Родины и открыто смотреть в глаза людям, верить, что справедливость восторжествует.

Это и дало основание Комитету партийного контроля при ЦК КПСС восстановить Борисова в рядах партии с сохранением партийного стажа.

1977 год

ЧАСТЬ 2

"ОПЕРАЦИЯ-ПРАВДА"

"ОПЕРАЦИЯ-ПРАВДА"

В 1971 году президент Чили Сальвадор Альенде объявил "Операцию правда". Это было вызвано все нарастающей кампанией клеветы против народного строя. Он пригласил представителей различных стран, чтобы они лично посмотрели, что же в действительности происходит в Чили, и рассказали бы миру правду.

Это были не персональные приглашения, они относились не к представителям стран только определенного социального уклада, не зависели от политического мировоззрения или профессии лиц, пожелавших участвовать в "Операции правда". Единственное обязательное условие сводилось к тому, чтобы каждый ее участник объективно рассказал в своей стране обо всем, чго увидит собственными глазами.

На это приглашение откликнулись многие. В Сантьяго приехали представители латиноамериканских и европейских стран, Соединенных Штатов и других государств. Я тоже был участником "Операции правда".

На первой пресс-конференции президент познакомился с каждым из нас. Мы пришли туда вместе с Владимиром Чернышевым, который в ту пору был собственным корреспондентом "Правды" в Чили. "С особым удовольствием, сказал нам Альенде, - я приветствую здесь представителей Советского Союза". Ио если бы даже не произнес он этих слов, мы бы все равно ощутили их по его удивительно обаятельной улыбке и крепкому дружескому рукопожатию.

Естественно, я в полной мере воспользовался возможностью познакомиться с этой бурлящей классовыми битвами страной, уникальной по своей географии, с ее чудесными, мужественными людьми.

Пересек ее всю от крайнего севера с его субтропической жарой до Магелланова пролива и Огненной земли на юге, с его июльскими морозами и холодными ветрами. Встречался со

многими людьми - сторонниками Народного единства и представителями крайней реакции.

Пробыл там более месяца и повидал многое. Но прежде всего изучил историю убийства главнокомешдующего сухопутными войсками чилийской армии генерала Рене Шнейдера, происшедшее за несколько дней до вступления Альенде на пост президента.

КАК СОВЕРШИЛОСЬ УБИЙСТВО

Сначала главнокомандующего сухопутными войсками чилийской армии генерала Рене Шнейдера хотели похитить. Но, должно быть, потом в последнюю минуту решили, что лучше все же убить. Возможно, потому что несколько попыток были неудачными и проваливались, а может быть, версия с похищением вовсе придумана обвиняемыми по этому делу, чтобы смягчить свою вину. Их человек тридцать, и почти по всем вопросам они дали противоречивые, а порой исключающие друг друга ответы. Но вот насчет способа устранения главнокомандующего будто сговорились. Все утверждают, что ни во время многочисленных подготовительных совещаний, где распределялись роли и разрабатывались планы, ни на репетициях нападения на генерала ни разу не шла речь об убийстве.

Только о похищении, И на вопрос: "Что такое "Операция Альфа"?" отвечали единодушно: "Похищение генерала Рене Шнейдера". И почему вдруг в него стреляли, никто понять якобы не может. Но в конце концов не в этом главное.

Как два "пежо" и "додж" прижали к тротуару генеральский "мерседес", как ударил его сзади "джип", как побежали к "мерседесу" люди, на ходу вытаскивая "кольты", я не видел. Но путь от дома No 551 по улице Себастьян Элькано в Сантьяго, где жил генерал и откуда выехал в свой последний рейс, я повторил. И побывал в тех переулках и на тех местах, где стояли машины заговорщиков, ожидая сигнала, где останавливалась полицейская машина, снявшая с постов двух карабинеров, которые, конечно же, могли помешать покушению. И разобрался в том, кто как действовал, кто какие машины вел, когда был получен сигнал о приближении генерала, кто стрелял и что произошло дальше. Поэтому всю историю с убийством мог бы описать подробно. Но поскольку эта история, вернее техника убийства, интересовала главным образом тем, что позволяла отчетливее представить роль различных людей в этом деле, с них я и начну.

Когда стало ясно, кто убил главнокомандующего и для чего это убийство понадобилось, я пошел к председателю Верховного суда Чили сеньору Рамиро Мекдесу, чтобы задать вопросы, оставшиеся неясными.

Таких вопросов было несколько, о них тоже придется еще говорить, но прежде всего хотелось получить авторитетное разъяснение, почему не судят главных преступников. Ведь от каждого из участников заговора тянутся ниточки, и где-то они переплетаются так, что распутать их трудно, хотя и возможно, а где-то отчетливо видно, в каком месте они берут начало, куда идут и кто именно их так все время запутывает.

Председатель Верховного суда Рамиро Мендес - это один из правофланговых чилийской реакции. Беседовали мы два часа, и хотя общего языка не нашли и ясных ответов я не получил, но его взгляд на это дело оказался интересным с точки зрения расстановки политических сил. Значит, и к беседе с Рамиро Мендесом надо будет вернуться.

А пока, чтобы яснее стала вся история, разберемся, кто же такой генерал Шнейдер, кому он мешал и кто его убил. И одни ли и те же это люди, у которых он стоял на пути и кто в него стрелял.

Генерал Рене Шнейдер Черо был человеком образованным и весьма разносторонним. Еще в молодости увлекался историей, изучал искусства и религии.

Стремился постичь мир шире, чем он виделся из стен военной академии, где служил, с вышек горного полка или дивизии, которыми командовал. Хорошо разбирался в живописи (сам ею занимался), музыке, литературе, изучал философию. Последняя книга, которую он прочитал, вернее, оставшаяся недочитанной на его столе, была посвящена идеям Маркузе. При всех этих качествах он прежде всего был солдатом. Да и внешне походил на солдата. Коренастый, сильный, с большими солдатскими руками.

Рене Шнейдер не был сторонником левого демократического движения, хотя весь ход событий в Чили неумолимо приближал его к идеям этого движения.

Тем более не был он на стороне правых. Он любил армию и, искренне заблуждаясь, считал ее орудием надклассовым. Роль армии, заявил он, "защита от внешней агрессии и обеспечение внутренней безопасности и порядка, узаконенного конституцией". Он защищал ту конституцию, которая существовала, и своей доктрине был верен до конца дней. Генерал Шнейдер защищал это порождение национальной буржуазии и капитала США с удивительной настойчивостью и мужеством. Может быть, в силу того что был солдатом и точно соблюдал закон, а возможно... возможно, далеко смотрел генерал и увидел новую ситуацию, созданную демократическими силами, при которой оружие буржуазии может быть направлено против нее. Теперь уже

никогда не добиться ясности в этом вопросе. Впрочем, не станем навязывать никаких точек зрения.

Пусть каждый сам разберется в фактах и сделает свои выводы.

На пост главнокомандующего армией Рене Шнейдер был назначен неожиданно, при обстоятельствах чрезвычайных. В мае 1968 г. среди офицеров вооруженных сил началось брожение. Раздавались голоса о том, что правительство Фрея не заботится о своей армии, что офицеры живут в трудных материальных условиях и дальше так продолжаться не может.

Президент Фрей встревожился. Был смещен министр обороны. Офицерам обещали рассмотреть и решить их проблемы в самом недалеком будущем. И волнения улеглись. Так казалось. Однако никаких изменений в армии не произошло, недовольство вновь стало нарастать, пока не кончилось взрывом.

21 октября 1969 г. генерал Роберто Вио Марамбио, "один из организаторов волнений, уволенный за это в отставку, поднял восстание в полку "Такна", находившемся в Сантьяго. Это было сигналом для полка "Юнге" в Сан-Филипе, где тоже поднялся мятеж. Создалась угроза военного переворота. (Кстати, военные перевороты в странах Латинской Америки не такая уж редкость, и они имеют давние традиции. Скажем, в Боливии за последние сто лет было около ста двадцати переворотов.)

Вот в такой критический момент, 24 октября 1969 г., Рене Шнейдер и был назначен главнокомандующим армией. Но это лишь одна сторона дела и при этом - не главная. К тому моменту в Чили происходили куда более глубинные процессы, встревожившие все политические силы. Это был период, когда окончательно сформировался мощный блок левых демократических партий. И нетрудно было видеть, что на предстоявших президентских выборах он явится весьма опасным конкурентом для реакции, рвавшейся к власти. Власть она ощущала почти реально, ибо за годы правления христиано-демократов во главе с Фреем его правительство в достаточной мере скомпрометировало себя громкими декларациями, оставшимися на бумаге и в эфире. Поэтому в лице христиано-демократов крайне правые не видели серьезного конкурента. Многочисленные разрозненные левые с ялы и их партии тоже не представляли опасности, пока каждая из них выставляла своего кандидата. А поначалу так и было:

в первый период подготовки к выборам каждая из пяти демократических партий выставила своего кандидата. Но впоследствии левые силы объединились в единый блок и вместо пяти кандидатов выставили одного - Сальвадора Альенде. Так

вот, единый блок всех демократических сил и общий кандидат это уже весьма и весьма серьезно и до крайности опасно для реакции. Она решила поддержать военный переворот, который опять-таки поставил бы ее у кормила.

Создавшаяся ситуация была ясна и демократическим силам, и они подняли трудящихся на подавление военного мятежа. Коммунистическая партия Чили разоблачала связи генерала Роберто Вио с реакционной национальной партией, разъясняла, что военный мятеж это не конфликт между Фреем и армией, а угроза родине, попытка преградить путь народу к власти.

Единый профсоюзный центр (КУТ) призвал население не поддерживать заговорщиков, разъясняя, что они действуют в интересах реакции. Все демократические партии и организации вступили в борьбу против заговора Вио. Начались массовые демонстрации и забастовки протеста против мятежа.

Этому натиску реакция нашла что противопоставить. Немало честных людей были сбиты с толку ее демагогическим лозунгом: "Бороться против генерала Вио - значит защищать правительство Фрея". Генерал Вио через реакционную печать кричал о том, что восстание носит локальный характер и восставшие остаются верны президенту и конституции, что военные никогда не пойдут против профсоюзов. Нам нет дела до борьбы правых и левых, которые представляют лишь отдельные категории населения, говорил Вко.

Мы - армия, представляющая весь народ, и за его интересы боремся.

Рупор реакции - широко распространенная газета "Меркурио" и другие ее органы настойчиво подменяли слова "бунт", "мятеж" словом "забастовка".

Коммунистическая и социалистическая партии, все силы Народного единства не уставая разоблачали лживость враждебной пропаганды. В своем интервью по радио генеральный секретарь ЦК Компартии Луис Корвалан вскрыл все корни антинародного мятежа.

Это был острейший момент борьбы объединенных демократических сил против наступления и маневров реакции. В этой борьбе победил блок Народного единства, профсоюзы, все трудящиеся. Восставшие полки сдались на милость правительству, а организаторы мятежа во главе с генералом Вио были отданы под суд.

Поскольку на этом деятельность Роберто Вио не заканчивается, а в последующих событиях он будет играть решающую роль, видимо, следует представить его.

Генерал Роберто Вио, сын генерала Аброси Вио, мечтал не

только о большой военной карьере. Властолюбивый, злой, мятущийся, слабохарактерный, он не мог скрыть, что в мечтах своих уходил далеко за пределы военных полигонов. Этому способствовало и то обстоятельство, что он довольно успешно продвигался по служебной лестнице. С должности командира полка президент Фрей назначает его на пост губернатора департамента Лао. Вио получает возможность установить тесные контакты с американскими хозяевами "Чили эксплорейшн компани". (Не с их ли помощью были получены генералом крупные суммы накануне восстания в "Такна", о чем сообщала чилийская печать.) Затем новое назначение - военный советник в Колумбии. В 1969 г. его производят в генералы, и он становится командиром дивизии в Антофагасте - важном экономическом и стратегическом районе страны.

Здесь и начал он будоражить офицерство и, получив отставку, отправился в Сантьяго, где и поднял бунт в полку "Такна".

Далее происходят вещи более чем странные, в обычные понятия не укладывающиеся. Мятежный генерал, которого должны судить, становится одной из популярнейших фигур в стране. Он дает интервью, выступает с призывами, его портреты воспроизводятся в реакционной печати. А после того как блок Народного единства выставил кандидатуру Альенде, генерал Вио на многолюдном митинге совсем недвусмысленно намекает на то, что он готов стать президентом и "послужить родине". И не постеснялся при этом сообщить, как собирается править страной. "Я думаю, - сказал он, - что вновь будет утверждено Право Силы".

Конечно, и американские, и чилийские владельцы медных рудников, селитры, заводов понимали, что этот недалекий и надутый чувством собственного величия генерал - фигура весьма неимпозантная и никаких шансов на успех не имеющая. Зато на любую провокацию, какой бы подлости она ни требовала, пойдет по первой указке. А положение реакционных сил складывалось так, что выбирать не приходилось. Они готовы были идти на самые крайние меры, только бы предотвратить катастрофу, которая станет для них неотвратимой, если к власти придет Народное единство.

Именно катастрофа. Вдумайтесь! Буржуазные конституции обычно провозглашают равные права для всех слоев общества, всех политических течений, для магната и рабочего. Так выглядит их показная конституция. Но в чистом виде она бывает только на политической рекламе. Пути народа к реализации предоставленных ею прав ограждены непреодолимыми кордонами. И вот впервые в истории мира левые

демократические силы зависимой от американского империализма страны создали условия, чтобы, не нарушая конституции, взорвать эти кордоны и строго на ее основе, пользуясь ею как незыблемым законом, созданным национальной буржуазией и ее зарубежными партнерами для защиты своих интересов, вырвать у нее власть и освободиться от иностранного гнета.

Это нечто невиданное и неслыханное оглушило реакцию, напугало умеренно правых и многих центристов, привело в смятение одураченных жупелом коммунизма. Все они еще не верили в нависшую угрозу, еще как-то надеялись, что не может же это случиться на самом деле, и вот-вот развеется наваждение, когда грянуло четвертое сентября. В мировой эфир понеслись слова: "На выборах победил Альенде".

Эти слова объединили все антинародные слои общества в мощный кулак. Начался крестовый поход внутренней и внешней реакции, началось массированное наступление на все жизненные центры народного блока под девизом: "Не допустить Альенде к власти".

Но позвольте! Ведь голосование закончено, ведь он получил уже больше голосов, чем кандидат правых Хорхе Алессандри, чем представитель христиано-демократов Радомир Томич. А других конкурентов не было.

Все это верно. И тем не менее у реакции оставалось много возможностей продолжать борьбу за президентское кресло, Дело в том, что абсолютного большинства, то есть больше половины голосов избирателей, не получил ни один кандидат. По конституции в таких случаях окончательное решение - кому быть президентом - выносит сессия Национального конгресса (парламент).

Практически у парламента не было иного выхода, как утвердить кандидата, набравшего наибольшее количество голосов. В истории Чили не было случая, чтобы парламент поступил иначе. Любое решение не в пользу Альенде при данных обстоятельствах объяснению не поддавалось бы. Однако за этот сомнительной стерильности шанс уцепились.

До заседания Национального конгресса, где должен был окончательно решиться вопрос, оставалось семь недель. Этого времени, как полагала реакция, вполне достаточно для того, чтобы реализовать план, состоявший из двух разделов. Первый - найти хоть какую-нибудь возможность, хоть какой-нибудь повод, чтобы дать отвод Сальвадору Альенде. И второй - если даже такой повод и найдется, но не будет гарантии, что это принесет победу, - совершить военный переворот до заседания конгресса.

Первый вариант, как весьма ненадежный, был вскоре отвергнут. Остался второй. Единственный и последний шанс. И вот тут-то фигура мятежного генерала Роберто Вио Марамбио выплыла на первый план.

Для реакции это была удивительно подходящая кандидатура. Во-первых, с его помощью можно будет совершить переворот, и, во-вторых, он удовлетворится местом в правительстве, а в президентское кресло сядет более подходящий представитель капитала.

Главной преградой на пути к цели был Рена Шнейдер, который и в создавшейся сложнейшей обстановке подтвердил свою доктрину и заявил, что армия будет твердо стоять на защите конституции, обеспечит законное проведение Национального конгресса, который и решит, кому быть президентом.

Это был патриотический шаг, требовавший от генерала большого мужества и личной храбрости, ибо он отчетливо видел обстановку в стране, в полной мере понимал, против каких вероломных и жестоких сил поднялся. Позицию Шнейдера разделяли генерал Карj лос Пратс и некоторые другие военачальники. Военный переворот при таких условиях затруднялся чрезвычайно. Но слишком велики были силы, готовившие его.

Ловкий политический трюк реакции дал возможность доживающему последние дни в президентском дворце Эдуарде Фрею сместить командующего военно-морским флотом. Вместо него Фрей назначил одного из реакционнейших представителей вооруженных сил, участника заговора адмирала Уго Тирадо Барроса.

На пути к осуществлению заговора оставалась главная сила - Рене Шнейдер. Попытки подобным же образом убрать и его окончились провалом. Тогда и приступили к "Операции "Альфа". Первый ее этап - шантажировать, запугать непокорного, создать ему невыносимые условия и заставить добровольно уйти со сцены. И невыносимое началось. В его квартире непрестанно звонили телефоны, грозные голоса угрожали расправой. Вокруг его дома бродили подозрительные, которые исчезали в темноте, как только появлялись карабинеры охраны. Жену генерала осаждали какието женщины, умолявшие повлиять на мужа. Приходили латифундисты, промышленники, уговаривали командующего не допустить к власти "марксистские"

силы. Шли анонимные и не анонимные письма с угрозами и оскорблениями. Раздавались звонки с требованием ответить, где в данный момент находится генерал. Ни минуты покоя, ни днем, ни ночью.

Бурлил Сантьяго-де-Чили. Гремели плакаты: "Не спи, чилиец, - на пороге русские". Надрывались репродукторы: "Остановить нашествие коммунистов".

Тянулись очереди оформлявших свое бегство за границу. На площадях, в зданиях рвались бомбы. Началась финансовая паника. Саботаж на медных рудниках.

Захлебывалась "Меркурио": "Нация накануне гибели".

Трагические фигуры женщин в черном, точно траурные процессии, опоясывали президентский дворец "Ла Монеда".

Хаоса и паники в стране добивалась реакция, как верных союзников и оправдания военного переворота.

И первый шаг на пути к нему - ликвидация Рене Шнейдера.

Роберто Вио Марамбио лихорадочно готовил главный удар. В сговор с ним вступили начальник гарнизона Сантьяго генерал Камилио Валенсуэла, начальник корпуса карабинеров генерал Висенте Уэрта Селис, знали о заговоре президент Фрей и даже министр внутренних дел, именно тот человек, чей пост и долг повелевали ему бороться против любых беспорядков и заговоров.

Заранее были распределены будущие портфели, заранее знали участники заговора, кто какие места займет после переворота в правительстве, в государственном и военном аппаратах. А ненавистный им генерал Рене Шнейдер, словно отвечая заговорщикам, не уставая повторял свою доктрину о том, что армия не даст нарушить конституцию. С подобными заявлениями он выступал в печати, на официальных встречах и приемах, перед офицерами, среди друзей и знакомых. И не только выступал. В кругах высшего командования как в Сантьяго, так и в других городах он нашел надежную опору. Он окружил себя верными долгу людьми, цементировал армию, объезжая войска, призывал верно служить родине.

Деятельность Рене Шнейдера подстегивала мятежного Вио к тому, чтобы быстрее убрать главнокомандующего. К этому делу он привлек около тридцати человек, главным образом молодежь из зажиточных и аристократических семей. Впрочем, весьма разношерстной была эта группа - от профессионального уголовника Мельгосы, недавно вышедшего из тюрьмы, до сенатора Рауля Моралеса.

Заговорщики имели в своем распоряжении более десяти автомобилей, автоматические револьверы, карабины, гранаты, взрывчатку, бомбы, баллоны с одурманивающими и слезоточивыми газами, противогазовые маски, холодное оружие.

Все участники были разбиты на группы, каждая из которых выполняла строго определенные функции с точным распределением обязанностей внутри групп.

Наиболее деятельным участником заговора был адвокат Гильермо Карей сын адвоката, обслуживавшего высшие слои аристократического общества, связанный с американским капиталом через меднорудную компанию "Анаконда". Этот тридцатилетний, весьма пробивной адвокат состоял в личной дружбе со многими влиятельными лицами, в том числе с президентом Эдуардом Фреем. Политические контакты Заговорщиков с главарями внутренней и внешней реакции и легли, кроме Вио, на Гильермо Карея, впоследствии сумевшего удрать к своим покровителям в Штаты.

"Группу террористов", которая сеяла панику среди населения, взрывая бомбы в разных районах города, возглавил отпрыск весьма зажиточных родителей Энрике Арансибиа. На "группу снабжения" возлагалось обеспечение заговорщиков оружием и автотранспортом. Переправкой оружия из-за границы занимались Гильермо Карей и сенатор Рауль Моралес. Задача "особой группы", как показали на следствии ее участники, - похищение Рене Шнейдера, а в действительности- убийство его, ибо и сам факт убийства, и показания шофера командующего, и все материалы дела - это неопровержимое доказательство того, что даже попытки к похищению не было.

В "особую группу" входили уже названный выше уголовник Мельгоса, выходцы из семей крупной аристократии Аллан Лесли Коопер и братья Искиедро - Диего и Хулио, являвшиеся студентами католического университета, активный сотрудник ультраправой газеты "Тисониа" Андрее Годфрей Видой, коммерсант Сильва Доносо и другие. Участникам этой группы были присвоены клички, и далеко не все знали друг друга по имени.

Было проведено несколько репетиций покушения на командующего. Для этого одну из машин, на которой, условно считалось, находится генерал Шнейдер, пускали по тому же маршруту, по которому обычно следует генерал. Последняя "генеральная" репетиция вполне удовлетворила Роберто Вио. Она проводилась глубокой ночью в районе Лос-Доминикос под командованием молодого фанатика из реакционного Алессанд-"

рийского легиона Луиса Гальярдо. Предоставленный отставным генералом Эктором Мартинесом Амаро "оппель", управляемый опытным водителем, мчался по городу, имея задание без остановок проехать до определенного пункта. С разных мест в погоню за ним пошли десять машин. "Оппель" был прижат к тротуару задолго до того, как достиг цели.

Настала пора действовать. Нападение на генерала назначили на 19 октября, в день годовщины мятежа в полку "Такна". Однако

не это обстоятельство определило дату покушения. Просто случай представился в высшей степени подходящий, и Роберто Вио не упустил его. Дело в том, что 24 октября исполнился год, как Рене Шнейдер занял пост главнокомандующего.

По традиции, в этот день генералитет решил устроить ужин. Рене Шнейдер не мог отказаться от этой встречи, хотя решительно воспротивился против двадцать четвертого, ибо именно в этот день предстояла сессия Национального конгресса, где окончательно утверждалась кандидатура президента. Генералы решили собраться девятнадцатого.

Это был довольно интимный ужин, где присутствовали только узкий круг генералов и их жены, но затянулся он до двух ночи. О вечере никто, кроме его участников, не знал. Однако о давней традиции знал Вио, И знал дату встречи.

...Семь машин заговорщиков находились в различных местах в засаде. Как только появится "мерседес"

Шнейдера, одна из них должна была фарами дать сигнал остальным. Все было рассчитано. Другой дороги у генерала не было. Он проедет только здесь.

В два тридцать на почти пустынной улице показался автомобиль. На семи машинах включили стартеры.

Но сигнала не последовало, хотя он проехал мимо "сторожевой" машины. И, действительно, то был не генеральский "мерседес", а "оппель". А о том, что именно в нем сидел Рене Шнейдер, спохватились слишком поздно.

На этот раз генерал избежал покушения только благодаря чистой случайности. Все сводилось к тому, что незадолго до ужина Шнейдер дал свой "мерседес"

сыну для какой-то поездки, а тот задержался. И генерал сам сел за руль собственного "оппеля".

Роберто Вио был взбешен не только провалом, но главным образом тем, -что- до сессии Национального конгресса оставалось всего трое суток. Если к этому времени не убрать Шнейдера, рухнет все, что столько времени готовилось. И он ни минуты не дает передышки своим подручным. К исходу ночи, вернее, к шести утра, направляет в район, где жил главнокомандующий, девять машин с тем, чтобы заговорщики проникли в особняк генерала.

План этот, конечно, был сумасбродным и абсолютно нереальным. Дом охранялся карабинерами, имел надежную связь со штабом армии. Даже не совершив попытки проникнуть за ограду, заговорщики вернулись ни с чем.

Поскольку медлить Вио не мог, он, рассчитывая на безнаказанность, предпринимает новую весьма рискованную

попытку. К пяти часам вечера в тот же день машины террористов сосредоточиваются на площади Бульнес, где находится министерство обороны. Идет зоркое наблюдение за главным входом. Нельзя повторить ошибки, какая произошла из-за "оппеля". Надо точно проследить, на какой машине поедет главнокомандующий.

И они выследили. В семь часов к подъезду министерства подкатил "мерседес", и тут же вышел Рене Шнейдер. Машины заговорщиков тронулись одновременно с его автомобилем. В этот час "пик" центральные улицы забиты транспортом. Все движутся очень медленно, подолгу задерживаясь у перекрестков. Однако генеральский "мерседес" идет на большой скорости, обходя весь транспорт по осевой. Регулировщики беспрепятственно пропускают его под красный свет.

И преследователи, лишенные такой возможности, вскоре теряют его из виду.

Во всей этой истории в голове не укладывается многое. Но особенно одно обстоятельство. О том, что плетется заговор, как уже говорилось, знали многие.

Одни молчали, ибо являлись его вдохновителями или имели к нему прямое отношение. Другие внутренне поддерживали его, делая вид, будто ничего не знают, хотя по зову долга обязаны были вмешаться. Ведь бесчисленные репетиции, сборища большого количества заговорщиков, добыча оружия, транспорта, вся эта возня и шумиха, которую они даже не пытались скрывать, не могли не обратить на себя внимания блюстителей порядка. Да и разговоров об этом в правительственных кругах было немало. Но президент Фрей и министр внутренних дел никаких шагов против заговора не предпринимали.

Вся обстановка была ясна и Рене Шнейдеру. Но он не оценил в должной степени ни меры подлости Роберто Вио Марамбио, ни того обстоятельства, что мятежному отставному генералу предоставлены огромные возможности. Конечно, Шнейдер не знал о неудавшихся на него покушениях, но бесспорно предвидел их. Убедительным доказательством служит тот факт, что он рекомендовал своим помощникам ежедневно менять маршруты следования на службу и домой. Его информация президенту Фрею и министру внутренних дел о шантаже и угрозах, о готовящемся заговоре не побудила их к мерам по охране жизни главнокомандующего. Сам же он ограничился тем, что стал постоянно носить с собой пистолет. К сожалению, этого было слишком мало.

22 октября рано утром Рене Шнейдер выехал на службу и, точно предчувствуя роковую минуту, положил рядом портфель с

пистолетом. На одной из улиц "додж" заговорщиков ринулся в бок генеральскому "мерседесу", и шофер рванул руль к тротуару, едва увернувшись от удара. Но тут же перед самым его радиатором неожиданно и резко затормозили два "пежо", а сзади налетел на него и стукнул "джип". Вырваться из этого кольца было невозможно. Генерал выхватил револьвер, но Сильва Доносо уже успел разбить молотком стекла, а Коопер, Мельгоса и другие - разрядить в него автоматы и пистолеты.

Так свершилось убийство. Оно всколыхнуло всю страну. Восприняли его по-разному. Кое-кто из высших чинов, кому и надлежало в этот момент свершить переворот, пришли в замешательство, ибо они все-таки ожидали похищения главнокомандующего, а не убийства, поднявшего на ноги страну. Именно вот это последнее обстоятельство - страх за собственную шкуру - и остановило тех, кто готовил уже для себя большие портфели. А бояться было чего. Во-первых, весьма решительную позицию заняли такие люди, как ближайший помощник Рене Шнейдера генерал Карлос Пратс. Было заявлено, что "доктрина Шнейдера" остается в силе, гарантируется нормальное проведение Сессии Национального конгресса, где должен быть утвержден президент. В эти напряженнейшие минуты жизни Чили трудящиеся в полной мере восприняли широкие разъяснения всех демократических партий и профсоюзного центра о подлинных целях убийства главнокомандующего. Всеобщая двухчасовая национальная забастовка против действий заговорщиков и мягкотелости к ним правительства явилась внушительным предупреждением реакции о том, что захватить власть ей не дадут.

В стране было объявлено чрезвычайное положение.

Движение людей и всех видов транспорта тщательно контролировалось, а в ночное время запрещалось.

До заседания парламента оставался один день.

Большинство в парламенте принадлежало группе партий, не входящих в Народное единство. По предварительному сговору все они, попирая извечные традиции, должны были проголосовать не за кандидата, набравшего наибольшее количество голосов, а за представителя правых Хорхе Алессандри (идущего по списку вторым) под тем предлогом, будто победа на выборах Альенде вызвала в стране панику и террор.

Однако реакция видела, как поднялся против нее народ в связи с убийством Шнейдера. И поняла, что это значит. Она не могла не видеть, что при создавшейся обстановке любой ее трюк, направленный против Народного единства, неизбежно вызовет взрыв, который может смести ее с лица чилийской земли.

Что касается империализма, отмечал Луис Корвалан, прежде всего американского, то ему, разумеется, претит то, что происходит в нашей стране. Победа, одержанная чилийским народом, застряла в горле американского империализма, как кость, которую он не может проглотить. Дело в том, подчеркивал генеральный секретарь Чилийской компартии, что представители Народного единства пришли к власти, если так можно выразиться, на законном основании, то есть путем демократических выборов. Конечно, сам этот факт не остановил бы империалистов, но они боятся реакции общественности, прежде всего международной, на такое попрание ими же восхваляемой буржуазной демократии. Кроме того, победа Народного единства была достигнута в момент, когда в Латинской Америке происходил новый подъем революционной борьбы. В подобных условиях, указывал Луис Корвалан, непросто открыто выступить против нашей страны. Такой шаг создал бы угрозу подрыва позиций империализма в других странах, кто знает, во скольких.

На такой риск международный империализм идти не мог.

Чилийской реакции оставалось спасти хотя бы мощную оппозицию в парламенте, сохранить там реакционных и правых депутатов, которые в дальнейшем не дали бы возможности новому правительству провести ни одного мероприятия, начиная с национализации медных рудников. И Хорхе Алессандри призвал своих единомышленников в парламенте не голосовать за него, а руководство христианских демократов повелело своим представителям отдать голоса Сальвадору Альенде.

Власти действовали решительно. Были арестованы почти все участники заговора. Высшие судебные органы с той же оперативностью и энергией мешали установлению истины. Апелляционный суд, не имея на то никаких оснований, освободил нескольких обвиняемых, и они тут же сбежали за пределы страны. Верховный суд запретил привлечь к ответственности некое высокопоставленное лицо, хотя его участие в заговоре сомнений не вызывало.

Почему? С этим вопросом мне и хотелось обратиться к председателю Верховного суда сеньору Рамиро Мендесу.

В ВЕРХОВНОМ СУДЕ

Вблизи гостиницы "Карера", где остановилось большинство участников "Операции правда", находился Центр "Операции", наделенный большими полномочияпи. По его планам министерства, ведомства, предприятия знакомили приехавших с жизнью Чили. Нам было предложено несколько программ и маршрутов поездок по стране, было предусмотрено много пресс-

конгЂеренций и встреч с государственными деятелями и официальными лицами. В полном соответствии с заявлением президента, из намеченных мероприятий каждый сем выбирал наиболее подходящие д.ля себя. Если же вопросы, интересовавшие того или иного участника "Операции", выходили за пределы программ Центра, они разрешались в индивидуальном порядке.

Таким образом, обеспечивались возможности самого полного и широкого ознакомления со всеми областями жизни страны. Предложенные программы были обширными, охватывали политическую, экономическую и культурную сферы, но, естественно, заранее предусмотреть абсолютно все запросы участников "Операции" не могли. В частности, не намечалось встречи с председателем Верховного суда. А мне, повторяю, хотелось поговорить с ним, выяснить некоторые обстоятельства, связанные с убийством генерала Рене Шнейдера. Хотелось также поговорить с кардиналом, узнать, как относится церковь к мероприятиям нового правительства.

Дело в том, что церковь владела земельными угодьями в десятки и десятки тысяч гектаров. А такие огромные угодья, согласно аграрной реформе, подлежали национализации. Кроме того, хотелось побывать на медном руднике "Теньенте", посещение которого, как и встреча с кардиналом, программой не предусматривалось.

Почему именно медный рудник? Медь - основа экономики Чили. "Теньенте"это целый комплекс, удельный вес которого в общей добыче чилийской меди довольно высок.

В Центре "Операции правда" обещали выполнить мои просьбы. Однако опасения у меня вызывала возможность встречи с Рамиро Мендесом. Дело в том, что он был ярым сторонником реакции, откровенно поддерживал ее провокационные действия и, как я думал, мог не согласиться на беседу с советским представителем. Опасения оказались напрасными. Видимо, Мендес не мог демонстративно проявить свое враждебное отношение к объективной акции правительства, какой и являлась "Операция правда". На телефонный звонок из Центра ответил, что готов к беседе в любое время.

Серая громада здания суда, почерневшего от времени, производила странное впечатление. Будто исполинский склеп: красиво и гнетуще. Тяжелые высоченные колонны, тяжелые кованные медью врата высотою в два этажа вместо обычных дверей, а высоко-высоко под самой крышей гигантскими буквами, не то высеченными из камня, не то выложенными камнем, слова:

"Суд справедливости". Близ входа - изваяние Фемиды и

отлитое в бронзе грозное "Lex"- закон. Это же слово метровыми буквами из травы выложено внизу. И еще в нескольких местах внутри здания-тот же "Lex".

Довольно настойчиво убеждают вас в том, что все здесь подчинено закону.

Длинные галереи направо и налево от входа, образованные железной колоннадой, тускло освещены застекленным куполом, железные переплеты которого держатся тоже на десятках металлических колонн. Широкие, словно предназначенные для массовых шествий ступени ведут на второй и третий этажи. Черные колонны, черные переплеты, могучие стены высотой во все здание, тяжелые, глухие, незыблемые. Возможно, так и должен выглядеть суд. Что-то неприступное, неумолимое, вечное. А может быть, это впечатление создавалось или, по меньшей мере, усиливалось той правдой, которая уже была мне известна.

Дело в том, что все до единого преобразования в стране, все мероприятия - от аграрной реформы до национализации меднорудной промышленности правительство Народного единства проводит только на конституционной основе, только в соответствии с существующими законами. И в бессилии реакция стремится изолгатъ эти действия правительства, представить их так, будто совершается нарушение законов. А в глухом здании суда человек, к которому я шел, и являлся одним из представителей чилийской реакции.

Может быть, сознание этого и вызывало определенные эмоции.

В его приемной, как в картинной галерее, стены увешаны огромными портретами, написанными маслом.

И под каждым - фамилия и две даты - рождения и смерти. Это предшественники сеньора Рамиро Мендеса за последние столетия. И каждый из них провел в этом здании долгие годы.

Рамиро Мендесу без малого семьдесят. Поначалу он показался подтянутым и бодрым. Но очери" скоро я увидел, что передо мной суетящийся, полный неожиданных эмоций старичок, то и дело повторяющий только что уже сказанное им. Он курил, вернее, посасывал погасшую сигару, ежеминутно откладывал ее и как только снова брал, спрашивал: "Не хотите ли сигару?" Не дав ответить, спохватывался: "Ах, да, не хотите"-и, теряя мысль, нетерпеливо щупал пальцами Еоздух, точно пытаясь извлечь ее оттуда.

Ему хорошо в своем огромном кабинете, еще более тяжелом, чем все в этом здании, и не только из-за мебели, которую не сдвинуть с места, но и от толстенных сводов законов, какими уставлены стеньг. Мендесу уютно здесь, ибо кабинет этот

предоставлен ему на всю жизнь и практически нет силы, которая могла бы его сместить. Так думает Мендес.

- И знаете, хи-хи-хи, - тоненько, совсем по-детски смеется он, - в учреждениях люди стремятся поскорее на пенсию (конечно, если у них есть деньги), а у нас, ну, решительно никто. Вот члену Верховного суда Армандо Сильва семьдесят четыре. Но дело даже не в годах. На заседаниях он дремлет, а на пенсию не идет... Хи-хи-хи... - И он хлопает ладошками по коленкам.

- До какого же возраста служат члены Верховного суда?

- Странный вопрос, - удивился Мендес. - Вам, видимо, непонятна вся наша независимая демократическая система. В стране три самостоятельных, независимых друг от друга взаимоконтролируемых начала:

парламент, президент и Верховный суд. На этих трех китах держится государство. Суд - это пирамида. Целая система судов, охватывающая все области жизни народа. На самой вершине - Верховный суд, состоящий из тринадцати человек и возглавляемый председателем, в данном случае - мною.

При этих словах Мендес улыбается радостно, искренне, непосредственно, как ребенок, получивший красивую заводную игрушку, которую может пускать куда ему вздумается.

Все судьи, объяснил Мендес, во-первых, не избираются, а назначаются, а во-вторых, - на всю жизнь, то есть согласно закону "до тех пор, пока хватает сил".

Когда иссякают силы, определяет только сам член Верховного суда, но что-то Мендес не мог припомнить случая, чтобы кто-нибудь из его коллег заявил об этом.

Новых членов Верховного суда формально назначает президент, фактически же сам суд, ибо президент ко волен предложить свою кандидатуру. Он может ЛЕШЬ выбрать из числа рекомендуемых судом.

Зта "независимая демократическая" система была мне действительно непонятна. Я сказал: "Тринадцать членов Верховного суда остаются на своих постах десятилетиями. За такое время кто-либо из них может отстать от требований жизни, потерять объективность, наконец, не оправдать доверия, да мало ли что может случиться. Как же назначать на всю жизнь!"

Пока я говорил, Мендес все более радостно улыбался. И лицо его выражало: "Боже мой, какие наивные еще есть люди".

- Все предусмотрено! - победно сказал он. Оказывается, парламент вправе отозвать судью, "не выполняющего своего долга". Но это теоретически. Практически же отзыв невозможен. Не только из-за сложнейших и длительных процедур, какими должна сопровождаться подобная акция, но главным образом

потому, что члены Верховного суда подбираются из могущественной касты, верно служащей капиталу. Потопу никогда и не возникал вопрос об отзыве судей с любой ступени пирамиды.

А формально демократия соблюдается. Существует даже квалификационная комиссия, ежегодно определяющая служебное соответствие судей.

- А кто назначает комиссию? Из кого она формируется?

- Кто же компетентен судить о члене Верховного суда? - снова удивился Мендес моему вопросу. - Только Верховный суд. Он и назначает из своей среды комиссию.

А я и в самом деле не мог понять, как это люди сами себя назначают и сами себя проверяют. Потому так убедительно звучали для меня слова Луиса Корвалана, который сказал: "Мы предлагаем также существенное изменение в системе судебных органов. В настоящее время действует реакционная система самоназначения судей - членов Верховного суда. Ее следует заменить выбором этих судей единой палатой Национального конгресса... Мы за государство, основанное на праве, на законах, на более демократических законах, чем те, которые действуют сейчас в нашел стране".

Мендес еще долго и с упоением говорил о "пирамиде", на вершине которой сидел, и я начал постепенно переходить к делу, по которому пришел.

В одной из провинций произошли волнения на землях латифундистов. Были они результатом и загибов сверхлевацких элементов, и искренних заблуждении одних, поддавшихся провокационным лозунгам, и правильных действий вторых, вызванных обстановкой.

Но так или иначе, во время этих событий погибли люди от рук латифундистов. Виновники убийств были арестованы. Однако по указанию Верховного суда их немедленно освободили. Так вот, не может ли сеньор председатель разъяснить, какими мотивами он при этом руководствовался.

- Вот видите! - торжествующе сказал Мендес. - Вы живете эмоциями, а я законом. Поинтересовались ли вы, где именно были убиты люди?.. Вот видите! - повторил он так, будто уличил меня в преступлении. - А ведь хозяева латифундий стреляли в крестьян на сво-ей соб-ствен-ной земле, - поднял он вверх ладонь.

- Значит, латифундист может стрелять в человека, если увидит его на своей земле, скажем, площадью в сто тысяч гектаров?

- А как же? - поразился Мендес. - Собственность неприкосновенна и охраняется законом.

Вот так сеньор Рамиро Мендес толкует закон. Чтолибо доказывать ему было бесполезно, и я перешел к делу генерала Шнейдера. Почему Верховный суд запретил не только судить, но и допрашивать одного из сенаторов, который участвовал в заговоре и обеспечивал доставку оружия из-за границы?

- Конечно, убийство Рене Шнейдера глупое, жестокое преступление. Но судить за это сенатора противозаконно, хотя к такому выводу Верховный суд пришел не единодушно.

И дальше шли длинные и путаные объяснения, в которых ясна была лишь их реакционная сущность:

то, что одни считают заговором, другие - прогрессивным движением. И судить за это нельзя. Выходит, можно убивать, бросать бомбы, совершать поджоги, только бы своевременно прикрыться ширмой прогресса.

Как ни старался Мендес опираться на закон, он не мог скрыть, что верно стоит на защите интересов реакционных сил. Это бесспорно являлось стимулом для их дальнейших вылазок. Потому и свершались все новые провокации и покушения на государственных и общественных деятелей, что заговорщики были уверэны в безнаказанности, в том, что высший судебный орган, как и его глава, на их стороне.

В ЧРЕВЕ МЕДНОЙ ГОРЫ

Трудности появились там, где я их не ждал. В Центре "Операции правда" объяснили, что по техническим причинам поездка на медный рудник "Теньенте" откладывается на день-два. Потом снова откладывалась.

Сообщая об этом, сотрудник Центра чувствовал себя неловко. Казалось, и сам он не очень верит в "технические причины". Но именно такую причину выставляли ему в управлении внешних сношений "Теньенте", находящемся в Сантьяго.

Это управление обязано было незамедлительно выполнить просьбу Центра, наделенного, как уже говорилось, большими полномочиями. Тем более что ссылка на технические причины выглядела несостоятельной. В самом деле, меднорудный комплекс "Теньенте"

действовал на полную мощность, каждый день на работу выходили тысячи людей, почему же нельзя побывать там еще одному человеку, если производство не секретное? Мне особенно хотелось побывать в шахтерском поселке, расположенном у шахты, где проживало двенадцать тысяч человек. Но поездка и туда лимитировалась техническими причинами.

Чилийские друзья объяснили мне создавшуюся ситуацию.

В Кордильерах, внутри исполинской каменной горы на высоте около трех тысяч метров, находится самый большой в

мире медный рудник под землей. А снаружи, на крутом склоне горы в скалах, - жилища шахтеров.

Это и есть знаменитые чилийские медные копи "Теньенте". Чилийские в том смысле, что они находятся в Чили и добывают медь чилийцы. А хозяева здесь другие. В Нью-Йорке я видел их главный штаб. А в Чили - только поставленных ими администраторов. Администраторы живут и отдыхают не в скалах, а в другом месте. В этом другом месте я тоже побывал и немножечко отдохнул, как они. Я расскажу об этом потом.

Хозяев в "Теньенте" было много, начиная с испанцев. Потом были англичане, немцы, французы, итальянцы, конкурировавшие друг с другом в борьбе за чилийскую медь. Чилийцев к этому делу они не допускали. Постепенно всех вытеснили американцы.

Первым, кто пустил чилийскую медь в американское русло, был Вильям Брейден. Его большой портрет, писанный маслом, в золоченой раме я видел в Сантьяго в управлении внешних сношений "Теньенте".

Около семидесяти лет на руднике безраздельно господствовал иностранный капитал. При новом правительстве пришлось поделиться. Контрольный пакет оказался в руках чилийского государства - 51 процент акций. Так в "Теньенте" прекратила свое существование могущественная "Кеннекот купер корпорейшн" и появилась "Сосиедад минера эль Теньенте".

Внешне все выглядело хорошо, красиво. В действительности это был маневр медных магнатов, чтобы в условиях нарастающей борьбы народов за независимость не упустить чилийскую медь. В их руках осталось около половины акций, новая компания осталась, как и была, частной, а не государственной, а главное - остался поставленный ими административный аппарат. Поэтому остался на стене и портрет человека в золоченой раме.

Правительство Народного единства во главе с президентом Сальвадором Альенде не желало мириться с полумерой. Прежние владельцы понимали, что скоро у них выкупят все сорок девять процентов акций, Но пока что не отдавали. Говорили, что это противоречит чилийской конституции. И верно, противоречило.

Ничего не скажешь. Они ведь большие специалисты по чилийской конституции. Не без их участия она создавалась. И заботятся не о себе, а о справедливости и чилийцах, чтобы конституция свято выполнялась. Не зря же они были столь дальновидными, что при создании конституции предусмотрели возможность нынешней ситуации. Правда, не догадались - ведь в конституцию жизнь может внести поправки.

Именно те, какие уже были к тому времени внесены на утверждение парламента.

Для монополий США потеря чилийской меди - удар чувствительный. Один миллион долларов в день вывозили они из Чили в виде чистого дохода от эксплуатации медных рудников. Впрочем, не будем пздсчитызать их потери и не будем убиваться. У них ведь остались богатейшие рудники и заводы в США, Канаде и других странах. А для Чили медь - это семьдесят процентов всей ее экономики. Это восемьдесят процентов ее экспорта. Из 21 страны мира, добывающих медь, Чили отстает лишь от США и СССР. Она производит меди больше, чем двенадцать других стран, вместе взятых.

На "Теньенте" американцы обычно не пускали посторонних. В крайних случаях показывали "Чукикамату", где добыча ведется открытым способом, а шахтерский поселок вообще доступен для посетителей.

А вот путь в "Теньенте" был перекрыт уже за одиннадцать километров до поселка. И хотя к моменту, о котором идет речь, в руках монополий США оставалось лишь 49 процентов акций, они пытались безраздельно командовать копями. Видимо, они и не желали допустить на шахту советского представителя, кспользуя для этого поставленный ими административный аппарат. Настойчивые требования Центра "Операции" привели к тому, что разрешение в конце концов было получено.

Вместе с переводчиком Перето и представителем управления внешних сношений "Теньенте" мы выехали из Сантьяго рано утром. Перето - коммунист, партийная принадлежность представителя фирмы мне не была известна. Знал лишь, что образование он получил в Калифорнийском университете и около двадцати лет прослужил на американских предприятиях по добыче меди. Это один из тех администраторов, которых сохранила медная корпорация после потери контрольного пакета акций, кому щедро платят.

До шахтерского центра - города Ранкагуа - девяносто километров. А до рудника оттуда еще километров пятьдесят. Дорога широкая, асфальтированная, едем быстро. Спустя минут двадцать увидели поперек нее сооружение из трех арок. У каждой выглядывает из окошечка служащий или стоит у порожка с квитанционной книжкой. Наша, как и другие машины, притормаживает, и на ходу шофер вручает служащему десять эскудо, одновременно получая приготовленные заранее квитанцию и три эскудо сдачи.

Оказывается, дорога платная. Подобных арок на ней немало. Перед ними, вытянувшись в длинную цепочку, на высоких столбах надписи с крупными цифрами: три, пять, семь, двенадцать. Это стоимость проезда в зависимости от вида

транспорта. Справа и слева от дороги - бедные поселки и деревушки. То и дело следы уже полгода назад прошедших президентских выборов. Надписи на стенах, на камнях, на крышах... Альенде... Алессандри... Томич... Никто не стирает фамилий кандидатов, добивавшихся президентского поста. Приятно удивляет огромный серп и молот на скале. Чуть дальше крупно: "Альенде".

В самом начале пути на редкие вопросы представитель фирмы отвечал не сразу, медленно, демонстрируя свое величие. И я не стал больше задавать ему вопросы. Всю дорогу мы разговаривали с Перето, а наш спутник хранил гордое молчание. Я спросил Перето, не пытались ли враги Народного единства использовать против Альенде эмблему труда, которую я не раз встречал в Сантьяго и вот сейчас здесь, у шоссе.

- Еще как! - улыбнулся Перето. - В Сантьяго на огромном щите был изображен в красках стреляющий советский танк, а над ним надпись: "Чилиец! Если хочешь увидеть это на наших улицах, голосуй за Альенде". В реакционной печати была уйма рисунков, карикатур, наподобие следующей. В центре восседают русские офицеры и генералы, а Альенде приютился в уголке. Надпись гласила: "Вот что произойдет в Чили при правительстве Альенде".

Конечно, говорит Перето, враги народной власти пытались серп и молот обернуть против нее, и кое на кого их пропаганда оказывала влияние. Но, думаю, символ Советского Союза рядом с фамилией Альенде дал ему немало голосов.

На сороковом километре второй раз заплатили за проезд по шоссе. И тут же начались хижины из травы.

Вернее, из снопов.

- Как живут эти люди? - спрашиваю переводчика.

- Не живут. Существуют.

Движение на шоссе не густое, многие машины обращают на себя внимание. На маленькой легковушке нарисован огромный кувшин. Почему кувшин? Захотел и нарисовал. Огромные цистерны, не меньше железнодорожных, ярко раскрашенные, мчатся с большой скоростью. В них - вино. К слову, чилийское вино, как утверждают знатоки, не уступает лучшим винам, завоевавшим мировую популярность, и оно все увереннее пробивает себе дорогу на мировом рынке.

Величественно следуют гигантские тягачи с тридцатитонными прицепами, груженными чушками красной меди. Это уже с "Теньенте". Незаметно въезжаем в Ранкагуа, где расположено несколько управлений медных копей и городок шахтеров. Почти все домики одноэтажные, маленькие, красивые, выкрашенные в разные цвета.

От Ранкагуа сворачиваем с главной магистрали.

Едем по отлично асфальтированной дороге, недавно построенной фирмой "Теньенте". Горы, то покрытые кустарником, то голые, вдоль и поперек пересечены колючей проволокой. Такие преграды переполосовали всю страну, и возведены они владельцами земли. Каждый ограждал свои тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч гектаров. Сейчас значительная часть земли национализирована. Но ограды остались, как границы сельскохозяйственных кооперативов, государственных и частных владений. Впрочем, "национализировано", можно сказать, условно, ибо государство не отбирает землю, а выкупает. Правда, выплачивается лишь десять процентов ее стоимости, а остальная сумма - с рассрочкой на двадцать лет.

Постепенно горы становятся выше, исчезла растительность. Неожиданно за поворотом мы увидели дым.

Очень много дыма. Густой, тяжелый, он двигался, расползался, накрывая огромную территорию. Дым не уходил вверх, а оседал, и от него темнело на дороге.

Было противоестественно. Горы, совершенно дикие, только голые горы со всех сторон, исполинские, обрывистые, и не может быть здесь ни жизни, ни дыма. Но это не мираж. Где-то далеко внизу из ущелья показались трубы. Только верхушки труб, из которых валил дым. Трубы медеплавильного завода.

Мы поднимаемся выше и едем по дороге, каких мне не приходилось видеть. Обычно горная дорога идет "серпантином". С самолета она кажется извилистой ступенькой. По одну ее сторону - гора, по другую - пологий спуск или обрыв. А тут либо она разрезает гору и едешь в образовавшемся ущелье, либо обрывы с обеих сторон. Машина движется, как по дамбе. Но все равно вокруг только горы. На них уже никакой растительности. Ни деревца, ни кустика, ни травы, ни земли. Сплошной камень.

Исполинские массивы, что высятся со всех сторон, не назовешь и скалами. Скалы предполагают выступы, углы, плоскости. Ничего подобного здесь нет. Зто и не гладкий камень, обветренный, обмытый, как валун. Будто плавился исполин, оплывал при сильном ветре, образовавшем морщины или рябь, и так все это и застыло. Что-то от сотворения мира. Безмолвное, безжизненное, вечное... Кордильеры...

Машина петляет в горах одинокая, маленькая, точно муравей среди небоскребов, и трудно оторвать от них глаз, и на глазах они меняют цвет. Это поражает до суеверия. Значит, не безжизненные, значит, что-то таинственное, фантастическое происходит в этих немыслимых горах.

Мчится машина, часто меняя направление, солнце

оказывается то справа от нас, то слева, и не сразу понимаешь, что это его лучи так преображают горы.

Неожиданно, совсем близко открываются промышленные здания и узкоколейка с длинным составом непривычно высоких хопров, перегораживающих нам путь. Это обогатительная фабрика меднорудного комплекса "Теньенте". Сверхсовременное предприятие.

Где-то под землей в одиннадцати километрах отсюда по крутым трубопроводам несется с шахты руда, там же под землей попадает в бункеры, под которыми движутся составы, автоматически нагружаемые и идущие по подземной электрорельсовой дороге сюда на обогатительную фабрику. Руда дробится, мелется, смешивается с водой, автоматически переходит с одного агрегата на другой, движется по конвейерным лентам, по трубам, через гигантские бассейны, и всюду происходят какие-то процессы, химические или механические, пока не отделятся от нее восемнадцать примесей меди, тоже представляющих ценность. А медный концентрат потечет на медеплавильный завод.

Главный цех обогатительной фабрики - это здание из стекла, бетона и металлических конструкций, разделенное на разных уровнях железными решетками этажей на десять, где сосредоточены сотни и сотни машин и механизмов. Стоя у одной с гены, разглядишь противоположную разве что в сильный бинокль. Вращаются гигантские барабаны шаровых мельниц, жужжат маховики и зубчатки, щелкают рычаги и клапаны в агрегатах, где пенится, вот-вот выплеснется через край, но не выплескивается густая масса медного концентрата. И на всем необозримом пространстве цеха -- ни одного рабочего. Впрочем, у какой-то машины возятся двое. Но она отключена от общей линии и ремонтируется. Где-то высоко-высоко, будто стеклянный скворечник - пульт электронного управления фабрикой.

Мы долго осматривали это совершенное производство, слушая объяснения инженера и редкие реплики представителя фирмы, с которым приехали. Потом, взглянув на часы и официально улыбнувшись, он сказал:

- А теперь пора обедать.

- На рудник поедем после обеда?

- На какой рудник? - удивился он. - После обеда, если останется, конечно, время, взглянем на медеплавильный завод, потом - домой.

Он был официален и тверд. Никаких других поручений у него нет, к кому нам обращаться, не знает. Он обязан показать лишь то, что назвал, затем доставить уважаемого гостя в Сантьяго, а

точнее, в гостиницу "Карера". Стало ясно, что здесь недоразумения не разрешить. Но хоть завод посмотреть до обеда можно?

Ведь не исключено, что потом "не останется времени".

Пожав плечами, он согласился. До завода, расположенного на высоте более двух тысяч метров, ехали минут десять. Может быть, потому, что с фабрики, построенной на основе последних достижений техники, сразу попали на старый завод, он произвел удручающее впечатление. Стиснутый скалами бескрайний навес с изломанным профилем - это и есть завод.

Конверторные печи в черных наростах, окутаны дымом, гарью, копотью, верные бесформенные глыбы шлака то и дело преграждают путь. Вся плошав вокруг печей, должно быть, при строительстве не Сила выровнена, поэтому повсюду много каких-то мостков, переводов из кирпича и железобетона, обваливающихся, осыпающихся под ногами. Из печей под куполом бьется обуглившееся несгоревшее топливо. Глубокий слой пыли и гари, в котором утопают ноги, перемешан С кусками шлака. Повсюду валяются вышедшие из строя или отслужившие срок части машин, куски металла, какой-то хлам. Пыль поднимается, а копоть и несгоревшее топливо оседают, и воздух заполнен этой смесью. Хотя стен нет, дышать нечем. По сторонам от навеса накаленные скалы, а под ним шевелящийся черно-сизый туман. Он движется медленно, пластами, совершая какой-то круговорот то вверх, то вниз, то в стороны, но никуда не уплывает из-под навеса. Лто;и ходят с твердыми, похоже непроницаемыми повязками, закрывающими нос и рот. Уже через несколько минут машинально ощупываешь затылок, лезешь за воротник и тщетно пытаешься стряхнуть кристаллики гари С влажного тела. Пыль и гарь заползают в кос, хрустят на зубах.

По одну сторону от навеса - подсобные здания и жилые дома с окошечками под самой крышей. Они тоже, точно черной коростой, покрыты толстым бесформенным слоем из грязи и копоти. И кажется, не пятьдесят лет этому заводу, как сказал представитель фирмы, а тысячелетия. И наросты эти образовывались тысячелетиями.

При нас начали чистить одну из печей, и стало ясно, откуда здесь столько шлака и заводских отходов.

Гигантский крюк, спущенный с крана в печь, ворочал там раскаленные глыбы, вытаскивал наверх, и они рушились, дымя и быстро остывая. От едкого запаха першило в горле. Потом те, что не разбивались на кусочки, оттащат в сторону, и, видимо, на том дело и кончится.

На соседней печи медь поспела. Тонкой струйкой она течет в

изложницы карусельного конвейера. Изложниц, расположенных по кругу, - штук пятьдесят.

Струйка течет в них безостановочно, заполняя одну за другой расплавленным металлом. Его охлаждают водой. Сначала только капли воды попадают на металл, потом душ сильнее, гуще, и вот уже струя воды окатывает отвердевшую чушку. Вздымаются клубы пара, и окутанный паром рабочий с двумя крюками выковыривает чушку, вернее, отрывает от места. Чуть дальше изложница опрокидывается в узкую ванну с проточной водой, по дну которой движется конвейер, вытаскивающий наверх охлажденную чушку. Ее подхватывают крюками двое рабочих, бросают на тележку, и третий рабочий бежит с ней, грузит на платформу, к которой через несколько минут подойдет тягач.

Ни одной лишней минуты не лежит здесь готовая медь. Высшего качества красная медь, приносившая американским капиталистам один миллион долларов прибыли в день.

Работать на этом заводе тяжело. Только очень здоровым и сильным по плечу. Только таких и брали сюда. Благо, безработица давала все возможности большого выбора. Но и сильные держались не долго.

Здоровье терялось, таяло, и уже не мог стоять человек у печей, стоять часами, окутанный паром. Тогда его увольняли, он вливался в армию безработных. Найти применение теперь уже слабым своим силам становилось почти невозможно. Как и руда, перемалывались здесь люди и растекались по чилийской земле.

В Центре "Операции правда", когда я туда приехал, уже знали о том, что на рудник меня не пустили.

Это вызвало недовольство Центра. Мне сказали, что тем не менее поездка состоится обязательно. Помимо воли я становился чуть ли не участником конфликта.

Мне не хотелось этого. Сказал, на поездке не настаиваю, еще осталось многое, что надо увидеть. Из дальнейшего разговора понял: теперь дело уже не только во мне, но главным образом в престиже Центра, в том, что зарубежные администраторы не имели права менять мою программу. Их объяснения, будто они не поняли просьбы, не удовлетворили Центр.

На следующее утро за мной заехали Перето и представитель администрации. Когда машина тронулась, на всякий случай спросил:

- Значит, мы едем на рудник "Теньенте", где я буду иметь возможность спуститься в шахту, а потом посмотреть поселок?

- Нет, - улыбнулся представитель. - Мы покажем вам нечто куда более интересное.

Мне не хотелось смотреть куда более интересное.

Я хотел на рудник, о чем и сказал ему.

- Извините, - развел он руками. - Такого поручения у меня нет. Да и попасть туда мы уже не успеем.

Не успеем на поезд узкоколейки, а другого пути на шахту нет.

Я знал: реакция и те, кого ей удается ввести в заблуждение, пытаются игнорировать мероприятия правительства, дискредитировать его органы. Думал, это относится к серьезным политическим и экономическим акциям. В голову не могло прийти, что даже на такой малости, как вот эта поездка, кто-то может саботировать указание Центра. Но хорошо помнил последний разговор, происшедший там. Поэтому ехать дальше отказался.

В то утро мне довелось побывать и в Центре, и в управлении внешних сношений "Теньенте". Там я и увидел огромный портрет мистера Вильяма Брейдена, в золоченой раме. Он висел в приемной, где уверенно, с чувством собственного достоинства действовала секретарь управления сеньора Сильвия Сарович.

Учтивая, предупредительная, прежде всего попросила не искать в этом недоразумении политической подоплеки, так как поездка на рудник, по ее словам, проблема чисто техническая. Предложила кофе, подарила набор образцов меди "Теньенте" и отлично изданный проспект всего меднорудного комплекса. Не торопясь, тем не менее быстро, куда-то звонила, отвечала на телефонные звонки, принимала и отправляла почту, давала распоряжения. Время от времени обращалась ко мне, объясняя, что делается все возможное, только бы состоялась моя поездка.

Затем явился руководитель отдела информации управления внешних сношений "Теньенте" сеньор Уго Шиллинг. Он тоже был вежлив и тоже говорил, что посещение рудника проблема не политическая, а техническая. Спросил, ясно ли мне это. Я сказал: "Ясно".

Вместе с Перето мы ожидали, чем все это кончится, и он тихонько переводил мне красочный проспект.

В нем дана экономическая характеристика медных копей "Теньенте" и подробнейшим образом рассказано, какое великое благо для народа Чили совершили в прошлом и совершают сейчас североамериканцы, разрабатывая чилийскую медь, как много труда и долларов вкладывали и вкладывают в это дело руководители медной корпорации на чилийской земле.

И подумалось: как же цепко они держатся за эту землю, сколько еще усилий народа потребуется, чтобы обрубить их корни, проникшие во все ее поры.

Поездка состоялась. В Ранкагуа к нам присоединился

инженер из управления рудником. Мы ехали уже по знакомой дороге, пока где-то в районе обогатительной фабрики не уперлись в закрытый шлагбаум. Дальше ни шоссейной, ни грунтовой дороги нет.

На узеньких рельсах стоял поезд из нескольких вагончиков, раскрашенных в разные цвета. Не будь они такими старыми и невзрачными, с облупившейся краской, ничем бы его не отличить от поездов детской железной дороги. И еще одно отличие, бросавшееся в глаза. В голове поезда стояло два тепловоза, хотя, как я подсчитал, вагончиков было всего шесть. Какие же препятствия надо преодолевать, если такой крошечный состав пускают на двойной тяге!

Вагон, куда мы вошли, был полон. Женщины, мужчины, дети. До поселка Севель, где находится рудник, - одиннадцать километров. Весь путь в диких скалах. И все время подъем. С каждым километром в среднем поднимались на сто метров. Конечно, на такую крутизну один тепловоз не вытянет состава. По склону горы гьется вырубленная в скалах ступенька, на которой едва умещаются узенькие рельсы. С одной Стороны - отвесная стена, с другой пропасть. Поэтому в дождь и снегопад узкоколейка не работает. Опасно. А непогода здесь восемь-девять месяцев в году.

Значит, на это время шахтерский поселок в скалах отрезан от всего мира. Да и в хорошую погоду спускаются с гор немногие. Во-первых, эти вагончики ходят один-два раза в сутки, а во-вторых, погода в горах капризна, может измениться неожиданно. Как потом попадешь на шахту?

Одиннадцать километров мы поднимались в сплошных скалах. Временами скорость не превышала двухтрех километров в час. Это в тех местах, где особенно круты повороты и не исключена опасность свалиться. Даже если у окна сидишь, земли не увидишь.

Едешь, будто по канатной дороге.

Для руды построен более надежный путь - подземный, или, вернее, подскальный, трубопровод. Ему не страшна непогода. Круглыми сутками безостановочно течет руда на старую обогатительную фабрику и на новую, о которой речь шла выше. Ну, а люди пока пользуются узкоколейкой.

Чем выше поднимаемся, тем страшнее и красивее.

Ползет крошечный составчик в исполинских скалах, карабкается, вот-вот соскользнет и рухнет. Снеговые вершины залиты солнцем. Но кажется, будто они подсвечены изнутри. Будто хрустальные они. Хрусталь переливается, грани сверкают. Брызгами искрятся водопады. Ни одна капля воды не пропадает.

Сложная система водосбора соединяет дождевые капли в ручейки, потоки, направляет в железобетонные хранилища. Горы обильно снабжают водой и шахту, и поселок.

Миновали вырубленный в цельном массиве камня тоннель и неожиданно вдруг увидели снег. Им было покрыто полотно железной дороги и маленькая станция, где мы остановились, с вокзалом, похожим на вагончик наших строителей, и буквально игрушечный снегоочиститель, стоявший тут же, и вся земля или камень вокруг. Все это было неправдоподобно, похожз на декорацию, и только мальчики, игравшие в снежки, делали картину реальной.

Поезд стоял минуту. Мы продолжали карабкаться наверх, куда-то на небо, медленно, тяжело, в полном одиночестве, среди исполинских нагромождений, и почему-то думалось о космосе.

Одиннадцать километров до станции Севель, где расположены шахта и поселок, мы преодолели за час.

Высота - около трех тысяч метров. Все в снегу. Снег падает, и хотя тает, его много. И только на очень крутых склонах он не удерживается, и они выдаются огромными черными пятнами.

Прямо от платформы начиналась крутая, как трап, лестница. И весь поселок в таких лестницах. Здесь нет улиц, переулков, площадей. Вместо улиц и переулков- лестницы. Вместо площадей - лестничные площадки. Здесь просто дома в скалах. Каждый дом имеет только номер. Почтовый адрес так и пишется: Севель, дом номер такой-то. А в Севеле этом живут двенадцать тысяч человек.

В отличие от всех населенных пунктов дома здесь стоят не рядами, а в зависимости от местности: то один над другим, то под разными углами, то перпендикулярно друг к другу. Есть одиночные дома, удаленные от других, есть группы домов, и все они разбросаны в самом хаотическом беспорядке. Между домами сообщение только по лестницам, по очень добротным железобетонным лестницам, которые кроме обычной для них функции несут дополнительную: укрепляют скалистый грунт, чтобы не осыпался.

Дома высокие, один даже тринадцатиэтажный. Но только с фасада он тринадцатиэтажный. Как и все остальные, он прилепился к склону горы, поэтому с тыльной стороны только два этажа - двенадцатый и тринадцатый. Но хода отсюда нет, мешает гора. Вход по железному трапу - сбоку на узкую террасу, идущую вдоль всего дома со стороны фасада. С этой террасы ведет трап на следующую, и так до тринадцатого этажа. А с террас - вход в квартиры, как в каюты с палубы. Лифтов нет.

Лестницы, трапы, железные, железобетонные, деревянные, идущие в дома, куда-то вверх вдоль домов, проходящие где-то

над крышами, огражденные решетками, сетками, перилами, беспорядочно переплетаются, и уже не поймешь, куда они ведут. Но чем выше поднимаешься по этим лестницам и трапам, тем яснее становится, что все они, в конечном счете, сходятся у главной проходной в рудник.

Мы поднялись ступенек на сто пятьдесят, а до вхо,аа было еще далеко. Остановились передохнуть на большой площадке, где изогнутый дугой по форме горы стоял длиннющий барак - какие-то механические мастерские.

Без тренировки и практики до рудника добраться трудно. Представители фирмы куда-то ходили, комуто звонили и вернулись довольными1 надо подняться еще немного, и за нами пришлют тележку грузового фуникулера.

Тележка двигалась по шести рельсам, расстояние между крайними - метров пятнадцать. Ее тянули шесть толстых стальных тросов. Рельсы были и на самой тележке, куда при необходимости загоняли одиндва вагона. Тележка несколько раз останавливалась возле производственных помещений для разгрузки или погрузки каких-то тюков и деталей механизмов.

И вот, наконец, мы в главном тоннеле. Здесь какието конторки, склады, ламповые, подсобные помещения. Надеваем резиновые плащи, тяжелые резиновые сапоги с застежками, каски. Вежливо улыбаясь, прощаются с нами представители фирмы. Дальше нас будет сопровождать инженер шахты. Он же потом проведет до дрезины к узкоколейке.

Маленький электровоз под непрерывный грохот колокола и вой сирены несется по тоннелю, сворачивая то вправо, то влево, и люди, которых мы обгоняем, жмутся к стенам. От главного тоннеля масса ответвлений. Они низкие, узенькие, как норы. Проехав километра три, останавливаемся на ярко освещенной площадке. Здесь тоже какие-то подсобные помещения.

Идем в ламповую, привьючиваем к поясу аккумуляторы, на каски насаживаем лампочки. Снова долго едем, пока не упираемся в тупик. Оказывается, мы точно под вершиной горы. И в шахту надо не спускаться, а подниматься. Огромная, скоростная клеть несется вверх, и штреки мелькают, как этажи в высотном доме, когда поднимаешься в лифте. И вот, наконец, последний. Вернее, первый. Номера штреков идут сверху вниз.

Сколько же осталось до вершины этого каменного исполина? Кто знает! Известно лишь, что медную гору начали разрабатывать еще инки и запасов руды осталось на двести лет.

В бесчисленных штреках, которые мы исходили, было темно и тихо. Но в чреве каменного гиганта находились две тысячи человек. Рассеявшись по одному и привязавшись канатом над

горловинами пропасти, они вгрызались изнутри в его тело.

У каждого - лом, кувалда да этот канат на поясе.

Где-то внутри горы руду взрывают динамитом, крошат отбойными молотками, а местами она залегает так, что забойщик лишь отодвигает заслонки и она рушится в бездонную горловину, как горный поток.

Далеко-далеко внизу попадает в многокилометровый трубопровод, в саморазгружающиеся хопры, на ленты транспортеров.

Стоя на доске на краю пропасти, шахтер управляет потоком. Жизни это не угрожает. Если он оступится или затянет его поток, канат удержит. Если ударит его камнем, он отцепит канат и побредет в медпункт. Хороший, с большой пропускной способностью медпункт. Это совсем рядом, в штреке. Правда, чтобы попасть в штрек, надо еще выбраться из узенького коридорчика, темного и душного, где трудно дышать от жары и рудной пыли, похожей на цемент, надо ещэ пройти в этом коридорчике, похожем на нору, по мосткам, вернее доскам, наполовину покрывающим горловину пропасти, у которых с ломом и кувалдой стоят привязанные за столбы креплений шахтеры. Но это и хорошо, что здесь люди, потому что в случае беды любой бросит работу и поможет выбраться.

В каждом штреке таких коридорчиков или ходов великое множество, и штреков много на разных уровнях, но все ходы закрыты дверями, и звук падающей руды доносится не отчетливо, а как далекий, заглушенный горами гул.

Один из первых ударов реакция направила на самый жизненный центр Чили медную промышленность, и прежде всего на копи "Теньенте", играющиз в экономике страны весьма важную роль.

Едва ли не главным исполнителем экономической диверсии явилась реакционнейшая газета "Меркурио".

На ее страницах была поднята кампания, призывающая специалистов к саботажу. Указывались фирмы США и других стран, где их примут на работу. Будто по воинской команде, как по сигналу из одного пункта управления, медные копи покинули около двухсот специалистов. Одни уехали за границу, другие стали искать работу в частных фирмах, третьи просто ушли, выжидая, что произойдет дальше.

Саботаж. Это не саботаж одиночек. Это продуманный, тщательно подготовленный и осуществленный массированный удар. Он был ощутимым, но не смертельным. Добыча меди по стране не только не уменьшилась, но увеличилась.

- А копи "Теньенте" немного полихорадило, - сказал наш

спутник, - но они оправились и уверенно набирают темпы. .Опытных людей у нас много, почти все опустевшие после саботажников места уже заполнены.

Забегая вперед, добавлю к словам инженера, что после национализации копи "Теньенте" стали давать больше меди, чем когда бы то ни было.

На обратном пути он пригласил нас к себе. У него квартира из трех комнат, хорошо обставленная, но какая-то не настоящая. Будто смотровая площадка. К какому окну ни подойдешь - внизу пропасть, перетянутая лестницами и прижатыми к скалам домами, похожими на стены, на каменные укрепления гор. Впрочем, одна стена без окон, она тоже прилегает к горе.

Жена инженера Лучия угостила нас вкусными лепешками, уставила стол множеством закусок, свежими овощами и фруктами, раскрыла дверцы бара, забитого самыми различными винами и коньяками.

Гостей здесь не ждали, значит, не специально все это готовили. Удивляться, собственно говоря, нечему, инженер получает двадцать одну тысячу эскудо, что составляет примерно 1500 долларов. Значительно больше министра, в восемь-девять раз больше шахтера высшей квалификации.

Эта ставка была установлена прежними владельцами. Расчет простой администраторам надо платить так, чтобы эти опытнейшие инженеры, обладающие большими организаторскими способностями, не только с радостью соглашались жить, как отверженные, в скалах, но и выжимали бы из рабочих максимум возможного, были бы бездумно преданы хозяевам фирмы. Иначе на такой должности держать не будут.

После прихода к власти правительства Народного единства эти ставки были снижены на шесть тысяч эскудо, а зарплата рабочим повышена на тридцать пять процентов.

...Спустя полчаса мы отправились в дома шахтеров.

Поднялись на третий этаж пятиэтажного дома. С тыльной стороны он двухэтажный. В отличие от многих домов лестницы здесь внутренние. Длинный коридор, много дверей. Серые, облезлые, с плесенью стены, мусор, грязь.

Сопровождающий нас инженер постучал в первую попавшуюся дверь. Вышел высокий широкоплечий шахтер. Зовут его Диего.

- Да, да, заходите, - охотно пригласил он в комнату, узнав, кто мы и зачем приехали.

В комнате живут шесть человек. Железные двухъярус!Й"1е нары. Сбитый из досок стол, две табуретки, один стул. Пол и стены, как в коридоре и умывальнике. Неубранные постели.

Простыни только на двух, на остальных грязные одеяла поверх матрасов. Из них сыплется не то истертая солома, не то опилки. Простыни темно-серые, как и грязные одеяла.

На столе остатки еды, пустые консервные банки, рубаха. Грязная одежда, носки лежат на постелях и под ними. На полу двумя горками спецодежда.

В комнате был только Диего. Трое его соседей ушли в клуб, двое на работу.

Диего жаловался: жить трудно, хотя заработки приличные. Семья в одном месте, он в другом, и родителям надо помогать.

Отвечая на вопрос, как шахтеры используют свободное время, Диего сказал:

- Да не так уж много свободного времени. Восемь часов это только в шахте, да еще перерыв на обед двадцать минут. Ну, а дойти до шахты? Сколько, вы думаете, это занимает?

Диего рассказал подробно об их жизни. От дома до шахты не больше пятисот метров. Но взбираться туда надо долго и подолгу отдыхать на площадках. Иначе не хватит сил работать. Да и по тоннелям рудника надо пройти не один километр, пока доберешься до рабочего места. Возвращаются с работы усталыми и зачастую, не раздеваясь, валятся в постель. Иногда спускаются на первый этаж, где какая-то женщина содержит столовую. Готовых обедов или ужинов там нет. Если принесешь свои продукты, она поможет сготовить. Кое-какие запасы и у нее есть, может и из них что-нибудь состряпать. Но на все это надо много времени. Поэтому чаще едят всухомятку то, что принесут из магазина. На эти покупки тоже требуется время.

Да и помыться надо, белье постирать, одним словом, дел хватает. Если работаешь в первую смену, вечером можно сходить в клуб.

Я попросил инженера проводить нас в дом, где живут семейные рабочие.

- Туда не стоит ходить, - сказал он смущенно. - Там очень плохо живут.

- А здесь?

- Ну, все-таки лучше. Пойдемте, я покажу вам клуб.

В Севеле несколько клубов, один принадлежит шахте, остальные частные. Мы пошли в первый. Огромная комната была уставлена круглыми столами.

За каждым играли в карты, и тесным кольцом позади играющих стояли болельщики. От густого дыма трудно было дышать. Впрочем, дышать трудно и вне помещения. И не только потому, что на такой высоте разрежен воздух. Круглые сутки на поселок оседает дым.

Он идет из труб нескольких подсобных предприятий и старой обогатительной фабрики, расположенных в Севеле, видимо, дотягивается и с медеплавильного завода. Кроме комнаты, где играли в карты, нам показали еще зал. Крошечный пустой зал с помостом вместо сцены и лавками с .облупившейся краской.

В частном клубе стояло несколько маленьких бильярдных столов, а по соседству что-то вроде кафе, где можно выпить. Здесь чисто, светло. Но почти все столики были свободными. Так же примерно выглядел и второй частный клуб. Есть еще в поселке кинотеатр, где показывают американские боевики и порнографические фильмы.

Обедать мы поехали в местечко Коя. На автомотрисе спустились к шоссейной дороге, а потом на машине проехали километров десять. Здесь знойное лето. А дальше такое, чему поверить нельзя. Будто в дикие неприступные скалы спустили на парашютах сказочный оазис. В центре большое красивое здание, вокруг которого на огромной территории разбит парк.

Аккуратно подстриженная трава, деревья, точно в дендрарии, самых различных пород. Ивы, образующие совершенно закрытые беседки. Их ветки, спускающиеся с вершин, сливаются со следующими, и так до самой земли. Раздвинешь их, и попадешь в шатер - просторный, прохладный. Сюда не только солнце, но и дождь не пробьется.

Несметное количество цветов. Розы - не обхватишь в две ладони. Большой красивый бассейн с отделением для детей. Лесенки, увитые цветами, мостики, гроты. И будто не талантливые люди создали этот огромный парк, а сама природа. И маленькие уютные полянки, и мостики, и смотровые площадки, будто все это сотворила природа.

Теннисные корты, площадки для бейсбола, крокетные, волейбольные, велотрек и еще множество спортивных площадок и сооружений рассеяно по всему парку. А над ним, в центре его возвышается здание клуба. Здесь огромный холл, ресторан, комнаты отдыха, а под ними - спортивные залы, помещения для игр - от детских до рулетки.

Метрдотель встретил нас в холле. Кроме диванов, кресел, столиков и люстр, здесь ничего нет. Но расставлял мебель, подбирал цвета обивки мебели и краски на стенах, бесспорно, художник. Несмотря на огромные размеры холла, в нем по-домашнему уютно и тепло.

Ресторан был почти пуст. Две стены из стекла. Перед глазами дикие, безмолвные, величественные горы, и этот противоестественный здесь оазис. Отсюда он кажется вообще ненастоящим. Так на лубочных картинках изображают рай.

Это клуб для хозяев и высшей администрации шахты "Теньенте" и медеплавильного завода.

Едва приступили к обеду, как за соседний стол сели трое американцев. Муж, жена и парень лет двадцати, должно быть, их сын. Глава семейства толстый, обрюзгший, с лицом, трясущимся, как незастывший студень. Пальцы даже не сосиски - сардельки. Он чем-то недоволен, что-то бормочет, брюзжит. Два официанта несколько раз бегали в буфет, показывая ему все новые бутылки вина, пока, наконец, он не остановился на одной из них.

Только после этого успокоился, снял пиджак, бросил его на свободный стул. Сзади из брюк вылезла рубашка. Не немножко, а вся. Он видел это, но, не заправив ее, грузно сел.

Мы подняли тост за Народное единство. Представитель фирмы, улыбаясь, сказал:

- Всю дорогу вы задавали нам вопросы. Позвольте и мне спросить вас о жизни вашей страны.

Мы говорили тихо, я рассказывал о Советском Союзе, а Перето переводил. Американец, сидевший к нам боком, несколько раз оборачивался, и вдруг у него вырвалось:

- Да это - русский! Откуда здесь русский, что здесь делает русский?!

Я отвечал на какой-то вопрос представителя фирмы. Неожиданно Перето смущенно попросил:

- Позвольте мне в переводе немного подробнее осветить тему.

Откровенно говоря, его слова меня удивили. Перето человек очень скромный, стеснительный, говорит тихо. За три недели нашей работы, стараясь быть совершенно незаметным, ни разу даже своего отношения к разговорам не проявил. Решительно ни во что не вмешивался, хотя человек он образованный, быстро схватывающий суть всякого дела, - Мой ответ не ясен?

- Нет, нет, что вы, - быстро заговорил Перето, - "

но все же, прошу вас...

Я согласился.

Теперь, в отличие от обычного, Перето стал говорить громко, решительно, все более распаляясь. Это был не перевод, он словно произносил речь, в которой я понимал лишь одно часто повторявшееся слово "совьетико".

Но смысл его выступления был ясен. Он говорил для американца. Он чувствовал себя хозяином своей страны, своей земли, и той, что была здесь, и которую навезли, чтобы посадить этот сказочный парк, и самого парка, и ресторана, хотел, чтобы американец это понял. И тот понял. Не фигурально, а буквально завертелся на месте. Ругаясь и бесцеремонно отплевываясь, швырнул на стол деньги, вскочил и пошел к выходу.

За ним последовали его спутники.

По пути в Сантьяго Перето сказал:

- Вынесено решение разрушить поселок Севель как непригодный для жизни человека и построить городок шахтеров в Ранкагуа, где они будут жить с семьями, а ездить на работу в специальных автобусах.

Я заметил, что подобное решение было вынесено давно, когда президентом был еще Фрей.

- Это верно, - ответил Перето, - но и земельную реформу объявил Фрей. Но за шесть лет его президентства было экспроприировано меньше земли, чем за шесть месяцев при Альенде. Конечно, трудных проблем много, решить их сразу невозможно, но народ видит, что слова нашего правительства не расходятся с делом.

Перето оказался прав. На законном основании во всех инстанциях были приняты поправки к конституции, предложенные Сальвадором Альенде, и это дало .возможность национализировать всю меднорудную промышленность. Вся крупная промышленность, полностью или частично находившаяся в руках капитала США, перешла чилийскому государству.

И поселок шахтеров в Ранкагуа начал строиться быстрыми темпами. Самые большие дома в Севеле, где условия жизни были особенно невыносимы, уже опустели. Их жители получили дома в Ранкагуа.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ

На окраине Сантьяго я видел больше тысячи сараев. В них живут люди. Есть сараи добротные, сделанные из досок, без щелей, крытые не кусочками битого шифера, а целыми листами, и никакой дождь им не страшен. А иные сооружены из разнообразных картонных ящиков, крепкой упаковочной бумаги, обрезков фанеры и жести, поржавевшей в тех местах, где облупилась краска.

Педро Кабесас живет в хорошем сарае. Таких во всем поселке не найдешь и сотни. Стены - из узких досточек в паз, даже пол не земляной, а деревянный, даже электрическое освещение есть.

Поселок из сараев называется Бандера, и он входит в крупнейший район столицы - Гранха, насчитывающий двести двадцать тысяч жителей. При желании Педро Кабесас мог бы иметь еще лучшее жилье. Он мог бы жить в каменном доме, где есть отопление, канализация и другие удобства, ибо он алькальд, то есть глава всего муниципалитета Гранха, фактически целого города, и не маленького. Но сарай в жизни Кабесаса занимает особое место, это этап в его жизни, это страница истории борьбы коммунистов Сантьяго и других чилийских городов.

* * *

Это было давно. Задолго до победы Народного единства...

...Во главе организации стоял плотник с мебельной фабрики Педро Кабесас. Он и его соратники решили, что операция пройдет успешно, если удастся осуществить ее внезапно, одним ударом. Начать часа в два ночи и закончить на рассвете. Если так и получится, полиция уже ничего не сможет сделать. Если же о ней пронюхают раньше времени, провал неизбежен. Ведь точно такая операция, какую задумали они, провалилась в Пуэтро-Монте только потому, что люди не сумели сохранить тайну. В результате - девять убитых, а остальные ушли ни с чем.

На окраине столицы Педро и его товарищи присмотрели пустырь. И хотя он никем не охранялся, дело было не из легких. "Пустырь" - так только говорится, потому что никто никогда его не использовал, и сквозь его каменистую почву пробился чертополох, и нанесло сюда всякого мусора и отбросов, но пустырь - это земля. Пусть каменистая, пусть ни к чему не пригодная, но земля. Значит, есть и ее полноправный владелец, которому она принадлежит вместе со всем, что на ней есть, - и этим чертополохом, и камнями, что валяются сверху или торчат из нее, и теми, что скрыты под внешним покровом, и всем, что в ней есть на любой глубине.

Пустырь принадлежал династии Костабалов. И это вполне устраивало Педро. Будь здесь человек не очень богатый, имеющий всего гектаров сто, они не стали бы трогать его землю. А у Костабалов тысячи и тысячи гектаров. Не обеднеют.

Осваивать решили, конечно, не весь пустырь. Действуя осмотрительно, чтобы не вызвать подозрений, наметили участок, на котором можно будет разместить триста семей - примерно полторы тысячи человек.

Количество участников операции не должно быть маленьким, чтобы полиция не могла с ними легко расправиться. Но и не настолько большим, чтобы потерять управление огромной массой совершенно не организованных людей. А полторы тысячи - цифра вполне подходящая. Рассчитали, чтобы на семью достался участок метров десять на двенадцать.

Конечно, на первый взгляд многовато. Ведь каждый должен соорудить только шалаш или палатку.

Для этого нужен просто клочок земли. Но ведь и о перспективе надо думать, если уж идти на такое рискованное дело. Если все пройдет хорошо, постепенно раздобудут доски и построят большие сараи, перегородят их картоном или мешковиной, чтобы, как у людей, отдельно была кухня, отдельно широкий топчан для детей, а если их много, то и два топчана, и

отдельно для главы семьи и стариков, если они есть.

На это надо тридцать пять - сорок квадратных метров земли. Но Педро взял широкий размах. Ему хотелось, чтобы осталось еще вдвое больше места для двора, где люди смогут развести кур или другую живность, где свободно играли бы дети, которых немало давили или калечили машины, пока они жили под мостами и на улицах.

Педро Кабесас и его товарищи (их было человек двадцать) - ьсе коммунисты - условились, что в целях конспирации ни один из тех, кто будет строиться, не должен об этом знать до самою последнего момента.

Так вернее. Но подобное решение накладывало на них большую ответственность. Надо никого не обидеть.

Из четырехсот тысяч бездомных Сантьяго надо отобрать только полугоры тысячи. При отборе решили исходить из количества детей у бездомного и степени бездомности. Если, скажем, небольшая семья прилично устроилась где-либо под скалой, да еще сумела кусками жести прикрыться от дождя и солнца, ее учитывали в последнюю очередь.

Составить список поручили самым справедливым.

Механику по линотипам Эрасмо Майорике предстояло подобрать пятьдесят семей, плотнику Нельсону Хофре - тоже пятьдесят и еще четверым коммунистам - по пятьдесят. Им разрешили включать в список семей по десять резервных, чтобы потом уже сообща точно все решить.

Руководители полусоток, как их называли, обязаны были постоянно консультироваться друг с другом, чтобы их группы были одинаковыми. В каждой примерно одинаковое количество детей, одинаковое количество безработных, стариков и равное количество коммунистов, чтобы в трудную минуту на них можно было опереться.

Немало времени требовала разметка пустыря. Ведь Е момент, когда полторы тысячи людей ринутся туда, определять, кому где строиться, будет поздно. Если заранее пойти с рулеткой, - значит, навертка провалить дело. Заметят. Поэтому на пустыре появлялись парочки вклюбленных, которые бродили пэ нему, то и дело целуясь или садясь отдохнуть, и никому не могло прийти в голову, что они считают шаги, что, садясь, будто для забавы, собирают в кучку камни или закрепляют на булыжнике цветную тряпочку, СЛОЕно занесло ее сюда ветром, зацепилась оча за колючку и просто лежит. Или вдруг пьяный забредет на пустырь и, покачиваясь, вышагивает медленно, старательно, как и положено пьяному, по все р:впо, на ногах держаться трудно, он падает и, поворочавшись немного, с трудом поднимается, снова

идет и снова падает.

Так ставились первые вешки, делалась первая разбивка пустыря, еще не точная, но хоть примерно определявшая границы полусоток, а по возможности и отдельных участков.

А руководители полусотох и их помощники бродили по городу, беседовали с бездомными, будто от нечего делать, но точно выведывали необходимые ии данные, а отойдя, заносили их в блокноты. Опасаться, что бездомного в нужный момент не окажется на месте, не приходилось, потому что таких, кто спят там, где их застала ночь, было очень мало, как правило, холостяки. Остальные имели точный адрес. Каждая семья все-таки как-то устраивалась на постоянное жилье. Одни под мостами или у глухих складских стен, другие у вокзала, у подножья гор, а немало их снимали угол в ветхих домиках или навес во дворе, принадлежавших таким же беднякам, как и сами бездомные.

Долго пришлось повозиться и с национальными флагами. Их требовалось триста штук, чтобы каждая семья могла вонзить древко в землю на своем участке во время операции, а потом водрузить на шалашэ, ибо сорвать национальный флаг не всякий карабинер решится. А сделать чилийский флаг не просто.

К концу подготовки, на которую ушло около трех месяцев, круг посвященных в это дело расширился.

Сначала руководители полусоток сообщили о предстоящей операции коммунистам своей группы, а за два дня до назначенного срока с их помощью - всем остальным.

Бездомных предупредили, что с собой они должны иметь запас воды и пищи хотя бы на три дня, ибо скорее всего полиция блокирует пустырь и выйти оттуда удастся не -сразу.

Педро Кабесас и его штаб понимали: если полторы тысячи людей одновременно ринутся из города со своим скарбом в одном направлении к пустырю, их обязательно заметят. Поэтому задолго до назначенного срока бездомные уходили в самых разных направлениях по одиночке, совершали большие обходы только по маршрутам, указанным руководителями, не подозревая, что они окружают пустырь.

Операция была назначена на два часа ночи. Коиандиры полусоток сверили часы и разошлись в разные стороны, где рассредоточились их люди.

В час ночи пошел дождь. К двум он превратился в ливень. Люди радовались этому. Ровно в два ринулись на пустырь, как в атаку. Бежали, стараясь не выпустить из виду своего руководителя, ибо куда именно надо бежать, никто не знал. Бежали с тюками, рюкзаками, детьми, знаменами, рейками,

картонными и фанерными листами. В мокрой одежде с мокрыми вещами по размокшей земле пустыря в сплошной темноте бежали, задыхаясь, люди, и у всех хватало сил, потому что убегали они от проклятой бездомной жизни, с великой верой и надеждой.

На месте их ждали организаторы операции и члены комитетов полусоток, созданных заранее и состоявших из шести человек каждый. А каждый член комитета отвечал за свою группу из восьми семей.

Дождь не утихал, темнота не рассеивалась. Под плач детей началась стройка, как штурм. Первый этап - воткнуть в землю древко знамени, вбить колья, накинуть на них тряпье, создать хоть подобие шалаша, чтобы на нем водрузить национальное знамя.

Люди строили жилье для себя, но по указанию членов комитета безропотно оставляли свои участки, чтобы помочь немощным. Жилье, пусть самое примитивное, пусть только контуры его, едва прикрытые, должны быть готовы на всей территории одновременно, иначе ее не удержать.

И вместе с поселком рождалось нечто иное, куда более важное, что каждый ощущал, не отдавая себе в том отчета. Те, кто имели работу, знали, что у ворот фабрик и заводов ходят толпами безработные, готовые в любую минуту заменить их. Им казалось, будто те, что у ворот, только и ждут, чтобы кого-либо выгнали, чтобы покалечился кто-нибудь, все что угодно, только бы освободилось место. Те, кто не имел ночлега, завидовал хорошо устроившимся под мостами или навесами, успевшим захватить лучшие места.

Всю свою жизнь каждый из них в одиночку боролся за это место под мостом, за место на медных рудниках, на скотоводческих фермах. И в каждом, кто так же в одиночку боролся за свое место в жизни, видел конкурента. Всю свою жизнь эти люди, будучи незнакомыми, неприязненно, а то и с ненавистью относились друг к другу.

Строя шалашный поселок, впервые ощутили, что они - люди одного класса, один коллектив, интересы у них общие и главный их враг - Костабалы и им подобные. Впервые ощутили великую гордость и ответственность за общее дело, ибо десятки и десятки бездомных вошли в комитеты матерей, безработных, молодежные, бытовые и еще некоторые, организованные в каждой полусотке коммунистами, которые уже в первый час стройки создали свою территориальную организацию в этом новом поселке, названном Бандера, что значит - знамя.

А стройка продолжалась. Уже заканчивали натягивать

палатку для медпункта, когда налетели карабинеры, оцепившие поселок.

Слишком поздно. Светило раннее солнце, сушились во "дворах" вещи, бегали возбужденные ночным происшествием дети, а на всех шалашах и палатках висели национальные флаги.

Карабинеров встретил коммунист - депутат парламента. Лицо официальное и неприкосновенное. Прибыли и другие прогрессивные деятели - опытные юристы, заранее подготовившие петиции к властям от имени застройщиков, которые, оказывается, делали какие-то взносы в строительную корпорацию, и хотя деньги небольшие, даже смешно называть их деньгами, но все-таки это взносы, и надо еще разобраться, действительно ли их мало, чтобы занять участок. Правда, без ведома Костабалов пустырь вообще занимать нельзя, но и тут надо разобраться, кто это все так напутал. В петициях было дано множество ссылок на законы, поправки к законам, и становилось ясно: просто сгонять сейчас людей с пустыря нельзя. Вопрос может решить только суд.

Это и объяснил депутат парламента полицейскоггу начальнику. И тот охотно принчл подобное объяснение. Он хорошо знал характер чилийцев, видел, что их здесь полторы тысячи, а откуда полетит в голову камень, не увидишь. И перед начальством есть оправдание: не разрешил сносить шалаши депутат парламента.

Блокада поселка длилась пять дней. За эти дни многие наголодались, многие лишились работы, но утвердились на пустырэ прочно. Судебная тяжба дело долгое, и платить судебные пошлины должен тот, кто в суд обращается. Впрочем, на этот раз вопрос решился быстро. Спустя полгода правительство Фрея не то выплатило Костабалам стоимость земли, не то предоставило им другой участок.

А еще через полгода очередные триста семей бездомных заселили по соседству еще часть пустыря.

Операция прошла более успешно. Во-первых, потому, что уже имелся опыт, а во-вторых, люди первого поселка, состоявшего теперь не из шалашей, а сараев, вышли ночью на помощь вновь прибывшим.

К 1970 году "освоили" весь пустырь. Теперь здесь больше тысячи сараев. Это и есть поселок Бандера, входящий в столичный район Гранха, где алькальдом - коммунист, бывший плотник с мебельной фабрики Педро Кабесас. На последних муниципальных выборах он получил больше всех голосов. И вообще коммунисты в этом районе пользуются огромным авторитетом. Но и ответственность на них, на социалистов, на

представителей других партий Народного единства легла огромная. Жить в сарае, конечно, лучше, чем под мостом. Но сарай остается сараем. Керосиновое освещение, земляные полы, отсутствие канализации не могут не тревожить алькальда и весь муниципалитет.

В стране не хватает четырехсот тысяч жилищ для трех миллионов жителей. Каждый третий чилиец либо не имеет жилья, либо оно непригодно для жилья.

Сго тысяч домов не имеют воды. По восемь человек живут в одной комнате. Это наследие прошлых режимов тягчайшим грузом легло на правительство Народного единства. И око приняло "Чрезвычайный план строительства ста тысяч жилищ".

Немалое место в плане отведено району Гранха. Я осматривал этот район, особенно поселок Бандера, и пеня поражало одно обстоятельство. Поселки нищеты в разных странах разные. В Сингапуре, например, они сосредоточены на старых баржах. Перепрыгивая с одной на другую, рыщут там голодные собаки, но чаек из увидишь: ничто съедобное не летит за борт. По дну барх": ползают дети. Здесь они рождаются, здесь умирают. В Индии жилье нищеты чащз всего сделано из упаковочного материала, и их карликовые картоннофанерные домики лепятся друг к другу, как ячейки в сотах. Совсем по-другому выглядят трущобы Парижа.

Но есть одно общее для всех поселков нищеты: лиц4 и фигуры людей. Они выражают безнадежность. Полное безразличие ко всему окружающему. Кажется, людям совсем неважно, будут они жить или нет.

Поселок Бандера, особенно та его часть, где еше не успели соорудить сараев, - одна из разновидностей поселков нищеты. Но вот лица людей не могут не удивлять. Жизнерадостные, веселые. Чему же радоваться?

- Поедемте, посмотрите, - сказал секретарь райкома Коммунистической партии Оскар Рамос.

Мы поехали вчетвером - Оскар Рамос, Педро Кабесас и архитектор района коммунист Франциско Эйхо. В глубине поселка Рамос сказал:

- Остановите машину, где вам хочется.

- Ну, хотя бы здесь.

У ограды какая-то женщина кричала:

- Реже, Реже, сейчас же домой!

Мы вышли из машины, и Кабесас спросил, можно ли войти в ее дом. Она радостно заулыбалась. Видно, хорошо знала своего алькальда. Конечно, можно.

В домэ две комнаты, одна из них - детская, и кухня. Всего

тридцать два квадратных метра. Три кровати.

Здесь живут восемь человек. Рабочий лесопильного завода Филимер Арамеда, его жена Гирея и их шестеро детей. Филимер и Гирея имеют отдельную кровать, а дети спят по трое на одной. В земляной пол вбиты четыре кола, на них щит. Это единственный стол в доме. Три самодельных стула, лавка. Стены и гютолок сделаны из горбыля. Повсюду щели. В детской много тряпичных кукол. Они аккуратно рассажены на постелях.

- Когда идет дождь, - радостно говорит Гирея, - нам все равно где находиться - на улице или в доме.

Здесь все заливает.

Она улыбается, улыбаются и мои спутники.

- Ну, хватит, - говорит Педро Кабесас, - пошли во двор.

Позади жилища Гирей на еэ участке строится кплпичный дом. Еще немного, и подведут под крышу. А готов он будет через три месяца. И переодет сюда Гпрея со своей семьей.

Темнело. Но вдоль всей улицы, по обе ее стороны, были отчетливо видны позади сараев кирпичные остовы будущих коттеджей.

Вот почему улыбались люди поселка нищеты. И еще потому, что теперь Гирея получает бесплатно три литра молока в день. По пол-литра на ребенка, как получает каждый ребенок Чили.

Стены огромного сарая, где помещается контора строительства городка, заклеены списками, в которых точно указано, кто и когда получит новую квартиру.

А на большом плакате дана таблица, по которой определялась очередность. Здесь два главных критерия:

зарплата и количество детей. Чем меньше зарплата и больше детей, тем быстрее семья получит квартиру.

Как же не радоваться простому люду из поселка нищеты!

НА ОГНЕННОЙ ЗЕМЛЕ

Летом на Огненной Земле ветры не дуют. Но лето короткое - самый конец декабря и январь. И зимние месяцы - июнь, июль, август - почти безветренны. А в остальное время года стихия бушует. Ее выдерживают только самые устойчивые сорта красного дуба. На кем незарастаемые следы тягчайшей борьбы. Листьев почти нет. Каждую ветку будто крутили вдоль оси, а потом заламывали назад, пытаясь завязать петлю, но так и оставили, и торчат они в неестественно согнутом состоянии. И ствол скручен, он весь в узлах и наростах, будто исполинская сила выжимала из него соки, как выжимают белье, а скрутив до отказа, еще и выгибала то вниз, то вверх, то в стороны. Волокна в стволе идут не прямо, а загнуты в клубки, и колоть его почти невозможно. Так и стоит на Огненной Земле красный дуб, страшный и

великолепный в своем уродстве.

Я смотрел на деревья, слушал скотоводов, тех, кто всю жизнь разводил овец в степях Огненной Земли, и тех, кто, охваченный золотой лихорадкой, пересекал материки и океаны, чтобы достичь Магелланова пролива, готовый хоть вплавь перебраться на заветный берег Огненной Земли.

Здесь они жаждали бури. Жаждали увидеть вздыбленный штормовой океан. В такие дни проклинали все на свете моряки, они гибли в обломках разбитых о скалы кораблей, а игроки удачи в безумной радости и сами, точно обезумевшие, метались по берегу. Бывший золотоискатель, а ныне скотовод Натали Масло рассказал мне, что в тихие дни он намывал не больше двух граммов золота, а в сильную бурю - до пятидесяти, а иной раз и до ста граммов.

Но и большая удача страшна. Ни отдыхать, ни спать не придется, пока не выберется удачник куда-нибудь подальше от свидетелей своего богатства. Нередко на добычу уходили двое, а возвращался один. И этот один с двойной добычей страшился не суда. Какие там суды!

Страшился, что любую минуту может стать добычей третьего. А у тысяч тех, кто шел на Огненную Землю за золотом и не находил его, кто, отчаявшись, проклинал жизнь, не имея средства выбраться оттуда, оставался единственный выход - идти пеоном в могущественную компанию латифундистов "Огненная Земля". Компания имела миллион гектаров земли, миллион овец, сотни мясокомбинатов, заводов по переработке шерсти и кожи. Ее владения распластались по обе стороны Магелланова пролива, захватив почти всю Огненную Землю, включая и ту часть острова, что принадлежит Аргентине, и просторы чилийской Патагонии с обширным районом Последней Надежды, и всей провинции Магальянес.

Компания насчитывала семь тысяч акционеров. За этой цифрой маскировалось меньше двух десятков подлинных хозяев "Огненной Земли", в руках которых находилось до восьмидесяти процентов акций. Среди владельцев - Педро Подкленович, Кампос Менендес, бывший президент Виделла, церковь, представители иностранного капитала.

"Огненная Земля" торговала со многими странами, то и дело тесня на международном рынке шерсти таких сильных конкурентов, как Австралия и Англия. И чем больше были ее доходы, тем сильнее гнула и скручивала людей, отбирая самых сильных из множества жаждущих работы. Ее могущество росло и, казалось, как невозможно укротить стихию, уродующую красный дуб Огненной Земли, так и найти силы, способной обуздать

"Огненную Землю", и она вечно будет властвовать над людьми.

Победа Народного единства обезглавила "Огненную Землю", экспроприировав все ее владения.

Мне предстояло посмотреть, как управляют ими те, кто был у компании пеонами, пастухами, рабочими.

Именно в их руки перешли земли, стада, предпрпятгт компании.

С тревогой пересекал я Магелланов пролив, ибо до этого имел немало встреч с открытыми и замаскированными врагами нового строя, немало перелистал страниц "Меркурио" - самой крупной, самой многотиражной и самой реакционной газеты Чили, щедро финансируемой банковской корпорацией Эдвардсов, еще находился под впечатлением беседы с правофланговым чилийской реакции - председателем Верховного суда. И все они в разной форме, то откровенно злобно, то пряча злобу за слюнявой пеленой демагогии о благе народа, рисовали мрачную перспективу для экономики, что принесет аграрная реформа.

Тихим и ласковым, трогательно заботящемся о людях выглядел беспощадный и жестокий Николас Симунович, один из крупнейших латифундистов страны.

Он принял меня в своем особняке в центре провинции Магальянес городе Пунта-Аренасе на берегу Магелланова пролива.

- Я родился и вырос на Огненной Земле, - сказал он. - Начал свою карьеру на голом месте, и все, чего достиг, это только вот этими руками, и поднял ладонями вверх, развел в стороны свои большие и сильные руки. ...И головой, - добавил помолчав.

На вопрос, чего же он достиг, Симунович отвечал за думчиво, как бы оглядываясь на всю свою жизнь. Не так уж и много, другие добиваются большего, но всетаки не стыдно ему перед людьми. Кое-что, конечно, сделал.

В его рассказах несколько пропусков, поэтому, приводя их, я тоже в соответствующих местах буду делать пропуски.

Восемьдесят лет назад его отец отправился на Огненную Землю искать золото (пропуск). Когда Николасу исполнилось двадцать лет, отец послал его в Европу изучать шерсть. Несколько лет провел в Англии, Австрии, Бельгии, Югославии... На какие деньги?., (пропуск).

Затем вернулся на Огненную Землю и поступил в качестве рядового служащего на фирму по перепродаже шерсти, принадлежавшую англичанину, французу и немцу. Вскоре стал их компаньоном на равных началах (пропуск). Потом выкупил их паи (пропуск) и стал единственным владельцем фирмы. Чтобы заниматься не перепродажей, а продавать кожу и шерсть

собственного производства, пришлось купить около тридцати тысяч овец (пропуск). По местным условиям, чтобы прокормить овцу, нужен гектар земли. Купил (пропуск) тридцать три тысячи гектаров земли. Обработкой шерсти и кожи, производством мяса, естественно, выгоднее заниматься самому. Купил (пропуск) и построил мясокомбинат и кожевенный завод в Пунта-Аренасе, мясокомбинат и фабрику по переработке шерсти в Сантьяго (пропуск), ну, еще на паях с компаньонами банк (пропуск), вскоре открывший отделения в других городах.

Вот и все, чего он достиг собственными руками.

Дальше Симунович говорил так, как пишут у нас в фельетонах, если хотят карикатурно изобразить капиталиста. Но говорил серьезно, убежденно, прижимая руку к груди:

- Поймите, мне ведь два обеда в день не надо.

И два костюма одновременно я не надену. Для того чтобы хорошо жить, достаточно одного маленького предприятия. А я постоянно увеличиваю свое хозяйство. Во имя чего? Только для того, чтобы дать людям работу, чтобы сделать их счастливыми. Это приносит мне огромное удовлетворение, во имя этого я живу.

Спустя несколько дней мы поехали с Симуновичем на его предприятия. Ему хотелось показать, как умело организовал он производство, а мне хотелось посмотреть на осчастливленных им людей. Не стану подробно описывать технологический процесс убот овец и разделки туш. Неэстетично. Скажу лишь о необходимом. Именно на производстве я убедился, ч го в главном Симунович прав: чтобы увеличить богатство, он работает головой. Я не видел, как он работает собственными руками. А вот головой...

Огромное стадо медленно движется в загон сквозь узкую дверь. Здесь двое рабочих хватают по овце, забивают их и туши бросают на конвейер. В нескольких шагах еще двое навешивают туши на движущиеся крюки и совершают первую операцию по разделке Туши движутся, переходя из рук в руки, пока освежеванные, выпотрошенные, вымытые не попадают в холодильное помещение. По другим конвейерным путям идут шкуры, потроха, отбросы.

Чтобы увеличить производителг-ность, Симунович не стал ускорять ход конвейера. Может быть, потому, что это было уже невозможно. Он увеличил штат. На убое овец стоял один человек, а Симунович поставив двоих. И на разделку стало поступать ровно вдвое больше туш. И ровно вдвое быстрее пришлось работать всем остальным. Казалось бы, пустяк - увеличил штат только на одного человека, а производительность всего предприятия удвоилась.

Это результат работы головы Симуновича и рук рабочих. Я видел, как они работают. Это фокусники. Это жонглеры. Движения молниеносны и точно рассчитаны. За их руками невозможно уследить. Их руки с ножами мелькали, как спицы в велосипедном колесе.

А два огромных парня все забивали и забивали овец, и туши неумолимо двигались на людей. И стоял человек возле этих двоих, не то надсмотрщик, не то администратор, только затем, чтобы не дать им снизить темпа убоя. Он стоял и тупо смотрел на них, и они, под этим взглядом и включившись в бешеный ритм разделыщчков, бросали и бросали на конвейер обезглавленные туши, и казалось, будто они сыплются из необъятного бункера.

Восхищенно смотрел на эту картину Симунович, то и дело подталкивая меня локтем, чтобы и я любовался ею, чтобы в полной мере оценил плоды его труда. Из меланхолично задумчивого, каким он был у себя доха, этот человек превратился в комок энергии. Он полностью включился в темп своего производства. С нестарческой поспешностью бегал от одного агрегата к другому, раздражаясь от того, что я не тороплюсь за нилт.

В холодильнике поднимал и бросал туши, чтобы я слышал, как они хорошо заморожены, стучал пакетами в целлофане и шептал с придыханием: "Почки, мозш, языки... Это в Европу". Точно полоскал руки в высушенной и распушенной шерсти, растягивал мокрые, обработанные шкуры: "Это тоже в Европу, в Италию..."

Потом, позже, уже без Симуновича я видел, как, отработав смену, шли домой рабочие. Шли молча, тяжело, с упавшими на грудь головами, как идут каторжники. А у ворот с завистью смотрели на них десятка два безработных. Я видел их стоявших у ворот и в тот момент, когда шел вместе с Симуновичем. Они и на него смотрели, С мольбой и надеждой. Он их не заметил. Успокоившись, объяснял мне, что психологически готовится к трудным дням, которые неизбежно наступят. Ему заплатят лишь десять процентов стоимости, а остальное с рассрочкой на двадцать лет. И он останется ни с чем, даже пенсию не дадут. И плоды его труда не достанутся сыновьям. Впрочем, за сыновей он спокоен. Оба они учатся в университете и будут твердо стоять на ногах.

Главное, что беспокоит, это необразованность тех, в чьи руки попадет его добро. Надо ведь знать, как воспроизводить стада, какой процент молодняка оставлять для потомства. Надо очень много знать. Шерсть ка мировом рынке все больше вытесняется синтетикой, и цены на нее падают. В прошлом году он продавал

килограмм шерсти за 1,2 доллара, а в этом годупо 0,7 доллара. Надо внимательно следить за конъюнктурой мирового рынка. Как же с этим справятся пастухи и пеоны?

Симунович объяснял мне все это, как бы ища сочувствия и поддержки, подчеркивая, что не о себе заботится, а о людях. Он говорил как-то просяще, словно надеясь, авось я похлопочу за него и останется в его жизни все по-прежнему.

Я не стал хлопотать. Тем более что за его сыновей я тоже спокоен. Ведь едва ли доллары, которые платит ему сегодня Европа, он вложит в производство. Судя го всему, сейчас он только продает, а доллары оседают на его счетах в иностранных банках.

Посмотрев на несметные его стада, на ограды колючей проволоки, за которыми, как тихие волны, колыхались спины овец, я отправился ка Огненную Землю. Хотел узнать, как ведется хозяйство на фермах, принадлежавших компании "Огненная Земля". Как, в самом деле, пастухи и пеоны управляются с делом.

Мы отправились вместе с известным чилийским писателем коммунистом Фраксиско Колоане и директором КОРИ [КОРИ - государственный орган министерства сельского хозяйства по проведению аграрной реформы] провинции Магальянес Америко Фонтано Гонсалесом.

На юге Чили - и в районах Последней Надежды, и на Огненной Земле, и во всей провинции Магальянес Колоане знают не только потому, что он лауреат Национальной премии и его произведения включены в хрестоматии и школьные программы. Его знают лично, ибо здесь его родные места, где он был и пеоном, и пастухом, и моряком, и рыбаком, где охотился на китов и тюленей, где учился, и пешком исходил эти земли, и знает водные пути в бесчисленных фиордах, и бескрайнюю Патагонию, и дикие Пампы, и индийские поселения острова Чилоэ.

Человек удивительного обаяния и большого писательского дара, горячо любимый людьми.

Америке Фонтане Гонсалес - голубоглазый светлый шатен, молодой и скромный, даже стеснительный, обладающий огромной волей, возглавлял один из острейших участков борьбы чилийского народа за свои права. Человек большой эрудиции, получивший специальное образование по технологии животноводства, отлично знающий все изменения в конъюнктуре на мировом рынке шерсти, твердый в решениях и добрый к людям, он так же, как и его друг Колоане, радостно встречался со скотоводами Огненной Земли, рабочиминефтяниками, фермерами, пеонами. Из его рассказов я узнал многое.

Пять миллионов гектаров земли провинции Магальяиес,

занимающей самую южную часть земного шара, не подлежат обработке. Это камни, скалы, вечные снега, вечные льды. По четыре миллиона занимают леса и пастбища. Из трех с половиной миллионов гектаров пахотной земли два миллиона принадлежит частным лицам. Среди них и такие, как Симунович, и те, кого по нашей терминологии можно назвать бедняками, середняками, кулаками. И как только началась экспроприация крупных хозяйств, сработал заранее подготовленный механизм для контрудара. Началась продуманная провокационная кампания реакции. Как чума, распространился по всей Патагонии слух, будто землю, даже бедняцкую, отберет государство. Чтобы люди поверили в этот нелепый слух, были организованы налеты сверхлевацких элементов на частные земли, были спровоцированы кровавые столкновения, и все это раздутое, разукрашенное, расцвеченное лихой фантазией "Меркурпо" и реакционной печатью Запада распространялось среди чилийских крестьян. И немало владельцев мелких и средних хозяйств, конечно же, не подлежавших экспроприации, поверили. Одни из них заняли выжидательную позицию, другие стали лихорадочно сбывать продукцию своего труда, пусть даже по бросовым ценам, и едва ли кто думал о дальнейшем развитии хозяйства.

Предчувствуя не мнимую, а реальную угрозу, латифундисты бросились было сбывать землю и стада. Да кто же купит в такое смутное время? И от того, что землю можно взять совсем по дешевке, а никто не берет ее, тревога увеличивалась.

...На Огненную Землю из Пунта-Аренаса мы летим втроем. Наняли маленький самолетик, и его владелец, добродушный летчик Леонидас Кобас, в знак особого уважения к советскому человеку предложил без дополнительной оплаты показать с воздуха всю провинцию Магалъянес. Нет, не города и поселки, а ее дикую природу.

Фиорды, фиорды, фиорды... Тысячи, тысячи островов, островков, скал. Вулканы, вечные снега, вечные льды, вечное безмолвие. Особенно низко летим над районом плавучих ледников. Величественно течет с гор самый большой глетчер. Пока были на высоте двух тысяч метров, казалось, что он широк, как Волга. Но вот мы совсем низко, идем на ледник, будто на посадку. Я сижу рядом с Кобасом, который говорит: "Ширина глетчера - пятнадцать километров. Толщина льда - до 15 метров". Лед неповторимо чистой, прозрачной и удивительно нежной голубизны, иссечен, и образовались острые, как на исполинской пиле, зубья.

- Удобное для посадки место, - говорит Франсиско, а лихой летчик делает разворот над этим глетчером, и мы летим над

озером, где плывут льдины, спустившиеся с гор.

Берем курс на Огненную Землю. Где-то очень далеко снега и льдины создали фантастическую, но воспринимаемую совершенно реально картину. Будто в блеске солнца тянутся могучие крепостные стены, и сама крепость, и нагромождение домов... Это западное побережье острова, самая его высокая гряда. Вблизи миражи рассеиваются, и кажется, что попал в Антарктиду.

А восточное побережье - степи, холмы. Где-то там и поныне бродят, точно отверженные, одиночки в поисках золота. Два океана омывают остров и властвуют там, как хотят. От них и льды, и нестерпимая жара.

Пролетев над Портвиниром - столицей Огненной Земли, приземлились далеко на юго-западе от нее на чистом поле, близ поселений скотоводов Камерона и Тимаукеля. Самолет попрыгал на кочках, подрулил к маленькому навесу и встал.

Полное разочарование. Какая же это Огненная Земля? Степь, степь да невысокие холмы. Прибывшая за нами машина выезжает на грунтовую дорогу, забитую кикенами - дикими гусями. Уступать дорогу они не хотят, поднимаются в воздух тяжело и лениво, буквально перед самым радиатором. Едем вдоль Магелланова пролива. На большой отмели длинная, полукругом низенькая каменная ограда. Ее построили еще индейцы. Во время отлива она задерживала рыбу.

Неизменная деталь чилийского пейзажа, как только выедешь за пределы города, - колючая проволока. Ею перегорожены поля, леса, перелески, гористая местность, вся земля. Это границы частных владений. Проволокой расчерчена и Огненная Земля. И еще характерная черта пейзажа. На полевых дорогах обязательно встретишь пастуха на лошади, а за ним - запасную оседланную лошадь и несколько собак. Собаки умные, отлично несущие службу. Они остро чувствуют малейшие нюансы в свисте пастуха, и по его свисту легко управляют многотысячным стадом.

Животноводческая ферма Камерон, куда мы прибыли, лежала в ложбине. Небольшой разбросанный поселок. Изуродованный ветрами красный дуб. Повсюду сушатся овечьи шкуры. На специальных перекладинах, на перилах моста, на деревьях. Раньше ферма Камерон принадлежала компании "Огненная Земля". Теперь - госхоз - государственное хозяйство. Им управляет исполнительный комитет из пяти человек, избранный на общем собрании. Председатель комитета Рауль Казанова, человек солидный, авторитетный. Два года он работал в образцовых фермах Новой Зеландии, изучая скотоводство и корма. Затем шестнадцать лет на Огненной Земле в качестве администратора

маленькой фермы. Теперь ему доверено крупное хозяйство Камерона: 186 тысяч гектаров земли, 130 тысяч овец, 1700 коров, 460 лошадей. Членом исполкома и правой рукой председателя является старший пастух Альберто Баркес. Высокий, красивый, с большими баками сильный человек. Опыта и ему не занимать. Из своих тридцати шести лет он двадцать два в скотоводстве, Член исполкома Мануэль Эляскес - фигура весьма ответственная - мастер по стрижке овец. Мастер высокого класса. Механик Ромон Вильегас ведает в исполкоме тракторами и автомашинами. Пятым членом исполкома является пеон Ромон Баскес, человек энергичный, трудолюбивый, всеми уважаемый.

Мы сидели в здании исполкома фермы и беседовали о ее делах. На вопрос, не упали ли доходы после экспроприации, Альберто Баркес удивленно развел руки:

- Как же они могут упасть? Ведь все хозяйство и раньше мы сами вели. Только доходы в другое место шли.

- Понимаете, - вмешался в разговор Америко Гонсалес. - На этой ферме внешне почти ничего не изменилось. Зарабатывают люди столько же, сколько и раньше. Продукции дают не больше, хотя, конечно же, и не меньше. А по существу, здесь произошла революция. Главное в ней то, что люди стали людьми. Из одиночек, постоянно находившихся под страхом остаться без работы, неуверенных в будущем, они превратились в коллектив, имеющий собственное хозяйство. И весь коллектив о нем заботится. Впервые в жизни люди несут общественные функции. Созданы комите-хы, отвечающие за состояние дорог, зв бытовые условия, за рост поголовья, и другие. Человеку из Советского Союза, привыкшему к тому, что общественные функции несут сами же трудящиеся, видимо, трудно сразу оценить, как преобразило это людей, как подняло их достоинство и наполнило гордостью. На общее собрание люди идут как на праздник. А когда впервые на него пригласили женщин и предложили им санять первые ряды, это было событие, равное рождению человека.

- Вы хотите видеть новое, - сказал Гоксалес, - поедемте.

Мы поехали. В нескольких километрах от фермы - хозяйственные и складские здания, огромное помещение для стрижки овец. А чуть подальше среди деревьев- два аккуратных домика. Это школьный интернат.

Нас встречает учитель Эдуарде Соварсо. В интернате двадцать восемь детей. Вот спальня мальчиков. Аккуратно заправлены кровати, чисто, уютно. Спальня дево.чек в другом помещении. На одной из кроватей у подушки трогательно примостилась куколка с обиженным лицом.

Учебные помещения скромные, но повсюду чистота, на стенах детские рисунки, стенная газета.

Пять дней в неделю дети находятся в интерпате, два дня - дома.

И все это на Огненной Земле, там, где властвовала "- Огненная Земля". Интернат полностью содержится ка государственные средства. К тому времени, о котором идет речь, уже через полгода после победы Народного единства в девятнадцати из двадцати пяти провинций Чили под контроль КОРИ перешло 381 крупное имение. Свыше пяти тысяч крестьян получили землю. Темпы аграрной реформы нарастали. Для выкупа земли у латифундистов отпускаются большие средства. Бюджет КОРИ увеличился втрое и составляет более трех с половиной миллиардов эскудо. Эти деньги пойдут на выкуп земли для тридцати тысяч крестьян.

Я разговаривал со многими рабочими на нескольких фермах. И, пожалуй, лучше всех объяснил мне внутреннее состояние людей бывший объездчик диких лошадей Мануэль Симантранс. Ему пятьдесят восемь лет, но он крепок и ловок. Это старый приятель Фраксиско Колоане, который нас познакомил и рассказал историю своего знакомства с Мануэлем. Объездчик охотился за дикими быками, и они вместо того, чтобы убегать, вдруг ринулись на него, забили рогами лошадь, и Мануэль оказался под нею. И то ли подумали быки, что он тоже мертв, то ли хотели показать человеку свое благородство, но они не тронули его. Вот тогда-то Франсиско и поехал к объездчику, чтобы подробнее расспросить об этой истории.

Мануэль сказал мпс:

- Мы будем очень стараться, чтобы у нас все шло хорошо. Будет 1 стараться потому, что раньше доходы шли хозяевам "Огненной Земли", а теперь на оплату миллионов литров молоке, что бесплатно получают все дети Чили, на бесплетные интеркаты, на строительство ста тысяч квартир, на все, что улучшает жизнь народа.

На следующий день Франсиско Колоане показал мне запись в своем блокноте:

"Мы побывали на четырех фермах и у нефтяников Огненней Земли. Возвращались домой на огромном пароме. Спускаться вниз не хотелось. Мы стояли на палубе. Была ночь, были огромгые звезды, были води Магелланова пролива. И на душе было хороыо",

БРАТЬЯ

На медных рудниках в скалах диких Кордильер, в пустыне Атакаме и Сантьяго, на Огненной Земле и в обширных районах

Патагонии - всюду, где довелось побывать, с удивительной теплотой и любовью встречали чилийцы советских людей.

На самом юге Латиноамериканского материка в центре провинции Магальянес - Пунта-Аренасе шло городское собрание коммунистов и тех, кто помогал им в избирательной кампании.

В собрании участвовало человек двести. Оно было торжественным, праздничным. Вместе с Франсиско Колоане и переводчиком мы приехали в город, когда собрание уже началось. Попали туда с большим опозданием. Устроиться тихонько сзади на свободных мессах не удалось - Колоане здесь многие знали в лицо. Встретили его радостно, шумными аплодисментами, пригласили пройти вперед. Когда люди утихли, председательствовавший объявил, что вместе с Колоане прибыл советский писатель.

И вот тут-то и произошло совершенно невообразимое. Зал гремел от аплодисментов и здравиц в честь Советского Союза. Со всех сторон неслись возгласы, в которых отчетливо выделялись слова "совьетико" и "коммуниста". Зал рукоплескал стоя.

Откровенно говоря, я растерялся. Надо было както унять эту бурю. И тут в голову пришла мысль, на которой хотелось бы остановиться. За рубежами нашей родины бывают тысячи и тысячи советских людей. Многие потом делятся впечатлениями, выступая в печати, по радио, телевидению. И о том, как их встречали, либо совсем не говорят, либо скороговоркой сообщают о теплых улыбках и рукопожатиях, торопясь при этом заверить, что вся теплота относилась не лично к ним, а к нашей стране.

Подобной оговорки можно бы и не делать за абсолютной очевидностью этой истины. Тем не менее люди словно стесняются рассказывать, как их встречали. А мы ведь знаем, как встречают, например, в той же Латинской Америке представителей США. Не очень тепло встречают. В лучшем случае безразлично. И это тоже характеризует отношение не к даннохму гражданину, а к строю его страны. Так пусть они стесняются сообщать о своих встречах за рубежом.

Когда на собрании в Пунта-Аренасе я лихорадочно думал о том, как остановить шквал приветствий, и пришла в голову эта мысль: "А зачем? Почему надо мешать людям выразить свою любовь к нашей родине, к народам нашей страны, к нашему образу жизни?

Нет, пусть бушует зал". И еще долго не умолкали приветственные возгласы и рукоплескания. А когда собрание кончилось, трудно было уйти. Просто физически не отпускали. Задавали вопросы, жали руки, дружески хлопали по плечу. Или просто смотрели.

Это ведь тоже немало. Я видел их глаза. Так смотрят родные.

Но может быть, это не показатель отношения к нам чилийцев? Это ведь было собрание только коммунистов и им сочувствующих. Нет, показатель. Я изъездил немало чилийских городов и сел, встречался с самыми различными людьми и повсюду видел восторженное к нам отношение. Только выражалось оно по-разному.

В Сантьяго я присутствовал на собрании чилийских писателей. В нем принимали участие итальянский писатель Карл Леви, боливийский писатель Нестор Табоада Теран, испанский - Состре и другие. Гостей представили собравшимся. Как и положено в приличном обществе, их приветствовали аплодисментами. Не буду упирать на то, что советского представителя встретили с особой теплотой. Но я обратил внимание на рыжего человека, сидевшего поблизости от меня.

Он был единственным, кто не аплодировал советскому представителю. Это-то и бросалось в глаза.

Первую речь произнес президент общества писателей Чили Луис Мерино Рейес. Когда он заявил, что абсолютно подавляющее число населения поддерживает правительство Народного единства, рыжий человек громко выкрикнул: "Это ложь!" И потом, на протяжении почти всей речи Рейеса, он бросал реплики, вызывающие возмущение собравшихся, требуя немедленно предоставить ему слово. И когда в ответ на заявление Рейеса, что слова тот не получит, зал одобрителью загудел, рыжий вскочил, закричав: "А я все равно буду говорить".

Командовать ему не дали. Первым бросился к нему романист и исследователь чилийского фольклора Диего Муньес, а за ним еще несколько человек.

Рыжий отчаянно сопротивлялся, но под крики всего зала "вывести" его вытолкали за дверь, а потом и вовсе вышвырнули на улицу. Собрание спокойно продолжалось. Когда оно закончилось, ко мне подошло несколько человек. Поэтесса Мария Христиана Менарес сказала:

- Извините, пожалуйста, за этот инцидент, он нам очень неприятен.

Кто-то из иностранных писателей заметил:

- А все-таки зря не дали ему высказаться. Ведь явно все собрание против него. Ну, и пусть освистанным сошел бы с трибуны и не смог бы кричать потом, что нарушена демократия.

- Нет, нельзя было давать ему слова, - решительно возразила поэтесса, Вы правы, что все собрание против него. И не желает его слушать. А он решил силой заставить нас подчиниться ему. Вот это вы считаете демократией?

Ее оппонент молчал.

- Нет, - вновь заговорила она горячо. - Мы хорошо знаем, о чем он будет говорить. Он выступает не только против единства, но и против всего прогрессивного, что сейчас проводится в стране. Так вот, демократия по-нашему - заглушить голос реакции. Подлинная демократия - это подчинение большинству.

Поэтессу поддержали все стоявшие рядом.

- И, знаете, - как бы доверительно сказала сн-ч, - в этом инциденте есть еще одна сторона, может Оыть, главная. Этот тип еще и ярый антисоветчик, И мы не желаем заставлять советского человека слушать клевету на Советский Союз.

К нам подошло еще несколько человек, и спор продолжался. Вернее, это был уже не спор, а беседа единомышленников. Писатели говорили о том, что реакционные силы, не желая мириться с новым строем, ведут а гаку против всех мероприятий правительства и что пера положить этому конец.

Один из участников беседы заметил:

- А что касается Советского Союза, то я вполне согласен с Марией. Любсй реакционер, выстутющий против нового строя, неизменно оказывается и антисоветчиком. И, напротив, всякий антисоветчик рано или поздно проявляет себя как противник Народного единства. Поэтому мы не видим между ними разницы.

И как ни парадоксально, но действия реакции еще более укрепляют нашу любовь к Советскому Союзу.

О том, как чилийцы относятся к нам, могу судить по личным впечатлениям. Я не встретил в Чили уголка, где бы любовь к Советскому Союзу не проявлялась. Порой она принимала самые неожиданные и трогательные формы.

Путешествуя по Огненной Земле вместе с Франсиско Колоане и руководителем организации по проведению аграрной реформы Америко Фонтано Гонсалесом, мы поздним вечером забрели в рабочий поселок нефтяников Весьентес. Глава семьи Карен Дисто, на вид ему лет тридцать, работает механиком на государственном заводе по переработке нефти. Заводом это предприятие можно назвать лишь условно, ибо там всего сорок рабочих. Впрочем, предприятие механизировано и продукции дает много. Жена Карена Миста - жизнерадостная молодая женщина, безработная художница.

В небольшой комнате, разделенной на две низеньким стеллажом, с маленькими креслицами и столиком, кроме хозяев было трое их друзей, рабочих того лее завода. Один из них, как и Карен, коммунист, двое социалисты. В этот поздний вечер они сидели за учебником диалектики, на первой странице которого было написано: "Перевод с русского".

Наш приход был встречен бурной радостью. Они сразу узнали Франсиско Колоане и радовались тому, что в их доме знаменитый писатель. А когда Америко сказал, что вместе с ним и человек из Советского Союза, люди просто растерялись. Какое-то время с благоговением и молча смотрели на меня, пока Миста не сказала:

- Этого не может быть.

И тут все пришло в движение.

- Садитесь, вот сюда садитесь...

- Нет, вот здесь будет удобнее ..

- Как же так, боже мой...

Миста вдруг стала наводить порядок на стеллаже, поправлять скатерть. Двое убежали на кухню. На столе появилось ЕИКО, а в руках красивого парья с пышными бакенбардами- гитара.

...Мы сидели до глубокой ночи. Как ни старался я говорить о Чили, разговор шел о Советском Союзе.

Когда я сказал об этом, Карен улыбнулся и очень убежденно, как-то душевно ответил:

- Мы ведь ничего не знаем о вашей великой стране. Говорите, пожалуйста, мы просим вас.

- Так уж и ничего? А радио вы слушаете?

- Слушаем. Но Советский Союз нам трудно ловить. Мы каждый день слушаем Америку, и каждый день не верим.

...Паром через Магелланов пролив, который нам предстояло пересечь, чтобы попасть на мыс Последняя Надежда, отходил в четыре утра. И хотя до пристани было недалеко, Карен куда-то убежал и вернулся с двумя машинами. Это были повсеместно распространенные ка Огненной Земле, да и в других городах Чили, широкие полугрузовики "Форд" с кабиной, рассчитанной на трех человек.

Когда пришло время прощаться, Миста отвела мужа в сторону. По глазам было видно, что она просит о чем-то. Улыбаясь, он утвердительно и радостно закивал и направился к маске клоуна на стене. Это была удивительная маска, на которую я обратил внимание, как только вошел в дом. Удивительное заключалось в том, что широко улыбающийся клоун готоз был вот-вот расплакаться. То ли от того, что я видел маску с разных ракурсов, то ли от освещения, но в какие-то минуты казалось, будто он только улыбается. А всмотришься - и видишь, какое большое горе на душе у этого человека, и неизвестно, хватит ли дальше сил балагурить, и хлынут сейчас слезы, и он забьется в истерике.

Маску создала Миста из черной марли. Сначала вылепила заготовку, накрыла ее марлей, пропитанной сильно вяжущим веществом, потом растягивала складки, делала морщинки, накладывала мазки золотой краской. Когда марля отвердела, ее сняли с заготовки.

Я не знаю, можко ли называть эту маску произведением искусства, но смотреть на нее хочется долго.

И не сразу уходя г мысли о судьбе этого человека.

Видимо, дольше чем надо смотрел я на него...

Карен снял со стены барельеф, а Миста тщательно завернула его в крафтбумагу и подошла ко мне:

- Это в память об Огненной Земле.

Когда Карен еще снимал маску, я понял намерегтие супругов и твердо решил не брать такого подарка, тем более что Карен сказал:

- Это любимое творение Мисты.

Попытался как можно убедительнее объяснить, почему отказываюсь. Но Миста сказала:

- А вы не можете решать, брать или не брать.

Это Огненная Земля посылает Москве. А у вас пусть он на хранении будет, и напишите мне, как будет себя чувствовать. Я ведь, действительно, очень люблю его.

...Машину, в которой мы ехали с переводчиком, вел Карен Дисто, вторую, с Колоане и Гонсалесом - его друг. Было темно до черноты. Шел дождь. Всю дорогу Карен сокрушался: "Ну, как же можно, всего на несколько часов. Что я завтра скажу товарищам по ячейке? Обидятся, почему не позвал".

Заводская ячейка коммунистов состоит из девяти человек. Почти каждый четвертый рабочий - коммунист. В те дни они готовились к созданию организации единого действия. Такие организации создавались повсеместно на предпрятиях, в учреждениях, деревнях, учебных заведениях. Их были уже тысячи и тысячи.

Комитеты единого действия, созданные в период подготовки к президентским выборам, сыграли немалую роль в победе левых сил. Количество этих организаций умножилось к муниципальным выборам, где окончательно утвердилась их дееспособность. Теперь функции их расширились, и они стали надежной опорой нового строя.

...У пристани выяснилось, что паром задерживается минут на сорок.

Карен говорит:

- Это бывает не так уж редко. Течение очень капризно. Оно достигает двадцати километров в час, при ветре до ста километров, да еще дважды в сутки меняет направление. А во время прилива уровень воды поднимается на двенадцать метров. И ничего удивительного, - улыбается он. - Ведь сюда устремляются, здесь сталкиваются воды двух океанов. И неизвестно, какой из них сильнее и свирепее.

Карен достал из-за сиденья большой термос и чашечки. Это предусмотрительная Миста снабдила на всякий случай чаем.

Дождь не утихал. Мелкий, густой, тоскливый. Свет от фонарей увязал в нем и не пробивался на пристань.

Волны были черными.

Мы сидели в кабине и пили чай. Карен рассказывал.

Этот остров Магеллан назвал Огненной Землей потому, что, проходя мимо него по проливу, увидел множество огней. Должно быть, горел газ. А теперь здесь один из главных источников чилийской нефти.

Большие ее запасы обнаружены на дне Магелланова пролива. Но ставить вышки на таком коварном проливе невозможно. Поэтому к ней подбираются через наклонные штреки, идущие с берега.

Карен с гордостью рассказывал, как впервые в Чили была обнаружена нефть. Два года ее искали немецкие и французские специалисты, но нашел нефть чилийский инженер Эдуарде Симен, и вовсе не там, где искали иностранцы. Эго был довольно популярный человек, хотя имя его знали немногие. Он был известен больше по кличке "Осьминог", которой удостоили его футбольные болельщики как непревзойденного вратаря. Нефть он обнаружил 28 декабря, а этот день соответствует нашему первому апрелю. Поэтому никто ему не поверил. И только на следующий день открытие Симена признали.

Карен оборвал свой рассказ, словно спохватившись, и снова заговорил о Советском Союзе.

...Огненная Земля, Патагония, Последняя Надежда, Магелланов пролив... Что-то бесконечно далекое, романтическое, таинственное...

Так, возможно, воспринимали чилийцы мою родину на другом берегу океана. Но всем своим существом они вместе с нами. Совсем близко.

* * *

Я видел в Чили, как готовился фашистский переворот. Но известие о нем потрясло.

В Москве встречался с чилийскими демократами, которым удалось скрыться от арестов. Они и рассказали подробности путча.

Сигналом к военному перевороту послужил мятеж па военном флоте в Вальпараисо. Мятежники захватили порт, телеграф, радио и другие важные центры этого второго по величине города Чили. Затем военная хунта в составе командующего сухопутными войсками генерала Аугусто Пиночета, командующего ВМФ адмирала Хосе Тсрибио Мерино Кастро, командующего ВВС Густава Ли Гусмана и командующего корпусом карабинеров Сесара Мендоса Дурана передала ультиматум, требующий отставки президента Сальвадора Альенде.

О том, как развивались события во дзорце "Ла Монеда" в день переворота, о великом подвиге выдающегося борца за свободу чилийского народа, одного из крупнейших демократических деятелей Латинской Америки президента Чили Сальвадора Альенде и его героической смерти подробно рассказал премьерминистр Революционного правительства Кубы Фидель Кастро. Привожу почти полностью этот рассказ, переданный из Гаваны агентством Пренса Латина.

"В 6.20 утра 11 сентября в резиденции президента Альенде на улице Томаса Моро раздался тслефопны!

звонок. Президента предупреждали, что начинается государственный переворот. Он сразу же поднял по тревоге свою личную охрану и принял решениэ отправиться в президентский дворец, чтобы со своего президентского поста защищать правительство Народного единства. В сопровождении 23 человек охраны, вооруженных автоматическими винтовками, двумя пулеметами и 3 базуками, они прибыли в президентский дворец в 7.30 утра на четырех машинах.

С винтовкой в руке президент вошел во дворец через главный вход. Б это время дворец "Ла Монеда", как обычно, охраняли карабинеры.

Уже находясь внутри дворца, Альенде собрал сопросождавших его людей, сообщил им о серьезности положения и о своей решимости бороться до самол смерти, защищая конституционное, законное народноэ правительство Чили от фашистского переворота, проанализировал имеющиеся возможности и отдал первые распоряжения относительно обороны "Ла Монеды".

В течение часа С. Альенде трижды выступил по радио с призывом к народу. Он заявил о своей готовности защищаться до конца.

В 8.15 представитель фашистской хунты обратился к президенту с предложением о сдаче, уходе со своего песта и о предоставлении ему самолета, на котором он мог покинуть страну вместе с родственниками и сотрудниками. Президент отверг это предложение, сказав, что "генералы-предатели не знают, что такое человек чести".

Затем в своем кабинете президент провел краткое совещание с группой прибывших во дворец высших офицеров корпуса карабинеров, которые отказались защищать правительство. Со словами презрения С. Альенде приказал им уйти из дворца немедленно.

Во время этого совещания в "Ла Монеду" прибыли адъютанты трех родов войск. Президент заявил им, что сейчас не время

доверять военным, и попросил их покинуть дворец. Тем не менее он дружески распрощался с майором Суаресом, занимавшим пост военновоздушного адъютанта в течение нескольких лет.

Через несколько минут после ухода адъютантов и офицеров корпуса карабинеров руководитель гарнизона карабинеров, охранявших дворец, выполняя инструкцию своего начальства, направил одного из своих подчиненных ко всем карабинерам, находившимся во дворце, с приказом покинуть его. Карабинеры начали покидать дворец, унося с собой часть вооружения. Танки и бронетранспортеры карабинеров, предназначенные для обороны "Ла Монеды", также покинули свои позиции.

Между тем в "Ла Монеду" начали прибывать министры, секретари, советники. Прибыли дочери президента Беатрис и Исабель, многочисленные сторонники и члены партий блока Народного единства, чтобы в этот критический час находиться вместе с президентом.

Примерно в 9.15 начался обстрел президентского дворца. Пехотные подразделения общей численностью около двухсот человек пошли в наступление по улицам, прилегающим к площади Конституции, открыв стрельбу по дворцу. Число охранявших "Ла Мснеду"

не превышало 40 человек. С. Альенде приказал отвечать на огонь и сам лично принимал участке з этой перестрелке. Пехота отступила, неся многочисленные потери.

Тогда фашисты ввели в бой танки. Одни танки двигались по улице Монеда, другие - по улицам Театинос, Аламеда, Моранде. Несколько танков появилось на площади Конституции. Выстрелом из базуки один танк был уничтожен. Другие открыли огонь по кабинету президента. Их поддержали пулеметы с бронетранспортеров.

В 10.45 президент собрал всех находившихся во дворце и сказал, что для борьбы, которая должна развернуться в будущем, потребуются руководители и исполнители, и поэтому все, у кого нет оружия, должны при первой же возможности покинуть дворец.

Те, у кого есть оружие, должны находиться на своих боевых постах. Однако никто из присутствующих не согласился покинуть "Ла Монеду".

Между тем бой продолжался. Фашисты выдвигали новые ультиматумы, угрожая, что если защитники не сдадутся, то в бой будут введены самолеты чилийских ВВС.

В 11.45 президент собрал своих дочерей и всех женшин, находившихся во дворце (всего 9 человек), и приказал им покинуть "Ла Монеду", поскольку считал, что они могут

погибнуть, и тут же попросил у нападающих 3-минутную передышку, чтобы эвакуировать женщин из дворца. Фашисты отказались дать передышку, однако в этот момент войска начали отходить от дворца, чтобы дать возможность самолетам атаковать "Ла Монеду". Это временное прекращение огня дало возможность женщинам покинуть дворец.

Примерно в 12 часов дня начался воздушный налет.

Первые ракеты с самолетов взорвались во дворце "Ла Монеды".

Подходил к концу третий час. Снаряды были уже на исходе. Тогда президент приказал взломать дверь склада вооружения гарнизона карабинеров, охранявших дворец. Он сам пересек зимний двор "Ла Монеды" и, видя, что дверь склада не поддается, приказал взорвать ее гранатами. В складе было найдено четыре пулемета, большое количество винтовок "СИК", патроны, противогазы и каски. После того как оружие было разобрано, Альенде приказал всем занять свои места и сам с оружием в руках воскликнул: "Так пишется первая страница этой истории! Мой народ и Америка допишут остальное!"

В этот момент начался новый воздушный налет. От взрыва бомб вылетали стекла из окон, и их осколки нанесли Альенде легкое ранение. Это была первая рана, которую он почувствовал.

Через несколько минут началась новая комбинированная атака с использованием самолетов, танков, артиллерии и пехоты.

Именно в этот момент С. Альенде совершил самый настоящий подвиг. Несмотря на огонь, охвативший дворец, Альенде с базукой в руках ползком пробрался в свой кабинет и одним выстрелом вывел из строя танк, стоявший на улице Моранде. Несколько мгновений спустя второй защитник подбил еще один танк.

Фашисты ввели в бой новые танки и бронетранспортеры, усилив огонь по входу во дворец, охваченный пламенем. Президент с несколькими защитниками спустился на первый этаж и отразил попытку фашистов проникнуть во дворец со стороны улицы Моранде.

Тогда фашисты временно прекратили огонь и обратились к защитникам дворца с просьбой выслать двоих парламентеров.

Фашисты обратились к парламентерам с требованием сдаться, предлагая президенту и другим защитникам покинуть дворец и направиться в любую страну, куда они захотят. С. Альенде заявил о готовности защищать дворец до последней капли крови, выражая не только свое мнение, но и мнение всех защитников. Сопротивление продолжалось.

В 1.30 президент поднялся на второй этаж, чтобы осмотреть

боевые порядки защитников.

К этому времени фашистам удалось захватить первый этаж дворца, но участники обороны продолжали отражать их атаки на втором этаже. Только к двум часам дня нападающим удалось прорваться в одно из помещений второго этажа. С. Альенде с несколькими товарищами забаррикадировался в красном зале. В тот момент, когда он пытался преградить вход фашистам, пуля угодила ему в живот.

С. Альенде оперся на стул и продолжал стрельбу по наступающим фашистам до тех пор, пока вторая пуля, попавшая в грудь, не сразила его. Уже мертвого его буквально изрешетили автоматной очередью.

Увидев, что президент мертв, его личная охрана бросилась в контратаку и заставила фашистов отступить. Затем они перенесли тело С. Альенде в кабинет президента, усадили на президентское кресло, надели президентскую ленту и обернули его чилийским флагом.

Даже после смерти президента защитники дворца продолжали сопротивление. Лишь к четырем часам дня пожар, продолжавшийся в течение нескольких часов, погасил последнее сопротивление.

Многие были удивлены, узнав, что 40 человек удерживали "Ла Монеду" в течение семи часов, отражая мощные атаки артиллерии, танков, авиации и пехоты.

С. Альенде был твердым и решительным в выполнении своего обещания умереть, защищая дело народа. Его сила духа, организаторский талант и личный героизм удивительны. Ни один президент на этом континенте не совершал подобного подвига. Мною раз благородные намерения подавлялись грубой силой, но никогда еще эта грубая сила не встречала такого сопротивления со стороны человека идеи, оружием которого всегда было слово".

Когда бомбардировщики хунты уже сбрасывали на Сантьяго свой смертоносный груз, когда били их артиллерия и танки, уничтожившие правительственные радио- и телецентры, главари хунты предложили президенту Сальвадору Альенде самолет, чтобы он покинул страну.

С негодованием отвергнув это предложение, и перед тем как надеть каску и взять в руки оружие, чтобы стоять насмерть и умереть как солдат, Сальвадор Альенде в последний раз обратился к народу через единственную уцелевшую радиостанцию "Магальянес". Он начал так:

"Соотечественники! Вероятно, это последняя возможность обратиться к вам. Авиация разбомбила "Радио Порталес" и "Радио Корпорасьон".

Сообщив, как подло предала народ хунта, президент продолжал:

"Перед лицом этих фактов мне остается лишь сказать трудящимся: "Я не отрекусь!" В этих исторически сложившихся обстоятельствах я своей жизнью оплачу верность народа. И говорю вам, я уверен, что семена, которые мы посеяли в благородном сознании тысяч и тысяч чилийцев, нельзя будет вырвать окончательно.

У них есть сила, - говорил он о предателях. - Они могут, конечно, взять верх. Но они не остановят социальных процессов ни с помощью преступлений, ни с помощью силы.

История принадлежит нам и ее делают народы.

Трудящиеся моей отчизны! Я хочу поблагодарить вас за вашу верность, за ваше доверие, оказанное мне. Я был лишь выразителем великих чаяний справедливости, я дал вам слово, что буду соблюдать Конституцию и законность, и так я поступал. И в этот решительный момент, в этот -последний раз, когда я могу обратиться к вам, я хочу сказать - извлеките урок из того, что произошло: иностранный капитал, империализм в союзе с реакцией создали условия, при которых вооруженные силы сломили традицию, которой был верен генерал Рене Шнейдер и верность которой подтвердил капитан Арайя, жертвы тех же социальных элементов, которые сегодня врываются в ваши дома, послушные чужой руке, стремясь отвоевать власть, чтобы защищать привилегии и интересы.

Я обращаюсь к скромной женщине нашей отчизны, к крестьянке, которая поверила нам, к работнице, которая больше трудилась, к матери, которая знает, как мы заботились о детях, я обращаюсь к специалистам моей отчизны, к техническим специалистам - патриотам, которые работали, невзирая на бойкот и мятеж своих коллег, защищавших привилегии капитала.

Я обращаюсь к молодежи, к тем молодым людям, которые пели, которые привнесли радость и боевой дух в нашу борьбу.

Я обращаюсь к чилийцу: к рабочему, крестьянину, интеллигенту, к тем, которых будут преследовать, потому что уже много часов, как в нашей стране действует фашизм, насаждая терроризм, взрывая мосты, уничтожая воздушные линии, газо- и нефтепроводы, и все это совершается при молчании тех, кто обязан был бы воспротивиться этому, История их осудит наверняка. Радио "Магальянес"

заставят замолчать, и, может быть, спокойный металл моего голоса не дойдет до вас.

Неважно! Нас все равно услышат! Я всегда буду с вами, во всяком случае, я останусь в вашей памяти как человек достойный,

верный делу трудящихся.

Народ должен защищаться, но не должен приносить себя в жертву. Народ не должен дать себя уничтожить, но и не позволит унизить себя.

Трудящиеся моей страны! Я верю в Чили и в ее будущее. Найдутся в Чили люди, которые преодолеют все, и в этот горький и тяжкий момент, когда стране пытаются навязать предательство, знайте, что недалек тот день, когда вновь откроются светлые горизонты, чтобы люди достойные строили лучшее общество.

Да здравствует Чили!

Да здравствует народ!

Да здравствуют трудящиеся!

Это мои последние слова.

Я уверен, что жертвую не напрасно, я уверен, что, по крайней мере, это будет моральным уроком, который покарает низость, трусость, предательство".

Последнее обращение Сальвадора Альенде к народу, его спокойный, сильный и добрый голос услышали люди Чили и народы мира. Услышали раскаленную правду и приняли как программу борьбы.

В Большом зале Центрального дома литераторов я слышал последнее обращение к народу Сальвадора Альенде, записанное на пленку корреспондентом советского радио в Чили. Слышал, что происходило дальше. Только две-три секунды после его выступления длилось молчание. И вдруг вспыхнула песня. Боевая революционная песня чилийского народа. Ее пели коммунисты, демократы, все, кто в эту минуту находился на радиостанции "Магальянес".

В эту песню ворвался молодой, сильный голос и тут же был подхвачен теми, кто находился у микрофонов.

Это были призывы к борьбе, вера в силы народа. Их слова, под аккомпанемент песни, неслись над страной.

Их не мог забить слышавшийся гул самолетов. Может быть, тех же, что разбомбили "Радио Порталес" и "Радио Корпорасьон", Теперь они шли на "Магальянес" Это понимали те, кто были у микрофонов. Они знали, что вызывали вражеский огонь на себя, знали, что это последние минуты их жизни, но и песня, и революционные призывы звучали как победный гимн, как слава жизни.

Микрофон замолк вдруг. Мы не слышали бомбового удара. Но ощутили его каждой своей клеткой. Не шелохнувшись, сидел огромный переполненный зал, и казалось, раздайся сейчас клич, как один поднялись бы советские люди, чтобы смести с лица земли новое фашистское логово.

Каждый из нас повторяет сегодня последние слова Сальвадора Альенде: "Я верю в Чили и в ее будущее...

История принадлежит нам и ее делают народы",

ТОЛПА ОДИНОКИХ

Советское посольство в Западной Германии находится километрах в десяти от Бонна. Поэтому я решил остановиться не в Бонне, а где-нибудь поближе к своим. В течение десяти минут пересек столицу и в районе Мелема, недалеко от посольства, присмотрел себе маленький красивый отель.

В глубине парка, где гигантские платаны перемежались кустарником, на самом берегу Рейна и стоял этот трехэтажный дом с мансардой и сильно вытянутой вверх крышей. Фасадом он был обращен к шоссе, а облепленная башенками, похожими на крепостные, тыльная сторона выходила к реке. Резко выделялись узкие и длинные окна лестничных проемов с фигурными медными переплетами и толстыми цветными стеклами. Не будь на нем огненных надписей: "Отель", "Кафе-ресторан", "Свободные номера есть", - можно было бы принять его за старинный замок. А может, и в самом деле это замок, превращенный в отель.

В парке вдоль низенькой каменной ограды, повторяющей изгиб Рейна, открытое кафе. Где-то в глубине - почти совсем затянутый зеленью флигель с опущенными деревянными жалюзи. Парк ухоженный, подстриженный, чистенький, и, кажется, подумаешь, прежде чем стряхнуть на землю пепел с сигареты.

Все красиво, и, как сказал шофер, цены умеренные, вот и решил остановиться здесь.

Мы въехали в парк. Навстречу бросился седой человек лет пятидесяти. С ловкостью и изяществом он распахнул дверцы и, широко улыбаясь, величественным жестом пригласил в дом. Он и проводил к своей хозяйке, владелице отеля Хильде Марии Шредер.

Сухонькая, сутулящаяся немолодая женщина встретила так же приветливо. Спрашивала, какая именно нужна комната, хочется ли приезжему наблюдать из окна бурную жизнь шоссе, где можно увидеть машины с номерами многих стран мира, или предпочтительнее величественный вид Рейна и гор, покрытых лесом, ка его противоположном берегу.

В ресторане отеля, не заставив себя ждать, ко мне подошла хорошеькая девушка лет двадцати в беленьком, с кружевами фартучке, похожая на гимназистку.

Она улыбалась, будто старому знакомому, я казалось, готова захлопать в ладоши от радости, что я появился.

Это официантка Эрика.

Впоследствии убедился: так встречают и принимают здесь

каждого.

Попрощалась со мной Эврика тоже с улыбкой, пожелав хорошо провести вечер. А вечер был и в самоч деле хороший. Неслись по шоссе "мерседесы", "опели", "фольксвагены", пульсировали цветные неоновые трубки реклам, по другую сторону Рейна, высоко в горах, зажглись огни фешенебельного отеля "Петерсберг". Откуда-то доносилась тихая музыка.

Спокойно и безмятежно было в отеле Хильды Марии Шредер. И вокруг было хорошо. И стало немножечко грустно... Не умеем мы так принимать людей.

Правы, подумалось мне тогда, многие наши туристы, рассказывающие не только об отличном обслуживании на Западе, но и о более существенном: повсюду много шикарных магазинов, вещей уйма, на любой размер и вкус. Есть дорогие товары, но много дешевых, и каждый может купить то, что ему хочется.

Туристы видят не все. Им показывают красивые моста, музеи, выставки. В короткие свободные часы ОНА гуляют по главным улицам, любуются сверкающими витринами, многоцветными рекламами и, возвращаясь домой, рассказывают об этом великолепии.

Я ездил не как турист. Я собирал недостающие мне материалы для книги, над которой работал. И времени у меня было достаточно, чтобы увидеть не только витрины. Но могу подтвердить: да, обслуживание отличное, магазинов много, выбор большой.

Все было хорошо в отеле Хильды Марии Шредер, хотя эти через край улыбки и радость обслуживающего персонала казались не очень искренними. Исключением, пожалуй, был портье, первый, кого здесь встретил. Звали его Генрих Борб. Высокий лоб, красивая седина, добрые и умные глаза излучали теплоту и обаяние. На нем был темный костюм не очень хорошего качества, далеко не новый, с явно короткими для него рукавами. Видимо, они уже подшивались, и он втягивал в них руки, точно ему холодно.

Каждый раз, когда я выходил из отеля или возвращался в свой номер, неизменно встречался с ним в саду. Даже занятый приезжающими, он успевал пожелать мне добра. А иногда мы обменивались несколькими фразами. Он не упускал случая высказать свои симпатии советским людям, которых близко узнал, когда был у нас в плену и работал на строительстве.

И тут выяснилось поразительное обстоятельство.

В одном из боев дивизия, где он служил, отражала атаки моей дивизии. И чуть ли не в один и тот же день он был взят в плен, а я тяжело ранен.

- Ведь мы могли тогда убить друг друга, - сказал он и рассмеялся.

Это обстоятельство почему-то привело его в восторг. Откровенно говоря, и мне оно не было безразлично, хотя и не могу пока разобраться в своих ощущениях, возникших в разговоре. Только разговор этот сблизил нас.

Было в портье что-то симпатичное, и его улыбкам верилось.

Однажды я вернулся в отель очень поздно. Щурясь на фары, бросился навстречу тот же Борб.

- Когда же вы отдыхаете? - удивился я.

Он улыбнулся:

- Завтра. Завтра у меня выходной. Уеду к своим в Дюссельдорф. Это совсем близко.

В Дюссельдорф на следующий день собирался и я.

Сказал, если у него нет транспорта, охотно подвезу.

Условились ехать вместе.

Пока мы разговаривали, во флигеле, затянутом зеленью, стоявшем далеко от главного здания, зажглись два окна. Свет пробивался сквозь деревянные жалюзи.

Я еще раньше собирался спросить, что это за дом и почему там даже днем опущены жалюзи.

- Тоже сдаются комнаты, - неуверенно и не сразу сказал Борб.

* * *

Больше месяца, с короткими перерывами, я прожил в отеле Хильды Марии Шредер. Близко наблюдал жизнь этого дома. В Дюссельдорфе мне предстояло побывать несколько раз. По просьбе Борба я старался приурочить свои поездки к его выходным дням, выпадавшим чаще всего на вторник, как на менее загруженный день. Мы ездили вместе. Он рассказывал о своей жизни, о жизни отеля. Ему очень хотелось побывать у нас, посмотреть на дома, которые он строил на Украине.

Когда я уже собирался в Москву, спросил, не будет ли он возражать, если, изменив имена постоянных обитателей отеля, все же опубликую то, что он мне рассказал.

Борб не согласился:

- Как ни маскируйте, если дойдет до Брегберга, он все поймет. Представляете, что со мной будет?.. Но... - как-то странно улыбнулся он, возможно, я напишу вам, что согласен. Возможно, это будет скоро.

Этот разговор происходил в середине шестьдесят девятого года. Недавно я снова побывал в Западной Германии. После всего, что я узнал, останавливаться в отеле фрау Хильды Марии Шредер не мог. Но очень хотелось повидать Борба.

И вот хорошо знакомый мне парк. Все было там, как и в

первый приезд. Но не было Борба. Вместо него к машинам бросался какой-то здоровый парень.

- Не знаю, - грубо ответил он на мой вопрос о Борбе. - Интересно, зачем вам понадобился этот тип?

Как-то странно он говорил. Видимо, случилось чтото серьезное.

ПАДЕНИЕ СИЛЬВИИ

Отель действительно принадлежал Хильде Марии Шредер. Фактическим хозяином являлся Брегберг, бывший гитлеровский офицер. На фронте он не был, в боях не участвовал. Но командовал в тылу подразделением, которое приводило в исполнение приговоры фашистского суда. На эту выгодную должность он попал не сразу. Сначала был тюремным надзирателем, потом начальником одного из тюремных корпусов и лишь после этого, хорошо проявив себя, стал командиром особого подразделения, где при фантастически высоком окладе не требовалось ни умственного, ни физического напряжения.

Генрих Борб, техник-строитель высокой квалификации, работал в ту пору на военном объекте. Однажды вместе с бригадой из трех человек его послали на тюремный двор, где сооружалась пристройка к корпусу.

Что за пристройка, никто не знал. Я не очень понял, как это возможно технически, но каждую стену или узел, что ли, с какими-то нишами, навесами, выступами клали разные люди, от которых уже построенное закрывалось брезентом. Начальником основного корпуса был тогда Брегберг. В его распоряжение и поступил Борб.

К концу первого дня работы Борб случайно зацепил крючком от куртки край брезента. Тут же отцепил его, но именно в это время появился Брегберг. Он не знал, что произошло. Он увидел только, как техник выпустил из руки край брезента. Значит, заглядывал. Совершенно спокойно сказал:

- Пока я вас арестую, а потом расстреляем.

Спустя несколько дней он объяснил Борбу, что только благодаря его, Брегберга, стараниям расстрел заменен посылкой на фронт. Так Борб стал солдатом.

Все это происходило в Мюнхене, где жил Брегберг, где и сейчас находятся его жена и взрослые дети. Но сам он не решился остаться там. О его жестокости знали многие. Он ведь расправлялся не с русскими или поляками с немцами.

В те времена дочь эсэсовца Хильда Мария, без ума влюбленная в Брегберга, была его сожительницей. Ее мать умерла, а отец не вернулся с фронта. Она осталась единственной наследницей капитала, полученного от продажи произведений

искусства, награбленных отцом в странах Европы.

Брегберг, еще раньше изменив фамилию и своевременно убравшись из Мюнхена, склонил к бегству и Хильду Марию. Он и помог ей купить отель на берегу Рейна.

Держа Хильду Шредер в страхе перед разоблачением, Брегберг постепенно прибирал к рукам все дела отеля. Помогала ему в этом и экономка Сильвия.

Еще совсем девчонкой она мечтала о личном счастье. Может быть, потому, что была некрасива. Ее отец, мелкий почтовый клерк в Гамбурге, не мог дать ей ни должного образования, ни приличного платья.

Она решила купить счастье. Тысячи девушек идут в публичные дома, года три-четыре копят деньги, а потом уезжают подальше от постылых мест, где гибла их молодость, и, тщательно скрывая прошлое, выходят замуж. Говорят, они становятся любящими женами и матерями, умело сводящими концы с концами в семейном бюджете.

Сильвию такая перспектива не устраивала. Она мечтала о больших деньгах, о сказочных путешествиях с любимым. Он тоже будет ее любить. Деньги заставят.

Оставалось решить, где взять деньги. И она решила.

Решила идти тем путем, что и тысячи таких же бедных, как она. Только она умнее Она будет жестоко и беспощадно отнимать у своих клиентов все, что они имеют. Будет действовать бесшумно и ловко, как японка. Она видела это в кино. Научится изощренной любви, станет выполнять любые садистские требования Но мгновенно действующее снотворное будет всегда своевременно опущено в бокал.

У Сильвии не было комнаты, не было нарядов. Начинать с улицы не хотелось. И ей повезло. Ее взяли в переулок Гербертштрассе.

Я был в этом гамбургском переулке. Если свернуть со сверкающего, огненного Реппербан, где сосредоточены сотни ночных ресторанов, баров, публичных домов, если свернуть на малоосвещенную улицу и идти по правой стороне, минут через пять увидишь переулок, загороженный стеной. Оставлен только узенькич проход - одновременно не протиснуться и двоим.

С противоположной стороны - такая же стена. Ни одного фонаря, ни одной лампочки на домах. Тускло светятся огромные витрины. А за стеклом - живой товар.

Раздевшись, впервые вышла на витрину Сильвия, когда ей исполнилось семнадцать лет. Пришла сюда, полная надежд, сил и злобы. А главного, что требовалось, - красоты - не было. Не было и спроса. Но зря занимать место на витрине нельзя. Место стоит

денег.

На нее снижали цену, пока не определилось, чего она стоит в действительности.

Четыре года в переулке Гербертштрассе не принесли ей накоплений. И вырваться оттуда она уже не могла.

Неожиданно появилась надежда. По совету некьх влиятельных лиц гамбургские проститутки подали петицию городским властям с требованием улучшить условия их жизни. Требование признали справедливым.

На муниципальные деньги, то есть на средства налогоплательщиков был построен эротический иентр. Так он официально и называется. Огромными огненными буквами бьется на Реппербан это слово: "Eroszentrum".

Вход с фотоаппаратами запрещен. Женщинам вход запрещен. Полутемный и кривой проход под аркой ведет в огромный двор, образованный домами с однокомнЂтными квартирами. А во дворе лабиринты из множества хаотично расставленных тонких железобетонных ширм. Здесь идут предварительные переговоры, ведется торговля. А потом вспыхивают и тут же гаснут одинокие огни в окнах.

Строительство, эротического центра было хорошо продумано. Не всякий потребитель захочет вести переговоры где-то во дворе за открытыми ширмами. Да и женщину нельзя заставлять целыми сутками бродить в этих катакомбах. Ведь неизвестно, когда именно она потребуется - на рассвете, среди дня или глубокой ночью. Заботясь о всеобщем удобстве, устроители "центра" создали принципиально новую и оригинальную систему, которой, как они компетентно утверждают, не имеет ни одна страна мира.

На каждом подъезде написаны имена проживающих в нем женщин. Стоит нажать кнопку звонка, как раздвинется занавес находящейся рядом витрины и появится та, которую вызвали. Если не понравилась, можно нажать следующую кнопку, потом третью, четвертую, и будут бегать на эту витрину женщины со всех этажей, сменяя друг друга, будет снова и снова раздвигаться занавес, пока не остановится на ком-либо привередливый покупатель. А если все обитатели подъезда не придутся ему по душе, он пойдет к следующему, а когда кончатся подъезды - к соседнему дому. Все здесь продумано до деталей во имя удобства потребителей.

Сильвия имела право получить квартиру в эротическом центре. Это и была ее надежда. Сотни и сотни таких, как она, получили. А ей отказали. Возможно, опасались, что не сумеет оправдать этой ее квартиры.

Эти квартиры дороже обычных. В самом деле, ведь и за

витрины надо платить, и за двор с ширмами, и за фигурку Эроса во дворе, да и сами квартиры, естественно, здесь намного дороже обычных. Должны же организаторы "центра" хоть как-то возместить свои потери. Нет, не зря старались некие влиятельные лица.

Эротический центр приносит им бешеные доходы.

Пока он строился, Сильвия жила надеждами. И вот рухнуло все. Именно тогда и подобрал ее Брегберг. Как это произошло, выяснить не удалось. Можно только предположить, что он был ее клиентом. И твердо мож. - но сказать, что погибающая женщина, готовая на все, чтобы отомстить людям за свою страшную жизнь, и спасенная Брегбергом, будет преданно выполнять его волю. Уж у нее не разгуляются смазливые официантки и эта ведьма Хильда.

Сильвия превзошла ожидания Брегберга. По ее предложению началась иная жизнь в дальнем флигеле, затянутом зеленью. Там всего пять комнат. В одной жила Сильвия, а четыре бесплатно предоставлялись проституткам. Но каждый клиент оплачивал суточную стоимость номера. Четырехкратную плату и получала Сильвия для фрау Хильды Марии Шредер.

На номера флигеля был огромный спрос. Это и понятно. Где видано, чтобы женщина имела ключ от благоустроенного номера и решительно ничего за это не платила? И Сильвия отдавала ключ самым красивым, чтобы клиентов было больше.

Сильвия работала много. Она рассчитывалась с посетителями ресторана вне зависимости от того, кто их обслуживал, собирала дань с женщин из флигеля, следила за сменой белья в номерах главного здания, за чистотой, наблюдала за всем, что делается в отеле.

Честно ведя себя по отношению к фрау Шредер, Сильвия все до пфеннига отдавала ей. Благодарная Брегбергу за то, что он вытащил ее из грязи, точную сумму выручки сообщала ему.

Чтобы помочь фрау Шредер, Брегберг по утрам садился за серьезную работу. По копиям счетов определял сумму, полученную с постояльцев главного здания, подсчитывал общее поступление за сутки, определял сумму платежей на предстоящий день. Итоги подсчетов сообщал фрау Шредер. А она уже хорошо знала, что оставшуюся сумму надо отдать ему для передачи в кассу партии, которая ведет борьбу за то, чтобы возродились в стране старые порядки. Тогда не придется дрожать за свой отель.

Фрау Шредер догадывалась - не все он отдает в партийную кассу, а возможно, и вовсе ничего туда не дает, но она как-то упустила тот момент, когда можно было решительно воспротивиться Брегбергу, те первые дни, когда он только начал

забирать все доходы, а теперь уже было поздно. И, покорно отдавая деньги, она все надеялась на что-то лучшее, на какие-то перемены в ее жизни, хотя не видела, откуда они могут прийти.

В первый день пребывания в отеле мне казалось, что все там очень хорошо. Правда, промелькнули некоторые странные детали, но я отмахивался от них, понимая, что они мелки и случайны. А потом все представилось в ином свете.

В тот день, когда я впервые поднимался в свой номер по круговой лестнице, образующей как бы воздушный колодец, где-то в проеме наверху увидел неподвижно стоявшего человека в жилете без пиджака и с висевшей на губе сигарой. Он стоял, засунув руки в карманы, и, не глядя в мою сторону, все-таки наблюдал за мной. Он не шевелился, глаза его не двигались, но не выпускали меня. Он следил за мной, точно человек с фотографии на стене: застывшие глаза его устремлены на вас, с какой бы стороны вы ни смотрели на портрет.

Так впервые я увидел Брегберга.

И еще один человек в тот первый же день не мог не обратить на себя внимания. Я обедал, когда в зале возникла фигура высокой худой женщины с торчащими лопатками и рыжими волосами. У нее было злое лицо. Видимо, из-за губ. Вернее, губ у нее не было.

Просто длинная тонкая полоска поперек лица.

Это и была экономка Сильвия. Она вошла, и голова ее рывками повернулась из стороны в сторону, как у куклы из мультипликационного фильма. Но за эту секунду Эрика и вторая официантка, Герта, успели, как по команде, поправить фартучки и шире улыбнуться посетителям. Словно дернули их незримые ниточки, идущие от головы куклы. Они улыбались, а в глазах промелькнул испуг.

Ну хорошо, подумал я тогда, этот испуг и действия девушек можно объяснить. Видимо, очень строга экокомка, и они ее боятся. Но ведь скрытый испуг я видел и в глазах фрау Хильды Марии Шредер. А она - владелица отеля, самый главный здесь человек, ни от кого не зависимый. Почему-то казалось, это имеет отношение к человеку с сигарой на губе и злой кукле. Их странное поведение, и сами они, и улыбки сквозь страх, и еще что-то тревожное, неуловимое каким-то немыслимым образом переплеталось в сознании.

Но вот исчезла кукла, приветственно загудели друг другу два белых теплохода на Рейне, которые мне были видны из окна, подбежала сияющая Эрика: "Не надо ли еще чего-нибудь?" - и я разозлился на себя за свои мысли. Вздор! Очень хорошо здесь.

А потом... Потом я слушал Генриха Борба. Слушал и

наблюдал.

* * *

Рабочий день в отеле фрау Шредер - семь часов.

И три перерыва. По часу на завтрак и ужин и четыре часа на обед. Начинается рабочий день в семь утра, заканчивается в восемь вечера. Это официально.

В течение месяца, что я находился в отеле, мне порою приходилось оставаться на весь день в номере. Ни разу я не видел, чтобы этот порядок соблюдался. По словам Борба, перерывы делаются на те короткие минуты, в которые физически можно успеть наскоро поесть. И не тогда, когда хочется есть, а когда нет посетителей. В зависимости от обстановки перерыв на обед бывает и в двенадцать дня, и в три часа, и в шесть вечера. Порою допоздна даже на ходу нет возможности перекусить.

Фактически никогда рабочий день не кончается в восемь. Официантки раньше часу ночи не уходят, а Борб на своем посту - круглые сутки.

- Ничего не поделаешь, - говорил он мне - Наш отель находится на магистрали, связывающей многие города. Сотни километров она идет вдоль Рейна. И по всему побережью - вот такие же маленькие отели.

Надо выдержать конкуренцию.

Поэтому я встречаю машины только бегом и широко улыбаясь: богатые туристы любят, чтобы их вот так встречали. Я тащу тяжелые чемоданы по крутым лестницам, но никто не даст и пфеннига: немцы знают порядок - за обслуживание фрау Шредер впишет в счет десять процентов. В других отелях у служащих не отбирают чаевых, но у нас такое условие с Брегбергом обслуживание - моя обязанность. За это я получаю жалованье. Если иностранец, не знающий наших порядков, даст мне марку, я, конечно, отдаю ее фрау Шредер. Но все равно Брегберг думает, будто я ворую деньги, то есть оставляю их себе. Но, я вас уверяю, раз такая договоренность, я ее выдерживаю, и напрасно он подозревает меня.

Меня удивляли рассуждения Борба. Чудовищные условия труда он объяснял то конкуренцией между отелями, то ночными приездами людей, то прямо принимал вину на себя.

Тогда я еще не знал, как он попал сюда, и не знал, что другого выхода у него не было.

Не меньше Борба работали и официантки. Если нет посетителей, они начищают медные ручки дверей, настольные лампы, протирают окна и стены, чтобы меньше осталось работы на ночь. Если в течение дня им удается все сделать, после закрытия ресторана они только пылесосят ковровые дорожки и

один раз проходят по паркету электрощеткой. Об их работе тоже рассказывал Борб.

- У нас очень много посуды, - объяснял он мне. - И подают все время чистую, а грязную складывают в специальные коробы. За нее берутся официантки, когда им некого обслуживать. Моют и посматривают на лестницу, не идет ли кто. И бросаются вслед, едва успев скинуть халат. Бегут на второй этаж в ресторач, уже на лестнице готовя радость и улыбку. Это мушгровка Брегберга и Сильвии.

О своей работе Борб рассказывал беззлобно, обреченно. А девочек ему было жаль, и говорил он яростно.

- От кухни до зала всего двадцать три ступеньки, но вы знаете, какие они крутые. А теперь посчитайте.

За день они поднимаются раз сто. Значит, две тысячи триста ступенек, и, учтите, - с тяжелыми подносами.

Они ведь совсем дети. А когда туристский сезон начинается, когда в парке разворачиваются автобусы на семьдесят пять мест? Стоит им только показаться в воротах, а во всем отеле будто включили маховики.

Мечутся вверх-вниз девчонки, заранее все подготавливая. Только бегом. По лестнице - бегом, по коридору - бегом. На подходах к залу надо успеть перестроиться. Надо войти быстро, но плавно и с сияющей улыбкой. А обратно, едва закроется дверь, снова бежать. Они бегут вверх, заранее улыбаясь, а вниз - расслабляя мышцы лица. Если, конечно, навстречу не идет посетитель. Но мышцы рук, ног, всего тела расслабить не могут. И так целый день и каждый день.

До глубокой ночи, до кровавых шариков в глазах.

Наш разговор происходил в один из выходных дней Борба у ворот отеля, где мы жа,али машину. На этот раз я ехал к нему в Дюссельдорф. Точнее, к его брату Вольфгангу. Борб давно хотел познакомить нас, ибо не мог ответить на многие мои вопросы. И каждый раз говорил: "О, это вам отлично объяснит Вольф. Он знает больше энциклопедии".

Вольфганг - инженер, получивший серьезную травму на заводе и вышедший на пенсию по инвалидности.

Судя по рассказам Борба, он не мог смириться с тем, что ему нечего делать. Он читает все газеты, журналы, справочники, рекламные издания. Ходит на митинги, судебные процессы, посещает любые бесплатные зрелища. По словам Борба, он может рассказать, что произошло в доме чемпиона по боксу после его поражения, какова тенденция на рыбном рынке Японии, каких успехов добилась глазная хирургия, что побудило Жаклин Кеннеди выйти замуж - ну, буквально все, о чем вы его ни

спросите.

Машина опаздывала. Борб забыл что-то взять с собой и пошел в свою комнату, но тут же вернулся.

- Пойдемте со мной, - предложил он, - посмотрите, как я живу.

Я тогда не подумал, что он очень рискует, но сам-то Борб хорошо это понимал. Как он потом объяснил, на этот раз риска не было: Брегберг уехал на весь день в какой-то город, а Сильвия - в парикмахерскую.

К моему удивлению, Борб повел в главное здание.

Впервые я поднялся выше второго этажа, где находилась моя комната. Из коридора мансарды внутренняя лестница, крутая, почти отвесная, но с перилами, вела на чердак. Это был обычный чердак, только чистый, не захламленный. Свет шел из двух круглых окошек, похожих на иллюминаторы. Между высокими деревянными опорами стояли кирпичные трубы водяного отопления. Они были холодными, и не от них стояла здесь ужасная духота. Как объяснил Борб, в этот ранний час здесь рай. Днем чердак нагревается до такой степени, что войти невозможно.

Между трубами натянута длинная занавеска. А по обе стороны ее постели. Справа - Эрики и Герты, слева - кухонного рабочего и Борба.

- Вот так мы живем, - сказал он. - Даже у девочек нет коек. Только матрацы и одна тумбочка на двоих... Нет, постельное белье и легкие одеяла есть, вы не смотрите на газеты, они от пыли. С этой проклятой крыши все время что-то сыплется... А теперь смотрите сюда...

Но я никуда больше не мог смотреть. Никак не думал, что он приведет туда, где живут официантки. Чтото пробормотав, я заспешил к выходу. Он, видимо, поняв, что поступил не очень тактично, шел сзади, на ходу продолжая:

- Можно, конечно, и не смотреть, ничего интересного. Там кошки. Их очень любит Сильвия. Иногда она берет двух-трех к себе, но живут они здесь.

Уже в машине Борб сказал:

- За жилье мы платим по сорок марок в месяц. Вы скажете - дешево, я согласен. Вы за одни сутки платите здесь такую же сумму. Но для девочек очень много. За питание с них берут сто двадцать марок в месяц, это выходит четыре марки в день. Вы опять скажете - дешево, я вас понимаю. Если вы едите скромно, в нашем скромном отеле за один обед, естественно, без вина вы платите двенадцать - пятнадцать марок.

Но вы посчитайте их бюджет. В месяц они получают по

двести шестьдесят марок. Двадцать и две десятых процента составляют налоги и социальное страхование. Это значит - пятьдесят две марки и пятьдесят два пфеннига. Так? Теперь прибавьте сорок - жилье и сто двадцать питание. Сколько получается? Двести двенадцать с половиной марок. Сколько остается у них?

Подсчитали? Сорок семь с половиной марок. Л у Герты нет отца и большая семья, которой надо помогать.

Да и одеться же им надо!

Конечно, - вздохнул он, - сиди они дома, в Баа, - Годесберге, ни за квартиру, ни за питание платить не пришлось бы. Но работы для них там нет... И еще я вам скажу. Они могли бы покупать продукты и не питаться на нашей кухне. Тоже вышло бы дешевле. Но фрау Шредер не разрешила. Боится, что будут доедать остатки с тарелок и все равно питание получится за ее счет... Возможно, она и права.

Я, возразил Борбу. Еще раньше в каком-то справочнике вычитал, что официант получает от пятисот марок и выше. Почему же двести шестьдесят?

- Так это официант, - развел он руками. - А женщина, как известно, в нашей стране получает значительно меньше мужчины. Не говоря уже о том, что в большинстве ресторанов женщину вообще не возьмут в качестве официантки. Это во-первых. Во-вторых, Эрика числится не официанткой, а ученицей. Правда, она уже три года была ученицей точно в таком отеле и, как только кончился ученический срок и надо было повышать жалованье, ее уволили. К нам ее взяли опять как ученицу. Она выбивается из сил, надеясь через три года стать официанткой. Но ее уволят. И если дадут хорошие рекомендации, она, возможно, устроится гденибудь, но только ученицей. Вы не найдете ни одной официантки вдоль всего Рейна, которая проработала бы ученицей меньше десяти лет. Таким образом, на вычитанные вами официальные данные сделайте еще поправку.

У меня не было фактов, чтобы возразить ему. Единственное, в чем усомнился, - это в сумме налогов. Почему так много? И что это за налоги?

- О, сложная система! - улыбнулся Борб. - В ней трудно разобраться. Но что она означает практически, это как раз я могу вам объяснить.

Ну, скажем, так: заболел человек. Или проще: роды.

Они стоят тысячу триста марок. Аппендицит - тысяча марок. Грипп можно уложить в четыреста - пятьсот, а не дай бог инфаркт - клади на стол шесть тысяч.

А теперь считайте. Слесарь или токарь на строительстве

получает от семисот до тысячи марок в месяц.

Думаю, что и в других областях - примерно столько же. Разве они могут болеть? А те, кто получает шестьсот марок? Или триста? Они даже насморк не имеют права получить.

Как же быть? - спросил Борб, точно я должен дать на это ответ. - Очень просто. С первого дня работы и до конца жизни с человека удерживают на больничную кассу. И если он заболеет, платит лишь от двадцати до тридцати процентов стоимости лечения, Остальное берет на себя больничная касса.

Вот вам первый налог. Его удерживают и с того, кто за всю жизнь ни разу не болел. Эрика, например, платит шесть процентов больничных, я - восемь. Причем, заметьте, эта система заставляет человека скрывать болезнь, переносить ее на ногах, пересиливать себя до последней возможности, ибо и двадцать процентов (это при пользовании больницей и поликлиникой третьего разряда) да еще плюс одна марка за каждый рецепт - деньги немалые.

Столь же подробно, как о больничном налоге, Борб рассказал о пенсионном. Всю жизнь с работающего удерживают на пенсию. Государство же не может из своих средств оплачивать все пенсии. Ежемесячно идут удержания на страховку от безработицы, от несчастных случаев, на помощь жертвам войны, на социальное попечительство, на церковь и многие другие нужды.

- И Эрика платит эти налоги, - закончил Борб, - и Герта, и я. Ну, я все-таки прилично зарабатываю, около восьмисот марок, и у меня нет семьи. А девочкам все ото не под силу.

- Так почему же они торчат здесь? - не выдержал я. - Шли бы на производство, где нормальный рабочий день, где нет этой системы бесконечного ученичества и нет затхлой обстановки вашего отеля!

- Успокойтесь, успокойтесь, - похлопал он меня по руке. - Вам легко рассуждать, вы на все смотрите со стороны. Почему не идут на производство, я вам покажу на своем примере. Это длинная история, но вам станет ясно, почему и я "торчу" здесь, как вы выразились.

До Дюссельдорфа оставалось километров двадцать, а мне хотелось до конца выслушать Борба. Я предложил остановиться у ближайшего кафе и выпить по чашечке кофе. Борб хорошо понял меня. Но я видел: и ему хотелось излить душу. Должно быть, не часто он встречает собеседника, с которым может говорить откровенно.

В придорожном кафе, куда мы вошли, не было ни одного посетителя.

- Рады вас видеть, - сказал официант, любезно улыбаясь.

Когда он принял заказ и ушел, Борб сказал:

- Вот видите, везде одно и то же. Кстати, не обратили ли вы внимания на такие вот кафе? Они на каждом шагу. И почти всегда пустые. Как же не прогорают владельцы?

Как и во всем разговоре, Борб задавал вопросы и тут же на них отвечал.

- В том-то и дело, - сказал он, - что рабочая сила в таких заведениях дешевая, потому что каждый работает по многу часов, а разница между оптовыми ценами и розничными огромна. И не думайте, что, пока здесь никого нет, официант сидит сложа руки, Работы всегда хватает.

Мы пили кофе, и Борб рассказывал.

По возвращении из плена он довольно быстро нашел себе приличную работу в Дюссельдорфе. Хотя по образованию он техник, но богатый опыт и усердие помогли ему занять инженерную должность. Товарищи по работе, естественно, интересовались его пребыванием в Советском Союзе, и он охотно делился впечатлениями. Видимо, говорил не совсем так, как надо было. Его уволили, не предъявив никаких претензий.

- С тех пор, - с горечью говорил Борб, - точно чумной штамп на лбу поставили.

Никто не хотел с ним разговаривать. Шесть лет перебивался случайными заработками, пока не наткнулся на объявление о массовом наборе на строительство завода.

Его взяли в качестве каменщика Борб был рад. Вопервых, строительство рассчитано на три года. Во-вторых, каменщиков мало, в основном сооружения делались сборными. Если усердно работать, а главное, молча, увидят. Могут и повышение дать.

Условия работы хорошие. Пятьдесят минут работать, десять минут перекур. Каждому рабочему в конце недели на его рабочее место приносят в конверте зарплату.

В первую получку едва ли не половина рабочих, кроме денег, получила письмо: "Фирма благодарит вас, фирма в ваших услугах больше не нуждается". А фактически очень нуждалась. Рабочие сами разобрались, в чем дело. Уволили тех, кто курил или разговаривал в неположенное время, кто перебросился с товарищем хоть словом. Вместо уволенных пришли новые, часть из них - иностранцы. С трепетом ждали конца недели И снова благодарность. И снова: "Фирма в ваших услугах не нуждается".

Но почему? Ни один человек не закурил, ни одного слова, не связанного с работой.

- Я-то знаю, почему меня, - сказал один из уволенных. - Температурил, медленно очень работал, голова кружилась.

- Видимо, и меня за это же, - сказал второй, - хотя я не болен.

Дома большие неприятности, думал об этом, видимо, отвлекался.

Борб рассказывал:

- Самый радостный день у рабочего человека - получка. Третью получку ждали, как приговора.

И опять то здесь, то там повисшие руки, опущенные головы: "Фирма в ваших услугах не нуждается".

На этот раз пришел председатель фирмы.

- Здесь не курорт, - проинформировал он рабочих спокойным тоном. - На все ваши дела вам дается десять минут ежечасно. А пятьдесят минут надо работать. Интенсивность вашего труда фирму не устраивает. Ваша работа и впредь будет контролироваться телевизионными камерами. Есть ли вопросы?

Люди молчали. Он уже собрался уходить, когда раздался голос:

- Может быть, на сдельную перейти? Сколько заработаешь, столько получишь. Все будут стараться.

- Фирма считает целесообразным тот порядок, который она установила. Еще рекомендации фирме есть?

Борб умолк. Допил оставшийся в чашечке кофе и снова заговорил:

- Вы не представляете, как мы после этого работали. Вы видели фильмы Чаплина? Так вот, там был отдых по сравнению с тем, что делалось у нас. Пятьдесят минут выматывали так, что уже и курить не хотелось.

По сигналу на перерыв люди падали. Но стоило снова раздаться сигналу, вскакивали, будто отпущенная пружина. И все равно над нами висело: "Фирма в ваших услугах не нуждается". Время от времени все же появлялись кое у кого эти страшные вкладки в конвертах. Чтобы мы не забывали: за нами следят.

Все время под наблюдением. Ты знаешь, что на тебя смотрят. Каждую секунду смотрят. Контролируют каждое движение, каждый шаг. Боишься достать носовой платок. Ты подопытное животное. Ты заведенный механизм. Только бы хватило завода на пятьдесят минут, чтобы расслабить мышцы. Никаких мыслей. Они отвлекают. Только одна, как пожарная сирена, как сигнал бедствия: "Фирма в ваших услугах не нуждается".

Генрих Борб решительно обходил вопрос, как он попал к Брегбергу. Прямо спросить было неловко, а от косвенных вопросов он уходил. Однажды мы близко подошли к этой явно неприятной для него теме. Не помню уже, в какой связи, но он тогда зло сказал: "Конечно, Сильвия измывается над девочками, не упустит случая вежливо уколоть фрау Шредер, но всех в руках держит Брегберг. Сильвия боится, что он выдаст ее прошлое, фрау Шредер боится, как бы он ае отобрал у нее отель, все его боятся".

- А вы? - спросил я.

- А я в особенности.

И умолк. И больше ни слова.

Значит, были у него основания бояться Брегберга.

Но и тогда в тоне не слышалось протеста. А вот в придорожном кафе, рассказывая о своей работе на стройке, он буквально кипел. И неожиданно сник. Будто выдохся. Обреченно сказал:

- Случилось то, что должно было случиться. И в моем конверте с деньгами оказалась эта бумага. Отличного качества бумага, глянцевая, атласная, с гербом фирмы. Можно было не разворачивать ее, но я развернул. Я увидел каллиграфически выведенные слова, отпечатанные типографским способом, как на визитных карточках: "Фирма благодарит вас за работу. Фирма больше в ваших услугах не нуждается". И чтобы никаких сомнений не осталось, кому это адресовано, сверху от руки было написано: "Уважаемый господин Борб1"

Он потянул из чашечки гущу. Я хотел заказать еще кофе, но Борб решительно отказался. Молча жевал кофейные крупинки. Видно, думал все о том же.

- Я ждал этого, ждал каждый раз, когда брал в руки конверт. Каждый раз останавливалось сердце, перед тем как вскрыть его. Так продолжалось полтора года. Все-таки восемнадцать месяцев они меня держали. И, когда получил наконец эту благодарность, подумал: "Да, они правы, я уже не когу работать так, как в первые месяцы".

Полтора года, пока я ждал увольнения, понемногу копил на черный день. Да, кое-что у меня оставалось, ведь к тому времени жена ушла от меня, а детей бог не дал. Я не обижаюсь на жену, она меня любила и всегда бв1ла верна мне. Знаю, что у нее самол разрывалось сердце. Но что ей оставалось делать, если я столько лет был безработным? Правда, мне потом говорили, что всю жизнь она меня обманывала, но я в это нэ варю...

Поедемте, - неожиданно поднялся он.

Чем кончилась его история, я узнал лишь на обратном пути. Чтобы не прерывать рассказ, приведу его здесь.

Ненадолго хватило Борбу его сбережений. Потеряв надежду найти работу, он стал бродяжничать. И однажды на улице в Дюссельдорфе лицом к лицу столкнулся с Брегбергом. Узнав о бедственном положении Борба, тот сказал:

- Твоя инженерная карьера, как ты понимаешь, рухнула из-за твоей коммунистической пропаганды.

В свое время я спас тебе жизнь. Но если я увижу, что совершил ошибку, я сумею ее исправить.

Борб понял, о чем идет речь. И угроза не показалась ему страшной, потому что это - явное недоразумение.

Он вовсе не собирается заниматься пропагандой. Он будет работать день и ночь молча. Только бы спокойно жить и не ждать каждую неделю этих конвертов.

Так Борб стал служащим отеля фрау Хильды Марии Шредер. Вскоре, однако, понял, что угроза над ним висит. У Брегберга время от времени собирались какието штатские с военной выправкой. Не желая ни во что вмешиваться, он старался их не замечать. Однажды Брегберг сказал:

- Послушай, Борб, сегодня у меня будут друзья.

Если кто-нибудь узнает об этом, я исправлю свою ошибку. Ты меня понимаешь, надеюсь?

Борб понял. Взволнованно сказал:

- Само собой разумеется, господин Брегберг, я никому ничего не говорю, это не мое дело, и я ничего не знаю. Но, господин Брегберг, узнать ведь могут и помимо меня.

- Вот-вот, об этом я и думаю. Будь начеку. Следи, чтобы никакая сволочь не совала сюда рыла.

С тех пор Борб потерял покой. Он стал соучастником какого-то дела, о котором не имел понятия. А Брегберг все прибавлял ему работы. Велел внимательно следить, как бы не появился у отеля какой-то однорукий. Каждый раз, выходя из дому, спрашивал: "Ну что, не появлялся однорукий?" Он явно боялся этого человека. Видимо, опасался, как бы тот не узнал, что Брегберг находится здесь.

И вообще Борбу было трудно. Он жалел фрау Шредер, над которой садистски издевался Брегберг. Недавно, поздно вечером, когда жизнь в доме затихла, к ней подошла Сильвия и, растягивая слова, скромно потупив глаза, сказала:

- Фрау Шредер, господин Брегберг просил передать, чтобы вы не запирали двери, он вернется часа через два. У него некоторые дела ко мне, Он будет у меня - Я стоял у входа, - рассказывал Борб, - и не слышал этого разговора. Я только услышал, что фрау Шредер плачет.

Все это остро переживал Борб, как и издевательства Сильвии над девочками, особенно над Эрикой. Сильвия не могла простить ей, что она хорошенькая. И тяжко приходилось девчонке, если при Сильвг/;ч ей делали комплимент.

Эрика не могла противиться Сильвии. Положение девушки было почти безвыходное Ее отец - плотник.

Все знали: на плотника Керна можно положиться. У него маленькая мастерская, и он прилично зарабатывал. Не настолько хорошо, чтобы накопить солидную сумму, но кое-что оставалось

И вот года три назад он строил свинарник. Ему помогал сын заказчика. Этот растяпа не удержал бревно, и оно ударило Керна в грудь С тех пор ему трудно работать. И чем дальше, тем хуже. Последние полгода уже ничего не может делать.

В социальном отношении Керн находился в одной группе с владельцами заводов, фабрик, банков, универсальных магазинов По закону пенсия им не положена как лицам, ведущим самостоятельный род деятельности. Керн тоже вел самостоятельный род деятельности, поэтому пенсия не положена и ему. Правда, из восьми миллионов человек, входящих в эту группу и не имеющих права на пенсию, подавляющее большинство таких, как Керн, мастеровых, лоточников, торгующих сосисками или другой мелочью. Но Керну от этого не легче.

Среди его заказчиков были и довольно влиятельные лица. Они всегда оставались довольны его работой.

Они-то и пообещали устроить ему пенсию. Правда, пенсия по старости ему будет положена ровно через двадиать лет, когда стукнет шестьдесят пять. А пока он надеется на пенсию по инвалидности. Это сто двенадцать марок. Все-таки подспорье. Ведь только за квартиру надо платить четыреста шестьдесят. Конечно, он бы не стал такие деньги платить, но при этой квартире длинный коридор, где он работает. А зачем ему теперь мастерская? В конце концов послушал жену, и они переехали. Две маленькие комнатки, как коробочки, зато - двести восемьдесят. Для них даже это дорого, но что поделаешь. С тех пор как в шестьдесят четвертом году были отменены ограничения на квартирную плату, домовладельцы совсем посходили с ума.

И вот при таком положении в семье может ли капризничать Эрика? Борб понимает, надо смириться, но ему жаль Эрику.

Все это он рассказывал на обратном пути из Дюссельдорфа. А почти весь день мы провели у Вольфганга. Он на три года старше Генриха, тучнее, солиднее, и тем не менее похожи они друг на друга, как близнецы. Похожи не только лица. Манера говорить, голос, жесты - все одинаково. Только Вольфганг немного увереннее держится. Может быть, потому, что не так изломан жизнью.

Их отец был врач. Судя по всему, один из тех бескорыстных и честных людей, которые трезво оценивали обстановку в стране, но были не способны к борьбе.

И он просто сам, в силу своих возможностей, помогал людям жить. Сыновьям сумел дать образование и не сумел оставить наследство. Это был человек, интересовавшийся далеко не только своей профессией. Гордился, как он выразился, "техническим

гением" немцев и поражался "исторической тупостью и авантюризмом" их политиков. Видимо, много от отца перешло к Вольфгангу.

После первых же вежливых фраз, вроде: "Генрих мне много говорил о вас, рад познакомиться", - он выложил свое кредо. Во-первых, не будь Гитлера, проклятой войны и поражения, еще неизвестно, кто первым оказался бы в космосе. И, во-вторых, он отнюдь не является сторонником коммунистического режима.

Однако под многими его суждениями, думаю, подписался бы любой коммунист. Видимо, этим словом так запугивают население, что порою, не понимая смысла, люди страшатся его. И кое-кто думает: уж если появится советский человек, тут же с ходу приступит к коммунистической пропаганде.

"МОЙ ДРУГ КОЛЛЕКЦИОНИРУЕТ ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ"

К слову, мне хочется здесь отметить одно обстоятельство. Мне кажется, и у нас не все правильно оценивают западных немцев. Мы часто пишем о реваншистских настроениях в Западной Германии, имея в виду определенные круги. В массе же западные немцы удивительно тепло и дружелюбно относятся к советским людям. В подтверждение я не могу привести какихлибо глобальных примеров. У меня их просто нет. У меня есть мелкие факты, но их много. Ну вот, например, такие В вагоне-ресторане я обедал в обществе трех незнакомых мне и друг другу немцев. Разговор шел в пределах: "Будьте любезны, соль". К концу обеда один из них закурил. Я сказал, что, если ему это безразлично, хотел бы поменяться с ним спичками, объяснив, что мой товарищ коллекционирует спичечные этикетки, которые, оказывается, о многом говорят не меньше, чем почтовые марки. В его альбомах уже, наверное, весь мир. А вот таких, по-моему, нет.

Предварительно я посмотрел на свои спички, нет ли в них пропаганды. Пропаганда была. Этикетка призывала нас бороться. Бороться с сельскохозяйственными вредителями. Правда, было не исчерпывающе ясно, изображен ли вредитель или агрегат для его истребления. Но это, я подумал, выясню дома, как только приступлю к борьбе.

Немец охотно согласился и спросил, действительно ли я из Советского Союза. Ответ обрадовал всех троих.

Второй сосед, улыбаясь, протянул мне свою коробочку. В подарок товарищу. Третий извинился, показав зажигалку. И, спохватившись, потребовал спички у своего приятеля, сидевшего через стол, объяснив, в чем дело.

И ту! произошло то, чего предусмотреть я никак не мог. Мне понесли спички. Слова: "Да что вы, не надо, ну зачем же!" - не помогали. Я увидел, что даже из-за дальних столиков

поднимаются люди со спичками. Надо было немедленно остановить это массовое движение. И я сказал:

- Извините, у меня есть еще один приятель, так тот коллекционирует золотые часы...

Шутка дошла. Меня пощадили. Но у нашего столика сгрудились люди. То, что происходило дальше, было похоже на обычную пресс-конференцию, с той лишь разницей, что мне не задали ни одного злобного или каверзного вопроса. , 567 Есть такие читатели, которые скажут: "Ну и что?" Я отвечу. Ничего, конечно, особенного. Но я видел их лица и их глаза. Это были не улыбки, за которые получают зарплату или чаевые. Улыбки друзей.

КОТЛЕТЫ ИЗ РЯБЧИКОВ И КОНИНЫ

Но я отвлекся от Борба, а мне хочется закончить его историю. Уже в первые полчаса у Вольфганга стало ясно, что он исчерпывающе информирован о жизни в отеле фрау Хильды Марии Шредер и моих беседах с Генрихом. А тот как бы немножечко гордился тем, что привез гостя из Москвы. Вел себя подчеркнуто непринужденно, всячески демонстрируя наши с ним хорошие отношения.

- Вольф, ты представляешь, - говорил Генрих, - он удивляется, почему Эрика не идет на производство.

Объясни этому человеку, почему. Объясни так, чтобы он понял. Я вижу, мои объяснения ему недостаточны.

- Недостаточны, - согласился я. - Понимаете, меня ведь частности не интересуют. Да, в отеле Шредер работать тяжко. Брегберг, Сильвия, да и Шредер тоже со своими сложными отношениями и темным прошлым создали невыносимую обстановку и каторжный режим. Но такой отель - явное исключение. И никаких выводов о жизни в стране по этому примеру делать нельзя Картина на стройке, которую нарисовал Генрих, ужасна. Но из этого следует лишь, что данная фирма безжалостно относится к своим рабочим, и вовсе не следует, что это характеризует жизнь всех рабочих.

- Так, так, так, - нетерпеливо поддакивал Вольфганг.

Я умолк.

- Говорите, говорите, я вам на все сразу отвечу.

- Пожалуйста. Конечно, в Руре есть законсервированные шахты и старые, закопченные заводы. Но я видел много новых, сверкающих алюминием и стеклом, а поблизости поселки с красивыми, как игрушки, коттеджами, а возле них машины, и поселки эти явно для рабочих и служащих Я знаю, что ежегодно вступают в эксплуатацию тысячи домов. И нетрудно догадаться, что не все они для банкиров. Уровень производства очень высок.

Каждый пятый человек в стране имеет машину. Я видел перед выходными днями вереницы машин, часто с домиками на прицепе, идущие на юг, к берегам рек.

- В общем, рай, - рассмеялся Вольфганг. И, немного помолчав, очень серьезно добавил: - Да, у немцев есть чему учиться. Я не знаю, на какой высоте мы были бы, не будь проклятого Гитлера. Вот говорят: "экономическое чудо". Но мы знаем, чудес не бывает. Я вам сейчас объясню, как создается чудо. Посмотрите, - подошел он к столу, заваленному журналами, газетами, книгами. - Вот "Шпигель". В любом киоске он стоит полторы марки. Вы думаете, я плачу за него такие деньги? Чепуха! Тридцать пять пфеннигов. А издатель или уж не знаю точно, кто именно, возможно, только наше почтовое агентство, кладет в карман три марки за каждый номер... Не улыбайтесь, сейчас все объясню.

Газету надо читать в день выхода, не так ли? Назавтра она уже неинтересна. А журнал и через месяц не устареет. На этом и зарабатывают частные бюро по распространению печати. С подписчика у нас берут не полторы марки, а марку двадцать. Но ровно через неделю приходит мальчик в картонной шапочке, забирает журнал и передает второму подписчику, который платит восемьдесят пфеннигов. Следующий - шестьдесят. Я получаю журнал к концу третьей недели за сорок пфеннигов. Но к концу месяца приходит мальчик, на картонной шапочке которого герб бумажной фабрики, и возвращает мне пять пфеннигов. А мой журнал как сырье идет на переработку.

Вы скажете: немецкая мелочная расчетливость?

Ведь так же? А я скажу: блестящая организация. Умение считать и делать деньги. Не такое плохое качество, должен заметить. В данном случае всем выгодно. Но подобных примеров не так уж много. Только на них чуда не создашь Я вам еще объясню, откуда оно берется, а сейчас давайте вернемся к вашим вопросам.

Вольфганг был похож на преподавателя, читающего лекцию Он не рассказывал, а объяснял. Неторопливо, солидно, то прохаживаясь по комнате, то останавливаясь.

- Вы правы, - продолжал он, - на каждые пять человек приходится машина. Но это мне напомнило анекдот, не сердитесь, пожалуйста, который Генрих привез из России. Вы, наверное, знаете. Человек продавал котлеты, сделанные из рябчиков и конины. На вопрос, в какой пропорции смесь, он ответил: "Как раз пополам: на одну лошадь - один рябчик". - И Вольфганг рассмеялся, будто сам только что услышал анекдот.

- А теперь давайте разберемся, - сказал он, роясь в журналах. - Прежде всего из общего числа машин сбросьте тридцать пять

процентов, находящихся на складах. Дальше. Вот последние статистические данные, по которым мы легко определим, кто машинами владеет. В стране, вот смотрите цифры, один миллион бездомных и двести тысяч нищих и бродяг. Надеюсь, вы понимаете, что машин они не имеют.

Теперь смотрите эту графу: три с половиной миллиона семей получают до трехсот марок в месяц. Этим тоже не до машин. Следующая графа: около семи миллионов зарабатывают от трехсот до шестисот марок. Чтобы яснее было, как велики эти суммы, я прошу вас, - он снова начал перекладывать журналы, вот, последний номер... - быстро найдя нужное место, ткнул пальцем. Прочтите, пожалуйста. Вслух прочтите.

Это был журнал "Штерн".

"...Незадолго до полуночи начались схватки. В соседней комнате спали ее дети. На диване она произвела пятого ребенка. Однако в 3 часа 45 минут новорожденный был мертв. Отец задушил его, а мать не защитила... Им было предъявлено обвинение в совместном убийстве. Мотив преступления бедность..."

Дальше рассказывалось о том, что обвиняемый Герд Браун, получавший в месяц шестьсот марок, заявил суду:

"290 марок уходило на квартиру, а у нас к тому же было уже четверо детей. Мы просто не могли позволить себе платить 5 марок за каждую противозачаточную пилюлю".

- К процессу мы еще вернемся, - сказал Вольфганг. - А пока я хочу лишь, чтобы вы поняли, что значит шестьсот марок и что от них остается после удержаний, обязательных платежей и платы за квартиру.

Ну, пусть у Герда большая семья. Но на эти деньги, если учесть огромные налоги и квартирную плату, нэ прожить и маленькой семье. О машинах они и думать не смеют. Не так ли?

Вольфганг часто повторял эти слова: "Не так ли?"

Но звучали они не как вопрос, а решительным подтверждением его выводов.

Две перечисленные категории людей составляют около сорока пяти процентов работающих. Следующие тридцать процентов зарабатывают от шестисот до восьмисот марок в месяц. Вольфганг допускал, что часть из них, те, кто не имеет семей, может купить машину. Но эксплуатировать ее не в состоянии.

- У меня тоже есть машина, - вмешался в разговор Генрих. - Старые машины недороги. И все стремятся иметь свой автомобиль. Это показывает людям, как ты хорошо живешь, к тебе относятся с большим уважением. Но вот к Вольфу я езжу на поезде. Вам это трудно понять, у вас, как мне говорили, бензин

дешевле минеральной воды. А у нас за литр бензина надо платить пятьдесят пфеннигов. Одна заправка-тридцать марок. А хватит ее на десять дней, и то если не ездить за город. Значит, в месяц - девяносто. К этому прибавьте стоимость масла, обслуживания, ремонта.

Получится не меньше ста пятидесяти. Слесарь или токарь зарабатывает, как я уже вам говорил, от 700 до 1050 марок. А теперь считайте сами, может ли он, оплатив налоги и квартиру, выложить еще сто пятьдесят?

- Вот вам и каждый пятый на машине! - как бы подвел итог Вольфганг. Вот и судите, сколько простых людей смогут выехать за город в собственной машине с домиком на прицепе.

- Выходит, одни банкиры ездят? - спросил я.

- Почему банкиры? - обиделся Борб. - Банкиры с домиками не ездят. У них есть где отдыхать. Ездят целые армии крупных торговцев, высокооплачиваемых инженеров, врачей, адвокатов и даже рабочих. Есть водь и рабочие, получающие полторы тысячи. Но это уже касты.

Вы говорите: коттеджи, как игрушки, - направил он на меня палец, словно обвиняя. - Но пройдите по такому поселку вечером. Жалюзи опущены, занавески зашторены, двери заперты. Ниоткуда не пробьется лучик света. Как в ячейке сот. Как в скорлупе. Как замурованные. Никто ни к кому не зайдет в гости, не пригласит к себе. Если раздастся крик о помощи, никто не выйдет. И все к этому привыкли, считают нормальным.

Да что говорить! - махнул он рукой. - А в больших городах! Конечно, ночной Гамбург примет всякого. Но попытайтесь пробить броню и войти в частный дом!

Ни ваша радость, ни горе никому не нужны. Каждый как может борется за свое существование. Ни вам никто не поможет в беде, ни вы не поможете. Каждый одинок. Да, на Реппербан в Гамбурге и ночью весело, можно до утра гулять и на Таунусштрассе во Франкфурте-на-Майне или на Швабинге в Мюнхене, где сосредоточены увеселительные заведения. Сверните с главных улиц большого города - та же картина, что и в заводском поселке. Ни одного огонька в окнах, ни одной светящейся щелочки. Мертвые дома, мертвые кварталы. А внутри маленькие лампочки, как у нас в отеле: зажжешь настольную - погаснет верхняя, зажжешь у постели - погаснет настольная. Чтобы не забыть экономить на электричестве. Экономить про черный день, потому что он обязательно придет. Не сейчас, так в сорок пять, когда до пенсии останется двадцать. Не зря же три четверти безработных - люди старше сорока пяти. Их никто не возьмет на работу.

Вместо них вербуют иностранных рабочих. Молодых, здоровых, безропотных. Уже полтора миллиона завезли.

- Подожди, - отстранил его рукой Вольфганг. - Это ты уже о другом. Дай закончить одно... Вас привели в восторг красивые коттеджи, - обернулся он ко мне, - вы говорите: строительство, откуда выгнали Генриха, исключение, жизнь в его отеле - исключение...

Чепуха! Какая разница - не Брегберг, так Гохберг, не Шредер, так Шрайбер - дело вовсе не в каждом из них и не в их отношениях между собой. Хозяином отеля может быть и не подлец, как Брегбер, а очень порядочный человек. Но система работы повсюду одинакова. В отелях, кафе, небольших магазинах, в бытовых мастерских - во всей огромной сфере обслуживания люди работают до полного изнеможения.

Дико, центр Европы, но, уверяю вас, в этой области самый настоящий колониальный труд. Никем не контролируемый, едва оплачиваемый, при неограниченном рабочем дне.

Поживите здесь год, и вы увидите: "Фирма в ваших услугах не нуждается" - висит над каждым человеком, над всей страной, как неотвратимый рок. И при всем этом увольняют не так много. Люди работают на одном месте годами, нередко десятилетиями, но каждый день в тревоге за мегго. Это же пытка.

- К сожалению, - сказал я, - не могу прожить здесь год, чтобы убедиться в этом.

- Вы улыбаетесь, вы не верите? Хорошо. Вы не верите мне, но, может быть, президенту нашему поверите, - говорил он, нахмурившись и извлекая какую-то газету из большой пачки. - Вот, читайте. Это речь на церемонии принесения присяги новым президентом, доктором Густавом Хейнеманом, произнесенная им несколько дней назад. Вот что он говорил:

"...В связи с моим избранием на этот пост я получил множество писем от представителей всех слоев населения и всех профессий... Речь идет о просьбах о помощи, вызванных трудностями и тяготами повседневной жизни, нуждою и болезнями, жилищными проблемами или наложением уголовного наказания, одиночеством и пережитой несправедливостью... Авторы многих писем говорят о страхе перед будущим или перед старостью, о страхе потерять работу".

- Вот! - торжествующе сказал Генрих. - Я же говорил, что Вольф энциклопедия.

- Ну, что ты с глупостями! - раздраженно прервал его Вольфганг. Обратите внимание - не озабоченность, даже не тревога. Страх. Страх перед будущим!

Страх перед старостью! Страх потерять работу! Кто это

говорит? Недруг Германии? Нет! Президент! На основании чего говорит? На основании множества писем. И не от безработных или бездомных. "От всех слоев населения, - поднял он вверх палец. - От представителей всех профессий".

Уверяю вас, - подошел он близко ко мне. - Если бы ото не было угрожающим явлением, не стал бы так говорить президент. Это ведь не предвыборная речь, не расчет на то, чтобы завоевать голоса. Это - явление, о котором уже не может умолчать даже президент.

Вольфганг прошелся по комнате и снова остановился возле меня.

- Те, кто получает до восьмидесяти тысяч марок в месяц, - продолжал он, - создали немыслимое напряжение. Оно не ослабевает. Под страхом увольнения живет и тот, кто имеет коттедж и машину. Ведь за них надо годы и годы выплачивать. А если уволят? Это катастрофа. Боясь ее, люди работают, как автоматы. С той лишь разницей, что при перегрузке автоматы отключаются. А рабочий сам отключиться не может. Он отключается, когда в голове туман. Когда его калечат станки. Семь тысяч увечий на заводах каждый день.

Пятнадцать ежедневно умирают от ран. Как на войне.

Лицо и шея Вольфганга стали красными. Генрих смотрел на брата с тревогой и вдруг резко оборвал его:

- Перестань! Успокойся, или я не дам тебе говорить! У него ведь, кроме прочего, гипертония, - пояснил он мне.

- Хорошо, хорошо, - спохватился и сам Вольфганг. - Не буду.

Чтобы отвлечь от явно больной для Вольфганга темы увечий на производстве, я спросил, кто же получает такую огромную зарплату восемьдесят тысяч марок в месяц.

- Я могу вам показать все те же официальные данные, - снова подошел к столу Вольфганг. - Директора и управляющие банков, заводов, концернов получают от пяти до восьмидесяти тысяч. А потом соответствующую пенсию. Кстати, на сколько у вас директор завода получаст больше рабочего?

Я задумался.

А он нетерпеливо продолжал:

- Ну, в три, пусть даже в пять раз. Во всяком случае, не в пятьдесят. А у нас именно так. Директор крупного завода получает сорок тысяч марок в месяц.

Хозяину это выгодно. Он знает: за эти сорок тысяч директор вытянет душу у сорока тысяч рабочих. Это один из главных рычагов "экономического чуда": невиданно высокая интенсивность труда. Выше, чем в Америке. Бешеный ритм, бешеный темп. До одурения, до полного износа. Да вы это сами

можете увидеть.

Посмотрите, как разгружают грузовики, вагоны, пароходы. Разве пожарники работают быстрее? Это что?

От усердия? Это страх перед угрозой потерять место.

И каждый смотрит на соседа. Кажется, будто сосед работает быстрее. Значит, будь проклят этот сосед, и самому надо усилить темп. Ведь где-то стоит хозяин или телевизионная камера.

Раздался тихий зуммер, и я не сразу понял, что это телефонный звонок. Оказывается, вызывали Генриха.

Тот испуганно вскочил, выхватил у брата трубку.

- Слушаю... Понятно, господин Брегберг... не беспокойтесь, господин Брегберг...

Медленно, осторожно Борб придавил пальцем рычажок на аппарате, аккуратно положил трубку. И только после этого ослабло напряжение на его лице. Обращаясь ко мне, сказал:

- Предупреждает, чтобы я вернулся не завтра, а сегодня к семи. И сразу к фрау Клюг - за собакой.

Американке у нас, наверно, не понравилось. - И он громко рассмеялся.

Впервые я услышал его веселый смех. Мне было ясно, чему он обрадовался. За день до нашего приезда к Вольфгангу в отеле фрау Шредер появилась очень богатая американка. Она путешествовала со своей любимой собакой. Борба отправили в ближайший отель для собак узнать, в каких условиях там находятся животные, и, если отель хороший, забронировать место.

Только после этого сама американка отведет собаку и проверит, может ли спокойно оставить ее там.

Возвращаясь из Бонна в свой номер, я встретил на улице Борба, который и шел на разведку в собачий отель. Находился он метрах в ста от того места, где мы встретились. Я много раз видел у ворот большого одноэтажного здания с необозримым участком за высоким забором щит, а на нем светящуюся симпатичную морду пуделя и огромными буквами надпись: "Hunde Hotel".

И чуть поменьше фамилия владелицы: "Droemond".

Давно хотелось посмотреть на это учреждение, да никак не мог найти подходящий повод. Поэтому сказал Борбу: если он абсолютно убежден, что мое общество не принесет ему вреда, охотно сопровождал бы его.

- Конечно, конечно, - обрадовался он. - Только пойдемте быстрее. Мне хочется поскорее достать это место для собаки. Иначе будет невиданный скандал...

В ОТЕЛЕ ДЛЯ СОБАК В большой гостиной собачьего отеля нас встретила молодая женщина-администратор фрау Клюг. Пока

Борб объяснял цель визита, подчеркивая знатность и богатство владелицы собаки, я рассматривал на стене фотографии красивых в своем уродстве собак, подстриженных самым немыслимым образом.

Выслушав Борба, фрау Клюг сказала:

- Мы можем принять собачку вашей гостьи. У нас очень хорошие условия, и она останется довольна.

Прежде всего возьмите вот это, - протянула она Борбу карточку чуть больше почтовой открытки. - И вам тоже, - мило улыбнулась она мне. Возможно, пригодится.

На карточке было написано:

"Приводите свою собаку в отель для собак.

Отопление - прогуливание - лучший уход.

ОТЕЛЬ ДЛЯ СОБАК

с индивидуальным обслуживанием".

А ниже - фамилия владелицы отеля, адрес (БадГодесберг-Мелем, Манцерштрассе, 318) и номер телефона. Он руки фрау Клюг написала на карточке адрес и номер телефона (12554) Герберта Хай деке, владельца лучшего, как она заверила, парикмахерского салона для собак.

Мы осмотрели.. не знаю, как и назвать, собачьи спальни, что ли. Постели аккуратные, красиво сделанные, с вырезом посередине, чтобы животному не преодолевать барьер.

Потом фрау Клюг повела нас осматривать территорию, где гуляют собаки. Огромное количество матерчатых и резиновых игрушек. Любых размеров кошки, всевозможные зверюшки и даже ежи: колючки не колючие - резиновые. Клюг пояснила, что игрушки после употребления дезинфицируются.

- Главный наш принцип, - говорила она, - индивидуальное обслуживание. Каждой собачке мы создаем те условия, к которым она привыкла. Кормим тем, что она ест и у себя дома. Нам необходимо лишь знать ее характер, привычки, вкусы. У нас лучшие повара. Они могут изготовить любое блюдо, любое лакомство. Есть одежда всех размеров для всякой погоды. Собачка будет всегда своевременно прогулена, накормлена, вымыта. Ничто не будет ее раздражать, у нас не скучно.

Есть специально дрессированные собаки для игр с отдыхающими. Мы располагаем богатой аптекой и можем предложить любое лекарство! Постоянно дежурит опытный врач.

Борб осведомился о суточной стоимости места.

- Общий стол и общий режим - от семи до одиннадцати марок. Естественно, ваша гостья предпочтет индивидуальное обслуживание. К сожалению, сейчас мне трудно назвать сумму. В зависимости от услуг, но не свыше ста марок в сутки... Это, само

собой понятно, - без медицинского обслуживания.

Нам с Генрихом собачий дом понравился. Американке- тоже. Она сообщила фрау Шредер, что проживет в отеле три дня. Брегберг, понимая, как выгодна такая туристка, хвастался, будто уговорит ее остаться на неделю. И вот, оказывается, только сутки.

ТРИ КИТА

После телефонного звонка Борб рассмеялся, представив себе, в каких дураках остался Брегберг. А Вольфганг, ничего не зная об этой истории, набросился на брата:

- Что за глупый смех! - И, не дав объяснить ему, в чем дело, продолжал: -Интенсивность труда, доведенная до пределов человеческих возможностей, это первый и главный кит, на котором держится "экономическое чудо".

Второй кит - высокоразвитая техника. Немецкая инженерная мысль всегда была передовой. В конструкторских бюро, в лабораториях, проектных организациях сидят только одаренные инженеры и ученые, талантливые организаторы. Они тоже боятся потерять место. Они умеют использовать опыт самых передовых стран, умеют внести и свое, чтобы превзойти эти страны. Передовая техника в сочетании с высокой интенсивностью дает производительность, до которой еще долго тянуться иным странам.

И третий кит - экономия. Тут Генрих с иронией рассказывал, как зажигаются лампочки. А я скажу, что это отлично придумано. Если ты садишься к письменному столу, тебе не нужен верхний свет. Если прилег на диван почитать, тебе не нужна настольная лампа. И ни одну секунду не должна расходоваться лишняя электроэнергия. И каждая прочитанная газета должна идти на переработку. И ни одну консервную банку, ни один пузырек немец не выбросит в мусорный ящик. А если бросите вы, найдется, кому подобрать.

Вот такой принцип величайшей экономии заложен во псе процессы производства. Он во всей нашей жизни.

Я сказал, что такому принципу можно лишь завидовать. Мы тоже стремимся.

- Нет, - уверенно прервал меня Вольфганг. - У вас не получится. Любой декрет об экономии не стоит и пфеннига. Бережливость должна быть в крови. У нас она воспитывалась не годами. Веками. А вы гордитесь широтой русского характера...

- Но позвольте, это же совсем другое...

- Да, да, - снова не дал он мне договорить. - Понимаю, понимаю, широта характера, конечно, завидное качество, но и вы поймите - не во всем...

- Подожди, Вольф, подожди, - поднялся Генрих. - Я ему сейчас

докажу. Вот я строил у вас дома. Ты не поверишь, Вольф! К застекленным рамам они выписывают еще столько же стекла в расчете на то, что, пока рамы довезут и поставят, все стекла разобьются.

- Вот-вот, - обрадовался Вольф. - Это вы считаете широтой? Нет, конечно. Значит, и не надо за русской широтой, которой завидует мир, прятать расточительство. Впрочем, любые крайности плохи. Мне и самому неприятно, когда вижу носовой платок со штопкой или заплатой.

Вольфганг подошел к шкафу, накапал в ложку какого-то лекарства, а потом принял еще пилюлю.

- Вы не думайте, это не от волнения, - сказал он. - Генрих знает, просто пришло время принимать лекарство.

Но я видел, что он взволнован, и предложил ехать смотреть город.

- Сейчас поедем, еще несколько минут, - сказал Вольфганг. - Я не забыл вашего замечания о том, что один судебный процесс не дает оснований для обобщений. Ну, а если не один? Если аналогичных сотни? Это уже, извините, тенденция. Вот посмотрите. Тот же "Штерн"... Вот здесь, через два абзаца после прочитанного вами.

Я посмотрел на указанное им место:

"И случилось то, что в Федеративной республике преступление карается примерно в 300 случаях, а по приблизительным данным экспертов, почти в 100 тысячах случаев остается безнаказанным...

Ежегодно родители убивают около 100 детей. Они убивают с помощью снотворного, как Хедвиг Куглер, которая хотела избавить себя и свою дочь Ангелу от жизни, полной отчаяния и позора; Ангела умерла, а Хедвиг Куглер осталась в живых. Они открывают газ, как, например, Инге Маас, которая хотела умереть вместе со своими пятью детьми из-за страха перед приютом для бедняков.

...Они порют розгами, бьют ногами, убивают, как Йозефа Штубер, которая после продолжавшихся в течение трех лет пыток бросила труп своей дочери Аннелизы в Дунай; за жестокое обращение и за убийство Йозефа Штубер приговорена к пожизненному заключению в каторжной тюрьме; четверо детей остались сиротами.."

Я читал эти страшные строчки, а Вольфганг стоял рядом, держа наготове еще два журнала.

- Это только последние три номера "Штерна", - говорил он, - за восьмое, пятнадцатое и двадцать второе июня. Пробегите теперь вот эти абзацы:

"Дети ютятся в полуразрушенных хибарах. Матери живут в грязи, зловонии и пьянстве. Семейная жизнь среди жести и бетона. Гетто отверженных. Две колонки во дворе на 196 человек. Так обстоит дело в марбургских бараках...

55-58 процентов бездомных семей - многодетные.

Причем живут они в совершенно непригодных помещениях. Это мир тонких стен. Семейная жизнь становится своего рода спектаклем для публики...

Герд Ибен, который исследовал участь "детей, отвергнутых обществом", в ночлежках для бездомных и приютах для бедняков, заявил: "По мнению общества, бездомный сам несет вину за то, что оказался в таком положении". Ибен считает, что общество должно "взять на себя ответственность за то, что бедных становится все больше и что это приведет к серьезным последствиям для общества".

"Сегодня в Германии дети, - читал я дальше, - в том числе в школах, дрессируются с помощью побоев.

85 процентов всех родителей считают порку вполне пригодным методом воспитания (не бьют детей лишь два процента родителей)... Ежегодно в результате несчастных случаев на дорогах 1600 детей погибают, а 63 тысячи получают увечья..."

- Может быть, хватит читать? - спросил я Вольфганга, готового дать мне очередной номер журнала.

- Все, - ответил он, улыбаясь. - Вот только один абзац, вот этот. Прямой ответ на ваше замечание о вводе в эксплуатацию тысяч новых домов.

Я прочитал:

"У нас строят жилые дома для семейных, в которых ни один человек не может жить нормально. По словам психолога профессора Александра Митчерлиха, "строят, не думая о том, что строят жилье". Когда женщина стоит у плиты, дверь упирается ей в спину. Через балконную дверь не пролезет ни одна детская коляска.

Стиральные машины в таких квартирах устанавливать запрещается. В спальнях разместиться могут только карлики".

- Вы говорите, дома строятся не только для банкиров, - сказал Вольфганг, принимая у меня журнал. - Это, конечно, верно, но многие делаются именно такими, как здесь описано. А сколько новых отличных домов во всех городах пустует? Люди не в состоянии оплатить хоть сколько-нибудь приличную квартиру. С ненавистью смотрят на эти пустые и красивые дома миллион двести бездомных и нищих и миллионы живущих в нечеловеческих условиях.

- Да, да, он прав, - вскочил Генрих. - Он абсолютно прав. Вы к

этому не привыкли, хотя и у вас не сладко с квартирами. Но у вас построено - значит заселено. Не так ли? Это равнозначные понятия. Вы можете себе представить, чтобы у вас стоял пустым готовый дом? Что же вы молчите? - шагнул он ко мне, загородив Вольфганга. - Я ведь помню, я же строил у вас дома и видел, как их заселяют. Вы не обижайтесь, но ты слышишь, Вольф, - обернулся он к брату. - На моих глазах, не дав убрать мусор, люди самовольно заселили квартиры, боясь, что им не достанется.

Не обижайтесь, ради бога, - снова обратился он ко мне. - Я говорю не для того, чтобы уколоть вас или сделать неприятное. Я хорошо понимаю состояние людей, чей город был почти полностью разрушен. Но я завидую этим людям, которые вели себя, как хозяева.

Их, кажется, так и не выселили. Никто не посмел трогать их детей, А теперь объясни ему, Вольф, что такую картину у нас даже представить себе немыслимо. Напротив, созданы многочисленные бюро, агенты которых ищут жильцов и за каждую сданную квартиру получают от домовладельца комиссионные в сумме месячной ее стоимости. Но миллионы нуждающихся в квартирах не в состоянии их оплачивать.

...Осматривать Дюссельдорф мы отправились пешком. Неожиданно Генрих остановился у очень красивой витрины огромного универсального магазина.

- Нравится? - спросил он.

- Очень.

Он удовлетворенно кивнул, как бы подтверждая, что никакого другого ответа не ждал.

- А теперь посмотрите вот на это и вдумайтесь.

Он показал на две совершенно одинаковые нежноголубые рубашки с тонкой полоской на воротничках и лежавшие рядом две одинаковые кисточки для бритья.

На одной рубашке стояла цена шестнадцать марок, на второй - семьдесят. Одна кисточка стоила пять марок, вторая - шестьдесят.

- Найти разницу в этих рубашках, как и в кисточках, невозможно, сказал он. - Не так ли? Но одна превратится в бесцветную тряпку после первой стирки, а вторая останется такой же, как была. Одна кисточка сделана из синтетического волоса, который через две недели придет в негодность, а вторая - из натурального барсукового. А видимость одинаковая. И с полным правом можно сказать, будто богатые и бедные одеваются одинаково, пользуются одними и теми же предметами обихода. И можно сказать, что любой человек найдет у нас товары по своему

карману. Да, это все можно сказать, но сами понимаете... Видимость.

Только видимость.

ЗВЕНЕЛИ БОКАЛЫ За несколько дней до отъезда в Москву я отправился в Висбаден, где в то время гастролировал Ленинградский театр оперы и балета.

Мрамор, ковры, хрустальные люстры, зеркала - все сверкало в переполненных фойе и вестибюлях. Переливались искрами ожерелья, колье, браслеты, кулоны, блестки на платьях. Величественно двигались толстые немки, и выдавленные корсетами излишки наплывали на спинах, как тесто в переполненных формах. А рядом грации, изящные и легкие, тоже увитые драгоценностями, опираясь на руки мужчин, парили, едва касаясь паркета.

Смокинги, монокли, тяжелые перстни. Меха, шлейфы, супермини - точно собрались здесь манекенщицы трех последних веков.

Жонглируя подносами, метались официанты. Звенели бокалы, вспыхивали газовые огоньки золотых зажигалок, дымились толстые сигары.

Во всем блеске демонстрировала себя западногерманская знать, собравшаяся сюда из Бонна и других городов.

От Висбадена до отеля фрау Хильды Марии Шредер-километров двести. Дороги отличные, ночью не загруженные, машины скоростные, и уже в половине второго ночи я был у дома. Как всегда, приветливо встретил Генрих. Мне не хотелось отрывать у него столь драгоценное время отдыха, и я сразу же пошел в свой номер. На лестнице увидел Эрику и Герту с полными подносами посуды, спускавшихся из ресторана в кухню. Уступая мне дорогу, они улыбнулись. Должно быть, девушки не понимали, что похожи сейчас на старушек, не понимали, как страшны их улыбки. Но удивило не это. Странной показалась Эрика.

У нее была удивительная улыбка. То ли ямочки на щеках, то ли светящиеся глаза и, точно лакированные, красивые зубы, а вернее, все вместе преображало ее, и никак не хотелось верить, что улыбка Эрики - лишь служебная обязанность.

Я привык видеть ее вот такой, улыбающейся, реже усталой и осунувшейся или, наконец, с испугом в глазах, если поблизости находилась Сильвия.

На этот раз в ней появилось что-то новое, чего раньше я не замечал. Какая-то отрешенность. Она улыбнулпсь так же, как и обычно, так же появились ямочки, но глаза отсутствовали, словно витали где-то вслед за мыслями. Была в ней какая-то покорная

успокоенность, даже, скорее, смирение.

На следующий день спустился завтракать поздно.

В зале за столиком сидели трое, с которыми рассчитывалась Сильвия. Из-за портьеры вышла ко мне Эрика.

Молодость брала свое: девушка не казалась усталой. Как всегда, аккуратно и красиво причесанные волосы, свеженакрахмаленный фартучек и все та же обаятельная улыбка. И все-таки это была совсем другая Эрика. Та, которую впервые увидел прошедшей ночью на лестнице. Она подошла, сказала "Доброе утро", - приготовилась записать заказ, но мысли ее были где-то, и сама она отсутствовала, и еще резче, чем ночью, обозначилась на лице печать отрешенности.

Эрика не успела принять заказ, как подошла Сильвия.

- Извините, - поздоровавшись, сказала она. - Бедняжка вчера поздно легла. - Она ласково потрепала по щеке Эрику и добавила: - Отдохни, девочка, я сама обслужу. Ты уже и сегодня набегалась немало.

Я не мог верить своим глазам и ушам. Невольно вспомнил картину, которую видел недели две назад.

Все происходило в этом же зале почти на этом же месте. Только сидел я за другим столиком, у стены. Ни Сильвия, ни Эрика меня не видели или не думали, что я вижу их. Вытянувшись, как по команде "смирно", и чуть приподняв голову, Сильвия уставилась на Эрику, точно пригвоздив ее. А та, часто моргая, смотрела на свою мучительницу, казалось, не в силах пошевелиться или отвести глаза, полные страха. В них была мольба, готовность к любому безотчетному действию, которого потребует Сильвия, и она ждала приказания, и ее руки то опускались, то чуть приподнимались, будто хотела прижать их к груди и сказать: "Я виновата, я знаю, как страшно виновата, я готова искупить вину любой ценой, только скажите же, что надо сделать, я не вынесу больше этого взгляда".

Не меньше минуты продолжалась немая сцена, пока наконец Сильвия отвела глаза. Но не просто отвела.

Точно лучом провела полукруг и остановила свой луч на краю ковровой дорожки. Эрика неотрывно следила за глазами Сильвии и увидела, где остановился ее взгляд. На ковровой дорожке лежал обрывок толстой белой нитки. И она бросилась, схватила эту нитку, скомкала в пальцах, глядя, как величественно покинула зал Сильвия.

В тот день я впервые поверил рассказам Борба о том, что Сильвия бьет Эрику. Я не раз потом видел, как изощренно измывается она над девушкой.

И вдруг: "Бедняжка... отдохни, девочка..."

Поразило не только это. Поразило, что и слова, и ласковый жест Сильвии Эрика приняла, как должное.

Вернее, никак, не приняла На ее лице ничего не отра-_
зилось, и она покорно ушла.

Вечером я уехал. Это была последняя поездка в Мюнхен на три дня. И еще день перед возвращением домой мне предстояло прожить в отеле фрау Хильды Марии Шредер. Я не мог тогда предположить, какие события развернутся в мое отсутствие.

Чтобы не платить лишнее за гостиницу, сдал на хранение вещи Борбу (камерой хранения тоже он ведал) и попросил, если можно, к моему приезду забронировать мне ту же комнату, где я жил.

В Мюнхене, в гостинице средней категории, попросил номер не дороже тридцати пяти марок. Наученный горьким опытом, добавил, что, собственно, суточная стоимость номера меня не интересует. Я имею в виду сумму, которую фактически придется платить за сутки.

А разница в этих на первый взгляд одинаковых понятиях немалая. В первые дни пребывания в Западной Германии я вот так же попросил в маленьком городке Оберстдорф недорогой номер. Подобная просьба, конечно, вынужденная. Скажем, у нас с незапамятных времен было установлено: за гостиницу по командировке тебе заплатят рубль пятьдесят шесть копеек. Если же номер стоит, например, два пятьдесят, добавишь из собственной зарплаты. А за границей добавлять не из чего...

Так вот, в Оберстдорфе мне предложили номер за тридцать четыре марки. Правда, номер без телефона, без умывальника, без каких-либо удобств. Но я подумал, что сутки можно прожить в любом номере, только бы не выйти за пределы отпущенных на командировку денег.

При отъезде мне дали счет на 44 марки 18 пфеннигов.

- Это ошибка, - сказал я администратору, - номер стоит тридцать четыре.

- Вы правы, - любезно ответил он, протягивая руку к счету. - Видите, здесь так и написано: стоимость номера - тридцать четыре марки. И дальше все написано. Мервертштоер - одиннадцать процентов, это три седьдесят восемь. Надо платить?

Я молчал.

- Вы же знаете, - уверенно сказал он. - Это государственный налог на все виды платежей. Вы платите его даже в общественной уборной. Правильно?

- Правильно, - вспомнил я.

- Идем дальше по счету. Обслуживание - десять процентов, три сорок. Надо платить?

- Надо.

- Ортстаксе - пять процентов, одна марка семьдесят. Правильно?

- А это что?

- Налог за место. За пейзаж. Вы ведь видите, в каком красивом, живописном месте находится отель.

- В красивом, - согласился я.

- Идем дальше по счету. За то, что отказались от завтрака, - одна марка тридцать. Правильно?

Я растерялся. Это уж было слишком. Дело в том, что в гостиницах ФРГ такие завтраки, к которым мы не привыкли. Крошечная булочка - треть нашей семикопеечной, соответствующий кусочек масла, джем и чашка кофе. Стоит такой завтрак три марки. За эти же деньги внизу, в кафе, можно позавтракать вполне прилично, получив еще вкусные сосиски, или котлету, или пару яиц. Учитывая к тому же, что завтрака в гостинице мне явно недостаточно, я заранее и отказался от него. Почему же должен платить?

Как объяснил мне администратор, отказ от завтрака наносит убыток отелю в одну марку и официанту - тридцать пфеннигов за обслуживание, поскольку он меня не обслуживал. Только эту сумму убытков - одну марку тридцать мне и вписали в счет.

- Итого сорок четыре марки восемнадцать пфеннигов. Нам от этой суммы идет только тридцать четыре. Ровно столько, сколько мы вам и сказалиь БУДЬ ПРОКЛЯТ ЭТОТ МИР В отель фрау Шредер я вернулся к середине дня.

Как-то странно, непривычно сухо встретил меня Борб.

Ну что ж, всякое случается. Видимо, плохое у человека настроение.

Был последний день моего пребывания в Западной Германии. Решил сразу же пообедать, потом зайти в посольство, выполнить необходимые формальности и попрощаться с товарищами. Когда спустился в ресторан, там была Герта. Но ко мне подошла

незнакомая официантка. На мой вопрос об Эрике девушка ответила:

- Она больше здесь не работает.,, Вы не беспокойтесь, я постараюсь угодить вам.

Расспрашивать было неловко. Наскоро поев, спустился вниз. У входа в отель Борба не оказалось. Решил подождать его, меня беспокоила Эрика. Он появился очень скоро. Я сказал:

- Что с Эрикой, Генрих?

- Откуда я знаю! - резко и недовольно ответил он. И еще более резко добавил. - Почему вы об этом спрашиваете?! Почему это вас интересует?

Нет, это уже была не резкость, а грубость. Грубости я не заслужил. Ведь мы были почти друзьями.

Ничего не сказав, в полном недоумении пошел я к выходу из парка. И по пути в посольство, и на протяжении двух часов, что находился там, эта сцена не выходила из головы. И на обратном пути в отель тщетно искал хоть какое-нибудь объяснение происшедшему.

В запасе у меня оставалось часа полтора. Вещи собраны, счета оплачены, билет в кармане. Зачем иду в отель? И как вести себя с Борбом? Ведь глупо же просто вот так уехать, пройдя мимо него, не пожав ему руки. Но и спрашивать, что случилось, не могу. На имею права.

Решил на прощание побродить по набережной Рейна и вернуться в номер к приходу машины. Пожалел, что не сообразил сразу же взять машину. Лучше уж погулял бы по Кельну, где мне предстояло сесть в поезд. Хоть еще раз взглянул бы на Кельнский собор, на знаменитые кельнские мосты. Остановился, раздумывая, не вернуться ли в посольство, чтобы тут же уехать.

И в эту минуту увидел Борба.

- Извините меня, ради бога, извините меня, - еще на ходу говорил он, прижимая руки к груди. - Я не мог иначе поступить, ради бога, ради бога...

На него жалко было смотреть. А он все повторял одни и те же слова, пока я не спросил, что же случилось.

- Понимаете, Брегберг совсем взбесился. Его все же выследил этот однорукий. Оказывается, руку он потерял не без помощи Брегберга. Этот однорукий не так прост. Он докопался, что и сейчас Брегберг в новой нацистской партии ведет какие-то подлые дела. Он сообщил властям. А за свою руку собирается отомстить сам. Но, я думаю, прежде чем он соберется, дружки Брегберга успеют разделаться с ним. И все-таки Брегберг боится. Он стал всего бояться. Сказал, если заметит меня вместе с вами, у вас останется возможность увидеть меня еще только один раз. На

моих похоронах.

Я машинально посмотрел по сторонам.

- Не беспокойтесь, - перехватил мой взгляд Борб. - Он только что уехал. Вернется через три дня. А когда вы подошли ко мне, он стоял у окна на лестничном проеме. Он не смотрел в нашу сторону, но я знал, что он видит нас. Боюсь, что даже разговор наш мог слышать. Поэтому я так говорил. Ради бога, не сердитесь... Я специально вышел встретить вас.

- Ну, что вы, Генрих, я вас хорошо понимаю.

Он благодарно посмотрел на меня и продолжал:

- У нас бог знает что творится. Бедная Эрика, отцу ее стало совсем плохо. Врач определил опухоль.

Предложил немедленно удалить, иначе он ни за что не ручается. Накоплений Керна как раз хватило бы на операцию и пребывание в больнице. Ему ведь платить сто процентов. Керн наотрез отказался от операции.

Сказал, что лучше он один умрет, чем вместе с женой от голода после операции. О приюте для бедных и слышать не хотел.

Все это рассказала убитая горем Эрика, вернувшись из дома после выходного. Несчастье произошло кар; раз в те дни, когда издевательства над ней рыжей клячи превзошли все пределы. Дело в том, что с некоторых пор Брегберг стал посматривать на Эрику. И простить этого Эрике она не могла.

Мы шли очень медленно, и говорил он медленно, тяжело, то и дело пальцем вытирая глаза.

Борб рассказал, что еще одно горе обрушилось на плечи Эрики. У них остановился какой-то тип из Швейцарии, который не просыхал от виски, швырял деньги направо и налево. Увидев Эрику, подошедшую принять заказ, он ахнул и велел ей после ужина явиться в его номер. Ее лицо залилось краской, и, боясь, что брызнут слезы, она убежала. Молча и спокойно наблюдала эту сцену Сильвия, Послав к посетителю Герту, она пошла вслед за Эрикой.

Герта понимала, что внизу разыграется трагедия.

Трагедии не произошло. Приласкав и попытавшись успокоить Эрику, Сильвия отправила ее отдыхать. Эрика не могла понять, что это значит. Ее охватил ужас.

На следующий день Сильвия опять была ласкова с Эрикой, сказала, что сочувствует ее горю и готова помочь ей. Объяснила, что жизнь отца находится в ее руках. Просто сам бог послал этого богатого и хорошего человека, чтобы спасти семью от катастрофы. Он не пожалеет никаких денег.

- Стремясь тебе помочь, - закончила Сильвия, - я обо всем и договорилась с ним.

- Как вы можете! - отшатнулась Эрика.

Сильвия не смутилась. Сказала, если Эрика - бесчувственная и жестокая дочь, то может продолжать упорствовать. Только пусть подумает, как сможет жить дальше после скорой смерти отца. Только одна она будет виновницей его смерти.

Весь день Эрика ходила, теряя рассудок, а Сильвия ласково добивала ее. Потом настроение Эрики улучшилось Она подумала, как легко все это кончится, если сама она умрет. Сильвия радовалась, что у Эрики улучшилось настроение, и хвалила ее. На следующий день поручила ей рассчитываться с посетителями, пока справится со своими делами в городе, куда уедет на несколько часов. Перед вечером, когда люди уже пообедали, а ужинать еще было рано и в ресторане находилось всего два-три человека, она вернулась и позвала Эрику к себе.

Оказывается, она ездила к ее родителям, вручила им необходимую для операции сумму, объяснив, что деньги прислала хозяйка отеля в благодарность за беспримерную старательность их дочери. Родители -плакали от радости, просили благодарить хозяйку, с гордостью говорили о своей дорогой девочке, их единственной надежде, опоре и радости. Их счастье всегда было только в ней.

- А теперь ты можешь поехать и убить их, - закончила Сильвия. - На операцию отец ложится завтра.

Сегодня еще не поздно отобрать у него деньги.

Только от первой фразы Эрика вздрогнула, и лицо стало белым. Руки повисли, голова поникла, и она прислонилась к стене. Сильвия сама сняла с нее свеженакрахмаленный фартучек, сама поправила ее прическу.

- Это "Шанель", моя девочка, - ласково говорила она, извлекая из шкафа флакончик. - Сейчас я тебя надушу. Лучшие духи Франции. Теперь и у тебя будет "Шанель".

Осматривая Эрику со всех сторон, отряхивая юбчонку и получше заправляя блузку, ворковала:

- Ты умница, моя хорошая, ты благородный и честный человек, ты спасла от смерти отца, моя красивая. Он скоро поправится, начнет работать, и всем будет хорошо... Ну вот, теперь пойдем. - Она поцеловала Эрику и сама повела ее.

Возможно, Эрика ничего не слышала. Она молчала, пока Сильвия приводила ее в порядок, молча шла из флигеля через двор, молча поднималась по лестнице.

- Вот и пришли, - замедлила шаг Сильвия, легонько подталкивая ее к двери.

При этих словах голова Эрики дернулась назад, будто кольнули в спину, глаза, полные ненависти, уставились на

Сильвию. Но это уже было как предсмертная судорога. Она тут же обмякла, беспомощно повисла голова.

- Что ты, детка моя? - испуганно протянула к ней руки Сильвия.

Эрика резко отстранила ее. Выпрямилась, шумно выдохнула и без стука толкнула дверь в номер.

Сильвия постояла несколько секунд, поправила прическу, едва заметная улыбка скользнула по лицу.

Уверенным шагом, не обернувшись, направилась вниз.

О случившемся Брегберг узнал на следующий день.

Узнал от фрау Шредер, которая видела, как Сильвия отвела Эрику в номер. От других узнал, какой ласковой была с Эрикой в последние дни, и все понял. Понял, что дорого продала ее.

Поздно вечером, когда дом утих и Сильвия пошла к себе во флигель, Брегберг последовал за ней. Она обрадовалась.

- Вот видишь, - сказала она торжествующе, - ты заглядываешься на Эрику, веришь, когда эта паскуда стеснительно опускает глаза, а она не зевает. Уже обработала этого из Швейцарии, у него ночует.

Брегберг наотмашь ударил ее по лицу. Это не был удар, вызванный порывом. Это было его решение. Он бил Сильвию, а она боялась кричать. Боялась, если закричит, будет бить сильнее.

Потом сказал:

- Я не стану отнимать у тебя деньги, которые ты заработала на этом деле. Я даже рад твоей находчивости. А проучил тебя за то, что изменила своему слову быть мне преданной. Обязана была, прежде чем отправлять ее в номер, привести ко мне.

Расчеты Сильвии не оправдались. Она думала, что после происшедшего Брегберг потеряет к Эрике всякий интерес. А он, взяв ее с собой, укатил куда-то на три дня. Велел Сильвии срочно взять на работу другую официантку и к его возвращению подобрать поблизости жилье для Эрики...

Мы подходили к отелю фрау Хильды Марии Шредер. Борб умолк. И уже у ворот парка сказал:

- Теперь Сильвия будет бесплатно давать Эрике ключ от комнаты во флигеле. А фрау Шредер найдет возможность посочувствовать Сильвии, брошенной Брегбергом. Если же однорукому удастся разделаться с ним, фрау Шредер выгонит Сильвию и не даст ей рекомендации. Тогда на работу устроиться она не сможет.

Я не знал, что сказать Борбу. Но тут блеснули фары завернувшей в парк машины. В ней были мои советские друзья Саша и Боря. Они приехали проводить меня.

В номер я не поднялся. Борб вынес мои вещи, и мы грустно

распрощались.

За рулем сидел Боря. Как-то, отправляясь в Ганновер, он брал меня с собой. Ездит он быстро. Но сейчас я попросил его, если можно, ехать побыстрее.

- Что это ты? - удивился Саша. - У нас уйма времени.

Я сказал:

- Посидим полчасика где-нибудь в Кельне.

Мелем... Бад-Годесберг... Бонн... Мелькали, чередуясь, яркие огни и темные, будто вымершие кварталы, с задраенными, зашторенными окнами. Через сорок минут мы въехали в Кельн. Билась в судорогах огненная реклама на стенах, крышах, вышках. Как из бездонной бутылки, лилось и лилось шампанское в огромный бокал и выплескивалось, пенясь неоновыми искрами. На многоэтажном доме в диком танце дергалась световая фигура женщины, обещая все наслаждения мира. Шикарные сверкающие витрины магазинов кричали о всеобщем благоденствии. Откуда-то ворвался и нарастал, как у падающей бомбы, вой сирены. Пронеслась машина с мигающими огнями на крыше, а за нею цистерна с полицейскими на бортах, держащими наготове брандспойты. Неторопливо и деловито рылся в мусорном ящике человек в черной шляпе. Рядом, присев на задние лапы и задрав голову, терпеливо смотрела на него собака. Ощупывая палкой землю, пересекал улицу слепой.

А над городом, упираясь в небо, величественно и непоколебимо высились исполинские громады Кельнского собора, словно утверждая вечность и незыблемость этого мира.

Будь проклят этот мир!

* * *

Так закончилась моя первая поездка в Западную Германию. Недавно я снова побывал там. После всего, что узнал, останавливаться в отеле фрау Хильды Марии Шредер не мог. Но очень хотелось повидать Борба.

И вот хорошо знакомый мне парк, и дом с мансардой, и флигель, затянутый зеленью, с опущенными шторами. Все было, как и прежде. Только не было Борба. Вместо него к машинам бросался какой-то здоровенный парень.

- Не знаю, - грубо ответил он на мой вопрос о Борбе. - Интересно, зачем вам понадобился этот тип?

Что стало с Эрикой, с остальными обитателями отеля? Так ничего не узнав, я вернулся в Москву.

В Союзе писателей меня ждало письмо. Это было радостное, восторженное письмо от Борба. Ему наконец удалось осуществить свой давний план - уйти в ГДР. Как и надеялся, получил работу по специальности. "Что касается вашей просьбы, - пишет он, - то

теперь возражений у меня нет. Надеюсь, вы не обижаетесь, что не сказал вам тогда о своих планах. Я человек суеверный и всего боялся".

Он разрешил мне опубликовать все, что найду нужным, но все-таки просил фамилии изменить. И еще одно условие поставил: не сообщать, откуда ему стали известны некоторые факты.

Я точно выполнил все пожелания Борба.

1970 год

МНЕ Б ТОЛЬКО

РЕЧКУ ПЕРЕПЛЫТЬ

Поездка в Бонн началась для меня неприятностью.

Двухместное купе в вагоне "Москва - Париж", где мне надлежало ехать, было превращено в багажное.

Три кофра, швейная машина, чемоданы, баулы, тюки занимали все купе, высились до уровня верхней полки.

Свободным оставался уголок у оконного столика, куда и втиснулась неопределенного возраста женщина с маленьким лицом, похожая на мышь. Остренький подбородочек, острые ушки, острый нос и очень мало жиденьких волос, как хвостик.

Владелица багажа повернула голову, хвостик шевельнулся и скрылся, и я увидел еще остренькие глазки.

Лицо ее было выразительно. Оно выражало готовность дать отпор. Она не испытывала неловкости, а значит, винить ее не имело смысла. Надо было искать пути к мирному сосуществованию, ибо ехать в этом купе предстояло тридцать шесть часов, а места не было, хотя, согласно купленному билету, нижняя полка принадлежала мне. Я робко, может быть, даже несколько заискивающе, поздоровался.

Это был мой просчет. Увидев, что противник сдался без боя, она ответила не сразу, возможно, прикидывая, нет ли здесь подвоха, или соображая, как вести себя дальше. Ее ответ звучал не "драсте", хотя именно это слово она произнесла, а нечто вроде снисходительного; "То-то же, смотри у меня!"

Поскольку и это я снес, она потеряла ко мне интерес и отвернулась к окну.

Я пошел к проводнику просить место в другом купе.

Вежливый, предупредительный, он с досадой развел руками:

- Я уж и связываться с ней не хочу. В прошлом году ездила вот так же, а теперь опять... Во время войны вышла замуж в лагерях за полицая, а потом обосновались в Бельгии. Он боится сюда нос показать, а она ездит к своим и его родственникам, скарб перетаскивает, чтоб ничего не осталось... Подождите немного, пересажу вас, одно местечко есть.

В соседнем купе ехала Оля, девушка лет девятнадцати, монтер с какого-то завода. Она волновалась и нервничала, убедительно доказывая, как спокойно себя чувствует, ибо волноваться ей абсолютно не из-за чего и о нем она даже думать не хочет. Правда, парень он положительный, ударник коммунистического труда, но гордый. Перед самым призывом в армию они и поссорились из-за его гордости. Так и уехал, не попрощавшись. А потом прислал ребятам письмо. Оказывается, где-то в пригороде Берлина служит. Вместе с Лёней с их же завода. Написал - через полгода в отпуск приедет, хочет проверить, как там без него живут.

Она и не думала ему писать. Раз он свой характер выказывает, и она не будет унижаться. Послала письмо Лёне. Просто так, без значения. Интересно же знать, как живут за границей. Вот и просила сообщить ей об этом. О себе для приличия написала. Много работает, а вечерами учится, даже в кино некогда ходить. А если и ходит, то только с девочками.

Это Лёне написала. О нем и не спросила. Чего это ради она должна унижаться первой. Лёня ответил, и про него написал, его все уважают, и он - отличник боевой и политической подготовки... Это и так ясно, он и на заводе таким был. Но надо же, привета и то не передал. И армия его от гордости не перевоспитала.

Ей было интересно, как там живут в Германии, и она стала собирать деньги на туристскую путевку. А то все ездят, а она еще ни разу нигде не была. Путевку дали со скидкой, но все равно деньги большие, и на них можно было много всего купить... Зато с Берлином ознакомится, где водружали Знамя Победы над рейхстагом, все достопримечательные места, музеи или что там у них еще есть посмотрит. Пригороды, наверное, красивые...

Брестский вокзал с обеих сторон обтекают пути. По одну сторону от него расстояние между рельсами, как к по всей нашей стране- 1524 миллиметра, а по другую- 1440. Здесь нам стоять около двух часов. Поезд загонят в парк, поднимут вагоны домкратами и заменят тележки. Потом состав подадут на другую сторону вокзала. Следующая остановка уже на чужой земле.

Пока готовился поезд, мы ездили смотреть Брестскую крепость. Когда вернулись, увидели на перроне мою бывшую соседку по купе со всеми ее вещами.

Рядом стоял человек в форме таможенника. Проводник радостно говорил:

- Вот стерва, барахло свое для видимости возила, золото у нее нашли. В тряпках оказалось...

- А у меня ничего не проверяли, - с сожалением сказала Оля.

- Да ни у кого не проверяли, - заметил стоявший рядом. - Они знают, где искать.

- И что же теперь с ней будет?

- А ничего не будет, - улыбнулся проводник. - Золото отберут, и пусть везет свое барахло в свою Бельгию...

Перед Берлином я подошел к Оле, стоявшей в коридоре у окна.

- Написала Лёне, что приеду с этим поездом, и вагон указала... А может, вообще не встретят... Ну и не надо. Не к ним же я в гости еду... Если не встретят, разве найдешь. Только номер воинской части...

Губы ее подрагивали, вот-вот расплачется. Задолго до остановки взяла свой чемоданчик и пошла в тамбур.

Поезд еще двигался вдоль перрона, когда я увидел солдата. Он бежал, улыбаясь и махая рукой Оле.

Мне очень хотелось узнать, "он" это или Лёня. Когда удалось выбраться из вагона, на перроне их уже не было.

После Берлина вагон опустел. Кроме меня, осталась лишь грустная и странная пожилая чета из Франции.

Я обратил на них внимание еще в Москве. Они ждали какого-то Диму, высматривая его сквозь окно на перроне, то и дело поглядывая на дверь тамбура.

Она называла его Данилой, а он ни разу не произнес ее имени. Маленькая, сухонькая, послушная, она заглядывала ему в глаза и все спрашивала:

- Ну, где же он, Данила?

Старик не отвечал жене, переступал с ноги на ногу и тихо не то напевал, не то бормотал:

Мне б только речку переплыть, А там я знал бы, как мне жить .,

Поезд тронулся. Старушка тихо заплакала.

- Опоздал Дима, - всхлипывала она.

- Замолчи! - крикнул Данила. - Не опоздал он, провожать нас постеснялся.

Часами они стояли в коридоре и смотрели в окно. Он объяснял ей:

- Депо. Видишь? Электродепо... Стадо пасется. Видишь? Картошка. Всю жизнь путевые обходчики картошку сажают возле своих хат.

Старушка молча кивала.

- Лес. Совсем как наш, видишь?

- Так это же и есть наш, видишь?

- Дура ты, - грустно и беззлобно заключил он. - И там не наш, и это не наш...

И опять она тихо плакала, а он упрямо напевал:

Мне б только речку переплыть, А там я знал бы, как мне жить.., Казалось, вот на глазах разыгрывается какая-то трагедия. Хотелось поговорить с ними, но все не получалось. Правда, в Бресте мы вместе ездили смотреть крепость, но вопросы задавали они, а о себе так ничего и не рассказали.

После Берлина, когда наш вагон опустел, Данила пригласил меня в купе.

- Вот, - показал он на фигурную бутылку. - Для проводов сохранил, думал, Дмитрий, племянник мой, подойдет. А он вот... - и Данила развел руками. - Может, не побрезгуете...

Не много рассказал о себе Данила и за стаканом вина. Был он когда-то помощником мастера подсобного цеха Луганского трубного завода и вел практику слесарного дела в заводском училище. А потом война забросила на чужбину. Долго скитались по странам, пока не осели под Парижем, основав собственное дело.

Так и живут.

Поезд приближался к Кельну, где мне предстояло сходить, и я начал прощаться.

Данила сказал:

- Будете в наших краях, заходите. Это всего двадцать километров от Парижа.

Может, просто из вежливости приглашал, может, не думал, что даже, попади я во Францию, стану искать их в каком-то маленьком поселке, но слова его показались искренними. И старушка - звали ее Евдокия Ильинична подтвердила:

- Приезжайте, приезжайте...

В Кельне поезд стоит несколько минут. Когда я вышел на перрон, заметил, что оба они, прижись к окну, грустно смотрят в мою сторону. Было неловко просто уйти, и я подошел поближе. Улыбаясь, они приветственно подняли руки. Когда поезд тронулся, старик исчез, но тут же появился в дверях тамбура. Глядя через плечо проводника, он махал мне рукой.

Было обидно, что так и не узнал судьбу людей, для которых лес "и там не наш, и это не наш", которым бы "только речку переплыть", чтобы начать иную жизнь.

Вскоре, однако, мне довелось побывать в Париже, и я решил навестить их: дело в том, что Данила мой земляк. Они обрадовались. Данила обхватил меня своими большими руками и не выпускал, то тиская, то прихлопывая по плечу, а Евдокия Ильинична топталась вокруг нас, без конца повторяя:

- Бог ты мой, бог ты мой...

Квартира у них отдельная. Кухня метров семи и комната чуть

поменьше, но в ней вполне уместилась широкая кровать. Данила показал и источник своих доходов - собственное дело. Оно помещается в том же двухэтажном доме, где они живут, - под лестницей, рядом с входом в их квартиру. Это - слесарное производство. Если испортится у кого замок, несут к нему.

Надо ключ сделать или ручку у чемодана укрепить, тоже к нему идут. Расценок на свои работы Данила не устанавливает - дают, кто сколько может.

Зарабатывает он хорошо. Если бы не квартира, на которую уходит почти половина доходов, мог бы уже прилично накопить. Но все равно хватает на то, чтобы оплатить эту квартиру, страховку, налоги за производство и все другие виды налогов, и остается еще на жизнь. Правда, на питание уходит мало, да много ли надо двум старикам.

За аренду производственного помещения домовладелец ничего с них не берет. Вместо этого Данила выполняет кое-что по мелочам для дома. Следит, чтобы в квартирах исправно работали приборы отопления и водопроводная сеть. Ремонтирует краны, если они портятся, прочищает трубы, когда засорятся, выполняет другую работу.

Данила добросовестно нес свои обязанности, и хозяин это видел. Видел, что прогадал. Так он и сказал Даниле: работа по дому в среднем не отнимает и двухтрех часов в день и не возмещает стоимости выгодного места под лестницей. Но Данила человек хороший, и можно пойти ему навстречу. Просто пусть Евдокия, которой все равно нечего делать, один раз в день подметает и всего раз в неделю моет коридоры и лестницу, да время от времени убирает во дворе. Жильцы аккуратные, мусора немного, какая уж там уборка.

Домовладелец, конечно, прав. То, что дверь в их квартиру рядом с лестницей, очень удобно. Если случится заказчик во время завтрака, обеда или ужина, можно оставить еду, поесть всегда успеется, зато люди знают: к Даниле можно идти в любое время. Не будь этого преимущества, вряд ли имел бы он клиентуру, потому что охотнее идут к толстяку Планшоне, у которого есть и токарный, и сверлильный станки.

Данила не любит Планшоне, хотя тот ничего плохого ему не сделал. Напротив, завидев Данилу где-нибудь на улице в воскресный день, всегда первым любезно поздоровается и пригласит в гости. "Заходи на стаканчик вина, Данила, - весело подмигивая, скажет он. - Заходи, не стесняйся, я угощу. Сегодня большой и выгодный заказ получил", - и обязательно рассмеется.

И что тут смешного, непонятно. Просто дурачок какой-то. И врет он, дела у него идут плохо.

Данила не любит Планшоне и его глупый смех. Даниле хочется вот так же непринужденно ответить толстяку и в пику ему тоже рассмеяться. Сказать, что у него и самого дела идут хорошо, и сам он приглашает на стаканчик вина. Он каждый раз думает вот так сказать и еще громче, чем толстяк, рассмеяться, но ничего из этого не получается. Он лишь буркнет что-то в ответ и заспешит, чтобы не послать ко всем чертям пузатого, потому что повода для этого нет, а вежливые, но колкие слова не приходят в голову.

Двадцать лет сидит он под деревянной лестницей.

Он привык к электрическому свету в дневное время, его не раздражают скрипучие шаги над головой. Он слушает их и разговаривает сам с собой: "Ишь, как рано прискакал Поль, должно быть, с уроков сбежал...

А старик Морме опять клюкнул. Сейчас ему достанется... Э-э, да никак Шарлотта нового гостя ведет. Этих шагов ни разу здесь не было. Вон как тяжело ступает, не молод уже, а тоже вот..."

Данила привык к этой жизни и не ропщет. Он ни к кому не ходит Б гости, и никто не посещает его. Есть в поселке еще несколько эмигрантов, по они не встречаются, ненавидят друг друга, может быть, потому, что идет между ними глухая, скрытая борьба за место в жизни в этом чуждом для них мире, где все они словно из одной партии уцененных товаров. И паспорта у них уцененные. Это только "вид на жительство", который не дает и тех прав, что имеет любой бродяга французского происхождения. И на вопрос о подданстве, гражданстве они отвечают "без подданства, без гражданства". Они не граждане.

Когда дом затихает и запирается парадная дверь, ведущая к лестнице, Данила складывает инструмент, снимает фартук и идет домой. Наступают самые мучительные минуты. Именно в эти минуты одолевает его непостижимо щемящее чувство. Собственно, чувство это никогда не покидает его, но днем оно ослабевает, затушевывается. Оно остается и живет в нем, будто затянутое пленкой. А вот к ночи душа начинает болеть, как оголенная рана.

Он гнал от себя видение белой хатки на Донце, где родился и вырос, откуда ушел на трубный завод. Он видел ее по ночам в парижском предместье с удивительной ясностью, вплоть до трещин на стенах их глиняного коровника.

Он лежал с открытыми глазами в абсолютной темноте, а перед ним стояла его конторка в цеху, и весь цех, и ребята, которых он учил слесарному делу. Это были не воспоминания, не застывшие видения, не пейзажи или фотографии. Это была жизнь.

А в центре ее постоянно находился он сам. То мирно

разговаривал, то спорил, то смеялся, и он помнил, о чем разговаривал, по какому поводу спорил, чему смеялся.

Это было сладостно и до стона мучительно. Если засыпал в середине разговора, он продолжал беседу во сне именно с того места, на котором она была прервана. И когда открывал глаза, заканчивал разговор с той полуфразы, на которой проснулся. Поэтому он не знал, когда заснул, когда проснулся и спал ли вообще. Скорее всего то забывался, то схватывался, но не улавливал границ между забытьем и бодрствованием.

Данила ненавидел ночь и ту минуту, когда Евдокия шла готовить постель. Он ненавидел и самое постель, где провел столько бессонньтх ночей.

Однажды он лежал, стараясь не шевелиться, и, щадя жену, делал вид, будто спит. Пусть хоть она отдохнет. Ей тяжелее. Она испытывает то же, что и он, и еще дополнительно его капризы, его плохое настроение, которое он вымещает на ней, потому что больше не на ком.

Когда стало ясно, что удалось обмануть Евдокию и уже можно было не подавлять вздоха, рвавшегося из груди, он услышал ее тихий голос:

- Попробуй все-таки заснуть, Данила.

Тогда он закричал на нее, что вечно она не дает ему покоя, и будит среди ночи, и что это, в конце концов, невыносимо.

Он резко поднялся, надел штаны и ушел в свою мастерскую. Здесь стояла детская коляска, сданная ему в ремонт. Он хотел работать. У него были для этого силы, ему требовалось применить их, дать выход тому, что скопилось в голове. Взяться за коляску он не рискнул:

неизбежно потревожит соседей.

Он сидел, уже ни о чем не думая, и ему было жаль Евдокию. Она безответная. Она ничего ему не скажет, не возмутится, не упрекнет. Она просто ни за что не заснет, пока он не вернется. Он упрямо сидел и терзался из-за нее и не мог подняться с места.

Они прожили долгую жизнь и все, что надо было сказать друг другу, давно сказали, и теперь им не о чем разговаривать. Она знала его привычки, знала, что готовить ему на обед, и он не мог даже попросить горчицу или перец, потому что всегда все стояло на месте.

Они молча обедали, и он молча уходил под лестницу.

Никогда не думали они, что могут остаться на чужбине. Это была дикая и нелепая мысль, поэтому и не могла она появиться у них. Они твердо знали: как только кончится война, тут же уедут. Только бы дотянуть до конца войны. Вот тогда он и услышал где-то эти слова, накрепко засевшие в голове: "Мне б только речку

переплыть..." Только бы дотянуть.

А когда война кончилась, пошла эта умно организованная подлая ложь: всех, кто был в плену или по другим причинам оказавшихся здесь, расстреливают на границе. Люди стали задерживаться с отъездом. Они тоже решили пока остаться, пусть пройдет немного времени, пусть успокоится обстановка.

И опять ждали какого-то рубежа, каких-то новостей, потому что не может же быть, чтобы все осталось так, как есть. Должно же что-то произойти, после чего_ они смогут спокойно поехать домой. Они ждали этого мифического часа, глубоко веря в него, а годы шли. Постепенно вера угасала, все меньше оставалось надежд на чудо, надо было действовать самостоятельно. Как действовать, они не знали. Многие уже уехали, а они все ждали.

...Данила долго сидел среди ночи под лестницей, тупо уставившись на коляску, пока в хаосе туманных мыслей не проплыла одна, за которую он ухватился, отгоняя все остальные, боясь, чтобы не вылетела она вот так же внезапно, как и появилась. И когда мысль эта окрепла в нем и превратилась в твердое решение, он медленно поднялся, медленно пошел в комнату, зажег свет и торжествующе сказал:

- Ты не спишь, Дуся?

- Это ты мне говоришь, Данила? - испуганно подняла она голову. Она давно забыла это имя. Веселый Даня называл ее так только до войны. Она уже не помнит, когда это было. Счет времени у нее начался с той минуты, когда стало ясно, что эвакуироваться не успеют, и он сказал: "Плохи наши дела, Евдокия". Так назвал он ее тогда впервые. Но это показалось естественным, такая была обстановка.

Уже много лет он никак не называл ее. Нет необходимости. Если обращается к ней, то просто: "Сходила бы в магазин наждачной бумаги купить". Или: "Посмотри, не оставил ли я на столе очки?" В тех редчайших случаях, когда называл ее по имени, то только Евдокией.

И вдруг - Дуся. Она испугалась больше, чем два часа назад, когда он так неожиданно и несправедливо нанес ей оскорбление. Быстро привстала и потянулась за платьем.

- Нет-нет, ты лежи, послушай, что я скажу.

Он сел возле нее на постели. Она подвинулась, и он, наклонившись, заговорил шепотом:

- Мы уедем отсюда, Дуся. Что нам здесь делать?

Это уже решено твердо. Напишу Клаве, все-таки жена моего родного брата. Ну, когда-то не ответила, может, и не дошло письмо, а сейчас ответит. Поедем к ней, все разузнаем, а потом вернемся за вещами. Или продадим к черту. Там купим новое.

Пойду на свой завод, не может быть, чтобы знакомых не осталось. А может, списки сохранились, я ведь стахановцем был, помнишь? Может, и приказ уцелел - как передовика производства меня тогда в помощники мастера выдвинули, помнишь?

Голова у Евдокии затуманилась. Надо бы ответить Даниле, что-нибудь сказать, но она боялась сказать невпопад, боялась прикоснуться к этой картине, возрожденной им, потому что за его словами увидела всю их прошлую жизнь в целом, и по частям, и по кусочкам, вроде того дня, когда пришли вместе с Данилой заводские друзья, чтобы отметить его выдвижение.

Именно в тот день принес он столь странный и неожиданный подарок. Это была шелковая ночная рубашка голубого цвета, с кружевами, которая и не очень-то ей была нужна, и размер не подходил, и она никак не могла сообразить, почему вдруг он это купил.

Данила стеснялся своего подарка и избегал ее взгляда. А она все спрашивала, и он рассердился и сказал, пусть не пристает, если не понимает, что в доме праздник.

Уже и до этого она стала догадываться, но еще не верилось и хотелось, чтобы он вслух сказал словами, что это подарок ей, Дусе, в честь его выдвижения, ибо и она причастна к его труду, и он знает это, благодарит и ценит ее. И хотя его отвлекали друзья и ничего больше он не сказал, она теперь уже твердо знала, почему он это принес, и убежала в другую комнату, прижала рубашку к лицу, чтобы никто не увидел слез.

Она все вспомнила. Ей хотелось, чтобы Данила говорил еще, а он неожиданно умолк. Тогда она сама сказала:

- А помнишь, как ты на общем заводском собрании выступал? Человек пятьсот, наверное, слушали. И все поздравляли. Конечно, тебя помнят... ей хотелось добавить - Даня. Тебя помнят, Даня, - но она разучилась говорить это слово, оно прозвучало бы, как чужое, и не хватило смелости произнести его...

Рано утром Данила сел за письмо Клаве. Коляска, сданная в срочный ремонт, подождет. Он сейчас занят.

Да и вообще мастерская у него еще закрыта. А то привыкли ночь-полночь, когда хотят, тогда и ходят. Подумаешь, французы! Плевать на них! Пусть лучше вспомнят, как гнала их русская армия. Хватит, поунижались! Он занят важным делом, и пусть не беспокоят.

А не нравится, пусть отправляются к своему Планшоне...

Вскоре пришла настоящая большая радость:

почтальон принес письмо из Москвы. Сын Клавы, их родной племянник Дима, о существовании которого они не знали, сообщал, что их письмо пришло как раз, когда он приезжал в

Луганск навестить мать, а сам он работает и учится в Москве, и, если они хотят приехать, пусть приезжают. И мать просила написать, что будет рада их приезду.

Разрешение дали неожиданно быстро. Разрешение ехать на родину, о чем сказали ему в советском консульстве на бульваре Мальзерб в Париже, и это само по себе было ошеломляющей радостью.

Им хотелось повезти Диме хорошие подарки, может быть костюм, им не жалко для этого денег. Беда только, размеров не знают. Ну, ничего, дорогие подарки привезут во вторую поездку, а пока купили кое-что оригинальное, чего в России, конечно, нет.

...Уже была ночь, уже ушла спать Евдокия Ильинична, а чуть захмелевший Данила неторопливо вел рассказ о трагедии своей жизни.

Я слушал Данилу и невольно вспоминал Николая Лаврова. Это инженер-конструктор, с которым я познакомился в Версале. Потом мы несколько раз встречались. Особенно запомнилась мне одна встреча на озере, куда мы отправились в воскресенье. Он принес обещанную книгу Д. Мейснера "Миражи и действительность".

- Вот, - сказал он, - прочтите. Ее автор - известный в прошлом политический деятель, чуть ли не правая рука Милюкова. Я жил так же, как описана здесь жизнь большинства эмигрантов. Как и у них, из десятилетия в десятилетие, из года в год распадалась, крошилась, выветривалась моя идеология, идеология человека, не принявшего революции. Но чтобы судить о моей жизни, надо иметь в виду одно отнюдь не маловажное обстоятельство. Я инженер-конструктор высокой квалификации. Такого положения добились не многие эмигранты.

Между Лавровым и Данилой - пропасть. Но в одном вопросе они абсолютно едины.

Ностальгия! Я много слышал об этой болезни. От нее не умирают. Еще ни один врач не констатировал смерть от ностальгии. Но она давит человека, душит его, доводит от отчаяния до безумия.

- Вам этого не понять, - говорил мне Данила. Но именно такие слова произнес и Лавров.

- Почему не понять? Мне приходилось бывать на чужбине по нескольку месяцев. Однажды больше трех лет.

- Это совсем не то, - с досадой махнул рукой Лавров. - У вас оставалось главное: сознание, что пройдет какое-то время, и вы обязательно вернетесь. Вернетесь в свой дом, к своим друзьям и родным, в свой лес, к своей реке. Нет-нет, это совсем не то. Это тоска по родине, которую потерял навсегда. А оставаться на

чужбине не хватает сил. Все кажется постылым, отвратительным, непереносимым: и язык, и дома, и запахи.

Да-да, что вы так смотрите! Разве вы не знаете, что каждая страна имеет свои запахи? Разве можно сравнить аромат украинской деревни с французской? Да что деревня? Куда ни пойдешь - все чужое. Нравы, обычаи, весь уклад жизни, чуждый и нелепый, к которому не привыкнуть, и тебя, как замурованного в бетон, окружает мертвая тишина в этом крикливом, гудящем, многолюдном мире, и одиночество охватывает так, что хочется выть...

Я одинок и беззащитен. Вся система построена так, чтобы человек не переставал чувствовать себя зависимым, униженным, беспомощным. В бюро, где я работаю, ни один инженер не знает, сколько зарабатывает такой же, как он, сидящий рядом и выполняющий такую же, как он, работу. Заработок держится в страшной тайне. Управляющий или владелец предприятия дает вам грошовую надбавку, прикладывая к губам палец: "Смотри, не проговорись, один ты это получил".

И молчит человек. И лезет из кожи, изворачивается, только бы шеф был доволен. Эта система изолирует человека от товарищей, воспитывает в нем эгоизм, чувство зависти.

Такая система - повсюду. Попробуйте спросить француза, сколько он зарабатывает? Никто не ответит.

Это хитрая и безжалостная система. Обратили ли вы внимание, ну хотя бы в вашей гостинице, как все вежливы, предупредительны, как вам улыбаются, как подхватывают ваши чемоданы?

Вы думаете, это воспитание? Вы думаете, это вежливые, радостные люди? Нет! Это страх. Страх за место.

Улыбка - фактор экономический. Пусть попробует не улыбаться портье, пусть попробует отвернуться, если плюет ему в лицо богатый заморский турист.

Мне рассказывали, - продолжал он, - что у вас бывают конфликты между служащими гостиницы, даже если это уборщица, и постояльцами, словно у них одинаковые права. И будто администрация даже разбирается, кто из них виноват. У нас такой конфликт просто немыслим. Можно сколько угодно хамить, никакому портье в голову не придет жаловаться или хоть как-то проявить обиду. Его просто выгонят, и нигде уже не найдет работы человек, изгнанный за "недостаточную учтивость". Он снесет любое оскорбление и будет прятать слезы улыбаясь.

Да что говорить о портье, - с какой-то безнадежностью покачал головой Лавров. - Вот я совсем не рядовой инженер, а мне тоже плюют в лицо. И стыдно, и унизительно, а я молчу,

улыбаюсь. Несколько дней назад мой шеф, желая похвалить меня в присутствии нескольких человек, сказал: "Да какой он русский, он настоящий француз".

Я молча снес оскорбление. Это ведь сам шеф. Скажи я хоть слово, и это был бы последний день моей работы на фирме. Я вынужден вести себя так, чтобы как можно меньше проявлялось мое русское происхождение.

Вот так-то, - грустно улыбнулся Лавров. - Но, знаете, даже не в том, по сути унизительнейшем факте, главное. В прошлом году я изобрел особую печь. Извините за нескромность, это было великолепное инженерное решение трудной проблемы. Когда только появилась идея, я сам не мог поверить в поразительную простоту, с какой можно вести сложнейшие процессы.

Я не спал ночи, еще и еще проверяя теоретические обоснования моей смелой мысли. Эта идея поглотила меня. Я жил только ею. Хорошо понимая, какой экономический эффект даст моя печь, я даже не подсчитал его. Меня увлекла только инженерная сторона дела.

Поверьте, это было удивительно оригинальное решение.

Моя печь дала шефу сотни тысяч франков; мне же он пожаловал месячное содержание. И опять приложил палец к губам. И я молчу. Моего имени нет на моем изобретении. Печь фирмы. Штамп фирмы. Фирма - это шеф. Если я скажу, что это мое изобретение, меня высмеют.

Кому мы отдаем свое творчество, свои бессонные ночи? - говорил Лавров, словно жалуясь мне. - Созданное нами, конструкторами, идет шефу. Ему одному. Ему не интересно оригинальное решение, безразличен полет конструкторской мысли. Бизнес! Только бизнес. Вот в чем разница между трудом инженера у нас и у вас.

- Так почему же вы не возвращаетесь на родину? - вырвалось у меня.

- О, это большой и сложный вопрос. Но я вам отвечу. Я приехал сюда юношей в годы революции. Трудно и очень долго объяснять, как получилось, что прожил здесь всю жизнь. Скажу лишь, немалую роль сыграли и дезинформация, и тонкая антисоветская пропаганда, да и собственная инерция как-то уже устроенного человека. Прошу поверить лишь одному: меня всегда радовали ваши успехи и огорчали неудачи.

Последний удар моим прежним сомнениям нанесла великая победа советского народа в войне.

Я понимаю: как специалист нашел бы себе применение на родине. Думаю, что и родина простила бы мне юношеские ошибки. Да и немного их было. Казалось бы, все хорошо. Но вот

теперь посмотрите на меня со стороны.

В годы разрухи я покинул родину. Выжидал, когда она начала выкарабкиваться из тягчайших болезней.

Выжидал, когда встала и, на мой взгляд, на нетвердых еще ногах шагнула. Смотрел на нее со стороны, когда пошла вперед. Не взял винтовки, когда она обливалась кровью, хотя сердце мое, поверьте, было в крови от ее ран.

После победы думал, что вот теперь как раз могу пригодиться. Да не было уверенности, что в тот момент примет меня родина. С какими же глазами возвращаться сейчас, когда поднялась она на такую высоту?

Нет уж, видно, судьба такая, до конца дней работать на французскую фирму, отдавать ей себя, терпеть похвалу, что похож я на француза. Не прошли мы всех мук с родиной, и нет у нас прав делить с ней счастье.

Только и радости, что пойдешь на Сен Женевьев де Буа. Там - все русское. И тянет на это кладбище, хоть нет там родных или близких.

Лавров разволновался и умолк. Молчал и я. Я не знал, что ему сказать. Так и ходили мы молча по берегу озера, от его машины до забора частной купальни и обратно.

Успокоившись, он снова заговорил:

- В таком положении находятся и те, кого забросила сюда война... Я, конечно, исключаю, - остановился он, - горстку ничтожеств, сделавших своей профессией предательство. Кстати, к этой же категории я отношу и тех, кто уже после войны эмигрировал. О каждом из них широко оповещает и долго трубит враждебная вам печать. Так вот эти, прожившие всю жизнь в советских условиях, не могут выдержать условия Запада.

Вспомните, пожалуйста, сколько они здесь выдержали? Год, два? спрашивал он так, будто я виноват в том, что больше они не выдержали. Явились в советские посольства и взмолились: "Готовы нести любое наказание, только верните на родину".

- А остальные? Остальным здесь хорошо? - спросил я.

- Очень хорошо, - рассмеялся Лавров. - Вот, например, грузин, забыл его фамилию, говорят, крупный инженер был, но обиделся, что в доктора наук не вышел, и сбежал сюда. Как сейчас помню эпизод, описанный в газете. Это было в шестьдесят седьмом году во время четвертьфинала теннисных игр на Кубок Девиса в Дюссельдорфе. Когда советский теннисист Александр Метревели пришел после трудной игры в раздевалку, к нему бросился этот плачущий грузин. Он снимал ладонями пот с рук и ног Метревели и со словами: "Родина, родина" - размазывал по своему лицу.

Это видела вся раздевалка, и кто-то сказал:

"Что же вы не возвращаетесь на родину? Проситесь, авось пустят".

"Как возвращаться! - закричал грузин. - Они меня зарежут".

"Кто зарежет, что вы чепуху несете!"

"Как - кто! - возмутился он. - Соседи зарежут, товарищи зарежут, лучший друг зарежет! Они не послушают милицию".

Вот! - торжествующе закончил Лавров. - Этот, хотя и рвет на себе волосы, а возвращаться боится.

Бывших товарищей боится.

И еще несколько человек болтается здесь...

А вообще, я вам скажу: их презирают здесь так же, как и у вас. Да и забыли о них. Просто к слову пришлось. Что они для страны? А вот сами мучаются. Обязательно мучаются. Понимаете, живое существо не может без родины. Птицы гибнут тысячами, а летят на родину, в то единственное место, где только и может зародиться жизнь. Даже такой талант, как Бунин, не мог взлететь на чужой земле.

А Шаляпин? Вот, кстати, дайте Мейснера. Прочтите. - Он полистал книгу и, показав мне нужное место, прочитал сам: - "Все люди, сколько-нибудь знавшие Шаляпина... видели, как тоска по родине точит изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год его сердце. Никакой дождь долларов, сыпавшихся на него во всех странах мира, и никакие овации, охватывавшие залы всех стран мира, в которые входил этот артист, не меняли смысла этой трагедии".

Ша-ля-пин! - поднял он вверх палец. - Гений.

А малявки, - сморщился Лавров, - приползшие сюда сегодня?

Вы знаете, этих я вообще... - пожал плечами, видимо, не найдя нужного слова. - Ну, первая эмиграция.

Вполне понятно. Ведь совсем новая эпоха, грандиозная ломка, отдавшаяся эхом во всем мире. Людей этой эмиграции я не считаю предателями. Они защищали свой класс и его интересы. Это же естественно, вне зависимости от того, разделяем мы их взгляды на жизнь или нет. А кое-кто из интеллигенции, вроде меня, не поняли, а потому и не приняли революции. Да и не мудрено было ошибиться, ведь рождался новый, невиданный ранее мир.

Трудно мне обвинять целиком и эмиграцию периода последней войны. Строго говоря, это ведь не эмиграция. Ни один человек добровольно сюда не пришел.

Это люди, которых духовно искалечила и расшвыряла война, или немногие откровенные предатели, вроде Власова, решившие, что родине уже не подняться и надо побыстрее надевать другую

шкуру. Даже Деникин, подумайте - Деникин! - когда пришли к нему власовцы бить челом, заявил, что с предателями родины не желает разговаривать. Так и не выслушал их, хотя знал, что явились они предлагать ему "высокие" посты и звания... А эти... ну, как вам сказать, у нас презирают их больше, чем власовцев. Они интересны, да и то на короткое время, лишь тем, кто использует их против родины. Используют и бросят, извините, как некую резиновую принадлежность.

...После дня, проведенного на озере, я еще несколько раз встречался с Лавровым в Париже и у него дома.

И о чем бы ни заходил разговор, главной темой для него оставалась родина. Глубоко тосковал, постоянно думал о ней, но, пожалуй, прав он: возвращаться ему уже поздно.

А вот Данила решился. Поэтому мне особенно интересен был его рассказ.

Он заранее написал Диме, с каким поездом приедут, в каком вагоне, указал приметы, чтобы парень мог легко их найти. И он действительно встретил их и отвез в гостиницу, потому что сам жил в общежитии. В тот вечер на их заводе был большой молодежный бал, где он выступал в самодеятельности, зато весь следующий день, благо - воскресенье, обещал провести с ними.

Он приехал сразу после завтрака. Они вместе осматривали Кремль, которого никогда не видели, глазам своим не верили, глядя на станции метро, восторгались автомобильными потоками. Больше всего поразил их тот совершенно естественный, но непостижимый факт, что все, ну буквально все говорили по-русски. На улицах, в кафе, в автобусах, решительно повсюду слышалась только русская речь.

Собственно говоря, ничего другого они и не ждали, вернее, не думали об этом, иначе же не могло быть.

И тем не менее это было удивительно и волнующе.

Часам к семи вечера приехали к Диме в общежитие.

Их встретил Владлен - товарищ Димы и его сосед по комнате. Стол был красиво накрыт, с красивыми закусками.

Данила остался очень доволен экскурсией, а тут еще такой стол, и он совсем растрогался. В какой-то момент, когда ребята вышли из комнаты по хозяйственным делам, он сказал:

- Пожалуй, не поедем завтра в Луганск. Поживем здесь дня два-три. Москва ведь!

Евдокия согласилась.

Все сели за стол. Первый тост подняли за гостей.

И опять у Данилы навертывались слезы. Он благодарил за душевный прием, предложил выпить за Диму и его друга Владлена.

Потом извлек из кармана баночку и, довольно улыбаясь, сказал:

- Это вам сувенир, Дима. Это лучшая французская горчица.

Ребята были смущены. Данила видел это, но настойчиво предлагал отведать горчицы.

Дима открыл крышечку, и со свистом выскочил чертик.

- Вот это да! - восхитился Владлен.

Все смеялись. Было очень смешно. А Данила вытащил из кармана фигурку де Голля, и это оказался пробочник. И опять все смеялись, а Дима благодарил за подарки.

Кто-то из соседей заглянул в дверь, и вскоре все общежитие узнало, что у Димы гости из Франции. Набилась полная комната. Это были рабочие ребята, учившиеся в заводском вузе, дотошные, остроумные, и они хохотали, рассматривая сувениры.

Только один из них, Костя, самый молодой, хотя был уже выпускником института, не хохотал, а, ехидно прищурившись, улыбался, поглядывая то на сувениры, то на гостей.

- Вот что значит заграница! - с той же улыбкой подмигнул он Владлену. Разве у нас такое сделают?

Данила перехватил Костин взгляд, и это царапнуло его.

Неожиданно стало тихо.

- Расскажите нам о Франции, пожалуйста, - - попросил кто-то. - Как выглядит Лувр, Сорбонна, как живет молодежь?

- Верно, - подхватил Костя. - Мне давно хотелось послушать иностранца.

Данила помрачнел. Надо бы сказать этому ехидному парню, пусть не зарывается, да грубить вроде нет повода. Парень-то ему не нагрубил. Вроде так оно и есть. Хорошо бы вежливо осадить его, а как? Вежливые, но колкие слова, как и при встречах с Планшоне, не приходили в голову. И бог с ним, с этим парнем, некогда подбирать для него слова, надо что-то ответить ребятам.

А что мог сказать Данила о Париже? В Лувре он не был, о Сорбонне не слышал, как живет французская молодежь, не знал. Он стал описывать Эйфелеву башню, где ему довелось побывать лет пятнадцать назад. Говорил сбивчиво, мучительно думая, о чем же еще рассказать ребятам.

В комнату вошел комендант общежития. Спросил, почему здесь распивают водку, хотя никто уже не пил.

Ему объяснили: случай особый, приехали родственники из Франции.

Он ушел, многозначительно взглянув на часы. И все посмотрели на часы, поняв его без слов: посторонним лицам не разрешалось оставаться здесь позже двенадцати. До двенадцати было еще далеко. Разговор не клеился. Ребята опять стали

открывать крышку горчичницы, вертеть пробочник. Выскакивал чертик, де Голль размахивал руками. Все грустно улыбались.

Постепенно комната пустела. Стали собираться и старики.

В гостинице Данила сказал:

- Может, нам в Луганск уехать завтра, Евдокия?

Надо бы сначала с Клавой повидаться, дело сделать, а потом уже разгуливать по Москве.

Евдокия согласилась.

Клава встретила их с искренней радостью. Радовалась, что они живы и объявились, наконец. Вспоминали прошлое. Заговорили о ее муже Федоре, погибшем на войне. Она показала его награды - орден Отечественной войны первой степени и орден Отечественной войны второй степени. По статуту эти ордена вручаются на хранение семье погибшего и передаются потом из поколения в поколение.

За несколько месяцев до конца войны Федору удалось побывать дома, а спустя две недели пришло то страшное извещение...

Даниле было жаль Клаву. Еще не старая, и собой крепкая, а вот осталась одна. И люди хорошие попадались, но из-за сына отказывала. Сына воспитывала.

А теперь - поздно.

Незаметно в разговорах пролетело часа два.

- Да что же я сижу, - всплеснула руками Клава, - скоро люди придут.

Клава работала на фабрике и в тот день взяла отгул. Оказывается, в честь их приезда пригласила друзей с фабрики и двух однополчан мужа.

Знакомя Данилу с гостями, Клава говорила, что это брат Федора, и хотя живет во Франции, но человек трудовой, рабочий. Люди, приветливо улыбаясь, пожимали руки Даниле и Евдокии.

Его сердце наполнялось гордостью. Он давно не был в такой большой и дружной компании. Он забыл уже, что люди вот так собираются просто для веселья. Было в его жизни такое или нет? Конечно, было. Но еще тогда, когда хотелось жить.

Он понимал: первый тост поднимут за него и Евдокию. И он заранее подготовился, заранее придумал нужные слова для ответа. Было шумно и весело. Данила пока не вникал в разговоры, повторял про себя ответный тост. Надо сказать так, чтобы видели, как он любит родину. Чтобы не считали его здесь иностранцем, как тот молокосос.

Когда все уселись и налили рюмки, поднялся самый пожилой человек. Он предложил выпить за хозяина этого дома, своего боевого друга и командира, за всех, кто своим потом и кровью

обеспечили победу и дали возможность людям жить, работать и вот так собираться.

Данила не обиделся. Тост был правильный. Хотя странное дело, что-то досадное было в нем. Вроде выпили за всех присутствующих, кроме него и Евдокии.

Данила злился на себя за эту мысль.

Следующий тост подняли за женщин - главную силу их фабрики и за лучшего бригадира - хозяйку дома.

Этот тост вызвал особое оживление. Все хотели чокнуться с Клавой, потянулись к ней, и каждый добавлял какие-то слова, и Данила понял, кто же на самом деле есть Клава. И душа коллектива, и делегат каких-то конференций, и депутат райсовета, и просто хороший товарищ и надежный друг.

И даже после того, как люди выпили, разговор о Клаве продолжался. Она только отмахивалась от похвальных слов, а Данила думал о том, какое это счастье иметь столько друзей, знать, что ты не одинок.

Потом поднялся седой человек лет сорока пяти, сидевший напротив Данилы, звали его Алексей Никитич, и предложил выпить за гостей из Франции. Люди выч пили.

После длинного и шумного тоста за Клаву получилось как-то сухо и официально. Ответная речь, которую Данила умно подготовил, показалась сейчас неподходящей. Он смолчал.

Потом долго закусывали, разговаривали, смеялись.

Даниле тоже хотелось приобщиться к разговору, но никак не мог придумать, что бы такое ему сказать. Говорили о фабричных делах, о каких-то заседаниях, о вечерах, должно быть, похожих на этот. Будто продолжают они давно начатый разговор, в который никак ему не втиснуться.

Данила внимательно прислушивался. Он тоже улыбался, когда люди смеялись, кивал в такт говорившему, понимающе поддакивал, а то и вставлял несколько слов, но никак не мог ухватить существо разговора и решительно не понимал, чему смеются.

Он будто и участвовал в разговоре, но оставался за какой-то незримой чертой, отделявшей его от этих людей, и никак ему не удавалось переступить ее.

Центром разговора был то один, то другой, и настал, наконец, момент, когда все внимание обратилось к Даниле.

- Молодцы все-таки французы, - сказал Алексей Никитич. - Шутка ли, десять миллионов в забастовке участвовало. Вы тоже бастовали?

Вот тогда-то и смолкли все, ожидая, что он скажет.

Что мог сказать Данила!

- Да-а, было дело, - солидно протянул он. - Весь транспорт встал, заводы и фабрики остановились...

Он понимал, что это известно и без него. А что же еще сказать? В их маленьком поселке не очень-то видна была забастовка. Пока он обдумывал, кто-то шепотом заговорил с соседом на краю стола, разговор перекинулся дальше, стал громче, возник общий спор, и уже никто не смотрел на Данилу и ничего от него не ждал.

И опять он почувствовал, что остался один.

Никто не сказал ему обидного слова. Напротив, все вежливо улыбались, предлагали закусить или выпить, но все яснее становилось, что единственно об этом и могут они говорить с ним.

Данила мог бы, конечно, рассказать, как тяжко ему на чужбине. Он не решался на такой разговор, боясь вопросов, на которые трудно будет ответить, которых им не понять. А они, видимо из деликатности, не поднимали этой темы. И то, что уже столько времени он вместе с ними и никак не вписывается в их круг, все дальше отодвигало его от них.

Евдокия нашла себе дело: помогала Клаве уносить на кухню грязную посуду и подавать к столу пироги.

Данила задумался. Выпивший лишнего бывший фронтовик сидел возле него и клевал носом. И вдруг, точно его подтолкнули, встряхнул головой и уставился на Данилу.

- Молчишь француз? - дружелюбно сказал он. - А ты бы объяснил, что делал, когда мы кровь проливали.

- Ты с ума сошел, Паша! - возмутилась Клава. - Напился и сиди себе.

- А что? - мирно и добродушно улыбаясь, развел он руками. - Напился. Верно, напился. И что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. - Он громко рассмеялся, а потом очень серьезно, словно протрезвев, добавил: - И ты, Клава, думаешь, как я, и все они, - обвел он пальцем окружающих.

Сразу несколько человек цыкнули на него.

- Ну, хорошо, хорошо, не буду, - оттолкнул он ладонями воздух. Извини, француз, не виню тебя. Рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше. В войну сохранил себя, - кому охота умирать? А после войны, когда мы по карточкам голодали и землю на бабах пахали, какой же дурак сюда поедет...

С каждым словом голова Данилы дергалась, как от удара. Почему же молчат остальные? Почему не прервут его? И только выслушав эту длинную тираду, точно спохватившись, Алексей Никитич крикнул:

- Да замолчи ты, как тебе не стыдно!

Друг Паши, тоже бывший фронтовик, вызвался проводить его домой. Тот и не сопротивлялся. Мирно пошел, и уже с порога, обернувшись, добавил:

- Ты теперь не уезжай, француз. Теперь хорошо живем. Говори: "Люблю родину" и требуй квартиру...

Пашин друг потащил его за собой и захлопнул дверь. Но из-за двери отчетливо донеслось:

- Трехкомнатную требуй... Дадут, как сознательно вернувшемуся...

- Не обращайте внимания, выпил много, - сказал Алексей Никитич.

Данила не слушал. Ему хотелось кричать. Упасть на пол, обхватив голову руками, и кричать.

"Я так и знал... Но за что! Да как объяснить им это2 Ведь и они улыбку прячут. Жестокие люди. За что? Ни разу нигде не совершил я преступления перед родиной".

На следующий день Клаве надо было выходить во вторую смену. Завтракали молча. А потом Данила не выдержал, высказал свою обиду.

- Понять должны, - закончил он, - разрешили мне приехать - значит, нет за мной вины. А если что и не так, простила меня родина. Чего же теперь попрекать?

- Оно, конечно, - вздохнула Клава - Только скажу тебе не таясь: родина - это мать А мать всегда простит сына, как бы больно ей ни сделал. Даже если бросил ее, когда вся в крови лежала А люди не прощают. Они знают: родина поднимется и простит, а уж бросил ее, считай - оторванный ломоть Ни автогеном, ни газовой не приваришь. И винить их не в чем.

- Так что же они, те, что были, больше, чем родина?

- Не знаю, Данила, как тут делить. Знаю только, что в них моя опора И в горе, и в радости И обижайся не обижайся, ссориться с ними не буду. Особенно с Пашей. Человек он надежный и другом Федора в бою был.

Она умолкла, потом, улыбнувшись, сказала

- Хватит об этом. Если в чем моя помощь нужна, всегда помогу. А сейчас советую город посмотреть, не узнаете его теперь. К обеду не опаздывайте, мне ведь на работу..

На автобусе объезжали и осматривали город Ни одного района, кроме сильно изменившейся улицы Ленина, узнать было нельзя. Новые дома, новые кварталы. Незнакомые, неприветливые. Это раздражало его.

Перед ним был чужой город А где же родное?

Возвращались угрюмые. Возле дома Клавы Данила сказал.

- Ты иди, а я через часок вернусь, - и заспешил, зашагал,

чтобы не успела она ни о чем спросить.

Данила шел на свой завод. У проходной - она осталась почти такой, как была - возле газетного стенда дождался гудка. И без того екало сердце, а тут люди пошли. Первой высыпала молодежь. Шумной веселой ватагой. Такими и раньше были его ученики на этом заводе. А потом все смешалось в толпе, и молодые, и совсем пожилые, даже старше, чем он. Вглядывался, всматривался, стараясь узнать знакомых, страшась, что они узнают его первыми и он не успеет спрятать лицо.

Толпа росла, вытягивалась. Надвинув кепку на самые брови, шагнул, еще шагнул, а глаза бегали, бегали, пока не замерли.

Колька! Его ученик Колька. Самый смышленый и боевитый, степенно вышагивал, окруженный рабочими. Боже мой, как постарел. Наверное, мастер теперь или начальник цеха.

Данила провожал его взглядом, пока тот не скрылся в толпе И снова бегали глаза. Узнал еще кого-то, чьей фамилии не мог вспомнить. Не отдавая себе отчета, робко приближался к потоку, подобрал его шаг, слился с ним и, часто глотая, пошел.

1969 год

"НАДО ВЕДЬ КАК-ТО ЖИТЬ..."

Вскоре после войны мне попались два уникальных документа. Первый ученическая тетрадка в косую линейку, куда в 1921 году совсем еще мальчишка - сельский счетовод заносил необходимые ему данные.

Записывал фамилии организаторов Советской власти, видимо, для того, чтобы потом не забыли о них. Против каждой фамилии имелись различные пометки:

"секретарь сельсовета", "коммунист", "горлопан", "сначала пороть, потом повесить"...

Последнее заключение автора и еще несколько подобных особенно настораживали и поражали. Не только садизмом, с каким он намеревался лишать жизни людей. Была в них приказная категоричность, не свойственная скромному положению юного счетовода. Будто привык уже отдавать приказы и самолично решать судьбы, чинить расправы.

Должно быть, просто безрассудное мальчишеское ухарство, не имевшее под собой почвы.

Второй документ начисто опровергал подобное предположение. Это толстая, большого формата бухгалтерская книга, содержавшая сотни фамилий ответственных работников, включая секретарей обкома партии. Ее вел тот же автор. Когда он начал, можно определить лишь приблизительно - где-то в начале двадцатых годов. Закончил в августе 1941 года, будучи главным бухгалтером "Укркоопспилки" в Херсоне.

Судя по всему, человек терпеливый, настойчивый, аккуратный и, возможно, на первой книге не остановился бы, но помешали гитлеровцы, захватившие город. Плоды своих трудов он преподнес им. В марте 1944 года, когда Херсон освободили, в гитлеровской комендатуре среди других документов обнаружили и эту книгу, а в ней ученическую тетрадку в косую линейку. Пленный немецкий комендант назвал автора - Владимир Муштаков. Сказал, что в знак благодарности ему было без дополнительной проверки присвоено какое-то небольшое звание, выданы немецкая форма и оружие. А где он находится, пленный офицер не знал.

Возможно, не хотел выдавать. Найти Муштакова не удалось.

Полистав его труды, я кое-что на всякий случай выписал в свой блокнот. Недавно, работая над архивными материалами периода войны, я вновь наткнулся на эту фамилию. Удалось выяснить, что Муштаков был карателем, сейчас живет во Франкфурте-на-Майне и является завсегдатаем ночного бара "Флорида" в районе главного вокзала.

Мне предстояла поездка в Западную Германию, и я решил попытаться заодно найти Муштакова. Карателей я видел не раз и не стал бы его искать. Но мне хотелось понять психологию человека, который чуть ли не четверть века, тихонечко сидя в бухгалтерии и терпеливо дожидаясь гибели Советской власти, старательно, каллиграфическим почерком выводил буковки, складывая их в фамилии, помечая, кого надо повесить, а кого сначала пороть, а потом уже повесить. Он представлялся мне исполнительным счетным работником, этот сельский счетовод, дослужившийся до главного бухгалтера крупного учреждения в областном центре.

Исполнительным и жестоким. Тогда я еще не знал всей меры его жестокости, не предполагал, что за оружие брался далеко не в первый раз, когда получал его из рук гитлеровцев. У него и свое оружие было Оказалось, Муштаков жил в тридцати километрах от Франкфурта-на-Майне в маленьком городке БадХомбурге, где раньше была диверсионная школа. Успешно закончивших ее засылали в Советский Союз или сначала направляли для дальнейшего совершенствования и повышения квалификации в американскую диверсионную школу, находившуюся под Мюнхеном в местечке Висзее. Здесь учебный процесс был поставлен лучше и вся подготовка велась на более высоком уровне. Особое внимание уделялось практическим занятиям, поскольку основы теории учащиеся получали в Бад-Хомбургской школе, где и преподавал Муштаков. Он вел дисциплину под названием "Конспирация".

Бывшие учащиеся диверсионной школы, по крайней мере те из них, с кем я разговаривал, и у нас, и в других странах, характеризуя его по-разному, в главном были единодушны: ни один из педагогов не вкладывал в свое дело столько сил и энергии, не обладал таким опытом, как Муштаков, и так не переживал за то, чтобы они успешно справились с заданиями, которые получат по окончании школы.

Если все преподаватели рассматривали работу лишь как возможность получать приличные заработки, то для Муштакова она составляла существо жизни, ибо не было человека столь патологически ненавидевшего Советскую власть и русский народ, которого иначе, как чернью, не называл.

Особенно строго Муштаков проверял, насколько органически, творчески люди усваивали разработанное им пособие, содержавшее шестьдесят законов конспиратора. Один экземпляр показал мне, а потом отдал "насовсем" Владимир Трусов. После окончания школы он проходил практику в Италии, специализируясь на антисоветских провокациях во время международных спортивных соревнований и других встреч представителей различных стран. О нем тоже придется рассказать, ибо в конце концов именно он помог найти мне Муштакова и присутствовал почти на всех наших беседах.

Из всего, что мне рассказали о Муштакове до встречи с ним, озадачивало одно. Известно, что ненависть к Советской власти и народу питают его идейные, классовые враги. В частности, те из эмигрантов, кто потерял во время революции свои богатства и власть.

Известны и просто предатели, по умственной ли ограниченности, стремлению к легкой наживе, славе или созданному для них безвыходному положению продавшиеся за валюту. Наконец, неудачники или легковерные, обманутые и не нашедшие в себе мужества вернуться к честной жизни. Те, кто не терял ни богатств, ни власти, отнюдь не идейные борцы. Заплати им побольше - перейдут в любой другой лагерь. Но сельский счетовод, выросший до солидного главбуха, значит, не обиженный жизнью, десятилетиями наблюдавший рост страны хотя бы по своим бухгалтерским отчетам, - откуда у него такая устойчивая, звериная ненависть с самых ранних лет?

Эта мысль усиливала желание разыскать его. Однако ни в одном справочнике Франкфурта-на-Майне фамилии Муштакова не значилось. Оставалась последняя, довольно сомнительная надежда - "Флорида".

Было досадно. А я вдобавок допустил непростительную ошибку. В любом автомате висит или лежит прикованная

цепочкой телефонная книга. Минутное дело найти по ней "Флориду". Я же стал искать этот бар в привокзальном районе. Единственное объяснение, которое могу дать столь странному просчету, - подсознательное желание побродить по незнакомому городу, побольше увидеть.

И в самом деле, увидел я здесь немало. Огромное здание главного вокзала и другие сооружения, расположенные справа и слева от него, образуют как бы сплошную стену, в которую упираются проспект Кайзерштрассе и множество улиц и улочек. Хаотически, вкривь и вкось они стекаются к вокзальной площади.

Днем этот район едва ли чем отличается от других, не центральных районов города. Но его подлинное лицо раскрывается ночью.

Именно здесь сосредоточено множество ночных баров, кабаков, притонов. Район широко разветвленной сети обслуживания платной любви. Специально приспособленные для этого отели - от дорогих, фешенебельных, до скромных "штунденотелей", что означает "отель на час", до меблированных комнат в старых домах, пахнущих плесенью. Толпы профессиональных женщин заполняют тротуары, подъезды, входы в увеселительные заведения. Они заранее абонируют места в гостиницах, сидят за рулем подчас шикарных автомобилей, медленно движущихся близ тротуаров, где дефилируют их менее состоятельные конкурентки, но, как и те, опытным глазом столь же точно определяют, кто именно может откликнуться на их молчаливый и выразительный зов. Обменяются взглядом или едва уловимым жестом сидящая за рулем и человек на тротуаре, тут же замигает сигнал поворота вправо, машина прижмется к бровке. Человек садится рядом с водительницей, разговаривают минуты две-три, и машина срывается с места.

Они поедут ужинать в другой район, остановятся у солидного ресторана, где никому и в голову не придет усомниться в их принадлежности к приличному обществу. Они будут пить дорогое вино, танцевать, не замечая, как смотрят посетители на эту милую и скромную молоденькую женщину, должно быть влюбленную в своего спутника. Впрочем, не глядя по сторонам, она все же уловит казалось бы спокойный взгляд опытного прожигателя жизни, с толстым бумажником в кармане, поймет значение взгляда и найдет миг незаметно для своего спутника ответить. Потом, похлопав ладошкой по его руке, улыбнувшись, уже действительно ни на кого не глядя, выйдет в холл мало ли зачем женщине надо выйти, - зная, что пусть не сразу, но обязательно появится тот, кто звал ее глазами.

Она будет стоять у зеркала, поправляя прическу или ресницы,

а он медленно пройдет мимо, почти не задерживаясь у зеркала, где увидит ее лицо, но успеет спросить: "Где и когда?" - и почти одновременно она ответит что-либо вроде: "Здесь, завтра, в десять". Теперь о следующей ночи можно не думать, и она вернется в зал еще более милой и застенчивой, чтобы сегодня увезти спутника к себе домой.

Бывает и по-другому. Поговорят в машине у бровки в том веселом привокзальном районе, и через те же две-три минуты человек выйдет. То ли водительница не подошла, то ли цена, хотя садятся в машину только люди с большими деньгами. А женщина за рулем в знак презрения стукнет ногой по педали, не включив скорость, с грохотом вырвется струя из выхлопной трубы, обдав газом ушедшего, и снова, замигав световым сигналом, теперь уже влево, медленно тронется с места, вглядываясь в прохожих.

Этот веселый район, где реклама сверкает не только цветами радуги, но, кажется, всеми мыслимыми ее оттенками и сочетаниями, не так уж безобиден. Среди уличного шума, смеха, говора раздастся вдруг отчаянный крик женщины и оборвется, будто зажали рот.

Со свистом и гиканьем, едва не сшибая людей, пронесется ватага пьяных буршей, догоняя тех, с кем хотят расправиться. В хорошо освещенном месте верзиласутенер неторопливо бьет кого-то, разъясняя таким методом, что тот недоплатил его подопечной. И что бы ни происходило, никто из любующихся зрелищем не вмешается, если не считать восторженно-одобрительных возгласов или советов, в какое именно место бить.

Полицейского здесь не увидишь, хотя время от времени пронзительно завоет сирена машины с цветной мигалкой на крыше, спешащая туда, где ночные схватки масштабнее.

В этом районе в полной мере учтены и изучены потребности любителей ночной жизни, в зависимости от их материального благосостояния. Здесь заботятся о каждом. Много денег - к твоим услугам самое фешенебельное и красивое. Но не забывают и о тех, у кого стучат в кармане лишь металлические монеты. Их тоже можно вытрясти.

В лабиринтах этого района, на углу сверкающей Таунусштрассе - печально известном его центре и тускло освещенной Эльбештрассе в доме No 34 я и нашел "Флориду". Ночные бары, как и другие питейные заведения, разделены на ранги. "Флорида" - из самых низкопробных. По-русски говоря, просто кабак. Скромная зеленая вывеска, хотя и большая, висит над дверью, будто срезавшей угол дома. У самой двери - стойка бармена - бывшего одессита Сашки Беллера, как зовут его завсегдатаи, застрявшего в этих краях после войны. Ему под

шестьдесят, он грузен, но орудует за своей стойкой довольно ловко. Владелец бара - Борис Расков. Этот из Кишинева. Значительно моложе Сашки, поумнее, похитрее и более опытен в методологии добычи денег. Расков тоже здесь с послевоенных лет, сумел получить десять тысяч марок как пострадавший от гитлеризма, десять тысяч получила его жена, тоже как пострадавшая, и тридцать тысяч ему выдал банк в долгосрочный кредит для основания собственного дела.

Я не раз беседовал с Расковым, и он все объяснял мне, как они страдали. Я не понял. Некоторую ясность внес в это дело Сашка Беллер, когда я познакомился с ним поближе. Не в то, как они страдали, а как под это получают деньги.

Став обладателем пятидесяти тысяч, Расков все рассудил правильно: начать мелкую торговлю с такими деньгами, конечно, можно. Но потом жди десятилетия, пока разбогатеешь. Это при хороших делах. А могут и задушить фирмы покрупнее, тогда конец всему. Новых десять тысяч не получишь, а без них и за кредитом не сунешься. Из множества вариантов он выбрал самый надежный: снять в аренду помещение и открыть дешевый ночной бар без всяких музыкантов и финтифлюшек.

Дешевый - понятие относительное. В солидных ночных заведениях, в зависимости от рангов, спиртное стоит в пять-десять раз дороже, чем в дневных. Расков не хотел в пять-десять. Ему достаточно втрое.

А это означало, что всю ночь до шести утра в его двух залах свободных мест не будет. В своих расчетах он оказался даже тоньше, чем его друг Юрек Помеканев, который тоже далеко не простак. Помеканев открыл ночной бар "Калинка", увесил его тяжелыми бархатными портьерами, обставил в русском стиле, нанял оркестр, состоявший вместе с солистами из трех человек, исполнявший русские романсы и песни. Был убежден, что сюда на русскую кухню и экзотику пойдут многие, но уж кто-кто, а все русские, живущие в этом городе, будут его клиентами. Но экзотика оказалась сомнительной, нафталинной, и немцы ее не признали. И русские не признали. Там хотелось плакать; а главное - дороговато. Нет денег. И потянулись в кабак под этим иностранным словом "Флорида", который и стал их постоянным местом сборищ.

Особых заработков они Раскову не приносили, да он и не рассчитывал на них. В основном - голытьба.

Главным в его расчетах были два фактора. Во-первых, большинство питейных заведений закрывалось после трех-четырех ночи, и все, кто недопил, шли к нему, где можно пить или подбирать себе спутницу до шести утра. И, во-вторых,

дешевизна. На дешевизне он выгадывал немало. Скажем, пиво закупал на заводе по оптовой цене, составлявшей менее тридцати процентов дневной розничной стоимости. А продавал втрое дороже. Вкруговую получал шесть-семь марок на каждую, вложенную в дело. А с учетом пивной пены и многого прочего - все десять. Но даже при таких выгодных условиях собственный дом сумел построить только через пять лет. Дом не для себя, конечно. Его квартира в другом месте. А собственный - для сдачи людям.

Со стройкой этого дома Расков тоже все хорошо продумал. Цены на квартиры в Западной Германии очень высокие, особенно в таком городе, как Франкфурт -на-Майне. Это огромный, красивый город, расположенный на обоих берегах Майна, близ впадения его в Рейн. Крупнейший узел железнодорожных, автомобильных, авиационных сообщений с мощным речным портом. Важнейший промышленный, торгово-финансовый, культурный и научный центр. Когда решался вопрос о столице Западной Германии, казалось, иного выбора не могло быть: только Франкфурт-на-Майне с его широкими проспектами, множеством отелей, вместительными залами для многолюдных собраний и съездов.

Однако Аденауэр предложил избрать столицей Бонн. Спятил, что ли, человек? Крошечный городок, скорее местечко, которое на машине пересечешь из края в край за десять минут. Единственная железнодорожная станция, скорее полустанок, где не разъехаться и трем поездам. С трудом можно найти однодва здания для иностранных посольств. Даже приличного помещения, где могло бы разместиться правительство, и то не сыщешь.

Нет, не спятил. Ему важно было продемонстрировать, что он не признает послевоенных границ, что существующее положение - лишь на короткий срок, и не собирается правительство устраиваться капитально. Оно сидит на чемоданах на первом попавшемся разъезде, и как только будет взят реванш, займет подобающее ему место. Даже в то время, когда в правительственных кругах верх брали реакционные силы, предложение Аденауэра многим из них казалось несуразным. Тем не менее оно прошло.

Сегодня Бонн не узнать, есть и у правительства новое здание. Но Франкфурт-на-Майне своего значения одного из крупнейших центров не утратил. И квартиры здесь очень дороги. Строят добротно, на десятилетия. Значит, сразу после стройки - большие доходы.

Конечно, без кредита он не смог бы построить дом, но что такое кредит? Он ведь довольно быстро погашается. При

открытии бара Расков получил из банка тридцать тысяч. И вот, что они для него означали.

Я видел его дом. По объему примерно такой же, как мой кооперативный дом в Москве. Те же девять этажей, такой же приблизительно длины и ширины.

В моем доме сто четыре квартиры. У Раскова, думаю, не меньше. Для ровного счета, скажем, - сто. В среднем за каждую он получает четыреста марок, а всего, значит, сорок тысяч в месяц. Это - если считать один дом. А он вскоре построил точно такой же в курортном городке Висбадене. Правда, задолго до этого, даже до первой стройки, открыл в Висбадене еще один дешевый ночной бар. Практически два бара и помогли ему строиться. И, конечно же, - кредиты. Но тут тоже заслуга самого Раскова. Сашка Беллер кредитов не получит. Под зарплату кредитов не дают.

К утру Сашка бывает совсем хорош и тогда жалуется на судьбу и на Раскова. Он имел больше прав на десять тысяч, чем этот Расков, но не сообразил, что можно расписаться за десять, а получить меньше.

И жену мог бы подобрать такую, чтобы тоже получила, какая разница, на ком ты официально женат. Можно подумать, будто Раскову это не все равно. А если уж есть немного денег, то и кредит дадут. Конечно, не полную сумму, а по-умному надо, чтобы и кредитор в банке обижен не был. Тогда и срок побольше можно выпросить.

Двусмысленно, чего-то не договаривая, будто сам с собой, рассуждал Сашка и об умении Раскова платить налоги.

Сашка не любит Раскова. Не любит за крохоборство. Платит мало, а все, что перепадает от людей, берет себе.

Как же "себе", если за пену сам Сашка получает?

Сашка, подмигнув, улыбнулся и вдруг задумался.

Ничего больше не стал говорить об этом. Мне потом другие рассказали. Владельцы многих питейных заведений кое-что получают с барменов. Накидывают какой-то процент на сумму фактической стоимости проданного. Хозяева знают - бармены люди квалифицированные, и пусть как угодно вертится покупатель, свои десять пфеннигов с бокала пива они получат.

А торгуют не только пивом. Секреты бармена - целая наука. Наука о том, как получить лишнее. Все секреты знает и Расков. И, видимо, берет такой процент, который Сашке кажется несправедливым. Должен же он хоть немного накопить на старость. А вот не получается.

Тем не менее Сашка всегда весел. Таким я и увидел его часов в шесть вечера, когда впервые пришел во "Флориду". Вход с улицы прямо в зал, даже второй двери нет. Ни зазывал, ни портьер,

ничего, что в других ночных барах несет функции таинственного, манящего. Зал метров двадцати. Слева стойка Сашки, справа у стены - четыре столика и еще четыре по обе стороны двери во второй зал. Позади Сашки в нише на электрическом противне жарились сосиски, похожие на охотничьи, только потолще. Рядом кастрюля, в которой сосиски варились. А остальное, как в обычных барах - бутылки, сигареты, два пивных крана, но перед стойкой не было высоких традиционных сидений. Они закрыли бы проход. Во втором зале - метров двадцать пять тридцать. И так же тесно наставлены столики. Стены расписаны комбинированно, что ли: местами изображения барельефные. Описывать их не стану: неприлично.

В разных местах зала сидели шесть посетителей.

Возле бармена никого не было. Я взял бокал пива, спросил, не говорит ли здесь кто-нибудь по-русски.

- А я вас не устраиваю? - спросил в свою очередь Сашка. - Вам ведь нужен Расков, я же вижу, так и скажите. Вы привезли ему привет из Кишинева от родственников его жены. Можно подумать, будто она там давно была. Раньше ездила к ним раз в год, а в этом году уже два раза успела.

Не потребовалось и нескольких минут, чтобы понять: Сашка из тех людей, которым помолчать немного просто невыносимо. Если бы и хотел, я не смог бы пробиться ни с одним вопросом. Видимо, он намучился от молчания, пока поблизости никого не было. А теперь его словно прорвало. Рассказывал окончания каких-то историй, не заботясь о том, знаю ли я их начала, указывал на ошибки президентов, сам себя перебивал, перескакивая с одной темы на другую. Ему на мешали редкие посетители, которым он автоматически, не прерывая речи, наливал пиво или бросал на картонную тарелочку сосиску, шлепнув сверху ложку горчицы. В его речи негде было поставить точку. Слова и фразы сливались в один непрерывный поток, и я не мог уловить, когда он вдыхает воздух.

Больше всего говорил о своем заведении, и значительную часть сведений, приведенных выше о "Флориде", ее владельце, завсегдатаях, я узнал в тот первый приход. Он называл уйму имен и фамилий так, будто по меньшей мере это мои старые знакомые. Я с нетерпением ждал только одной. Но о Муштакове он ничего не сказал. Задавать же такому болтливому бармену хотя бы наводящие вопросы об интересующем меня человеке не решился.

Ну что ж, Расков так Расков. Где Расков? "После часа или двух ночи приходите. Будет Расков, будут и другие. Говорите себе на здоровье по-русски".

Я пришел в половине второго. Стойка Сашки ярко

освещалась. И у столиков было светло. За ними тесно сидели посетители. Заходя и выходя, толпились люди.

Второй зал тихо и монотонно гудел от говора. Гул не мешал тоже тихой, расслабляющей музыке, идущей, казалось, сверху. И без того тусклые, затемненные еще разноцветной пленкой лампочки, направленные на стенную роспись, не освещали людей. Их силуэты только угадывались. Огоньки сигарет, будто большие светлячки, вспыхнут, метнутся в сторону и исчезнут.

Когда глаза привыкли к полумраку, отчетливее стали клубы дыма. Дым никуда не уходил. Он только двигался. Облачка его вытягивались и длинными, извивающимися полосами и нитями растекались, меняя цвет, в зависимости от того, в зоне каких лампочек оказывались. Дым двигался, шевелился, словно нащупывая что-то, временами повисая на месте или рванувшись вдруг в сторону.

Не меньше половины посетителей составляли женщины. То одна, то другая поднимались, напоминая о себе, не торопясь, выходили и снова возвращались.

Я пошел к Сашке, спросил Раскова.

- Он в своем кабинете, - и кивнул на дверь за стойкой.

Принять меня в своем кабинете Расков не мог. Кабинета не было. Его маленький столик едва умещался в каком-то закутке, похожем на кладовку, рядом с крохотной кухонькой. Впрочем, кухня здесь и не нужна. Сюда не приходят есть. Здесь пьют и торгуются, совершают сделки не самой стерильной чистоты, приходят, чтобы подобрать подходящего для грязных дел исполнителя из числа эмигрантских отходов. Сейчас здесь собираются главным образом те, кто исчерпал возможности продавать родину и выброшенные различными разведками. Это самое дно.

Борис Расков вышел ко мне. Коренастый, мускулистый, среднего или чуть ниже среднего роста, с густой в редкую проседь шевелюрой. Круглое, обмякшее, невыразительное лицо и живые, сверлящие глаза. Кажется, такого сочетания не может быть, ибо выразительность лица, пожалуй, прелсде всего определяется гл-азами. Но вот Расков, значит, исключение.

Сказал ему - хочу поговорить. Он молча ждал.

Я тоже молчал. Тогда он пригласил все же в свою кладовку. Предложил единственный стул, сам сел на краешек стола.

Я представился. Показал свою книгу, на обложке которой была моя фотография. Он сверил ее глазами со мной, как это делает дежурный на проходной.

Только так и выдал свое удивление. Лицо и глаза не изменились. Я рассказал, что недавно познакомился с весьма

уважаемой русской женщиной лет семидесяти - заведующей кафедрой русского языка и литературы Гамбургского университета, о своем знакомстве с видным инженером Лавровым, вывезенным во Францию еще мальчиком до революции. Назвал другие имена русских людей за границей, которые с гордостью говорят о своей Родине. Объяснил, что знакомился с ними, готовя материалы для книги. Однако в тех же целях мне надо знать эмигрантов самых различных слоев. И не познакомит ли он меня с постоянными посетителями его бара.

Я не мог прямо сказать, что хочу найти Муштакова, и показать какую-то особую заинтересованность во встрече с ним, ибо даже отдаленно не представлял, как сложится разговор, и вообще получится ли он, если просто нас познакомят. Да и откровенно говоря, коль скоро уже пришел сюда, хотелось посмотреть и на других, ему подобных.

Раскоз молча изучал меня. Потом, задумавшись, полистал книгу, еще раз посмотрел на фотографию, прищурившись, спросил:

- А вы не боитесь какого-нибудь скандала, неприятностей?

- Поэтому и обратился к вам.

- При чем же здесь я?

- Вы - коммерсант, скандал вам ни к чему. Скандал с политическим оттенком и вовсе не нужен. Если он произойдет и коснется людей, с которыми меня познакомите вы, значит, попади это в печать, вас могут рассматривать как их единомышленника и сторонника, то есть как человека антисоветского. Надеюсь, это не так. Да и становиться с ними на один уровень вам невыгодно, это может помешать коммерции. Невыгоден вам скандал и с другой стороны. Ваша жена, как сказал мне Беллер, регулярно навещает своих родственников в Советском Союзе. Будто и вы собираетесь погостить у них, как только позволят дела. И вроде неловко получится, если до этого здесь что-нибудь произойдет.

- Все это так, но вы говорите обо мне, а знакомиться хотите с ними.

- Потому и прошу взвесить, не ошибается ли Беллер. Из его разговоров я понял, что вы на них не только не зарабатываете, но иногда даже теряете. Если они перестанут сюда ходить, никакого убытка вы не понесете. А от вас они зависят в полной мере. Здесь у них вроде биржи труда. Если кому-либо понадобятся, за ними придут сюда. Кроме того, вы сами даете им заработать. То пошлете за товарами, то другие поручения дадите и пусть на небольшую сумму, но разрешаете и выпить в кредит. А погашать трудно, и едва ли не каждый из них вам должен...

Расков прервал меня. Как-то доверительно, чуть ли не дружески, сказал:

- Знаете, у Сашки золотые руки, он честный человек И если бы ему еще отрезать язык, цены бы ему не было. Представляю, что он вам наговорил.

- Так вот, тем более, если это человек честный, то из того, что он "наговорил", следует вывод.

Никто из них не посмеет ослушаться, если вы обратитесь к ним с просьбой, подчеркнув ее категоричность.

Расков задумался, снова полистал книгу, не глядя в нее. Я предложил сигарету.

- Спасибо, не курю... Вот что. Я вам все устрою, только при одном условии: если вы не будете их дразнить.

- Не понял.

- Ну не будете упрекать, сводить счеты, заводить разговоры о политике. Никто из них никакой не политик. Они оказались неспособными в коммерции и в других делах, выхода у них не было, людям надо ведь как-то жить. А в энтээсе им сразу много платили, они вам расскажут. Только даром денег никто не платит.

Чтобы там работать, надо тоже быть коммерсантом.

Все время должна болеть голова, все время надо чтото придумывать. Ну, раз придумали, два, а что еще, если уже и без них давно все придумано.

А Сашка вам не наврал, я могу их в любую минуту выгнать. Мне - что! Все время приходят новые. И еще придут, даже те, кому там пока неплохо. Ведь каждый из тех, кто сюда ходит, когда-то думал, что он уже бог.

Поэтому и прошу не дразнить, им и так не сладко.

Я твердо обещал "не дразнить". Мы вышли. Расков посадил меня за крошечный столик в уголке второго зала и просил минут пятнадцать подождать. По пути крикнул Сашке:

- Пошли кого-нибудь за Володькой, он у Юрека, пусть немедленно явится.

А мне объяснил: человек, который всех знает, и его все знают. Смело можете на него положиться.

- Спасибо, но, как условились, надеюсь только на вас.

- Слово коммерсанта... А случится вам заехать в Кишинев, мои родственники примут вас, как положено у нас в России, я вам дам адрес.

. Я сидел, окутанный дымом. Стойкий запах пивного перегара, маргусалина, на котором жарились сосиски, и дешевой парфюмерии. Все здесь было как и полчаса назад, только более шумно. То и дело доносились русские слова. Раздавались то

выкрики, то явно искусственный женский смех. С удивительно точным интервалом, примерно в минуту, пьяный старик, обращаясь к женской фигуре на стене, просил:

- Уходи, сейчас жена придет. Ну уходи же!

Скажет и клюнет носом. А потом снова поднимет голову, и опять те же слова.

Расков предусмотрительно унес второй стул от моего столика. Но кто-то подсел ко мне со своим стулом, спросив разрешения после того, как грузно плюхнулся на него. С тяжелым от пивных бокалов подносом появилась девочка лет четырнадцати. К моему соседу подошла молоденькая женщина, тоже похожая на девочку, он уступил ей место. Потеснившись к стене, она усадила его рядом. Донеслась русская фраза, заглушенная дружным смехом. Отчетливо услышал лишь: "Но это же свинство, господа". Может быть, Муштаков? Может быть, он среди них?

Расков хорошо их знает. Не выходили из головы его слова: "Все время приходят новые. И еще придут, даже те, кому там пока неплохо... Каждый думал, что он уже бог".

Да, они мечтали о красивой и легкой жизни. Эти мечты кажутся реальностью и тем, кто еще сегодня получает за предательство валюту. Верили в эти мечты тарсисы, анатоли, калики, но их будущее здесь, у стойки Сашки, на побегушках у Раскова.

Что-то пробормотав, мой сосед ушел. Усевшись поудобней, его спутница, достав сигарету, попросила прикурить. К счастью, появился Расков в сопровождении высокого стройного человека лет сорока. На нем был тщательно отутюженный, сильно выношенный серый костюм с коротковатыми рукавами. Узел галстука маслянисто поблескивал.

- Владимир Трусов, - представил его Расков. - Я ему все объяснил...

- Как я рад, как я рад, - говорил Трусов, прижимая руку к сердцу, очевидно, не рискуя протянуть ее мне.

Исчезла, будто растаяла, моя соседка.

- Что будем пить? Аперитивчик, вино, водку? - весь сияя, говорил Трусов, присаживаясь к столику.

Он перечислял множество людей, с которыми готов меня познакомить. Можно и сейчас подойти к столику, где они сидят, можно любого подозвать к нам. Они увидели Трусова, то и дело оборачивались, пытаясь разглядеть в полумраке, с каким это новичком сидит суетящийся, неумолкающий Володька. Он называл их фамилии, характеризуя каждого, приводя любопытные, на его взгляд, детали биографий.

- Особенно интересно вам будет познакомиться с Муштаковым... Что-то пока не видно его, - говорил он, озираясь. - Смотрите, смотрите, неожиданно зашептал, - видите, девушка... Которая вошла... Видите, с сигаретой, в ажурных брюках? Это Таня Баранова [По некоторым соображениям фамилии Тани и некоторых других изменены, фамилия Муштакова, все адреса и места действия подлинные.]... Страшная трагедия...

В тот момзнт мне неинтересна была история какойто Тани. Я понял, что встреча с Муштаковым стала реальной, и хотел побольше услышать о нем. Но Трусов, перейдя на шепот, стал рассказывать о Тане.

Впоследствии я беседовал с ней, с ее отцом и некоторыми его друзьями. Трагедия в самом деле страшная.

Однажды она попросила у отца денег для поездки с туристской группой в Советский Союз, на свою родину, о которой слышала столько противоречивого.

Хотела увидеть улицы, кафе, кино, где все говорят только по-русски.

Баранов мог всего ожидать от своей взбалмошной дочери, но только не этого. "Дочь Баранова, бывшего прокурора армии Власова, одного из руководителей радиостанции "Свобода" - в СССР?" Да ему не простят этого. Он кричал на нее, и его оскорбления вызывали все большее озлобление Тани. Чем сильнее поносил дочь, тем упрямее она стояла на своем. Не находя доводов, кроме десятки раз повторенных, будто ее там растерзают, Баранов в бессилии сказал: "Если бы ты пошла на панель, это было бы для меня меньшим ударом, чем безумие, на которое решилась". С тем же упрямством она повторяла - все равно поедет, если и не даст денег, если даже придется для этого идти на панель.

Слова, сказанные сгоряча и в озлоблении, были слишком далеки от мыслей и тем более поступков Тани. Но Баранов не выдержал. Наотмашь ударил ее по лицу, еще раз, еще, пока она, как звереныш, не бросилась на него, царапаясь и кусаясь. Он оторвал от себя дочь и грохнул об пол.

В больницу отвез ее сам, объяснив, как избили девушку хулиганы. Она была в сознании, слышала его слова.

Спустя месяц, в день выписки из больницы, он приехал за ней в назначенное время. Дежурная сестра сказала, что девушка давно ушла, дожидается его на скамейке в парке.

Таня не дожидалась отца. И домой не вернулась.

Уехала во Франкфурт-на-Майне, где они раньше жили, в кредит сняла комнату близ Таунусштрассе, взяла напрокат у хозяйки, тоже в кредит, приличное платье, почти совсем новое, и

зарегистрировалась, где положено, как научила опытная хозяйка.

Нельзя сказать, что Таня не понимала, на какой шаг идет. Тем не менее не ощущала его реальности. Должно же что-то произойти. Придут какие-то люди, - она ведь зарегистрировалась в полиции нравов, - значит, отец узнает об этом немедленн˚г все всполошатся и найдется выход из положения. Скорее всего, неосознанно, где-то подспудно, но именно такую форму мести отцу она избрала.

Комнату Таня сняла вместе с трехразовым питанием. Завтракала поздно и уходила на дальние окраины, прячась от людей. Обедать возвращалась часов в шесть. Хозяйка по-своему воспринимала заплаканное лицо девушки - не можег найти клиентов. Покормив ее, снова отправляла на улицу. Ни на кого не глядя, Таня уходила подальше от этого проклятого района Таунусштрассе, бродила до глубокой ночи и, обессилев, возвращалась домой.

Начались упреки хозяйки. Она не в состоянии без конца содержать глупую девчонку. Впрочем, готова помочь ей. Уже подобрала подходящего сутенера, чтобы никто не обидел. Ведь хочешь не хочешь, должна девушка ее профессии иметь покровителя, ибо иначе дружная каста сутенеров все равно не даст житья, пока кто-нибудь из них не добьется своего. Он и поможет твердо встать на ноги.

После выхода из больницы, уже сняв комнату, уже пройдя постыдную регистрацию, а еще до этого специальное и не менее постыдное медицинское освидетельствование, без которого не зарегистрируют, она все еще надеялась на приход отца. Больше двадцати дней пряталась от всех. Той страшной сцене с отцом, его поступку искала оправдание: дикая, нервная вспышка, повод для которой дала сама, наконец, просто состояние аффекта. Но сейчас? Он же все знает, ведь полиции нравов известно, что он совсем не рядовой человек на радиостанции "Свобода", и она сообщила туда. Таня начинала реально осознавать, на какой путь становится, но все еще не могла соотнести это к себе, не представляла себя в новой роли. Как в свое время, не задумываясь, повторила отцу его фразу о панели, не придавая ей никакого значения, так уже приблизившись к самой грани панели, все еще не могла полностью воспринять случившееся.

Таня ждала, что кончится, наконец, это наваждение, этот кошмар. Отец не появлялся, не давал о себе знать, а опытные руки подталкивали ее, сначала осторожно, ласково, а опутав долгами, мертвой хваткой сдавили горло. Только тогда она ощутила весь ужас своего положения. По пятам ходит сутенер, и прятаться по окраинам уже нет возможности. Всем сердцем

прокляв отца, она пошла по единственно оставшейся ей дорожке.

Таня прилично зарабатывала. Вполне хватало на оплату комнаты и питания, на ежемесячный налог полиции нравов и участковому полицейскому, на погашение кредита за уже солидный гардероб модной одежды, за медицинское наблюдение и контроль и содержание сутенера, который и в самом деле в обиду ее не давал, хотя сам подсчитывал, сколько необходимо на обязательные платежи, а остальное, все до пфеннига, отбирал.

Однажды в переулке лицом к лицу она встретилась с отцом. Баранов давно знал, где его дочь и чем она занимается. Гордость не позволила ему идти к ней. Девчонка может еще подумать, будто он чувствует за собой какую-то вину, будто пришел извиняться или звать домой. Правда, гордость появилась позже, когда опасность миновала. А в первую минуту после случившегося, вернее, как только узнал о регистрации в полиции нравов, думать о дочери было некогда. Тогда во всей опасности встал вопрос о собственной судьбе. Чем это может кончиться для него?

Вся история, несомненно, уже известна начальству.

И, вероятнее всего, не только шефу - американскому полковнику Джеймсу Брауну. А в обстановке подсиживания, склок, зависти, царящих на "Свободе", кое-кто уцепится, конечно, за этот случай.

Баранову в тот момент было не до Тани. Зато он хорошо продумал сложившуюся ситуацию и подготовил весьма крупные козыри перед тем, как вступить в игру.

А опыт игрока у него был большой.

До войны Баранов заведовал сельской школой в нынешней Кокчетавской области и учился на заочном отделении юридического института. На фронте ему стало ясно - Советский Союз будет разгромлен, а потому есть прямой смысл сдаться в плен и идти на службу к немцам. Он сказал, что имеет юридическое образование, поэтому Власов назначил его прокурором своей армии. Любой оплошности солдата было достаточно, чтобы Баранов настаивал на смертном приговоре. Его боялись даже приближенные Власова, и требования прокурора всегда выполнялись. Ему боялись возражать, ибо знали, что его месть будет изощренно жестокой.

Готовясь к объяснению с начальством относительно инцидента с дочерью, Баранов продумал много вариантов. Если от всего отказаться: "Можете ли вы поверить, чтобы родной отец грохнул об пол дочь? Да это чудовищная выдумка", - начальство поймет, где подлинная правда, ибо достаточно осведомлено о его жестокости.

Не подходили и другие варианты.

После войны Баранов пошел в энтээс. Бьющая через край инициатива в создании антисоветских фальшивок привела Баранова в число главарей энтээсов. Хваля его за очередную провокацию, кто-то из американских хозяев сказал: "Сразу видно, чей это почерк".

В ЦРУ понимали: нет смысла держать его в энтээсе, копошащимся в мелких делах. Куда больше он принесет пользы на радиостанции "Свобода", оснащенной современной американской аппаратурой. К тому же и связь этих двух организаций будет более органической.

Его перевели на "Свободу", однако почерк остался прежним. И почерк этот в новых фальшивках, запускаемых через микрофоны, хорошо известен начальству. Значит, любую придуманную им версию относительно дочери могут разгадать.

Свой поступок он объяснил так: "Поездка моей дочери в сегодняшнюю Россию, дочери бывшего прокурора освободительной армии Власова, одного из руководителей энтээс и русской редакции "Свобода", для меня равносильна смерти. Во имя моей дочери я бы пошел на это. Но во имя дела - нет. Во имя нашего святого дела я готов на любые крайние меры".

Его похвалили. Сказали лишь, что легко обойтись и без крайних мер, просто он сгоряча не подумал, просто можно не дать ей визы.

Когда все неприятности остались позади, он смог спокойно подумать о дочери. Но необходимость искать встречи, чтобы как-

то улаживать конфликт, отпала...

И вот дочь перед ним. Случайная эта встреча произошла ночью, в таком месте, где ее пребывание было вполне естественным, а о причинах его появления там было нетрудно догадаться.

Они столкнулись лицом к лицу и просто пройти мимо друг друга, как незнакомые люди, не могли.

Растерянно он сказал:

- Ну, что же ты, Таня?

Она стояла молча, опустив голову, не в силах поднять глаза. А он, не находя других слов и понимая, как глупо вот так стоять молча, снова сказал:

- Ну зачем же ты так, Таня?

Она ответила тихим, прерывающимся голосом:

- Пойдем ко мне, поговорим. Я живу совсем рядом.

Встреча с дочерью расстраивала его планы. Не так уж часто он мог выбраться в этот район. Слишком много времени и сил отнимала работа.

Всю послевоенную жизнь он создавал документы, призывающие к свержению Советской власти. Холодная война согревала его сердце. И в этой войне он не был сторонним наблюдателем. Работал без устали, действовал умно. На основе критических выступлений в советской печати настолько умело разрабатывал "волнения" в СССР, что непосвященных они поражали своей правдоподобностью. Его воображение рисовало все более страшные картины жизни в СССР, и плод его мечтаний, размноженный на полиграфических базах США и ФРГ, разносимый их мощными радиостанциями и телевизионными центрами, органически вплетающийся в общий поток антисоветской пропаганды, казалось ему, неизбежно приведет к свержению строя. Еще совсем немного, и цель будет достигнута.

Огромные усилия разбивались как о стену, не находили отклика, и это все больше раздражало его.

Нарастала ненависть к народу, который, сколько ни толкуй, не может понять, что за пределами родины немало настоящих людей, таких, как он, давно готовых принять на себя историческую миссию и возглавить руководство страной. Ему хотелось пожать плоды своих трудов, хотелось наяву увидеть мифические заговоры и восстания в СССР, которые так красочно изображал он на бумаге. Хотелось чего-то грандиозного, масштабного, глобального. И "глобальное" появилось.

Из-под его пера вышла "Программа демократического движения Советского Союза", якобы присланная на Запад из СССР и подписанная: "Демократы России, Украины, Прибалтики".

Я читал эту книгу, изданную на отличной бумаге.

Читал и ряд его творений, предшествовавших ей. Какие бы небылицы он ни придумывал, никогда раньше они не содержали открытых оскорблений народа. А тут нервы не выдержали. Вся злость, скапливавшаяся годами, вылилась в чудовищных оскорблениях русского народа, не желающего свергать свой строй.

Баранов разбил "Программу" на главы для серии передач по каналам "Свободы". Но передачи не состоялись. Должно быть, поняли, сколько следов на фальшивке, как легко ее разоблачить.

Это был крупный провал, который Баранов тяжело переживал. Он нервничал. Никого, кроме самого себя, не обвинял. Не понимал, как при его опыте и выдержке мог так непростительно грубо ошибиться. Ошибка бесспорная и, что хуже всего, необъяснимая.

Приехав из Мюнхена во Франкфурт-на-Майне по делам энтээса, отправился на Таунусштрассе, чтобы хоть немного развеяться. И тут, как назло, встреча с дочерью. Отказаться идти с ней? Но она уже пошла.

Повернуть тихонько в другую сторону, постыдно бежать? Гордость и чувство собственного достоинства не позволили ему так поступить. И он зашагал вслед, поравнялся с ней.

Шли молча. Пересекли Таунусштрассе и свернули в полутемный переулок. Он сказал:

- Эти муниципальные власти просто возмущают меня. Такие налоги берут с населения, а осветить улицу не могут.

Таня ответила:

- Здесь специально мало света.

- Ну хорошо, пусть здесь, а другие улицы? Чуть из центра свернешь, сразу темнота, хоть глаз выколи.

И никому до этого нет дела, просто смешно. Конечно, там, где они сами живут, фонари понавешены, как прожектора, а о людях не думают, пусть мучаются.

И вообще я тебе должен сказать, что в муниципалитетах засели просто дельцы. Дельцы, думающие только о собственной выгоде.

Таня ничего не ответила. Еще немного шли молча.

Потом он сказал:

- А я ведь тебя послушал, Танюша. Помнишь, ты все говорила - пора купить новый рабочий костюм.

Этот вот на мне новый, ты обратила внимание?

- Мы пришли, - остановилась она у входа в одноэтажный старый дом, затянутый вьющимся диким виноградом. Отперла дверь, зажгла свет в прихожей, через холл провела к себе мимо

трех закрытых дверей. В комнате было чисто, уютно, стоял едва уловимый запах духов. Вытянутая вверх и немного в сторону рука бронзовой девушки держала цветок, из которого струился слабый голубой свет.

- Садись, - показала Таня на кресло. - Я чтонибудь приготовлю.

- Нет-нет, ничего не надо, - заторопился он, - я ведь ненадолго.

- Ну тогда виски. - Открыла бар, он осветился изнутри, как освещается автомашина, когда открывают дверь. Достала начатую бутылку, тонкостенные пузатые бокалы и содовую воду из маленького холодильника, стоявшего тут же.

- Ну зачем все это? - недовольно сказал он. - Что ты, ей-богу?

Таня налила виски ему и себе, села на круглый стул без спинки напротив него.

- Содовую наливай сам по вкусу.

Не добавив воды, он залпом выпил, сказал:

- Извини, Таня, я тороплюсь...

- Торопишься? - удивленно переспросила она. - Ну, пожалуйста...

Поднялась, быстрым, привычным движением дернула длинную молнию сзади на платье, тряхнула плечами, и оно упало к ногам.

- Что ты делаешь?! - вскочил Баранов.

- Так ведь ты торопишься, - с упреком ответила она, перешагивая через платье. - Извини, - расстегивала она лифчик, - я забыла предупредить, со стариков я беру втрое дороже.

- Сумасшедшая! - взревел он и, оттолкнув ее, бросился к двери. Она захохотала и прыгнула вслед, крича:

- Держите, держите, он не заплатил.

В холле появился огромный детина, преградивший путь Баранову.

- Что вам надо?! - заревел Баранов.

- Денежки, - лениво ответил детина. - За постельку с Танечкой надо ведь платить.

Неожиданно он ударил Баранова своим огромным кулаком в живот.

Баранов не вскрикнул. Только, согнувшись, схватился за живот обеими руками. Потом немного выпрямился, извлек купюру в сто марок, положил на круглый столик и направился к двери.

- Маловато, - безразличным тоном сказал детина, - за такую девочку маловато, - И ударил кулаком в челюсть. Баранов упал.

- Бей его, бей его, ногами бей, - визжала Таня, суча

кулачками, пока не зашлась в истерике,

* * *

Графиня Елена Бардес живет прошлым. Она рассказывала о своей молодости, а мне казалось, будто все это давно знакомо. Я не знал, говорит ли она о своей жизни или повторяет что-то кисейно-голубое, где-то давно ею прочитанное. Впрочем, оснований для того, чтобы сказать это с уверенностью, у меня не было. Возможно, и в самом деле она вращалась в высшем свете Петербурга и теперь вспоминала самое для нее броское из той жизни. Но так или иначе мне надо представить графиню и привести именно ее рассказ, а не свои сомнения.

Великолепие балов, маскарадов, пикников Елена ощущала, видя, как готовятся к ним взрослые, а она, еще совсем девочка, только трепетно мечтала о чудесном, сказочном мгновении, когда сама появится в этом манящем, прекрасном мире и обязательно будет в центре его, и наконец, первый ее бал, изумительный, захватывающий, неповторимый, как у Наташи Ростовой.

Игра хрустальных люстр на мраморных колоннах, сверкающие узоры паркета, оркестр где-то под потолком, шикарное общество и сама она, юная, неотразимая, то окруженная поклонниками - мальчиками из кадетского корпуса, то скользящая в плавном танце или несущаяся в головокружительном вальсе.

Вот, собственно, и все ее воспоминания, если отбросить бесконечные повторения одного и того же, обогащенные всякий раз новыми деталями.

Графиню Бардес я увидел за столиком под грибком на пляже в Пицунде напротив четвертого корпуса, где мы отдыхали вместе с писателем Юрием Корольковым. Она продавала бюстгальтеры. Озираясь, доставала из саквояжа по одному, чтобы не привлекать внимания. Тем не менее вокруг нее стали собираться девушки. Она решительно защелкнула саквояж и жестом показала все, нет больше.

Я никак не ожидал встретить ее в Пицунде, тем более на нашем пляже. Уж если приехала, то куда удобнее ей находиться на своем пляже, близ корпуса, где живут иностранные туристы. Откровенно говоря, он и благоустроен лучше нашего, там менее людно.

Видимо, здесь больший спрос на западногерманские лифчики.

Я подошел к ней. Она тоже удивилась встрече и обрадовалась - хоть одна знакомая душа. Несколько минут восторгалась морем, сервисом, не очень складно объяснила свое присутствие на нашем пляже и незаметно перешла к воспоминаниям, очевидно

запамятовав о разговоре во время первой встречи у нее дома во Франкфурте-на-Майне. Правда, здесь в Пицунде кое-что добавила к тому, что я уже слышал.

В то страшное для нее время семнадцатого года семья разлетелась куда-то, она осталась одна, беспомощная, ничего не умеющая делать. А дальше ей и вовсе ничего не хотелось вспоминать. Потянулись тяжелые годы. Вышла замуж за Дмитрия Тру сова, о котором тоже ничего не сказала, но, судя по отрывочным фразам, семейная жизнь шла нелегко и длилась недолго. Она снова осталась одна, но теперь уже с маленьким Володей на руках.

Мысли ее скачут, связного рассказа не получается.

Она уже в Западной Германии, работает машинисткой в издательстве "Посев". Сводить концы с концами трудно. И вот - ирония судьбы! Сторож и истопник "Посева", грубый, неотесанный и здоровенный мужик Петр Попов, чуть ли не делая одолжение, соглашается на ней жениться. "А то рубаху простирнуть приходится самому".

Так с ее тонким, изысканным вкусом и манерами, с ее воспитанием в высшем кругу общества пришлось пойти на этот брак, выслушивать рассказы о мужицком житье, вплоть до его побега за границу в тридцатом году.

При встрече во Франкфурте-на-Майне она о муже не говорила, да и не могла говорить, ибо он находился рядом. А попал я к ним при следующих обстоятельствах.

В ту первую ночь во "Флориде", когда я только познакомился с Владимиром Трусовым, мы так и не.

дождались Муштакова. Трусов был убежден: не сегодня, так завтра явится обязательно. Расков оказался прав - Трусов старался помочь мне, как только мог. Думаю, известную роль в этом играл и тот факт, что он собирался с матерью в туристскую поездку к нам, рассчитывая, очевидно, и на мое содействие.

Мне не раз приходилось замечать, что за рубежами нашей родины каждый советский человек, воспринимается чуть ли не как полномочный представитель государства. Будто может он принимать официальные решения, и уж на худой конец любая высказанная ему мысль или просьба будут немедленно переданы лично руководителям страны.

Трусов побаивался, как бы советские органы не начали его преследования. Я объяснил ему наши законы, по которым преследованию подлежат только те лица, чьи руки запятнаны кровью. Он и сам слышал об этом, и хотя был период, когда приходилось во имя куска хлеба выполнять пропагандистские задания против родины, в остальном совесть его чиста. Мне

верилось в правду этих слов, тем более что о своих деяниях против родины рассказал он подробно.

Мы решили на следующий день снова прийти во "Флориду", и я согласился заехать за ним домой, чтобы заодно познакомиться с матерью и отчимом.

Так я попал в дом этой семьи.

Здесь - небольшое отступление. Одно из бедствий, принесенных войной, это трагедия сотен и сотен тысяч советских людей, насильно угнанных в гитлеровскую Германию или попавших в плен и не сумевших вернуться на родину. Причины к тому были разные. Малодушие одних, под угрозой оружия или в силу каких-то неотвратимых обстоятельств вынужденных в свое время работать на гитлеровцев, легковерие других, поддавшихся тонкой и лживой пропаганде, шантажу или провокациям, низкий уровень третьих, польстившихся на яркую мишуру Запада, и многое другое.

Прозрение пришло слишком поздно. Тем, кому во время войны было двадцать, теперь - пятьдесят.

Сегодня эти сотни и сотни тысяч, - за редчайшим исключением, - тянут лямку, горько вздыхая о родине.

Они никого не винят, только самих себя, и нет у них другой жизни, кроме той, на которую оказались обреченными. Но вот уже и тридцать лет прошло, а забыть родину не могут. Они создают библиотеки современной советской литературы, выписывают из Москвы газеты и журналы, смотрят советские кинофильмы и телевизионные передачи. Этим людям активно помогает Советский комитет по культурным связям с соотечественниками за рубежом, вплоть до выпуска для них газет и журналов.

И все-таки слишком много прошло времени, и оно не могло не наложить на них отпечатка того строя и общества, в котором они живут. Нет среди них ни чувства глубокого коллективизма, свойственного нашим людям, ни подлинной взаимовыручки и лружбы. Посмотрят, скажем, кинофильм в арендуемом ими небольшом помещении, повздыхают или даже посмеются, если фильм смешной, а потом грустно и молча разбредутся по своим углам.

Подлинный праздник для них - всфечи с соотечественниками, приезжающими в гот мир Но слишком редки такие праздники. И наши туриоы, и командированные заранее рассчитывают свое время чуть ли не по минутам, да и кому охота связываться за рубежом с людьми, неизвестно по каким причинам оказавшимися за пределами родины.

Но сейчас речь не о них. Речь о той кучке, ничтожной и по

количеству, и по существу своему, которая пошла на службу в различные антисоветские центры.

Как ни парадоксально, даже они рады встретился и поговорить с советским человеком. Объяснение тому простое и ясное. Эти продавшиеся действуют отнюдь не по идейным соображениям. Из числа подобных, с кем встречался на протяжении ряда лет, лишь однажды наткнулся на идейного врага, да и го доживающего свой век. Остальные ведут свою бесчесную службу, по образному определению одного из эмигрантов, не по убеждению, а наподобие определенной категории женщин. Не от легкой жизни, а под ударами судьбы самые слабовольные из них, махнув на честь и совесть, идут торговать своим телом. Они достойны презрения и жалости. Так же и в среде эмигрантов.

Лишь единицы, поправшие честь и совесть, пошли продавать свои души. И гак же вызывают они не только презрение, но порой и жалость. Среди них встречаются и такие, как Владимир Трусов, у которого хватило духу отказаться работать на врагов родины.

Поэтому и порадовался, узнав, что ему без задержки дали визу на въезд к нам. К сожалению, повидаться в Пицунде не удалось. В гот день, котда я встретился с его матерью, он уехал в длительную морскую прогулку, а нам с Корольковым оставалось два часа до отъезда в Москву.

С Урусовым я через год снова встречался в Западной Германии, и он восторженно говорил о своей поездке в Советский Союз. Правда, немного обиделся.

Хотя и раньше не верил в репрессии, которыми его пугали некоторые "друзья" во Франкфурте, когда виза уже была получена, но в том, что куда-то вызовут и допросят, не сомневался. Оказывается, никто даже внимания на него не обратил. Относительно доездок различных лиц из страны в страну у него свои твердые убеждения. Какую бы индифферентную мину ни делали чиновники любой страны, они точно знают, заранее проверят, кого впускают к себе и кого выпускают. Значит, все знали и о его прошлой деятельности. Так неужели никому не интересны детали даже его нашумевшего скандала в Риме?

К пятидесятому году тридцатилетний Трусов не имел ни профессии, ни денег. А погулять любил. Мать в "Посеве" зарабатывала гроши. Зато много знала о делах хозяев этого органа. Знала и об организации какой-то специальной школы в Аимбурге. Правда, ей не приходило в голову, что школа эта диверсионная и готовит людей для заброски в Россию. Возможно, знай она это, и не согласилась бы послать туда сына.

Она, конечно, понимала - школа особая, антисоветская, учатся там на всем готовом, да еще жалованье получают, живут по режиму, и все это очень хорошо.

А то, кто знает, что будет дальше с сыном. Работы нет, денег нет, а выпивши приходит часто.

Владимир пошел в школу с большой охотой. Все интересно, романтично, таинственно. Вскоре ее перевели в Бад-Хомбург. Здесь учились люди самого разного возраста и в разное время попавшие за границу.

Среди них был и Муштаков, после окончания школы назначенный преподавателем конспирации. Трусова увлекал этот предмет, и у него установились отличные отношения с Муштаковым. Еще ему нравились дисциплины, изучающие методы подделки печатей, бланков, различных документов. Охотно слушал лекции по структуре органов безопасности. А вот историю ВКП (б), историю СССР не любил. Получалось, что живут в России темные и тупые люди, ненавидящие свой строй и друг друга, ничего не умеющие делать. Как же тогда они выиграли войну? И почему до сих пор не гибнет этот строй, если он начал разваливаться уже с семнадцатого года, а во время войны вовсе ни на чем не держался? В это никак не верилось.

Трусов никому ничего не говорил о своих сомнениях. А все-таки, видимо, пронюхали, чем он дышит.

После выпуска часть слушателей взяли в американскую диверсионную школу под Мюнхеном, где платили куда больше, а два дня в неделю вообще райскую жизнь устраивали - пей, гуляй сколько хочешь.

Других взяли на высокооплачиваемые должности в различные издательства, а Грусову поручили самое мелкое и неинтересное. Сначала распространял "Солдатскую правду" и листовки среди советских солдат, находившихся в Восточной Германии. Эту газету и листовки редактировал и больше половины заметок и обращений писал Муштаков. Правда, был и американСКLU редактор, по он сам ничего не делал, только направление давал.

А как распространяли? В войска же не пустят.

Смех один. Все-таки считалось, что разработана хорошая система распространения, которым занималось несколько групп.

В группе некоего Лахно, кроме Трусова, было три человека, и в их распоряжении имелась специально оборудованная грузовая автомашина. В типографии "Посева" во Франкфурге-на Майне ее загружали листовками и "Солдатской правдой", тоже считавшейся листовкой, на складе брали ненадутые резиновые шары, изготовленные в Аахене, и отправлялись в поездку, рассчитанную

на десять дней. Прежде всего заезжали в городки Швайнфурт или Фулда, где брали несколько баллонов водорода, и отправлялись на зональную границу. В трех-четырех километрах от, границы выбирали в лесопарке подходящее местечко, укрытое от посторонних глаз. Работу начинали ночью.

В распоряжении группы были два типа шаров - диаметром тридцать девять сантиметров и сто семьдесят пять сантиметров. Первые могли поднять триста тридцать граммов, вторые - два с половиной килограмма. Соответственно отвешивали и стягивали специальными шнурами пачки лисговок. Затем по одному надували шары, привязывали к ним пачки так, что оставался болтаться конец шнура.

Рассказывал это Трусов, смеясь.

Дождавшись погоды, - а бывало, несколько дней ждали - Лахно определял направление и скорость ветра, и в зависимости от этого - длину болтавшегося шнура Поджигал его и выпускал шар. Шнур тлел, и считалось, что огонек достигнет узла, скрепляющего пачку, как раз, когда она будет над расположением воинской части, и листовки разлетятся. А потом потеха то ветер вдруг не в ту сторону подует, то фитилек разболтается, коснется шара и он раньше времени лопается, то унесется куда-то далеко в небо.

За ночь успевали выпустить сорок маленьких или семь больших шаров. Ну, первый раз интересно было.

Даже во второй и третий раз охогно в эти игрушки играл, вспоминалось, как в детстве воздушного змея запускали. А потом надоело. И писать отчеты надоело.

Ведь по тому, сколько листовок заброшено в советские войска, и деньги платили. Расположение воинских частей было размечено по номерам. Вот и писали - такому-то номеру столько-то штук сбросили, такому-то - столько, как бог на душу положит. Часто бывали конфузы. Числится по отчетам, будто весь тираж над противником сброшен, а находят вдруг целые пачки чуть ли не во Франкфурте.

Занимался этим делом Трусов недолго. Назначили диктором на радиостанцию, и тоже ненадолго. Поручили дело, где нужна смелость и выдержка. Не зря же учили его в Бад-Хомбургской школе методам слежки, шантажа, конспирации.

Почему на задание послали в Италию, он не знал.

Командировка обрадовала. Красивая страна, приличная гостиница, денег не то чтобы сколько хочешь, но вполне достаточно. На второй день после приезда в Рим какой-то человек поинтересовался, не из Саратова ли он приехал. Трусов ответил: "В Саратове живет мой брат".

Этот пароль дал ему Околович. Один из главарей энтээсов, старый эмигрант, работавший то поочередно, то одновременно на английскую, американскую и западногерманскую разведки. Под любую антисоветскую акцию умудрялся получать от своих хозяев крупные суммы, выдавая ее за одну из многочисленных, еще готовящихся, которые составляют стройную систему подрывной деятельное!и, 1ребующей крупных расходов.

Вместе с новым знакомым, в распоряжение которого поступил, Трусов готовился че! ыре дня. И вог настала минута.

Он вошел под навес у кафе, где на открытом воздухе стояло около десяти столиков. Еще издали увидел нужного человека. Этю советскою инженера, приехавшего в командировку, успел достаточно изучить за дни подготовки. Знал, чю он посюянно обедает именно в этом кафе в одно и то же время.

Весьма учтиво спросил, можно ли сесть рядом.

"Пожалуйста", - ответил инженер, бросив влляд в сторону, словно удивляясь, почему он хочет за этот столик, когда вокруг так много свободных мест. Стол находился у стены, а вокруг нею - три С1ула, на одном из которых, близко придвинутом к обедающему, лежал портфель. Трусов сел напрошв и, дотянувшись до стула с портфелем, положил туда и свою тонкую кожаную папку.

Инженер ел, просматривая газету. Трусов дважды пытался завести разговор, задавая какие-то вопросы, но ответы получал односложные, и беседы не получалось. Закончив с обедом, инженер рассчитался.

Высвобождая портфель, приподнял папку.

- Извините, - мгновенно наклонился за ней Трусов, и тот протянул ему папку. С двух сторон щелкнули фотоаппараты. Трусов, едва прикоснувшись к ней, отдернул руку, с улыбкой и спокойно сказал:

- Это не моя.

- Как же? - удивился инженер. - Вы ведь только сейчас ее положили.

Трусов ответил резко и громко. К их столику обернулись соседи. Кто-то поддержал инженера. Тут же вмешался слишком эмоциональный итальянец и стал что-то доказывать, сильно жестикулируя.

Возможно случайно, на тротуаре у самого входа оказались два полицейских. Едва ли мог заинтересовать их мелкий спор. Весь Рим с утра до вечера спорит. Но тут случай особый. Один резко и категорически, второй спокойно и настойчиво отказываются от папки, приписывая ее принадлежность друг другу.

Услужливый фотограф положил перед полицейскими еще влажный цветной снимок: оба спорщика улыбаются, оба держат папку, и трудно понять, кто кому ее передает. Полицейским ничего не оставалось, как проверить ее содержимое. В ней оказалась калька с подробным планом одного из крупнейших итальянских портов. Под итальянским текстом условных обозначени - перевод на русский. В уголке справа надпись "секретно" и фамилия инженера.

Более чем наивные для действий разведчика переводы на русский и эта демонстративная надпись выдавали грубую фальшивку. Но устанавливать истину - дело не полицейских. У них достаточно основании, чтобы забрать в участок обоих. Так они и поступили под шум собравшихся любопытных и крики о русском шпионе. На следующий день три газеты под сенсационными заголовками дали сообщение о задержании советского разведчика.

Трусов был спокоен. Кальку он снял с карты, купленной в магазине учебных пособий. Перевод на русский сделан не его рукой. Однако то, что ни военной, ни государственной тайны калька не представляла, выяснилось лишь через два дня. И хотя советского инженера сразу же выпустили под расписку, за эти два дня еще четыре газеты успели дать крикливые заметки о скандальной истории.

Трусова тоже выпустили. Кто делал перевод на русский, да и весь инцидент никого больше не интересовал, коль нет в нем состава преступления. Газеты свободны, что хотят, то и печатают, а если кто-то кого-то обидел или оскорбил, можно подать в суд, в том числе и на газеты, которые отказались напечатать сообщения, чем все кончилось.

После этого случая Трусову поручили более серьезное дело, связанное с диверсией и возможным применением оружия. Естественно, и заработок предстоял неизмеримо больший. Он решительно отказался. Так начался разлад с энтээсами и их хозяевами, кончившийся полным разрывом, ибо, обозлившись, он не желал больше браться и за менее рискованные дела.

А круг знакомых остался старый, все та же эмигрантская среда.

Теперь он работает в бюро по сдаче квартир.

Огромное количество франкфуртцев не имеют жилплощади. Одновременно много квартир пустует, в любьтх районах города стоят незаселенными корпуса, недавно построенные, современные. В Западной Германии насчшывается две соши тысяч пустующих квартир и пятьсот тысяч бездомных. Пять миллионов живут в квартирах, признанных аварийными. А переехать в

хорошие трудно, слишком высока квартирная плата. Вот и возникла сеть посреднических контор и бюро по сдаче жилой площади. За каждую сданную квартиру они получают от владельца комиссионные в сумме ее месячной арендной платы.

В таком бюро и работает Трусов. Заработок пе ахти какой, а главное, не стабильный, зависит ог множества обстоятельств, порой просто от случайной удачи. Пока ничего лучшего нет. Впрочем, его работа имеет много положительных сторон. Не надо ходить на службу к определенному часу и сидеть там целый день. После удачной сделки можно вообще не появляться хоть неделю. Это дает возможность подрабатывать у Раскова и вообще распоряжаться своим временем. Потому охотно может уделить время мне. Не так уж часто выпадает случай оказать услугу советскому человеку.

Я приехал к Трусову, как условились. По многим деталям понял - гостя ждали. Маленькая двухкомнатная квартира, обставленная более чем скромно. В углу - икона, лампадка. Встретили приветливо, особенно глава семьи, высокий, жилистый и энергичный горбоносый старик. Говорит резко, уверенно, сильно жестикулируя, почт не сгибая локтей. Может быть, потому руки казались особенно длинными. Взмахами резал воздух, точно подводя черту. А начал так:

- Не знаю, как у вас, а мы уж по старому русскому обычаю гостя встречаем, - и достал из шкафа бутылку водки. Еще не поставив на стол, пристально, испытующе посмотрел на меня - как отреагирую?

- Боже мой! - всплеснула руками графиня, страдальчески сморщившись. Стол еще не накрыт, а ты как в трактире.. Сразу водку.

- Так накрывай, коль не накрыт, - оборвал он. - Где там твои салфетки-амулетки. - И со стуком поставил в центр стола бутылку.

Когда-то в России он ненавидел помещиков-дармоедов, которые ничего не делали, а только жрали и кутили. Презирал безземельных и безлошадных, этих ленивых голоштанников. Он же - человек трудолюбивый, смекалистый. Потому и землицы имел в достатке, и скота. Сам жил и людям давал жить. Полдесятка батраков, работавших у него, никогда не обижались. Правда, и он к ним претензий не имел, люди работящие, старательные. Да лентяй у него и не зацепился бы - все на глазах, сам вместе с ними от зари до зари. Хочешь работать как положено, работай, а нет - на все четыре стороны. И несправедливо его раскулачила Советская власть. И признать ее можно полностью, а вот крепкого мужика зазря обидели Выгоды

своей от крепкого мужика не поняла Советская власть.

Попов был уверен, что с его руками и головой где угодно выбьется. Хлебнув за границей батрацкой жизни, возненавидел всю иностранщину. А жить надо.

Скитался по разным странам, пока не осел во Франкфурте-на-Майне. Работал сторожем и истопником, уже ни на что не надеялся и роптать перестал, пока не случилась история, о которой говорил со злобой.

Энтэзсы вместе с "Посевом" находились в помещении барачного типа. Попов запирал ворота, выпускал из будки двух собак, обходил территорию. Зимой всю ночь поддерживал огонь в печах.

Однажды ему принесли мешок макулатуры и велели сжечь. Ночью этим делом и занялся. Затолкает в печку стопу и ждет, пока прогорит. Случайно взглянул на какую-то бумагу. Расписка Околовича в получении трех тысяч марок.

- Аж в пот бросило, - рассказывал Попов. - За что же такие деньги? Смотрю дальше - расписка Романова на пять тысяч. Да что же это такое! Захлопнул дверцу топки, вывалил на стол все бумаги, начал рассматривать. Вижу - ведомость, и все начальство как один в ней переписано, и суммы такие, что дух захватывает. Вот гады, думаю, каждый божий день, как святые, твердят: "Все энтээсы равны между собой, все по триста марок в месяц получают, за идею работают, как борцы и герои, и воздадут им все сполна, когда Россия восстанет. Уже недолго ждать". Ах, сволочи, думаю, христопродавцы окаянные. Аккурат, кто так твердит, выходит, тысячами огребает. Вот, выходит, где ихняя идея.

Подобрал все эти расписки ведомости, стал утра дожидаться. Первым на работу Околович явился. Его дверь рядом со входом в бухгалтерию. Недалеко, думаю, гебе, чертов горбун, за денежками ходить Я молча здороваюсь, ничего не говорю, и он тоже важно тал отвечает, и морда такая занятая, будто восстание в России обдумывает. Отер он дверь, я следом. Грохнул по столу целой пачкой.

"Значит, по триста марок, говорю, чертов карлик, конопатый. А это что?" Так хотелось по роже садануть, да побоялся, дух выпустит. Рука у меня тяжелая, а он мелкий такой, согнутый, как крючочек. Правда, плюнул, чуть в лицо не попал, и ушел. Сволочи они все до единого .. В гот же день мне и расчет выписали, никто и разговаривать не стал.

* * *

В семье Владимира Трусова я пробыл недолго.

Вместе с ним отправились во "Флориду". Но и на этот раз

неудачно. Муштаков так и не появился. Не было его и в следующую ночь. А на четвертую и вовсе не повезло. Накануне в частях американской армии, расположенных во Франкфурте-на-Майне, была получка.

Я не знал этого, да если бы и знал, едва ли сему факту мог придать какое-либо значение.

В военной форме посещать заведения, подобные "Флориде", американцам запрещается. Но их и в гражданской одежде легко отличить даже на расстоянии - обувь остается воинская: высокие ботинки со шнуровкой на крючках, выпуклыми и твердыми, как у футбольных бутсов, носками. Впрочем, американцы и не пытались ничего скрывать.

Часа в три ночи большая ватага в высоких бутсах ввалилась во "Флориду". Вели себя гак, будто никого, кроме них, здесь не было. Не спросив разрешения, начали составлять столики. Бесцеремонно предложили каким-то посетителям пересесть на другие места. Те возмутились. Начался спор, перешедший в драку.

Дрались честно. Никто не бил бутылками или стульями Только кулаками.

Пожалуй, самая ответственная и высокооплачиваемая должность в ночном баре - вышибала. Этот пост у Раскова занимал бывший польский профессиональный боксер. Очень высокий и сильный, он стоял посередине бара, расставив ноги, и расшвыривал дерущихся. Попавшегося ему под руку маленького, на первый взгляд щуплого, но цепкого американца рванул из кучи, как щенка, и тот с грохотом полетел в сторону, сшибая стулья. Поднялся не торопясь, медленно подошел сзади к поляку и, как-то странно подпрыгнув, изо всех сил ударил его своей бутсой между ног. Вышибала вскрикнул, резко присев на корточки, повалился на бок и завыл, все сильнее подтягивая ноги к подбородку. Несколько раз блеснул магний и щелкнули фотоаппараты.

Я стоял спиной к стене и думал, как отсюда выбраться. Что произойдет дальше, было ясно. Кто-то уже, конечно, позвонил в полицию, и она прибудет незамедлительно. На следующий день в каком-либо не очень солидном органе появится соответствующая информация с фотоснимками. Весьма вероятно, что в кадре окажусь и я. И совсем не исключена примерно такая подтекстовка: "Вот как развлекается советский писатель". Перспектива, сами понимаете, не самая лучшая.

Я твердо решил во "Флориду" больше не ходить, о чем на следующий день сообщил Трусову. Оставалось принять его предложение - поехать к Муштакову домой в Бад-Хомбург.

Как и предполагал Трусов, нашли мы Муштакова в маленькой пивной близ его дома. Трусов вошел туда один и вскоре вернулся с крупным рыхлым стариком, Измятая, далеко не первой чистоты одежда, одутловатое, широкое лицо, мутный взгляд и еще какие-то детали не оставляли сомнений в том, что человек этот пьет не первый день. Впрочем, Трусов заранее предупредил: Муштаков целыми днями сидит в пивной, "водки уже не приемлет, а пиво дует чуть ли не бочками".

- Какой еще сюрприз? - лениво и безнадежно бормотал он, и его глаза не то щурились, не то слипались. - Какой может быть для меня сюрприз?

- А вот, - кивнул в мою сторону Трусов. - Ты все хотел встретиться с человеком сегодняшней России, знакомься, только что из Москвы приехал.

Муштаков тряхнул головой, глаза раскрылись. Он тупо уставился на меня, словно не веря. Потом ожил, улыбнулся:

- Не может быть! Правда? - и шагнул ко мне, расставив руки.

Я машинально отстранился.

- Да, да, понимаю... - снова сник Муштаков. - Но знаете, - в голосе появилась твердость, даже уверенность. - Вы, конечно, знаете, к кому пришли, хотите разговаривать, раз пришли. Значит, выслушаете мою исповедь. Вас прислал ко мне бог.

Исповедь... Может быть, больше всего мне хотелось исповеди. Почему сельский счетовод так люто ненавидел Советскую власть? Что думал, ведя свои записи, на что надеялся? Что чувствовал, медленно умерщвляя людей, о чем кое-какие детали я уже знал?

Да, исповедь. Но если бы она пришла сама собой, неожиданно вылилась из общего разговора, да и то едва ли закономерна в данных обстоятельствах. Исповедь, это - перед другом. Что-то глубоко интимное, доверительное, тайное. А мне ведь для печати.

Я не мог скрыть своих сомнений.

- И хорошо! - резко сказал Муштаков. - Пишите! - Это слово прозвучало как приказ. - Пусть все знают! Пусть знает Россия! Пусть знают смолоду, чего я не знал.

Видимо, в мыслях старик далеко оторвался от своего жалкого положения. Куда-то вознесся и, должно быть, всерьез думал, как трудно жить России, пока ЕЮ узнает его истории.

Шесть вечеров я слушал рассказы Муштакова. Они походили не на воспоминания о давно или недавно прошедшем. Он снова жил каждым эпизодом, будто действие происходит в данную минуту. Рассказывал, как под гипнозом, осушая батареи пива, перевоплощаясь в зависимости от событий, вставáвших в памяти, то стуча кулаком о стол, то хохоча или плача, скрежеща зубами.

* * *

Поместье генерала Муштакова возвышалось над полями и лесами, принадлежащими ему. Хозяйство вел управляющий почти бесконтрольно. Генерал не любил ни землю, ни леса. Его страстью были скаковые лошади. Эта страсть передалась сыну - Владимиру.

Казалось, верховой езде он научился раньше, чем начал ходить.

Генерала знали как человека незлобивого, даже добродушного. Управляющий надежно оградил его от общения с крестьянами, но если случалось кому-либо пробиться к генералу, он сочувственно выслушивал просьбу и отказывал редко. А вот эти качества сыну не передались. С юных лет он носился по полям и просекам, выискивая добычу. Увидев далеко в степи крестьянина или крестьянку, сорвавших, скажем, стручок гороха, он припадал к шее лошади и мчался вдогонку не по дороге, а напрямик по гороховому полю, чтобы на полном ходу полоснуть нагайкой. А если успевал человек броситься на землю и нагайка просвистит по воздуху, вздыбливая коня, возвращался и, перегнувшись в седле, наотмашь хлестал лежащего.

Крестьяне окрестных деревень легко вздохнули, когда Владимир уехал в кадетский корпус. Не проучился и двух лет - свершилась революция.

Может быть, случайность, но скорее эмблема смерти - череп и перекрещенные кости на знамени и воинской форме, привели его в армию Дроздовского, где было немало таких юнцов, как он, прозванных ласкательно "баклажками". Едва ли хоть в одном соединении белых армий или бесчисленных бандах различных атаманов, отличавшихся жестокостью, так садистски истязали пленных красноармейцев, как дроздовцы.

Владимир Муштаков, бесшабашно отчаянный, на великолепном своем скакуне, потрясенный тем, что эти хамы, не умеющие даже держать оружие, посмели подняться против воли божьей, умилял дроздовцев изобретательностью и изощренностью в пытках.

Сама идея революции, - как ему казалось, нелепая, сумасбродная, безоговорочно обреченная, - вызывала ярость до бешенства Он в полной мере чувствовал себя хозяином, единственным наследником отцовского поместья и никому не собирался отдавать своего. Поначалу его часть, которой командовал генерал-лейтенант Туркул, заменивший вскоре умершего Дроздовского, одерживала только победы. Вместе с группой боевых офицеров он выезжал в Ростов-на-Дону на похороны командующего, где дал клятву жестоко мстить за эту

смерть. А мстить стало труднее. Все чаще приходилось укрываться в лесах, а то и спасаться бегством врассыпную.

Однажды Муштаков с группой дроздопцев попал в плен. У здания штаба красных к ним вышел комиссар, человек лет сорока, огромного роста. Обвел всех взглядом.

- А это что? - показал, улыбаясь, на Муштакова. - Ишь ты, вояка - И уже серьезно добавил:

- С молокососами Красная Армия не воюет. Марш домой!

С него сорвали погоны и дали под зад коленкой.

Несколько дней он бродил по лесам, пока не наткнулся на отряд банды Шкуро. Там и закрепился. Эго была большая группа, отбившаяся от основных сил, и в их числе человек десять из санроты. Они тоже блуждали по лесам, выходя на дорогу только ночью. В одну из таких вылазок подошли к разгромленной, всеми брошенной деревне. Только в одном доме, охраняемом двумя красноармейцами, тускло светился огонек.

Муштаков вызвался снять их.

- Я это умею, - сказал он командиру, - дайте в помощь только одного смелого человека.

Охрану сняли бесшумно. Дом окружили и ворвались неожиданно, бросив в окна гранаты. Восемь красноармейцев были убиты, трое ранены. Один из них совсем легко, в кисть правой руки.

В тяжелораненых никто не позволил себе стрелять.

Все отталкивали друг друга, потому что каждый сам хотел совершить это дело и облегчить душу. В конце концов общими усилиями их затоптали. Одновременно шла возня вокруг раненного в кисть. С ног его кто то сшиб кулаком, а уже потом стали добивать ногами. Но тут изловчился Муштаков и бросился на лежавшего, прикрыв его своим телом.

- Стойте, остановитесь! - кричал он, расставляя руки, грудью прикрывая его голову.

Остановиться в одно мгновение людям было трудно, и несколько ударов пришлись Муштакову. И всетаки, ничего не понимая, разгоряченные, замерли: "В чем дело?!"

- Послушайте, только послушайте, - весь дрожащий, хрипел Муштаков, поднимаясь. - Не убивайте!

Не убивайте его! Он должен жить. Это комиссар. Егие недели две, и ни одного комиссара не останется в живых. И никто не будет знать, как выглядят коммунисты, чем онц отличаются от людей.

А коммунист всегда улыбается. Он улыбался, обзывая меня, дворянина, молососом. Видите, он и сейчас улыбается. Надо сохранить его улыбку. Отрезать губы. Пусть всю жизнь улыбается.

С каждой губы снять половиночку. И залечить. С нами же опытный хирург. Коммунист должен хорошо слышать. Но слуховой аппарат внутри, а наружная часть только мешает, надо тоже отрезать. И голова у коммуниста особая, думающая. Революцию придумали. Надо скальпировать голову квадратиками, под шахматную доску.

Как символ мысли. А глаза оставить. Коммунист должен хорошо видеть. Пусть смотрится в зеркало, пусть видит, как на него будут смотреть люди, как будут плевать ему в лицо. Он должен это видеть.

Муштаков говорил, задыхаясь, и его слушали такие же, как он, а перед ними лежал израненный и избитый человек, пытающийся подняться, и действительно улыбался. По мере того как говорил Муштаков, люди успокаивались, будто утолялась их жажда мести. Она на самом деле утолялась, ибо все сказанное было им по душе и наполняло их радостью, и они все более расплывались в улыбке, потому что знали теперь, что им делать с этим человеком. И они сделали это. Сделали по всем законам медицины, под наркозом.

Наркоз применили тоже по просьбе Муштакова.

Он сказал, хорошо бы, конечно, без наркоза, но трудно закрепить губы, чтобы они не дергались, когда будут резать, а то улыбка может получиться некрасивойг да и побрить голову, а потом вырезать аккуратные квадратики, если человек будет дергаться, трудно и потребует долгой возни с ним.

Мы сидели в отдельной квартире Муштакова на окраине Бад-Хомбурга, и он рассказывал, поглаживая двух кошек, сидевших у него на коленях, отрываясь от них для того, чтобы налить и выпить очередной бокал пива, и никак не мог понять глупость врачей, запретивших мне употреблять этот чудодейственный напиток. Говорил спокойно, временами монотонно или вдруг возбуждаясь. Едва уловимо слышались нотки хвастовства своей изобретательностью.

Думаю, мне удавалось не выдать закипавшего в груди. Старался, чтобы окаменели, не проявились естественные человеческие чувства. Он продолжал рассказывать. Я продолжал слушать.

О том, что стало с комиссаром, Муштаков не знал.

Помнил лишь, как самого его подкосил тиф в деревне Кисловка под Херсоном. Его бросили где-то по дороге на маленьком хуторе. Ухаживала за ним совсем молоденькая сестра милосердия. Помнил неотчетливо - то она дает ему попить, то просто сидит рядом.

Потом снова картины прошедшего обрели ясность, видимо

после кризиса. Сестры уже не было. Он лежал в сарае на сене рядом с парнем, у которого на голове и на груди были грязные и ржавые ог крови бинты.

Звали его Коля. Хотя с трудом, но передвигаться он мог. Когда Муштаков пришел в себя, Коля стал кормить его, приговаривая:

- Держись, хлопец, я ж тебе говорил, вот и полегшало. Теперь на поправку пойдешь. Еще и беляков проклятых будем душить. Всех до одного передушим.

Владимир Муштаков не перенес ни одной детской болезни. Родился крепышом, рос богатырем, с мальчишеских лет легко клал на лопатки не только сверстников, но и многих кадетов постарше себя. Ширококостый, широкий в плечах, большого роста, он всегда был здоров, как бычок. И теперь силы возвращались к нему быстро. А Коле становилось хуже. Он рассказал, что находятся они возле одинокого домика лесника, где осталась только одна дряхлая старуха.

- То приходила часто, приносила воду и кое-что из жратвы, а вот уже третий день не показывается, видать померла... Вон там, в тряпке, на полочке остался кусок сала, дотянись сам, Володя, мне уже невмоготу.

Муштаков поднялся, поел с аппетитом, хотя и без хлеба. На следующий день выбрался из сарая в своем грязном белье, потому что другой одежды не было.

Дотащился до хаты лесника, только никакой старухи там не оказалось. Стая крыс метнулась в стороны.

Без труда нашел запасы сухарей и гороха. Поел, напился из бочки, стоявшей рядом с колодцем, отдохнул. В доме, конечно, лучше, чем в сарае, но из-за крыс решил не оставаться. Разыскал подходящие штаны, рубаху, какой-то лапсердак. Набил карманы едой, захватил чайник с водой и отправился в сарай.

Коля смотрел на него, пока он выкладывал принесенное на ту же полку, где лежало сало. Потом сказал:

- Мне уже не подняться, Володя... Там в кармане документы и адресок, напиши матери... А мне водички...

- А беляков проклятых как же, Коля? Душить?

- Души, Володя, и за меня души.

- А как душить? Вот так? - И протянул руки к Колиной шее.

Можно бы, конечно, и не душить, сам помрет, да кто знает - вдруг выживет. И душить-то... Чуть прижать - и все.

Закончив с этим делом, Муштаков вытащил из Колиного кармана документы и лег спать. Утром, захватив все запасы еды, направился к большаку.

* * *

Он шел по деревням, видел, что война окончилась, видел, кто захватил власть, и не мог верить ни глазам своим, ни ушам. Понимал - долго так продолжаться не может. Потому и взял направление на родные места. Путь не близкий, добираться недели две, а к тому времени кончится эта темная власть. Кое-где на него смотрели подозрительно, требовали документы, и он предъявлял Колины справки и говорил правду: воевал, перенес тяжелый тиф, помогла выжить старушка крестьянка, а теперь пробирается домой. Людям не верилось, но возиться с ним некогда, да и как выяснять личность, если он бог знает с каких краев на Смоленщине, а задерживать просто так оснований не было.

Махнув рукой, его отпускали.

Однажды близ деревни Музыковка, километрах в ста от Херсона, шагая по проселочной дороге, встретил тащившуюся двуколку. Она проехала мимо, и тут же он услышал:

- Володя! Вы ли это?

Медленно, опасливо обернулся и увидел врача их поместья. Криво ухмыльнувшись, сказал:

- А я теперь не Володя, я крестьянский парень Николай Устюгов.

Врач грустно покачал головой:

- Какой вы крестьянский парень! Послушайте свою речь, посмотрите на свои руки. Разве так говорят эти неучи? А в поле пошлют? Вы же не знаете, как хомут на лошадь надеть... Садитесь, - и он подвинулся, освобождая место рядом.

Врач тоже не верил в силу Советской власти. Не надолго это. Но, пока она держится, надо удержаться самим. Надо смириться.

- Они знают, кто я, - сказал врач, - поверили, будто в белую армию попал по мобилизации. Сейчас у меня два района, я честно лечу людей, и они это видят, еще больше верят мне. Я засвидетельствую, что вы работали счетоводом. На такую должность охотно возьмут. У них ведь совсем нет грамотных людей. Обоснуетесь на одном месте, а там видно будет.

Так Владимир Муштаков стал счетоводом в сельской кооперации. И с первого же дня завел тетрадку, которую носил под рубахой за поясом. Повинуясь наставлениям врача, работал старательно, держался скромно, ни в какие споры не лез, а если его о чем спрашивали, отвечал дельно, советы давал разумные, на своей точке зрения не настаивал. Спустя несколько месяцев его послали на финансовые курсы, а по окончании их назначили младшим бухгалтером в кооперации крупного районного центра.

Шли дни, месяцы, годы. Он получал грамоты и премии, его повышали в должности, еще дважды посылали на краткосрочные

курсы, пока не назначили главным бухгалтером херсонской "Укркоопспилки".

За все годы Муштаков ни разу не усомнился в скорой гибели Советской власти. Во время нэпа показалось, что гибель уже пришла, но вел себя по-прежнему, ничем не выдавая радости Подобные же ощущения пережил в начале коллективизации, когда кулацкие вылазки воспринял, как начало всенародного восстания. Потом его радовали государственные решения о крупных стройках и колхозном строительстве, радовали первые пятилетки. Эти планы, их масштабы, конечно же несуразные, нелепые, безоговорочно обреченные, неизбежно приведут к катастрофе экономической, а значит и политической.

Каким бы ни было внутреннее состояние, он ничем не выдавал его. Со всеми был вежлив, с начальством предупредителен, но не угодлив. Бывшие сослуживцы Муштакова, с которыми я разговаривал, особо отмечали ею спокойный, уравновешенный характер. Не было случая, чтобы он вспылил, разгорячился или повысил голос.

Он сам убирал свою холостяцкую комнату и стирал, сам готовил завтрак, обед и ужин. Утром жарил большой кусок свинины и картошку с салом или чтолибо в этом роде, ел плотно, до отвала. С собой брал два тоненьких аккуратных бутербродика на второй завтрак, съедал их во время обеденного перерыва, запивая чаем, который тоже сам кипятил и заваривал.

После работы разогревал дома на электроплитке приготовленный с вечера обед, сытный и обильный.

Он сам занимался хозяйством не из экономии.

Жадным Муштаков никогда не был, денег не жалел, да и хватало их с избытком. Ему отвратительно было идти в общую столовую, он не мог обращаться с просьбами к этим поломойкам, разговаривавшим с ним, будто с равным. А их еще и уламывать надо, слушать, как они кочевряжатся, и он боялся не выдержать, когда так хочется дать пощечину.

Служебные дела проходили, как за туманной дымкой. Подлинная жизнь начиналась поздно вечером.

Полнокровная, интересная, приносящая огромное удовлетворение. Вернувшись с работы, Муштаков брался за хозяйственные дела, плотно обедал, чтобы потом уже ничто не мешало главному. Перед тем как заняться этим главным, запирал дверь на два оборота ключа, проверял, хорошо ли затянуты тяжелые шторы на окнах, подтыкал их с боко". Затем открывал заднюю панель радиоприемника, откуда давно удалил механизм, извлекал свою бухгалтерскую книгу и начинал священнодействовать.

Прежде всего надо занести последние данные. Новые назначения на ответственные посты, новые люди на выборных должностях, новые сведения о тех, кто уже значится в книге. Теперь не одна строчка отводилась для каждого, как в тетрадке, а две большие страницы. Особенно интенсивно приходилось работать в дни выборов в местные и Верховные Советы, в суды.

Он выписывал из листовок с портретами именно те места, которые и там особо подчеркивались: "Верен делу Ленина", "За героизм, проявленный в гражданской войне, награжден орденом Боевого Красного Знамени", "Активно пропагандирует идеи партии"...

Подобные обвинения он нумеровал и, когда их собиралось достаточное количество, учинял суд. Официальным тоном задавал вопросы обвиняемому, сам отвечал на них униженно, жалобно, как и положено преступнику, сам оглашал решение присяжных и приговор. Приговоры были разные - от розог до повешения, от шпицрутенов до расстрела.

Покончив с судебными делами, переходил к самому сладостному. Закрывал книгу, ласково поглаживал ее, сжимал в руках, и сами по себе в истоме смежались веки. Нет, это не списки людей, не перечень их преступлений, это они сами, живые, тепленькие, поверженные, его пленные, согнутые им в дугу. Они в его власти, и он может с ними делать все, что хочет.

Каждый день кто-либо из руководителей высказывал мысли, которые он воспринимал как личное оскорбление, хотя непосредственно ему они не адресовались.

Подобные же мысли и преступные планы находил в местных газетах. Пусть ответят теперь за это.

Он открывал книгу на соответствующей букве алфавита, находил нужную фамилию и, тыча в нее пальцем, презрительно цедил:

"Ну, повтори, милейший, что ты сказал, повтори...

Да не дрожи так, падаль!.. А-а, трепещешь, на колени становишься, башмаки целуешь, сволочь... Стой прямо, гадина! Нет, не вставай, на коленях стой прямо...

И не реви, гнида, а то сейчас же задушу собственными руками... А ты что ухмыляешься, - щелкнет по другой фамилии, бросившейся в глаза. - Сейчас и до тебя очередь дойдет, ничтожество!"

Он наслаждался своей властью над людьми, заключенными в книге, все больше воспаляя себя, а вдоволь наизмывавшись, одних сшибал ударом ноги, у других, как ему казалось, более наглых, выкалывал глаза, тыча иголкой в буковки фамилий.

На следующий день, встречая свои жертвы, слушая их

почтительно, продолжал мысленно торжествовать: "Говори, говори, давай свои указания. Ты же еще не знаешь, ты ведь только труп, висящий на дереве... А ты можешь не смотреть, у тебя остались одни глазницы. Ты это очень скоро поймешь..."

Только месть, беспощадная, жестокая, ежедневная, давала Муштакову силы жить в ненавистном ему мире и за долгие годы ни разу не сорваться, не выдать себя.

Это не моя точка зрения. Так сказал мне Муштаков. Но почему он это говорил? Почему такой оголенный цинизм саморазоблачения? Что заставило его?

Муштаков глубоко и искренне верил в бога. Все, что делал в юности, веление бога. Всевышний обрек его долгие годы сидеть согнувшись за бухгалтерскими отчетами, когда хотелось стрелять, строчить из пулемета, пока не накалится ствол, рубить, крушить, резать. И господь вознаградил за долготерпение, послав в Белоруссию, где он отвел душу. И все, что делал потом, обучая и засылая в Россию диверсантов, устраивая провокации, освящено небом.

Два года назад чго-то с ним стряслось. Продолжая глубоко верить в бога, стал бояться всевышнего. Так ли понимал волю господню? Не много ли взял лишнего на душу в молодые годы и когда усмирял партизанских жен и детей?

Отошли куда-то его идеалы, за которые боролся, не жалея и своей крови. Он устал, и ему уже ничего не надо на этой земле, ввергавшей его в такие грехи. Он думал теперь о другой жи-ши, в ином мире, куда призовет всевышний. И явиться туда должен покаявшимся и очищенным. Ни одного пятнышка не должно остаться. Значит, надо исповедаться. Исповедаться, ничего не утаивая, ибо все, о чем не скажет на земле, тяжким грузом уйдет вместе с ним в тот иной мир, как страшная улика в обмане бога.

Он никогда не жалел денег, но и не был расточителен. Профессия бухгалтера и скупая жена приучили считать и экономить деньги. Он накопил десять тысяч марок и с гордостью говорил мне о том, что они лежат в банке и приносят проценты. С какой радостью отдал бы их, отдал все до последнего пфеннига, чтобы умереть на родине. Но увы... Он все хорошо понимает. Значит, надо исповедаться здесь, на чужбине. Но перед кем? Русский священник во Франкфурте-наМайне отец Леонид? Но у него грехов больше, чем у самого Муштакова. Блудливый батюшка Леонид, пьяница и отъявленный матерщинник, погубивший не одну доверчивую душу, - примет ли от него господь чистое покаяние!

Нет, открыться надо перед человеком Новой России - гордостью каждого русского, превзошедшей немчуру, англичан и

всех, кто обирал ее когда-то, свысока смотрел на нее. А теперь увидели, что значит наша Россия. Пресмыкаться стали перед нами, подлецы.

Все это объяснял мне Муштаков в первой беседе.

Вроде преамбулы сделал, чтобы я понял, почему выворачивает душу.

Пять из шести встреч с Муштаковым проходили у него в доме. Живет он вдвоем с женой, маленькой, забитой немкой. Она работает не то медсестрой, не то няней в вечернюю смену, и видел я ее только один раз. Квартира у них оригинальная, я не встречал таких. Прямо против входа - большой квадратный проем, примерно два на два метра, а высота от пола до потолка чуть побольше. Это кухня. В ней - двухконфорочная электроплитка, столик, две круглые табуреточки и ниша вместо буфета или шкафа для посуды.

На полу у стены - тонкое стеганое одеяльце размером сантиметров семьдесят по длине и ширине. На нем - кошки. Целый клубок кошек и котят. Возле них - консервные банки с водой и пищей. От этого идет нехороший запах по всей квартире.

Из крошечной прихожей дверь ведет в комнатуметров девять-десять. Этой площади им вполне хватает, поскольку их всего двое. Правда, еще кошки, и жена злится, ворчит, но тут уж ничего не поделаешь, пусть ухаживает, это его последняя радость в жизни.

Кошек он действительно любит. И они его тоже.

Рассказывая, он поочередно гладил не только тех, что сидели у него на коленях, но и мостившихся вокруг него на узеньком новом диване, служившем, очевидно, постелью - среди остального набора ветхой мебели кровати не было.

Я верю, что Муштаков говорил, ничего не скрывая, ибо возлагал на свой рассказ большие практические надежды, связанные с его будущим в ином мире, куда он теперь собирается. И все нынешние его заботы сводятся к тому, чтобы обеспечить себе в том мире приличную жизнь.

Рассказывая о себе, Муштаков не щадил меня. Но обвинять его в этом не могу. Видимо, не понимал, какие удары наносит в сердце, как невыносимо слушать его спокойно. Когда во всех деталях рассказывал, как раненого, умирающего красноармейца, а привести эти детали у меня нет сил, я смотрел на его ру~ ки. Большие, жилистые, натруженные руки.

Да, он не щадил меня, особенно в рассказах о своих расправах над семьями белорусских партизан. И я подумал, что имею полное моральное право не щадить и его. Я спросил:

- Как вы чувствуете себя среди людей? Не трудно ли вам

жить?

Дрогнули скулы, видимо, от крепко стиснутых зубов, и он метнул на меня взгляд, описать который трудно. Должно быть, так смотрел он на тех, кого полосовал нагайкой, кому выкалывал глаза...

Я так и знал. Знал, что он не выдержит.

Но это был лишь миг. Лицо снова обмякло, стало рыхлым, веки опустились. Он молчал.

- Еще один вопрос.

Поднял тусклые глаза, не отвечая, дожидаясь вопроса.

- Как вы спите?

- То есть, в каком смысле? Принимаю ли снотворное?

- Нет, в смысле, не стонете ли во сне, не мучают ли вас кошмары, не вскакиваете ли в ужасе, чтобы разбить о стену голову?

Говоря это, я внутренне подготовился к любому его ответу или действию. Но то, что произошло, ошеломило меня. Схватившись обеими руками за горло, он закричал. Это был не короткий крик и даже не крик.

Он завыл. Широко раскрыв огромный рот, он выл громко, протяжно и страшно.

Из кухни вбежала его жена и, открывая дверцу тумбочки, быстро заговорила:

- Не беспокойтесь, не беспокойтесь, сейчас сделаю укол, все пройдет. Это теперь с ним часто слу"

чается.

Я молча покинул логово.

1974 год

ПОБЕГ ЗА ГРАНИЦУ

Из не очень солидных органов западной печати я узнал в 1964 году о том, что некий молодой человек Виктор Иванович Шешелев сбежал в Японию для того, чтобы бороться против советского строя.

Второй раз его имя всплыло года три назад в связи с шумным судебным процессом во Франкфурте-наМайне по какому-то уголовно-любовному делу, где он выступал в качестве главного героя. А потом он сам рассказал мне в Бонне свою историю.

Говорил, на мой взгляд, откровенно, касаясь порой глубоко интимных вопросов, поэтому я спросил, не будет ли он возражать против опубликования нашей беседы. Он ответил: "Это можно, это пожалуйста", но только чтобы я не растолковывал его слов по-своему, а писал точно как он говорил.

* * *

Я родился в тридцать шестом году в селе Каменка Тюменской

области Тюменского района. Меня часто били. Может, за то, что неохота было учиться, а скорее потому, что отец не просыхал. Правда, и в трезвом виде бил. Невезло мне в жизни с малолетства, потому что невезучим родился. Все-таки за шесть лет учебы до четвертого класса дотянул. Что же, думаю, так себя мучить. Бросил к черту школу и без малого два года жил свободно, без нагрузок. Но и на шее отца не сидел. В нашем колхозе бесхозяйственность тогда была полная, что хочешь, то и бери. Я и приносил каждый день... Ну, не так, как некоторые, - целыми мешками, а чтобы вполне пропитание обеспечить. Потом в нашем колхозе дела пошли на поправку, стало мне труднее. Ну, сам себе думаю, пора профессию понадежнее искать. Подался в Тюменское железнодорожное училище. А медицинская комиссия не пропустила, так как я не был развит ни физически, ни умом.

А я так и думал, что опять не повезет. И тут стало внутри у меня все больше разгораться: зачем я родился? У каждого человека есть такое распределение заранее. Что ему положено, оно само выбьется наружу. И каждый сам в себе понимает, кем он должен стать и какие внутри у него силы. Учись не учись, а если ты, к примеру, не родился художником, нипочем рисовать не будешь. А самые знаменитые художники без образования выходят. К примеру, Рубенс - это я уже потом, за границей узнал - был совсем неграмотный. На своих картинах он вместо подписи белую лошадь ставил. Что ни нарисует, обязательно лошадку присобачит.

Вот так и я. Большую в себе силу чувствовал, только не художника или там музыканта. Меня путешествия с приключениями стали заманывать, как у разведчиков. Ездил бы из одной страны во вторую, в города с небоскребами и другой шикарностью, летал бы из края в край по всей земле и по морям-океанам, чтобы посмотреть все державы и государства. Вот в этом и была моя внутренняя тяга и сила, чтобы оторваться от невезения. Эх, будь я разведчиком, такое бы сделал. . Ну, ясное дело, чуток подучиться надо, машины заграничные водить, фотографировать, шифры там разные по радио передавать.

На то и школы такие есть, где обучают всяким приемам. Обучат как следует, дадут заграничный адресок и пароль, которые в голове надо без записей помнить, и будьте любезны - на аэродром без провожатых. Задание, скажут, на месте получите. А там и начнется инкогнито. Едешь, вроде тебе ничего не интересно, а сам примечаешь, где какой завод, фабрика, аэродром и другие дела, которые по тайному заданию на месте дадут. Чтобы подозрения не вызвать, на ночевку в самые дорогие гостиницы заезжать, питание принимать в шикарных ресторанах

и тоже не зевать, незаметно приглядывать что к чему.

Ну, стал я расспрашивать, где находятся школы разведчиков, а сам время не терял, начал готовиться.

Я и раньше любил кино про разведчиков смотреть, а теперь по второму кругу пошел. Не просто по любопытству, а примечать, где какие они ошибки делают, когда проваливаются. И все думал: как же здорово там, за границей, машины какие, а квартиры, когда цветные фильмы, - хоть стой хоть падай.

Расспрашивал людей про школы разведчиков, а они только улыбаются, никто не знает. А один говорит:

"Чудак ты, парень, зря стараешься. В такие школы заявления не подают, надо, чтобы они сами тебя заметили и сами определили".

А как же они меня заметят? Может, их и нет здесьг может, они в Москве сидят... Безнадежное получается дело.

Вот так и произошло мое главное разочарование в жизни.

Не стал я больше спорить с отцом и устроился в Тюмени в ФЗО No 8, как он хотел. А какая может быть учеба, если по насилию пошел, да еще не в ту группу, куда сам хотел. Все-таки выучили меня на судоплотника и послали в Тюменский судостроительный завод.

Послали, а у меня раз оно внутри сидит, наружу все сильнее пробивается. Столько я про заграницу передумал, что отказываться от нее, вижу, нет расчета. Махну, думаю, туда, а смотришь, какой-нибудь случай и выведет в разведчики И про эту мечту думал и днем и ночью, и не давала она мне покоя и разворачивала душу. Мечту свою от всех прятал, только один раз за столом сказал про нее, а мать ударила меня ложкой по лбу и сказала: "От тебя, дурака, ничего умного не дождешься". Ни мать, ни другие не понимали мою душу, и я стал молчком пробивать дальше свою жизнь.

Из Тюмени уехал во Владивосток и пристроился плотником на Дальзаводе. Поработал немного и перебазировался в Дальневосточное пароходство. Нет, думаю, не такой уж я дурак, если тайком сумел так быстро к цели приблизиться. Взяли меня матросом, значит, в плавание пойду за границу. Еще раз пожалел, что не стал разведчиком, - вот ведь как я сумел тайно действовать.

Отправился в рейс, а судно оказалось каботажным, дальше своих портов не ходит. Ну, сам себе думаю, не такой я дурак, чтобы сразу в загранку проситься. Стал терпеть, пока сами пошлют. А тут беда, про которую я и не подумал. Пришла осень - и забрили меня как миленького в армию.

Пережил я тогда немало, вспоминать не буду. Всякие

бродили мысли. И додумался до того, что, может, и хорошо это, что в армию. Отслужу, думаю, в ракетных войсках гвардейских, приеду домой весь блестящий в знаках различия, выберу себе девушку из тех, что полюбят меня, женюсь и заглушу любовью свою мечту о заграница.

В армии я попал в караульный взвод и охранял склад со старыми автоматами ППШ, и за плечами у меня был такой же старый ППШ. Старшине я почемуто не понравился, и все чаще посылал он меня на кухню посуду мыть. А там повар придирался: и то ему не так, и это не так, и вроде не все ему равно, в какие кастрюли наливать щи. Одним словом, сплавили меня в рабочий взвод, а там определили в кочегарку. Здесь уже особой чистоты не требовалось. Что они там про меня думали, не знаю, только комиссовали раньше времени, а чтобы вернее сказать, сократили из армии за год до срока.

После армии уехал в Таганрог, поработал месяца два и направился в Тюмень. Ни в Таганроге, ни в Тюмени никто меня не полюбил, а также я никого не полюбил. Хотя не знаю и утверждать не берусь, но, как мне показалось, счастья я не нашел, потому что невезение как клещами в меня вцепилось, и, чтобы оторваться о г него раз и навсегда, один выход остался, какой я раньше наметил, - уехать за границу. Для этой цели прибыл во Владивосток и поступил матросом в Дальневосточное пароходство.

Приняли меня без рассуждений, как-никак уже работал у них, от них в армию ушел, про то, как служил, им неизвестно, и полное мне доверие. Сразу на судно дальнего плавания назначили.

А дальше все как в сказке. Жизнь ко мне все задом стояла, а тут лицом обернулась. Выясняется, что в Японию идем. Ну, сам себе думаю, держись, Витя. Прибыли в Токио, и в первый же день стоянки отпустили в город на четыре часа. Правда, не одного, а пять человек, и старшего назначили. Так все кучкой и ходили.

И вот тут-то я окончательно удостоверился, что мечта моя была правильной. Бог ты мой, что в этом городе Токио! Глаза разбегаются, и не знаешь, куда смотреть. Машины - как волны в море. Колышутся по всей ширине и длине, магазины такие, что дух захватывает, хотя и день был, а огней разноцветных столько, будто радуги поразвесили. И девушки молоденькие, красивенькие, так ласково смотрят и знаки делают, зовут, улыбаются. И закружилось у меня в голове от этой шикарности, и иду я как контуженный, а сам себе думаю:

только бы не выдать себя, чтобы старший ничего не учуял.

Заходили мы в разные магазины, но все кучкой, и затеряться

от них не получалось. А я все сам себя успокаиваю, потому что хотя не трус я, а в дрожь меня все-таки бросало и очень потел. Для виду и я что-то стал покупать, а время уходило, и старший сказал - пора возвращаться. Ну, думаю, завтра я уж по-другому буду действовать. А завтра не получилось. Под утро снялись в свой порт. И еще два рейса неудачных было, пока не перевели меня на "М. Урицкого". В Находке взяли иностранных туристов на Олимпиаду в Токио. Туда шло пять наших судов с пассажирами, которые останутся жить на судах, пока идет Олимпиада.

Тоже и наш "Урицкий". Значит, стоять будем долго и момент высмотрю, спешить не буду.

В Токио на первую прогулку отправились четверо.

Старшим назначили пятого помощника капитана. Это помощник по пожарной части. Он из новеньких, в Японии не был. И две девушки с нами были из судового ресторана, тоже новенькие. Я им и говорю: "Город я хорошо знаю, сто раз бывал тут. Я вам самые красивые места и самые дешевые магазины покажу".

Это я не просто говорил, а с полным сознанием. Как только посадили мы туристов, им планы Токио выдали. Где какие улицы, площади, стадионы - все помечено. А самой сильной краской все посольства всех стран выделили. И на каждом флажок нарисован. Вот такую карту я и раздобыл и все свободное от вахты время изучал ее в гальюне. У нас на судне плакат такой висел - флаги всех стран мира. Вот посижу, поизучаю флажки, потом с плакатом сверяю. Так я раскрыл, что самое близкое к порту это посольство Америки. Сто раз прошел по карте все улицы и переулки _ до него, где направо повернуть, где налево - все зарубил себе.

Вот в тот район я и решил, как Сусанин, завести группу. Ну, они пошли за мной, а все получалось не по - карте. Там было ясно, а тут перекрестки какие-то, но все-таки где-то поблизости оно должно уже было появиться. И тут я говорю: "Давайте зайдем в этот маленький ресторанчик, тут посидим, перекусим, музыку послушаем". Дальше получилось, как я задумал. "Что ты, говорят, психованный, что ли? Что тебе, на судне мало еды или музыки, чтобы на это валюту тратить".

На такой ответ я весь расчет и тактику строил. Ну, говорю, как хотите, а у меня желудок больной, мне надо по часам питание принимать, как раз сейчас время.

Договорились, что они пройдутся по улице и через полчаса встретимся у этого ресторанчика. Вот так я их и обвел вокруг пальца. Зашел, выпил стакан молока, выглянул, а они уже далеко были. Я и метнулся в другую сторону, свернул в переулок. Побегал с полчаса, совсем заблудился, и только сердце стучит. Ч

го делать, не знаю, а тут смотрю - такси. Остановил ею, сел, достал карту туристскую - я ее с собой брал - и ткнул пальцем в американское посольство. Сам молчу, чтобы не понял он, что я русский.

Шофер был старый, надел очки, стал смотреть, я еще раз ему пальцем показал. Он понял, тоже молча вернул мне карту и поехал. Оказалось, посольство совсем рядом, метров пятьсот. Я ему все-таки сто иен заплашл и вышел. Надежная ограда, два японских полицейских у ворот, а во дворе сада на здании громадный флаг - звезды и полосы, как на плакате судовом, только большой очень, больше наших знамен раза в четыре.

И тут что-то со мной стряслось. Нашел же, что искал, радоваться надо, а мне страшно стало. Ну, не так страшно, как если судно гибнет или там бандиты напали, этого я бы не испугался. А тут дух стало забивать, вроде дышать нечем. Будто не думал про это все время, не готовился, а только что такая мысль в голову ударила. И сил нету сразу идти туда. Быстро так в сторону направился, виду не подаю. Точно не скажу, не помню, но вроде вертелось в мозгах: "Что я, сдурел, что ли?" А вернее сказать, не было никаких мыслей окончательных. Перешибали они одна другую, и ни одна до конца не доходила.

Помню, когда первый раз попал в Токио, спустился по трапу, вышел на пирс - вот тебе и заграница. Судно мое, советское, трап мой, а пирс уже по другим законам живет. Спустился на этот пирс и разницы никакой не почувствовал. А тут перед воротами - уже на чужой земле, а все-таки еще дома я, а один шаг за ворота сделаешь по той же самой земле - и уже на всю жизнь другая судьба-дорога. И судно на веки вечные чужое, и к трапу не подпустят.

Пошел, значит, в сторону, а далеко не ухожу, круги возле посольства делаю. Сколько ходил - не знаю, может, пять минут, может, полчаса, о чем думал, тоже не знаю, только спохватился, что со спиной у меня что-то не так. Повел плечами и понял: она не то чтобы вспотела, а вся рубаха насквозь мокрая и прилипла к спине.

Тут и в голове прояснилось. Все-таки, думаю, невезение стало меня немного отпускать. Ребята на судне хорошие, дружные, меня уважают, девчата тоже, веселые, шумливые, их у нас много было - ив ресторане, и в других службах. Самодеятельность хорошая, я в хоре пел, и тоже не на последнем месте. Друзьями обзавелся, в своем порту во Владивостоке в "Золотой рог" ходили вместе посиде!ь, потанцевать. Ну ее, думаю, к черту, эту Америку.

Думаю, а самого скребет. Зачем тогда мучился тайно, готовился? Почему отказываться от путешествий и приключений,

если уже с таким трудом своею добился - вот они, все дороги, открылись. И опять про ребят подумал и в последний раз махнул - не пойду, вернусь на судно. Пошел было, но стал, как в стену уперся: а что мне теперь первый помощник капитана скажет, который пропуск в город выдавал? Это японские пропуска, их на всю команду дали. Может, не поверит, что я просто заблудился? Может, подумает, нарочно от группы отстал, чтобы сбежать с судна... И я повернул к воротам.

Полицейские остановили у входа, что-то спрашивают. Я им пропуск показал, они повертели его, посмотрели на меня и показали на дом: мол, можешь идти. Прошел по дорожке, поднялся на ступеньки, открыл дверь. Помещение большое, в коврах и люстрах, напротив широкая белая лестница. Справа солдат, слева за столиком девушка. Направился к лестнице, а девушка задержала, вопросы какие-то задает.

Я ей тоже пропуск предъявил. Она смотрит и вдруг вся заулыбалась: "Русский, русский" - и побежала к шкафчику. Она немного русский знала. Достает карту Токио и ноготком своим длинным в одно место тычет и объяснения дает наполовину по-русски, наполовину по-своему: ошиблись, говорит, вам вот куда надо, вот русское посольство, а вы вот куда попали и все ноготком, ноготком красненьким тычет. А потом ведет свой ноготок по карте зигзагами, путь мне в наше посольство прокладывает.

Смотрю я, рот облизываю, а он сухой и шершавый, будто пленкой клеевой покрыт, и она вся чисто потрескалась. Хочу глотнуть, а глотать нечего. Последняя, думаю, распоследняя надежда домой вернуться.

Может, это моя судьба ноготком водит. Может, это не в посольство, а в жизнь мою дорога прокладывается.

Может, и правда пойти туда и сказать: так, мол, и так, заблудился, помогите поскорее на "Урицкого" попасть, а то скоро на вахту заступать... А вдруг видел кто, как сюда заходил? На явку, подумают, являлся...

Пока стоял я как тупой, она переводчика вызвала, что-то пролепетала ему, а я так и выпалил: "Не ошибся я, сюда шел".

Повели меня куда-то, а я все стараюсь по бровке ковра без нажима ступать, чтобы не затоптать его. Посадили к столу, напротив - посол или консул, в точности сказать не могу, не знаю. Переводчик рядом.

И спрашивают меня, кто такой, откуда и зачем пришел. Я все объяснил как есть на самом деле; матрос, мол, но хочу жить и работать за границей, лучше всего в Западной Германии, но согласен во Франции или Италии.

Улыбнулись они и спрашивают, кем бы я хотел работать. Плотником, отвечаю, маляром или матросом.

Они опять заулыбались: "А что, у вас такой работы кету или вы плохо жили?" Почему же нету, говорю, работы сколько хочешь, и жил в последнее время хорошо. "Тогда, мистер Шешелев, - говорит этот посол или консул, вам здесь делать нечего, и мы доставим вас на ваш пароход или вызовем сюда вашего капитана, объясним, зачем вы сюда являлись, и пусть сам забирает вас".

Сказал он эти слова, и теперь не спина, а все лицо, чувствую, потом покрылось. Вижу, будто поднимаемся мы с капитаном по трапу на "Урицкого", а весь экипаж, и коридорные, и буфетчицы - все высыпали на палубу и смотрят, как мы поднимаемся. А капитан говорит: "Вот он, полюбуйтесь, предатель и изменник Родины". А они не любуются, каждый будто в лицо хочет плюнуть или в морду дать.

Увидел этот посол или консул мое внутреннее сотрясение и говорит: "Чтобы остаться за границей, надо политическое убежище просить. Нужны объяснения серьезные и обоснованные. Например, притеснения со стороны властей, гонение на вас или родителей, родственников, аресты, тюрьма, а главное, что вы не согласны с советским режимом и с коммунизмом".

Вот, выходит, как дело оборачивается. Ни назад хода нету, ни вперед. В дрейф ложиться надо, куда волна вынесет.

Все-таки собрался с силами и говорю: "Если иначе никак нельзя, делайте как надо, а мне уже все равно".

Потом за мной приехали японцы из министерства иностранных дел и других органов. Они увезли меня в отель и поставили в комнате штатскую охрану, чтобы меня не украли советские агенты или кто-нибудь другой.

Утром пришли другие люди и дали подписывать какие-то бумаги. Стоп, сам себе думаю, какие это такие еще бумаги, а сам иду, подписываю. Да стоп же, сам на себя кричу, куда ж меня водоворот закручивает? А они только подсовывают, а я все подписываю не глядя, как в кинохронике на международных договорах. После заполнял формуляр и отвечал на вопросы.

Мне показывали разные графы и говорили: "Вот тут пиши "да", а тут пиши "нет". Я так и делал. А дальше я мало что помню. Каждый день меня куда-то возили и расспрашивали про заводы, фабрики, про Владивосток и Находку и особенно про службу в армии. Ну что я им мог сказать, когда я ничего не знал. Про старые ППШ сказал - не верят, про то, что ничего не знаю, - тоже не верят.

На второй или третий день кто-то постучал в дверь не по-условному. Меня быстро затолкали в ванну, и со мной остался

один из охраны. Выяснилось, что меня ищут журналисты, чтобы я подробнее рассказал про коммунистический ад, о чем было с моих как будто слов сообщено в печати. Часов в пять утра меня подняли, вывели черным ходом и увезли в другой отель.

Здесь за чашкой кофе текла у нас непринужденная беседа. Меня спросили, могу ли я перечислить фамилии всех членов экипажа и сказать, кто чем занимается. Я не мог, так как было много новеньких. Тогда мне дали судовую роль всех членов команды, и я отметил ребят, которых знал. Потом принесли целую гору фотографий. Здесь были карточки всех членов команд всех пяти советских судов, стоящих в Токио, а также спортсменов и туристов, живших на судах, Также были сфотографированы все японцы, посещавшие советские суда, - и гости, и чиновники, и все, кто ступал на борт этих судов. Мне велели отложить снимки тех, кого я знал. Я так и сделал. Они стали расспрашивать о каждом из них.

Потом мне сказали, что представители экипажа "Урицкого" хотят со мной поговорить, и велели подписать бумагу, что я отказываюсь. Хорошо, что велели отказаться. А вдруг заставили бы встретиться! Что говорить им? Куда глаза прятать? Может, первая та была бумага, какую я охотно подписал. Еще несколько дней допрашивали, им не верилось, думали, просто под дурака играю. Когда убедились, что толку от меня мало, передали западногерманским немцам. Перед этим переводчик по-дружески сказал мне: "Американцам ты не нужен, в Японии тебя тоже не оставят, поэтому постарайся понравиться немцам. А они очень подозрительно к тебе отнесутся".

В посольстве ФРГ меня посадили за круглый стол, было много людей, и я думал, как мне отвечать на их вопросы. В это время быстро вошел их главный, все расступились, и он строго сверлил меня своими глазами и так быстро задавал вопросы, что я не успевал отвечать. Потом так близко наклонился ко мне и сказал резко, как приказ: "Тебе надо вернуться назад".

Я не ждал такого, но быстро сообразил, что это игра, которая входит в их политическую логику. Им выгодно на весь мир шуметь, что советские моряки бегут в ФРГ. Не такой я дурак, чтобы не понять, чего они хотят. Поэтому вскочил и закричал: "Нет, не вернусь!" Они заулыбались, стали успокаивать, говорить, чтоб не боялся, никто меня коммунистам не отдаст.

Что же я делаю, думаю... А, черт с ними! Они пятьдесят лет так шумят. А в моем-то положении еще думать о чем-то...

Тогда и наступил главный вопрос: почему хочу именно в ФРГ и что я о ней знаю. А что я знал о ней?

Ничего хорошего, только плохое. И вдруг стоп, сам себе

думаю. Вспомнил последнюю полт информацию на судне. По ней прямо и пошел. Правительство Эрхарда, говорю, ведет борьбу с коммунизмом не на словах, а на деле. Вот запретили компартию и другие их органы, многих коммунистов посадили в тюрьму.

Это, говорю, хороший пример от Гитлера, он тоже так начинал, и его поддерживал весь германский народ.

Гитлер, говорю, каждому человеку дал хорошую работу, не стало безработицы, а проиграл войну только случайно... И тут один недоделок перебивает меня и спрашивает: "А ты нормальный? Ты один такой в Советском Союзе или еще есть?" Эти слова показались мне обидными, но я помнил предупреждение переводчика, обиды не показываю, говорю: "Вполне нормальный, и. не я один такой".

Больше в тот день меня не трогали, зато за несколько дней потом всю душу выворотили своими вопросами. Снова отвезли к японцам и там сказали: "Сейчас у тебя будет встреча с советским консулом. Отказаться никак нельзя. Но ты не бойся, будут наши представители и охрана. Разговор будет ровно десять минут.

Главная твоя задача вопросов не задавать и молчать.

Десять минут как-нибудь потерпишь". Нарисовали план комнаты, вот с этой стороны стола, говорят, консул будет сидеть, вот здесь ты, а тут и тут охрана и другие представители. Потом долго объясняли, что, если поддамся на пропаганду консула, дома меня без суда расстреляют, вроде такой закон есть.

Когда вошли мы в ту комнату, человек десять, консул уже был на месте. Совсем молодой, лет тридцать с чем-то. Вот, думаю, везет людям. А он поздоровался со мной, развел руками и, улыбнувшись, говорит: "Что же так много народу, не подеремся же мы с ним, как думаете, Виктор Иванович?" Нет, говорю, не подеремся.

Ему объяснили, что все это официальные представители. Консул справился о моем здоровье и самочувствии, а также сказал, что вся команда за меня очень переживает и что они все меня ждут на судно.

Я чувствовал и понимал, что консул говорил правду. Я знал, вся команда относилась ко мне хорошо, а может быть, даже с уважением. Я еще не успел ответить, как заговорили разные представители, они вроде упрекали консула за пропаганду. Так в суматохе прошли десять минут, консул успел сказать мне еще одну фразу, которая мне запомнилась на всю жизнь и на каждый день. Я сейчас ее повторю, но, когда прошло десять минут, все вскочили и со всех сторон оттеснили меня от консула и почти что вытолкали побыстрее за дверь.

На другой день - про это я не скоро узнал - всякие газеты и

радио кричали, что бежавший от советского режима матрос оказался стойким борцом против коммунизма и дал решительный отпор советскому консулу.

Потом приезжали по очереди американский и немецкий консулы, чтобы попрощаться со мной и сказать напутствие. Американец объяснил, какая сильная, богатая и надежная страна Америка и как хорошо там живут люди. На прощание сказал: "Помни и знай: Америка всегда за твоей спиной и, что бы с тобой ни случилось, ты найдешь помощь, поддержку и спокойствие". На память он сфотографировался со мной. Потом приехал немецкий консул доктор Шмидт и говорил то же самое про ФРГ и тоже пожелал иметь на память нашу с ним фотографию.

Я понял, что моя жизнь будет обеспечена.

Перед отъездом в ФРГ получаю инструктаж. Сказали, что меня будут провожать торжественно, даже фотографы придут. Должен быть бодрым, глубокомысленно-деловым, в меру веселым. На аэродроме к самолету должен идти быстро, но не бежать, ни с кем не вступать в разговоры, не отвечать на вопросы. Когда поднимусь на верхнюю площадку трапа, спокойно и величественно повернуться лицом к публике, снять шляпу - мне уже выдали ее, хотя на мою голову она не лезла, - помахать ею красиво над головой, потом решительно повернуться и исчезнуть в самолете.

Мне это здорово на душу легло. Так же только в кинохронике провожают важных лиц. Ну, думаю, с этим-то я справлюсь, важности напустить на себя сумею. Инструктаж давали американцы, хотя отправлялся в ФРГ. Эта мысль промелькнула и не задержалась в голове: какая мне разница. Когда мы спустились, меня затолкали в машину в полном смысле, потому что я ослеп от вспышек фотографов. Со мной сели двое, а остальные разбежались по другим полицейским машинам, и на большой скорости, с воем сирен мы понеслись на аэродром. Там я увидел множество полицейских, а также толпу людей. Когда я вылез, меня снова ослепили вспышки, и я пошел не туда. Меня поймали за руку, повернули, подтолкнули в спину. Я торопился, спотыкался, как слепой, натыкался на полицейских, которые направляли мое движение. А я держал на голове шляпу рукой, чтобы ее не сдуло с макушки. ВозUе трапа опять ослепили, и я побежал наверх, чуть не упал, но, как мне было велено, на площадке сделал разворот, размахнулся в воздухе шляпой и, не надевая ее, вошел в самолет. У входа стоял человек, который показал, где мне сесть.

Тогда я не понимал, почему такие проводы, почему столько машин, бешеная скорость, сирены, вспышки фотографов. Спустя

много времени узнал, что это им надо было для печати, для выгоды своего политического акцента как важного борца против коммунизма.

С посадками на Аляске и в Амстердаме, с разными приключениями я прибыл во Франкфурт-на-Майне и был поселен в однокомнатной квартире необитаемого дома на Мендельсонштрассе. Это был конспиративный дом американской разведки. Среди встречавших меня был американец Линдон, говоривший по-русски. Он познакомил меня с американским разведчиком Вагнером, который будет обо мне заботиться. Кто такой Вагнер и что это за дом, я узнал позже, а пока мне запретили выходить из дома, не велели приближаться к окнам, так как русские агенты могут меня застрелить.

Объяснили, на какие звонки и стуки отвечать, пожелали спокойной ночи и ушли.

За столько времени я остался один, и хотя не верил, тому, что они говорят, но стало страшновато. Весь трехэтажный дом стоял как пустой. Так я определил в первые три минуты и так заключил через три месяца, что это только кажется. На самом деле во всех углах тихо сидели люди - или такие, как я, которых прятали, или которые сами прятались, следя за нами. Долгие дни, и ночи, и недели, и месяцы я никого не встретил в этом большом доме и не услышал шороха. Но в тот первый вечер мне показалось, что кто-то сидит за стенами, может, в этих стенах и на потолке устроены глазки, и они поворачиваются за мной, куда бы я ни пошел.

Может, все это чушь, но я рассказываю про это, чтобы вы поняли мое внутреннее содержание. Я подумал: возможно, я сойду с ума или уже стал сумасшедший, - и нарочно стал громко ходить, пошел в ванну, на кухню, открыл холодильник и даже ахнул. Весь он был огромный и полный самыми любыми продуктами питания и бутылками.

И тут я отвлекся от своих мыслей и подумал: вот бы ребята увидели, как я живу, как барин, с креслами, коврами, ванной и таким холодильником, что на весь экипаж хватило бы. А потом опять мне глазки чудились, я резко поворачивался, но ничего заметить не мог. Спал я, как осенний дождик: то идет, то перестает. То дремлется, то спохватываюсь, а то вижу, что лежу и давно не сплю. Когда на следующий день позвонил Линдон и справился о самочувствии, я обрадовался, как родному голосу. Он сказал, что, наверно, я скучаю, потому сейчас ко мне приедет Вагнер. Он и приехал, вежливый, обходительный, веселый, и мне стало совсем хорошо. Он тоже говорил по-русски, мы сделали кофе, и потекла у нас задушевная беседа. Говорили мы на равных,

я тоже старайся и, как он, клал нога на ногу или разваливался в кресле с чашечкой кофе в руках. На столе было много закусок, и опять я подумал про ребят.

Основательно говорил только Вагнер, а я больше прислушивался и имел на его слова свое соображение.

Получалось, что русские агенты стоят чуть ли не у дома и вообще повсюду расставлены и охотятся за такими, как я. А уж если человек сам вздумает вернуться в Россию, его обязательно признают шпионом и без всяких разговоров расстреляют.

Это я вам рассказываю сокращенно, а он про все это во всех мелочах часа три беседовал. Зря только он говорил, потому что я и сам кое-что понимал, а также выходить из квартиры намерения не имел и возвращаться не собирался. Я уже для себя решил без изменений: жилье хорошее, ешь, пей, сколько хочешь, а там видно будет.

На другой день начались допросы. Нет, неверно, допросов не было. Допрос - это когда так строго, официально, с протоколами.. А тут просто беседы.

Про политику, экономику, литературу, комментарии на различные советские газеты, журналы, книги и членов Советского правительства. Сюда также входят различного рода рассказы, анекдоты, женщины, все это последовательно закрепляется пивом, виски, кофе- кто что любит. А потом завершается общим обедом за общим столом. Такие беседы растягиваются на много месяцев. Но тогда я еще этого не знал. Тогда я только в первый раз пожалел, что нет у меня образов вания. И когда заходил разговор о музыке или литературе, говорил, что больше всего люблю Чайковского и Пушкина. Когда же начинали разбираться досконально по отдельным стихам или по мелочам музыки, я выражался общими словами, но думаю, они подозревали, что в этих делах я компетентный неокончательно. Я старался все больше по части анекдотов, и они всегда смеялись. В промежутках мне задавали много вопросов.

Иногда два-три человека сразу задавали один и тот же вопрос только в разных вариантах, или один и тот же вопрос, но разные люди. Беседы были на кваршре, но чаще всего в другом особняке, куда меня привозили на машине, и там нас обслуживала фрау Габбе.

Меня спрашивали про то же, что и в Токио, - о питании на судне, о тревогах на судне, о комсоставе на судне. Потом о Владивостоке и Находке. Какая глубина бухты Золотой Рог, заходят туда или нет подводные лодки, какие ворота бухты, как они охраняются, есть ли там ракетные корабли - и сто раз про одно и то же. Потом велели нарисовать по памяти бухту Золотой

Рог. А я даже не знал, как приступиться. Зря наболтал им, что у меня десятилетка и морское училище окончил. Они ушли, а я стал думать, как рисовать. Думал, думал и здраво и логически сделал полное заключение, что они меня испытывают. Бухта Золотой Рог на всех морских картах есть и, наверно, в разных атласах и учебниках, и они лучше меня знают про эту бухту. А вопросы задают, чтобы проверить, правду я говорю или обманываю. Поэтому на другой день виду не подаю, показываю, что я там нарисовал, и очень стараюсь хорошо отвечать на вопросы.

Они поняли, что я не ловчу и человек честный, и сразу перешли на вопросы, которые им были нужны, а именно про Тюмень. Спрашивали про места нахождения газа, нефти, о научных институтах, лабораториях, о которых я не имел понятия. Потом про заводы, фабрики Тюмени, какую продукцию какие фабрики выпускают, какие настроения, о чем говорят рабочие, о воинских частях, ракетах, училищах, радиостанциях. Не брезговали ничем, даже кинотеатрами, клубами, больницами. Даже глазная больница им зачем-то понадобилась. И где, на какой улице что находится, и какого цвета эти здания, и сколько этажей.

Тюменью они интересовались так досконально и упорно, что каждый дурак уже мог понять, какую агентуру они собираются туда забрасывать. Про Тюмень они мучили меня не одну неделю, а я, как ни старался, толком ничего не мог сказать, потому что был совсем давно. Они заставили чертить улицы, расположения улиц и площадей, реку Туру.

Под конец третьего месяца я уже не мог спокойно разговаривать, потому что они вымотали из меня всю душу и выжали, как сильная прачка выкручивает белье, а потом вытряхнули, намочили и опять стали выжимать.

Исходя из принципа своего возмущения, я пожаловался Вагнеру.

Сказал, что скоро сойду с ума, а точно не знаю, может быть, я уже сумасшедший, и у меня не осталось ни внутренних, ни наружных сил. Сижу, как в тюрьме, дома, или увозят на закрытой машине, как арестованного, на допрос и опять сюда. Я выдавал не стесняясь, потому что долго терпел и знал, что Вагнер за меня заступится, поскольку с самого начала он обрисовал мне хорошую жизнь, про что я ему без утайки напомнил.

Вагнер слушал внимательно, сам молчал и только качал головой, также выражая сочувствие. Когда я ему все выдал как следует, он сказал, чтобы я перестал разыгрывать из себя дурачка и дурачить их. Они меня кормят, поят, одели, обули, им дорого

обходится моя квартира с ванной, а взамен я ничего не даю. Таким сердитым я его не видел, тем более когда он говорил, что я их очень подвел. Они объявляли несколько раз в печати и по радио, что вот такие честные и умные люди, как я, не могут жить в советском режиме и бегут за границу, чтобы бороться против этого режима, и на весь мир напечатали мои заявления по этому поводу, которые я сам написал, а больше ничего не делаю и не борюсь, и тогда неизвестно, зачем я сюда приехал и почему они должны меня поить и кормить.

Я весь закипел, и внутри у меня до самого горла все закипело, но я понял, что переборщил, а выдержка у меня большая, поэтому виду не подал и молча притих.

Он заинтересованно, долго смотрел на меня, а я смотрел в землю, чтобы не повредить стратегию своего молчания. Стратегию я выбрал правильную, и хотя для слов он сказал, чтобы я не становился овсяной кашей, которую можно по тарелке размазывать, а для дела проявил полную капитуляцию. Сказал, что познакомит меня с двумя русскими парнями, такими, как я сам, разрешит ходить к ним в гости и представит самостоятельную работу.

Да, я забыл сказать, что у меня с первого дня все было завалено любого выбора антисоветской литературой - "Русская мысль", "Грани", "Посев" и всякие книги. Были вырезки и из советских газет, но только отрицательные. Один раз другой американец, Андерсон, который велел мне все читать, спрашивает, как мне понравился "Посев". Я честно сказал, что нет, не понравился, потому что они не умеют работать. Конечно, кое-что пишут похожее, а остальное придумывают нескладно или совсем глупо. Андерсону это было обидно слушать, потому что они вкладывают большие доллары. Все-таки, чтобы он не переживал, я дох бавил, что одно направление мне очень нравится как чистая правда. И на самом деле, я его в каждом номере газеты искал и полностью перечитывал, потому что в советских газетах такого ни за что не напечатают.

Я себе даже кое-что на память вырезал. Вот почитайте, вот видите, сбор денег объявили. А кто объявил, посмотрите: "Союз Ревнителей Памяти Императора Николая II и состоящий под Августейшим Покровительством Его Императорского Величества Главы Императорского Дома Комитет по сооружению Лампады у Креста-Памятника Государю Императору Николаю II в Православном соборе в Ницце". А самое интересное, когда они про свои собрания сообщают. Там таких собраний и всяких организаций тьма-тьмущая. Видите: "Объединение Императорской Конницы и Конной Артиллерии", "Объединение

бывших чинов Собственного Его Величества Сводного Пехотного полка"... много таких. А то совсем чудные. Еще живы, оказывается, и тоже собираются, смотрите: "Фрейлины Их Императорских Величеств Государынь Императриц". Смех один, а интересно про это читать.

Про тот разговор с Андерсоном теперь вспомнил Вагчер. Сказал, как я тогда верно подметил, что главные статьи у них получаются придуманными. Они пишут по отрицательным вырезкам советских газет, а из России уехали давно и свои добавки и перекройки выражают таким стилем, какой был в России десятки лет тому назад. Получается мешанина и чепуха. А то, что из головы придумывают сами, забывают, какая теперь Россия развитая, и выходит очень глупо. Потом хотят выкрутиться - и уже совсем ни на что не похоже.

Вагнер говорил, что, хотя я не журналист, у меня должно хорошо получиться, потому что я только приехал. Направление надо держать, как у них, но из собственной жизни, с участием вырезок, и получится как правда. Если я с этим делом справлюсь, он устроит меня работать на их радиостанцию "Свобода" в Мюнхене. А там очень много платят и дают дешевую квартиру.

Я прикинул, что, если он так идет мне навстречу, постараюсь вовсю. Так ему и сказал. На другой день повел меня в одну квартиру, метрах в ста от моего дома, и познакомил с Женей и Иваном, которые там жили с одним американцем. Это были хорошие, грамотные ребята, после техникума и опытные механики.

Они работали не то приемщиками, не то на какой-то стройке или заводе в ГДР, чего-то не поладили со своим же начальником, а оба гордые, и сбежали сюда.

Ну, вместе с Вагнером мы закатили ужин на славу.

Потом стали часто встречаться у меня или у них. Днем я читал антисоветскую литературу, а после двенадцати ночи ходили в ночной бар или на стриптиз. С нами еще был американец, который жил с ребятами, парень хороший, никогда нам не мешал, старался уйти в сторону, чтобы мы не стесняясь разговаривали. А только каждый себе на уме, и разговаривали мы осторожно.

Кто чем занимается, не интересовались. И фамилии не спрашивали. Если один скажет про американцев или немцев положительный пример, обязательно остальные поддержат. Каждый думал: может быть, другой выдает себя не за того, кто он есть, а приставлен для выяснения настроения. Я даже не один раз произносил посевские антисоветские фразы. Так-то оно верней.

Дешевый стриптиз придавал мне отвращение, а на дорогой не

было денег. Ночные бары тоже не завлекали, и я не принимал больше туда приглашений. Всего раза три или четыре ходил. Вечером мы просто гуляли уже без охраны американца.

А потом у меня появилось много новых знакомых, потому что Вагнер или кто-то еще посоветовал сходить в русскую церковь. Маленькая такая деревянная церквушка в районе Индустрихоф. Там собираются эмигранты антисоветской организации энтээсов. Вообщето они не организация в смысле там партии, профсоюза или объединений, про которые я вам в газете показывал. Я потом с ними со всеми перезнакомился. Они просто состоят на службе по выпуску антисоветской литературы и других провокаций. Правда, получают за это много.

За границей такой способ часто применяется. К примеру, числится хозяином фирмы или магазина какой-нибудь чудак, а на самом деле он подставное лицо и только на службе состоит. Настоящий хозяин совсем другой, и по какой-то своей выгоде ему невыгодно раскрываться. Само собой, подставному не зарплату платят, а порядочные деньги.

Так вот и энтээс. Американцам выгодно, чтобы вроде не они хозяева, а энтээсы будто сами по себе существуют. А на какие шиши, спрашивается, им существовать. Всякая их литература, как "Посев" или другие, хотя цена на них проставлена, для торговли не подходят. Никто не купит. Они свою продукцию бесплатно раздают, а тем, кто раздает, комиссионные насчитывают. Одни по-честному советским туристам норовят всучить, или людям в почтовые ящики втискивают, или по почте отправляют. А другие с ходу на далекие свалки тащат, а говорят - раздали, чтобы комиссионные получить...

Ну, пошел я в первое воскресенье в церковь, смотрю, молебен служат. Он заключался в том, что вспоминали различных князей, поминали царя, "многострадальную Россию", перечислялись фамилии больных.

Молебен служил священник граф Игнатьев, он же отец Леонид.

Потом подошла ко мне одна старая бабушка и говорит: "Вы Виктор?" Да, отвечаю, Виктор, а сам думаю: откуда она меня знает? "Ну, пойдемте, говорит, - я о вас слышала". Это была бабушка Горачек, называли ее Петровной. Служба уже кончилась, она меня познакомила со своим сыном Владимиром Еромировичем. Он в "Посеве" самый главный или около этого, с его женой Ниной Викторовной - очень хорошая женщина. Потом, когда меня крестили - я расскажу про это, - она мне сама белую рубаху шила.

С Артемовым познакомила, тоже шишка у них большая, а

потом эта бабушка подводит к графу Игнатьеву и говорит: "Это новенький, батюшка". И его жена, графиня Анна Владимировна, тут же была, ручку мне подает. Она тоже начальница в Толстовском фонде, так он называется.

И думаю я: как времена меняются. Раньше бы графы и князья близко к себе не подпустили, а не то что ручку, а тут заслужил такой почет. Все-таки интересно мне за границей становилось.

В то воскресенье произошло самое главное. В церкви я молодежи не видел, а во дворе были и ребята и девушки - дети энтээсов. Меня со многими тогда познакомили. И вижу вдруг - стоит одна такая красивая, каких я еще не видел. И не то чтобы намазанная, а от природы такая. И фигурка такая же невозможная.

И с ней меня познакомили. И так она на меня ласково смотрит своими глазами, что просто сердце заходится.

Я думал, она русская, оказывается, немка. Родители в деревне, она студентка, все время жила в Мюнхене в семье Мозговых - это тоже энтээсы и подрабатывала на пропитание в "Посеве". Русский язык знает, как мы. Теперь живет отдельно, имеет квартиру.

Вижу, и ей со мной интересно. Мы стали гулять возле церкви, она мне свой телефон дала, просила звонить.

Я стал встречаться с Карин. Так звали ту девушку.

Фамилия ее Локштедт. После третьей встречи я уже видел, что она в меня влюбилась окончательно. Пригласила к себе на квартиру. А там так уютненько, так тепло, как она сама. Приготовила ужин, виски поставила, хотя я не любитель пить, но и сам на всякий случай бутылочку прихватил. А она все хлопочет, все красиво расставляет, и свет в комнате голубой и тихий, верхний она выключила.

Эх, не знал я, какую она судьбу в моей жизни сыграет.

Тогда я первый раз остался у нее ночевать. А утром поспешил домой, потому что мог прийти мистер Вагнер. Он опять был недоволен, что долго пишу. Я честно старался, а никак ке получалось. Тогда хитро придумал одну штуковину. На обратной стороне, где были две заметки и фотографии, оказалась статья Юрия Жукова про НАТО. Я ее переписал и там, где было НАТО, ставил "Варшавский блок". Не подряд, само собой, а чтобы смысл выдержать. По-моему, хорошо получилось, что из-за этого блока весь мир будоражится. Сам бы я, конечно, не дошел до такого, но от посевцев научился. Они всегда с больной головы на здоровую перекраивали. Ну, а чем я хуже, думаю.

Вагнер забрал мое произведение, а дня через три вернул, говорит, написано складно, а лучше бы я про себя писал и про то,

что сам видел-с помощью вырезок.

Прошло еще время, а у меня опять не получалось и некогда было. Меня очень приголубила семья Горачеков, они рядом жили, на Котенхофштрассе. Я приходил туда почти каждый день или с Карин обедали там. Ее все хорошо знали. К Горачекам приходили часто его кореши по службе. Отец Леонид бывал, здоровый такой старик с белой бородой, а пил лихо, как офицер, и матерился здорово. Светланин приходилредактор "Посева". Фамилия ему Лихачев, а Светланин - это по какой-то его бабе, Светлана ее звали.

Живот огромный, руки на живот положит и пальцами крутит то в одну сторону, то в другую. И хихикает.

Он никогда не смеялся, только хихикал. Председателя энтээсов Поремского не раз видел у Горачеков. Этот все больше молчал. Поломает пополам сигаретку, одну половинку обратно в портсигарчик, а вторую в мундштучок. До самого конца докуривал. А потом булавочку вытащит - она у него всегда на уголочке воротника между шовчиком в пиджак заколота - и выковыривает окурок. Теперь его на задние роли Артемов переборол. У них там все время потасовки за главные места. Мне Карин подробно рассказывала. Один раз до того подрались, что два энтээса получилось. И вместо того чтобы антисоветскую деятельность пропагандировать, они друг против дружки пошли. А и без того там тьма эмигрантских разновидностей между собой схватывается. Американцы все-таки нашли выход. Той половине, что поменьше была, чтобы дешевле обошлось, отступного дали и условие поставили: пусть совсем уезжают и больше не вмешиваются. Ну, те не дураки, согласились. Должно быть, немалые доллары отхватили. К примеру, невелик был начальничек Андрей Тенсон. Я его тоже у Горачеков видел, а ему - десять тысяч как на тарелочке. Хитрый мужик, денежки протютюкал и опять приполз. Правда, не то чтобы пропил или там на баб, он себе в Мюнхене бензиновую колонку купил, а сам к делу не приспособлен. Вот и прогорел. В начальники его, само собой, не пустили, а взять взяли. У них на американской радиостанции "Свобода" свой энтээс сидит - Гаранин, к нему в русский отдел и сунули. Теперь он там работает, а к энтээсам сюда за материалами и для связи ездит.

Ну, это я уже в сторону от своей жизни пошел.

Скажу только, что немало я в том котле поварился.

Они ведь меня сразу за своего признали. Должно быть, на мой счет им протекцию Вагнер сделал. Для отвода глаз он мне не советовал с ними связываться, а сам же и направил туда. Они мне особых вопросов не задавали, но я видел, они без вопросов все

про меня знали. А может, Карин какое ручательство дала, я ей все про себя рассказал. А про нее я все больше задумывался. Думал, ей меньше лет, а получилось, она уже десять лет студенткой числится. Учебников или тетрадей у нее не видел, а целый день с утра до ночи все какие-то дела, все торопится и дома не сидит. А если дома, так телефон звонит, хоть провод оторви.

Один раз обедал я с ней у Горачеков, и отзывают меня в другую комнату Артемов и Околович. Тертый мужик этот Околович. На все разведки мира работал и ни разу не попался. Перед войной, говорят, перешел границу в СССР, полстраны объездил и спокойно вернулся. А в войну в смоленском гестапо служил, и тоже не поймали. А приметный он здорово. Росточка совсем маленького, а лицо длинное, нос длинный, с горбиком, и сам сутулый. А вот выкрутился из всех оказий и прочно в энтээсе засел. Ему уже лет семьдесят, а он все шебуршится.

Так вот он и Артемов предложили мне поработать в "Посеве". Нам, говорят, позарез молодежь нужна.

Какую работу делать, не намекают, все больше на деньги ударение делают. Помогать, говорят, вам будет Трушнович, человек опытный, не одного уже в люди вывел. На другой день ко мне сам Трушнович пришел.

Будем, говорит, с вами книгу вашего жизнеописания делать. С самого рождения простого русского парня, который сам перенес муштровку в советской школе, колхозные ужасы, рабский труд на пароходе, недовольство в армии и сам нашел выход - уехать за границу и бороться.

Вон, значит, куда хватили. Сами-то энтээсы как подставная фирма у американцев работают, а меня хотят еще под себя подстелить. А я уже этих жизнеописаний посевских начитался. Такое пишут, что только плюнуть и растереть. И чтобы под таким моя фамилия стояла?

И не для того я приехал, чтобы бороться против своих. Я хотел мир посмотреть, попутешествовать, узнать, где лучше всего живут люди. Правда, наговорил уже с самого Токио немало, только одно дело говорить таким, как они, пусть уши развешивают, а другое - книгу враждебную выдумать. А вдруг она к ребятам на "Урицкого" попадет? Судно ведь по всему миру ходит и сюда очень просто может заявиться.

Они ж меня живого или мертвого найдут и пришибут за любую ответственность. Трушновичу, конечно, про это молчу, а он видит, что я злюсь, и быстренько так прощается. А назавтра опять заявился.

Веселый такой. "Ну что, - говорит, - сегодня начинать будем"; вроде на мой отказ ему наплевать. Я молчу, слова подбираю. А он

меня весело по плечу похлопал и говорит: "Давай, давай, Витя, хватит тебе от американцев подачки принимать да с их рук высматривать каждый пфенниг. Книгу напишем вот тебе и машина, и квартира, и на девочек останется". Говорит, а сам смеется, вроде смешно ему. А у меня, верите, будто залпом из дробовика по всему телу дали. Ах ты гад ползучий, думаю. Ладно бы Вагнер или Линдон попрекали, а то эта...

"А ты, - говорю, - сам на чьи подачки кормишься?

Из чьих рук все энтээсы высматривают?"-"Мы, - отвечает он, - боремся за идею". - "За идею? - спрашиваю. - А когда посты не поделили и неустойку от американцев взяли, тоже за идею? Сколько отступного Байдалакову дали за его пост председателя энтээсов и чтоб потом он не путался под ногами? Куда же, - говорю, - его идея подевалась, если он за нее денежки принял и молчит, как закопанный, до самой смерти?"

Трушнович все перебить меня норовил, но я не дал, все ему высказал. А он выпустил свой главный козырной туз. Зачем, дескать, тогда сюда приехал, если ты такой коммунист, зачем бежал, если никто тебя на звал сюда, и прочее такое. Припер он меня так и ушел.

Я по комнате из угла в угол, не знаю, что делать.

У меня и раньше закрадывалось в груди: может, я промахнулся на большую ошибку? Тогда плакала моя дальнейшая будущность. Но при встречах с американцами, с Иваном, Женей, да и с энтээсами держал себя таким антисоветским героем. Надеялся, обопрусь на какой-нибудь случай, что судьбу мою выправит.

Бегаю по комнате, и, на радость, Карин звонит, сейчас, говорит, приду. Она всегда за меня переживала, заботилась и понимала меня даже в том, что я от всех скрывал. Ей я все рассказывал - и хорошее, и плохое, и даже мечты, о чем думал и никому бы не доверил.

Приезжает она, только стал рассказывать, а она в слезы. Плачет, а сама лаской просит. Карин умела с кем угодно разговаривать и своими улыбками и глазами любого уговорить или сделать так, чтобы он ей в любви объяснялся. А тут слезами и лаской. "Какая, - говорит, - тебе разница, заработаешь хорошо, другая жизнь у нас пойдет".

Что, думаю, делать? Потом вспоминаю: я же не успел ей про все рассказать. Похоже, она без меня знает, что тут произошло. Мне бы тогда спохватиться, что она свою роль со мной играет. Свою или чужую, не знаю, только жизненно играла. И ни о чем я не догадывался. Я ей верил еще долго. И когда в Москву уехала, в гостиницу "Украина" звонил и переписывался с ней, и потом, пока

до тюрьмы меня не довела. А в тот вечер как вожжа под хвост попала: не буду, говорю, никакой книги делать, и все тут. Обиделась она - первый раз ее не послушал - и рванула из комнаты.

И опять я из угла в угол. Думаю, думаю, и докатились мои думы до Владивостока. Вспомнил музыкальный салон на "Урицком", песни, танцы, человеческие отношения, вспомнил наш матросский хор, в котором и я пел, веселых матросов и девчат, друзей и родителей вспомнил, и покатились у меня слезы. Первые мои слезы в западном свободном мире. Сколько их еще потом пролилось... А ведь я упорный, никогда пощады не просил и слез не выдавливал. Отец бил, тоже не плакал. А тут нервы не сработали.

Еще день прошел, и вызывают меня в тот особняк, где беседы велись. И опять встречает фрау Габбе. Мистер Андерсон навстречу выходит, приглашает садиться. "Жаль, - говорит, - что нам надо расстаться, но, к сожалению, мы не можем вас дольше оставлять у себя. Все, что было обещано, уже сделано, вас ждет хорошая работа. Мы передаем вас в другую организацию, тоже нашу, но ведающую устройством на работу. Вот вам телефон туда к мистеру Райли".

Что?.. Устал, конечно, но не знаю, смогу или нет еще с вами встретиться. Давайте уж сегодня кончим, я дальше сокращенно буду.

Одним словом, послали меня на завод в местечко Нойс под Дюссельдорфом. Перед отъездом у меня ночевала Карин, которая обиду забыла. Она со мной до самого Нойса поехала. Завод американский, там делают всякие детали для тракторов и автомобилей. Рабочие были там со всего света: немцы, португальцы, югославы, испанцы, финны и другие. Поселили меня в общежитие вроде барака. Комнатка маленькая, там все такие, и в каждой немец и три иностранных рабочих. На этом заводе и Женя работал.

Да, забыл я вам сказать: когда еще он во Франкфурте был, позвонил он мне один раз ночью и говорит, что Иван убил себя. Сначала плакал, обзывал себя дураком и сволочью, кричал, что его обманули и больше он не может, и ударил себя ножом в грудь три раза, весь изрезался, нож у него выбили, а его отвезли куда-то.

Не сват мне Иван, не брат, а извещение это... как будто не Иван, а сам я себя ножом переполосовал. Вот она, подумал, и моя дальнейшая судьба-дорожка по этой жизни. Ходил опять от окна к двери туда-сюда, туда-сюда и не про Ивана думал, про себя думал. Часа два километры вышагивал, пока силы не кончились.

Лег обратно в кровать, где там - не только спать, улежать не могу. Скорее бы утра дождаться. Поднялся и заметался опять, как в зверинце. Все быстрее и быстрее хожу, вроде убежать куда можно. И такое в голове творилось - как бы в горячке и на себя руки не наложить.

Разбужу, думаю, Женю, вдвоем полегче будет.

Звоню ему, а он с полгудка трубку поднял, тоже, выходит, не спал. "Слушаю, - говорит, - слушаю, кто это?" Тревожно так говорит, а мне все равно полегче стало, голос его услышал. "Приходи, - говорю, - Женя, ко мне, или я приду". А он не своим голосом закричал:

"Никуда не пойду, и ты не приходи!" - и трубку бросил, как будто я виноват за Ивана.

Испугался я и опять в голове - как насосом ее накачали и дальше подкачивают, вот-вот лопнет.

А ведь и верно, чего ходить? Он предатель, я предатель, и вокруг нас отстой подонков из энтээсов, и мы туда потихоньку оседаем, скоро до самого дна спустимся. И дорога нам только туда, ко дну, и груз уже такой сами на себя наложили, что не выплыть больше.

И как назло, откуда взялось - про первомайскую демонстрацию во Владивостоке вспомнил. И знамена красные, и пляски на ходу с оркестрами, и "Золотой рог", и забился я, как баба, в голос. Как до утра дотянул, один бог только знает. С тех пор про Ивана я ничего не слышал. Выжил он, нет ли, не знаю. А Женя через два дня уехал на завод работать. Здесь мы с ним теперь и встретились.

Работа у меня была простая. Большим крюком зацеплял огромную деталь трактора и волочил юзом по бетонному полу к стану. А там уже полная механизация. Нажимаю кнопку подъемника - деталь идет вверх, потом накрепко садится в гнездо. Поверну рычажок - и сверло пошло в тело. Тут уже делать больше нечего, сверло само свое дело сделает, а я с крюком за второй деталью. К концу сверловки надо ее успеть подтащить, потому что рядом второй станок для дальнейшей обработки ждет.

Вроде все просто, а была это в полной мере каторга На механизацию пять-десять секунд уходило, а все остальное время тащил крюком непосильные детали.

Вставали в четыре, не позже полпятого утра, потому что в шесть уже надо браться за крюк. Обеденный перерыв в двенадцать тридцать, а кончали в пять. И целый проклятый день тащишь эти тяжелые, как наковальни, детали и под конец уже так изгибаешься, чуть мордой не тычешься в землю. Остановиться нельзя, никак нельзя, там целый большой ряд станков, и если на

одном задержка, все враз встанут.

Домой приходили без рук, без ног. А свалиться на койку нельзя, ужина в столовке дожидаемся. Перед ужином - молитва. Надо руки сложить ладонями вместе и повторять за комендантом слова. Так, верите, ру"

ки не держались, падали.

Я терпел, думал: с непривычки, обойдется, привыкну, человек ко всему привыкает. А только скажу вам: к каторге привыкнуть нет сил. Там на таких работах одни иностранцы, а немцы по всем цехам и участкам рассеяны, как и в комнатах общежития. Работа у них без крюков, только на кнопках, а за наблюдение за ними им еще одна зарплата идет. И за длинный рабочий день еще одна. Каждый немец втрое больше нашего получал. Хотя они старались, а все равно иностранцы не выдерживали и убегали. Но простоя не было, новых пригоняли.

Работал, света белого не видел. Какое там кино или еще чего-нибудь. Только в воскресенье полегче было, хоть отсыпались вволю. А встанешь, постираться надо, под душ надо, и так на весь день всякие мелочи набегали.

В одно воскресенье стал я жаловаться Жене - мы уже тогда не прятались друг от друга, откровенно разговаривали, - а он только рукой махнул. "Я, говорит, - механик, а тоже крюк дали в руки. Надо бежать отсюда к чертовой матери, пока не поздно". - "Куда же бежать, - спрашиваю, - Женя?"-"Как куда, совсем бежать домой". - "А там тебе сразу: предатель и изменник Родины, получай тюрьму". - "Ну и черт с ней, отсидишь, хоть жить по-человечески станешь".

Тут я его и спросил, о чем давно хотел вопрос задать. "Женя, - говорю, - ну, ладно, я дурак неученый, а ты механик первой руки, сам хвастался, что тебе почет и уважение отдавали. Ты-то почему бежал?" - "А потому и бежал, - отвечает, - что тоже дурак, хотя техник. По дурости вообразил, что весь пуп земли - это мы с Иваном. На мне с Иваном целый участок держался, а отпуск за свой счет на десять дней начальник отказался дать. Почему же, говорю, другим можно, а нам нет, если мы лучше других работаем? Ну, и завязался спор. Я ему прямо сказал: "Любимчиков своих по два раза пускаете, а на нас выезжаете". А ему хоть бы что. Нет, и все тут. Ну, думаю, и мы тебе тем же ответим. И не стали выкладываться, как раньше. А он придираться начал и все равно верх брал как начальник. За каждую мелочь цеплялся. Ну просто никакого житья не стало. Издевался, как хотел, должно быть, решил выжить нас. Что ж, думаем, так и уехать домой оплеванными? А он еще и характеристику вслед пошлет такую, что перед людьми стыдно

будет. Думали, думали, как отомстить, и пришла в голову эта мальчишеская идиотская идея. Он ведь за нас всю полноту ответственности несет. Вот уж повертится, если сбежать. Он же с ума от такого ЧП сойдет. А кроме того, интересно поездить, мир посмотреть. Вот и смотрю.

Получилось, как в поговорке: назло отцу я себе уши отморожу... Ивана жалко, на этот безумный шаг я его подбил. Парню всего девятнадцать было, ветер в голове. Я как-то сказал ему про это, когда он очень терзался, молодость, говорю, виновата, а он еще больше обозлился: "Молодость, молодость... Гайдар в семнадцать полком командовал и рубил всякую сволочь. А мы в свои девятнадцать к его недобиткам в услужение приехали". Вскоре после этого он и схватился за нож".

Это был мой последний разговор с Женей. Ничего не сказал он мне, уехал во Франкфурт, а потом сбежал в Советский Союз. Узнал про это через полгода от Горачека.

А я продолжал работать на заводе, пока одни кости да кожа от меня не остались.

Поднимаюсь, чтобы к проклятым наковальням идти, а подняться не могу. Все-таки поднялся и потащился. Только не на завод, а на вокзал. Вернулся во Франкфурт. Ни денег, ни квартиры, ни работы. Явился к Карин. Приняла она меня хорошо. А я и тогда еще не догадывался и не скоро понял, что и эту каторгу, и те, что были потом, они специально устраивали, чтобы некуда мне было податься, кроме знтээсов. И опять туда подталкивает. А я не пошел, стал правду искать.

Где я только не был, чего не перепробовал. Вагнер сразу от меня откачнулся, Райли тоже. Направился в американский консулат, напомнил про богатую и надежную Америку, которая всегда будет за моей спиной, как разъяснил мне ихний консул в Токио. С неделю по его требованию ходил к нему, пока не отправил меня на любые четыре стороны. Я в Бонн кинулся, в американское посольство. "Вам кого?" - спрашивают. Не знаю кого, отвечаю. Я советский матрос, про дальнейшую судьбу хочу выяснить. Они заулыбались, усаживают меня, думали, я новенький, только сбежазший. А выяснилось когда, сразу кислые морды стали.

Прямо так выгнать неловко, велели подождать, провели к какому-то типу вроде переводчика. И ноги на столе. Я думал, так говорят только-"ноги на стол", а он натурально на столе их держит. Выслушал меня, сколько американцы наобещали, позвонил куда-то, потех говорит: "Пойдем". Вывел на лестницу, показал направление: "Прямо на вокзал попадешь. Езжай во Франкфурт. Тебе работу дали, а ты сбежал. Теперь возвращайся".

Пошел я прямо в министерство иностранных дел.

Думаю, самое главное, чтоб важный чиновник выслушал, а не сошка какая. Пришел советский матрос, говорю, и так далее. А раскрываться до конца не спешу, пусть, думаю, поважнее кто явится. Стратегия моя удалась, большой чин меня принял, а только кончилось пустотой. Отправился я в Организацию Объединенных Наций в Бонне, к комиссару по делам бежэнцев. Тут со мной целую неделю возились. И тоже во Франкфурт-на-Майне направили, там, говорят, вас устроят. Правда, на дорогу пятьдесят марок дали. А у меня уже сто раз такие направления были. И сто раз я туда возвращался, а получался один и тот же толк.

Я вам все подряд перечисляю, а ходил-ездил-то не подряд. На это пошли месяцы, а то и не один год. Чего только не натерпелся, не намучился. Какие и от кого унижения на себя принял, перед кем ни улыбался.

Посылали на разные работы, а покажешь свой беспаспортный документ - и морды воротят. Берут только там, где каторга или аврал какой. Тогда на временную, до отбоя. Потом опять на улице. Самым натуральным образом на улице. Спал на вокзалах, в скверах, даже в забытой солдатской душевой. И в дождь и в холод не раз по асфальту шлепал, сам себя, сжавшись, согревал. Вот тогда и вспоминал каждый день эти слова советского консула в Токио. Что?.. Не сказал разве? Простые слова: "Все у вас будет, сказал, что тут вам обещали. И квартира, и полный холодильник, п кофе с коньяком. А только выжмут из вас все, что можно, и выбросят на помойку. Тогда и запроситесь домой". Вот какие слова сказал. Будто на несколько лэт вперед меня по моей жизни прошелся. И не выходят эти слова из головы. Только как проситься? Может, и через край берут энтээсы, может, не расстреляют, а только большой срок дадут. Кому я потоп, старый и больной калека, нужен буду?.. А почему Женя не побоялся тюрьмы? А Иван побоялся, но и жить тут не мог.

Вот в таких мыслях и тянется моя беспощадная жизнь. Наголодаешься вволю и идешь на первую каторгу, что по дороге попадется. Самое большее на месяц хватало сил. На заработанные деньги хожу-езжу жаловаться. Посылают во Франкфурт, а я уже знаю, куда пошлют, и еду. Все надеюсь на что-то, да и Карин притягивала туда. И опять энтээсы вокруг меня.

Но я уже знал их расчет: не выдержит человек, все равно к ним явится. Все-таки ездил туда охотно. Кроме Карин, много знакомых ребят - Володя Курдюков, Леня Артемов, Витя Гуменюк, Миша Горачек, Таня Гаранина со своим парнем и еще другие. Все они дети энтээсов, но у них особые мнения. Что делают родители,

они насмотрелись, им хочется посмотреть свою родину, которую никогда не видели, а те их смертной казнью пугают, и у них продолжается инцидент.

Хорошо, конечно, с ними встречаться, на вечеринки ходить, если есть работа. А работы не было. Один раз все-таки повезло. Устроился маляром в жилой городок американской военной базы "Вольфганг" возле Ханау. Работа сдельная, с квадратного метра. Зарабатывал еле-еле, потому что пока мебель отодвинешь, пол бумагой застелешь да все закутки закрасишь, еще ничего не набегало. Но я очень старался, все-таки лучше, чем с крюками.

Через несколько месяцев узнал, что у них свой филиал есть под Франкфуртом, и стал проситься туда.

Сначала подозрительно на это смотрели, а после моих объяснений о друзьях и Карин поверили и перевели.

Обосновался в казарме на Эмерсхаймерландштраосе.

Работать маляром мне пока доверия не было. В столярной мастерской я склеивал стулья, табуретки, которые расшатались или развалились. Встречался с молодежью и с Карин. От нее и узнал, что во Франкфурте есть общество "Дружба". Там советские люди, которых забросила сюда война, и каждый по своей причине вернуться не мог, но и против Родины не идет.

Они смотрят советские фильмы, собирают библиотеки, отмечают Октябрьский и другие праздники. Одним словом, поперек горла энтээсам стоят.

Меня заинтересовало, и я пошел туда. Потом Карин рассказывал про них. И опять завились вокруг энтээсы. Как только в голову им такое пришло. Предложили в последний раз, говорят, одним махом разбогатеть. Посещать "Дружбу" и написать потом, что она связана с советской военной миссией во Франкфурте и передает туда разведывательные данные.

Я им, конечно, приготовил отпор, какого они еще не видели. И весь расстроенный ушел, ищу Карин. Никто, кроме нее, не мог им сказать, что я в "Дружбе" был.

Только стал ей претензии, а она как из пулемета: "Никогда, - говорит, я тебя не любила, хотела человека из тебя сделать, а ты просто русская свинья и вон навсегда отсюда". И пока говорила, по щекам меня - раз, раз, раз... Ну, и я нервами сдал, сам пощечину ей отвесил. Не за то, что по щекам, - слова ее больней били. И сейчас вот здесь ноет, как вспомню, как я не мог раскусить раньше.

На другой вечер заходят ко мне трое в штатском.

Одного я узнал сразу. Он из американской разведки, охранял Ивана и Женю. Поэтому я не сопротивлялся, когда они без всяких разговоров обыскали мои вещи и повели в машину, отвезли в

полицей-президиум. Здесь дежурный потребовал у меня пистолет и бандитский механизированный нож. Я ответил: пистолета у меня нет, - а нож достал. Он был с кнопкой, выскакивал сам, но пользовался им для хлеба и пищи.

Дежурный взял нож, посмотрел в какую-то папку и сказал: "Приметы совпадают". Меня обыскали и отвели в камеру. Утром взяли на допрос, дали мне на подпись бумаги. Теперь я уже так легко не подписывал, потребовал переводчика.

Делать им нечего, вызвали. Обвиняли меня в том, что являюсь советским шпионом, езжу по немецким городам, а потом во Франкфурт-на-Майне, где что видел, передаю советской военной миссии. При этом пытался изнасиловать немецкую девушку Карин Локштедт, угрожал ей пистолетом и ножом, шантажировал, на что прилагается ее личное заявление, а также медицинская экспертиза о побоях и вещественное доказательство - нож, приметы которого обозначены в ее личном заявлении.

Кончил читать переводчик, об чем-то меня спрашивают, трясут за плечо, а я молчу, чисто языка лишился. Потом потихоньку кровь по своим местам пошла, и мне полегче стало. Про миссию, говорю, никакого понятия не имею и все начисто неправда, а Карин знаю хорошо, и вызывайте ее на очную ставку, и сами послушаете, что произойдет, потому что я с ней уже который год живу и еще неизвестно, кто над кем насилие свершил.

"Мы и сами хотели, - отвечают, - но она отказалась, боится вас видеть". На этом допрос закончился.

Целый месяц полицейские или следователи меня не вызывали. Зато энтээсы весь месяц давали о себе знать.

Первым пришел в камеру батюшка - отец Леонид в церковном обряде. Ахал, охал, сказал, что надо подобрать хорошего адвоката и тогда все будет хорошо.

Смеется он надо мной, что ли? Где же на это деньги взять? "Заблудшего сына, - говорит, - церковь и русские люди никогда не оставят". И на самом деле пришел адвокат. Многие энтээсы меня посещали, Карин присылала посылки, в письмах просила прощения.

Когда пришел Горачек, сказал, что видел ее в прокуратуре, она просила свидания, но ей не разрешили.

Да что же это за человек такой? На кого она работает? И что со мной хочет сделать? Не просто же это?

Пока сидел в одиночной камере, много о ней думал. Вспомнил, как в Москву уезжала, и некоторые вещи теперь по-другому проявились. Отправлялась она с немецкой выставкой как переводчица химической фирмы "Гест". Узнал про это во время моих поисков работы и правды, когда в который уже раз приехал во Франкфурт. Остановился у нее, как раз сборы шли. У нее штук двадцать писем было с адресами на русском языке и с готовыми советскими марками.

Только в тюрьме подумал: значит, подпольные письма в Москве опускать будет, чтоб не знали, что из ФРГ.

И денег много было в пачках. Тогда не пришло в голову, а в камере не сомневался: не для себя, кому-то везла. Или чтоб подкупить можно было.

И еще одно соображение выплыло: ехала от немецкой фирмы, а паспорт привезли и провожали американцы. Мне она не разрешила на аэродром ехать, а кто за ней прибыл, я видел. Я у нее случайно целую кучу адресов московских нашел. Инженеров разных, учителей, таксистов, и на каждом проставлена профессия. Я из ревности ей недовольство высказал, а она как крикнет: "Не смей к моим вещам прикасаться!" И только в камере подумал: нет, не щуры-амуры это, а посерьезней.

Чтобы с этим закончить, скажу: был суд, про шпионаж и военную миссию разговоров не было, замяли они это все, а за насилие с побоями судили. Карин не пришла. Адвокат их на лопатки разложил, доказал все как было. Много журналистов и корреспондентов наехало, вся печать про это писала, и все-таки месяц тюрьмы дали. Правда, месяц я уже отсидел, сразу выпустили, а радости нет никакой. Что я теперь и кто я?

Куда деваться?

Поехал к Горачекам, они хорошо ко мне относились и провокаций моих не добивались.

Вы как хотите, а я не признаю энтээсов антисоветчиками. Они только так числятся, ну работа у них такая. К примеру, возьмите Жору Чикарлеева. Ему под шестьдесят, а может, уже и перевалило, а его по отчеству назвать ни у кого язык не повернется. Жора и Жора. Он у них на самой грязной работе. Один раз на советский корабль явился, когда эскадра с визитом приходила, туда всю публику без разбора пускали.

Люди ходят толпами, им интересно, а Жора по закоулкам рыщет. Увидел одинокого матроса, обернулся по сторонам - никого нет - и сует моряку листовку.

Матрос смотрит и говорит: "Да мне ж двадцать суток строгого дадут или судить будут, - тоже осматривается матрос по сторонам и тоже видит: никого нет, - а за тебя, гада", - и бах Жору во всей

одежде за борт.

Он потом подробно рассказывал, требуя возмещения за ущерб в здоровье и в одежде как потерпевший в борьбе против коммунизма. Заплатили ему хорошо:

действуй, мол, и дальше смело. Он и действовал. К советским не то туристам, не то спортсменам на улице пристал, про свой "Посев" толкует, подарить, говорит, могу. Его гонят, последними словами обзывают, а он идет и идет, свое толкует. А они в какой-то тихий сквер свернули, может, и надо было им, а может, заманывали, только набили морду так, что долго в синяках ходил. Правда, за это заплатили ему хорошо, потому что вещественное доказательство побоев представил. Хотя многие сомневались: может, все выдумал, может, по пьянке где досталось, - но все-таки окончательно признали как героизм против советского режима и членом редакции "Посева" назначили.

Был случай, когда он в Париж попал и к советским аспирантам заявился, у них комната там была. Заявился и начал ту же пластинку крутить. А они выход епу загородили, говорят - сейчас полицию позовем. Он в слезы, боится - бить будут. После того случая в сквере его еще раз били, с тех пор он всю жизнь стал бояться, что будут бить. Поднимет кто-нибудь руку просто так, без назначения, а Жора рывком лицо прикрывает. Свои же над ним и потешаются. Чуть что - махнут рукой, он и шарахается.

Одним словом, сжалились над ним тогда в общежитии, отпустили. Примчался он домой, рассказывает:

"Слезами, - говорит, - я их на пушку взял. Никогда, говорю, больше не буду, а они, дураки, и поверили".

Вот вам Жора! Другой бы про такую стыдобу со всех сил зубы зажал, а он хвастается. Думаете, по дурости? Нет, он на такой стыд с полным сознанием идет, ну, как женщина на стриптизе или в бардаке. Ей уже не стыдно, это ее такой заработок. Так и Жора своего стыда не стыдится, поскольку за это платят.

Он своего нигде не упустит. Вот трудно поверить, а ему за журнал "Молодой коммунист" гонорар выплатили. Он его всегда с собой носит, всем показывает.

А там, и верно, его фамилия есть, написано, что он последний подонок. Когда показали Жоре этот журнал первый раз, он три дня от радости пил. "Вот, - говорит, - как против меня силы мирового коммунизма поднялись". Ну, понятно, вознаграждение потребовал и на законном основании получил. А за что получать, ему без разницы. Но и его понять надо, а не только судить. Лет ему порядочно, профессии или ремесла не имеет, куда ни тыркался, везде неудачи. Сколько лет назад на

Вьетнам подался, думал, подвезет, а видит - там и убить могут. Тоже правильно рассудил, и понять человека можно, когда сбежал оттуда. Ну, а что ему теперь делать? В энтээсах хоть платят исправно, вот и старается. Да что Жора! Для всех энтээсов нет больше радости, если их советская печать пропечатает. Они тогда поздравляют друг дружку, в своих журналах про это сообщения делают, столько шуму поднимают, героями ходят. Один раз на свое письмо из Москвы ответ получили. Так ни кснца ни края радости не было.

Переписку затеяли, стали говорить, что иентр СБОЙ и агентуру в Москве организовали, а оказалось, их журнал "Крокодил" разыгрывал, потешался и про все напечатал с фотографиями и письмами. В таких дураках они остались, им бы только вывеску менять, а они опять в хвастовство не хуже Жоры. Кто-то из их детей сказал, у Горачеков разговор происходил: "Что же вы радуетесь? Над вами же смеются. Это еще у Чехова описано, как один с газеткой бегал, всем свою фамилию показывал, а напечатано было, как его в пьяЕОМ виде извозчик сбил".

На его слова только рукой махнули; ничего, мол, ты не понимаешь. А он и верно не понимал, что даже за такое, как "Крокодил" поиздевался, им деньги платят.

Ну, а с другой стороны, что им делать, скажите, если все они по рукам и ногам Гитлером связаны?

Влез по пояс, полезай по горло. Начать хоть с Романова, он у них почти самый главный, а тридцать лет назад в Днепропетровске при немцах редактором газеты уже состоял и Гитлера возвеличивал, пока тот живой был. А сейчас что? Поезжайте во Франкфурт в район главного вокзала ночью, там одно место есть, где теплые собираются... Обязательно там Романова встретите. Его за это три раза брались судить, особенно один раз, когда мальчика к столу хотел привязать, а тот такой крик поднял, что люди сбежались. А чем кончилось? В третий раз американцы выручили. После Гитлера они ж его подобрали, по их речке и плывет, их воду и пьет. И про такого вдруг напишут, что он антисоветчик, вот и радуется. Да любой генерал из Пентагона антисоветчик, и получается, будто они на равных. Чего ж ему не радоваться.

Такой же Гитлером мазанный Артемов еще в войну в фашистском лагере служил, кадры провокаторов готовил, гестаповец. Околович сколько жизней погубил, и все у них такие. Не знаю только про Тарасову, она редактором "Граней" состоит, такой журнал у них есть. Не иначе тоже из гитлеровцев, но точно заверять не берусь, не знаю. Знаю только, что славу она большую

имела. Ее отец во время войны много богатства из Украины повывез, говорят, на целый музей хватило бы. А после его смерти она и начала пировать. Такие гулянки закатывала, с выездами, со слугами, как в кино. Она мужчин любила и сама их себе подбирала, даже из тех, с кем знакома не была. И про эту ее славу все знали, она самой высокой квалификации в этом деле числилась. Может, книг начиталась и досконально изучила - есть такие особые магазины с вывесками "Секс", - а может, от природы у нее такие способности, только гремела она своей квалификацией и тем, что денег на мужиков не жалела. А пришло время, денежки-то кончились. И годы уже не те, и мужчинам платить стало нечем. Вот вся она и есть. Антисоветчик - это если идеи у него, а ее главная идея теперь безвозвратно не вернется, она всю свою идею уже поизрасходовала.

Ваше дело, я не против, только не советую вам про энтээсов писать. Если напечатаете, вы им такой праздник устроите, лучше рождества Христова. Целый год напоминать про это будут. И по всем регистрациям такую статью проведут, и сами печатать про нее сто раз будут, и американцам докладывать как положительный пример.

Ну, опять я в сторону от своей жизни свернул. Чтоб кончить когда-нибудь мою историю, скажу - выпустили меня из полиции, энтээсы встречают, зовут к Горачекам. К ним было и направился, деться пока некуда.

Только пошли, а тут Карин. На шею бросилась, плачет, целует, умоляет прощения. К ней и поехал, и тошно от самого себя стало. Думаю, все-таки лучше, чем к энтээсам, ничем не хотел больше ихней зависимости. Даже адвоката отработал им. Отработал крещением. Тут на одну руку взялись Карин и батюшка. И Горачек им помогал, тоже агитировал за крещение. Все горе оттого, что ты некрещеный, говорят. И Карин поддерживает:

все плохое, что между нами было, все очистится. Зачем им надо было, так и не понял, но обязанным быть не хотел. Черт с вами, думаю, крестите.

И устроили надо мной комедию. Собрались в воскресенье утром в церкви, сунули мне сверток. "Иди, - говорят, - вон туда, переодевайся, это рубаха. Только все сними и даже носки". А трусы, спрашиваю, тоже снимать? "Нет, трусы можно оставить". Снял я все, надел рубаху, а она до самого пола. Рукава широкие, только пальцы выглядывают. Вышел, сунули мне в руки горящую свечу, и началась моя срамота. Поднял шею вверх, иду, как Иисус Христос, за батюшкой, обеими руками божественно свечку несу, слова за ним повторяю. Походили несколько раз вокруг, потом

поставили меня в оцинкованный бак с водой, и батюшка сверху стал опрыскивать.

Потом обед был богатый. А ночь тревожная получилась. Лежит рядом Карин, посапывает. А ведь задумали они что-то надо мной сделать. Она же собственными руками меня в тюрьму загнала, а я лежу как дурак с нею.

Ни разу не заснул, пока дождался утра. Похлопотала она вокруг завтрака, поцеловала и выпорхнула.

А я никому ничего не сказал, к вокзалу направился.

И пошел по второму кругу каторги свободного мира на два года. Не буду про него рассказывать, он как и первый. А конец вам известный: советский консулат выдал мне визу в Советский Союз.

Полагаю так, что судить меня не будут, я же столько мук принял, любое законное наказание перевыполнил. А если будут, так любую кару за спасение приму.

ПАУТИНА

Есть люди, которые располагают к себе с первой же встречи. Именно таким оказался Анатолий Богданович Мартынов, ответственный работник Всесоюзного объединения "Союззагранпоставка". Обаятельный человек, интересный собеседник, он немало поездил по миру и многое повидал в жизни. Но вот интересная деталь - за границей Анатолий Богданович проводит, пожалуй, больше времени, чем дома, - да и познакомились мы с ним лет десять назад за пределами Родины, - но о других странах говорить не любит. Он хорошо рисует и, даже сидя на заседаниях, делает какие-то наброски. Это его хобби.

Каждый раз, когда он бывал в Москве, мы обязательно встречались. Однажды и отпуск провели вместе на юге. Помню, греясь на пляже, я рассказывал ему об одной встрече за рубежом с открытыми врагами нашей Родины. Он сидел, глядя куда-то вдаль или, вернее, никуда не глядя, задумавшись, не реагируя на слова, которые, как мне казалось, не могли не вызвать определенных эмоций. Когда я кончил, он оставался в той же неподвижной позе, ушедший в себя. Откровенно говоря, я подумал, что он не слушал меня.

Только минуты через две он как бы встряхнулся и задумчиво сказал:

- Могу рассказать и вам кое-что. Теперь это уже не секрет.

Вот его рассказ.

- В 1967 году я полгода провел в Канаде, - начал он. - Работал в коммерческом центре выставки "ЭКСПО-67". В Монреале среди деловых людей, с которыми приходилось общаться, был Джеффри Вильяме - представитель фирмы "Барнет Дж. Дансон Ассошиейтс

лимитед". Ее контора находилась в Квебеке на Драммонд-стрит, Это был удивительно приятный человек. Выше среднего роста, спортивного склада, с открытой улыбкой и чуть красноватым, как у ирландцев - а он и был ирландцем, - лицом. Веселый, жизнерадостный, казалось, беззаботный, он тем не менее отличался большой деловитостью и бескорыстно помогал мне в делах. Хорошо зная фирмы и коммерческую конъюнктуру, порой давал мне весьма полезные советы. Естественно, я был ему благодарен, тем более что и мое свободное время он всегда старался как-то скрасить.

Он никогда не был в Советском Союзе, с жадностью расспрашивал о нем, искренне восторгаясь нашими достижениями, хотя многое ему казалось странным и непонятным. Однажды, например, Вильяме предложил мне давать консультации фирмам, что, по его словам, могло бы стать для меня хорошим бизнесом. Речь шла о самых элементарных вещах, публикуемых в наших проспектах и каталогах, и моя задача заключалась в том, объяснял он, чтобы сообщать о наиболее важном и интересном. Организацию такого бизнеса для меня полностью и, естественно, без вознаграждения он брал на себя. Об этой своей идее говорил, широко улыбаясь, явно ожидая моей благодарности. Когда я действительно, поблагодарив его, сказал, что у нас это не принято и частным бизнесом советские люди не занимаются, он был просто поражен. Как? Почему? Странные порядки.

Как человека предприимчивого, его довольно часто посещали подобные идеи. Наталкиваясь на мое неизменное - "у нас это не принято", он все более поражался. Как же это человек с такими коммерческими способностями, как у меня (а он не скупился на комплименты), находясь за границей, не может воспользоваться случаем честно заработать. Особенно удивил Джеффри мой отказ от одного его предложения.

Время от времени мы с Вильямсом обменивались мелкими сувенирами. Однажды я подарил ему нарисованный мною русский пейзаж. Выслушал от него целый каскад комплиментов. Неожиданно Джеффри щелкнул двумя пальцами. Идея! Он предложил мне нарисовать открытку и брался найти издателя, который заплатит за нее не менее 25 тысяч долларов. Правда, какой-то очень небольшой процент комиссионных надеется за это получить от меня и сам.

Джеффри никак не мог понять, почему даже от такого предложения я отказываюсь. Ведь это сугубо личное дело. Не вмешивается же ваше государство в частные дела своих граждан.

Тут я высказал сомнение в реальности его идеи.

В самой Канаде, сказал я, найдется немало художников, которые за такую сумму нарисуют открытку куда более профессионально. Да, возразил он, но их работы- дело привычное. А открытка, созданная советским коммерсантом, это же сенсация.

- Нет уж, избавьте меня от такой сенсации. Я не люблю разговоров вокруг моей персоны...

Как я понял значительно позднее, Вильяме, видимо, расценил мой ответ так: заработать я не прочь, но негласно.

Встречались мы часто - и по делам выставки, и в свободные вечера. Время от времени в заботах о моем бизнесе его одолевали новые идеи, но уже такие, что остались бы в полной тайне. Все это начинало мне не нравиться, но, откровенно говоря, особого значения его словам не придавал. Находил объяснение в образе мыслей западного дельца.

В конце 1967 года я вернулся в Москву. Расстались мы с Джеффри дружески. А через некоторое время меня направили снова на работу в Канаду, в длительную командировку с семьей. Здесь возобновились мои деловые контакты с Вильямсом. И не только деловые.

Надо сказать, что порой даже серьезные вопросы решаются не за столом переговоров, а на загородных прогулках, в праздничные дни, во всяком случае, не во время официальных встреч. Так, например, одна выгодная для нас сделка фактически произошла совершенно случайно на даче Вильямса на их семейном празднике, куда я был приглашен вместе с женой и детьми. Когда на стол подали пирожки, все гости восторгались ими, а Джеффри сказал:

- Вкусно, конечно, но какого огромного труда стоит их изготовление.

- А у нас, - заметил я, - создан автомат, машина для изготовления пирожков. Производительность ее огромна, а по вкусу.., редкая домашняя хозяйка изготовит такие.

Этим сообщением Джеффри заинтересовался. Он и помог мне заключить контракт на продажу Канаде наших пирожковых автоматов.

Дача Вильямса находилась в 85 милях от Монреаля на берегу озера Джорджвилль, граничащего с Соединенными Штатами. Джеффри предложил покататься по озеру на моторке. Я увидел умоляющие глаза моих детей и согласился. Поехала вся моя семья и наш гостеприимный хозяин. Где-то посреди озера он сказал:

- Махнем на тот берег! Вот где жизнь настоящая будет.

- Как-нибудь в другой раз, - отшутился я, - ведь сейчас нас

обед ждет.

Джеффри громко рассмеялся.

Тем не менее этот разговор заставил меня всерьез задуматься. Будто испытывает, проверяет меня. Качнет и смотрит - упаду или нет. Если нет, тоже ничем не рискует. И претензии не предъявишь. Что вы, скажет он добродушно, разве можно простых шуток не понимать.

Однажды он предложил мне поужинать вместе с женами в ресторане "Ритц". Не стесняясь, я сказал, что это мне не по карману.

- Понимаю, - сочувственно закивал он, - дети... и накормить, и одеть, и выучить... Но вы какой-то странный человек. Вы пренебрегаете вашими способностями и обрекаете себя на весьма скромную жизнь.

Позднее я проанализировал всю историю наших отношений с Вильямсом. И подумалось: не сводятся ли все эти заботы о "моем бизнесе" к тому, чтобы под любым предлогом всучить мне деньги, поставить в какуюто зависимость? Будто плетется вокруг меня какая-то паутина.

За свою не такую уж долгую жизнь, на каких бы должностях ни был, я свято исполнял свой долг.

Мое поведение всегда было безупречным, и я чувствовал себя неуязвимым. И появилось желание разобраться, чего же они хотят от меня и кто эти "они".

Следующее предложение Джеффри не заставило себя ждать. Речь шла о совсем пустяковой услуге, которую я бы в любой момент охотно выполнил. Однако именно эта просьба особо насторожила, ибо он обещал довольно приличное вознаграждение. На этот раз Вильямсу показалось, что я заинтересовался.

- Наконец-то! - радостно хлопнул меня по плечу Вильяме. - Вот теперь я вижу человека дела. - Обеими гукамп он крепко сжал мои руки и вкрадчиво добавил: - Ты получишь гарантии, что об этом никто не узнает. Ты получишь такие гарантии, которые даже в голову прийти не могут.

В тот вечер Джеффри сиял, не скрывая радости.

Буквально затащил меня в какой-то ресторан и потребовал у бармена виски. Выпить он всегда был рад, но головы при этом не терял. Становился лишь многословен, даже болтлив. Так было и на этот раз. Он доказывал, что передо мной откроется блестящая перспектива. Такой специалист, как я, разглагольствовал он, обладающий столь обширной информацией о конъюнктуре мирового рынка, живя в Канаде, в течение двухтрех лет стал бы миллионером. Он говорил без умолку, радуясь и смеясь, и

казалось, счастливее его нет на свете человека.

К этой теме Джеффри больше не возвращался. Наши встречи на выставке носили сугубо деловой характер. К тому времени закончился трехлетний срок моего пребывания в Канаде, я собирался домой, и меня уже перестали интересовать чудачества Джеффри. За неделю до отъезда отправился в Оттаву попрощаться с работниками торгпредства и выполнить некоторые формальности.

В вагоне поезда, напоминавшего каши электрички, находилось всего три человека. Примерно за час до Оттавы на какой-то станции вошел еще один. Я бы не обратил на него внимания, но он сел рядом со мной.

Странный человек. Очень худой, длинный, узкоплечий, сутулый. Лицо сплюснутое, чахоточное, на котором неприятно выделялся широкий плоский нос. Губы тонкие, впечатление, будто их вовсе нет. Просто полоска между носом и подбородком. Близко расположенные глаза словно вдавлены вглубь. Лет ему было примерно под сорок.

- Отвратительная погода, черт возьми, - сказал он, глядя на меня откуда-то из глубины своими крошечными сверлящими глазками.

- Это точно, отвратительная, - подтвердил я, думая о его физиономии.

Сказав еще несколько ничего не значащих фраз, он тем же индифферентным тоном добавил:

- Я вас знаю, у нас есть общие знакомые - бизнесмены. Хотелось бы сделать вам предложение.

- Кто вы и что вам угодно? - удивился я.

- Не горячитесь, выслушайте меня, господин Мартынов. Я руководитель РСМП [РСМП (RCMP) - сокращенное название "Королевской Канадской конной полиции", под которой с давних времен маскируется центральной орган контрразведки Канады, выполняющей комбинированные функции, что ЦРУ и ФБР в США.] по советской колония в Монреале.

Сдержав свой порыв встать и послать его ко всем чертям, решил все же послушать, что он скажет дальше.

- Так вот, - продолжал он. - У меня есть данные, что вы не прочь пополнить свои денежные сбережения.

Это естественное человеческое желание. Заработок никогда не помешает. Итак, у вас есть товар, у меня деньги. Для вашего спокойствия я готов предоставить вам письменные гарантии любого из четырех высокопоставленных лиц Канады. Я имею в виду министра иностранных дел Шарпа, премьер-министра провинции Квебек Бурасса, министра Пелетье или Шарбоне. А

может, вы хотите остаться в Канаде или США? Конечно, с семьей?

Значит, вот на кого работает мой "друг" Джеффри.

Должно быть, этому типу Вильяме доложил, будто я уже "готов", ибо тон его был хозяйский, что ли. В его словах чувствовалось высокомерие, какие-то едва уловимые пренебрежительные нотки, даже брезгливость.

Правда, все его слова были вежливыми, на лице играла улыбочка, но сквозь нее и проступало его подлинное отношение к "купленному" человеку.

Уняв волнение, я довольно спокойно спросил:

- Какой же товар вы имеете в виду?

- Информацию, - невинно, просто по-детски, как бы удивляясь моей непонятливости, ответил он. - Отнюдь, не военную. Просто расскажете о своих товарищах по работе в торгпредстве и Москве, о их привычках и склонностях, о сильных и слабых сторонах характера, о их материальной обеспеченности, ну и прочие такие мелочи. Я же в свою очередь, - он быстро обернулся на далеко позади нас сидящих пассажиров, - я в свою очередь вот. - Он достал из бокового кармана длинный конверт, положил его себе на колени и открыл клапан. Там лежала пачка новеньких, будто только что отпечатанных долларов. - Вы можете этот пакет получить сейчас, - сказал он, пряча его в карман, - если я смогу за него отчитаться перед своим начальством. - Впрочем, - заметил он, - поезд подходит к Оттаве, вас, я знаю, будут встречать. Через неделю вы уезжаете совсем, подумайте хорошенько, соберитесь с мыслями, ведь все равно уезжаете. Размер вознаграждения, если желаете, в советских рублях, будет зависеть от количества и полноты информации. Встретимся через четыре дня в полдень в Монреале под часами у касс. - Он резко встал и стремительно направился в тамбур.

Отъезда на родину всегда ждешь с огромным нетерпением, ждешь, как праздника. На этот раз я считал не дни. Часы считал. Конечно же, никуда я не пошел в назначенное мне время. В двенадцать десять раздался телефонный звонок.

- Я ведь вас жду! В условленном месте под часами.

Я повесил трубку не ответив.

Трудно передать тот радостный, нет - счастливейший миг, когда я ступил на борт лайнера "Александр Пушкин", когда услышал команду:

- Поднять трап, отдать все концы!

В ту минуту мне казалось, что я тоже отрубил все концы, все ниточки паутины. Не знал я тогда, как спецслужбы Канады исподволь, не торопясь, начинают плести паутину, как на все лады испытывают человека, как, однажды наметив жертву, уже не

выпускают ее из своего поля зрения, где бы человек ни находился.

Так было и со мной. Вильяме не оставлял меня и в Москве. Регулярно присылал письма, фактически проверяя, работаю ли я еще на старом месте. Сообщил, что в Москву приедет его друг инженер-механик Петер Стефен, работающий на фирме "Дансон корпорацион".

Просил, если потребуется, оказать ему содействие.

Спустя насколько дней Стефен Петер позвонил мне.

Передал привет от Вильямса, справился о самочувствии, спросил, не собираюсь ли в Канаду.

Это фактически была тоже проверка, на месте ли я нахожусь. На мой вопрос, в какую внешнеторговую организацию он прибыл, Стефен, немного замявшись, сказал, что приехал со сборной хоккейной командой.

- Так вы еще и хоккеист? - сказал я.

- Нет, - засмеялся он, - я в административной группе команды.

Нетрудно было сообразить, что инженеру-механику там делать нечего. От встречи, о которой он просил, я под благовидным предлогом уклонился. Это былб в 1972 году. А в августе семьдесят третьего меня направили на Канадскую национальную выставку.

Эта ежегодная выставка в Торонто на берегу озера Онтарио всегда привлекает огромные массы людей и отмечается чуть ли не как национальный праздник.

Я же отправлялся туда не как на праздник. Впрочем, на душе было не так тревожно. Я уже был не наедине со своей тайной. И далеко не праздное любопытство владело теперь мной в предстоящих встречах.

Обо всем, что произошло со мной в Канаде, сообщил компетентным товарищам, как только приехал домой. Они и решили узнать, чего же добивается канадская разведка от советского человека.

На третий день пребывания на выставке отправился посмотреть павильон транспорта. Остановился у одного из стендов и тут же услышал:

- Здравствуйте, господин Мартынов.

Я обернулся. Знакомое лицо.

- Здравствуйте, господин инкогнито, - ответил я.

- Почему инкогнито, - сказал он, отводя меня от стенда. - Я ведь вам представился тогда в поезде. Впрочем, понимаю. Вот мое удостоверение.

Это было закатанное в пластик удостоверение сотрудника

РСМП. На лицевой стороне сверху напечатанная на машинке фамилия. Ф. Ф. Дэнтремонт сотрудник РСМП.

Он повторил мне все, что говорил в поезде, начав с денег. Кстати, и Вильяме свои вербовочные беседы начинал с благ, которые меня ожидают. Снова предложил, если пожелаю, остаться в Канаде.

- Что касается гарантий, - заметил он довольно небрежно, - то РСМП может обеспечить их вам за подписью кого угодно...

Я слушал его не перебивая. Условились встретиться на следующий день в дорогом ресторане гостиницы "Фор сизонз Шератон". Считая, что я окончательно сломлен и завербован, он начал на этой встрече уверенно, тоном хозяина:

- Мы уже несколько лет только ведем беседы с вами, а дела нет. Пора приступать.

- Но и с вашей стороны только одни разговоры, - возразил я.

- Хорошо, первый шаг сделаем мы. Завтра я вас познакомлю со своим шефом. Зто руководитель отдела РСМП Билл Кльфф.

Знакомство состоялось на старом пароходе, превращенном в плавучий ресторан "Харбор Боут". Клифф оказался удивительно добродушным, обаятельным и остроумным сорокалетним человеком. Встретил меня радостно, как старого приятеля. Выше среднего роста, круглолицый, немного лысеющий со лба, с голубыми невинными глазами. И по внешнему виду, и в поведении прямая противоположность Дэнтремонту. Клифф также предъявил удостоверение РСМП.

Он сказал:

- Мне известно, что вы проявляете особое беспокойство о своей безопасности. Наши службы работают так, что какая бы то ни было утечка информации исключена. Тем не менее к вашим опасениям мы относимся с пониманием, - и он положил передо мной визитную карточку с именем Михаила Дзюбы, сотрудника фирмы "Дангарвин Компани лимитед". - Это ваша карточка, - сказал он. - На это имя вам будет выписан канадский паспорт и открыты банковские счета в Канаде и Швейцарии. Если хотите, мы можем познакомить вас с американской или английской спецслужбами - ЦРУ или СИС, которые также готовы предложить вам сотрудничество.

Теперь о связи с нами. Вы часто выезжаете в другие страны. На визитной карточке условный телефон.

Диспетчер дежурит там круглые сутки.

Клифф дал мне текст для связи с ним, который просил не записывать, а запомнить. Текст простой, запомнил его хорошо.

Вскоре я вернулся в Москву к своей работе.

И здесь, в Москве, по многим признакам я понимал, что меня

ни на день не выпускают из вида. Это весьма убедительно подтвердилось во время моей командировки в США. Клиффу не звонил. Однако на шестой день моего пребывания в Нью-Йорке в моем номере раздался телефонный звонок:

- Это Михаил?

- Нет, вы ошиблись.

И тут же второй звонок:

- Говорит Билл. Хотел бы встретиться, поговорить по коммерческим делам.

Разыскал все-таки. Как же, выходит, следили они за каждым моим шагом. Так я убедился, что щупальца РСМП раскинулись довольно широко. В связях разведок Канады и США не приходилось сомневаться.

Клифф этого и не скрывал. На мой вопрос, как ему удалось найти меня в этом городе, Клифф ответил: "Помогло ЦРУ".

- Значит, и ЦРУ уже меня знает?! - недовольно спросил я.

Клифф вкрадчиво проговорил:

- Вам это даже выгодно, вы и у них всегда можете найти защиту.

Клифф раскрыл свой чемодан-портфель и начал извлекать оттуда документы: канадский паспорт с моей фотографией на имя Михаила Дзюбы, свидетельство о рождении, карточка социального страхования, расчетные книжки банков Канады и Швейцарии - все на то же имя.

Я смотрел на эти документы и глазам своим не верил. Мне ведь о коварстве спецслужб говорили и раньше, казалось бы, чему теперь-то удивляться. Но когда над своей фотокарточкой увидел чужое имя и эти слова - "гражданин Канады", мне стало не по себе.

Клифф мое замешательство, конечно, истолковал посвоему.

- Вот что значит РСМП, - торжествующе сказал он. - Вы еще не знаете наших возможностей. Но это еще не все.

С самодовольным видом он молча извлек из папки документ и положил передо мной. На бланке генерального прокурора Канады Уоррена Олманда, являвшегося одновременно министром юстиции, и за его подписью было напечатано:

"Настоящее письмо гарантирует в соответствии с канадским законом об эмиграции 8 (1), что Михаил Дзюба является гражданином Канады со всеми вытекающими последствиями.

Одновременно канадское правительство гарантирует предоставление убежища Михаилу Дзюбе в любое удобнее для него время". И дата - 23 сентября 1973 года.

Выдержки у меня достаточно. Но когда впервые прочитал это письмо, просто растерялся.

Ну пусть, допускаю, спецслужбы могут и счета в банке открыть, и страховые карточки оформить. Паспорт - уже серьезнее. Это ведь предоставить гражданство. Это уже функция государства. Могу допустить, что и подобную акцию разведорганы совершают в обход уполномоченных на то правительством учреждений. Но письмо... письмо же министра юстиции, члена парламента и от имени правительства. И эта гарантия выдается человеку, которого они уже считали своим шпионом в Советском Союзе.

...С Клиффом условились о следующей встрече, во время которой я должен буду представить ему информацию и получить деньги.

Это тоже было совсем не просто, хотя информацию мы подготовили еще в Москве, и довольно тщательно.

Обмен деньги - товар происходил в ресторане "Шале Свис". На первый взгляд моя устная информация выглядела солидно. Здесь были прежде всего характеристики на некоторых людей, сообщил кое-какие внутренние дела своей организации. Я просто передал ему содержание разговоров, происходивших в одном из помещений советского учреждения в Канаде, которые, как мы все подозревали, подслушивала канадская разведка. Назвал товары и оборудование, якобы намеченные к закупке в Канаде, и, наконец, сказал:

- На сегодня хватит.

Клифф не возражал. Достал объемистый конверт с долларами. Примерно третья часть их была переложена закладкой, как в читаемой книге.

- Здесь круглая сумка, - сказал он. - А зто, я надеюсь, вы не будете возражать? - И Клифф, согнув закладку вокруг тонкой пачки, переложил ее в своп карман. На его лице появилась удивительно обаятельная улыбка. - Об зтом будем знать только мы двое, не правда ли? - И он поднял бокал: - За хорошее начало.

В Нью-Йорке была у нас еще одна встреча. Он подготовил для меня задание. Были в нем и не очень значительные вопросы, но немало и весьма серьезных. Например, экономические интересы ФРГ, Франции и Италии в Советском Союзе.

Анализ этих вопросов со всей очевидностью показал, что речь идет далеко не о мелком шпионаже. Судя по всему, канадская разведка намеревалась нанести н? - шему государству большой моральный и политический урон. Ее действия могли повлечь к миллионным убыткам в экономике, таили в себе угрозу для безопасности нашей страны.

А ведь начинали с комплиментов, с "невинной" попытки дать человеку "заработать". И как же расчетливо, не торопясь, полагая,

что долларами ставят все в большую зависимость, загоняют свою жертву в тупик.

В Москве было решено подготовить для Клиффа новую "информацию". Готовили очень продуманно.

Вскоре я выехал в командировку в Швейцарию на промышленную выставку в Базеле. Предстояла напряженная работа. Несмотря на большую загрузку, я не стал дожидаться, пока меня разыщет Клифф. Позвонил в Оттаву по данному мне телефону и передал для него заранее обусловленный текст: "Переговоры по машинам для уборки снега могут быть продолжены в Швейцарии на промышленной выставке с 24 апреля по 2 мая.

Дзюба".

Он появился через три дня. От прежнего добродушия не осталось и следа. Сухой, официальный тон, почти нескрываемое высокомерие. Разговор босса со своим подчиненным:

- Покажите ответы на мои вопросы.

- Я ничего не писал и писать не буду. Сообщить кое-что могу.

Выслушав мою "информацию", резко бросил:

- Это не совсем то, о чем я просил. Этого недостаточно. Я привез вам очередной гонорар и новые вопросы. А сейчас буду называть фамилии ваших товарищей по работе, вы же будете характеризовать их. Особо прошу отметить недостатки и порски людей.

Он дал мне для подготовки к следующей беседе два дня. Она состоялась в ресторане "Базель". В этот раз на его прессинг я решил ответить многословием. Наговорил ему столько, что он буквально увяз в моей "информации". Он вручил мне очередной конверт с деньгами. В следующий мой приезд в какую-либо страну, предупредил Клифф, вместо него может явиться господин Норман. Так по крайней мере назовет себя.

Он предъявит фотокарточку Клиффа и личное удостоверение сотрудника РСМП или спецслужбы другой страны.

- С ним можете разговаривать открыто, как и со мной. Он будет полностью в курсе наших дел.

В конце прошлого года дела опять привели меня в Швейцарию, на сей раз в Женеву. Я снова отправил условную телефонограмму.

На четвертый день мне позвонил человек, назвавшийся Норманом. Предложил встретиться для деловых переговоров в ресторане. Я пришел туда раньше его и сел за уединенный столик. Вскоре появился человек высокого роста и, поздоровавшись, плюхнулся на стул рядом со мной.

- Докладывайте! - грубо приказал он.

Я возмутился:

- Кто вы и что вам угодно?

Быстрым движением он извлек визитную карточку и положил передо мной. Я прочитал:

"Стадник. Торговый представитель фирмы "Хаски инджекшен молдинг системз лимитед" в Оттаве".

- Это ничего мне не говорит, господин Стадник, - сказал я.

- Стадник - это вы! - отрезал он. - Это ваша визитная карточка. Михаил Дзюба умер. Нет больше Дзюбы. И Билла Клиффа больше нет, ушел на пенсию.

При этом он показал мне фотографию Клиффа и свое удостоверение личности сотрудника РСМП на имя Томаса Квилли.

- Я четвертый человек в руководстве РСМП. Теперь будете работать со мной. Звонить будете мне по телефону, указанному в визитной карточке Стадника.

- Хорошо, - сказал я, - Клифф в сорок лет ушел на пенсию?! Но почему же мне надо менять фамилию?

На имя Дзюбы открыты счета в банках, выписано много разных документов.

- Менять надо обязательно, - властно сказал он. - Дзюбу знает ЦРУ и службы других стран. Парни из ЦРУ проваливают одно дело за другим. С разоблачением их деятельности выступают газеты чуть ли не каждый день. Они завалили не одного агента, и назревают новые скандалы. Если будете в США, ни в коем случае не ищите связи с нами через них. Забудьте обо всем, что вам о ЦРУ говорил Билл. Что касается документов и счетов в банках, то какая же это проблема?

Говоря это, Квглли достал из кармана пачку бумаг, извлек оттуда канадский паспорт с моей фотографией на имя Ярослава Стадника.

Я лихорадочно думал, как же мне вести себя, а Квилли, брезгливо глядя на меня, подсовывал новые документы: кредитную карточку Канадского банка, письмо об открытии счета, страховую карточку, но уже на "мое" новое имя.

На визитной карточке, переданной мне для связи, стояла марка фирмы "Хаски" - одной из крупнейших в своей области компаний Канады. Ей принадлежат десятки заводов, и она имеет отделения в США, Европе и Японии.

Он вытаскивает красочные каталоги и проспекты фирмы, говорит о моих полномочиях и правах действовать от имени "Хаски". Значит, и эта фирма заодно с разведкой. А может быть, именно она и подобные ей командуют канадской разведкой? Я едва сдерживал негодование. Становилось трудно играть роль

купленного и прятать в себе все нарастающую к ним ненависть.

Какое-то резкое слово Квилли отрывает меня от этих мыслей. Оказывается, он дает новое задание.

Квилли вручил мне лист бумаги, на котором от руки были написаны вопросы:

"1. Схема и описание "Союззагранпоставки" и Ваше место в этой организации.

2. Направление деятельности и интересы "Союззагранпоставки" в Канаде.

3. Конкретные лица, работающие по линии "Союззагракпоставки" в Канаде и их интересы.

4. Изменения в личном составе или направлениях работы любого министерства, которые могут отразиться на Северной Америке и, следовательно, на Канаде.

5. Какие советские предприятия оборонного характера являются клиентами "Союззагранпоставки". Их местонахождение и почтовые адреса.

6. Имена руководителей этих предприятий и их характеристики.

7. Потребности конкретных советских министерств в оборудовании, закупаемом "Союззагранпоставкой"

для выполнения советской космической программы.

8. Характер заявок, поступающих в "Союззагранпоставку" от министерств, занятых производством военной продукции. Виды стой продукции..." и т. д.

Это был длинный перечень вопросов, и их разведывательный характер не оставлял сомнений. И снова передо мной лежал удлиненный конверт с долларами.

Квилли сказал, что к следующей встрече приготовит мне другой перечень вопросов, который для них представляет особый интерес. Поэтому против каждого вопроса он поставит цену. От 100 долларов до многих тысяч.

Как он был уверен, что этот своеобразный прейскурант заставит меня работать на них с удвоенной энергией!

Рассказ Алексея Мартынова заставил меня о многом задуматься. Репутация канадской РСМП оказалась сильно подмоченной рядом скандальных разоблачений.

Мировой общественности стало известно о фактах негласной слежки за видными общественными и политическими деятелями Канады и о том, что на них были заведены секретные досье. Стало известно, что РСМП устанавливает подслушивающую аппаратуру в служебных помещениях и на квартирах многих канадских граждан.

Тесные связи РСМП и ЦРУ вскрываются не впервые.

В свое время в мировой печати широко освещалась шпионская роль канадских представителей в Международной комиссии по наблюдению во Вьетнаме, которые, совершая челночные переезды из Сайгона в Ханой и обратно, информировали агрессоров о результатах варварских бомбардировок американской авиацией территории Северного Вьетнама.

Можно и дальше перечислять провалы и разоблачения РСМП...

Алексей Мартынов не придет на очередную встречу к представителям спецслужб. Он не желает больше выслушивать их замыслы против своей Родины.

Пусть вильямсы, дэнтремонты, клиффы, квилли выбросят на мусор заготовленные ими шпионские вопросы.

Я обращаюсь к президенту канадского банка "Бэнк оф Монтреол": закройте счета NoNo 5003-439 в Оттаве на имя Михаила Дзюбы и No 1065-795 на имя Ярослава Стадкика, ибо таких людей не существует. А заодно объясните, почему банк выдал мифическому Стаднику кредитную карточку под номером 519 1819 0465 827?

Пусть президент швейцарского банка "Свис бэнк корпорейшн" в Цюрихе по тем же соображениям закроет счет No PO - 326 - 863.

Я обращаюсь к честным канадским журналистам.

Проверьте все, о чем рассказал Алексей Мартынов. Конечно, в банках едва ли удастся получить какие-либо справки. Но пойдите в страховое общество, проверьте, на каком основании, по чьим заявлениям и кому выданы карточки социального страхования NoNo 612006692 и 472 146 067 на имя Михаила Дзюбы и Ярослава Стадника.

Совсем не трудно проверить, как, кем, на основании чего был 1 апреля 1975 года выдан паспорт No АГ - 287302 и свидетельство о рождении 10 октября 1930 года в канадской провинции Саскачеван за No F - 63641 на имя Михаила Дзюбы, а 3 мая 1977 года в Оттаве - паспорт No ДН - 406638 (реферативный No F - 396057)

на имя Ярослава Стадника, родившегося 26 апреля 1930 года в Оттаве.

Обратитесь в фирму "Дансон корпорейшн" с вопросом: что делал инженер-механик Петер Стефен в Москве в составе административной группы Национальной хоккейной команды Канады?

Посетите фирму "Хаски". Пусть вам покажут торгового представителя фирмы в Оттаве - несуществующего Стадника. Попробуйте позвонить по "его" телефону No (613) 749-0080,

данному в фирменной визитной карточке. Или наберите номер (613) 234-3602 по визитной карточке Михаила Дзюбы, представителя фирмы "Дангарвин".

Вам ответят не из контор фирм. Вам ответят из штабквартиры РСМП канадской разведывательной службы.

Если вы это сделаете, станет ясно, к каким подлогам прибегают РСМП и ЦРУ для организации шпионажа против СССР.

И хорошо бы спросить членов канадского парламента господ Кассита и Елмека, активно раздувающих онтисоветскую кампанию шпиономании: что они могут теперь сказать канадской общественности?

1978 год

ВЫГНАЛИ

Отправляясь в Орел с творческими целями, никак не думал, что увижу кончик ниточки, которая потянется к самому клубку паутины в Нью-Йорке, а там найдутся люди, что распутают его до конца.

Около двух недель я работал в городском архиве над материалами о битве на Орловско-Курской дуге, необходимыми мне для книги. Находясь на родине И. С. Тургенева, естественно, не мог не посетить музея великого русского писателя. Просмотрел и письма почитателей тургеневского таланта, в том числе зарубежных. Среди них несколько писем из США от уроженца Орла В. Д. Самарина, сообщавшего, что является поклонником русской литературы. Он выразил готовность прислать ряд материалов, которые могут представить интерес для музея. Ему ответили с благодарностью. Так завязалась переписка.

Фамилия Самарин показалась знакомой, но мало ли на Руси Самариных. Тем не менее, вернувшись к архивным материалам, прежде всего взялся за подшивку фашистской газеты "Речь", выходившей в Орле во время оккупации города. Эту подшивку я уже смотрел раньше, и что-то ассоциировалась она у меня с Самариным.

Так оно оказалось и на самом деле. Самарин, и именно тот, Владимир Дмитриевич, кто в письмах музею выдавал себя за антифашиста, и был в 1943 году заместителем редактора "Речи".

Удалось разыскать нескольких орловцев, хорошо знавших Самарина, и обнаружить ряд любопытных документов. Оказалось, подлинная его фамилия Соколов. Его отец владел большими земельными угодьями, поместьем под Орлом и конюшнями ломовых лошадей в городе.

В начале войны учитель одной из школ Соколовмладший, успевший к тому времени окончить педагогический институт, попросился к гитлеровцам. Такой шаг представлялся ему тем

более разумным, что он верил в их победу и надеялся получить отцовские поместье и земли.

В немецкую комендатуру он пришел не с пустыми руками. Представил не только полный список партийно-хозяйственного актива, но и характеристики на патриотов, указав, кто из них не успел эвакуироваться.

В этом документе есть приписка, где он высказывает предположение, что остались они не случайно, а для подпольной работы.

Опасаясь за жизнь предателя, гитлеровцы переименовали его и назначили заместителем редактора газеты.

Так он стал Самариным и доверенным лицом оккупантов.

В документе, озаглавленном "Присяга", Самарин писал: "Даю торжественную клятву верности Освооодктелю народов России и Объединителю Новой Европы Адольфу Гитлеру".

Чтобы ему легче было работать, послали в Германию подышать нацистским воздухом и получше пропитаться идеями фашизма.

Пропитался он хорошо. Вернувшись в Орел, пытался "пропитывать" население. О своем путешествии дал серию статей. Он уверял: "Победа придет! Гарантией этого является несокрушимый оплот европейской культурыВеликая Германская Армия". Он знал, чего добивался. В "Речи" за 24 марта 1943 г. был напечатан указ о награждении его фашистским орденом в бронзе с мечами "За храбрость и заслуги". Награду он заслужил. Только, как известно, лишь за вопли в газетах ордена "За храбрость" не давали. Знать, немало он поработал карательным мечом, проявляя эту самую "храбрость" на мирном населении. Тем более что ровно через месяц "в честь дня рождения фюрера" получил еще один орден "За храбрость", о чем в апреле сообщила та же газета.

В одной фашистской "доктрине" он превзошел самих гитлеровцев. Среди многочисленных его статей я не нашел ни одной, где бы он кощунственно не измывался над евреями, "доказывая" необходимость "всемирного, поголовного и всеобщего истребления евреев", уверяя: "Они будут уничтожены повсеместно, бесповоротно и окончательно". ("Речь", No 70, 1943 г.

и др.)

И вот фашист Самарин - профессор русского языка и литературы одного из крупнейших в США - Йельского университета. По совместительству - сотрудник издающейся на русском языке в Нью-Йорке сионистской газеты "НРС" ("Новое русское слово").

Теперь он пишет, как ему "пришлось вести самоотверженную борьбу против гитлеровского руководства". Оказывается, он понимал "гибельность политики Гитлера" и осуждал "возглавителей гитлеровского режима и их безумную политику". "С конца тридцатых годов, - сообщает он, - когда над Европой нависла гитлеровская угроза, в США переселилось большое число русской и еврейской интеллигенции..." - и рассказывает, как он сочувствовал ей. Отвратительно, подхалимски юля перед бывшим редактором "НРС" ярым сионистом Марком Вейнбаумом, он выслуживается затем, угоднически расстилаясь, перед нынешним редактором "НРС" Яковом Цвибаком, активным деятелем ряда сионистских центров.

Ну, а как же с "поголовным истреблением евреев"?

Как тепзрь быть с клятвой на верность "Освободителю народов России и Объединителю Новой Европы Адольфу Гитлеру"? Куда теперь девать гитлеровские ордена? Чему он может учить студентов?

Зти вопросы я поставил в статье, опубликованной в No 4 журнала "Советиш Геймланд".

С обширными комментариями ее изложили три газеты в США. Одну из этих публикаций перепечатала французская газета.

Пришла в движение общественность Йельского университета. Как сообщил редакции журнала издатель нью-йоркского бюллетеня "На страже" Д. Баркенгоф, эти материалы "вызвали в университете потрясение". Одна из газет, выходящая в Нью-Йорке, писала о Самарине: "Этот кровавый фашистский преступник находится в Америке, в течение 17 лет занимает пост профессора в Йельском университете и сотрудничает в "НРС". Мы еще не слышали, что же эта газета говорит о своем "уважаемом" сотруднике, а также не слышали, что собирается публично предпринять Йельский университет".

И те, к кому были обращены эти слова, ответили.

Яков Цвибак заявил, что в дальнейшем будет печатать Самарина под псевдонимом. Хороша "принципиальность" сионистского главаря! Зная, что Самарин фашист и патологический антисемит, решил прятать преступпгка под псевдонимом.

Администрация Йельского университета сообщила:

рассматривать этот вопрос она не намерена, ибо "только публикации советского журнала" недостаточно.

Нужны документы.

После этого несколько представителей американской прессы обратились к журналу с просьбой представить доказательства. И я снова отправился в Орел.

Снял ксерокопии указов о фашистских орденах Самарина, семи полос "Речи", которые цитировал в своей статье, и в придачу еще 20 полос, взятых наугад, заполненных самаринской лакейской угодливостью фашизму, клеветой на русский, американский, английский и французский народы.

Все это редакция отправила в Нью-Йорк. На сей раз администрация Йельского университета рассмотрела материалы. Опровергнуть что-либо было невозможно.

Лишился возможности отпираться и Самарин. Как сообщили газеты, он заявил, будто сотрудничал с фашистами только потому, что те боролись против коммунистов, а выступал за истребление евреев только потому, что этого требовала фашистская цензура. Ложь пойманного с поличным фашиста удовлетворила администрацию университета, и она отказалась выполнить требование общественности об изгнании преступника.

Это возмутило прогрессивные силы профессоров, преподавателей и студентов. Публично выразил осуждение Самарину декан факультета славянских языков и литературы Роберт Джексон. Одна из газет приводит слова профессора Эдварда Станеви: "Мы не хотим, чтобы факультет стал пристанищем бывшего нациста и антисемита". Все громче зазвучали голоса протеста против решения администрации в стенах университета.

Группа профессоров и преподавателей, работающих на одной с Самариным кафедре, приняла решение не здороваться и не разговаривать с ним, призвать студентов не посещать его лекции.

Кстати, в одном из многочисленных писем, полученных редакцией из США, рассказывалось о том, чему он учит студентов. У него есть что им рассказать. Он обогнал всех ученых и сделал открытие - как будет выглядеть мир в XXII веке. Правда, не весь мир, а лишь область, наиболее близкая ему. Он рассказывает о преступниках, "которых далеким потомкам нашим придется сажать в усовершенствованные тюрьмы из нержавеющей стали и лабрадорского гранита... Подняв шись на высшую ступень духовного развития, человек придумает такие духовные пытки, что при одном упоминании о них преступника охватит ужао".

Вдумайтесь! Самарина не посетила мысль, что спустя два века, на высшей ступени духовного развития, преступлений вовсе не будет и не потребуются тюрьмы из нержавеющей стали. По его мнению, гений человечества будет обращен на то, чтобы придумать столь изощренные пытки, какие, конечно, и не снились Гитлеру.

Вконец потерявшие самолюбие сионисты, не имея ни одного аргумента, чтобы выгородить его, предложили "простить

Самарина" в честь проходившего в те дни религиозного праздника судного дня, когда отпускаются грехи.

Узнав о бойкоте, Самарину ничего не осталось, как подать в отставку.

Администрация была вынуждена принять отставку.

На следующий день радио Би-би-си не без сочувствия сообщило: "В результате бойкота своих коллег лишился работы профессор Йельского университета как пособник нацистов в русском городе Орле во время оккупации его немцами".

Одна из газет пишет: "Не достоин ли нацистский пособник и помощник чего-нибудь другого, нежели пенсии? Не заслуживает ли он быть высланным из Америки в Орел, где бы он получил по заслугам?"

Не надо посылать его в Орел. Русская земля, пропитанная кровью патриотов, павших от рук фашистов и предателей, не примет его. Надо другое. Надо разобраться в том, почему самарины лезут в наши музеи, в наши города, к нашим людям. Почему, лживо прикрываясь интересом к русской культуре, которую они топтали и уничтожали, вмешиваются в наши дела. Ведь только в первых своих письмах Самарин прикидывался ягненком. Пока я ездил из Орла в Бобруйск, где и обнаружил преступные и позорные его "Присягу" и "Анкету", которые я дополнительно послал в Йельский университет, он переправил в музей свои призывы к свержению строя.

Разобраться нетрудно. Враги мира и разрядки не брезгуют даже такими, как Самарин.

Мы верим в дело мира, в разум мировой прогрессивной общественности, обладающей огромной силой.

Пример тому и изгнание из университета бывшего пособника нацистов, нынешнего пособника противников разрядки. Борьба за его изгнание длилась в Йельском университете несколько месяцев. И все-таки одержали победу демократические силы. Выгнали. С позором.

1977 год

ГОРЬКАЯ ПЕСНЯ ЮРИКО

В префектуре Фукуока на берегу Симоносекского пролива распластался порт крупного промышленного центра Кокура. Здесь я познакомился с группой японок, среди которых и была Юрико. Едва ли доведется еще когда-нибудь ее увидеть, но, возможно, эти строки дойдут до нее и выразят то, чего я не мог, не имел права ей сказать.

Подходы к Кокура красивые. Множество островов и островков то утопающих в зелени, то неприступно скалистых и величественных. Они со всех сторон, и кажется, что плывешь по

озеру.

Раннее утро. На мостик доносится тихая, будто заглушенная горами мелодия. То ли наш радист включил японскую станцию, то ли плывет эта мелодия над водой нежная и грустная и слышится в ней жалобное, далекое, несбыточное. И чудятся рисовые поля и голые, согнутые спины, и тяжелая сеть рыбаков, и что-то горькое, безысходное в этой песне, и трогает она душу.

Мы приближаемся к порту. На подходах все те же острова, но, точно корабельные мачты, торчат из них заводские трубы. Застилает горизонт оранжевый дым химических предприятий. Черный туман плывет над всей территорией. А на воде великое множество судов.

Это уже не рыбацкие джонки. Это сухогрузы, танкеры, рудовозы, буксиры, плашкоуты, лееры, плавучие краны. Будто перекресток огромной транспортной магистрали. Это и в самом деле транспортная магистраль десятков, сотен заводов. К одному из них, к причалам концерна Сумитомо, идет и наш турбоход.

Первым на борт поднимается инспектор морской полиции. Он поздравляет нас с благополучным прибытием из далекого и трудного плавания, и на лице инспектора такая радость, будто осуществилась, наконец, мечта его жизни увидеть нас в этом порту. И трудно объяснить почему, но ждешь от инспектора еще чего-то. Он говорит, как бы извиняясь:

- Мы постараемся сделать ваше пребывание здесь приятным, но не все зависит от нас. Прошу ознакомить с этим экипаж, - и он вручает обращение полиции, отпечатанное на великолепной атласной бумаге.

Обращение начинается с фразы, набранной крупным шрифтом: "Добро пожаловать в наш порт и город!" Дальше идут вежливые слова, которые инспектор нам уже сказал раньше, и несколько пунктов:

"1. Когда уходите с судна, запирайте на замки все шкафы и двери.

2. В случае воровства или в других случаях, требующих вмешательства полиции, оставьте место преступления неприкосновенным и немедленно сообщите в морскую полицию по тел. No 3-4232.

3. Остерегайтесь подозрительных личностей и особенно женщин легкого поведения. В большинстве случаев они связаны со злоумышленниками".

В этом документе говорится далее, как поступить, если вас обсчитает шофер такси или произойдет иная неприятность. И создается впечатление, будто эти непрятности, малые и большие, ждут тебя на каждом шагу, как только ступишь на берег. И

начинаешь сомневаться, действительно ли здесь повсюду только воры, бандиты и проститутки, и приходит мысль: так ли уж рада нашему приезду полиция?

В наших трюмах - чугун. Двенадцать тысяч шестьсот тонн. Это больше четырех тысяч грузовых машин.

Их разгрузят за три дня. Так сказал представитель концерна Сумитомо, у причала которого мы ошвартовались. Ну что ж, недаром это один из крупнейших металлургических комбинатов Сумитомо.

Родившись как "Торговый дом Сумитомо", используя свои связи с правительством и огромные государственные субсидии, он вырос в могущественный монополистический концерн. К концу второй мировой войны под его контролем и в его зависимости находилось сто восемьдесят четыре промышленные компании, а "Банк Сумитомо" стал самым мощным банком империи. После войны объявили о роспуске концерна, но это была лишь фикция, потому что остался нетронутым банк, остались компании с измененным названием. В ряде важнейших отраслей производства концерн Сумитомо потеснил таких столпов капитала, как Мицуи и Мицубиси, заняв первое место.

Наш турбоход стоял у причала металлургического комбината Сумитомо. Могучие краны свесили свои головы, точно заглядывая в трюмы. Там триста семьдесят тысяч чугунных чушек, весом от 30 до 50 килограммов каждая.

Я видел, как их грузили в Туапсе. Краны-пауки опускали на чугунную гору свои широко растопыренные стальные щупальца, потом концы их соединялись, загребая под себя и захватывая в утробу до пятидесяти чушек, и высыпали их в сварной лоток, стоящий рядом.

Три-четыре захвата, и пятитонный лоток полон. Один за другим заполнялись лотки, краны взвивали их в воздух и опрокидывали на дне трюмов.

У причалов Сумитомо стояли такие же краны-пауки, даже более мощные. Чтобы наполнить лоток, едва ли потребуется больше одного захвата. Не мудрено, что при такой механизации нас действительно разгрузят за три дня.

У самого борта толпились мужчины и женщины в довольно странной одежде. На головах были желтые каски, на ногах - специальная обувь, похожая на носки с одним пальцем. Такую обувь, удобную для лазания по камням и скалам, я видел во время войны на японских солдатах в горных районах Маньчжурии.

Вскоре люди, толпившиеся у причала, поднялись на борт. Маленькими быстрыми шажками, словно пританцовывая,

торопились в трюмы. Когда они спустились во все шесть трюмов, раздались свистки. Разгрузка началась.

На причале концерна Сумитомо безжизненно лежали могучие стальные щупальца "пауков". Маленькие японские женщины нагружали лотки вручную. Сумитомо это обойдется дешевле.

Расчет представителя концерна оказался точным.

Разгрузка шла ровно трое суток. Трое суток с грохотом падали чугунные чушки в стальные лотки. Портальные краны нагибались в трюмы, выхватывали лотки и опрокидывали их в самосвалы у левого борта. Судовые стрелы вытаскивали лотки на тросах и вываливали в баржи по правому борту. Скрежетали краны, жужжали натянутые стальные канаты.

Судно не должно стоять ни одной лишней минуты.

За каждую сэкономленную минуту концерн Сумитомо получит диспатч премию от судовладельца. Эта премия уменьшит расходы по разгрузке.

Бесконечно, безостановочно сто шестьдесят пар рук бросали в лотки чугун. Сто двадцать три тысячи чушек в сутки. Точно били автоматические тяжелые пушки:

бух-бух-бух-бух-бух... Пять тысяч ударов в час. Не разгибались спины. Нельзя задерживать судно. Стоянка - это лишние деньги. Сумитомо не платит лишнего.

Сумитомо не платит даже того, что положено. Пусть будут благодарны за эту выгодную работу, что им досталась. За воротами много желающих. Теперь их будет еще больше. Империя Ниппон проводит "улучшение структуры сельского хозяйства". Это разорит и сгонит с рогожных участков двадцать три миллиона крестьян.

Часть останется батрачить у кулаков, которые собирают их земли, а остальные пойдут к воротам Мицуи, Мицубиси, Сумитомо... Этот процесс уже идет. После того как началось "улучшение структуры", уже разорилось около двухсот тысяч крестьян. Они ринулись в город. Пусть радуются те, кому досталась сегодня эта выгодная работа по разгрузке чугуна. За это дорого платят.

Рабочий день не должен превышать восемь часов.

Но нельзя трижды в сутки ждать, пока будут меняться смены, пока будут вылезать из глубоких трюмов одни и спускаться другие. Да еще каждой смене устраивать обеденные перерывы. Получится не работа, а одни простои. Нельзя сбивать темпа. Надо работать по двенадцать часов. Сумитомо за это заплатит. Заплатит, как за полтора рабочих дня. Каждая женщина получит тысячу иен за смену. А мужчина еще больше. Такие деньги не валяются. Тысяча иен - это полтора килограмма мяса. Самого

лучшего, упитанного мяса.

Я видел, как едят мясо японские грузчики. Все было очень хорошо организовано. За десять минут до начала перерыва на наше судно привезли обед для грузчиков:

сто шестьдесят красивых жестяных коробочек. Мужчинам квадратные, женщинам овальные. По свистку из трюмов полезли люди. Они уселись на палубе в кружочки. Каждая бригада возле своего трюма. Открыли коробочки. В квадратных - рис и тушеное мясо.

Тридцать граммов мяса. Правда, тридцать было в сыром виде, а после приготовления остался двадцать один грамм. Но тут уж ничего не поделаешь. Зато приготовлено очень хорошо. Мясо отрезано красивым ломтиком без единой косточки. Резали не просто как попало, а очень разумно, поперек волокон. Толщина ломтика получилась больше, чем длина рисового зерна. Поэтому очень удобно есть. Нож не нужен. Толстые короткие волокна легко отделяются палочками. Грузчики берут сразу по нескольку волокон и заедают рисом. Они так умело это делают, что мяса вполне хватает на весь рис.

В овальных коробочках для женщин - рис и рыба.

Пять рыб размером каждая в кильку.

Женщины едят тоже очень умело. Аккуратно, любовно отщипывают палочками мякоть и заедают рисом. Хвостики едят не отдельно, а вместе с кусочками мякоти.

Мы шли по палубе со старшим механиком Сергеем Викторовичем Гуртих и судовым врачом Мишей Федорчуком, когда нас окликнула японка.

- Сигалета, - попросила она, смущенно улыбаясь и жестом показывая, что хочет закурить. На вид ей было лет двадцать пять. Как она грузила чугун, трудно понять. Худенькая, маленькая, издали похожая на подростка. Совсем девочка. Ее звали Юрико.

Среди грузчиков оказался бывший военнопленный, который несколько лет жил у нас на Дальнем Востоке.

Он вполне прилично знал русский язык. Это был сосед Юрико, и он помог многое узнать о ней. Она говорила о себе рассеянно, будто о другом человеке. Порою было похоже, что она жалуется, но не ждет ни ответа на свою жалобу, ни сочувствия, а просто объясняет, как несправедливы люди. Она вспоминала счастливые детские годы, когда они всей семьей работали на своем участке земли на далекой окраине Токио, где кончается город и начинается двадцатимильный овощной пояс.

Токио надо очень много овощей. Надо накормить овощами десять миллионов человек. Это очень выгодное дело - производить овощи. И вся семья во главе с отцом, и мать, и ее

старшая сестра Кимико выращивали помидоры. Какие это были счастливые годы, когда вдвоем с Кимико они уходили на целый день со своими корзиночками собирать птичий помет. У Юрико хорошие глаза. Она очень далеко видит. Она не пропустит серые комочки на дороге, на заборе, на листьях кустарника. Она идет, то нагибаясь, то вытягиваясь на носочках, и сковыривает, счищает острой малюсенькой деревянной лопаткой эти серые комочки.

Они собирали помет всю осень и зиму, собирали по крошкам на дорогах, в общественных парках, в чужих садах, и к весне его накапливалось столько, что вполне хватало на все грядки. Отец радовался, потому что это самое лучшее удобрение и даже в неурожайный год можно будет получить много плодов.

Весной начиналась обработка грядок и вся семья рыхлила вскопанную отцом землю, рыхлила, меняя грабельки на все более маленькие, а последние комочки растирали пальцами, чтобы земля была мягкая и пышная и чтобы хорошо взялось удобрение. Отец рассыпал по грядкам высушенный и истолченный в пыль помет, и опять вся семья рыхлила и перемешивала землю, чтобы каждой ее клеточке досталась пылинка удобрения.

И потом, когда высаживали рассаду и когда появлялись цветочки, и завязь, и плоды, отец не давал себе отдыха, а уж женщинам сам бог велел работать, если трудится глава семьи. Они таскали на коромысле воду из ручья, нагревали ее на солнце, поливали ростки и выхаживали не каждый куст в отдельности, а каждый цвет и стебель. И если заболеет какой-нибудь цветочек, вокруг него собиралась вся семья. Они опрыскивали растения из маленького пульверизатора и покрывали каждый цветок целлофаном и обвязывали ниткой, чтобы он был в прозрачной коробочке, которая бы не касалась лепестков, но предохраняла их от всяких букашек и ветра. Они заключали в целлофановые коробочки завязь, а потом и плод и, перетягивая нитками целлофан, следили, чтобы не примять зеленый пушок на стеблях и оставить доступ воздуху, но не дать лазейку для вредителей.

Так они работали, выращивая помидоры, и собирали богатый урожай, и когда кончались ранние сорта, поспевали более поздние и, наконец, осенние. И ни у кого не было таких изумительных помидоров, таких мясистых и больших, с такой нежной окраской и наверняка очень вкусных, потому что не могли они быть иными, эти сказочно красивые плоды, которые шли в лучшие рестораны на Гинзе и не разрезались на кусочки, а подавались к столу целыми, как произведение искусства.

Каждое утро приезжал поставщик овощей в рестораны Томонага, осматривал приготовленные плоды, пересчитывал их и говорил, в какой из ресторанов везти. Конечно, отец мог бы и сам

продавать их куда дороже, но один опрометчивый шаг, и теперь надо горько расплачиваться. Только один раз три года назад он не смог погасить полученный у Томонага аванс, и этот долг теперь растет из года в год, и уже никому, кроме Томонага, нельзя продавать плоды. Да и цены теперь он диктует сам.

И все-таки Юрико вспоминает о том времени, как о лучших своих годах. Кто мог подумать, что все это так внезапно кончится. Оказалось, что их дом вместе с огородом лежит как раз на той трассе, где началась прокладка дороги на американский аэродром. Нельзя сказать, будто их просто бесцеремонно согнали с насиженного места. Напротив, им объяснили, что оплатят полную стоимость земли, а домик они могут перевезти куда-нибудь в другое место. Им во всем шли навстречу и согласились даже заплатить за дом, если хозяева откажутся увезти его. Правда, за жилье предложили не так уж много, но не хватит же совести просить больше за такую лачугу, слепленную из глины, тонких палочек и бумаги.

Им сполна заплатили наличными за участок и дом, и это получились немалые деньги. Вполне хватило отдать весь долг Томонага, и еще кое-что осталось.

Тем, у кого откупили участки, в первую очередь предоставили работу на строительстве дороги. Даже оставили бесплатно жить в этом доме, за который они получили деньги. К ним только подселили двенадцать рабочих.

Когда дорогу закончили, отца взяли на другую стройку за триста километров от дома и тоже бесплатно дали жилье. Работа оказалась временной. Они стали переезжать с места на место, перебиваясь случайными заработками. В конце концов отцу удалось устроиться на постоянную работу истопником в прачечной. Заработка могло бы и хватить на жизнь, но больше половины съедала комната. Немыслимо дорого в Японии жилье.

Они недоедали каждый день. Они обносились так, что стыдно было выйти на улицу. Однажды, когда в доме уже не осталось ни одного зерна риса, а получки ждать еще десять дней, и продать было нечего, и негде было взять ни одной иены, отец сказал Кимико, что и она могла бы, наконец, подыскать себе работу.

Когда говорит отец, даже старший сын молчит. Кимико молчала. Но слушать это ей было обидно. И без того уже она готова идти на любую работу.

На следующий день Кимико вернулась домой рано утром. Она была какая-то странная. Очень спокойная и серьезная, будто вдруг стала старше. Молча столкнула с ног тэта, молча положила на маленький круглый столик деньги.

Все смотрели на нее и тоже молчали. Потом отец поднялся с

циновки, медленно подошел к столику, взял деньги и уставился на них, будто впервые увидел стоиеновую бумажку. Он стоял и смотрел на деньги, и никто не мог понять, как он хочет распорядиться своими деньгами.

Задумчиво снял с очага чайник и аккуратно положил деньги в огонь. Маленькой кочергой, сделанной из проволоки, затолкал их поглубже, чтобы они сразу сгорели. Закончив с этим делом, повернулся к Кимико и грустно сказал: "За что ты меня так".

В тот день они ели только отвар из кореньев, а на следующее утро Кимико пришла и принесла рис и рыбу. И отец уже не мог бросить это в огонь.

Теперь жить стало легче. Правда, Кимико не каждое утро приносила продукты, бывало, по целым неделям она возвращалась без единой иены, но все же голодать они перестали. Конечно, будь у Кимико красивое платье, и дорогие белила для лица, и розовая краска для ушей и рук, она могла бы зарабатывать куда больше. Она могла бы, как другие девушки, приезжать на такси в порт, когда приходят американские корабли, и к ней садился бы военный моряк, который хорошо платит, и хотя к приходу кораблей выстраиваются целые вереницы такси с девушками, разбирают всех, потому что моряков много, и вообще военных американцев полным-полно, и все они щедро платят, и можно потерпеть, если иногда бьют по лицу.

Но думать об этом ни к чему, потому что денег на наряды и краски у нее не было. И чем дальше, тем меньше можно было мечтать о деньгах, потому что теперь Кимико приносила их совсем редко. Поэтому, когда Юрико исполнилось четырнадцать лет, она пошла на эту улицу, полутемную улицу, где сдаются комнаты на час или на два. Она прохаживалась по тротуару, и перед ней неожиданно появилась Кимико и спросила:

- Что ты здесь делаешь?

Юрико не успела ответить, как старшая сестра ударила ее по лицу и, схватив за волосы, потащила домой.

И всю дорогу, не стесняясь прохожих, она то и дело поворачивалась к Юрико и била ее, заливаясь слезами.

Так безжалостно поступила ее старшая сестра, которая больше всего на свете любила свою маленькую Юрико и никогда раньше даже пальцем ее не трогала.

Мы стояли возле четвертого трюма, в том месте, где у нас находится настольный теннис, и слушали Юрико.

Она говорила, глядя на море, словно думала не о том, что рассказывает, и казалось, ей безразлично, слушают ее или нет, потому что ни от кого уже ничего не ждет, и сейчас можно жить, а

можно и не жить, и ничего от этого не изменится ни для нее, ни для других.

С ракетками в руках к столу подошли наш чемпион настольного тенниса электрик Гриша Антоненко и котельный машинист Толя Панкратов.

- Пинг-понг, - щелкнула Юрико пальцами и побежала к трюму.

Снова поговорить с ней удалось в последний день выгрузки. Тем же безразличным тоном, как и прежде, она сказала, что спустя три дня после той злополучной встречи с сестрой Кимико умерла. Денег на врача она не оставила, и никто так и не узнал, отчего она умерла.

Как раз в это время отцу предложили новую работу.

Они уехали с этого проклятого места и теперь живут хорошо. Отец служит в крупной рыболовной компании.

Ему и группе рыбаков компания выдала вполне приличную лодку, снасти и отвела участок, где они могут ловить рыбу. Целыми днями они находятся в море, и когда лодка становится полной, везут свой улов к берегу и сгружают в баржу. Они снова уходят в море, а другие рыбаки возвращаются, и сотни лодок загружают баржу, но наполнить ее невозможно, потому что круг лые сутки работают насосы и по широким рукавам гонят рыбу в разделочные цехи завода.

Заработков отца вполне хватает, чтобы оплатить аренду лодки, снастей и участка моря, выделенного для них, и, кроме рыбы, которую компания бесплатно выдает ему для личного пропитания, при хорошем улове остаются еще и деньги.

На новом месте повезло и Юрико. В первый же день она попала на причалы. Сумитомо и ее взяли выгружать руду. Работала она хорошо, и теперь ее постоянно берут, когда приходят суда. Бывает, что работа есть почти пятнадцать дней в месяц. В такие удачные месяцы она сама оплачивает всю стоимость квартиры. Это как раз ее двухнедельный заработок, если работать по двенадцать часов в день. Квартира так дорого обходится потому, что теперь у них две комнаты. Конечно, можно бы жить и в одной, но тогда надо большую, метров шестнадцать. У них теперь одиннадцать, но зато две комнаты, а дороже это ненамного.

...Закончился второй перерыв последнего дня разгрузки, и Юрико полезла в трюм. На ней, как и на всех женщинах, темные брюки, серая в цветочках блузка и каска. На ногах мягкая обувь.

Чугун оставался только на дне трюма. Туда ведет отвесный трап из металлических прутьев. Это высота четырехэтажного дома. Крепко цепляясь за прутья, Юрико спускается все ниже.

Четыре стальных лотка уже внизу. Раздается свисток, и в ответ, точно залпы, загрохотали чугунные чушки.

Каждый лоток нагружают шесть человек. Чушку берут двое. Их норма девяносто три чушки в час. Девяносто три раза в час надо нагнуться, поднять два - два с половиной пуда и бросить в лоток. А за смену эту операцию надо повторить тысячу пятьдесят раз. Это за все двенадцать часов с двумя перерывами.

Правда, перерывов куда больше. В воздухе над трюмом носятся лотки. Они опускаются и поднимаются один за другим. Надо следить, чтобы они не придавили, чтобы не упала сверху чушка. Не зря на всех каски. И те секунды, пока смотришь, фактически отдыхаешь.

Кроме того, чтобы поднять нагруженный лоток, опрокинуть его и снова опустить, уходит от одной до двух минут. А это уже чистый отдых. Зато потом надо немного быстрее работать, чтобы покрывать эти непроизводительные простои, так как никто за вас грузить не будет. Из-за этих простоев получается, что надо грузить по две чушки в минуту. Может показаться, будто не так уж это и много. И верно, не много, если бы работать час, два или пять часов. Но ведь просто нагнуться тысячу раз в день трудно. А здесь в руках еще два пуда. Тридцать шесть тысяч килограммов на двоих за смену.

В первые дни было проще. Стой себе на одном месте, бросай чушки. А теперь это трудно. Чугун лежит в углах трюма, куда лоток не загонишь. На одном месте стоять не будешь. И лежат чушки не ровным штабелем, а точно вываленные из самосвала. Возьмешь одну-поползет десяток. Их не удержать, они раздавят ноги. Но и возиться с ними нельзя, Сумитомо ждать не будет.

В Одессе я видел, как на одном судне подбирали остатки чугуна. Маленький смешной бульдозер сгребал их к центру трюма, а "пауки" выносили наверх. И только два-три десятка чушек, зацепившихся за шпангоуты, выбирали руками.

Но здесь не Одесса. Здесь Сумитомо. Монополистический концерн Сумитомо, который должен вытеснить Мицуи и Мицубиси. Ему невыгодно опускать в трюм бульдозер.

Юрико и ее напарнице теперь очень трудно. Они стараются брать чушки так, чтобы не задеть соседних.

Подняв груз, надо сделать к лотку всего три-пять шагов. Но, должно быть, и это трудно. Чушка качает из стороны в сторону двух маленьких японских женщин.

Подойдя к лотку, они не бросают груз, как раньше, а просто разжимают руки. При этом чугун больно трет пальцы, сдирает кожу. Но бросать уже нет сил.

Работать в брезентовых рукавицах нельзя: тонкие пальцы не

удержат груз. На руках Юрико вязаные хлопчатобумажные перчатки. Они почти не предохраняют рук. Уже содранные пальцы в бинтах. Уже и бинты стерлись, пора бы перевязать, но надо грузить чугун. Надо бросать чушки. Нельзя сбиваться с темпа.

В первый день было куда легче. В первый день ки один человек не упал. В первый день сидя дожидались две минуты, пока поднимется и снова опустится лоток.

Теперь на эти две минуты все ложатся. Падают на чугун в ту секунду, когда брошена последняя перед подъемом чушка. И снова качает Юрико и ее напарницу. Но они улыбаются. Надо улыбаться, чтобы тот, кто стоит со свистком, видел: им совсем не тяжело.

Просто смешно, что их качает. Надо улыбаться, чтобы и в следующий раз взяли на работу. Улыбаются все.

Грузчик, которому раздавило палец на ноге, по привычке улыбался нашему судовому врачу Мише Федорчуку, когда тот делал перевязку. Приходя в себя, терявшие сознание улыбались. Ужасно смешно потерять сознание, пусть это видит человек со свистком.

Здесь, на комсомольско-молодежном судне "Физик Вавилов", у причалов Сумитомо я видел улыбки, страшные, как смерть. Ночью работают только мужчины.

Ночной перерыв длится час. За несколько минут японские грузчики съедают скудный ужин, а потом спят. Я много раз видел, как спят очень усталые люди. Видел на вокзалах, на целине, на фронте. Но то, что было на палубе, ни с чем несравнимо. Лежали трупы. Трупы, которым уже несколько дней. Уже обтянула скулы черная кожа, уже виден каждый сустав на пальцах, Лежали тела, будто пораженные током: скорченные, скрюченные, разбросанные. Они окаменевали в том виде, в каком застало их последнее съеденное зерно риса. Во сне они падали и, не просыпаясь, застывали в таком же согнутом положении, другие так и замирали с палочками в руках, третьих разбрасывало одним рывком, словно судорогой. А потом все затихало. Не слышно было даже дыхания. И вдруг раздавался свисток. Людей подбрасывало. Вскочив на ноги, они улыбались. Страшная, нечеловеческая улыбка. Они улыбались: пусть видит человек со свистком - никакой усталости нет, как смешно, что они задремали.

...Кз последних сил выбивалась Юрико. Маленькая Юрико с маленькими тонкими руками. Мы смотрели, как шла разгрузка. Котельные машинисты Юра Антипов Саша Голов, атлетического телосложения механик Боря Пономарев. Мы не могли тебе

помочь, Юрико. Не имели права даже выразить тебе сочувствия. Это вмешательство в чужие, внутренние дела. Это внутренние дела Сумитомо. Это внутренние дела богини солнца Аматерасу, солнца, которое изображено на знамени империи Ниппон.

Прощай, Юрико. Мы видели, как ты выбиралась из трюма, как, качаясь на прутьях, карабкалась на высоту четвертого этажа. Вслед за тобой совсем близко поднимался Толя Панкратов. Может, и полез он для того, чтобы поддержать тебя, если качнешься в последний раз.

Мы покидали порт Кокура. Гудели заводы Мицуи, Мицубиси, Сумитомо. А дальше снова были тихие озера, и эта мелодия, бесконечная, усталая, безысходная.

Прощай, Юрико. Прощай маленькая, печальная Юрико. У нас сегодня праздник! Поднялась в космос первая в мире женщина. Ей, как и тебе, двадцать шесть лет.

1964 год

ИМЯ ЧЕЛОВЕКА

Вместе с группой моряков "Солнечногорска" мы осматривали исторические места, старинные церкви, остатки крепостных стен кубинского города Тринидада. Некогда здесь шли бои между коренными индейскими племенами и испанскими завоевателями. В течение нескольких веков город был известен как центр многочисленных религиозных культов, куда на праздники стекались молельщики со всего острова. Здесь не было промышленности, не развивалось сельское хозяйство.

Мы осматривали исторические места, старинные церкви, остатки крепостных стен. С нами был директор местной библиотеки Трухильо. Он рассказывал историю Тринидада, резко отличающегося от городов Кубы.

Весь остров Свободы бурлит. В Сантьяго, в Санта-Клара, Сьенфуэгосе, в Гуантанамо, в десятке других населенных пунктов, где мне довелось побывать, не говоря уже о Гаване, люди живут бурной жизнью первых лет революции. Только к глубокой ночи затихает движение транспорта и остаются неоновые огни кафе и реклам да вооруженные девушки и юноши, патрулирующие улицы.

В Тринидаде даже днем пустынно, будто забыт он всеми.

- Революция еще не успела изменить облик нашего города, - говорит, как бы извиняясь, Трухильо. - Очень много дел у революции, понимаете?

Мы бродили по узеньким улочкам, где булыжная мостовая, местами поросшая травою, идет с наклоном от домов к осевой линии, точно желоб. Смотрели на старинные здания с зарешеченными окнами высотою в два-три человеческих роста, с

балконами, опоясывающими стены и похожими на театральные ярусы. Трухильо объяснял, какому старинному роду или секте принадлежало то или иное здание, рассказывал, что вот этот пустой и запущенный замок построен в 1743 году, а вот эта церковь - в 1514 году.

Трухильо на вид было лет двадцать пять, он ничем не выделялся среди других кубинцев. И если бы не окликнул его приятель, вышедший из магазина, мы, наверное, так и не узнали бы его удивительной истории.

Трухильо согласился пообедать с нами, и мы отправились в ранчо, находившееся на высокой горе, откуда виден весь город.

Здесь было прохладно, потому что ранчо, построенное в виде огромного амбара с крышей из пальмовых листьев, не имело стен. Просто огромный навес с перекрытиями из бревен и лаг, окрашенных в цвет меда.

Мы ели лангуст, сладкий картофель и кжу, и Трухильо рассказывал свою историю.

Его мать в эпоху тирании, как здесь называют период господства Батисты и ему подобных, была связана с революционным движением. Два года находилась в подполье. Выйдя замуж за Пабло Трухильо, она отказалась принять его фамилию: Трухильо был известен в Латинской Америке как угнетатель народа. Конечно, Пабло ничего общего с ним не имел, он служил на военном корабле, но все-таки принять его фамилию она не могла. Так и осталась она Сайес.

Офелия Сайес.

Пабло почти все время находился в море.

В те редкие дни, когда приходил корабль, он тоже не сидел дома. Начистив и без того блестящие пуговицы на своем мундире, смазав бриолином волосы и тщательно причесавшись, он долго и со всех сторон осматривал себя в зеркало и отправлялся гулять.

Возвращался домой перед выходом корабля в море.

Он искренне не понимал, за что его упрекает жена. Что же, он в конце концов не мужчина? Да неужели такой бравый моряк, как он, после всех штормов и бурь не имеет права посидеть с друзьями в ночном кабачке? Да понимает ли она, о чем говорит?

Офелия смирилась. Одного только никак не могла принять: Пабло щеголял своей фамилией. Эту ненавистную ей фамилию выгравировал на медной дощечке и прибил к двери. Он не упускал случая, чтобы, завидев сквозь окно приятеля, не закричать на всю улицу:

- Эй, чико [Чико - мальчик, парень; широко распространено как обращение (исп.)], что же ты проходишь мимо дома Трухильо!

К месту и не к месту он называл себя, и ей это становилось невмоготу. За этой фамилией Офелии представлялся не Пабло. Какой он Трухильо? Перед ней возникал облик ненавистного народу сатрапа.

С тех пор как Офелия стала ждать ребенка, мысли ее отвлеклись. Она думала только о сыне. Ей хотелось, чтобы это был сын.

Ей так этого хотелось, что она в конце концов перестала сомневаться: будет сын. Она ощущала его, живого, под своим сердцем и, когда толчки ребенка были сильными, радовалась, потому что девчонка не станет так грубить. Значит, сын.

Офелия ждала сына и забросила все дела, и ее уже не раздражал вертящийся перед зеркалом Пабло, потому что она ждала сына.

Однажды Пабло разбудил ее на рассвете. Он вернулся после двухдневной гулянки, настроение у него было хорошее, и ему хотелось еще с кем-нибудь поговорить. Но друзья разошлись, пришлось будить Офелию. Пока она готовила ему кофе, он рассказывал смешную историю и очень смеялся. Потом, лукаво подмигнув и легонечко ткнув ее пальцем в живот, захихикав, спросил:

Ну, как поживает мой маленький Трухильо?

У Офелии подкосились ноги. Держась за стены, побрела в постель.

С этого дня ей стало трудно. Она ведь действительно носит в себе Трухильо. Она родит Трухильо. В свое время она отказалась от фамилии мужа, сейчас может уйти от него совсем, остаться одной или снова выйти замуж и взять себе другую фамилию.

Она все это мсжет. Но изменить фамилию ребенка нельзя. Он не может выбрать себе другого отца. Он обречен быть Трухильо.

Это было невыносимо.

По ночам Офелия не спала. Плакала.

Плакала от бессилия. Толчки под сердцем становились сильнее, но они не радовали.

Не рано ли показывает характер этот маленький Трухильо?

Она понимала, что рассуждает глупо: ребенок ни в чем не виноват. И все-таки прежней любви к нему уже не было. Это зависело теперь не от нее.

Офелия была мужественная и сильная.

У нее хватило воли перестать плакать. Гдето бродила мысль - избавиться от ребенка.

Но было поздно.

Она решила обязательно что-нибудь придумать. Она придумала. Придумала в одну дз ночей, когда лежала с

открытыми глазами и прислушивалась к жизни сына. Какието туманные мысли проплывали в голове, и 23. одну из них, еще неясную, едва уловимую, она уцепилась и боялась пошелохнуться, чтобы не стряхнуть эту мысль, и старалась сосредоточиться, чтобы она не растаяла.

Изменить фамилию невозможно. Это уже совершенно ясно. Но имя она имеет право дать любое. Надо дать сыну такое яркое имя, чтобы рядом с ним фамилия казалась жалкой и ничтожной, чтобы рядом с именем фамилия просто не воспринималась, чтобы на нее никто не мог обратить внимания. Надо придумать такое поразительное имя, такое огненное и сверкающее, чтобы оно затмило и испепелило эту подлую фамилию.

И когда она так решила, у нее стало легко на душе. Ей нравилось имя Дельгадо и Санчес, красиво звучало Кристобал в честь Колумба, но все это не то. Она задержалась на Спартаке и Муции Сцевола, но и они не подходили.

Замкнувшись в себе в течение последних месяцев, ока теперь ощутила острую необходимость общения с людьми.

Вместе с тремя товарищами Офелия сидела в доме шорника, лучшего мастера седел, и слушала его горячие слова. Человек энергичный и смелый, он в ответ на репрессии требовал немедленно организовать стачку шорников и башмачников, к которой, он уверен, присоединятся рабочие сахарных заводов. Он говорил убежденно и страстно, ссылался на опыт России. И Офелия вдр-уг вскрикнула и схватилась за сердце. Люди бросились к ней, расспрашивая, что случилось, но она ничего не могла ответить. И только жена шорника догадалась, что это предродовые схватки. Офелия подтвердила это, но не дала себя провожать, а сама тихонько побрела домок.

Она сказала людям неправду. Это были не схватки. Просто шорник произнес слово, которое пронзило ее, как молнией, потому что это было то слово, которое она так долго искала. Это было то имя, то единственное в мире имя, которое она даст сыну, потому что оно искрилось и сверкало, и, как солнце, озаряло мир: Ленин!

Так она назовет своего сына.

Она шла домой, и счастье туманило ей глаза, и она ни с кем не хотела делить свое счастье и, торжествуя, несла его в себе.

Роды прошли хорошо, и родился сын, к она наперед знала, что все так и будет, потому что не может быть иначе, если должен родиться человек, который будет носить имя Ленин.

Когда Офелия настолько окрепла, что могла встать с постели, она, как и положено, пошла к судье зарегистрировать ребенка.

Возможно, судья был таким темным и диким, что не слышал

имени Ленина или мысли его где-то витали, потому что он был очень рассеян, но так или иначе он не задал Офелии никаких вопросов и выдал ей документ о том, что у нее родился мальчик, котором/ дано имя Ленин.

Спустя полгода надо было крестить сына. У Офелии было нехорошее предчувствие но нельзя же откладывать такого дела. Она пошла в самую лучшую церковь, в Сансисима Тринидад, и повела с собой родных и близких, и крестного отца, и крестную мать. Она смотрела на высокого молодого священника, который готовился к процедуре, и молила бога, чтобы это уже скорее закончилось. Ну сколько надо времени, чтобы он окунул палец в сосуд с ароматным маслом, и поставил этим масляным пальцем крестики на лбу и на темени ее сына, и поднес бы к его рту эту крошечную серебряную ложечку с солью, и окропил его водою, и надел на него крестик на цветной ленточке?

На это надо не больше трех-четырех минут, и все зто сейчас кончится, и она понесет сына домой.

Она так рассуждала, стараясь заглушить другие мысли, но все равно они лезли в голову со всех сторон, и она никак не могла отбиться от этих страшных мыслей. Потом Офелия увидела, что он закончил приготовления, увидела, как зашевелились его губы, и услышала его слова:

- Как нарекли ребенка?

Она подумала, что кто-нибудь ответит.

Но все родственники молчали. Молчали крестный отец и крестная мать.

- Ленин.

Офелии казалось, будто громко произнесла это слово. Так громко, что у нее пересохло в горле. Но, возможно, ей показалось. Вполне возможно, она только прошептала это слово, ибо священник уставился на нее, точно ожидая ответа, точно он не слышал. Он смотрел на нее, ничего больше не говоря и не приступая к процедуре, и она не знала, что ей теперь делать. Он стоял и смотрел, а она никак не могла придумать, что бы ему такое сказать. Ничего не придумывалось. Не было сил смотреть в эти немигающие, направленные на нее глаза, и она опустила голову.

Тогда он шагнул к ней, сделал еще шаг и еще один. Ей видны были его большие, ступающие ботинки из-под широкой сутаны.

Офелия услышала его твердый голос и его медленно произносимые, каждое в отдельности слова:

- Что ты сказала?

Офелия подняла голову. Она увидела священника, высокого и грозного, и по обе стороны от него святых в позолоченных рамах

с усталыми глазами.

Человек в черной сутане возвышался над ней и стоял не шевелясь, как статуя, и властным взглядом требовал ответа. Святые тоже смотрели на нее и тоже ждали, что она скажет. И хотя они были в позолоченных рамах, она увидела, в какие рубища они одеты, как измучены, какая тоска и обреченность в их взорах. И она вдруг вспомнила этих затравленных людей, вспомнила, что встречала их каждый день в зарослях сахарного тростника, на кофейных плантациях, на сигарной фабрике. Она видела их каждый день в своей родной деревне, в Тринидаде, в Мансанильо. Она видела их, оборванных, загнанных, злых, у бесчисленных причалов Кубы, близ белых, сверкающих пароходов. И она поняла, что этот человек в черной сутане заковал их в свои позолоченные рамы, чтобы они не могли проронить ни одного слова. И они молчат, и смотрят на нее, и ждут этого слова от нее.

- Ленин!

Нет, теперь это был не шепот. Слово вырвалось, поднялось до самого купола, понеслось под церковными сводами, перекатываясь между колоннами. Еще не умолкло гулкое эхо, когда Офелия услышала другой голос:

- Вон! Воя из храма!

Люди бросились к выходу, и уже в дверях Офелию догнали громыхающие слова:

- К варварам! В Россию вези крестить своего выродка!

Через три дня ребенок заболел. Мать Офелии говорила: она знала, так будет, не может жить некрещеный. Навалились на Офелию родственники. Она снова пошла в церковь, в самую маленькую и бедную, и когда ее спросили, как нарекли мальчика, ответила: "Кристобал".

А в документах, в государственных документах государственного судьи так и осталось: Ленин.

Может быть, не понимала Офелия, на что шла, может быть, не знала, что ждет ее впереди, какие испытания и кары падут на ее голову. Может быть. Но, возможно, далеко-далеко смотрела эта простая женщина с порабощенных Антильских островов и отчетливо представляла себе всю силу оружия, оказавшегося в ее руках.

Пабло произвели в офицеры, и у негр уже совсем не оставалось времени для дома.

Мать воспитывала сына сама. Когда он начал говорить, Офелия научила его четко и правильно произносить свое имя.

Мальчик рос здоровым и сильным. Офелия не спускала с него глаз. Стоило ребенку уйти со двора, как она выбегала вслед и

через всю улицу кричала:

- Ле-нин!

Порою, забыв, что ребенок сидит дома, она бегала чуть ли не по всему городку и звала его, как раз в то время, когда люди шли с работы. А те смотрели на нее, и улыбались, и объясняли друг другу| что так зовут ее сына. И если кто-либо спрашивал, что это за странное имя, наперебой объясняли, кто такой Ленин. Но находились люди, которые не могли с первого раза понять, кто же такой Ленин, и снова спрашивали, и каждый рассказывал все, что знал о Ленине. И каждому было интересно остановить мальчишку, которого зовут Ленин, и спросить, как его зовут. А стоило остановиться одному, как подходили другие, и снова начинались разговоры о Ленине и о России.

Ему не было еще шести лет, когда он спросил мать, почему он не такой, как все.

Почему каждый взрослый обязательно погладит его по голове, одного из целой кучи ребят, почему угощают его конфетами, почему велят мальчишкам не обижать его, почему вообще ни один человек не пройдет мимо, чтобы не сказать ему ласкового слова?

В тот раз Офелия долго и серьезно говорила с сыном. Говорила о Ленине. И он понял, почему должен быть самым справедливым и самым правдивым.

Когда мальчику исполнилось семь лет, мать повела его в школу. Но директор уже все знал о нем и сказал, что с таким именем принять не может.

По дороге домой Офелия плакала и не прятала своих слез, и каждому, кто ее спрашивал, рассказывала о своей беде.

В тот же день возле школы собралась толпа. Люди требовали директора и кричали, что нет такого закона, чтобы не принимать в школу ребенка, если директору не нравится его имя.

Кончилось все это плохо. Полиция разогнала толпу. А на следующий день Офелия вместе с сыном исчезла. Никто не знал, куда они девались. Весь город жил этим событием, и все говорили о Ленине и требовали, чтобы полиция выпустила его.

В действительности ни Офелия, ни ее сын не были арестованы. Просто к ней заходил полицейский инспектор и сказал: возможно, с мальчиком произойдет какой-нибудь несчастный случай, и, может быть, поэтому ей лучше, не поднимая шума, оставить город.

- Какой же несчастный случай может произойти с моим сыном? разволновалась Офелия.

- Да всякое может случиться, - пожал плечами инспектор. - Под машину может попасть, свалиться со скалы или случайная

пуля заденет. Разве не бывает такого?

Офелия хорошо знала батистовскую полицию. Это не пустые угрозы. Речь шла о ее сыне, который был не просто ее сыном, а символом мечты о лучшей жизни.

Она поблагодарила инспектора за то, что он так заботливо отнесся к ее сыну. Она охотно последует доброму совету.

В ту же ночь Офелия уехала в другой город к родственникам. Полиция хотела, чтобы она не поднимала шума. Ну что ж! О своем отъезде она не сказала ни одному человеку. Пусть теперь сама полиция ответит людям, куда девался Ленин.

Ка новом месте уже через неделю прошел слух о Ленине. Каждому хотелось посмотреть на человека, который носит такое имя. И люди собирались во дворе, где поселилась Офелия, но она говорила, что зря они приходят, потому что ее сын совершенно не похож на настоящего Ленина и ничего общего с ним не имеет. Для большей убедительности показывала маленький портрет В. И. Ленина, и этот портрет переходил из рук в руки. Чтобы уж окончательно развеять сомнения относительно ее сына, она рассказывала, каким великим человеком был Ленин и как много он сделал для народа.

Люди слушали и завидовали этому народу, у которого был Ленин, и мечтали о Ленине для себя. А потом передавали своим знакомым, что вон в том дворе живет интересный парень и стоит сходить на него посмотреть.

В один из вечеров, когда происходила подобная беседа, какой-то старик, который всегда был чем-нибудь недоволен, усомнился в ее словах. Не может быть, чтобы один человек, если он не бог, отдал всю землю крестьянам.

Офелия объяснила - он не один это сделал, он только научил людей, что надо делать. И опять старик был недоволен, так как давно известно, что надо делать. Надо отнять землю у латифундистов и отнять сахарные заводы, но это возможно, если за такое дело возьмутся все сразу, а не один человек.

Офелия не стала больше спорить со стариком, тем более что во дворе появились какие-то подозрительные люди, и все быстро разошлись.

За домом началась слежка. Приходил полицейский и проверял, действительно ли ее сына зовут Ленин и есть ли об этом документы.

Разговоры во дворе пришлось прекратить. Теперь она довольствовалась тем, что рассказывала о Ленине рубщикам сахарного тростника прямо в поле и вообще где придется. Но и это продолжалось недолго.

Кольцо слежки за ней сжималось, и когда она убедилась, что

полиция ее уже не отпустит, скрылась. Так к концу августа 1957 года она оказалась в Сьенфуэгосе.

Первого сентября возле ее дома остановились пять юношей и начали звать Ленина.

Он поднялся, но Офелия задержала его. На улице скандировали:

- Ле-нин! Ле-нин! Ле-нин!

Молча сидели в комнате мать и сын. Вокруг дома стал собираться народ. Налетела полиция. Ребята объяснили, что Ленин - это имя их товарища и они зовут его играть в бейсбол.

Полицейские не поверили. Они ворвались в дом, потребовали документы. Они не поверили документам и потащили парня в участок. Один конвоир шел впереди него, второй сзади. До участка оставалось немного, когда раздались одновременно два выстрела. Передний полицейский упал, задний, схватившись за плечо, побежал.

Ленин исчез бесследно. На ноги была поставлена вся полиция. Четыре дня шли повальные обыски, арестовывали каждого подозрительного, но найти Ленина не могли.

Его прятали совсем незнакомые, чужие люди, по внутренним дворам переводили из дома в дом, охраняли его сон.

Пятого сентября началось восстание моряков, к которому присоединился весь город. К двенадцати часам дня было захвачено полицейское управление, телеграф, радиостанция. Но вскоре появилась батистовская авиация, на улицы ворвались танки и войска. Восстание было подавлено.

Офелия Сайес говорит, что это восстание не связано с ее сыном. Восстание готовилось революционной организацией "Движение 26 июля", названной так в честь исторического нападения Фиделя Кастро на казармы "Монкада". Руководил восстанием Хосе Дианисиас Сан Роман. Конечно, не инцидент с сыном Офелии явился поводом для восстания. Но и для нее и для сына это были незабываемые дни.

Им пришлось снова переехать в другое место. Так они путешествовали из одного населенного пункта в другой, и всюду Офелия объясняла, что ее сын никакого отношения к настоящему Ленину не имеет, и объясняла, каким был Ленин. Так продолжалось до революции. Теперь они спокойно живут в Тринидаде.

Выслушав эту поразительную историю, мы снова пошли в город, так как Трухильо считал, что еще не все показал нам. Мы бродили по Тринидаду, и хотя наш гид извинялся за то, что революция еще не успела изменить облик города, новое мы видели на каждом шагу. Новую табачную фабрику, но

вый швейный цех, новое строительство. И почти все, кого мы встречали в этом маленьком тихом городке, радостно приветствовали нашего гида или так же, как его друг, вышедший из магазина, кричали:

- Буэнос диас [Буэнос диас - добрый день (исп.).], Ленин! Как самочувствие?

- Я буду рад, если вы мне напишете, - сказал он нам на прощание. Адрес легко запомнить: Куба, Тринидад, городская библиотека. А фамилию можно и не писать, - улыбнулся он. - Меня все по имени знают.

1953 год

СЛОВО ОБ АВТОРЕ

"Всю войну Аркадий Сахнин был в действующей армии. Но и сменив военную форму на штатский костюм, он не покинул линии огня... О людях, которые и в мирные дни поступают, как воины, готовые взять на себя самое опасное во имя счастья других, рассказывает Аркадий Сахнин. "Глубина" - это не только название документальной новеллы, но и ответ на вопрос о том, как, какими средствами достигает автор сильного эмоционального воздействия на сердца читателей: глубоким проникновением в характеры людей, в истинный смысл человеческих отношений, своим умением увидеть даже в трагических событиях повод для повествования оптимистического, вооружающих людей верой в победу добра над злом".

Сергей МИХАЛКОВ.

"Сахнин, как правило, застает своих героев в ситуациях чрезвычайных... его всегда влечет на самое острие схваток переднего края жизни, туда, где ее обстоятельства заставляют и человека проявиться до самого дна и где реально противоборствующие в мире силы добра и зла сходятся в поединке на совершенно, как говорится, конкретной земной арене... Факт, факт, факт - и вроде бы никаких эмоций. Но всмотритесь внимательно, и вы увидите, с каким мастерством это сделано: скупость, даже протокольность изложения лишь подчеркивают драматизм события, а в самом лаконизме - большой эмоциональный заряд, который совсем не нуждается в "выявлении".

Его "биотоки" нацелены в самое сердце читателя.

...Говоря о человеке с передовой, я имею в виду не только прошлое. Речь и о тех "мирных сражениях", которые писатель-публицист ведет изо дня в день на идеологическом фронте, а и тут передовая проложена отнюдь не по цветущим газонам. Сахнин об этом не пишет, но даже неискушенный читатель его

очерков и обличительных статей-памфлетов легко представит себе, каких усилий, какой настойчивости требуют от писателя... "экскурсии" в гнезда антисоветчиков, окопавшихся за рубежом, и целеустремленная - месяц за месяцем, поездка за поездкой - борьба за то, чтобы эти гнезда были обезврежены... Помню, как однажды, прочтя очерк Сахнина о встрече с матерым "энтээсовцем", сказал один старый писатель: "Кольцовская работа!" Очень метко сказал: Сахнин один из тех, кто в наши дни продолжает традиции писателя большевика Михаила Кольцова".

Георгий РАДОВ.

"Манере Сахнина свойственна внешняя бесстрастность, объективизм, что ли, изложения. Больше того: деяния отрицательных персонажей он описывает, кажется, с каким-то странным сочувствием, словно бы с пониманием мотивов, которые ими руководят. И наоборот: о благородных, а часто просто героических поступках наших современников пишет, как о чем-то совершенно нормальном, само собой разумеющемся. Это кажется странным.

Но еще более удивительно то, чем с большим пониманием вникает писатель в помыслы и мотивы поведения отрицательных своих персонажей, тем непоигляднее они нам кажутся. С тем большей непримиримостью мы к ним относимся. И наоборот: чем спокойнее, без намека на восторженность, аффектацию рассказывает он о хорошем, тем большее уважение к этому хорошему вызывает.

Читая очерки, рассказы, повести Сахнина, невольно задумываешься и над тем, насколько односторонне еще бытующее в литературной критике стремление определить суть и направленность литературного произведения в зависимости от того, каких в нем персонажей больше - положительных или отрицательных. Вновь убеждаешься в той бесспорной истине, что главное - позиция писателя, глубина его проникновения в жизнь".

Борис ПАНКИН.

"Сахнин дает своим героям вымышленные имена и фамилии, но каждая деталь их жизни и труда, их облика и характера документально точна.

Тематическое разнообразие, темперамент, идейная убежденность, вера в способность современника совершить подвиг без громкой патетики - вот какую литературную "программу" предлагает нам автор.

Как любого писателя, исследующего перспективы действительности, Сахнина привлекает молодой герой, неш младший современник. Это весьма симптоматично, так как имельо поколению молодых принадлежит будущее со всеми

чудесами науки, техники, культуры, но прежде всего - чудесами человеческой души и морали".

Галина СЕРЕБРЯКОВА.

"Книгам Аркадия Сахнина веришь еще и потому, что в них всегда заметно личное участие писателя в событиях, о которых он пишет. И это не литературный прием. А факт. Оч сам водил поезда.

Сам много лет работал в газете. Во время войны ходил в тыл врага в составе миннодиверсионной группы. Был на целине. Прилетал в Ташкент, когда землетрясение еще продолжалось. Опускался в скафандре на морское дно, прежде чем написать о водолазе. Написал о знаменитом разминировании фашистского склада боеприпасов в Курске, потому что на практике знал, как это делается. Не раз ходил в дальние плавания на грузовых судах. Встречался за рубежом с друзьями нашей страны и с ее врагами. Писательская судьба Аокадия Сахнина, как и судьбы многих советских литераторов, стала неотъемлемой частью судьбы Советской РОДИНЫ".

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.